Тетради по консерватизму

ISSN 2409-2517

№ 1 2018

С.С. Уваров: 200 лет Речи в торжественном собрании Главного Педагогического института (22 марта 1818 года)

фонд ИСЭПИ
Институт социально-экономических и политических исследований

Альманах

[Март 2018 г.]

фонд ИСЭПИ
Институт социально-экономических и политических исследований

С.С. Уваров: 200 лет Речи в торжественном собрании Главного Педагогического института (22 марта 1818 года)

[март 2018 г.]

Тетради по консерватизму

[№ 1 2018 г.]

Москва
Некоммерческий фонд – Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ)
2018

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук по отраслям 23.00.00 – Политология, 07.00.00 – Исторические науки и археология, 09.00.00 – Философские науки.

Рекомендовано к печати
Экспертным советом Фонда ИСЭПИ

Редакционный совет
Д.В. Бадовский, А.Д. Воскресенский, А.А. Иванов,
М.А. Маслин, Б.В. Межуев, А.Ю. Минаков, Р.В. Михайлов (гл. редактор),
Е.Н. Мощелков, Л.В. Поляков (председатель), С.В. Перевезенцев, М.В. Ремизов,
А.С. Ципко, А.Л. Чечевишников, А.А. Ширинянц.

Тетради по консерватизму: Альманах. – № 1. – М.: Некоммерческий фонд – Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ), 2018. – 392 с.

Очередной номер альманаха «Тетради по консерватизму» посвящен 200-летию речи С.С. Уварова, которую он произнес 22 марта 1818 года в торжественном собрании Главного Педагогического института в статусе Президента императорской академии наук, Попечителя Санкт-Петербургского учебного округа. В этом историческом документе отражены многие знаковые для русской гуманитарной мысли того периода идеи графа, позволяющие проследить интеллектуальную эволюцию будущего автора знаменитой идеологической триады «Православие, Самодержавие, Народность».

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77 – 67506.

© АНО «Средство массовой информации Альманах “Тетради по консерватизму”», 2018
© Некоммерческий фонд — Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ), 2018

Содержание

Леонид Поляков
Слово к читателю
7

Введение
С.С. Уваров
Речь Президента Императорской Академии наук, Попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, в торжественном собрании Главного Педагогического института 22 марта 1818 года
11

Раздел первый

Время Уварова: идейный контекст

М.М. Шевченко
С.С. Уваров. Политический портрет
27
Д.А. Бадалян
«Официальная народность» или народность? С.С. Уваров и А.С. Хомяков
51
А.О. Мещерякова
Граф С.С. Уваров в контексте русского консерватизма первой половины XIX века
67
С.В. Удалов
В тисках идеологии: власть и общество в России второй четверти XIX века
76
Е.С. Холмогоров
Русификация русских. Граф Уваров и третий русский национализм
86
игумен Виталий (Уткин)
Мифология истории, народность и православие в концепции графа С.С. Уварова (к разработке проблемы)
124

Раздел второй

Служение Уварова: образование как nation-building

А.Ю. Минаков
Предтечи С.С. Уварова в поисках идеологического обоснования правительственной политики в области народного просвещения в 1817–1825 годах
145

М.А. Волхонский
Лазаревский институт восточных языков в политике министра народного просвещения С.С. Уварова.1830-е–1840-е годы
165
В.В. Ванчугов
Роль «триады» Уварова в трансформации отечественной философии
182
А.И. Любжин
Две модели русского образовательного классицизма. Граф С.С. Уваров и граф Д.А. Толстой
193

Раздел третий

Вокруг Уварова: в прошлом и всегда

Д.А. Бадалян
С.С. Уваров и журнальная борьба 1830–1840-х годов
203
А.А. Ширинянц
«Теоретик официальной народности»: М.П. Погодин и триединая формула С.С. Уварова
219
А.А. Тесля
«Изгои истории»: Василий Розанов о монархии. 1890-е годы
233
С.В. Перевезенцев
«По устроению дедню и отню»: к вопросу о значении традиционализма в русской истории
243
М.А. Маслин
Предтеча евразийства. Ориентализм С.С. Уварова в исторической перспективе
255

Раздел четвертый

Уваров о времени и о себе (мемуары)

М.М. Шевченко
Опыт автобиографии Сергея Уварова. 1852
267
М.М. Шевченко
Записка С.С. Уварова о крепостном праве в России (1830/1831)
335

Раздел пятый

Консервативные ценности в современном российском обществе: каковы они и кто их разделяет?

Первое заседание Консервативного клуба. 27 марта 2018 года
363

Леонид Поляков

Слово к читателю

Очередной номер «Тетрадей по консерватизму» продолжает обозначенную номером предыдущим траекторию движения в глубины нашего прошлого. Там была предпринята попытка в столетнюю годовщину «Великой Русской Революции» продумать ее истоки, причины и последствия с помощью обращения к двум ключевым текстам о русской интеллигенции – сборникам «Вехи» (1909) и «Из глубины» (1918). В этом номере мы решили спуститься еще на сто лет назад – в год 1818-й, с тем чтобы попытаться заново прочесть и заново оценить один полузабытый текст. А заодно вспомнить и его автора.

Текст, которым открывается этот номер, – это «Речь Президента императорской академии наук, Попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, в торжественном собрании Главного Педагогического института 22 марта 1818 года». Автор – Сергей Семенович Уваров – впоследствии (с 1833 по 1849 год) министр народного просвещения и создатель государственной идеологии «официальной народности». Но мало ли в России XIX века было министров, которые много чего наговорили по тем или иным торжественным поводам? Почему же речь С.С. Уварова двухсотлетней давности заслуживает даже сегодня особого внимания?

Полноценным, но, конечно, не исчерпывающим ответом на этот закономерный вопрос является весь номер. А в этом кратком уведомлении я позволю себе поделиться с читателем собственным пониманием актуальности той стародавней уваровской речи.

Оценим для начала, каков повод. А это – учреждение в Главном педагогическом институте двух новых кафедр для преподавания «восточных языков» и возобновление кафедры истории. Казалось бы, событие вполне рутинное и даже совершенно локальное. Но почему же столь высокопоставленная персона сочла необходимым отметить его не только собственным присутствием, но и хорошо продуманной, изящно артикулированной и местами нескрываемо эмоциональной речью?

Можно предположить, что С.С. Уваров, завершая период своей жизни беззаботного интеллектуала, совмещающего почетные должности с упражнениями в остроумии в составе пародийного «Арзамасского общества беззвестных людей» (которое он сам же и придумал и в котором участвовал под псевдонимом «Старушка»), решил публично предстать уже в новом статусе. Тридцать два года – это по тем временам возраст и в жизненном, и в карьерном смысле серьезный. Самая пора заявить о себе как о государственном муже, способном влиять на судьбы горячо любимого Отечества. И место для этого он выбрал вполне подходящее: институт готовил школьных учителей – воспитателей нации.

Речь Уварова обозначает начало решительного поворота как в государственном мышлении, так и в настроениях общества. Причем поворота и в пространстве, и во времени. Уваров предлагает России, замирившей Запад с помощью Священного союза, развернуться на Восток и начать сближаться с цивилизациями Китая, Персии, Индии, Турции, арабского мира. Сближаться, изучая их великое культурное наследие и осуществляя «мирную экспансию» с помощью того, что сегодня принято обозначать как soft power. «Времена завоеваний, – утверждает Уваров, – протекли <…> Завоевание без уважения к человечеству, без содействия новых, лучших законов, без исправления состояния побежденных – тщетная, кровавая мечта».

Но что же это за «мягкая сила», которая покоряет без насилия? Точнее – «может некоторым образом *освятить* право сильного и народное славолюбие». Ответ Уварова: «Никакая сила человеческая не может более противоборствовать могущественному гению Европы. В общем просвещении находится залог общей независимости». Не похоже ли это – наверняка спросите вы – на приснопамятного Френсиса Фукуяму с его «концом истории»? Неужели все то же западническое Ex Occidente Lux?

Положим, в «общем просвещении» сходство действительно есть. Но на счет «конца» – все ровно наоборот. Уваров приветствует возобновление кафедры истории потому, что история есть начало и источник государственной мудрости. Состоящей в том, чтобы ясно понимать, в какой фазе своего развития данный народ со своей государственностью находится. И, следовательно, управлять народом соответствующим образом.

«Государства имеют, – убежден Уваров, – свои эпохи Возрождения, свое младенчество, свою юность, свой совершенный возраст и, наконец, свою дряхлость. Наблюдение сих больших перемен – первый долг попечительного правительства. Желание продолжить один из сих возрастов далее времени, назначенного природою, столь же суетно и безрассудно, как желание заключить возмужающего юношу в тесные пределы младенческой колыбели. Теория правительства в сем случае походит на теорию воспитания».

Да, в этом пассаже можно услышать отголоски и Джамбаттисты Вико, и Иоганна Готфрида Гердера. А можно почувствовать и предвестие Николая Данилевского. Но так же – позвольте мне такую гипотезу – с помощью этого пассажа можно попытаться объяснить дальнейшую эволюцию Уварова. Понять, *как* страстный проповедник «европейского просвещения» всего через пятнадцать лет оказался изобретателем знаменитой триады «Православие, Самодержавие, Народность». Верна ли моя гипотеза или, может быть, нам важнее узнать, не «как», а «почему»? Проверьте: номер перед вами.

Введение

Сергей Уваров
Речь Президента Императорской Академии наук,
Попечителя Санкт-Петербургского учебного округа,
в торжественном собрании
Главного Педагогического института 22 марта 1818 года

Речь Президента Императорской Академии наук, Попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, в торжественном собрании Главного Педагогического института 22 марта 1818 года

Министерство духовных дел и народного просвещения, учредив в Главном педагогическом институте две кафедры для преподавания восточных языков, по Высочайшему повелению призвало из Парижа господ Деманжа и Шармуа, образовавшихся там наставлениями известных ориенталистов Сильвестра де Саси, Ланглеса, Шези и др.

Приличным казалось ознаменовать открытие сих кафедр особенным торжеством вместе с возобновлением кафедры истории, порученной профессору Раупаху.

Президент Императорской академии наук, по должности попечителя С.-Петербургского учебного округа, нашел себя тем более обязанным участвовать в сем торжестве, что он давно желал преподавания восточных языков в России, основанного на твердых и прочных началах, а преподавание истории почитал всегда главным делом народного воспитания.

Рассуждая о предметах, равно важных для всех, президент Академии наук говорил, как мыслил. Слава монарху, благоприятствующему беспристрастным исследованиям всех истин и скромному излиянию каждого чувства души!

Государь Император, великодушный покровитель всех общеполезных знаний, ныне щедрою рукою открывает новое поприще, новые пути в святилище наук и просвещения. Да будет наша первая мысль, наше первое чувство – признательность к нему, к нашему великому монарху, который герой в порфире, гражданин на троне, миротворец на поле брани, законодатель и просветитель, блистает под эгидою святой веры и святого человеколюбия; к монарху, коего глава украшена первою диадемою в свете и который в Древнем Риме заслужил бы от равных скромный, но славный венок гражданской доблести.

Но как можем мы достойно изобразить наши чувства? Чем можете вы, юные питомцы, заплатить ему за столь великие милости? Чего требует он от нас в замену толиких щедрот? Он требует вашего собственного благополучия; он требует свободного стремления к добру, благородного порыва ко всему прекрасному и полезному. Он хочет вложить в ваши сердца глубокое чувство вашего будущего звания в обществе. Он желает, чтобы, приняв по мере ваших сил искру того дивного огня, коим горит Его высокий дух, вы с обновленною душою рассылались по пределам отечества и чтобы, следуя данному вам направлению, сообщая другим поколениям здесь почерпнутое образование, вы всегда показывали вашим будущим писателям соединение всех лучей религии и наук в один благодетельный источник истины и света.

Я не почитаю нужным пространно излагать пред вами, милостивые государи, всю важность открываемого ныне курса восточных языков. Вы знаете, какое место Восток занимает в истории. Восток – первая колыбель, первое поприще лучшего бытия, первый свидетель падения рода человеческого. Из Азии проистекали все религии, все науки, вся философия. Она одна сохранила чудесный дар производить все большие явления морального мира; там находили мы истинный, единственный источник всеобщего просве-

щения, и кто мог бы не гореть желанием созерцать вблизи богатства сего неисчерпаемого рудника ума человеческого?

К сему имеем мы один способ: *восточные языки.* Вообще языки суть памятники времен, предшествовавших истории. Узнать язык народа – значит узнать весь ход его образования. В недрах сих дивных составов лежит, так сказать, печать, отличающая один народ от другого. Чем совершеннее язык, тем народ ближе к просвещению. Сличение языков может изъяснить происхождение и сродство народов между собой; и если б по непредвиденному случаю могли когда-либо исчезнуть с лица земли все памятники истории, тогда следы времен прошедших остались бы только в самых диалектах, в их взаимных сношениях, в их внутреннем образовании; и тогда б мы судили о политической судьбе народа по совершенству грамматических форм ему принадлежавшего языка.

Но знание языков остается без цели и без важности, если мы ограничиваемся сравнительною номенклатурою или собранием пустых звуков. В нынешнем состоянии общих познаний слова суть не что иное, как *знаки мыслей*; следовательно, языки – только средства к достижению новых познаний или, лучше сказать, путеводители к новым понятиям. Высшая филология стремится к единству. Только те языки заслуживают наше внимание, которые имеют свою собственную словесность. В большом количестве языков мира весьма немногие могут называться *коренными* не столько потому, что от них произошли другие языки, как потому, что они сильно действовали на просвещение всего мира. Языки без литературы – то же самое, что народ без истории. Не все люди в сложности составляют человечество; не все языки принадлежат к филологии. Один греческий язык с происходящим от него латинским дает нам ключ к познанию всего западного мира; таким же образом арабский язык в соединении с языком Персии – ключ всей западной Азии и был долго ключом к познанию всей восточной древности. С тех пор как мы обогатились знанием *санскрита* и всех диалектов Индии, средняя сфера азиатских языков, без сомнения, изо всех важнейшая, каждый день более и более привлекает любопытство и внимание. Если к сим коренным языкам мы прибавим, с одной стороны, еврейский, а с другой – наречия племени татарских и, наконец, языки Японии и Китая, то одним взглядом обнимем всю систему древних, поистине *коренных языков* Азии. Теперь окинем быстрым взором главные литературы, из них происшедшие.

Словесность еврейская ограничивается книгами Ветхого Завета. Она отличается от других словесностей Азии тем, что не обещает ни дальних открытий, ни дальних усовершенствований. Язык еврейский был первым поводом к изучению других восточных языков. Знание его процветало в Европе посредством богословия задолго перед другими. Творения Моисея могут в своем роде равняться с совершеннейшими памятниками древней поэзии. Язык евреев не богат ни выражениями, ни оборотами, но смел и силен. Их поэзия, о которой древние не ведали, имела великое влияние на все новейшие литературы Европы.

<Словесность> арабов, коей обозрение господин профессор Деманж ныне представит в особой речи, имеет свой отличительный характер. Их поэзия пылает, как их степь; она чудесна, как их история. Посреди империи персов и империи римлян лежит Аравия, коею ни Александр, ни римляне не могли овладеть. Жители ее были независимы и храбры; они любили поэзию, как свободу. Сама природа защищала их от внешних властителей. В VII столетии явился Магомет, полководец, законодатель и поэт, – и бóльшая половина Древнего мира повиновалась *Исламу*, когда он оставил с жизнью завет обращать народы посредством Корана и меча. Сто лет после смерти Магомета владение арабов простиралось от Ганга до Пиренейских гор. Константинополь трепетал, и трон Персии распался на части. *Гарун АльРашид* и сын его *Ал-Мамун* покровительствовали наукам. Под их скипетром процветали Восток, Африка, Испания. «*Тысяча и одна ночь*» сделала Гаруна славнее, чем его поход на Царьград. Творения греков, особенно фило-

софов и врачей, были переведены на арабский язык. В Багдаде, в Бассоре и во многих других городах халифы основали высшие училища. Арабы первые познакомили Европу с Аристотелем. Вместе с науками процветали художества и мануфактуры. Архитектура арабов, которую мы ошибочно называем готическою, носит печать их гения. В великолепных чертогах Багдада, под тенью лимонных деревьев на берегах Тага и Гвадалквивира раздавался звук оружия вместе со звуком лютен и гитар. Арабы не уступали ни одному народу в любви к турнирам, рыцарству, поэзии. Следы пребывания их в Испании произвели Ариосто и рыцарскую литературу[1]. Весь их исторический ход чудесен; но мы узнаем те же черты характера в арабе и посреди знойных степей в сопровождении верного верблюда, и в вышних ристалищах царей гренадских. С Магометом исчезла поэзия арабов; слабые ее отголоски были едва слышны. Тогда арабы славно владычествовали над двумя третями просвещенного мира. С независимостью, с бедностью, с жизнью патриархов лишились они оригинальности в произведениях ума. Магомет – сын степи – заключает круг их поэтов.

Переходя к литературе Персии, я должен сказать, что господин профессор Шармуа представит в своей речи несколько подробностей о сем предмете. Я покажу только связь словесности персидской с другими словесностями Востока.

Происхождение языка Персии, равно как и происхождение империи персов, теряется во мраке веков. Он богат и приятен; не так выразителен и не так силен, как язык арабов, но звучнее и привлекательнее. Формы поэзии верно определены. Персы имеют во всех родах превосходных поэтов: *Фирдоуси* – их Гомер, *Хафиз* – их Пиндар и Анакреон; первый написал большую эпическую поэму под названием «Шахнаме»; другой прославился одами и легкими стихотворениями, которые дышат негою. Сверх того, принадлежат к первой степени: *Саади*, его подражатель *Джами*, *Джелаледин* и несколько других. Литература Персии – самая приятная и самая обработанная. Ориенталисты сравнивают ее с литературою французскою – так же, как путешественники дают жителям Персии название французов Азии. Поэзия арабов и поэзия персов различны в духе и формах, но заслуживают равного внимания. Их отличительные черты особливо приметны в произведениях, предшествовавших Магомету. Он дал всем умам такой вид рабства и единообразия, что, присоединив к литературам Аравии и Персии бедную словесность турецкую, мы можем назвать словесностью магометанскою произведения народов, между собою совершенно различных, но угнетаемых игом одних законов и одной религии.

Но из всех литератур Востока первая, важнейшая, обширнейшая есть, без сомнения, литература Индии. Она до сих пор менее всех других известна и ни в чем с ними не сходствует. Если верить свидетельству знаменитого В. Джонса (основателя Азиатского общества в Бенгале), *санскрит* (древний коренной язык Индии) превосходит все известные языки света: «Санскритский язык, – говорит Джонс, – совершеннее греческого, изобильнее латинского и обработан лучше обоих; но санскрит имеет с греческим и латинским разительное сходство как в происхождении слов, так и в формах грамматики, которое не могло быть произведено единственно случаем; такое сходство, что ни один филолог не может рассматривать сих трех языков, не уверясь в том, что все три имеют один источник, которого следы, может быть, более не существуют». Положим, что энтузиазм увлек здесь слишком далеко почтенного Джонса; но и в сем случае какое достоинство должны мы предполагать в языке, родившем столь сильное предубеждение в первом знатоке восточных и классических языков; в ученом, с которым никто в XVIII столетии не мог равняться

[1] Поэзия Европы имеет, как кажется, два источника: *поэзию северных народов*, привыкших к войне и наслаждающихся одним только повествованием о ней, – и *поэзию Востока*, преданную нам частью Крестовыми походами, частью испанскими маврами. Ариосту удалось прекрасно слить сии два рода поэзии в своем блестящем творении; Боярдо еще ближе подражает духу восточной поэзии; Тассо более напитан древними.

в обширности знаний, в страстной любви к своему предмету, во вкусе и в фантазии и который разбирал языки как филолог, а чувствовал как поэт?

Мы можем даже положить, что сходство санскрита с греческим и латинским языком не так близко или, лучше сказать, не так разительно, как предполагал президент Калькуттского общества; не менее того, мы наверное знаем, что сие сходство действует существенно, и тем более удивительно, что санскрит в своем составе, в своем духе, в своих формах представляет совершенную противоположность с другими языками Азии. Ни одно грамматическое правило не сходствует с правилами других наречий. Поэзия (сколько мы знаем) носит печать какой-то изящной простоты, чуждой всему Востоку, и вместе совершенной зрелости ума и души. Кто, хотя в переводе, читал прелестную «Саконталу», тот, конечно, согласится со мною[1].

Можно ли не желать страстно распространения сих прекрасных познаний? Кто не захочет познакомиться с сим богатым рудником; вникнуть в философию, в законодательство, в поэзию, в науки народа, столь еще мало известного, но которому, может быть, принадлежит первое место в просвещенном мире; пройти сквозь сей безмолвный ряд веков; внести светильник в мрачное жилище давно излетевших племен и поколений; одним словом, привязать свой ничтожный, быстротечный век к сим неподвижным памятникам отцветшего просвещения и забытой, но чудесной славы?

Если б можно было во всем пространстве представить *влияние* образованнейшего народа Азии на весь мир, тогда, конечно, пролился бы неожиданный свет на всю историю человечества. Но сей народ, занятый единственно собою, тогда только вступал в сношения с другими, когда делался их жертвою; сам о себе оставил он немного сведений. В сем недостатке исторических преданий любопытство наше может воспользоваться еще одним только обстоятельством: сей народ существует до сих пор; он сохранил свой язык и с ним свою религию, свою мудрость, свою поэзию. Он существует, но более в прошедших веках, чем в настоящем. Для него эпоха, к которой мы принадлежим (а сия эпоха начинается для Индии вместе с нашими историческими временами), представляет в его глазах образ совершенного хаоса. Бармин смотрит на нас с презрением. Он ожидает обещанного возобновления мира; он единственно мечтает о прошедшем, о тех чудесных временах, когда великий *Вишну* в виде *Рамы* сражается со злыми духами или в образе героя Кришны водворял на земле мир и тишину. Напрасно будем мы ожидать от народа в таком расположении ума тех критических сведений, коих жаждет Европа. Остается нам только вопрошать его художественные памятники, его просвещение, его законы, его природу; делаться на берегах Ганга жителем Индии и вместе оставаться европейцем, дабы соединить в одно целое те отрывки познаний, которые жители Индии нам передавать будут посредством своего языка и своей литературы.

Древнейшее произведение индийской словесности, источник их понятий о религии, о философии и о законодательстве, суть их священные книги, так называемые *Веды*. Дух, содержание формы, слог – все указывает на глубокую древность. Веды составлены из небольших трактатов или отрывков, принадлежащих, вероятно, разным авторам. Мы почти ничего не знаем о сих достопамятных книгах. Они составили тайную религию священников. Религия народа имеет свое начало в больших эпических поэмах Индии так, как греческий простонародный политеизм весь проистекал из Гомера.

[1] Санскрит понятен ученому только жителю Индии; для народа он язык мертвый. Что он некогда был живым, то доказывается его литературою. Она образуется только тогда, когда язык в полном цвете жизни. Джонс полагал, что санскрит происходит от древнего потерянного языка Персии. Многие ему противоречили; но все сие исследование суетно: место рождения языка там, где он образовался. К санскриту восходит *пракрит*, который не что иное, как смягченный диалект санскрита (Jones works. T. VI. P. 206). Бхаша – также простонародное наречие того же языка, по свидетельству Кольбрука (Asiat. Res. T. VII. P. 225).

Собрание законов Ману есть второй памятник индийской литературы. Сии законы приписывают Ману; но он более принадлежит баснословию, чем истории. Они в тесной связи с Ведами и на них основаны. Хотя законодательство Индии в иных частях имеет еще знаки душевного младенчества, оно во многих отношениях доказывает удивительное просвещение нации, для которой сии законы были составлены.

Торжество санскритского языка – поэзия. Все роды ее доведены до совершенства: эпопея, лирическая, дидактическая и нравоучительная поэзия; но первенство между ними, по мнению самой Индии, принадлежит эпопее. Большие их народные эпические творения уважаются наряду со священными книгами. Литература Индии изобильна в эпопеях; но как творения Гомера в Греции, – две поэмы занимают и здесь первое место – «Рамаяна» и «Махабхарата».

Предмет первой из сих поэм есть победа божественного героя *Рамы* над *Равуною*, вождем злых духов. «Махабхарата» изображает войну двух неприязненных племен – *курсов* и *пандосов*. Думают, что «Махабхарата» новее «Рамаяны»; по крайней мере, он описывает происшествия, более принадлежащие к историческим временам.

Дух индийской эпопеи состоит особенно в том, что она не оживляется ни чувствами, ни деяниями человеческими. Греческая эпопея сводила с небес своих богов и уподобляла их человекам; эпопея Индии если исключительно представляет одних богов, то возвышает смертных к богам и сближает их чудесным жезлом своим. Греки влагали в душу бессмертных свои ощущения; индийцы делают из человека в эпопее какое-то отвлеченное существо, совершенно чуждое человечеству. Большая пружина их поэм – *явление богов в виде человеков*; но сие перерождение так свободно, что боги, действующие на земле как человеки, остаются богами в своих высоких жилищах. Греки придавали своим богам идеальную красоту человеков; индийцы и тут пренебрегают человеческое. Их синий *Вишну* со многими головами и руками в сравнении с *Аполлоном Бельведерским* живо означает характер той и другой поэзии, но греческий Олимп пред блистательными жилищами, в коих покоятся *Индра* и *Вишну*. Здесь чудесные чертоги, коих высокие стены, пылающие в огнях, теряются в высоте небес; божественная музыка раздается со всех сторон; воздух – благоухание, каждая капля росы – бриллиант, хор молодых нимф оживляет волшебные гроты, украшенные душистыми цветами голубого лотоса, перлами и пестрыми раковинами. Их блеск отражается на кристалле лазурных вод, тихо волнуемых стройным движением белоснежного лебедя. Какая картина! Какое чародейство! Какая пышная игра фантазии!

Желание представить быстрое, некоторым образом полное обозрение литературы Индии, к коей ныне стремятся все умы в Европе, увлекло меня, может быть, за пределы сего рассуждения. Оно лишает меня возможности продолжить мое странствование по богатому полю литературы Востока. Я должен оставить без внимания словесность Китая, столь же странную, как все его политическое образование, которое и слишком хвалили, и слишком унижали и которое поистине не должно бы возбуждать ни энтузиазма, ни презрения. Я могу только наименовать малоизвестную, но, конечно, важную словесность Тибета и большое разнообразие семейств татарских диалектов, в коем иные отрасли имеют уже литературу, а другие еще нуждаются в письменах.

Остается мне теперь показать, какое участие Россия должна принимать в распространении восточных языков и какую пользу она из их источников извлечь себе может.

Если будем смотреть на сии занятия с политической стороны, то один взгляд на карту докажет уже ясно, сколько сии познания для нас важны и даже необходимы. Должна ли Россия, опирающаяся на Азию, повелевающая целою третью сего пространного края, Россия в непрерывных сношениях с Турциею, Китаем и Персиею овладеть, наконец, великим орудием восточных языков? Сей вопрос кажется излишним. Нет сомнения, что твердейшая, может быть, опора великобританского владычества в Индии состоит именно в

том, что английское правительство образует жителей Индии посредством собственной их словесности; что оно предоставило им право быть судимыми своими законами на своем языке; что оно, соединив дух английского законодательства с остатками древних предписаний и обрядов Индии, мало-помалу возбуждает во всех умах стремление к национальной славе и к древнейшим памятникам наук и словесности и чрез сие прекрасное, может быть, *хитрое* почтение Индии присваивает себе каждый день более прав на уважение и на признательность покоренного народа.

Времена завоеваний протекли. Можно нарушить мир; можно внести огонь и меч в пределы собственных государств: но основать или удержать свое владычество одною силою меча – сей ужасный подвиг не принадлежит нашему веку. Мы видели, с какою быстротою рушилось огромное здание, недавно воздвигнутое в Европе. Никакая сила человеческая не может более противоборствовать могущественному гению Европы. В общем просвещении находится залог общей независимости. Завоевание без уважения к человечеству, без содействия новых, лучших законов, без исправления состояния побежденных – тщетная, кровавая мечта; но побеждать просвещением, покорять умы кротким духом религии, распространением наук и художеств, образованием и благоденствием побежденных – вот единственный способ завоевания, от коего можно ныне ожидать прочности вековой и который может некоторым образом *освятить* право сильного и народное славолюбие.

Когда же мы будем смотреть на восточную литературу в отношении к нашей, то каждый беспристрастный судия постигнет, сколь благотворно может быть ее влияние на произведения ума и на образование вкуса. Наша словесность есть некоторым образом поздний цвет нового политического образования России. Везде корень народной словесности теряется в колыбели народной истории. У нас просвещение и законы были жертвой долговременного порабощения под игом варваров. Римляне сперва овладели миром и впоследствии уже начали думать о просвещении. Из сего следует, что их литература, как и наша, не отличается оригинальностью; но их литература имеет, по крайней мере, свой характер; и сей характер заимствован от греков. За 50 лет пред сим советовал нам славный Хейне взять в основание нашей словесности словесность греческую; и тогда успели ли бы мы, может быть, заменить недостаток собственного народного вкуса чистым вкусом древних, верными правилами классической литературы. Она не могла бы дать нам оригинальности; но она защитила бы нас от слабости к подражанию, от слепого пристрастия к той или к другой словесности новых времен. Мы не колебались бы в выборе между подлинниками, равно для нас чуждыми; мы не истощали бы своих сил в трудных, но неблагоприятных опытах без цели, в прихотливых играх бесплодного воображения. Если же с распространением классической литературы совокупить познание восточной, то мы и теперь в полном праве ожидать обновления нашей словесности в сих свежих, доныне неприкосновенных источниках[1].

Обратимся теперь к истории – к предмету, заслуживающему по своей важности первое место в народном воспитании; по своему пространству – долговременных и постоянных трудов.

Истинное просвещение, которое не что иное, как точное познание наших прав и наших обязанностей, т.е. обязанностей и прав человека и гражданина, – истинное просвещение ожидает от вас, юные питомцы, подвига жизни и жертвы всех сил душевных! Но одна история может нас образовать в сем двояком отношении к обществу. Первый из ораторов Рима, падший вместе с его свободою, называет сию науку «свидетельницею времен, светом истины, жизнью памяти, наставницею жизни, глаголом древности». История оставляет

[1] Juvat integros fontes atque haurire…

мечтательной метафизике изыскания о каком-то первоначальном состоянии человеческого рода прежде основания общества. Религия и философия согласны в том, что падение человека содержит в себе первое основание гражданской жизни. Дивное сочетание бессмертной души и бренного тела объясняет тайну политических обществ лучше всех умствований физиологов и метафизиков. История представляет нам человека в обществе; она принимает свое начало на равнинах Азии, под сенью патриархов, в мирном кругу семейственной жизни. Святая простота нравов, под влиянием которой власть отца представляла власть монарха, а *человек* и *гражданин* были еще неразлучны в одном лице!

Выступая за пределы младенчества, общества развивают постепенно свои силы и переходят от простого семейственного правления к образованию форм правительства, сложных в своем существе и разнообразных по своим действиям. Но сколько бедствий должен испытать род человеческий! Какой мрак покрывает первые порывы его умственных сил! Едва он оставил свою колыбель, как уже влачет тяжкие узы. Природа Востока усыпляет своих изнемогающих сынов; они дремлют под свинцовым скипетром обладателей. Гармония поэзии прерывается стоном страждущих племен. Светильник наук освещает их цепи. Утратив познание истинного Бога, которого следы видны только в учреждениях Моисея, пророка, законодателя и поэта, человек лишается чувств своего собственного достоинства. Он перестает обращаться к единственному началу жизни; ищет сего начала во всех явлениях внешней природы и находит везде мерцающие призраки страха и фантазии. Он погружается в грубую чувственность, ведая, что боги его столько же безжалостны, как и его тираны; те и другие требуют от него слепого повиновения; те и другие наслаждаются его страданием и не внемлют его жалобам; трон и алтарь равно обагрены кровью. Между тем небольшое число мудрых скрывает в мрачной внутренности храмов Индии и Египта последнюю искру человечества и просвещения, последний дар Востока. Они затмевают глаза профанов странными обрядами, они таятся под непроницаемым покровом эмблем и аллегорий; они говорят языком, непонятным для народа. Законодательство в их руках принимает вид грозный и надменный; формы правительства жестоки и неумолимы. Верховная власть сама склоняет под иго теократов; но врожденная сила человеческого ума побеждает, наконец, все препятствия. Он стремится к другой части мира. Чрез Египет текут науки в Грецию; она тогда же образуется чрез сношения с финикиянами. Между берегом Аттики и берегом Малой Азии сосредотачиваются все движения человеческого ума. История мира делается историею Греции. Египет и Финикия передают ей просвещение, мудрость и торговлю. Восток угасает; вселенная изменяется; человеческий ум возрождается в новом виде под чудесным небом Греции. Достояние всех веков делается собственностью оного народа. Он налагает свою печать на историю. От судьбы двух или трех городов Аттики и Лаконии будет отныне зависеть моральная судьба вселенной.

Воображение отдыхает, переходя к сей эпохе истории, которую поистине назвать можно юношеством человеческого ума. Кто не увлекался произведениями Греции? Чье сердце не билось при чтении Гомера или Софокла? Кто не плакал над падшими при Фермопилах? Кто не торжествовал с победителями Марафона? Но сей век очарований исчез навсегда и не оставил нам следов. Религия греков при всем своем превосходстве над всеми другими религиями политеизма представляет еще странное сочетание нравственности и разврата, высокого полета и постыдных обрядов; она, по словам Монтескье, останавливала руку, а забывала сердце. Она не могла образовать гражданской жизни греков. Формы их правительств приличны только им. Города, рассеянные на берегах моря, могли процветать каждый особенно под республиканским правлением; но республиканское правление занимает в истории то самое место, которое занимают в жизни прекрасные мечты юности. Человечество возмужало; и если феномен республиканских правлений возобновился и в новых временах в некоторых небольших государствах, то можно сказать, что ни аристократические республики

Италии в Средних веках, ни федеральное правление Гельвеции ни в чем не сходствует с республиками Древнего мира. Вообще нельзя довольно часто повторять, что Древний мир со своею поэзиею и со своими законами для нас отцвел навсегда[1]. Сравнение форм древних правительств с нынешними весьма ложно; политическое образование древних колебалось между самовластием и безначалием. Все другие оттенки им чужды. Мир древних делился на две неравные между собою части: с одной стороны, свободнорожденные, с другой – рабы[2]. Все правительства были основаны на сем начале. Оно господствовало везде: у подошвы Кавказа, на берегах Ганга, под тенью пирамид, на площади афинской, в Сенате Рима и в его кровавых играх. Мир повиновался и безмолвствовал; никто не изыскивал происхождения сего порядка; он терялся во мраке веков. Право свободных над рабами, основанное на состоянии *военнопленных*, имело у древних ужасное, в наши времена, к счастью, неизвестное пространство. Оно было выше законов; оно попирало ногами самые светлые чувства природы. Горе побежденным! (Væ victis!) – вот эпиграф народного права у древних. В древнем мире рабы не почитались горестными жертвами строгой судьбы. Древние видели в них особый род людей, природою на вечное рабство осужденный, издавна лишенный не только всех своих прав, но даже всей способности ими когда-либо пользоваться. Ни один философ древности не восстал против сей мысли. Иные проповедовали снисходительность в обхождении с рабами; но ни Платон, ни Сенека не внимали гласу природы и не защищали прав человечества[3]. Грозная *вековая* давность укрепляла систему древних правительств, всех на рабстве основанных. Никакая власть земная не могла коснуться сих твердых начал, христианская религия обратила их в прах; от ее светильника рассыпались все умственные и все телесные узы. Христианская религия есть великий урок *морального равенства*, Богом миру преподанный. Не народы Германии, не войны Севера и Востока, даже не пороки тиранов и не разврат народа разрушили колосс Римской империи – христианская религия нанесла ему смертельный удар. Он пал под десницею Того, *чье царство несть от мира сего!*

[1] «Ακμαιου αυθος εφυρα κουις». *Meleager*.

[2] "Summa itaque divisio de jure personarum haec est: quod omnshominesautliberisunt, autservi". Institut. L. I. Tit. III. de jure personarum. – "Serviautem ex eo appelati sunt quod imperatorescaptivosvendere ac per hoc servare, nec occidere solent; qui etiammancipiadictisunt, eo, quod ab hostibus manucapiantur". Ibid. § III.

[3] Сенека в 48 письме к другу дает ему наставление касательно до обхождения с рабами: «Этот человек, – говорит он, – которого ты называешь рабом, также родился в свет, как ты. Он наслаждается тем же небом, питается тем же воздухом, живет и кончит жизнь подобно тебе. Они рабы, но они люди; они рабы, но они живут под одним кровом с тобою. Они рабы? Нет… друзья в низкой доле, товарищи в рабстве: ибо и ты повинуешься судьбе, как они!». В другом месте того же письма Сенека говорит: «Как безрассудно судить о человеке по одежде или по ремеслу, которое также не что иное, как одежда? Он раб, но может быть он свободен духом; он раб, но можно ли его обвинять в этом? Не все ли люди рабы? Один – раб сладострастия, другой – скупости, третий – честолюбия; все суть рабы боязни!». Посреди сих красноречивых порывов рассуждение Сенеки ограничивается следующею дилеммою: «Будь снисходителен к рабам, ибо сам можешь лишиться свободы!». Сенека остановился на сей точке благоразумного эгоизма; но и тут он чудесен. Достойно замечания, что его необыкновенное уважение к человечеству; его чистая и возвышенная мораль, его смелая борьба с предрассудками заставили думать, что он знал Евангелие. Какое торжество религии! Оттого только, что писатель начинает как будто сквозь туман постигать достоинство и права человечества, уже называют его тайным последователем Христа! Мы имеем и доныне мнимую переписку Сенеки со Св. Павлом; я говорю мнимую, ибо нельзя думать, чтобы сии 14 писем были те самые, о которых упоминают Св. Иероним и Св. Августин (см.: S. Hieronymide Script. Eccles. C. 12 и S. Augustini Epist. Ed Maced. 153. § 14, последний с сомнением). Если сия переписка когда-либо существовала, то она, конечно, не дошла до наших времен; та, которую мы ныне имеем, есть слабый опыт ученика. Так думали Юст-Липсий, славный издатель Сенеки, и все лучшие критики. Впрочем, Сенека имел случай слышать о Св. Павле, ибо его брат Галлион был проконсулом в Ахее и в Коринфе защитил Св. Павла от иудеев, изгнав их из судилища (см.: Деяния Апостолов. Гл. XVIII. 12). Полагают по преданию, что Сенека познакомился со Св. Павлом во время его заточения в Риме. Сходство некоторых мест из его посланий с мыслями и выражениями Сенеки удивительно (см. любопытную статью в Schoell Hist. delalitt. Romaine.T. II. P. 445 etseqq. Кроткое по тогдашним временам смелое суждение о рабстве и рабах могло бы оправдать предположение, что религия христианская имела влияние на мораль Сенеки.

Нет нужды, кажется, доказывать, что рабство, какое было у древних, имеет мало сходства с состоянием подданных, которое называется рабством в новой истории[1]. Дух христианской религии и самые учреждения германских народов противны духу древних законов. Феодальная система, из которой более или менее сей род рабства принял свое начало, коей влияние ощущается даже в самых отдаленных странах, не имеет никакого сходства с народным правом древних. Сей порядок служил приуготовлением к новейшей системе государств, и я предоставляю себе сказать впоследствии несколько слов о причинах, истребивших мало-помалу в Европе последние остатки феодального рабства, основанного на состоянии *приписанных к земле*, т.к. рабство древних основано на состоянии *военнопленных*.

Когда ваше внимание, юные питомцы, обратится на огромное здание Рима, тогда вы постигнете истинный переход человеческого ума к летам опыта и зрелости. Там вы увидите в первый раз, что значит слово человек, а еще более – что значит слово гражданин. В Греции сии два понятия почти всегда сливались в одно; или, лучше сказать, что человек всегда торжествовал над гражданином. Где *прекрасное* (ιοκάλον) было верховный закон, там строгое понятие о должностях гражданских не могло существовать. Буйный дух греческих республик всегда увлекался страстями и первым впечатлением. Афины осуждали на смерть Сократа и Фокиона, на изгнание Аристида и Демосфена. Греки в одно время боготворили и казнили великих мужей. Минута решила их судьбу как судьбу республики. Пылкая фантазия управляла греками, строгий и наблюдательный рассудок царствовал в Риме; там вы увидите верх воображения и искусств, здесь – верх политической мудрости и проницательности; в Афинах гражданин уступал человеку; в Риме человек был жертвою гражданина; но в Риме вы изумитесь, увидя чудесное влияние сильной воли и постоянного славолюбия; вы узнаете в Римской республике, в самой колыбели ее, будущую обладательницу мира[2]. Поколения изменяются – Капитолий бодрствует. Какой ряд государственных людей великих в делах мира и войны! Какая цепь важных происшествий! Какое торжество глубокого и неослабевающего разума! И когда после восьми столетий счастливый Октавий садился на трон вселенной, то при блеске такого величия мы почти забываем, что две трети человеческого рода стенали под игом жесточайшего рабства; что римляне, гиганты в доблести и пороках, пили в золотых чашах слезы и кровь вселенной и в беспечном упоении не ведали, что *Освободитель мира* родился под соломенным кровом в забытом краю их огромной империи…

Падение Рима, возраставшего восемь столетий, продолжалось около 600 лет. Сие одно доказывает твердость сего политического состава – единственного в летописях истории. Рим упал не от внешних политических происшествий, даже не от собственных раздоров. Главная причина его падения было давно ожидаемое преобразование морального мира, которое совершилось посредством христианской религии. Европа, удрученная под игом самовластия, переходила от высочайшей степени силы к совершенному изнеможению старости; Европа без нравственности и без религии устремляла взоры на Восток и

[1] Где понятия между собою существенно различествуют, там следовало бы различествовать и *названиям*. Поллион, друг Августа, мог приказать в присутствии самого Императора бросить в воду на съедение кровожаждущих рыб слугу, разбившего хрустальный сосуд, и Август, приказав разбить все прочие сосуды сего, удовольствовался просить Поллиона о помиловании преступника, обнимавшего с воплем его колена. Вот рабство древних! Рабство в новых временах при всех своих заблуждениях не знало сих неистовств. Оно скрывало с трепетом свои случайные преступления и везде подвергалось справедливому мщению законов. Право *жизни* и *смерти* над рабами было в Риме ограничено двумя законами: в 673 г. от основания законом Суллы, lege Corneliadesicariis, и в 813 г. законом консула Петрония, lege Petroniadeservis. Император Адриан в первый раз уничтожил совершенно сие право, которое, по признанию римских законоучителей, существовало везде: “apudomnes feregentes animad vertere, domini in servos vitae necis quepotes tatem fuisse”.Institut. L. I. Tit. VIII. § 1.

[2] “Turege, reiim, perio populous, romane, memento!” Virgil.

ожидала звезды, явившейся там, на краю неба, но коей блеск не отражался еще на Западе. Политеизм лежал во прахе; все основания гражданской жизни древних колебались; светильник философии гаснул; поэзия и красноречие исчезали безвозвратно; властители предавались всем порокам, народы стенали и развращались. Каждый день варвары наносили глубокие удары дотоле невредимому колоссу Рима; о, когда, наконец, сей тысячелетний дуб, воспетый Горацием, пал, пораженный громами, тогда густой мрак распространился по лицу земли; все умолкло, слабые лучи света побледнели; завеса опустилась – и мы видим конец древней истории.

Но пробуждение Европы было предназначено Промыслом. Оно сокрыло в лесах Германии залог ее политического возобновления; три главные причины произвели постепенное сие возобновление: *появление германских народов, феодальная система* и, наконец, *крестовые походы*. Народы, завоеватели и рушители Римской империи, выходили из Германии; чрез длинный ряд веков они сохранили характер, коего черты изобразили Юлий Кесарь и Тацит. Сим народам определено было разрушать и животворить, покрывать Европу кровавыми следами опустошения и вместе бросать повсюду семена будущего благоустройства, повергать поколения в рабство и воспламенять дух народный, распространять мрак и без ведома готовить торжество просвещения[1]; вы увидите в их полудиких учреждениях и нравах изумительные следы какого-то высокого политического образования, основанного на незыблемых правах человечества и гражданства, о коих не ведали просвещеннейшие народы Древнего мира[2]. По примеру Европы начинаем помышлять о свободных понятиях; если же вы спросите, где тот народ, у коего являются первые их признаки, история не назовет ни римлян, ни афинян, ни карфагенцев, ни спартанцев; она укажет вам на германцев Тацита! Гений германских народов воссел на дымящиеся развалины всемирной империи римлян, и с того времени начинается новая история. Германские народы, феодальная система и крестовые походы, а выше всего – тайное, но сильное влияние христианской религии – вот степени перерождения мира, тесно между собою связуемые и одна от другой происходящие. Из германских учреждений, смешанных с обычаями Рима и Галлии, проистекает феодальная система, о которой было много написано, но которую не многие разумели. Феодальная система, составленная из многочисленных разнообразных начал, требует особого внимания и заслуживает наше удивление. Оставьте софистам XVIII столетия надутые жалобы на времена варварства и фанатизма! С высшей точки зрения, на которую вас возведет история, вы увидите, что сей ряд веков, носящих в самом деле печать невежества и суеверия, есть одно из необходимых условий образования, одно из испытаний, предназначенных роду человеческому. Он необходимо должен был пробиться сквозь сей хаос, чтобы мало-помалу привы-

[1] Montesquieu, Gibbon, Iohannes Muller, Shiller.

[2] Наши древние законы от скандинавского происхождения имеют свой корень в законах германских. «Заметим, – говорит Карамзин, – что древние свободные россияне не терпели никаких телесных наказаний; виновный платил или жизнью, или вольностью, или деньгами – и скажем о сих законах, что Монтескье говорит вообще о германских: они изъявляют какое-то удивительное простосердечие; кратки, грубы, но достойные людей твердых и великодушных, которые боялись рабства более, нежели смерти» (Ист. Госуд. Росс. Т. II. – С. 63). Прибавим, что в сем отношении «Правда Русская» есть, без сомнения, драгоценнейший памятник нашей истории: Aviat queat avi nostril quum allium ac caepe verba eorum oler ent tamen opti meani matierrant (Varrofragm). Наши предки посреди своей грубости могли славиться глубоким чувством священных прав человечества и гражданства, нашедших ныне красноречивого защитника в могущественном монархе Севера. Кто мог без благоговения читать следующее место Его достопамятной речи? ”Prouvez á voscontemporains, que les institutions libérals, don’t on pretend confodre les principes á jamaissacré avec les doctrines subversives qui ontmenacé desnosjours les systême social d’uneépouvan table catastrophe, ne sont point un prestige dangereux; maisqueréalisées avec bonne foi et dirigéessurtout avec puretéd’intentionvers un but conservateur et utile á l’humanité, elles’allientparfaitement avec l’ordre, et produisent d’un comm un accord la prospérité des nations“ (Discous pronouncé á l’ouverture de la Diètede Pologne”. 15/27. Mars. 1818). Сии слова содержат обет всех благомыслящих и краткое, но сильное начертание обязанностей всех и каждого из них.

кнуть к блеску истинного света. Дабы узнать свои права и свои обязанности, он должен был истощать сперва необузданную силу юности. Политические общества не скоро созревают. Дух народов находит в своих заблуждениях сугубую страсть к истине; но сколько пропадших мореплавателей прежде Колумба! Сколько опытов прежде английской конституции! Политическая свобода не есть состояние мечтательного благополучия, до которого бы можно было достигнуть без трудов. Политическая свобода, по словам знаменитого оратора нашего века (лорда Эрскина), есть последний и прекраснейший дар Бога; но сей дар приобретается медленно, сохраняется неусыпною твердостью; он сопряжен с большими жертвами, с большими утратами. В опасностях, в бурях, сопровождающих политическую свободу, находится вернейший признак всех великих и полезных явлений одушевленного и бездушного мира, и мы должны по совету того же оратора или не страшиться опасностей, или вовсе отказаться от сих великолепных даров природы. Естественный ход политической свободы, видимый в истории Европы, удостоверяет нас в сей истине. Человеческий ум идет не всегда прямым, твердо означенным путем. То смелым порывом подается вперед, то вдруг останавливается; часто увлекаемый обманчивыми призраками, он прерывает свое стремление и, подобно задумчивому гению на памятниках древней пластики, он обращает свой факел к земле. Но успокойтесь! Факел не может погаснуть; он бессмертен, как душа человеческая, как вечное правосудие, как истина и добродетель!

Феодальная система, хотя необходимая степень в образовании Европы, могла только служить переходом к другому совершеннейшему составу государств; и когда она стала угнетать возникающий дух и противиться его предначертанному ходу, тогда Промысел родил в недрах феодальных законов способ и случай их навсегда уничтожить. Сей способ – *Крестовые походы*. Они – последнее испытание юной Европы; последний ее порыв, последняя ее поэзия. Под стенами Иерусалима, пред гробом Спасителя положен, наконец (без ведома строителей и, конечно, против их воли), первый камень будущего политического здания Европы. Рыцари креста погребли в степях Сирии лучшую часть своих воинств, свою славу и свои богатства; они предали на жертву жизнь нескольких миллионов, они пролили реки крови и слез; но, исполнители неизвестного им закона, они в замену толиких бед принесли в Европу новую искру свободы и просвещения!

Феодальное рабство, проистекающее не столько из германских законов, сколько из смешения их с нравами Галлии и даже с римскими учреждениями, начало мало-помалу исчезать от крестовых походов. В сем обороте участвовали религия, дух времен и самые внутренние обстоятельства государств. Гордый Гогенштауфен и последний его подданный делались равным образом *рыцарями креста*. Вот первый знак ослабления прав властителей![1]

Под знаменами Спасителя все воины были свободны и равны. Сверх того, *коронные вассалы*, отправляясь на войну и нуждаясь в деньгах, иногда продавали или закладывали свои поместья и отпускали на волю рабов, иногда по условию отказывались от некоторых прав своих; иные освобождали рабов для спасения души своей (proredemtioneanimæ). *Среднее состояние* (tiers-état), в руках коего была вся промышленность, образовалось тогда под покровительством королевской власти, в виде городовых обществ (communes). Сии общества откупали права властителей в больших городах, делавшихся таким образом приютами свободы и торговли. Сверх того, власть монархов, находившая всегда препоны в преимуществах непокорных больших вассалов и баронов, искусно воспользовалась их ослеплением и мало-помалу укреплялась в самовластии.

Мы видели, что у древних все люди делились на два класса: на *свободнорожденных* и на *рабов*. После падения Западной империи и торжества германских законов

[1] Уже в римских законах находим мы следы освобождения через военное ремесло, см.: Nov. 81. Tit. X. De Emancipatione.

возникло три рода людей: *рабы*, или *повинные*, которые служили другим; свободные, или воины, поселенные на завоеванных землях, и, наконец, *владельцы*, вожди на поле сражения и коим покорялись победитель и побежденный. Из сего разделения на три рода людей проистекало также разделение земель на три класса и вообще все оттенки публичного права в феодальном образовании, которого подробности не могут входить в пределы сего рассуждения. История нам покажет, юные слушатели, как сии три класса людей, образовавшихся, наконец, в виде трех различных состояний в государстве, стремились под влиянием крестовых походов расширять каждый сферу своего могущества сверх монархической власти, алкавшей тогда самодержавия. Не думайте, чтобы в сем смешении прав, в сей борьбе неприязненных страстей каждое государственное состояние было движимо великою мыслию общественного блага! Нет! Ни одно из них не простирало взоров далее тесного круга своих собственных выгод. Цари стремились к самовластию, бароны и большие вассалы искали упражнения в воинском ремесле, славы и добычи; среднее состояние, разбогатевшее от своего просвещения, покушалось сбросить свои оковы и в своих руках сосредоточить промышленность и торговлю. Каждый действовал собственно для себя, и ни один не ведал, что он – слепое орудие в руках Промысла, действовал единственно для основания равновесия всех политических сил и что из всех частных, ограниченных намерений должен был составиться согласный порыв к общему благоустройству Европы.

Нельзя приписать разрушения феодального рабства одним Крестовым походам. Главным доказательством сему служит то, что крестовые походы не образовали *свободных поселян*[1]. И если вы спросите, какая могла тому быть причина, то история вам скажет, что большие политические перемены сего рода суть медленный плод времен, свободное действие духа народного, обмен взаимных выгод всех государственных сословий; она вам скажет, что освобождение *души* чрез просвещение должно предшествовать освобождению тела чрез законодательство и что в жизни народов, как в жизни частного человека, свобода гражданская и политическая походит на ту драгоценную одежду, в которую римляне облекались, переходя от бурных лет неопытности к летам зрелого и совершенного возраста.

Я не буду следовать далее ходу истории. Мы видели, каким образом возникла новая система государств. Из германских законов возродилась феодальная система, а сия система произвела Крестовые походы, которые в первый раз представляют Европу в виде одного великого семейства, занятого одним общим делом, имеющего в виду одинакую цель. Пятнадцатое столетие довершило европейскую систему. Сей дивный век блистает всеми родами славы и величия. Америка, Мыс Доброй Надежды, книгопечатание, Реформация, порох, торговля в Индии – вот его трофеи. Отныне система европейских государств, заключающая их взаимные сношения, их публичное право, их общее просвещение, их всемирную торговлю, течет беспрепятственно на высшую степень образованности. Права человечества всеми признаны; права гражданства везде определены. Исчезла их неприязненная противоположность; ныне каждый должен хранить святой пламень любви к человечеству, чтобы сделаться достойным гражданином. Сии две обязанности соединяются в одну. Евангелие – залог свободы и просвещения примирило в образе христианина человека с гражданином.

[1] Одним из любопытнейших памятников Крестовых походов есть кодекс, составленный Готфридом Бульонским для Королевства Иерусалимского: Assisesde Jerusalem или Letrresde St. Sépulcre. В сем кодексе видно уже значительное усовершенствование феодальных понятий, как-то учреждение трибуналов, в которых каждый был судим своими равными (первый зародыш *присяжных*, издревле известных в России. См.: *Карамзин Н.М.* Ист. Госуд. Росс. Ч. II. – С. 62). Но между тем в тех же законах Готфрида цена *раба* равнялась с ценою *ястреба*, а верховая лошадь ценилась против *поселянина* или *военнопленного*. (*См.*: Coutume de Beauvoisis, par Thaumas de la Thaumassière. – Bourges, 1690, in-folio).

Кто может ласкаться надеждою окинуть взором все неизмеримое пространство истории? Один бесконечный разум обнимает огромную картину времен, пред ним открытую. Мы должны довольствоваться уверением, что каждое явление в истории относится к своему началу и входит в состав морального мира и что все большие политические перевороты подлежат вечным законам необходимого. Так, например, если, вспомнив о предмете сего рассуждения, вы захотите знать, почему народ, не участвовавший ни в одном из общих переворотов Европы, ныне владеет ее жребием? Каким образом сей народ, младший сын в многочисленном европейском семействе, в течение одного столетия превзошел своих братьев и, сохранив в своих учреждениях, в своих нравах след душевной юности, ныне алкает просвещения и стремится похитить у других и лавр воинской славы, и пальму гражданской доблести? По какому дивному сплетению происшествий правнук Петра Великого на берегах Сены восстановил трон Св. Людовика? И если, наконец, обращая мысль на самих себя, на окружающие вас памятники, на великолепную столицу – Пальмиру Севера, на сию мирную обитель наук, на предмет и на дух сегодняшнего собрания, вы с удивлением спросите, как природа могла произвести сии чудеса на том самом месте, где за сто лет перед сим дремало болото, столь же далекое от образованной Европы, как вечные степи Северной Америки? Тогда мы вам скажем: «Внимайте гласу истории! Она вам ответствовать будет; она объяснит все ваши сомнения, решит все ваши вопросы; она вам скажет, сколь завидна участь народа, коему Провидение даровало ряд государей, соответствующих требованиям времени и вполне удовлетворяющих духу своих столетий. Государства имеют свои эпохи Возрождения, свое младенчество, свою юность, свой совершенный возраст и, наконец, свою дряхлость. Наблюдение сих больших перемен – первый долг попечительного правительства. Желание продолжить один из сих возрастов далее времени, назначенного природою, столь же суетно и безрассудно, как желание заключить возмужающего юношу в тесные пределы младенческой колыбели. Теория правительства в сем случае походит на теорию воспитания. Не то достойно похвалы, которому удалось увековечить младенчество физическое или моральное; то премудро, которое смягчило переходы одного возраста к другому, охранило неопытность, заранее открыло способности ума, предупредило опасности и заблуждения и, повинуясь закону необходимого, возрастало и зрело вместе с народом или с человеком. Все сии важные истины содержатся в истории. Она – верховное судилище народов и царей. Горе тем, кои не следуют ее наставлениям! Дух времени, подобно грозному Сфинксу, пожирает не постигающих смысла его прорицаний!».

Теперь мне остается только изъявить сердечное желание, чтоб каждый из тех, которые в сем храме просвещения будут образоваться великими примерами истории, нашел в них новые побуждения более любить свое Отечество, свою веру, своего Государя; чтоб каждый из них посредством истории, особенно истории отечественной, коей мы видим, наконец, достойный памятник, благодаря твердости духа и таланту великого писателя, научался предпочитать честь народную своей собственной жизни; благородство чувства и независимость духа – всем благам мира; истину и добродетель – всем обольщениям страстей; чтоб каждый из них, к какому бы сословию он ни принадлежал, где бы он ни был поставлен судьбою, имел всегда в виду, что и он – звено неизмеримой цепи, объемлющей в своем составе все народы, все племена, все человечество.

Время Уварова: идейный контекст

Раздел первый

М.М. Шевченко
С.С. Уваров. Политический портрет

Д.А. Бадалян
«Официальная народность» или народность? С.С. Уваров и А.С. Хомяков

А.О. Мещерякова
Граф С.С. Уваров в контексте русского консерватизма первой половины XIX века

С.В. Удалов
В тисках идеологии: власть и общество в России второй четверти XIX века

Е.С. Холмогоров
Русификация русских. Граф Уваров и третий русский национализм

игумен Виталий (Уткин)
Мифология истории, народность и православие в концепции графа С.С. Уварова (к разработке проблемы)

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-1-27-50

Максим Шевченко

С.С. Уваров. Политический портрет

…Он был одним из тех выдающихся русских государственных деятелей, чье имя историческая память российской интеллигенции прочно отождествила с той общественно-политической и культурной традицией, которая пала в борьбе с революцией, сокрушившей в 1917 году историческое Российское государство. Так сложилось, что историческая литература вплоть до новейшей эпохи не столько изучала его государственную деятельность, сколько боролась с его тенью, формировала и поддерживала его отрицательный образ. Она делала это в XIX веке в силу зависимости от настроений, преобладавших в среде интеллигенции, жаждавшей уничтожения тех институтов, которые защищал Уваров, – традиционного русского самодержавия и господствующего статуса Православной Церкви. Она продолжала это делать в XX веке в меру сохранения верности стереотипам[1] интеллигентского сознания и постольку, поскольку после 1917 года не могла не быть частью пропагандистской машины государства, рожденного победившей революцией.

«Исторический прогресс», одержав в сугубо отрицательном смысле полную и безоговорочную победу над теми ценностями, которые защищали русские консерваторы XIX – начала XX века, за малым исключением избежал признания достижений консервативной политики императора Николая I и его министра Уварова. Между тем с ее помощью были заложены основы самостоятельного отечественного общественного образования именно как системы, значение которой в исторических судьбах русской культуры XIX–XX веков или российской цивилизации, как говорят сегодня, трудно переоценить. Социокультурные изменения в обществе, произведенные уваровскими университетами, пансионами, лицеями, гимназиями послужили необходимой предпосылкой всех реальных достижений пореформенного времени в области государственного строительства, развития гражданского общества, науки, литературы, искусства.

Сергей Семенович Уваров (1786–1855) принадлежал к старинной русской дворянской фамилии. Родившись в семье подполковника лейб-гренадерского или, по другим сведениям, лейб-гвардии Конного полка, он был крестным сыном императрицы Екатерины II. Получил домашнее образование под руководством французского аббата-эмигранта. В 1801–1810 годах служил по ведомству иностранных дел, с 1806-го находясь на дипломатических должностях в Европе. В 1810–1821 годах был попечителем Санкт-Петербургского учебного округа и членом Главного правления училищ – руководящего органа Министерства народного просвещения. В это время он получил под руководством крупного филолога академика Ф.Б. Гре-

[1] Самый распространенный из них – представление о так называемой теории официальной народности [см. подробнее 1, с. 89–104].

Шевченко Максим Михайлович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России XIX века – начала XX века Исторического факультета МГУ. E-mail: Shevch_mm@mail.ru

фе подготовку в области классических языков и литературы, чем сразу выделился среди тогдашней придворной аристократии. С 1818 года и до конца жизни он в качестве президента стоял во главе Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. За свою жизнь сделался почетным членом около ста отечественных и зарубежных научных обществ и академий. В 1833–1849 годах был министром народного просвещения, оставаясь на этом посту дольше всех, кто в дореволюционной России занимал это место как до него, так и после. После его смерти Императорская Россия прожила до первого революционного потрясения те самые «пятьдесят лет» – срок относительного внутреннего мира, который, по свидетельству современника, Уваров скромно назначил целью своей политики.

Становление Уварова как личности в юные годы протекало под влиянием ученолитературного мира Франции и Германии, знакомства с И.-В. Гете, Г. Штейном, А. Шлегелем, Ж. де Сталь, К.А. Поццо ди Борго и другими выдающимися людьми того времени. Ориентированный по своему воспитанию на французский аристократический салон эпохи конца «Старого порядка», Уваров быстро приобрел широту интеллектуальных интересов в сочетании с тонким эстетическим вкусом, тягу к античным древностям, любовь к науке и стремление к постоянному самообразованию. Вместе с этим он быстро проникся распространявшимся тогда в Европе романтическим умонастроением, в ущерб оптимизму Просвещения усвоив себе взгляд, что современное направление развития европейских народов разрушает все наиболее совершенное и благородное в области их духовной культуры. Широкую известность и авторитет в научных кругах Европы ему принес «Проект Азиатской академии» (1810) и особенно «Опыт об элевсинских таинствах», за который его удостоил в 1816 году своим почетным членством Институт Франции, где иностранцев с таким званием было тогда не более восьми человек.

Его управление столичным учебным округом сопровождалось публичными, в том числе печатными выступлениями, где он, будучи примерно вторым по значению лицом в ведомстве народного просвещения, пространно излагал общемировоззренческие мотивы своей административной деятельности. Важнейшим орудием просвещения народа он считал историю. Ее он в духе современной западной религиозной философии понимал как процесс борьбы человечества за постепенное воплощение в общественных отношениях идей христианства. Правильно преподающий историю должен был проливать «на сей огромный хаос благодетельный луч Религии и Философии. С сими двумя светилами может человеческий ум найти везде успокоение, и достигнуть до той степени убеждения, на которой человек почитает сию жизнь переходом к другому, совершеннейшему бытию» [2, с. 2, 23–24, 25]. Он придерживался характерного для немецких романтиков органического понимания жизни народов и государств: «Государства имеют свои эпохи возрождения, свое младенчество, свой совершенный возраст и, наконец, свою дряхлость» [3, с. 53]. Поскольку элементы государства или общества связаны между собой не механически, а органически, целенаправленное преобразование каждого такого организма должно происходить в строгом соответствии с познанными законами его исторического роста. Тиранический произвол, идущий ли сверху, или снизу, приведет к культурной катастрофе. Всякий действительно процветающий народ или государство на всех этапах своего развития сохраняет свое неповторимое культурное лицо – «народный дух» – свое неповрежденное органическое единство. Тенденции новой европейской истории представляют для него угрозу: «Быстрый ход наук и художеств, сильное распространение роскоши и общежития, направление к торговле сблизили между собой все Государства Европы. Сей порядок вещей, искоренив мало-помалу почти в каждом Государстве народный дух, готовил медленную пагубу Европе» [2, с. 22]. Грянула Французская революция, принесшая «столько бесполезных преступлений и бедствий». Волей Провидения монархия в конце концов была восстановлена, что свидетельствует о незыблемости «права царей», народы же, отстояв-

шие свои освященные преданиями истории престолы, должны быть справедливо вознаграждены в своих лучших стремлениях. Поэтому государи и их подданные должны теперь принести «взаимную жертву самовластия и безначалия», – рассуждения Уварова здесь шли в соответствии с общеевропейской идеологией легитимизма [4, с. 7, 47–48]. В отличие от Европы, по мысли Уварова, «народный дух» был еще достаточно прочен в России. Его следовало сохранять, как и «тот изящный характер, на который ныне Европа смотрит как изможденный старец на бодрость и силу цветущего юноши» [2, с. 24]. По мере того, как под сенью скипетров христианских государей народы нарастят общественную добродетель и достигнут «истинного просвещения», которое есть не что иное, как «точное познание... обязанностей человека и гражданина», наступит конечная историческая цель идеального развития человеческого разума – осуществление политической свободы. Неясным из выступлений Уварова оставалось то, как же именно он намерен был в России сочетать достижение последней с сохранением в целости «народного духа», универсальное с исключительным, формальное с содержательным. Важно отметить, что, восхваляя политическую свободу как «последний и прекраснейший дар Бога» и определяя Россию как «младшего сына в многочисленном европейском семействе», Уваров следовал за императором Александром I строго в диапазоне либерализма последнего. Речь Уварова 22 марта 1818 года, содержавшая такие суждения, была откликом на речь монарха 15 марта при открытии сейма в Варшаве, где Александр сказал о возможной перспективе введения конституции в России, пытаясь таким образом возобновить характерную для начала его царствования либеральную политическую повестку дня, прерванную в 1812 году.

Будучи в числе основателей знаменитого литературного общества «Арзамас», Уваров вместе с Д.Н. Блудовым, Д.В. Дашковым, В.А. Жуковским, с которыми его объединяло, помимо прочего, самое глубокое уважение к Н.М. Карамзину, постарался отклонить желания Н.И. Тургенева, М.Ф. Орлова, П.А. Вяземского придать обществу отчетливо политический характер, избегая малообязывающих разговоров на политические темы. В понимании Уварова добиться политической гармонии невозможно помимо или вопреки исторически сформировавшемуся государству. Поскольку наличествовавший в стране уровень просвещения был невысок, он полностью исходил из необходимости опираться на исторически сложившийся политический и социальный строй. Ступени образовательной системы, над устроением которой он трудился, должны были соответствовать российской сословной иерархии. Он преобразовал Главный педагогический институт в Санкт-Петербургский университет, учредил в нем преподавание восточных языков и литератур, реформировал учебные планы гимназий и уездных училищ, – что было распространено на все учебные округа империи, – предпринял организацию при университете особого института по подготовке учителей для учебных заведений низшей ступени. Преобразовательные опыты были прерваны острым конфликтом Уварова с новым руководством ведомства народного просвещения, которое в 1817 году в духе теократических мечтаний Александра I было оформлено как Министерство духовных дел и народного просвещения. Уваров воспротивился политическому походу против университетов, который повели приближенные министра А.Н. Голицына, бывшие вольтерьянцы, а теперь неофиты-христиане М.Л. Магницкий и Д.П. Рунич. Критика университетов не должна была, по его мнению, вести к крайностям обскурантизма. Когда по обвинению в преподавании «богохульственных и пагубных доктрин» профессора Петербургского университета предстали перед судом, Уваров в крайне резкой форме потребовал суда над ним самим, если виновность подсудимых будет доказана. В июле 1821 года в знак протеста он подал в отставку с поста попечителя столичного учебного округа. Император сохранил Уварова на службе, переведя в Министерство финансов, на должность директора Департамента мануфактур и внутренней торговли. В борьбе с «мистической партией» Сергею Семеновичу оказывал поддержку будущий император,

а тогда великий князь Николай Павлович, гвардейский генерал, шеф русских военных инженеров и организованного под его руководством Главного инженерного училища.

Небольшая доля характерных для «дней александровых прекрасного начала» оптимистических ожиданий относительно преобразований в либерально-эгалитарном духе, бывшая у Уварова, была окончательно скомпрометирована в его глазах в 1820 – начале 1830-х годов. «Священные права царей» вновь стали ниспровергаться. Декабристский заговор, окончательное падение Бурбонов во Франции, ожесточенная и кровопролитная война с польскими инсургентами, общее брожение в Европе развеяли мечты о том, что по мановению монарха на Россию сразу снизойдет столько просвещения, сколько окажется достаточно для того, чтобы явленная безболезненно гражданская и политическая свобода водворила социальную гармонию. Теперь Уваров видел во всем этом опасные «иллюзии императора Александра». Трагедия либерально настроенного императора, по его мнению, состояла в том, что «он не понимал своей страны, не знал ни ее нужд, ни ее предрассудков, ни ее страстей» [5, л. 122–122 об.]. Ответ о причинах распространенности подобных иллюзий тогда напрашивался сам собой. «Россия еще слишком мало известна Русским», – сказал А.С. Пушкин императору Николаю I в 1826 году. Желание ради торжества «европейских понятий» совершить насилие над органическим ходом русской жизни в понимании Уварова было результатом отчуждения от «народного духа» вследствие одностороннего увлечение универсалистскими идеями Просвещения. Характерно, что в 1820-х годах Уваров совершал длительные поездки по России. Приобретенные таким путем познания весили для него как минимум не меньше, чем общение с учено-литературным миром Европы и собственные кабинетные штудии. «Те пять или шесть лет, которые я таким образом провел, – писал Уваров, – мне доставили, осмелюсь сказать, точное и глубокое знание моей страны, которого без этого средства я никогда не смог бы достичь». В это же самое время он с разрешения императора шлет ему одну за другой несколько записок, главная среди которых – «О крепостном праве в России», – по замыслу Уварова, должна была нейтрализовать влияние на еще неопытного монарха либеральных тенденций, исходивших от председателя Комитета 6 декабря 1826 года графа В.П. Кочубея.

Крепостное право, полагал Уваров, изначально отсутствовало в феодальном укладе Древней Руси, под которым он в духе «норманнской теории» понимал привнесенное извне германское начало. Оно есть следствие и результат всей ее дальнейшей исторической судьбы. На своем многовековом пути она смогла преодолеть татаро-монгольское завоевание, политическую немощь, материальное оскудение, гражданскую войну, иностранную узурпацию и анархию Смуты, лишь создав и укрепив самодержавие. А это до необходимой степени потребовало постепенного утверждения крепостничества «как неизбежное следствие одного из другого». В научном отношении весьма сложно, а с политической точки зрения и бесполезно искать абсолютной точности в вопросе о том, кто, когда и каким конкретно нормативным актом его ввел, и им ли именно его утвердил. Достаточно знать, что «последним, кто приложил здесь руку, был Петр I». Далее оба начала – самодержавие и крепостное право – подверглись изменениям под влиянием цивилизации XVIII века и по настоящее время они не остаются неподвижными. В нынешней России «могучая власть, которая ею правит, столь же далека от чистого деспотизма, как то крепостничество, которое существует в настоящее время, удалено от рабства». Но цивилизация XVIII века влияла не только положительно. В «последний период нашей истории» – минувшее царствование – наряду с началом крепким, «органическим», «жизненным», проявилось и другое – «искусственное и иногда ребяческое». Причем инициировало его правительство. И теперь, полагал Уваров, «очевидно, что у нас общество следует путем, движение по которому не находится в руках людей, стоящих у власти». В нем заложен потенциал нездоровых политических тенденций. Правильный подход к оценке значения и перспектив развития

отечественных социальных и политических институтов был нарушен, и «произошло великое колебание во всем, что связано с принципами и духом правления. Вместо того, чтобы рассматривать вещи в их совокупности, кинулись то к одной идее, то к другой. Не принимая во внимание первопричину правления, сказали: “Никакого крепостного права. Его не существует ни в Англии, ни во Франции, оно должно перестать существовать в России”». Потерпев поражение, энтузиасты либерально-эгалитарных доктрин из окружения императора Александра «пустили в ход демократию… жалкую, двусмысленную, которая несла скорее дух злопамятного упрека, чем видимость благородной воли ради дела, которое не лишено одобрения в Европе. Принялись оскорблять дворянство, осыпать насмешками аристократическую славу, интриговать против старых предубеждений, всецело сохраняя свои собственные пристрастия, повторять затверженные аксиомы…». Когда же на международном горизонте сгустились тучи и грянул гром наполеоновского нашествия, «заметили, что дух народа ничего не выиграл от этих либеральных перебранок, что опоры государства были там, куда их поместила сила вещей, и надо было, в конце концов, обратиться к этим естественным основам, чтобы от них получить спасение страны…». Пора уже, наконец, призывал Уваров, раз и навсегда поставить точку в абстрактно-теоретических морально-философских спорах и не тратить понапрасну время: «…Крепостное право, в принципе, не может быть защищено никаким разумным и искренним аргументом; излишне собирать против него анафемы, которых никто не оспаривает, и давно исчерпанные сарказмы. К этой очевидной истине присоединяется принцип, не менее положительный: крепостное право может и должно быть отменено…». Истинная проблема заключается в том, как это поставить на подлинно практическую почву. Крепостное право, каково бы оно ни было, является живым органом общественно-государственного тела, который рос и развивался вместе с ним, и эта часть не может быть просто механически удалена без угрозы для жизни целого. Представляя возможные действия правительства, Уваров указывал три основных пути или способа действия.

Первый способ – именем самодержавия одним актом отнять у помещиков их право в пользу высшей власти. Уваров намекал, что именно к этому, по сути, стремился Негласный комитет 1801–1803 годов. Такая мнимая концентрация власти в действительности скоро привела бы к ее распаду. Правительство постепенно оказалось бы без рычагов управления на местах. Это станет вполне очевидным для того, кто учтет особенности современного состояния страны, а именно: «…Малую зрелость простого народа, огромное интеллектуальное пространство, которое отделяет его в России от высших классов, наследственную привычку к того рода гражданской и политической опеке, которую представляет в наши дни крепостничество, ряд религиозных и нравственных идей, который установил иерархическую связь между троном и хижиной, внутреннюю и домашнюю организацию с общим отпечатком феодального строя… разнородные части, из которых состоит империя, ее необычайные размеры, ее ресурсы, которые этим размерам не пропорциональны, это странное смешение культов, воспоминаний, традиций, происхождений…». Объем реальной правительственной власти пойдет на убыль, явится и начнет расти «демократический элемент, разом спущенный с цепи», который будет нечем контролировать. И, таким образом, пойдет процесс, который, начавшись моментальным упразднением крепостничества, завершиться «демагогической реакцией» и «анархией», гибелью высших классов и падением трона.

Второй способ решения проблемы симпатичен тем, кто видит «в отмене крепостничества лишь вопрос личного интереса тех, кто обладает, и тех, кем обладают, лишь фискальную сделку, привилегию или монополию, таковых можно привести к мысли, что, уменьшив на порядок размер этой привилегии, ежедневно что-нибудь убавляя в ее объеме, увеличивая разногласия обеих сторон, ссоря их под маской беспристрастности, умножая взаимные затруднения, можно было бы довести до абсурда отношения, которые

были бы парализованы, и при том незаметно». Но это будет, считал Уваров, ненужный акт лицемерия, который скомпрометирует власть, не достигнув цели. То есть другим, более извилистым путем правительство придет к, примерно, такому же пагубному результату.

Для того чтобы правильно наметить перспективы решения вопроса о крепостном праве, правительство должно усвоить, что российское высшее сословие на самом деле вовсе не представляет для него серьезной политической угрозы. В этом отношении оно вовсе не похоже на свои западные аналоги. «…Когда бросаешь взгляд на то, что называется дворянством в России, – говорил Уваров, – видишь лишь странную амальгаму элементов самых пустых и разрозненных, только корпорацию без нравственной силы, корпорацию полуразрушенную, обедневшую, которая живет лишь при помощи нескольких исторических иллюзий, кое-какого усвоенного просвещения и права помещичьей собственности – единственного права, которое у него не похитило время. Можно ли добросовестно говорить об аристократии в стране, где в течение почти столетия она безразлично открыта всему свету, где ей дается больше обязанностей, чем прав и где она имеет в качестве единственной гарантии превосходство своей цивилизации и невежество низших классов?». Правительству можно легко парализовать интриги, возбуждающие в дворянстве дух фронды, бывшие, по мнению Уварова, «одной из тайных причин наших последних смут» – мятеж 14 декабря 1825 года он помещает, таким образом, в один ряд с гвардейскими заговорами XVIII века. Дворянство можно и необходимо постепенно увлечь на путь просвещения. Именно здесь, в «успехах цивилизации», заключаются шансы обеспечить безопасное упразднение крепостничества. «...Если цивилизация не действует на оба элемента сразу, она не достигнет своей цели, – подчеркивал Уваров. – Надо, чтобы под ее влиянием господин и раб становились людьми духовно переродившимися, один – достойным дать свободу, другой – ее принять». На практике это представлялось Уварову как «политическое образование господ посредством идей» и развитие крестьянского промысла и торговли, а также увеличение путей к добровольному освобождению помещиками крестьян: «…Всякого рода соглашение между собственником и крепостным должно быть облегчено законом…».

Отмена крепостного права должна представлять собой длительный процесс органического видоизменения страны, тщательно продуманную заранее правительственную систему мер, осторожно проверяемых и постепенно вводимых, которая должна сопровождаться ответным пробуждением и возрастанием созидательных сил народа. Общее благосостояние страны должно непременно возрастать. «Приходские школы для народа, университеты для высших классов и классов средних – вещи сами по себе добрые и прекрасные; но поскольку гражданские законы не будут строго исполняться, поскольку режим кнута будет произвольно господствовать в нашем законодательстве, поскольку промышленность и торговля останется подчиненной угнетающим фискальным формам, поскольку духовенство без просвещения и достоинства будет и дальше нанятым за нищенскую плату народа, цивилизация останется бесплодной и истратит силы понапрасну… коренные, как говорят, почти неизлечимые пороки нашей внутренней администрации… еще долго будут противодействовать тому, что третье сословие сможет подняться и расцвести между обеими великими аномалиями, которые разделяют империю. Легко создать на бумаге эти средние классы, но невозможно заставить их жить…». Освобождение крепостных должно сопровождаться построением новой иерархии власти, ибо «верховная власть не может находиться одна, лицом к лицу с нацией свободных людей; ни одна форма правления не может допустить абсолютное уравнивание». Наконец, «когда права всех и каждого будут ясно установлены, когда от уважения к лицам перейдут к уважению собственности, когда муниципальная система, приспособленная к положению страны, распространит по всем местностям выгоды бдительного управления, когда классы государства, точно определенные, обретут свое возможное благосостояние, каждый в своем соответствующем поло-

жении и все в их взаимном согласии, когда Россия будет покрыта цветущими городами, хорошо возделанными полями, высокодоходными мануфактурами, когда рынки отовсюду будут открыты для сбыта их продуктов, тогда великая проблема ее политического существования будет решена, и новая форма правления, успешно родившаяся из наших старых учреждений, возвестит новую эру ее истории».

Руководя процессом, власть в любом случае должна «помногу выжидать время и не опережать естественный ход вещей». В целом для упразднения крепостного права необходим срок активной жизни двух или трех поколений, то есть последние остатки крепостничества, по Уварову, должны были исчезнуть в России, примерно, в 1880-х годах. Освобождение крепостных фактически должно свершиться задолго до того, как его юридически констатирует собственно законодательный акт [6, оп. 1, ед. хр. 106, л. 2–25 об.].

Вес Уварова в делах ведомства народного просвещения был в глазах императора Николая I достаточно высок. Как президент Академии наук он заседал в составе образованного в 1826 году Комитета устройства учебных заведений, хотя сам и не придавал своему участию в его деятельности важного значения. Вместе с Д.В. Дашковым добился в 1828 году замены «чугунного» цензурного устава министра народного просвещения А.С. Шишкова уставом, гораздо более мягким и удобоприменимым.

Уваров фактически предложил монарху посмотреть на дело просвещения России как на стратегическую подготовку упразднения крепостного права – уничтожения «зла, веками укоренившегося» (Н.М. Карамзин). Его рассуждения, очевидно, произвели впечатление на императора. Примерно через год Николай I поставил Уварова во главе ведомства народного просвещения.

Относительно успеха поручавшегося ему дела Уваров не питал радужных надежд и не скрыл этого от самодержца. В близком кругу своих доверенных сотрудников в Министерстве народного просвещения Уваров высказывался с не меньшей тревогой и пессимизмом: «Мы, то есть люди девятнадцатого века, в затруднительном положении: мы живем среди бурь и волнений политических. Народы изменяют свой быт, обновляются, волнуются, идут вперед. Никто здесь не может предписывать своих законов. Но Россия еще юна, девственна и не должна вкусить, по крайней мере теперь еще, сих кровавых тревог. Надобно продлить ее юность и тем временем воспитать ее. Вот моя политическая система... Если мне удастся отодвинуть Россию на пятьдесят лет от того, что готовят ей теории, то я исполню мой долг и умру спокойно» [7, с. 174].

Лозунгом своей деятельности в качестве министра народного просвещения Уваров сделал ставшую столь знаменитой формулу «Православие, Самодержавие, Народность», перефразировав, по сути, старинный военный девиз «За Веру, Царя и Отечество!». Текст, раскрывающий смысл формулы, дошел до нас в двух докладах императору Николаю I – «Отчет по обозрению Московского университета» (1832) и «О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством Народного просвещения» (1834), – а также в юбилейном отчете за десять лет управления министерством (1843). Бесконтрольная европеизация, полагал Уваров, обрекает Россию на развитие по пути общественных катастроф, кровавых междоусобиц и конечную деградацию. Но возможность удержать страну от губительного скольжения по наклонной еще остается благодаря некоторым спасительным началам, искони ей присущим. Православная вера – для России первое и основное. С ее ослаблением творческие силы народа обречены на угасание: «Без любви к Вере предков, народ, как и частный человек, должны погибнуть; ослабить в них Веру, то же самое, что лишить их крови и вырвать сердце. Это было бы готовить им низшую степень в моральном и политическом предназначении». Следует добавить, что глубокого влияния православной святоотеческой традиции на мировоззрение Уварова не прослеживается. Говоря здесь о Православии, он, по-видимому, оставался европей-

ским консерватором-романтиком. Характерно, что в черновом наброске на французском языке доклада 19 ноября, он вместо «Православие» написал «Народная вера» («Religion nationale») [6, оп. 1, ед. хр. 98, л. 18 об.; см. также: 8, с. 71–104]. Самодержавие является оптимальной формой русского державного бытия, «представляет главное условие политического существования России». Любое поползновение к его формальному, то есть институциональному ограничению неминуемо повлечет снижение могущества, ослабление внутреннего мира и спокойствия страны. «Русский колосс упирается на самодержавии, как на краеугольном камне; рука, прикоснувшаяся к подножию, потрясает весь состав Государственный. Эту истину чувствуют неисчислимое большинство между Русскими; они чувствуют оную в полной мере, хотя и поставлены между собой на разных степенях и различествуют в просвещении и в образе мыслей, и в отношениях к Правительству. Эта истина должна присутствовать и развиваться в народном воспитании». Вопрос о «народности» Уваров оставлял открытым, очевидно, адресуя его решение творческим способностям и усилиям конкретных представителей отечественной образованности, готовых не пожалеть для этого своей жизни и талантов. Здесь «все затруднение заключается в соглашении древних и новых понятий... Государственный состав, подобно человеческому телу, переменяет наружный вид свой по мере возраста: черты изменяются с летами, но физиономия изменяться не должна. Безумно было бы противиться сему периодическому ходу вещей...». С другой же стороны, нелепо, забыв самих себя, бросаться в погоню за «мечтательными призраками» – фетишами иноземной культуры, – «следуя коим, нетрудно... наконец утратить все остатки Народности не достигнувши мнимой цели Европейского образования» [9, с. 70–72]. Основную мысль Уваров выразил с предельной ясностью – для того, чтобы неизбежные с течением времени перемены не вызвали опасных смут, необходимо утвердить в новом поколении европейски образованных русских людей неразрывную связь национального самосознания с Православной верой и чувством верноподданнического долга перед царем-самодержцем. Конкретные же способы достижения такой цели, в том числе и определение того, где возрастные изменения, а где – признаки разложения и распада, он отнес к техническим проблемам Министерства народного просвещения. Обнадеживал Уварова в начале 1830-х годов дух учащейся молодежи, который он обнаружил. Его не единожды повторенные слова о «необходимости быть Русским по духу прежде, нежели стараться быть Европейцем по образованию», о «возможности соединить вместе незыблемое чувство верноподданного… с просвещением, принадлежащим всем народам и векам», студенты, к радостному удивлению Сергея Семеновича, встречали с неподдельным энтузиазмом [10, стлб. 349].

Итак, основная мысль Уварова ясна – для того, чтобы неизбежные с течением времени перемены не вызвали опасных смут, необходимо утвердить в новом поколении европейски образованных русских людей неразрывную связь национального самосознания с православной верой и чувством верноподданнического долга перед царем-самодержцем. Но какими конкретными способами это осуществить? Какие именно перемены в российском национально-государственном организме и какие именно общественные идеи являются лишь «возрастными изменениями», а какие – признаками разложения и распада? Точного ответа Уваров не дал, отнеся это к техническим проблемам своего ведомства. Возможно, что и находившиеся в распоряжении средства оставляли место сомнению в конечном успехе.

По своему душевному складу Уваров оставался человеком александровской эпохи. Того времени, которое выдающимся историком русской мысли протоиереем Г.В. Флоровским определялось как «вряд ли не самая высшая точка русского западничества... когда и самая душа точно отходит в принадлежность Европе... становится в это время Эоловой арфой», той эпохи, когда как будто бы состоялось «пробуждение сердца», но еще не «про-

буждение мысли» [11, с. 128–129]. Зрелому Уварову оставались близки Ф.-Р. Шатобриан, братья Шлегели, Ф. фон Баадер, отчасти, возможно, А. фон Гакстгаузен – европейские консерваторы-романтики с их устойчивым политическим пессимизмом: «Дано ли нам, – говорилось в докладе 19 ноября 1833 года, – посреди бури, волнующей Европу, посреди быстрого падения всех подпор Гражданского общества, посреди печальных явлений окружающих нас со всех сторон укрепить слабыми руками любезное Отечество на верном якоре, на твердых основаниях спасительного начала? Разум, испуганный при виде обломков прошедшего, падающих вокруг нас, и не прозревая будущего сквозь мрачную завесу событий, невольно предается унынию и колеблется в своих заключениях» [6, оп. 1, ед. хр. 38, л. 17 об.].

Но, будучи по своей интеллектуальной культуре глубоко западным человеком, Уваров теперь это отлично осознавал и тем сильнее желал, чтобы будущее поколение, оставаясь на европейском уровне образованности, «лучше знало Русское и по-Русски». Во время ревизии Московского учебного округа в 1832 году он обсуждал в университете с профессорами идею издания историко-литературного журнала, «чтобы внушить молодым людям охоту ближе заниматься историей отечественной, обратив больше внимания на узнание нашей народности во всех ее различных видах» [10, стлб. 354]. Подобная тяга к национально-культурному самопознанию, открывающему источники творческой самостоятельности в условиях западного влияния, обнаруживается и в известной записке А.С. Пушкина «О народном воспитании» (1826), приготовленной для императора: «Россия еще слишком мало известна Русским, сверх ее истории, ее статистика, ее законодательство требуют особенных кафедр. Изучение России должно будет *преимущественно* [курсив мой – *М.Ш.*] занять в окончательные годы умы молодых дворян, готовящихся служить отечеству верою и правдою...» [12, с. 34]. Этому должно было способствовать, по мнению Уварова, приобретение русской образованностью перспективы самостоятельного углубления в источники, расширяющие горизонты собственных традиционных духовно-культурных основ. «Стараясь привлечь к изучению греческого языка и словесности, Министерство руководствовалось... убеждением... и в необходимости основать новейшее русское образование тверже и глубже в древней образованности той нации, от которой Россия получила и святое учение Веры и первые начатки своего просвещения», – подчеркивал Сергей Семенович в отчете о десятилетнем управлении министерством [13, с. 20].

Назначение Уварова главой ведомства народного просвещения вызвало самый благоприятный отклик в европейском научном мире. «Вы очевидно угадали, – писал ему в 1833 году А. фон Гумбольдт, – сколько надежд на достижения науки и человеческого разума должны связаться в нашем представлении с известием о назначении Вас министром народного просвещения» [14, с. 118]. Но серьезное изменение в уваровском понимании целей народного просвещения в России не осталось незамеченным иностранными политическими наблюдателями. «...Уваров сделался горячим поклонником узкого славянофильства. Это тем более удивительно, что этот министр большой поклонник иностранной литературы и с успехом печатал свои статьи в немецких и французских журналах, но по-русски писал очень мало», – отмечал баварский посланник О. де Брэ [15, с. 131–132]. Сам Уваров к успеху у широкой европейской публики относился не без иронии. По поводу одной своей, по собственному выражению «безделки», опубликованной во Франции, он как-то раз писал М.П. Погодину: «Успех этой статьи в Париже доказывает, что Французы все тот же народ, о котором Юлий Цезарь писал, что он ветрен и легкомысленен» [16, стлб. 2103]. Едва ли не более чем научным авторитетом в Европе, Уваров дорожил доверием императора Николая I и своим весом в русской придворно-бюрократической среде.

Ко времени назначения Уварова на пост министра народного просвещения министерство существовало уже треть века, и в представлениях правительства о роли и значе-

нии деятельности этого ведомства для государства сложились определенные традиции. Возведя в ранг особой отрасли государственного управления и в дальнейшем реорганизуя систему народного образования, то есть в целом предназначенного так или иначе для постепенного просвещения всего народа, самодержавное правительство стремилось казенными учебными заведениями вытеснить частные, снизить до минимума их значение или оттеснить их на задний план. Таким способом хотели уронить роль иностранных учителей, дабы устранить опасность отчуждения от отечественной культуры представителей высшего и других сословий, стремящихся к получению образования. С другой стороны, правительство добивалось возможно более полного привлечения в государственные учебные заведения дворянского сословия. Однако образованность в России не была обязательным атрибутом благородства. Предпочтение отдавалось опыту, приобретаемому продолжительной государственной службой, и сопрягавшемуся с ним кругу специальных знаний и навыков. Тяга дворянства к получению образования оказывалась недостаточна, ее рост далеко отставал от увеличения государственных потребностей. По мере этого правительство соглашалось допускать в гимназии и университеты представителей высшего и других сословий, за исключением крепостных. Другого выхода у него не было.

С началом царствования Николая I по линии ведомства народного просвещения стали чаще акцентировать факт существования в России сословного строя, который ему вменялось в обязанность полнее учитывать в своей деятельности. «...Необходимо, чтобы повсюду предметы учения и самые способы преподавания были по возможности соображаемы с будущим вероятным предназначением обучающихся, – говорилось в рескрипте императора министру А.С. Шишкову в 1827 году, – чтобы каждый... не быв ниже своего состояния, также не стремился чрез меру возвыситься над тем, в коем, по обыкновенному течению дел, ему суждено оставаться» [17, стлб. 71]. Это означало, что в учебные заведения от гимназии и выше разрешалось принимать представителей только «свободных состояний». Крепостные, в том числе дворовые, могли быть допущены лишь в приходские и уездные училища, как казенные, так и соответствующей ступени частные. Более же всего высшая власть стремилась за счет притока образованных людей радикально обновить чиновничество, поднять качество государственной службы, общую культуру администрации. Неудачи не колебали решительности и настойчивости верхов в этом вопросе.

Убеждаясь в невыполнимости правил 1803 года, разрешавших занимать штатную должность в государственных учреждениях только лицам с дипломами, и закона 1809 года об обязательных экзаменах для претендующих на чины восьмого и пятого класса, правительство одновременно шло по пути предоставления отдельных привилегий в чинопроизводстве выпускникам различных казенных учебных заведений.

Со второй половины царствования императора Александра I шел процесс вызревания другого капитального элемента правительственной системы в отношении народного просвещения. В качестве конструктивной реакции на критику Н.М. Карамзиным закона 1809 года об экзаменах на чин Александр в апреле 1812 года распорядился приступить к разработке конкретных программ экзаменов для гражданских чиновников в соответствии с родом их службы. В течение двадцати двух лет, то вспыхивая, то затухая, то вновь оживляясь, в комитетах и комиссиях шли дискуссии вокруг вопроса о значении образовательного ценза для гражданской службы: в каком смысле образование чиновников должно быть общим, в каком – специальным, фундаментальным или прикладным [см. 18, оп. 2, 1830 год, д. 48а]. Одним из главных достижений николаевской политики была система разделения всех чиновников по срокам производства на разряды в зависимости от уровня образования. Подготовленная, по-видимому, при определяющем влиянии председателя Департамента законов Государственного совета М.М. Сперанского и введенная в 1834 году вместо мертворожденного закона 1809 года об экзаменах на чин, она созда-

вала твердую тенденцию к постепенному накоплению лиц, не только служебно опытных, но и развитых интеллектуально, на крупных должностях в правительственном аппарате [18, оп. 2, 1834 год, д. 36]. Именно такая система составляла могучий фундамент для неуклонного роста престижа отечественной системы образования, поскольку наилучшим образом учитывала нравственные ценности и социальные предпочтения высшего сословия России. Такая система задавала тенденцию к постепенному группированию во внутренней иерархии правительственного аппарата на достаточно высоком уровне чиновников новой формации [19, с. 33–36, 51–52].

Еще задолго до этого император Николай I издал указ Сенату от 18 февраля 1831 года «О воспитании Российского юношества в отечественных учебных заведениях». В нем говорилось, что получившие образование за границей «молодые люди возвращаются иногда в Россию с самыми ложными о ней понятиями. Не зная ее истинных потребностей, законов, нравов, порядка, а нередко и языка, они являются чуждыми посреди всего отечественного». Для предотвращения этого молодым людям до исполнения восемнадцати лет запрещалось выезжать из России «для усовершения в науках». Нарушители запрета теряли право поступать на государственную службу, как на военную, так и на гражданскую. Исключения допускались по особому высочайшему разрешению [17, стлб. 423–424].

При этом, желая видеть образованного человека чиновником и обретать в качестве такового, по возможности, дворянина по происхождению, придворно-правительственная среда совершенно не воспринимала его как частное лицо, публично выступающее, в частности, в печати по вопросам, волнующим общественное мнение. Весьма малочисленная читательская аудитория увеличивалась крайне медленно. Цензура закрывала печать для проявлений самодеятельной общественной мысли, отсекала проявления общественного мнения. После мятежа 14 декабря 1825 года недоверие правительства к неофициальному печатному слову усилилось еще более. Закулисный доверительный диалог члена правительства с литератором-журналистом, доступ последнего в «коридоры власти», то есть то, на что надеялся так называемый пушкинский круг писателей, – в 1830-х годах было совершенно исключено. Действовать «как можно келейнее» (Л.В. Дубельт), держать публику максимально в неведении – казалось после 14 декабря единственно разумной нормой. «...защищение через газеты изданных высочайшей властью законов вовсе не было бы согласно с достоинством монархического правления» [20, № 2, с. 306], – эта фраза из официальной бумаги, написанной в канцелярии министра финансов Е.Ф. Канкрина, вполне отражала господствующую в верхах точку зрения.

Все эти устоявшиеся представления правительственной среды С.С. Уваров, заступив на министерский пост, так или иначе должен был принять в расчет.

Сохраняя стремление дать «перевес отечественному воспитанию над иноземным», Уваров старался снизить значение частных училищ. По его инициативе в 1833 году было принято постановление «О мерах против умножения пансионов и частных учебных заведений». Открытие новых таких пансионов в Петербурге и в Москве приостанавливалось, в других городах дозволялось в виде исключения и только с разрешения министра. Содержателем и преподавателем частных заведений отныне мог быть только русский подданный. В следующем году было введено положение о взымании штрафов с преподавателей, не имевших специально оформленного разрешения от училищных начальств. В 1835 году для наблюдения за частными училищами была создана особая инспекция. В 1830-х годах известная озабоченность уровнем образования детей получила заметное распространение среди провинциального дворянства. «...В помещичьих семействах средней руки... в каждом из этих семейств, – воспоминал помещик Тверской губернии, воспитанник Московского благородного пансиона Г.Ф. Головачев, – вы могли тогда уже найти учителей, учительниц, гувернеров и гувернанток, разумеется, иностранцев, большей частью знавших только свой

родной язык, что не мешало им принимать на себя преподавание всевозможных предметов. Найти хорошего учителя или учительницу было тогда очень трудно, ибо контингент педагогов наших отечественных был крайне ограничен, и если случайно попадался порядочный учитель, то сколько-нибудь дельная русская учительница была явлением слишком редким, а потому ей и предпочитались всегда иностранки, особенно Француженка, которая при одинаковой степени понятий могла по крайней мере научить своему родному языку, а возможность блеснуть французским языком перед соседями значительно входила в соображение помещика при выборе наставников и наставниц для детей» [21, с. 719]. Знакомая Уварову ситуация с воспитанием отпрысков столичной аристократии начала века повторялась теперь с детьми провинциальных помещиков. Чтобы постепенно поправить дело, в 1834 году было принято «Положение о домашних наставниках и учителях», согласно которому последние впредь считались состоящими на действительной службе по ведомству народного просвещения и, следовательно, ему подотчетными и подконтрольными.

Созданные в 1826 году пансионы для детей дворян и чиновников при гимназиях не снискали себе авторитета у высшего сословия. В 1832 году, вернувшись из Москвы, изучивший дворянские настроения Уваров ходатайствовал перед императором о создании особых благородных пансионов как сословных средних учебных заведений, которые бы полностью содержались на средства самого дворянства. Предложение было принято. В том же году открылось шесть таких пансионов. В дальнейшем число их с каждым годом стало расти. В 1835 году было уже 25 благородных пансионов, в 1838-м – 36, в 1842 году их насчитывалось уже 42. Лишь с конца 1840-х годов дворянское рвение к учреждению пансионов ослабло: с 1849 по 1863 год открылось всего только четыре новых [22, с. 195; 13, с. 9]. «...Помещение в гимназию... – вспоминал Головачев, – было тогда исключением, и дворяне избегали его как заведения, куда допускались дети всех сословий, следовательно, как общества неприличного будто бы для молодых дворян. Это самое смешение сословий заставляло их неблагоприятно смотреть и на университет; военная служба путем юнкерства считалась для дворянина более нормальною карьерой, чем гимназии или университеты; уважались только заведения, исключительно основанные для благородных детей» [21, с. 722]. Тем не менее среди гимназистов дети дворян и чиновников абсолютно преобладали: в 1833 году их численность составляла 78,9% общего числа учащихся, в 1843-м – 78,7% [23, с. 206]. Старания Уварова привлечь первенствующее сословие в высшие учебные заведения увенчивались чуть меньшим успехом. Среди студентов дети дворян и чиновников составляли в 1836 году 67% общей численности, в 1844-м – 61,7%. Сравнительно большая демократичность состава студентов показывала, что рост государственной потребности в образованных людях по-прежнему опережал рост престижа образованности у высшего сословия.

За шестнадцать или семнадцать лет своей министерской деятельности Уваров завершил формирование преемственных учебных программ трех уровней образования: приходских училищ, уездных училищ, гимназий и пансионов, а также двух лицеев из четырех. Было поднято на высокий уровень преподавание древних и новых языков в гимназиях. Можно сказать, что примерно, с 1840-х годов студент в университете иностранные языки уже не изучал: он ими пользовался. При этом Уваров был далек от позднейшей фетишизации школьного классицизма. Древние языки в средних учебных заведениях рассматривались им, по преимуществу, как инструмент развития речи и мышления при известном, так сказать, дефиците русского языка и словесности, то есть в отсутствие канона классической русской литературы.

При Уварове была завершена разработка нового общего университетского устава, принятого в 1835 году вместо прежнего устава 1804 года. Обыкновенно в литературе подчеркивался консервативный характер нового устава, сменившего прежний устав,

либеральный, имея в виду ограничение университетской автономии. Изучение широкого европейского контекста истории русского университета показывает, что устав 1835 года был русским отражением проходившего в Германии перехода к новой «гумбольдтовской» модели классического университета, начатой с открытием в 1809 году по проекту В. фон Гумбольдта Берлинского университета [см. подробнее 24, с. 503–548]. Высказанное еще в 1819 году предложение Уварова отделить административно-хозяйственную часть университета от учебно-научной было поддержано правительством в ходе работы Комитета устройства учебных заведений 1826 года. Уже будучи во главе министерства, Сергей Семенович завершил создание централизованной системы управления учебными округами с ограниченной университетской автономией, сохранив за министерством право назначать профессоров из числа лиц, обладавших ученой степенью. Последним крупным его усилием в развитии и укреплении принципов новой европейской модели российского университета была исподволь возбужденная им в Государственном совете в 1845 году дискуссия о том, что такое профессор университета, ученый или преподаватель. Поводом для нее послужил вопрос о том, с какого времени считать профессора находящимся на государственной службе: с момента отправки лица, предназначенного для занятия кафедры, на обязательную заграничную стажировку или с момента начала им преподавания на кафедре. Император согласился с первым. Таким образом, Уваров, доказывавший, что профессор – это прежде всего ученый, а его научные занятия – это род государственной службы, в споре с Департаментов законов Государственного совета одержал победу [см. 18, оп. 3, 1845 год, д. 82].

Отправка за границу на два года для продолжения обучения отборных выпускников университетов была одной из первых мер, инициированных императором Николаем I по ведомству народного просвещения. Командировки за казенный счет выпускников, предназначенных к преподаванию в высших учебных заведениях, были затем продолжены и при Уварове, активно их поддерживавшем, были возведены в систему. Всего в 1835–1848 годах профессорские кафедры в пяти императорских российских университетах заняли общим числом 122 молодых ученых, прошедших зарубежную стажировку, что составляло 57% общего штатного состава, а с учетом тех, кто занял кафедры после зарубежных стажировок до принятия устава 1835 года, – 67% [25, с. 62–63]. В два с половиной раза выросло жалованье профессорско-преподавательскому составу. При этом общее количество профессоров в университетах увеличилось в среднем на треть. До уровня окладов университетских профессоров в среднем возросло жалованье членов Академии наук.

Русским профессорам и преподавателям не дано было права заниматься дисциплинарными и финансовыми вопросами своих университетов, но они могли строить свою профессиональную деятельность и готовить собственные научные кадры для России, ориентируясь на самый высокий европейский академический стандарт.

Росту уровня преподавания в высших учебных заведениях способствовала и деятельность Академии наук. «Только с назначением президентом Сергея Семеновича Уварова Академия наук окончательно вошла в рамки государственных учреждений России и получила в них то высокое положение «первенствующего ученого сословия», которое являлось для нее идеалом и необходимостью... – писал академик В.И. Вернадский. – Счастливым случаем было в истории Академии, что Уваров... неизменно оставался в ней до нового царствования – до эпохи Великих реформ... Состояния, в котором он нашел Академию в 1818 году и в каком она была в 1849 году, были несравнимы, и в этом огромном росте Академии роль Уварова была первостепенной. Отнюдь не преувеличением и не искажением истины в официальных юбилейных речах и некрологах были те указания, какие делались в заседаниях Академии наук в 1843 году, в 25-летие его президентства, и в 1855 году, в поминание его после смерти. Президентство Уварова действительно со-

ставило эпоху в истории Академии...» [26, с. 239–240, 242]. Одним из достижений было осуществление масштабной исследовательской программы в области русской истории и языкознания.

В.И. Вернадский также обратил внимание на то, что со времени образования Отделения русского языка и словесности русский язык впервые за более чем столетнюю историю учреждения вошел в употребление в качестве официального в заседаниях Общего собрания Академии наук, в I и III Отделениях еще продолжал господствовать французский язык. «Чем более росла Академия, – отмечал историк русской науки, – тем большим диссонансом звучал ее во многом интернациональный, до известной степени немецкий, уклад, тем настойчивее чувствовалась в русском обществе необходимость ввести ее целиком в круг своих чисто национальных орудий» [26, с. 246, 248]. Во второй четверти XIX века усилиями Академии наук наряду с научными журналами, сборниками на иностранных языках появляются аналогичные периодические издания на русском языке [см. подробнее 27, с. 135–141]. Отделение русского языка и словесности появилось в составе Академии наук в 1841 году в результате включения в нее по распоряжению императора Российской Академии после смерти ее президента А.С. Шишкова. По инициативе Уварова в состав II Отделения вошли прославленные поэты – И.А. Крылов, В.А. Жуковский, П.А. Вяземский, видные историки и филологи – М.П. Погодин, П.М. Строев, А.Х. Востоков, И.И. Срезневский, К.И. Арсеньев, выдающиеся проповедники – митрополит Филарет (Дроздов), епископ Иннокентий (Борисов). Членами-корреспондентами Отделения стали известные лингвисты В.И. Даль, П. Шафарик, В. Караджич. Академия наук, как и университеты, сохраняла право самостоятельной цензуры своих изданий и право бесцензурного получения изданий зарубежных.

Именно с 1840-х годов зарождаются отечественные научные школы. Русские университеты, русская наука становятся явлением подлинно европейского масштаба, их значение начинает отмечаться на Западе.

Постепенно усилиями императора Николая I и министра Уварова складывается определенная предпочитаемая правительством связь между уровнем образования и предназначением его обладателей. Необходимым и достаточным для чиновника и дворянина признается среднее образование [18, оп. 2; там же, 1831 год, д. 9]. Желавший служить по ведомству народного просвещения в идеале должен был окончить российский университет. Чтобы преподавать в университете, необходимо было пройти обязательную двухгодичную заграничную стажировку. Это стажировка на практике по представлению министра Уварова императором Николаем I могла быть продлена. Самым продолжительным, около шести лет, было такое пребывание за границей слависта О.М. Бодянского. Причины испрашиваемых продлений были сочтены уважительными.

Общерусская образовательная традиция под руководством Уварова получила утверждение в Западном крае, венцом чего было становление Университета Св. Владимира, учрежденного в 1834 году в Киеве. С учреждением в 1839 году Варшавского учебного округа были сделаны первые шаги по введению российского образования в Царстве Польском. В Дерптском учебном округе Уваров постепенно ввел в преподавание и административное употребление русский язык наряду с немецким.

Не допуская проявлений в подконтрольной ему публичной сфере панславистских политических тенденций, Уваров поддерживал развитие в России научного славяноведения. Поводом для трений с ведомством иностранных дел служили его обращения к русским дипломатическим миссиям за содействием посылаемым за границу русским ученым-славистам. Их коллеги – австрийские подданные – вызывали политические подозрения у властей. Австрийский кабинет оказывал давление на представителя России в Вене. Один такой случай вызвал в 1842 году обмен мнениями перед императором между министром иностранных дел

графом К.В. Нессельроде и министром народного просвещения С.С. Уваровым. Нессельроде подчеркивал заинтересованность России в сохранении стабильности как в Австрии, так и в Турции: «Поостережемся, чтобы с нами не случилось то, что с нашим бедным другом Каподистрией. Ему также хотелось только просвещать, цивилизовывать, обучать своих соотечественников, возбуждать и поддерживать Русские симпатии, и в одно прекрасное утро он просыпается в Лайбахе со здоровенной революцией на руках, которая вовлекла Россию в кровопролитную и разорительную войну, первой жертвой которой стал он же, Каподистрия. Вот куда мы придем, если не будем твердо пресекать тенденцию к Славизму...».

Духовные, культурные, научные связи России с зарубежными славянами Уваров брал под защиту, подчеркивая их глубокие исторические корни, и настаивал на дифференцированном подходе к проблеме: «...Славянский вопрос имеет две стороны: одна – вздорная, опасная, полуреволюционная, другая – упорядоченная, мирная, инстинктивная и, поэтому, нерушимая. Использование этого важного различия было уже и будет в тех предметах, которые непосредственно меня касаются: у нас есть кафедры славянских языков во всех наших университетах; наша молодежь с жаром предается соответствующим исследованиям, не только университетская молодежь, но и множество писателей, представители духовенства этими исследованиями занимаются; мы посылаем за границу, в частности, в страны, населенные славянскими народами, молодых людей, обязанных готовить себя к преподаванию славянских наречий, столь важных для нас; мы публикуем большие сборники по истории и древностям, исследования о происхождении славян, с другой стороны – молитвенники, требники, священные сосуды идут за границу, снабжая обедневшие церкви наших единоверцев; все это движение – коренное, связанное с нашими традициями, которое объемлет все предметы нашего почитания и нашей любви. Надо ли ему мешать, прерывая его то в одной форме, то в другой из-за того, что оно возбуждает недоверие за рубежом? Надо ли мало-помалу парализовывать, если не запрещать, эти вековые отношения из-за того, что тому или иному иностранному кабинету понравится искать под оболочкой исторического и религиозного братства братство политическое?» Соглашаясь в принципе с Нессельроде, Уваров обращал внимание на лишь относительную устойчивость как русско-австрийского, так и русско-турецкого возможного сближения, на ту область, где интересы России не могли совпадать с интересами Австрии, да и не только ее: «...иностранные кабинеты стремятся подорвать остатки нашего влияния на наших единоверцев; чтобы денационализировать славянское население, они пришли к соглашению отнять у них религиозную веру и их уверенность в нас. Этот способ эффективен, но не нов. Со своей обычной осмотрительностью Австрия употребляет его уже давно... один польский перебежчик предлагает Франции присоединиться к этому делу разрушения под двойным знаменем *католицизма* и *либеральных идей*... Для России этот вопрос совершенно противоположен видам Европы. В наших глазах точка объединения находится всецело в тождестве религиозных идей и исторических начал. Всякий, кто действует в противоположном смысле, есть враг, в каком бы цвете он ни представляется». Запад стремится подорвать связи России с зарубежными славянами именно потому, что они могут и должны послужить ей политическим ресурсом в будущем: «...не возникнут ли возможности... посреди которых Россия однажды будет призвана употребить рычаги, которые европейская политика хотела бы прежде этого времени выбить из ее рук, поскольку они являются естественным оружием... силой... продиктованной самой природой вещей?» [6, оп. 1, ед. хр. 42, л. 8 об.–9, 11–13]. Характерно, что впоследствии темой своей магистерской диссертации Сергей Семенович избрал происхождение болгар. Обращает внимание и то, что свое имя он, будучи министром, писал на церковнославянский лад – «Сергій».

Уваров не упускал случая осторожно дать почувствовать коллегам из высших бюрократических сфер значение новых достижений науки и образования для правительствен-

ной политики. Известно, что он с успехом приглашал членов Государственного совета генерал-адъютантов князя И.В. Васильчикова и графа В.В. Левашова в учебные аудитории Петербургского университета к профессору русской истории Н.Г. Устрялову. В году приблизительно 1836-м Уваров приглашал к себе Устрялова для прочтения отдельных лекций своего курса в присутствии графа Н.А. Протасова, переходившего тогда с должности товарища министра народного просвещения на пост обер-прокурора Святейшего синода. «Оба они делали замечания, – вспоминал Устрялов, – но вообще были в восторге, особенно граф Протасов; для него очень важно было тогда Литовское княжество по политическим соображениям; дело представлялось как-то смутно. Теперь же все стало ясно» [28, с. 623, 626]. Впереди было осуществленное в 1839 году воссоединение западнорусских униатов с Православной Церковью.

Вместе с тем Уваров склонен был ограничивать свободу научного изучения остроактуальных исторических тем. В 1842 году Н.И. Костомаров подготовил к защите и, как тогда требовали правила, опубликовал магистерскую диссертацию «О причинах и характере унии в Западной России». С соискателем пожелал познакомиться епископ Харьковский Иннокентий (Борисов). Ряд суждений диссертанта показался иерарху недостаточно взвешенным или неверным. По рассказу Костомарова, Преосвященный указал ему место, «где о споре Константинопольского патриарха с папою было сказано, что властолюбие иерархов посеяло вражду и раздвоение в миролюбивой Церкви Христовой». Вызвало возражение утверждение историка о «безнравственности духовенства в Западной Руси перед унией, о тяжелых поборах, которые брал с русских Константинопольский патриарх», и заключение о том, что «уния принесла отрицательную пользу Православию». Произошел научный спор. Диссертация, по-видимому, могла дать материал для антиправославной полемики. «Иннокентий, увидевши меня потом в церкви, – вспоминал Костомаров, – пригласил к себе и начал толковать снова, советуя мне после защиты диссертации ехать в Петербург и посвятить свои труды на более дельную и ученую разработку вопроса об унии» [29, с. 456]. Епископ предложил руководству учебного округа отложить защиту для предварительного оповещения министра. Уваров же поручил экспертный разбор диссертации Н.Г. Устрялову. Отзыв уважаемого Уваровым эксперта был категоричен и резко отрицателен. Доверившись заключению, министр распорядился отменить защиту, уничтожить весь тираж диссертации, а Костомарову предложить выбрать другую тему для работы. Новую диссертацию историк успешно защитил в 1844 году.

Заботы Уварова об университетах имели также далеко идущую цель – создать возможность притока на государственную службу кадров с наилучшей из возможного общей подготовкой. Он старался «возвысить университетское учение до рациональной формы», «поставив его на степень, доступную лишь труду долговременному и постоянному», дабы «воздвигнуть благоразумную преграду *преждевременному вступлению в службу молодежи еще незрелой*» [курсив мой – *М.Ш.*] [13, с. 18]. Но успех в качественном обновлении правительственного аппарата зависел уже не от одного Министерства народного просвещения, ибо вопрос этот слишком далеко выходил за рамки его компетенции. Дело заключалось в проблеме величины и характера устанавливаемых законом преимуществ по службе для лиц с образованием, – а до единомыслия в этом вопросе верхам было далеко. В стенах правительственных канцелярий очень многие отрицали, например, целесообразность деления чиновников на разряды по уровню образования, введенного в 1834 году. Преимущества образованных чиновников в скорости производства казались чрезмерными и несправедливыми. Министерство народного просвещения, опасаясь за слишком медленно растущий престиж своих учебных заведений, дорожило всеми привилегиями выпускников, чутко реагируя на всякое поползновение к их умалению. Так, в 1837 году был издан указ, обязывающий дворян и тех, кто по образованию имел право на классный чин, в начале карьеры прослужить три

года «в местах губернских или им равных в столицах или вне оных». В числе исключений были лица, имевшие право на восьмой и девятый классы [30]. Это могли быть выпускники с отличием Царскосельского лицея, Училища правоведения, магистры и доктора наук. Первоначально в Комитете министров, где обсуждался проект указа, было предположение, что изъятие из него будет для всех выпускников обоих аристократических училищ. Министр С.С. Уваров обратился к императору с возражениями: «...если все ограничения и обязанности нового Узаконения должны исключительно падать из Высших Учебных Заведений на одни Университеты то можно опасаться что прилив в оные молодых людей *особенно высших сословий, с таким трудом устроенный* [курсив мой – *М.Ш.*], впредь мог бы прекратиться...». Николай I поддержал министра. Правда, выпускников двух особых заведений с правом на восьмой и девятый классы было предписано брать в избираемые ими ведомства даже без открытия вакансий [6, оп. 1, ед. хр. 98, л. 59 об., 66].

В 1846 году был учрежден из всех товарищей министров Комитет по пересмотру Уставов о службе гражданской. Конечной целью император поставил ему «уничтожение гражданских чинов» [31, д. 1817, ч. X, л. 7 об.]. Уваров отреагировал на это запиской от 7 ноября 1848 года «О системе чинов в России», где утверждал, что последняя, если и устарела по форме, то по своему главному принципу никак не является анахронизмом. Министр доказывал, что в руках правительства система чинов есть исключительное по своему значению средство воспитания в народе духа служения государству, ее уничтожение неминуемо повлечет моральную деградацию чиновничества, а значит, и катастрофическое снижение дееспособности государственного аппарата: «Мысль общая за полвека, что каждый Русский подданный *должен служить Престолу*, мысль, которая благоговейно руководит целыми поколениями, с уничтожением Табели о рангах несомненно ослабеет... образуется новый разряд людей... менее привязанных к Правительству, а более занятых своими выгодами... людей без прошедшего и будущего... совершенно похожих на класс пролетариев, единственных в России представителей неизлечимой язвы нынешнего европейского образования» [6, оп. 1, ед. хр. 39, л. 260–261 об.]. В итоге работа Комитета фактически приостановилась, но предположение об уничтожении деления чиновников на разряды по уровню образования было сформулировано и получило некоторый ход.

Уваров отдавал себе отчет в том, что развивающаяся общественная мысль требует печатного выражения, что можно принудить общественное мнение к печатному безмолвию, но нельзя остановить рост его значения. Еще будучи попечителем Санкт-Петербургского учебного округа, он полагал, что администрации надо как-то сотрудничать с представителями «пишущего класса», предлагал цензорам следить, чтобы «журналы, писавшие в 1812 году, иначе бы писали в 1815 году, и мало-помалу согласовывались бы с намерениями правительства, следуя таким образом общему стремлению к новому и прочному порядку вещей» [32, с. 107].

Теперь, став министром при Николае I, Уваров брался охранять существующий «порядок вещей». А для этого следовало немедленно пресечь проникновение в печать каких-либо отголосков общественно-политических вопросов, волновавших умы в минувшую эпоху. Посещая в качестве ревизора Москву, он дал в связи с этим четкие указания цензурному комитету. «Политическая религия, – внушал Уваров, – имеет свои догматы неприкосновенные подобно христианской религии; у нас они: самодержавие и крепостное право; зачем же их касаться, когда они, к счастию России, утверждены сильной и крепкой рукой» [33, с. 113–115]. А в официальном отчете, упоминая о «дерзости» некоторых журналов, «особенно московских», категорически утверждал, что необходимо пресекать «покушения» журналистов к «важнейшим предметам государственного управления», проникновение в печать опасных, приносимых из Европы «политических понятий», при этом

строго следить за рассуждениями о «предметах литературных», вообще умножать, где только можно, число «умственных плотин» [34, кн. 4, с. 84–85].

Не найдя общего языка с редактором «Московского телеграфа» Н.А. Полевым, Уваров методично и настойчиво стал добиваться закрытия журнала, на скупясь на самые неблагоприятные для репутации в верхах характеристики редактору, и в 1834 году, несмотря на то, что Полевому покровительствовал шеф жандармов А.Х. Бенкендорф, министр, улучив момент – появление отрицательной рецензии на понравившуюся царю драму Н.В. Кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла», – добился своего: «Московский телеграф» был закрыт. В истории с запрещением издания «Телескоп» Н.И. Надеждина, другого московского журнала, главную роль сыграло III Отделение. Уваров приложил к нему руку, подав докладную записку, где доносил, что в Москве господствует не искорененный после 14 декабря оппозиционный дух [35, с. 180].

Но министр понимал и недостаточность чисто репрессивных, запретительных мер. Например, в то же самое время в Петербурге он требовал от цензоров известной гибкости: «...действуйте так, чтобы публика не имела повода думать, будто правительство угнетает просвещение» [36, с. 130]. Цензурный устав не запрещал цензорам другие занятия. Министр привлекал в цензурные комитеты ученых и литераторов, но туда шли неохотно. «...Возиться в навозной куче не для того, чтобы отыскать бриллиант, а для того, чтобы выудить, что больше всего в ней воняет» – так отзывался об обязанностях цензоров шеф жандармов граф А.Ф. Орлов [31, д. 1817, ч. XI, л. 178]. Цензурный гнет в николаевское время усиливался еще и потому, что функции надзора за печатью продолжали рассредотачиваться за пределы непосредственно цензурного ведомства. Не только III Отделение, но и министерства (военное, финансов, внутренних дел, иностранных дел, императорского двора), Почтовый департамент, II Отделение собственной императорской канцелярии, некоторые временные учреждения могли вмешиваться в дела цензуры Министерства народного просвещения. Уварову приходилось защищать перед шефом жандармов своих цензоров от нападок. «Свидетельствуя о нас, то есть о Куторге и мне, как о лучших цензорах и профессорах, – рассказывал профессор А.В. Никитенко об одном таком случае, – министр заявлял, что находится ныне в большом затруднении относительно цензуры. Люди благонадежные не хотят брать на себя этой несчастной должности, и если мы с Куторгой еще остаемся в ней, то только по просьбе его, министра» [36, с. 130]. Издатели и авторы не без оснований смотрели на цензора как на своего естественного врага. Специальные правила обязывали цензурные комитеты в случае сомнений отдавать материалы, вплоть до художественных произведений, на просмотр в соответствующее ведомство. Опасаясь придирок и взысканий, цензоры старались перестраховаться. Имея в виду такое положение, попечитель Московского учебного округа граф С.Г. Строганов в 1845 году писал Уварову: «...я заметил на опыте, что писатели наши до крайности стесняются цензуры в издании своих сочинений; тем самым нередко благонамеренные и полезные для общей образованности статьи или остаются ненапечатанными, или выходят в свет совершенно несвоевременно». Строганов предлагал поручить ему посылать по своему усмотрению статьи на просмотр в то или иное ведомство. На отношении попечителя сохранилась помета чиновника канцелярии министерства: «Г<осподин> министр признал неудобным входить с представлением об этом деле» [20, № 2, с. 382–383]. Правда, и с самим Строгановым авторам приходилось нелегко. Например, тому же Устрялову стоило труда убедить влиятельного при дворе графа, что в его курсе русской истории «нет ничего противного нашим религиозным верованиям» [28, с. 627].

«Журнал Министерства народного просвещения», начавший выходить с 1834 году под редакцией А.В. Никитенко, успехом у публики не пользовался; большую часть тиража приходилось в обязательном порядке распространять по учреждениям ведомства. Уваров

пытался поощрять частноиздательскую деятельность «в духе правительства». К частным периодическим изданиям высшая власть относилась с наибольшим подозрением. С 1832 года для издания нового журнала требовалось разрешение царя. В 1836-м было даже временно запрещено ходатайствовать об этом. Уваров сумел получить 26 декабря 1837 года разрешение для М.П. Погодина издавать «Москвитянин». Всегда настороженно относившийся к подобного рода инициативам император на докладе министра написал: «Согласен, но со строгим должным надзором» [20, № 3, с. 590]. «Москвитянин» был последним литературным журналом, разрешенным в Москве в царствование императора Николая I.

Министр рекламировал журнал в верхах, поднес его первый номер царю, о чем не замедлил сообщить редактору в официальном письме. «При сем случае прибавил я, – писал он Погодину, – желательно, чтобы это новое периодическое издание... могло некоторым образом служить образцом для русской журналистики, к сожалению столь мало соответствующей доселе собственной цели и общей пользе» [34, кн. 6, с. 22–23]. В дальнейшем министр по мере сил старался разгонять какие-либо «тучи» над «Москвитянином». А.Х. Бенкендорфу как-то раз показались неуместными помещенные в журнале два анекдота о чиновниках, а может быть, он подумывал отыграться у Уварова за «Телеграф». «Статьи такого рода суть преступления перед правительством, коего чиновники суть органы... – заявлял он. – Этих причин... было бы вполне достаточно, чтобы воспретить г. Погодину издание “Москвитянина”». Уварову удалось замять скандал. «На этот раз я могу шум прекратить, – предупредил он издателя. – Впредь не отвечаю» [34, кн. 6, с. 44–45]. Ожидания Уварова, что «Москвитянин» «даст направление» журналистике, так и не сбылись. Издатели М.П. Погодин, особенно, и С.П. Шевырев не многого добились в борьбе за умы читающей публики. У Погодина часто не хватало даже такта в обращении со славянофилами – идейно наиболее, быть может, близкими ему представителями нового поколения. Кроме того, его деловые качества были не на высоте. Аудитория журнала не росла, а уменьшалась. Число подписчиков с пятисот упало в 1846 году до двухсот [37, с. 498].

В 1844 году Уваров рекомендовал разрешить профессору Т.Н. Грановскому издавать журнал «Московское обозрение», ссылаясь на одобрительный отзыв попечителя С.Г. Строганова. Грановский принадлежал к поколению профессоров, начавших научную и преподавательскую деятельность уже при Уварове: «духа 14 декабря» министр в нем не подозревал. Император отказал с характерной для него резолюцией: «И без нового довольно» [20, т. 113, № 3. с. 598].

Уверенность Уварова, что в деле контроля над печатью сугубо ограничительные меры недостаточны, подкреплялась следующим соображением. Он не мог не понимать, что мысль авторов всегда будет впереди любых инструкций цензорам, что сколько ни будут расти предписания и распоряжения по цензуре, еще более усложняя цензурные правила, повседневная цензорская практика, особенно при работе с периодикой, всегда будет преподносить администрации все новые и новые непредусмотренные случаи. Поэтому судьба того или иного автора и его произведения гораздо более зависит от такта и опыта конкретного цензора, чем от писанного узаконения. Именно в таком духе он еще в 1834 году напутствовал А.В. Никитенко, назначая его цензором: «Действуйте... по системе, которую вы должны постигнуть не из одного цензурного устава, но из самих обстоятельств и хода вещей» [36, с. 130]. Однако в официальных докладах Уваров не акцентировал внимание самодержца на возникавших проблемах. Наоборот, в отчете, приуроченном к десятилетию управления министерством, он заверил императора, что «по цезурной части не оказалось в это время *никаких* особенно замечательных случаев или *затруднительных явлений* [курсив мой – *М.Ш.*], что, «обуздав единожды твердыми мерами врожденную строптивость периодических изданий», цензура держит журналистику под бдительным надзором; «... уклонения периодической литературы от правильного смысла могут быть большей ча-

стью приписаны вредному влиянию тогдашних идей, извне к нам перешедших». Теперь же, уверял царя Уваров, «в кругу наших писателей возродилась мысль о народности даже в литературе», и «большая часть иноземных идей лишилась своей приманки» [13, с. 96].

В арсенале уваровских мер, направленных на то, чтобы придать цензуре больше гибкости, была еще одна. О ней известно из его всеподданнейшего доклада от 24 марта 1848 года, когда уже заседал Меншиковский комитет, расследовавший промахи цензуры Министерства народного просвещения, и Уварову приходилось, защищая свои действия, оставлять ухищрения и говорить более прямо. В 1843 году Уваров в докладной записке царю предложил «разделить в периодических изданиях ответственность между цензором и издателем», то есть чтобы цензоры являлись одновременно ответственными издателями того журнала, который они подвергают цензуре. «...Я соображал, – писал министр, – что люди благонамеренные, которым в точности известны требования правительства и дух, в каком должна действовать журнальная литература, будут и благонамеренными издателями повременных сочинений». Такая мера, делая более тесными контакты авторов и цензоров, объективно вела бы во многих случаях к облегчению положения журналистики. Но царю Уваров преподносил ее иначе. Он убеждал его, что желает «усилить власть цензурного начальства некоторыми временными мерами» [38, л. 178, 179 об.–180]. Предложение министра Николай I отклонил. Тогда Уваров решился под свою ответственность ввести эту меру для двух периодических изданий. В 1846 году он разрешил А.В. Никитенко быть ответственным издателем и цензором частного литературного журнала «Современник». А через год позволил А.Н. Очкину редактировать издаваемые при Академии наук «Санкт-Петербургские ведомости» и одновременно нести за них цензурную ответственность. Облеченные особым доверием издатели, сочувствуя литераторам, напрягали силы, стараясь не подвести главу ведомства народного просвещения и цензуры. «Хорошо помню, – свидетельствовал чиновник канцелярии министерства Н.Н. Терпигорев, – что А.В. <Никитенко> всегда выходил от министра взволнованным от его затейливых распоряжений по цензуре, Никитенко очень тяготился цензорством и часто просил министра уволить его от этой обязанности, но министр никак не соглашался» [39, с. 342].

Где-то с середины 1840-х годов политические тенденции в отношении народного просвещения, заложенные еще в александровскую эпоху и сохраняемые в дальнейшем, стали приносить плоды в виде широкого контингента подданных новой формации. Новому кадру граждан, формируемому университетами, пансионами, лицеями, гимназиями Уваров старался обеспечить серьезную общественную перспективу. Ради этого он последовательно защищал уже имевшиеся привилегии выпускников учебных заведений на гражданской службе, венцом которых была введенная в 1834 году система ускоренного производства чиновников со свидетельством об окончании гимназии или университета. В меру своей должностной самостоятельности Уваров старался придать больше гибкости тяжеловесной и косной цензуре, постепенно завязывая нити взаимопонимания между администрацией и учено-литературной общественностью.

В этом вопросе Уваров видел дальше императора Николая I и его окружения. Усилия министра народного просвещения, направленные на то, чтобы не отталкивать новое поколение, не допустить нарастания у него политически опасного для самодержавной России чувства невостребованности, в итоге не нашли понимания в правящих верхах. Ближайшее окружение императора и вся придворно-правительственная среда в целом, когда-то в той или иной мере познавшая искус вольтерьянства и иных соблазнов эпохи Просвещения, взирала на современного молодого образованного человека без оптимизма. Как писал один современник, «без сомнения, философия, расширив пределы ума человеческого, могла пролить некоторый свет на многие вопросы, но едва ли разрешила она какой-либо из них. Мало ясных положений, а споров много. Вред же, принесенный Французскими ум-

ствованиями XVIII столетия и Германским учением нашего времени, весьма значителен и особенно чувствителен по безверию, разочарованию, невнятности и гордости юношей, вдавшихся в подобные занятия» [40, с. 94]. Образованная молодежь, воспитанная уваровскими университетами, пансионами, лицеями, гимназиями, так или иначе в целом сохраняла лояльность господствующей Православной Церкви и самодержавной монархии. Но тем не менее поведение образованного человека на государственной службе воспринималось правящими верхами в основном с неприязненным скепсисом, а новые тенденции в литературе и журналистике возбуждали в верхах острые политические опасения. Голоса, порицавшие политику Уварова, раздавались все громче, и Николай I им внял под впечатлением европейских революций 1848–1849 годов. После ревизии цензуры Министерства народного просвещения, проведенной особым секретным Комитетом А.С. Меншикова, 2 апреля 1848 года был создан особый Высший цензурный комитет, который быстро довел состояние контроля над печатью фактически до полного хаоса и создал атмосферу «цензурного террора». В октябре 1849 года Николай I учредил Комитет «для пересмотра постановлений и распоряжений по части Министерства народного просвещения» или «по пересмотру учебных уставов», куда так же, как и в Высший цензурный комитет, не вошел никто из ведомства народного просвещения. Лишившись самостоятельности в области цензуры и оказавшись перед угрозой ее потери в отношении народного просвещения, Уваров, воспользовавшись тяжелой болезнью, подал в отставку с министерского поста.

Последние свои годы Уваров посвятил всецело науке, в частности, интеллектуальному общению в своем подмосковном имении Поречье Можайского уезда с московскими профессорами и другими учеными, участвовал вместе с Т.Н. Грановским и П.Н. Кудрявцевым в научных сборниках по классической древности, печатал мемуарные отрывки…

…На закате своей политической карьеры министр Уваров осторожно делился мыслями о крестьянском вопросе с лично близкими ему представителями учено-литературных кругов из числа гостей – завсегдатаев его собраний в Пореченском имении. В 1847 году он в разговоре с профессором Московского университета издателем журнала «Москвитянин» М.П. Погодиным почти буквально повторил и то, о чем писал семнадцатью годами раньше императору Николаю I: «…вопрос о крепостном праве тесно связан с вопросом о самодержавии и даже единодержавии», «это две параллельные силы, кои развивались вместе», «у того и другого одно историческое начало», «законность их одинакова». Это органическая часть существующего порядка, и она не может быть удалена без потрясения целого. Необходим строго и тщательно продуманный, системный подход к этой проблеме, ибо решение сопряжено с риском сотрясти всю империю, «здание Петра I поколеблется», поскольку даже, если и не будет крестьянской «жакерии», произойдет «множество новых отношений». Предстоит учесть аграрный вопрос: безземельного освобождения крестьяне не поймут, дворяне болезненно воспримут перспективу отчуждения своей земельной собственности. Институт крепостного права связан как с политической, так и с церковной дисциплиной, «древо... осеняет и Церковь и Престол». С его уничтожением следует ожидать появления дворянской оппозиции самодержавию с требованием политических прав в качестве компенсации, то есть конституции. Восприимчивость умов к модным европейским веяниям опять усилится: «...начнутся толки, что и как там устроено...». Появятся центробежные тенденции в государстве, «могут отойти даже части – Остзейские провинции, сама Польша». Пока же упразднение крепостничества не наступило, социальный антагонизм еще, по-прежнему, смягчается остатком патриархальных нравов и взаимоотношений. И возможное недовольство крестьян пока еще не направлено против самой верховной власти [34, кн. 9, с. 306–307]. Окончательное падение крепостного права социальный антагонизм может обострить еще больше. Отсюда необходима «величайшая осторожность». «Довольно пустить эту мысль в оборот, чтобы поколения приготовились постепенно к ее

восприятию. Одно образование, – повторял Уваров, – просвещение может приготовить ее исполнение наилучшим образом» [34, кн. 9, с. 308].

Увидеть государственное здание Петра Великого поколебленным Уварову было не суждено. Скончавшегося 4 сентября 1855 года в Москве президента Академии наук отпевал сам митрополит Московский и Коломенский Филарет (Дроздов) в домовой церкви Московского университета в присутствии профессоров и студентов, а также великой княгини Елены Павловны, в салоне которой в Михайловском дворце в Петербурге собирались будущие деятели Освободительных реформ 1860–1870 годов.

Тело графа Сергея Семеновича было погребено в родовой усыпальнице в селе Холм Гжатского уезда Смоленской губернии дворовыми его любимого Пореченского имения, по завещанию отпущенными им на волю, в присутствие сына и дочери, а также преданного ему сына крепостного крестьянина профессора М.П. Погодина…

Признание заслуг Уварова перед отечественным просвещением еще сохранялось в 1850-х годах в русском общественном мнении, несмотря на яростное порицание императора Николая I и всего его царствования, вызванное болезненным переживанием неудачной Крымской войны, усугубленным атмосферой цензурного террора. Европейский научный авторитет, интеллектуальная широта и внутренняя свобода давали повод современником, а впоследствии порой и историкам считать Уварова либералом, по крайней мере применительно к александровскому времени [см. 41, 42]. Но свою «либеральную» репутацию он обдуманно и последовательно использовал в итоге в интересах самодержавия. В не предназначенных для публики воспоминаниях, посвященных сыну, он не сказал ничего, что могло бы бросить тень на императора Николая I. Он не хотел колебать империю даже из гроба: рост общественного недовольства был уже заметен, и неизвестно было, как далеко он зайдет. «По чувствам останусь республиканцем, и притом верным подданным царя Русского: вот противоречие, но только мнимое!» [43, с. 249] – этот девиз Н.М. Карамзина по-своему осуществил и Уваров. Часто цитировавшаяся филиппика С.М. Соловьева, изобразившего Уварова совершенным лицемером[1], несомненно, была пристрастным преувеличением. Уваров не был «либералом» в такой же степени, в какой не был и «безбожником». По свидетельству М.П. Погодина, смертельно больной Уваров опасался, чтобы смерть не застигла его в дороге, и он не умер, не исполнив последний долг христианина, а незадолго до смерти, пригласив священника, исповедовался и причащался [45, стлб. 2108].

Исследователь политической биографии графа С.С. Уварова, неизбежно обнаруживает, что русская правительственная политика в области народного просвещения в первой половине XIX века характеризовалась постепенным отходом от ожидания автоматических результатов вследствие простого увеличения образовательных структур и предоставления им корпоративных прав и свобод, к усилению использования традиционных социально-политических институтов ради того, чтобы дать максимальному числу способных представителей исторически сложившихся сословий стимул для получения образования в их традиционных приоритетах. При этом в пределах компромисса между идеалом и действительностью оставалась свобода как необходимый элемент или профессиональный атрибут науки и преподавания. Историческая роль С.С. Уварова в этом закономерном пути от идеологизированного александровского идеализма на основе просветительского энтузиазма к прагматичному николаевскому профессионализму на основе сословно-монархической дисциплины заключалась в умении и твердом желании использо-

[1] «...Он не щадил никаких средств, никакой лести, чтобы угодить барину – императору Николаю, он внушил ему мысль, что он, Николай, творец какого-то нового образования, основанного на новых началах, и придумал эти начала, т.е. слова: православие, самодержавие и народность; православие – будучи безбожником, не веруя во Христа даже по-протестантски; самодержавие – будучи либералом; народность – не прочитав во всю свою жизнь ни одной русской книги...» [44, с. 571–572].

вать свой высокий социальный статус ради обретения оптимального в постепенно менявшихся исторических условиях сочетания достижений науки, школьно-преподавательской традиции, административного и общеполитического опыта, и тем самым послужить, в полном смысле этих слов, делу просвещения России.

Литература

1. *Шевченко М.М.* Понятие «теория официальной народности» и изучение внутренней политики императора Николая I // Вестник Московского университета. Сер. 8: История. 2002. № 4.
2. *Уваров С.С.* О преподавании истории относительно к народному просвещению. СПб., 1813.
3. *Уваров С.С.* Речь президента Императорской Академии наук, попечителя Санкт-Петербургского учебного округа в торжественном собрании Главного педагогического института 22 марта 1818 г. СПб., 1818.
4. *Уваров С.С.* Император Всероссийский и Бонапарте. М., 1814.
5. [*Ouvarov S.S.*] Etude de l'Empereur Alexendre // Отдел письменных источников Государственного Исторического музея (ОПИ ГИМ). Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 39.
6. ОПИ ГИМ. Ф. 17.
7. *Никитенко А.В.* Дневник. М., 1955. Т. 1.
8. *Зорин А.* Идеология «Православия – Самодержавия – Народности» : Опыт реконструкции. (Неизвестный автограф меморандума С.С. Уварова Николаю I) // Новое литературное обозрение. 1997. № 26.
9. Река времен : Книга истории и культуры : в 5 кн. М., 1995. Кн. 1.
10. Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Дополнение. 1803–1865. СПб., 1867.
11. *Флоровский Г.В.* Пути русского богословия. Киев, 1991.
12. *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. : в 10 т. 4-е изд. Л., 1978. Т. VII.
13. *Уваров С.С.* Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833–1843. СПб., 1864.
14. Переписка Александра Гумбольдта с учеными и государственными деятелями России. М., 1962.
15. Русская старина. 1902. Т. 109. № 1.
16. Русский архив. 1871. № 12.
17. Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 2. Отд. I. СПб., 1875.
18. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1149.
19. *Шевченко М.М.* Конец одного Величия : Власть, образование и печатное слово в Императорской России на пороге Освободительных реформ. М., 2003.
20. Цензура в царствование императора Николая I // Русская старина. 1903. № 2–10.
21. *Головачев Г.[Ф.]* Отрывки из воспоминаний // Русский вестник. 1880. Т. 149. № 10.
22. *Алешинцев И.А.* История гимназического образования в России (XVIII и XIX). СПб., 1912.
23. *Камоско Л.В.* Изменение сословного состава учащихся средней и высшей школы в России (30–80-е годы XIX в.) // Вопросы истории. 1970. № 10.
24. *Андреев А.Ю.* Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы. М., 2009.
25. *Петров Ф.А.* Формирование системы университетского образования в России. Т. 4: Российские университеты и люди 1840-х годов. Ч. 1: Профессура. М., 2003.
26. *Вернадский В.И.* Труды по истории науки в России. М., 1988.
27. *Хартанович М.Ф.* Ученое сословие России. Императорская Академия наук второй четверти XIX века. СПб., 1999.
28. Древняя и Новая Россия. 1880. Т. XVII. № 8.
29. *Костомаров Н.И.* Исторические произведения. Автобиография. Киев, 1989.
30. Полное собрание законов Российской империи. Собр. II. Т. 12. № 9894.
31. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 728.
32. *Скабичевский А.М.* Очерки истории русской цензуры (1700–1863 гг.). СПб., 1892.
33. *Ивановский А.Д.* Иван Михайлович Снегирев : Биографический очерк. СПб., 1871.
34. *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина : в 22 кн. СПб., 1888–1910.
35. *Вацуро В.Э., Гиллельсон М.И.* Сквозь «умственные плотины». М., 1986.
36. *Никитенко А.В.* Дневник. М., 1955. Т. 1.
37. Очерки по истории русской журналистики и критики. Л., 1950. Т. 1.
38. РГИА. Ф. 1611. Д. 208 б (Дело о рассмотрении в особом комитете действий цензуры периодических изданий).
39. Исторический вестник. 1890. № 8.
40. Муханов В.А. Из дневных записок // Русский архив. 1897. Кн. 2. № 5.
41. *Whittaker C.H.* Origins of modern Russian education : an intellectuel biography of count Sergei Uvarov, 1786–1855. De Kalb, 1984.

42. *Виттекер Ц.Х.* Граф С.С. Уваров и его время. Пер. с англ. Н.Л. Лужецкой. СПб., 1999.

43. *Карамзин Н.М.* Письма к И.И. Дмитриеву. СПб., 1866.

44. *Соловьев С.М.* Мои записки для детей моих, а если можно, и для других. Пг., 1915.

45. *Погодин М.П.* Для биографии графа С.С. Уварова // Русский архив. 1871. № 12.

Аннотация. Статья посвящена анализу политической биографии одного из тех выдающихся русских государственных деятелей александровской и николаевской эпох, чье имя историческая память российской интеллигенции прочно отождествила с той общественно-политической и культурной традицией, которая пала в борьбе с революцией, сокрушившей в 1917 году историческое Российское государство. Так сложилось, что историческая литература вплоть до новейшей эпохи не столько изучала его государственную деятельность, сколько боролась с его тенью. Тем ценнее опыт реконструкции становления С.С. Уварова как виднейшего русского и европейского интеллектуала своего времени, сумевшего реализовать модель охранительного просвещения в рамках государственной деятельности, что позволило вывести русское просвещение того периода на принципиально новый уровень, а также «отодвинуть Россию на пятьдесят лет от того, что готовят ей теории».

Ключевые слова: С.С. Уваров, консерватизм, Александр I, Николай I, просвещение, образование, Министерство народного просвещения, триада «Православие. Самодержавие. Народность», политика.

Maxim M. Shevchenko, Ph.D. in History, Associate Professor, Department of Russian History of the 19th – Beginning of the 20th Century, Шевченко Максим Михайлович, History Faculty, Lomonosov Moscow State University. E-mail: Shevch_mm@mail.ru

S.S. Uvarov. Political Portrait

Abstract. The article is devoted to the analysis of the political biography of one of the most outstanding Russian state figures in the 19th and the beginning of the 20th centuries. Historical memory of Russian intelligentsia identifies his name with the social, political and cultural tradition defeated in its struggle against the revolution that destroyed Russian historical state in 1917. It so happened that historical publications in the years before the new age were more devoted not to the study of his state activity, but to the struggle with his ghost. In this regard the analysis of Uvarov's coming into being one of the most prominent Russian and European intellectuals of his time appears to be really valuable. He managed to realize the model of protective, conservative education as part of his state activities, that allowed not only to bring Russian education to the fundamentally new level, but also to protect Russia for fifty year from the future prepared for her "by various theories".

Keywords: S.S. Uvarov, Conservatism, Alexander I, Nicolas I, Enlightment, Education, Ministry of Public Education, "Orthodoxy. Autocracy. Nationality." Triad, Politics.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-1-51-66

Дмитрий Бадалян

«Официальная народность» или народность? С.С. Уваров и А.С. Хомяков[*]

Когда С.С. Уваров впервые публично произнес слово «народность», оно было почти таким же неологизмом, как сегодня «криптовалюта», «стартап» или «хештег». Тем не менее вскоре слово это получило широкое распространение и возникшие вокруг него споры не утихали многие годы. Не случайно же в 1873 году И.С. Аксаков говорил о народности, что «около этого термина, как около центра, группировалась вся борьба и ожесточенно ломались копья в течение чуть не двадцати лет» [1, с. 582].

I

Впервые понятие «народность» возникло, как отметил М.К. Азадовский, благодаря кн. П.А. Вяземскому [2, с. 210–211]. Прежде, в самом начале XIX века, это слово нередко означало популярность того или иного произведения [3, с. 130–132]. Но в 1819 году в письме к Ал.И. Тургеневу Вяземский на примере своего стихотворения, в котором видел резкую для того времени «русскую краску», заговорил «о отпечатке; не о сладкоречивости, а о выговоре; не о стройности движений, а о народности некоторых замашек коренных», и тут же воскликнул: «Зачем не перевести nationalité – *народность*? Поляки сказали же *narodowość!*» [4, с. 357].

Через пять лет, в 1824 году, это слово прозвучало у Вяземского уже в публичной речи и именно в «манифесте русского романтизма», как назвали его статью-диалог «Вместо предисловия» в первом издании «Бахчисарайского фонтана» А.С. Пушкина. Здесь Вяземский вложил в уста недоумевающего Классика слова: «Что такое народность в словесности? Этой фигуры нет ни в пиитике Аристотеля, ни в пиитике Горация». На это Издатель, alter ego автора, отвечал, что «она не в правилах, но в чувствах». И тут же подчеркивал как несомненный критерий художественного произведения «отпечаток народности, местности» [5, с. 49]. В этом же году на страницах «Дамского журнала» Вяземский объяснял: «Всякий грамотный знает, что слово *национальный* не существует в нашем языке; что у нас слово *народный* отвечает одно двум французским словам: *populaire* и *national*; что мы говорим: *песни народные* и *дух народный*, там, где французы сказали бы *chanson populaire* и *esprit national*» [6, с. 76–77].

Вскоре это слово стало кочевать по страницам журналов, полемизировавших о народности литературы[1]. Прошло без малого десять лет, и его подхватил новый министр народного просвещения. Как известно, впервые печатно Уваров употребил его в первом но-

[1] Подробнее об эволюции этого понятия см. [7].

[*]Публикация подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 17-04-00170а.

Бадалян Дмитрий Александрович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора книговедения отдела редких книг Российской национальной библиотеки. Санкт-Петербург, Россия. E-mail: dmit.bad@gmail.com

мере созданного им «Журнала Министерства народного просвещения», увидевшего свет в начале 1834 года (а на исходе этого же года В.Г. Белинский утверждал: «…*народность* – вот альфа и омега нового периода. <…> теперь всякий литературный шут претендует на титло *народного* писателя» [8, с. 91]).

Что же подразумевал министр, когда наставлял своих подчиненных: «Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование <…> совершалось в соединенном духе Православия, Самодержавия и народности» [9, с. L]? Текст циркуляра попечителям учебных округов 21 марта 1833 года, в котором впервые публично прозвучала эта триада, не дает никакой подсказки к толкованию уваровской «народности». Чуть более помогает в этом введение к первому номеру «Журнала Министерства народного просвещения», из которого можно предположить, что она ассоциируется с «народным характером», а хранителем ее и веры является монарх [10, с. V].

Исследователи обратились за помощью к документам, предшествовавшим печатному появлению уваровской «народности». Таковых оказалось всего два.

Самый ранний относится к марту 1832 года. Тогда, за считанные недели до назначения товарищем министра народного просвещения[1], Уваров подготовил для представления императору записку с декларацией задач, стоящих, по его мнению, не только перед министерством, но и перед всем государством. К такому ходу мыслей подвигали недавние потрясения – Июльская революция 1830 года во Франции, а также не упомянутые в тексте, но оказавшие заметное влияние Бельгийская революция 1830 года и Польское восстание 1830–1831 годов.

По мнению автора записки, «главное затруднение» в вопросе о народности «состоит в соглашении древних и новых понятий», однако, подчеркивал он: «Речь не идет о том, чтобы противиться естественному ходу вещей, но лишь о том, <…> чтобы сохранить неприкосновенным святилище наших народных понятий, черпать из него, поставить эти понятия на высшую ступень среди начал нашего государства и, в особенности, нашего народного образования» [11, с. 98].

В декабре того же 1832 года, когда Уваров составил императору отчет о предпринятой им ревизии Московского университета, он употребил в нем свою триаду как представляющую «истинно русские хранительные начала», а затем заявил, что его цель «внушить молодым людям охоту ближе заниматься историей отечественной, обратив больше внимания на узнание нашей народности во всех ее различных видах». Вслед за тем Уваров добавил: «Не только направление к отечественным предметам было бы полезно для лучшего объяснения оных, но оно отвлекало бы умы от таких путей, по коим шествовать им не следует; оно усмиряло бы бурные порывы к чужеземному, к неизвестному, к отвлеченному в туманной области политики и философии» [13, с. 301, 304].

Объяснило ли эти рассуждения значение слова «народность»? Очевидно, лишь в самых общих чертах. Вероятно, развитие «народности» представлялось Уварову как антидот возникновению бунтарских настроений, но он не пояснял, почему.

Наконец, есть еще один источник, появившийся на свет спустя полгода после подписания циркуляра попечителям учебных округов, но до публикации его в «Журнале министерства народного просвещения». Это уваровский доклад «О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством народного просвещения», представленный императору 19 ноября 1833 года. В нем будущий министр повторял ряд положений, высказанных им в марте 1832 года, а кроме того заявлял: «Дабы Трон и Цер-

[1] Исследователи обычно указывают, что незадолго до создания этого документа Уваров стал товарищем министра. Причиной тому, вероятно, слова Уварова о «новых обязанностях, которые возложила» на него «Высочайшая воля» [11, с. 73, 96]. Однако официально он вступил в эту должность 21 апреля 1832 года [12, с. 763].

ковь оставались в их могуществе, должно поддерживать и чувство Народности, их связующее. Вопрос о Народности не имеет того единства, какое представляет вопрос о Самодержавии; но тот и другой проистекают из одного источника и совокупляются на каждой странице Истории Русского народа» [14, с. 71].

После всех этих суждений остается ощущение недосказанности, неразрешенной вполне проблемы определения понятия. Это не могли не заметить исследователи: в одном и том же 1989 году несколько по-разному констатировали ситуацию Н.И. Казаков и Н.И. Цимбаев. Последний указывал: «В действительности вовсе не идея народности, хотя бы и в консервативном ее варианте, одушевляла Уварова. “Народность” здесь была вынужденной уступкой “духу времени”, данью, которую Уваров платил немецкой философии (принцип триады был характерен для Канта, Фихте, Гегеля), европейскому романтизму (с его интересом к истории отдельных народов в ее неповторимости, пиететом к исторически сложившемуся национальному характеру, идеализацией прошлого)» [15, с. 30]. Казаков же отметил: «…понятие “народность”, входившее в формулу С.С. Уварова, не было им раскрыто, поэтому каждому предоставлялась возможность толковать его по-своему. И действительно, русская мысль в 30–40-х годах XIX века сосредоточилась на разгадке этого теоретического “сфинкса”» [16, с. 27–28].

Обосновывая этот тезис, Казаков показал, что провозглашение Уваровым лозунга «народности» послужило своего рода сигналом для его интерпретаций, развернутых на страницах русской печати в последующее десятилетие[1]. Именно в этом ракурсе рассматривал Казаков публичные речи и статьи целого ряда профессоров и преподавателей (то есть сотрудников Министерства народного просвещения): П.А. Плетнева, В.С. Межевича, А.П. Аристова, Ф.П. Морошкина, Д.А. Карпова, И.И. Давыдова, В.С. Смирнова, Н.А. Иванова, которые произнесли или напечатали их в 1833–1843 годах[2] [16, с. 14–23]. Анализ, проделанный автором этой замечательной статьи, показал, что «современники гр. Уварова не воспринимали термин “народность” так, как впоследствии понял его А.Н. Пыпин, то есть как социальное понятие или как синоним крепостного права», а связывали с ним именно «характерные черты русского национального самосознания» [16, с. 23].

Примером тому приведем процитированные историком слова Межевича, заявившего, что народность – «основное начало жизни народа, из которого проистекают, в котором сосредотачиваются все условия его деятельности – умственной, нравственной, политической <…>. Всякий народ имеет свой определенный путь, в жизни своей проявляет свою особенную идею; эта идея есть душа народа, итак, сознание этой души, сознание этой идеи – вот что составляет народность! Следовательно – *народность есть идея нации*» [18, с. 272–273]. Характерно, что, обращаясь к сфере культуры, Межевич полагал: «…народность требует, чтобы родная идея облечена была в родную форму, чтобы в произведении веял дух родной жизни» [18, с. 283]. При этом он считал, что «у нас еще не настало время полной народности в искусстве; у нас эта потребность не пробудилась самобытным образом» [18, с. 303]». Однако уже в 1835 году (когда была произнесена эта речь) Межевич был уверен: «Пушкин есть полный представитель нашей народности!» [18, с. 298].

Министр народного просвещения и в 1839 году, повторив в «Обозрении истекшего

[1] Не случайно и К.А. Богданов отметил: «Уваровская формула призвана не *назвать*, а *создать* нечто; она не описывает, а призывает к действию, причем перформативный характер уваровской формулы особенно нагляден применительно к “народности”» [3, с. 138]. В этом же русле рассуждает и Т. Симосато, полагая, что «Уваров определил “православие” и “самодержавие” как статичные начала, опирающиеся на прошлое, а “народность”, напротив, в его понимании выступала динамическим началом, направленным в будущее» [17, с. 91].

[2] Этот ряд можно было бы продолжить. В частности – публикациями М.П. Погодина «Взгляд на российскую историю» (Ученые записки Императорского Московского университета. 1833. Ч. 1. № 1. С. 3–22); Н.И. Надеждина «Европеизм и народность, в отношении к русской словесности» (Телескоп. 1836. № 1. С. 5–60; № 2, С. 203–264); С.П. Шевырева «Взгляд русского на образование Европы» (Москвитянин. 1841. № 1. С. 219–296).

пятилетия» свою триаду, не попытался добавить к ее пониманию ничего нового [19, с. 8]. И даже в 1843 году, уже после продолжительной кампании в прессе, Уваров представил весьма ограниченные разъяснения «народности». Причем, отметим, сделал это не публично, а в конфиденциальном докладе Николаю I. Повторив почти дословно выражения, уже однажды обращенные к императору в 1832 году («народность не заставляет идти назад или останавливаться; она не требует *неподвижности* в идеях» и др.), министр подчеркивал, что народность – это национальное начало «не менее важное, не менее сильное», чем православие и самодержавие; что «народность» и «самодержавие» «проистекают из одного источника и связуются на каждой странице Русского Царства» [20, с. 347–348]. Как видим, спустя десять лет в представлении Уварова «История народа» уступила место «Истории Царства» и, вероятно, не случайно.

Хотя Николай I на этом отчете министра оставил вполне благосклонную резолюцию «Читал с удовольствием», по сути, этот документ стал финальным в попытках Уварова разъяснить содержание выдвинутой им триады. После 1839 года министр не только никогда не выступил с ее объяснением или обоснованием, но даже ни разу не проронил ее в печати. Более того, после 1843 года тема «Православия. Самодержавия. Народности» исчезает из выступлений журналистики, что отмечают и современные историки. Так, О.А. Иванов сначала полагал, что количество публикаций, связанных с толкованием «доктрины Уварова», в «Журнале Министерства народного просвещения» «резко сократилось» и «пропаганда идеологии была фактически свернута» с конца 1830-х годов [21, с. 55–56], затем он же датировал этот процесс началом 1840-х годов [22, с. 182]. В обоих случаях историк объяснял это тем, что министр посчитал свою задачу выполненной. Констатируя ту же картину, Т.Н. Жуковская объясняет ее иначе: «В начале 1840-х гг. дискуссии в духе “народности” начинают явно приглушаться, поскольку в них все меньшим авторитетом пользуется официальная сторона» [23, с. 201].

Однако, по нашему мнению, главную причину тому следует искать в обострении борьбы с деятельностью и идеями министра народного просвещения, которая развернулась в придворных кругах на рубеже 1830–1840-х годов. Скрытое противостояние Уварову так называемой немецкой партии нарастало и в сфере периодической печати, и в подковерных интригах [см. 24].

Едва ли не в заключительном акте этой борьбы, по словам самого министра, «борьбы жаркой и почти беспрерывной» [25, с. 493], проигрывая и вынужденно отступая с прежних позиций, министр в последний раз произнес свою триаду уже не публично, а в докладе императору 8 мая 1847 года. И вслед за тем едва ли не в последний же раз обратился к рассуждениям о народности в конфиденциальном циркуляре попечителям учебных округов. Поводом для этого стала открытая III отделением деятельность Кирилло-Мефодиевского братства, имевшего целью создание всеславянской федерации со столицей в Киеве.

Характерно, что в этом докладе министр не пытался пояснить или раскрыть свою «тройственную формулу». Вероятно, он был уверен, что император и так его прекрасно понимает (Уваров лишь называл триаду средством и орудием «возбуждения духа отеческого»). Главная задача автора доклада заключалась в том, чтобы реабилитировать в глазах Николая I существование «славянского вопроса» и свою прежнюю симпатию к славянам. Для этого он предлагал провести «резкую черту между славянством, столь истинно русским, что и не следовало бы называть его славянством, и между безумными покушениями горсти заблудших, скрывающих под личиною славянства побуждения, ему и чуждые, и неприязненные» [25, с. 494]. Причин для симпатии и братской любви к другим славянским народом Уваров уже не видел. Ведь еще с рубежа 1830–1840-х годов «немецкая партия» неуклонно работала над компрометацией в глазах Николая I представлений о славянском единстве и запугивала его мифом о «панславизме» [26, с. 47, 68–69; 27,

с. 240–244]. И именно в ходе этой планомерной деятельности в 1842 году Белинский впервые употребил как презрительную кличку слово «славянофилы» [28, с. 31–32]. Теперь оно закрепилось в языке настолько, что и министр использовал это новое слово, обращаясь к императору, когда пытался оправдать перед ним «восторженных, добродушных московских славянофилов».

В конфиденциальном циркуляре 27 мая 1847 года, подготовленном с санкции Николая I, Уваров повторил свои суждения, изложенные в недавнем докладе (но не саму тройственную формулу!), и пять раз употребил слово «народность». Хотя и в данном случае он не дал четкого определения понятию, стоящему за этим термином, его представления выглядели более внятными, чем когда-либо прежде.

По мысли Уварова, «народность», или «начало народное» – источник народного просвещения, культуры. Каждый народ имеет свою «личность» и свое предназначение. Он «развивает в жизни человечества особую мысль Провидения» [29, с. 498–499]. Поэтому министр убеждал: «…мы должны следовать за своими судьбами, свыше нам указанными, и в своем родном начале, в своей личности народной, в своей вере, преданности к престолу, в языке, словесности, в истории, в своих законах, нравах и обычаях мы обязаны утвердить живительное начало русского ума, русских доблестей, русского чувства. Вот искомое начало народное, и не славяно-русское, а чисто русское, непоколебимое в своем основании, собственно наша народность» [29, с. 499].

Различие министерских циркуляров 1833 и 1847 годов и в лексике, и в широте подхода несомненно, так же, как и несходство выражений последнего циркуляра и рассуждений Уварова о народности, предпринятых в 1832–1833 годах. Теперь Уваров через размышления о специфике личности народа и через выстроенный им ассоциативный ряд объяснял, что за «начало» он имел в виду.

Почему же у министра народного просвещения не нашлось подобных слов прежде, хотя бы в 1843 году? Что же теперь заставило его измениться? Что произошло во второй половине 1840-х годов?

Подсказкой к этому служат слова западника В.П. Боткина, который как раз в мае 1847 года писал П.В. Анненкову: «…славянофилы выговорили одно истинное слово: народность, национальность. В этом их великая заслуга; <…> они первые указали на необходимость национального развития» [30, с. 271]. Сознание русского общества постепенно преобразовывалось, и если допустить, что первоначальный импульс этому скрытому от глаз процессу сообщил министр народного просвещения, то энергию и глубину придали ему именно славянофилы. И уже Уваров в своем циркуляре 1847 года отчасти следовал славянофилам.

II

В предыдущее пятилетие и Хомяков, и другие славянофилы занимались разработкой собственной, выходящей за пределы уваровской концепции народности. В толкованиях славянофилов *народность* выступает и как предмет познания (в изучении народного быта, фольклора и т.д.), и как форма сознания (система образов, особенность в восприятии мира). При этом славянофилы подчеркивали, что народность русская неразрывно соединена с православной верой. Хомяков же обращался к народности не только как литературному критерию, но и как критерию искусства в целом. Именно с этих позиций он рассматривал в середине 1840-х годов произведения Н.В. Гоголя и М.И. Глинки, а позднее – живопись А.А. Иванова.

В 1845 году в статье «Мнение иностранцев о России» Хомяков утверждал: «Общество, так же как человек, сознает себя не по логическим путям. Его сознание есть самая его жизнь; оно лежит в единстве обычаев, в тождестве нравственных или умственных побуж-

дений, в живом и беспрерывном размене мысли, во всем том беспрестанном волнении, которым зиждутся народ и его внутренняя история. Оно принадлежит только личности народа, как внутреннее, жизненное сознание человека принадлежит только собственной его личности» [31, с. 96–97]. Отметим: уже здесь возникает тема «личности народа», вскоре подхваченная министром народного просвещения. Но посмотрим далее…

В следующем, 1846 году в статье «Мнение русских об иностранцах» Хомяков разъяснял: «…закон развития общественного лежит в его первоначальных зародышах, а закон развития умственного – в вере народной, т.е. в высшей норме его духовных понятий» [32, с. 134]. В том же году Хомяков создает новую статью «О возможности русской художественной школы», в которой заявляет: «Художник не творит собственною своею силою: духовная сила народа творит в художнике» [33, с. 137–138]. И в продолжение этой мысли он указывает: «Всякое народное просвещение определяется народной личностью, т.е. живой сущностию народной мысли; более же всего определяется она тою верою, которая в нем является пределом его разумения» [33, с. 141].

В этой статье, как, впрочем, и в других своих публицистических выступлениях, Хомяков употребляет выражения: «вера» и «верование», «личность народа» и «народная личность», «народная жизнь» и «дух народный», «народное начало» и «самобытное начало». И в циркуляре Уварова использованы те же самые выражения. Только вместо «самобытное начало» – «самобытность». Да, можно возразить, что слово «вера», встречающееся в циркуляре 1847 года пять раз, выражение вполне тривиальное для такого документа. Однако в 1832–1833 годах, как отметил А.Л. Зорин, указывая на «конфессиональный индифферентизм» Уварова, для того был более привычен термин «религия», потому он и вместо «православие» употреблял «народная» или «национальная религия» (réligion nationale) [11, с. 86; 34, с. 360–362]. И уже в этой смене лексической парадигмы чувствуется влияние Хомякова, который, противопоставляя понятия «вера» и «религия», сознательно избегал употреблять последнее.

Добавим к тому, что статья Хомякова была опубликована в «Московском литературном и ученом сборнике на 1847 г.», который вышел в свет во второй декаде марта 1847 года [35, с. 78], иными словами – за два месяца до циркуляра Уварова.

Однако откуда же прежде, еще в 1830-х годах, Уваров почерпнул свои первоначальные представления о «народности»? Пожалуй, самая популярная версия на этот счет была высказана в 1996 году А.Л. Зориным, вслед за Г.Г. Шпетом, объясняющим появление «уваровской триады» сильным влиянием на ее создателя идей немецких мыслителей. В первую очередь таких, как Ф. Шлегель, Х. Луден и И.Г. Фихте [36, с. 245–246; 37].

Разумеется, вовсе отрицать воздействие идей немецкого романтизма на человека, сформировавшегося в лоне европейской культуры, слушавшего лекции в Геттингенском университете, читавшего Х. Лудена, И.Г. Фихте, переписывавшегося с Ф. Шлегелем, было бы нелепо. Однако не стоит впадать и в другую крайность, считая это влияние исключительным, абсолютизируя его. Правомерно ли важнейшие сентенции Уварова-министра объяснять в первую очередь заимствованием чужих идей? С той же степенью уверенности можно было бы рассуждать о влиянии идей немецких романтиков на ранних славянофилов. Однако это не значит, что А.С. Хомяков, И.В. Киреевский и прочие так и остались их учениками и не создали собственных оригинальных концепций.

Если же говорить об окружении будущего министра, в котором протекал обмен мнений и которое способствовало формированию его идей, особенно накануне рождения «уваровской триады», надо обратиться к имени, названному в этой связи П.И. Бартеневым еще в 1868 году.

Известный издатель «Русского архива», комментируя воспоминания Д.Н. Свербеева, заявил, что «великий символ», то есть лозунг «Православие. Самодержавие. Народность», утвердился в сознании Уварова «едва ли не вследствие бесед с А.С. Хомяковым»

[38, стлб. 989]. В том, что касается Алексея Степановича, Бартенев был довольно информирован. Сам он в 1860 году рассказывал о Хомякове: «В последние одиннадцать лет я имел счастье часто видаться с ним; один год жил в его доме и, по моей страсти к преданиям нашей старины, нередко расспрашивал его о прошлом» [39, с. 452].

Тем не менее какие основания были у Бартенева для сделанного им заявления? Попытаемся разобраться…

Даже если историк преувеличил влияние Хомякова на Уварова, несомненно то, что до рубежа 1830–1840-х годов министр народного просвещения возлагал на него большие надежды и заботился о его репутации в глазах императора. Так, в сентябре 1839 года, представляя Николаю I еще неопубликованное стихотворение Хомякова «Киев», Уваров рекомендовал автора таким образом: «Известный наш поэт Хомяков, который, как кажется, мог бы один идти по стопам Пушкина, если б постоянно занимался своим искусством». Говоря о стихотворении «Орел», министр, обращаясь к монарху, подчеркнул: «…в котором Хомяков воспевал *соединение всех славянских племен под хоругвь России*» [40, с. 159][1]. Позже, в январе 1841 года, представляя императору первый номер журнала «Москвитянин», Уваров также обратил его внимание на стихи Хомякова [42, с. 22–23].

Что же объединяло министра и поэта, которого тогда еще не величали ни славянофилом, ни философом?

Уваров являлся давним знакомым семьи Хомяковых. Бартенев указывал, что Сергей Семенович, который был на восемнадцать лет старше славянофила, «знал Хомякова с его детства» [43, с. 160]. Вероятнее всего они познакомились в имении Холм, Бельского уезда Смоленской губернии. Оно принадлежало генерал-майору Ф.С. Уварову (1787–1845) – младшему брату будущего министра. Там после выхода в отставку в 1827 году он поселился, там навещал его Сергей Семенович и там же после кончины они оба были похоронены. Имение Хомяковых находилось в соседнем Сычёвском уезде. Смоленский помещик В.И. Лыкошин вспоминал, что «замечательный по уму и начитанности старик Степ. Алексеевич Хомяков, отец известного литератора» бывал у Ф.С. Уварова, ведь тот «получал все иностранные журналы и литературные новости, которыми охотно делился с соседями» [44, с. 60].

В опубликованных письмах самого А.С. Хомякова наиболее раннее упоминание о Ф.С. Уварове относится к маю 1822 года, то есть когда автору едва исполнилось восемнадцать лет и он только начинал воинскую службу [45, с. 2]. Наконец, дочь Хомякова Мария Алексеевна в своих воспоминаниях назвала Ф.С. Уварова среди военных, с которыми был дружен ее отец уже в зрелые годы [46, с. 194][2].

В весьма скупых сведениях о молодости А.С. Хомякова упоминание об С.С. Уварове появляется именно в тот момент, когда решается судьба будущей «уваровской триады». Оказывается, являясь еще только товарищем министра, осенью 1832 года Уваров разрабатывал планы выпуска нового ведомственного издания (где и будет представлен его лозунг!). Тогда-то он пригласил Хомякова «к себе в секретари не для письмоводства, а для

[1] Обратим внимание: мечту о грядущем славянском единстве министр отметил как достоинство и ждал похожего отношения от Николая I. Очевидно, в то время власть еще терпимо относилась к подобным заявлениям. Но уже в январе 1841 года Уваров не решился доложить императору прошение о публикации стихотворения «Киев», где звучала надежда на воссоединение с Россией жителей Галича и Волыни [см. 41, с. 181–182].

[2] Отметим и другие обстоятельства: Ф.С. Уваров и московский дворянин Александр Григорьевич Хомяков 2-й были сослуживцами по Екатеринославскому кирасирскому полку, и в Бородинском сражении поручик Хомяков дважды заменял подполковника Уварова: сначала в качестве командира эскадрона, а после его ранения в качестве командира полка. К сожалению, у нас нет сведений, кем именно приходился этот А.Г. Хомяков Алексею Степановичу. Наконец, внучка А.С. Хомякова Елизавета Николаевна (?–1959) вышла замуж за внука Сергея Семеновича, графа Игоря Алексеевича Уварова (1869–1934).

того, чтобы издавать Журнал от Министерства просвещения» – так рассказывал отец молодого философа С.А. Хомяков в письме жене, добавляя: «и что он может отлучаться, когда захочет» [47, с. 222, см. также с. 211].

В итоге ни чиновником, ни редактором журнала Хомяков не стал (о вероятных причинах этого см. [41, с. 180–181]). Тем не менее факт приглашения его на службу к Уварову важен как косвенное подтверждение слов Бартенева о том, что основоположник славянофильства был довольно близок к автору формулы «Православие. Самодержавие. Народность». Другое важное свидетельство находится у того же издателя «Русского архива»: публикуя в 1863 году стихотворение Хомякова, которому он дал собственное заглавие «Разговор с С.С. Уваровым», Бартенев, имея в виду министра, заметил: «Может быть, разговор с Хомяковым навел его на мысль или утвердил его намерение – расширить круг деятельности Археографической комиссии, и основать в Русских университетах кафедры Славянских наречий» [48, стлб. 304].

Когда же происходил этот разговор (или разговоры) с Уваровым? Сам Бартенев связывал их плотное общение со временем инспекции, предпринятой товарищем министра народного просвещения в университете и других учреждениях Московского учебного округа [48, стлб. 304]. Поездка Уварова в первопрестольную началась в августе, а закончилась 4 ноября 1832 года [12, с. 763]. Именно в это же время он пригласил было Хомякова себе в секретари-редакторы.

Однако к разговору об истоках «уваровской триады» куда важнее общение ее создателя и Хомякова, которое протекало на полгода ранее. Ведь в феврале – апреле 1832 года поэт жил в Петербурге, так как хлопотал в цензуре о разрешении его трагедии «Димитрий Самозванец». И в итоге получил право на ее издание (но не на постановку) 20 апреля [49, с. 671–672], за день до вступления Уварова в должность товарища министра.

Итак, в феврале – марте 1832 года, как раз перед тем, как Уваров составил свое первое письмо к императору, содержащее формулу «Православие. Самодержавие. Народность», когда он особенно нуждался в идеях (или как минимум в обсуждении и апробации идей), которые легли бы в основание таких важных для него рассуждений, он встречается с Хомяковым. И тот, вероятно, делился с будущим министром своими представлениями об основаниях и путях формирования национальной идеологии. И будущий министр мог воспользоваться ими и уж наверняка оценил близость позиций и глубину мысли своего собеседника.

III

Однако в таком случае возникает вопрос: а имел ли сам Хомяков представления о «народности» в начале 1830-х годов?

И по сей день не вполне ясно, как и в каких обстоятельствах возникли и развились у него понятия о «народности». Это не удивительно, так как и весь процесс генезиса мировоззрения Хомякова поддается анализу чрезвычайно трудно. Не случайно же протоиерей Георгий Флоровский писал: «Создается впечатление, что Хомяков “родился”, а не “стал”» [50, с. 267]. Тем не менее постараемся отметить некоторые вехи в ранней биографии этого мыслителя и поэта, свидетельствующие о весьма раннем усвоении им идеи народности.

Чтобы оценить специфику образования, полученного юным Хомяковым, надо учитывать расстановку сил в литературно-общественной борьбе того времени. Традиционное противостояние Москвы и Санкт-Петербурга усиливалось тогда соперничеством двух литературных кругов. После Отечественной войны 1812 года сторонники самобытности, «шишковисты», концентрировались на берегах Невы, а ориентированные на европейские культурные приоритеты «карамзинисты» имели центром Москву. Как раз в это время,

в 1815 году, Хомякова и его брата родители привезли из Москвы в Петербург и пригласили к ним учителем словесности А.А. Жандра, тогда начинающего литератора из круга А.А. Шаховского, П.А. Катенина и А.С. Грибоедова, которые были близки – кто больше, а кто меньше – шишковистской «Беседе любителей русского слова».

Когда же семья возвратилась в Москву, одним из домашних педагогов Хомякова стал профессор университета А.Ф. Мерзляков, который еще лет за пятнадцать до того проявил стойкий интерес к вопросам национального своеобразия и народности [см.: 51; 52]. Мерзляков начиная со своей деятельности в 1801–1803 годах в Дружеском литературном обществе активно занимался проблемой народности. Среди ее аспектов, которые он развивал, можно назвать вопрос об изображении народа в литературе, решаемый, в частности, в переводах из античных авторов через образ идеализируемого народа; изучение фольклора, обрядов и обычаев, являющихся источниками эстетического и этического начал; стремление к созданию на основе народной словесности самобытной национальной культуры; попытку выражения в литературе национального характера.

Хотя у Мерзлякова были еще несколько примитивные, элементарные, представления о народности, но они формировали ту почву, из которой через двадцать – тридцать лет прорастут иные, более ясные и глубокие идеи.

Стоит подчеркнуть: в редактируемых Мерзляковым «Трудах Общества любителей российской словесности», в XIX томе, одновременно с его «Письмом из Сибири» 1821 года, где звучали размышления о народности[1], появилась первая публикация юного Хомякова. Это отрывок из выполненного им в пятнадцать лет перевода «О нравах и положении Германии» Тацита и вводная заметка к нему. Опубликованный отрывок насыщен этнографическими наблюдениями, а в заметке Хомяков подчеркивал, что речь Тацитовых персонажей соответствует тем национальным типам, которые они представляют [54, с. 30–31].

Отмеченные у Мерзлякова аспекты народности получили развитие в дальнейшем творчестве Хомякова. Его первые известные работы, где если не звучит сам термин «народность», то раскрываются те или иные аспекты этой темы, – заметка 1838 года «О собирании народных песен и стихов» и известная статья «О старом и новом» рубежа 1838–1839 годов. А затем уже проблема народности постоянно развивается начиная со статьи 1842 года «О сельских условиях».

Что же было до того, именно в начале 1830-х годов? Если не ответ на этот вопрос, то хотя бы подсказку содержит «Московская сцена», опубликованная в декабре 1832 года в надеждинской газете «Молва». В 2002 году автор этих строк, основываясь на ряде аргументов, предложил атрибутировать ее авторство Хомякову [55, с. 345–348][2]. Эта публикация представляет собой полилог, посвященный постановке оперы А.Н. Верстовского «Вадим». В центре внимания – спор о народности этой оперы (и точно также спустя пятнадцать лет подобный спор станет главной темой в другом полилоге Хомякова «Разговор в Подмосковной»). Хотя, оговоримся, само выражение «народность» здесь не звучит (а автор не столько одобряет «Вадима» за проявленную в нем народность, сколько опровергает аргументы его слабых критиков и смеется над их непоследовательностью). Еще отметим: главный герой «сцены» – «защитник русской самобытности» [56, с. 398] – вероятно, alter ego автора, также как и персонаж «Разговора в Подмосковной».

Итак, в двадцать восемь лет Хомяков уже имел репутацию поборника самобытно-

[1] Авторство «Письма из Сибири» указано Р.Н. Клейменовой [см. 53, с. 73].

[2] Попутно отметим, что атрибуция Хомякову другой статьи под названием «Нынешняя Италия», рассмотренной в этой же работе [55, с. 340–345], основывалась на цитате из письма его отца, некорректно приведенной в книге Н.П. Барсукова. После знакомства с автографом письма мы должны признать автором статьи Н.А. Полевого.

сти, а также опыт ее публичного обсуждения и осмысления. Однако он еще не представил на этот счет точных законченных формулировок. Как, впрочем, и Уваров в рассмотренных документах 1832–1833 годов.

IV

Что же было с Хомяковым и его суждениями о народности далее?

После 1841 года неизвестно ни одного случая, чтобы Уваров пытался представить императору его произведения. Славянофилы все более и более заявляли о себе и о своих идеях, но ни они, ни Уваров уже не демонстрировали близости взглядов. Более того, с 1845 года (со времени недолгого совместного руководства журналом «Москвитянин») славянофилы часто дистанцировались и от протежируемого министром М.П. Погодина. Так, в мае 1848 года Хомяков писал о последнем Ю.Ф. Самарину: «Смотреть на него, как на союзника, нельзя; он на это слишком бесхарактерен, но пользоваться им для пользы общей должно, когда он случайно стремится к добру» [45, с. 271]. Хомяков не стремился попасть и не попал под покровительство Уварова. И столкновений «немецкой партией» с поборниками «официальной народности»[1] он сторонился едва ли не более, чем иные славянофилы.

Как уже было отмечено, в это же время, то есть в 1840-х, а затем и в 1850-х годах, Хомяков и его друзья-славянофилы разработали собственную, выходящую за пределы уваровской концепцию народности. Еще в статье «О возможности русской художественной школы» в 1847 году Хомяков впервые заявил о народности как самобытной, присущей конкретному народу форме сознания в науке. В 1850-х годах он и другие славянофилы еще более энергично продолжили осмысление этого аспекта. Поначалу их заявления вызвали упорные возражения.

В 1856 году, когда славянофилы, приступая к изданию журнала «Русская беседа», провозгласили, что задача издания «посильно содействовать к развитию русского воззрения на науки и искусства» [57, с. 255], московские и петербургские западники тут же вступили с ними в дискуссию. В итоге спор о народности науки стал самой яркой и шумной полемикой года. Из славянофилов в нем участвовали Ю.Ф. Самарин, К.С. Аксаков, Н.П. Гиляров-Платонов. Так, Самарин в ответ на возражения газеты «Московские ведомости» о том, что «науки и искусства допускают лишь одно воззрение, просвещенное, следовательно, общечеловеческое» [58, с. 106], разъяснял, что под понятием «народность» подразумевается не только предмет изучения, но и «свойство постигающей мысли», своеобразие воззрения на мир, которое способно проявиться и проявляется в развитии наук, «занимающихся человеком, а не природою» [59, с. 200, 202].

Подключился к этой дискуссии и Хомяков. В полилоге «Разговор в Подмосковной» в уста одного из персонажей он вложил мысль своих оппонентов: «Народность есть ограничение общечеловеческого, а только общечеловеческое и дорого. Чем менее оно во мне ограничено, тем лучше» [60, с. 263]. На это другой персонаж, Тульнев, alter ego автора, возражал: «Конечно. Народное начало является только как первый воспитатель ума личного, и вопрос должен быть поставлен следующим образом: народность служит ли пособием или делается помехою личности при восприятии общечеловеческого?». И сам же он отвечал на это: «Все истины науки, за исключением дважды два четыре (горение есть

[1] В статье «С.С. Уваров и журнальная борьба 1830–1840-х гг.» мы вслед за Н.И. Казаковым и другими исследователями полагаем, что «теория официальной народности» как целостная государственная идеология – миф, рожденный и растиражированный А.Н. Пыпиным и либеральными учеными XIX века. Однако термин «официальная народность» остается приемлем для определения комплекса идей, представленных Уваровым и реализуемых в его деятельности.

соединение сгораемого с кислородом и тому подобное) передаются нам от других людей в формах, образах, выражениях, определенных теми народностями, к которым эти люди принадлежат, и, следовательно, каждая народность отражается в нас. Точно то же и с нашей народностью» [60, с. 266–267]. Развитие своей народности, собственного самобытного сознания отнюдь не является обеднением или ограничением, разъяснял Хомяков. Отсутствие своей народности, по его мысли, заменяется «не общечеловеческим началом, а многонародностью Вавилонскою, и человек, не добившись невозможной чести быть человеком безусловно, делается только иностранцем вообще, не только в отношении к своему народу, но и ко всякому другому и даже к самому себе» [60, с. 268].

Продолжая эти рассуждения, Хомяков заговорил о возможности (с оговоркою «отчасти») народности, то есть национального воззрения в точных науках, будь то физика или химия, примерами чего он привел теорию волн швейцарца Л. Эйлера и теорию атомов англичанина Д. Дальтона [60, с. 270]. На подобные утверждения не решался никто даже из его друзей-славянофилов. Только позже, в 1869 году, развернутые рассуждения о возможностях и особенностях русской национальной науки предложил Н.Я. Данилевский [61, с. 154–188].

Тем не менее последующие эпохи представили подтверждения идей Хомякова и Данилевского. Приведем только два примера. Евразиец П.Н. Савицкий в 1926–1927 годах отметил проявление особой русской национальной традиции в развитии географии (включая почвоведение и лесоводство), и наоборот – почти совершенную заимствованность политической экономии [62, с. 248–250; 63, с. 272–274]. И, наконец, современные историки науки, американец Л. Грэхэм и француз Ж.-М. Кантор, показали роль национального сознания в сфере точных наук. В своей книге «Имена бесконечности» они рассказали, как русские математики Д.Ф. Егоров и Н.Н. Лузин, опираясь на опыт имяславия (то есть развившегося именно в России мистико-богословского учения), открыли дескриптивную теорию множеств [64].

Однако вернемся в 1856 год, когда Хомяков в работе «Разговор в Подмосковной» утверждал: «Служение народности есть в высшей степени служение делу общечеловеческому», и в то же время «чем более человек становится слугою человеческой истины, тем дороже ему его народ» [60, с. 275]. Иными словам, в отличие от многих современников, он не противопоставлял народное и общечеловеческое, а, напротив, декларировал их антиномическую связь. В 1859 году Хомяков заявил от имени издаваемого славянофилами журнала: «„Русской беседе“ дорога всякая народность» [65, с. 158]. И еще ранее в своей газете «Молва» восклицал К.С. Аксаков: «Да, нужно признать всякую народность: из совокупностей их слагается общечеловеческий хор. <…> пусть свободно и ярко цветут все народности в человеческом мире: только они дают действительность и энергию общему труду народов» [66, с. 275–276].

Таким образом, Хомяков и славянофилы предвосхитили идеи Ф.М. Достоевского, высказанные в его знаменитой Пушкинской речи (впрочем, известно, что тот много и со вниманием читал Хомякова). Напомним, что в этой речи, говоря о пушкинской «всемирной отзывчивости», то есть о способности постигнуть и уметь выразить чувства и переживания других народов, Достоевский представил «народность в дальнейшем своем развитии, народность нашего будущего, таящуюся уже в настоящем». А «сила духа русской народности», по его словам, заключается в «стремлении ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности». Подытоживая свои мысли, Достоевский провозгласил, что стать вполне русским – значит «стать братом всех людей, *всечеловеком*» [67, с. 147]. Очевидно, что такое стремление к всемирному, всечеловеческому единству было сродни хомяковской соборности [см. 75, 76].

Вслед за Хомяковым Достоевский указал на неразрывную связь народности и пи-

тающих ее религиозных чувств. «Отрицающий народность отрицает и веру, – подчеркивал он в одном из писем в декабре 1880 года. – Именно у нас это так, ибо у нас вся народность основана на христианстве» [68, с. 236].

IV

Впрочем, не стоит думать, что в самом кругу славянофилов не возникало споров вокруг народности. Еще в 1847 году И.В. Киреевский отмечал, что «понятие о народности» среди его московских друзей «совершенно различно»: «Тот разумеет под этим словом один так называемый *простой народ*; другой – *ту идею* народной особенности, которая выражается в нашей истории; третий – те следы церковного устройства, которые остались в жизни и обычаях нашего народа и пр.» [69, с. 63][1].

И уже после смерти Киреевского, на рубеже новой эпохи, славянофилы, убежденные сторонники самодержавия, православные и апологеты народности, тем не менее спорили между собой об отношении к составляющим триады. Если в 1856 году в объявлении о коллективном славянофильском журнале «Русская беседа» было сказано: «Народность русская неразрывно соединена с Православною Верою» [57, с. 255], то И.С. Аксаков в связи с этим объяснял в письме Н.С. Соханской: «Слово *православие*, после знаменитой казенной формулы: “Православие, самодержавие и народность”, – до такой степени слилось в понятиях публики с официальностью, с представлением целого ряда “смиренных архиереев и кавалеров”, торжественных молебнов, освящающих всякую мерзость и подлость, с холопской услужливостью Церкви Самодержавной власти, и проч. и проч., что может быть употребляемо (слово Православие) с величайшею осторожностью, и с оговорками» [71, с. 58].

Сам же И.С. Аксаков, объявляя о своей газете «Парус», в 1858 году заявил: «Наше знамя – *Русская народность*» [72, с. 147]. На это А.И. Кошелев отвечал ему: «Без православия наша народность – дрянь. С православием наша народность имеет мировое значение» [70, с. 251].

Уже после кончины Хомякова на протяжении более двух десятилетий славянофилы в публичных выступлениях не высказывали своего отношения к уваровской формуле. Когда же последний из них, И.С. Аксаков, в 1884 году все же заговорил о триаде, то именно в том духе, что уваровское выражение «надолго скомпрометировало в русском общественном мнении» заключающуюся в нем истину, а по поводу ее третьего элемента заметил: «Система имела притязание на “народность” и “народностью” себя оправдывала. Ею должен был прикрашиваться фасад государственного здания, с немецкого образца снятый. О более глубоком раскрытии этого понятия, о том, что под народностью разумеется все содержание народного духа, как выразившееся внешним образом в истории, быту и жизни народа, так и опознаваемое в его художественном творчестве, в его верованиях, чаяниях и стремлениях, – о том, что это содержание народного духа имеет полное право на свободное развитие и на господствующее положение в том государстве, которое этим духом созиждено и им только и держится, – обо всем этом, конечно, никто из официальных и официозных ревнителей народности в ту пору даже и толковать не осмеливался» [73, с. 361–362].

Таким образом, если уместно говорить о влиянии Хомякова, некогда оказанном на Уварова, надо признать, что хомяковские идеи (пусть еще не вполне развитые) в интерпретации министра многое потеряли, сузились и превратились в «официальную народность». Тем не менее в 1870-х годах начались первые попытки еще более «сузить» уваровскую «народность», рассматривать ее преимущественно или даже исключительно в политиче-

[1] В этой связи примечательно замечание Н.П. Колюпанова, сделанное в 1892 году: «Всего труднее изложить учение славянофилов о народности, так как понятие о народности принадлежит к числу самых неопределенных и неустойчивых» [70, с. 183].

ском ракурсе (отголосок этого мы видим и в словах И.С. Аксакова, ведь внимание его привлекли не столько представления Уварова, сколько «система», практика государственного управления, «реакция в лице императора Николая» [73, с. 361]). Такая традиция была заложена А.Н. Пыпиным и поддержана несколькими поколениями ученых и журналистов. Иные из них приписывали министру ими же созданные идеологические интерпретации в духе: «народность» означает крепостное право. Подобная логика сродни методам III отделения, сумевшего убедить Николая I, что И.В. Киреевский в журнале «Европеец» под словом «просвещение» подразумевал свободу, выражение «деятельность разума» использовал для обозначения революции, а под «искусно отысканной серединой» понимал конституцию [74, с. 73]. Однако эта традиция не иссякла и по сей день.

Литература

1. *Аксаков И.С.* Письмо к издателю «Русского архива». По поводу статьи Э. Мамонова: «Славянофилы» // *Аксаков К.С., Аксаков И.С.* Избранные труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент. А.А. Ширинянц и др. М. : РОССПЭН, 2010. С. 580–596.
2. *Азадовский М.К.* История русской фольклористики. М. : Институт русской цивилизации, 2014. 1045 с.
3. *Богданов К.А.* О крокодилах в России : очерки из истории заимствований и экзотизмов. М. : Новое литературное обозрение, 2006. 348 с.
4. Остафьевский архив князей Вяземских / идея, сост., предисл. С. Москаленко. Т. 1: Переписка князя П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым. 1812–1819. Репринт. изд. М. : Век, 1994. 677 с.
5. *Вяземский П.А.* Эстетика и литературная критика / сост., подгот. текстов, вступ. ст. и коммент. Л.В. Дерюгиной. М. : Искусство, 1984. 463 с.
6. *Вяземский П.А.* Разбор «Второго разговора», напечатанного в 7 № «Вестника Европы» // Дамский журнал. 1824. Ч. 6. № 8. С. 63–82.
7. *Бадалян Д.А.* Понятие «народность» в русской культуре XIX века // Исторические понятия и политические идеи в России XVI – XX века : Сб. научных работ : Серия «Источник. Историк. История». СПб. : Изд-во Европейского ун-та ; Алетейя, 2006. Вып. 5. С. 108–122.
8. *Белинский В.Г.* Литературные мечтания (Элегия в прозе) / В.Г. Белинский // Полн. собр. соч. : в 13 т. Т. 1: Статьи и рецензии; Художественные произведения: Дмитрий Калинин; Русская быль: 1829–1835 / подг. текста и коммент. В.С. Спиридонова. М. : Изд-во Академии наук СССР, 1953. С. 20–104.
9. [*Уваров С.С.*] (Марта 21) Циркулярное предложение г. Управляющего Министерством народного просвещения… // Журнал Министерства народного просвещения. 1834. № 1. С. XLIX–L.
10. [Введение] // Журнал Министерства народного просвещения. 1834. № 1. С. III–VII.
11. *Зорин А.Л.* Идеология «Православия-Самодержавия-Народности» : опыт реконструкции (Неизвестный автограф меморандума С.С. Уварова Николаю I) // Новое литературное обозрение. 1997. № 26. С. 71–104.
12. *Шилов Д.Н.* Государственные деятели Российской империи : Главы высш. и центр. учреждений, 1802–1917 : Биобиблиогр. справочник. СПб. : Дмитрий Буланин, 2002. 936 с.
13. *Уваров С.С.* Отчет по обозрению Московского университета (4 декабря 1832 г.) / С.С. Уваров // Избранные труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент. В.С. Парсамов, С.В. Удалов ; пер. В.С. Парсамова. М. : РОССПЭН, 2010. С. 294–313.
14. *Шевченко М.М.* Доклады министра народного просвещения С.С. Уварова императору Николаю I // Река времен : Книга истории и культуры. М. : Эллис Лак ; Т-во «Река времен», 1995. Кн. 1. С. 67–78.
15. *Цимбаев Н.И.* «Под бременем познанья и сомненья…» (Идейные искания 1830-х годов) // Русское общество 30-х годов XIX в. : Люди и идеи (Мемуары современников). М. : Изд-во МГУ, 1989. С. 5–47.
16. *Казаков Н.И.* Об одной идеологической формуле николаевской эпохи // Контекст-1989 : Литературно-теоретические исследования / отв. А.В. Михайлов. М. : Наука, 1989. С. 5–41.
17. *Симосато Т.* Переосмысление концепции «народность» : С.С. Уваров как консервативный мыслитель // Мысль : журнал Петербургского философского общества. 2016. № 20. С. 87–97.
18. [*Межевич В.С.*] О народности в жизни и в поэзии : Речь, произнесенная Московского дворянского института старшим учителем Василием Межевичем // Ученые записки Императорского Московского ун-та. 1836. Ч. 11, № 7. С. 94–146; № 8. С. 272–308.
19. [*Уваров С.С.*] Обозрение истекшего пятилетия // Журнал Министерства народного просвещения. 1839. Ч. XXI. Отд. I. С. 1–36.
20. *Уваров С.С.* Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833–1843 / С.С. Уваров // Избранные труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент. В.С. Парсамов, С.В. Удалов ; пер. В.С. Парсамова. М. : РОССПЭН, 2010. С. 346–455.
21. *Иванов О.А.* Пропаганда идеологии охранительства в официальном издании Министерства народного просвещения в 30-е годы XIX века // Общественная жизнь Центрального Черноземья России в XVII –

начале XX века : Сб. научных трудов / отв. ред. М.Д. Карпачев. Воронеж : Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2002. С. 45–57.

22. *Иванов О.А.* «Журнал Министерства народного просвещения» // Русский консерватизм середины XVIII – начала XX века : энциклопедия / отв. ред. В.В. Шелохаев, сост. А.Ю. Минаков и др. М. : РОССПЭН, 2010. С. 180–183.

23. *Жуковская Т.Н.* С.С. Уваров и Кирилло-Мефодиевское общество, или кризис «официальной народности» // Отечественная история и историческая мысль в России XIX–XX веков : Сб. статей к 75-летию Алексея Николаевича Цамутали / отв. ред. Р.Ш. Ганелин. СПб. : Нестор-История, 2006. С. 196–207.

24. *Бадалян Д.А.* С.С. Уваров и журнальная борьба 1830–1840-х годов // Тетради по консерватизму. 2018. № 1.

25. *Уваров С.С.* Доклад императору Николаю I о славянстве / С.С. Уваров // Избранные труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент. В.С. Парсамов, С.В. Удалов; пер. В.С. Парсамова. М. : РОССПЭН, 2010. С. 489–496.

26. *Волков В.К.* К вопросу о происхождении терминов «пангерманизм» и «панславизм» // Славяно-германские культурные связи и отношения / отв. ред. В.Д. Королюк. М. : Наука, 1969. С. 25–69.

27. *Мырикова А.В., Ширинянц А.А.* Русофобский миф «панславизма» // Актуальные проблемы современного россиеведения : Сб. научных статей / под. общ. ред. М.А. Маслина, П.Е. Бойко; сост. А.В. Воробьев. М. : Кубанское отделение РФО, Издатель Воробьев А.В., 2007. С. 240–244.

28. *Цимбаев Н.И.* Славянофильство : Из истории русской общественной мысли XIX века. М. : Государственная публичная историческая библиотека России, 2013. 447 с.

29. *Уваров С.С.* Циркулярное предложение попечителю Московского учебного округа / С.С. Уваров // Избранные труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент. В.С. Парсамов, С.В. Удалов; пер. В.С. Парсамова. М. : РОССПЭН, 2010. С. 497–501.

30. *Боткин В.П.* Литературная критика. Публицистика. Письма / сост., подг. текста, вступ. ст. и примеч. Б.Ф. Егорова. М. : Сов. Россия, 1984. 320 с.

31. *Хомяков А.С.* Мнение иностранцев о России / А.С. Хомяков // О старом и новом : Статьи и очерки / сост., вступ. ст. и коммент. Б.Ф. Егорова. М. : Современник, 1988. С. 82–103.

32. *Хомяков А.С.* Мнение русских об иностранцах / А.С. Хомяков // О старом и новом : Статьи и очерки / сост., вступ. ст. и коммент. Б.Ф. Егорова. М. : Современник, 1988. С. 103–135.

33. *Хомяков А.С.* О возможности русской художественной школы / А.С. Хомяков // О старом и новом : Статьи и очерки / сост., вступ. ст. и коммент. Б.Ф. Егорова. М. : Современник, 1988.С. 135–159.

34. *Зорин А.Л.* Кормя двуглавого орла… : Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М. : Новое литературное обозрение, 2004. 414 с.

35. *Пирожкова Т.Ф.* Славянофильская журналистика. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1997. 220 с.

36. *Шпет Г.Г.* Очерк развития русской философии / *Г.Г. Шпет* // Сочинения. М. : Правда. 1989. С. 11–342.

37. *Зорин А.Л.* Идеология «Православия-Самодержавия-Народности» и ее немецкие источники // В раздумьях о России (XIX в.) / отв. ред., сост. и авт. вступ. ст. Е.Л. Рудницкая. М. : Археогр. центр, 1996. С. 105–128.

38. П.Б. [*Бартенев П.И.*] Примечания // *Свербеев Д.Н.* Воспоминания о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русский архив. 1868. № 6. Стлб. 989.

39. *Бартенев П.И.* Воспоминания об А.С. Хомякове // *Хомяков А.С.* Дар песнопенья; О старом и новом; Церковь одна; Труженик; Современники о А.С. Хомякове. Борец за Святую Русь / изд. подг. Б.Н. Романов. М. : Русскій міръ, 2007. С. 452–459.

40. *Барсуков Н.П.* Заметка об А.С. Хомякове // Русский архив. 1885. № 9. С. 158–159.

41. *Бадалян Д.А.* А.С. Хомяков, С.С. Уваров и журнальная борьба 1830–1840-х годов // Острова любви БорФеда : Сб. в честь 90-летия Бориса Федоровича Егорова / ред.-сост. А.П. Дмитриев и П.С. Глушаков ; под общ. ред. Е.П. Щегловой. СПб. : Росток, 2016. С. 178–188.

42. *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб. : Типогр. М.М. Стасюлевича, 1892. Кн. 6. 402 с.

43. П.Б. [*Бартенев П.И.*]. Послесловие // Заметка об А.С. Хомякове // Русский архив. 1885. № 9. С. 159–160.

44. *Пиксанов Н.К.* Грибоедов : Исследования и характеристики. Л. : Изд-во писателей в Ленинграде, 1934. 334 с.

45. *Хомяков А.С.* Полн. собр. соч. М. : Университетская типография, 1900. Т. 8: Письма. 544 с.

46. *Хомякова М.А.* Воспоминания об А.С. <Хомякове> / публ. и коммент. Е.Е. Давыдовой // Хомяковский сборник / отв. ред. Н.В. Серебренников. Томск : Водолей, 1998. Т. 1. С. 173–204.

47. *Мазур Н.Н.* К ранней биографии А.С. Хомякова (1810–1820) // Лотмановский сборник. М. : О. Г. И ; Изд-во РГГУ, 1997. [Т.] 2. С. 195–223.

48. П.Б. [*Бартенев П.И.*] Неизданные стихи А.С. Хомякова // Русский архив. 1863. № 4. Стлб. 303–304.

49. Основные даты жизни и деятельности А.С. Хомякова / сост. В.А. Кошелев // *Хомяков А.С.* Стихотворения / сост., вступ. ст. и коммент. В.А. Кошелева. М. : Прогресс-Плеяда, 2005. 701 с. С. 669–677.

50. *Флоровский Г., прот.* Пути русского богословия. Минск : Изд-во Белорусского Экзархата, 2006. 607 с.

51. *Косякова С.А.* А.Ф. Мерзляков – исследователь литературы и поэт : автореферат дис. ... канд. филолог. наук. Тамбов : Тамбов. гос ун-т, 1995. 20 с.

52. *Косякова С.А.* Поэтика жанра «русской песни» в лирике А.Ф. Мерзлякова // Социально-экономические явления и процессы. 2012. [№] 4 (38). С. 142–146.

53. Систематическая роспись изданий Общества любителей российской словесности при Московском университете, 1811–1930 / авт.-сост. Р.Н. Клеймёнова; под ред. Т.Г. Анохиной. М. : Изд-во МГУ, 1981. 87 с.

54. [*Хомяков А.С.*] Тацит // Труды Общества любителей российской словесности. 1821. Ч. XIX. С. 29–32.

55. *Бадалян Д.А.* Два неизвестных произведения ранней публицистики А.С. Хомякова // Мир романтизма. Вып. 6 (30) : Материалы международной научной конференции «Мир романтизма» (X Гуляевских чтений). Тверь, 12–15 сентября 2002 г. Тверь : Твер. гос. ун-т, 2002. С. 340–348.

56. N.N. [*Хомяков А.С.*?] Московская сцена // Молва. 1832. 13 декабря. № 100. С. 398–400.

57. Объявление к № 27-му «Московских ведомостей» 1856 года : Об издании нового журнала в 1856 году под названием «Русская беседа» / публ. и коммент. А.П. Дмитриева // «Русская беседа» : история славянофильского журнала : Исследования. Материалы. Постатейная роспись / под ред. Б.Ф. Егорова и др. СПб. : Изд.-во «Пушкинский дом», 2011. С. 255–257.

58. Литературные и другие новости // Московские ведомости. 1856. 3 марта. № 27. С. 106.

59. *Самарин Ю.Ф.* Два слова о народности в науке / Ю.Ф. Самарин // Собр. соч. : в 5 т. Т. 1: Литература и история / сост., подгот. текста, коммент. А.Н. Николюкина и Т.Ф. Прокопова. СПб. : Росток, 2013. С. 200–209.

60. *Хомяков А.С.* Разговор в Подмосковной / А.С. Хомяков // О старом и новом : Статьи и очерки / сост., вступ. ст. и коммент. Б.Ф. Егорова. М. : Современник, 1988. С. 252–277.

61. *Данилевский Н.Я.* Россия и Европа : Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому / сост., авт. вступ. ст. и коммент. А.В. Репников, М.А. Емельянов-Лукьянчиков. М. : РОССПЭН, 2010. 663 с.

62. *Савицкий П.Н.* К вопросу об экономической доктрине евразийства (В порядке обсуждения) / П.Н. Савицкий // Избранное / сост., авт. вступ. ст. Е.Л. Петренко; авт. коммент. М.И. Иванов и др. М. : РОССПЭН, 2010. С. 243–262.

63. *Савицкий П.Н.* Географический обзор России-Евразии / П.Н. Савицкий // Избранное / сост., авт. вступ. ст. Е.Л. Петренко; авт. коммент. М.И. Иванов и др. М. : РОССПЭН, 2010. С. 263–278.

64. *Грэхэм Л.Р., Кантор Ж.-М.* Имена бесконечности : правдивая история о религиозном мистицизме и математическом творчестве / пер. с англ. А.Ю. Вязьмина под ред. Б.В. Останина. СПб. : Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2011. 230 с. (Первое изд.: Graham, Loren R., and Kantor, Jean-Michel. *Naming Infinity. A True Story of Religious Mysticism and Mathematical Creativity*. Cambridge, MA, and London : The Belknap Press of Harvard University Press, 2009. 239 p.)

65. [*Хомяков А.С.*] От редакции. По поводу предыдущей статьи // Русская беседа. 1859. Кн. II (XIV). Отд. V. С. 158–164.

66. *Аксаков К.С.* Передовые статьи газеты «Молва» // *Аксаков К.С., Аксаков И.С.* Избранные труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент. А.А. Ширинянц и др. М. : РОССПЭН, 2010. С. 259–302.

67. *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. : в 30 т. Л. : Наука, Ленинградское отд-е, 1984. Т. 26: Дневник писателя, 1877, сентябрь – декабрь –1880, август / тексты подгот. и примеч. сост. А.В. Архипова и др.; ред. Н.Ф. Буданова и др. 518 с.

68. *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. : в 30 т. Л. : Наука, Ленинградское отд-е, 1988. Т. 30: Письма, 1878–1881 / тексты подгот. и примеч. сост. А.В. Архипова и др.; ред. Н.Ф. Буданова и др. Кн. 1. 455 с.

69. *Киреевский И.В.* Московским друзьям // *Киреевский И.В., Киреевский П.В.* Полн. собр. соч. : в 4 т. Т. 1: Философские и историко-публицистические работы / сост., примеч. и коммент. А.Ф. Малышевского. Калуга : Издательский педагогический центр «Гриф», 2006. С. 61–65.

70. *Колюпанов Н.П.* Биография Александра Ивановича Кошелева. М. : Типогр.-литогр. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1892. Т. 2: Возврат к общественной и литературной деятельности (1832–1856). 601 с.

71. Семья Аксаковых и Н.С. Соханская (Кохановская) : Переписка (1858–1884) / сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. О.Л. Фетисенко. СПб. : Изд-во «Пушкинский Дом», 2018. 600 с.

72. *Аксаков И.С.* Об издании в 1859 г. газеты «Парус» / И.С. Аксаков // Наше знамя – русская народность / коммент. С.В. Лебедева. М. : Институт русской цивилизации, 2008. С. 145–149.

73. *Аксаков И.С.* Что значит: выйти нашему правительству на исторический народный путь? / И.С. Аксаков // Отчего так нелегко живется в России? / сост., вступ. ст. В.Н. Грекова ; подгот. текста, примеч. В.Н. Грекова, Н.А. Смирновой. М. : РОССПЭН, 2002. С. 358–368.

74. *Лемке М.К.* Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. : По подлинным делам Третьего Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. 3-е изд. М. : ЛЕНАНД, 2014. 640 с.

75. *Бадалян Д.А.* А.С. Хомяков и Ф.М. Достоевский: К истории развития «идеи народности» в русской культуре XIX в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2: История, языкознание, литературоведение. 1999. Вып. 4 (№ 23). С. 108–111.

76. *Бадалян Д.А.* «Прототипы» идей Пушкинской речи Ф.М. Достоевского в произведениях А.С. Хомякова, И.В. Киреевского и И.С. Аксакова // Россия и мир: вчера, сегодня, завтра : Научные труды МГИ им. Е.Р. Дашковой. М. : МГИ, 2003. С. 363–371.

Аннотация. Понятие «народность», появившееся в русской культуре в 1820-х годах, вызвало интерес А.С. Хомякова еще до того, как С.С. Уваров публично провозгласил триаду «Православие. Самодержавие. Народность» и, как утверждал П.И. Бартенев, молодой философ оказал влияние на развитие этой идеи у министра. Это подтверждает интерес, проявленный Уваровым к Хомякову в 1830-х годах. Связываемое с деятельностью Уварова понятие «теория официальной народности» сегодня нуждается в серьезном переосмыслении. Однако если Уваров не создавал целостной государственной идеологии, то попытался представить «народность» как лозунг развития самобытной национальной культуры. В 1840–1850-х годах Хомяков и другие славянофилы разработали собственную, независимую от уваровской концепцию народности. В их интерпретации «народность» выступает и как предмет познания (в изучении народного быта, фольклора и т.д.), и как форма сознания (система образов, восприятие мира). При этом славянофилы подчеркивали, что народность русская неразрывно соединена с православной верой. По Хомякову, «служение народности есть в высшей степени служение делу общечеловеческому», и в то же время «чем более человек становится слугою человеческой истины, тем дороже ему его народ». Влияние идей Хомякова проявилось в Пушкинской речи Ф.М. Достоевского, который, как и славянофилы, не противопоставлял «народное» и «общечеловеческое», а декларировал их антиномическую связь.

Ключевые слова: С.С. Уваров, А.С. Хомяков, понятие «народность», лозунг «Православие. Самодержавие. Народность», идеология, славянофильство.

Dmitry A. Badalyan, Ph.D. in History, Senior Staff Scientist, Bibliology Sector, Rare Books Department, Russian National Library, St. Petersburg, Russia. E-mail: dmit.bad@gmail.com

“Official Narodnost’” or Narodnost’? S.S. Uvarov and A.S Khomyakov

Abstact. The notion of **“***narodnost***’”** (the national ethos, national spirit, nationality), which appeared in the Russian culture in the 1820s, aroused A.S. Khomyakov’s interest even before Minister of Public Education S.S. Uvarov publicly proclaimed his triad «Orthodoxy. Autocracy. Nationality», and, according to P.I. Bartenev, the young philosopher influenced the development of this idea in the minister’s writings. That concept was illustrated by Uvarov’s interest in the works of Khomyakov in the 1830s. The concept of “official narodnost’” (*Oficial'naya Narodnost'*) associated with Uvarov’s activity needs serious rethinking today. And though Uvarov did not create an integral state ideology, he still tried to put forward “narodnost’” as the basis for the development of original national culture. In the 1840–1850s, Khomyakov and other Slavophiles developed their own concept of *narodnost'*, apart from Uvarov’s. In their interpretation, *narodnost'* was presented both as the object of cognition (people’s everyday life, folklore) and as the form of consciousness (the complex of imagery, perception of the world). Also, the Slavophiles emphasized that the Russian narodnost’ was inextricably connected with the Orthodox Faith. According to Khomyakov, «the devotion to nationality was primarily the devotion to the cause of panhumanism», and, at the same time, «the more a person served the cause of human truth, the more he treasured his own nation». The influence of Khomyakov’s ideas showed in the so called «Pushkin speech» of F.M. Dostoyevsky, who, like Slavophils, did not oppose national and panhuman, but asserted their antinomical connection.

Keywords: S.S. Uvarov, A.S. Khomyakov, Concept of Narodnost', «Orthodoxy. Autocracy. Nationality» Concept, Ideology, Slavophilism.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-1-67-75

Арина Мещерякова

Граф С.С. Уваров в контексте русского консерватизма первой половины XIX века

Сергей Семенович Уваров (1786–1855) – фигура знаковая для русского консерватизма. В духовной и общественно-политической жизни первой половины XIX столетия – на протяжении двух царствований и двух разных эпох – он неизменно играл яркую и выдающуюся роль. Помимо весьма солидного (по меркам раннего консерватизма) идейного наследия, которое С.С. Уваров оставил после себя, он оказал русскому консерватизму столько символических услуг, сколько, пожалуй, ни один его современник-единомышленник. И, пожалуй, самой значимой из них является создание им триады «Православие. Самодержавие. Народность», ставшей символом русского консерватизма.

Интеллектуальную биографию Сергея Семеновича Уварова можно начинать с периода его его учебы и воспитания в доме князя А.Б. Куракина, женой которого была родная тетка будущего консерватора – Наталья Ивановна, урожденная Головина. Домашнее образование юного С.С. Уварова было вполне типичным для русской аристократии XVIII века, оно было насквозь вестернизированным, отличаясь скорее блеском, чем глубиной. Но примечателен в данном случае наставник юного С.С. Уварова. Им был французский эмигрант аббат Манген. С одной стороны, он привил своему воспитаннику тягу к европейской культуре и образованию, утонченный вкус, а с другой – консервативные идеалы, сторонником которых и сам был [2, с. 7]. Годы спустя именно с аббатом Мангеном Сергей Семенович будет издавать первую в России «консервативную» газету с символичным названием – «Беспристрастный консерватор» («Conservateur impartial”). Возможно, именно французский аббат и предложил соответствующее название для франкоязычного издания, поскольку в русском лексиконе аналогов политическому понятию «консерватор» на тот момент еще не было [31, с. 114].

Находясь с пятнадцатилетнего возраста на дипломатической службе, С.С. Уваров был отправлен от Коллегии иностранных дел на учебу в Геттингенский университет (1803) [4, с. 218] – одно из лучших учебных заведений Европы. Учеба за границей и полученные затем назначения в русские посольства в Вене и Париже (с 1806 по 1810 г.) способствовали приобретению новых знаний и расширению культурного кругозора С.С. Уварова. Так, во время пребывания в Вене он был вхож в круг европейской культурной и политической элиты: общался с графом Л. фон Кобенцелем, князем Ш.-Ж. де Линем, бароном К. фон Штейном, графом К.О. Поццо ди Борго, мадам Ж. де Сталь, братьями Августом и Фридрихом фон Шлегелями [18, 19, 24]. Для молодого человека, воспитанного на образцах западной культуры, годы дипломатической службы в Европе стали временем дальнейшего развития его культурного западничества, которому в общих чертах он был верен до конца жизни.

Мещерякова Арина Олеговна, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры философии и гуманитарной подготовки Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко. E-mail: arina-m@mail.ru

В год своего возвращения на родину С.С. Уваров написал и затем издал на французском и русском языках свою первую серьезную работу – «Проект Азиатской академии» [25]. Как правило, «Проекту…» отводится роль научного трактата и почти полностью игнорируется идеологическая составляющая этого текста. Между тем, С.С. Уваров одним из первых отметил политическое значение изучения Востока для России. Автор трактата подчеркивал, что Российская империя, имеющая обширную сухопутную границу с государствами Азиатского региона, как никакая другая страна должна иметь серьезную политическую заинтересованность в исследовании Востока. Однако, несмотря на всю очевидность этого, среди всех европейских государств именно в России, по словам С.С. Уварова, «меньше всего уделяют внимания изучению Азии» [25, с. 69]. Помимо собственно политических целей «азиатские исследования» должны способствовать сближению и взаимообогащению восточной и западной цивилизаций [25, с. 69–78]. Изучение Востока, по мнению С.С. Уварова, имело и, выражаясь современным языком, антимодернистское значение. Обращение к Востоку должно помочь европейской цивилизации свернуть с пути рационализма и «кровавых социальных потрясений» на путь восстановления связи с Традицией. Заявляя о необходимости «защищать огромные развалины, восстанавливать, а не строить новое здание» [25, с. 79], С.С. Уваров выдвигал главный принцип консерватизма: сохранение и продление Традиции в противовес строительству «нового здания», лишенного исторического фундамента.

«Проект Азиатской академии» получил широкую известность как в Европе, так и в России. Этот трактат высоко оценили Наполеон, французский ориенталист Лангле, великая княгиня Екатерина Павловна, Фридрих Шлегель, Гете, Жозеф де Местр. Последний, кроме прочего, похвалил молодого ученого за его «нападки» на XVIII столетие как «самую постыдную эпоху человеческого духа» и его отважную проповедь «добрых старых принципов» [2, с. 34]. Основные положения «Проекта Азиатской академии» впоследствии нашли отражение в ряде других сочинений, вышедших из-под пера С.С. Уварова [26, с. 251–260; 16, с. 361–364]. Примечательно, что он не только теоретически доказывал необходимость глубокого и всестороннего изучения Востока, но и приложил немало усилий для практического внедрения ориенталистики в систему отечественного образования и науки. В 1843 году в юбилейном отчете о результатах деятельности Министерства народного просвещения под своим руководством он отмечал, что «иностранные ученые, еще недавно обвинявшие Россию и втайне, и гласно в недостатке основательных изысканий о Востоке», теперь в один голос хвалят учрежденную систему изучения Востока, а также те усилия, которые предпринимают русские ученые на этом поприще» [16, с. 364].

Женитьба в 1810 году на дочери министра народного просвещения графа А.К. Разумовского Екатерине Алексеевне способствовала назначению С.С. Уварова попечителем Санкт-Петербургского учебного округа и членом, а с 1818 года и президентом Императорской Академии наук [10, с. 16]. Как попечитель Санкт-Петербургского учебного округа С.С. Уваров создал нескольких записок, имеющих принципиальное значение для характеристики его взглядов в царствование Александра I.

Одна из них – «О преподавании истории относительно к народному воспитанию» [20, с. 204–213] – была издана отдельной брошюрой на французском языке в 1813 году. Основную мысль записки автор выразил следующим образом: «В народном воспитании преподавание истории есть дело государственное» [20, с. 204]. Исходя из этого, С.С. Уваров давал конкретные указания и рекомендации, касающиеся преподавания всемирной и отечественной истории на той или иной ступени образования – в народных училищах, гимназиях и университетах. Отмечая особенности преподавания истории в разных учебных заведениях, автор записки тем не менее выдвигал общие для всех требования. Во-первых, исторические события и процессы должны рассматриваться сквозь призму ре-

лигии и философии. Благодаря этому, по мысли С.С. Уварова, всемирный исторический процесс приобретет стройность и ясность. Во-вторых, изучение истории должно «возбуждать и сохранять народный дух», культивировать национальную самобытность. И, наконец, последнее: в преподавании истории, по мнению С.С. Уварова, должна отражаться политика правительства [20, с. 212]. Спустя два десятилетия все эти принципы в более четкой и конкретной форме нашли свое воплощение в знаменитой триаде «Православие. Самодержавие. Народность», на которой С.С. Уваров предлагал основывать образование в России.

Тема преподавания истории и ее роли в формировании государственной идеологии была затронута С.С. Уваровым и в «Речи президента Императорской академии наук, попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, в торжественном собрании Главного педагогического института 22 марта, 1818 года» [26]. Эту «Речь…» можно считать программным и одновременно самым противоречивым официальным документом, вышедшим из-под пера С.С. Уварова в царствование Александра I. С одной стороны, он повторил и усилил ряд сделанных ранее заявлений в консервативном ключе [26, с. 251–260, 271]. С другой – в своей речи С.С. Уваров процитировал известного либерала, лорда Т. Эрскина, назвав политическую свободу «последним и прекраснейшим даром Бога» [26, с. 267]. Вероятно, упомянув в своей «Речи…» о политической свободе, автор всего лишь хотел включить свое выступление в контекст либеральной политики Александра I. Как справедливо заметил в свое время Н.П. Барсуков, эта «Речь…» была произнесена С.С. Уваровым вслед за открытием Варшавского сейма в феврале 1818 года, когда «из уст самого государя раздались свободолюбивые обеты» [1, с. 228]. Современные исследователи также склонны считать либеральные идеи С.С. Уварова, озвученные им 22 марта 1818 года, откликом на речь императора Александра I от 15 марта 1818 года, заявившего в Варшаве о своих намерениях в перспективе даровать конституцию всей России [30, с. 530]. Примечательно, что ни до, ни после своей мартовской «Речи…» 1818 года С.С. Уваров не демонстрировал в своих текстах либерализм столь явно и откровенно.

За эту «минутную слабость» С.С. Уварова часто обвиняют в беспринципности и приспособленчестве, подчеркивая, что его общественно-политические взгляды во многом определялись карьерными соображениями [14, с. 678; 2, с. 4, 8, 146; 11, с. 21]. Факты его государственной деятельности свидетельствуют о другом. Причиной отставки С.С. Уварова с высоких государственных постов – попечителя Санкт-Петербургского учебного округа в царствование Александра I и министра народного просвещения в царствование Николая I – был его отказ действовать вопреки совести и своим принципам.

В действительности вопрос о взглядах С.С. Уварова в царствование Александра I не так прост и однозначен. Основная часть текстов, появившихся из-под его пера в этот период, не слишком информативна для характеристики его общественно-политической позиции, так как в основном представляет собой научные труды, а также официальные или полуофициальные выступления государственного чиновника высокого ранга, вынужденного оглядываться на мнение высшего начальства. Для характеристики взглядов С.С. Уварова довольно точным представляется определение А.Л. Зорина, назвавшего его просвещенным консерватором «в духе Н.М. Карамзина» [7, с. 82]. По всей видимости, это определение справедливо и для мировоззрения С.С. Уварова в царствование Александра I.

В пользу этого говорит и его роль в двух событиях и явлениях интеллектуальной и культурной жизни России второй половины царствования Александра I, носивших полуофициальный и неофициальный характер. Речь идет об издании и редактировании С.С. Уваровым в 1813–1818 годах отечественной франкоязычной газеты “Conservateur impartial” – «Беспристрастный консерватор», а также о создании им в 1815 году политического и литературного объединения русских интеллектуалов «Арзамас».

В 1813 году русская франкоязычная газета Министерства иностранных дел Российской империи “Journal du Nord” («Северная газета») сменила редактора и название. Это произошло благодаря усилиям попечителя Санкт-Петербургского учебного округа С.С. Уварова. Под названием “Conservateur impartial” («Беспристрастный консерватор») ее стал редактировать сначала публицист и дипломат Г.-Т. фон Фабер, а с конца 1813 года – бывший учитель С.С. Уварова – аббат Манген [13, с. 334]. При этом неформальным редактором «консервативного» издания был сам С.С. Уваров. Целью издания было противодействие пронаполеоновской пропаганде и демонстрация привлекательного образа России как иностранным, так и русским читателям [13, с. 334]. Серьезный анализ материалов, публиковавшихся под руководством С.С. Уварова в “Conservateur impartial”, был сделан в монографии М. Майофис [8]. Автор заключила, что значительная часть публикаций 1813–1818 годов – это рецензии на сочинения С.С. Уварова, анонсы его новых работ, переводы его выступлений и т.д. [8, с. 642 – 643]. В данном случае важно даже не содержание выпусков “Conservateur impartial”, выходивших под руководством С.С. Уварова, сколько сам факт появления издания под таким заголовком. Надо напомнить, что уваровский «Консерватор» появился на пять лет раньше шатобриановского. “Conservateur impartial” – это не только и не столько первое консервативное периодическое издание в России (хотя идеологическая окраска газеты не была столь уж однозначной), сколько первое использование термина «консерватор» в русской печати, пусть и во французском переводе. Это безусловная символическая заслуга С.С. Уварова перед русским консерватизмом.

Еще одним предприятием, инициатором которого был С.С. Уваров, имевшим символическое значение для русского консерватизма, стало создание в 1815 году общества «Арзамас». И хотя создавался «Арзамас» в качестве оппозиции консервативной «Беседе любителей русского слова», именно из этого общества вышла плеяда выдающихся представителей русского консерватизма царствования Николая I, таких как В.А. Жуковский, П.А. Вяземский, А.С. Пушкин, Д.В. Дашков, сам С.С. Уваров и др. Вероятно, внутри этого сообщества произошла какая-то интеллектуальная мутация, благодаря которой такая эволюция стала возможной. Но в конечном счете в этом не было ничего случайного, если учесть, что идейным знаменем «Арзамаса» был никто иной, как Н.М. Карамзин. Таким образом, можно утверждать, что русский консерватизм Николаевского царствования зарождался не только в «Обществе любомудрия» (1823–1825), но имел и более ранние истоки – в «Арзамасе».

Возвращаясь к вопросу об особенностях общественно-политической позиции С.С. Уварова в Александровское царствование, следует понять, почему он остался за пределами мощного консервативного движения той эпохи. Это можно объяснить своеобразием его консерватизма, который испытал на себе значительное влияние идей немецкого романтизма. Во многом благодаря этому С.С. Уваров стоял особняком среди таких ранних консерваторов, как Г.Р. Державин, А.С. Шишков, Ф.В. Ростопчин, С.Н. Глинка и др. Все эти теоретики и практики раннего русского консерватизма имели слабо выраженную интеллектуальную связь со своими европейскими единомышленниками, в силу чего их идейный багаж отличался большей национальной самобытностью и независимостью. С.С. Уваров же еще в первой четверти XIX столетия идейно был ближе консерваторам следующего поколения, которые заявили о себе в царствование Николая I.

Начальный период Николаевского царствования ознаменовался крупными политическими событиями, которые не могли не оказать влияния на мировоззрение С.С. Уварова. Речь идет о восстании декабристов и июльской революции 1830 года во Франции. Во многом благодаря этим событиям к началу 1830-х годов его консерватизм приобрел большую ясность и остроту, а отношение к Западной цивилизации стало заметно критичнее. Вероятно, С.С. Уваров делился своими переживаниями и страхами, когда вскоре после

революционных событий во Франции писал следующее: «Июльская революция, уничтожившая столько явлений, покончила в Европе, по крайней мере, на полстолетия со всеми идеями общественного прогресса и политического совершенствования. Она потрясла тех, кто тверже всего верил в будущее народов, вовлекла их в бесчисленные заблуждения, заставила усомниться в себе самих. После 1830 года нет мыслящего человека, который хотя бы однажды не спрашивал себя с удивлением, что же такое эта цивилизация?» [23, с. 96].

В 1832 году С.С. Уваров был назначен товарищем министра народного просвещения при графе К.А. Ливене, а год спустя возглавил это ведомство сначала в качестве управляющего, а с 1834 года уже в ранге министра. На этом посту он явился создателем знаменитой консервативной доктрины, которая нашла свое выражение в формуле «Православие. Самодержавие. Народность». Следы этой доктрины можно найти в целом ряде документов, вышедших из-под его пера в период с 1832 по 1849 год. Наиболее информативными для анализа данной идеологической системы являются несколько официальных и полуофициальных текстов этого периода. Прежде всего речь идет о черновике меморандума Николаю I [23], появившемся в марте 1832 года, вскоре после назначения С.С. Уварова товарищем министра народного просвещения. Этот документ был опубликован в 1997 году А.Л. Зориным [5, 6]. Меморандум, по-видимому, содержит самое раннее из всех известных упоминаний о триаде [6, с. 343] в том виде, в котором она стала эмблемой русской национальной идеи. Следующими по времени создания являются «Всеподданнейший доклад управляющего Министерством народного просвещения от 19 ноября 1833 года» [15], который был подготовлен С.С. Уваровым уже в качестве исполняющего обязанности главы Министерства народного просвещения, а также записка «О средствах сделать Народное Воспитание специальным, не отступая от общих видов оного» [21] (датирована М.М. Шевченко 1833 годом [27, с. 227]). Оба документа в разное время ввел в научный оборот исследователь министерской деятельности и взглядов С.С. Уварова М.М. Шевченко [4, с. 29]. В этот же ряд следует поставить и доклады о работе Министерства народного просвещения во главе с С.С. Уваровым – за пять [22] и десять лет [16]. Поскольку все эти документы отличаются друг от друга обстоятельствами и временем появления, а также адресатом и общим содержанием, то они могут дополнять друг друга при реконструкции уваровской доктрины.

В хронологически наиболее раннем из указанных выше документов – письме Николаю I – С.С. Уваров дал развернутое объяснение причин появления консервативной доктрины. Основанием для ее создания стала духовная и общественно-политическая ситуация, сложившаяся в Европе в результате июльской революции во Франции. По словам С.С. Уварова, после 1830 года западные интеллектуалы, духовно дезориентированные и морально подавленные, должны были признать, что «у общества нет более политических, нравственных и религиозных убеждений». Россия же, по его мнению, «пока избегла подобного унижения», поскольку «еще хранит в своей груди убеждения религиозные, убеждения политические, убеждения нравственные». В связи с чем он возлагал на правительство обязанность собрать воедино разрозненные части русской народности (то есть ее религиозные, политические и нравственные убеждения) и образовать из них «тот якорь, который позволит России выдержать бурю». По мнению автора письма, сделать это можно с помощью воспитания и образования, основанных на так называемых национальных началах и одновременно отвечающих требованиям времени и обстоятельств, чтобы, с одной стороны, «идти в ногу с Европой», а с другой – «не удалиться от нашего собственного места» [23, с. 97].

Национальные начала, без которых русское государство «не может благоденствовать, усиливаться, жить», и составляют знаменитую триаду – «Православие. Самодержавие. Народность» [16, с. 347]. В разных текстах определение первого элемента триа-

ды варьировало между «национальной религией» [23, с. 97], «религией предков» [21, с. 233], «православной верой» [15, с. 70] и «православием» [16, с. 347]. Использование в письме к императору (1832) термина «национальная религия» вместо «православие» натолкнуло А.Л. Зорина на мысль об «очевидном конфессиональном индифферентизме» С.С. Уварова, которому «решительно безразлично, о какой именно вере и какой церкви идет речь», главное – их укорененность «в истории народа и политической структуре государства» [6, с. 86]. Это явное преувеличение. Несмотря на свое культурное западничество, Сергей Семенович всегда придавал особое значение непоколебимости основ православной веры. В 1821 году в связи с запрещением книги профессора А.К. Куницына «Естественное право» он писал: «*Я всегда думал и ныне думаю* [курсив мой. – *А.М.*], что всякое учение, всякое действие, явное или скрытое, противное догматам Православной Греко-Российской Церкви, или клонящееся поколебать существующий порядок и ослабить любовь и доверенность к Трону <…>, должны обращать на себя внимание правительства и внушать ему меры предосторожности» [цит. по: 29, с. 102]. И хотя за годы министерской деятельности отношение С.С. Уварова к православной Церкви претерпело определенную эволюцию, однако это скорее касается сферы личной религиозности, проблемы воцерковленности, а не его взглядов на значение Православия в жизни русского народа.

Итак, Православие, по С.С. Уварову, является двигателем, средоточием жизни как всего государства и всего русского народа, так и жизни отдельного русского человека. Подрыв Православия в России приведет, по его мнению, к ее духовной и политической деградации, откату к дикости. «Без любви к Вере предков, народ, как и частный человек, должны погибнуть, – писал он, – ослабить в них Веру, то же самое, что лишать их крови и вырвать сердце. Это было бы готовить им низшую степень в моральном и политическом предназначении. Это было бы изменой в пространном смысле. Довольно одной народной гордости, чтобы почувствовать негодование при такой мысли. Человек, преданный Государю и Отечеству, столько же мало согласится на утрату одного из догматов нашей Церкви, сколько и на похищение одного перла из венца Мономаха» [15, с. 71].

Второй элемент триады – самодержавие – является, по мнению С.С. Уварова, основой ее политического бытия, непременным условием ее существования в настоящем виде. «Пусть мечтатели обманывают себя самих и видят в туманных выражениях какой-то порядок вещей, соответствующий их теориям, их предрассудкам; – писал он, – можно их уверить, что они не знают России, не знают ее положения, ее нужд, ее желаний. Можно сказать им, что от сего смешного пристрастия к Европейским формам мы вредим собственным учреждениям нашим; что страсть к нововведениям расстраивает естественные сношения всех членов Государства между собою и препятствует мирному, постепенному развитию его сил. Русский колосс упирается на самодержавии, как на краеугольном камне; рука, прикоснувшаяся к подножию, потрясает весь состав Государственный. Эту истину чувствует неисчислимое большинство между Русскими; они чувствуют оную в полной мере, хотя и поставлены между собой на разных степенях и различествуют в просвещении и в образе мыслей, и в отношениях к Правительству» [15, с. 71]. В черновике меморандума Николаю I С.С. Уваров изобразил конкретные последствия утраты Россией самодержавия. Он считал, что любое ограничение самодержавной власти, введение народного представительства на европейский манер и разрушение сословного строя приведут к тому, что «колосс не протянет и двух недель, более того, он рухнет прежде, чем эти ложные преобразования будут завершены» [23, с. 98]. То, что эта «истина», по мнению С.С. Уварова, очевидна для большинства русских, подчеркивало национальный характер самодержавной власти, ее органическую связь с русским народом. По мнению идеолога, помимо сплочения русской нации вокруг царского трона, роль самодержавия заключалась в создании и укреплении величайшей империи мира. В одном из юбилей-

ных докладов о деятельности Министерства народного просвещения он писал следующее: «Самодержавие соединило расторженные члены государства, уврачевало язвы его, дало ему единство и упрочило его целость в такой огромной массе, которой не было в истории мира ничего подобного...» [23, с. 7–8].

Третий элемент триады, не менее важный, чем предыдущие два, – народность – С.С. Уваров считал наиболее трудным для определения [23, с. 98; 15, с. 71]. Вслед за ним на сложность интерпретации «народности» в контексте его доктрины указывали и многочисленные исследователи [29, с. 106; 8, с. 103; 10, с. 29]. Пожалуй, самое неожиданное и оригинальное объяснение этому понятию дал А.Н. Пыпин, который и ввел в свое время в научный оборот термин «официальная народность» [12, с. 5]. В своих рассуждениях об уваровской доктрине он поставил знак равенства между понятиями «народность» и «крепостное право» [28, с. 91]. Несостоятельность подобной концепции очевидна. Сам С.С. Уваров об этом «спорном» понятии своей доктрины писал следующее: «Относительно Народности, все затруднение заключается в соглашении древних и новых понятий; но Народность не состоит в том, чтобы идти назад или останавливаться; она не требует неподвижности в идеях. Государственный состав, подобно человеческому телу, переменяет наружный вид по мере возраста: черты изменяются с летами, но физиономия изменяться не должна. Безумно было бы противиться сему периодическому ходу вещей; довольно того, если мы не будем добровольно скрывать лицо под искусственной и нам не сродной личиной; если мы сохраним неприкосновенным святилище наших народных понятий; если мы примем их за основную мысль Правительства, особенно в отношении к Народному Воспитанию» [15, с. 71]. Можно заключить, что под народностью С.С. Уваров понимал не что иное, как национальную самобытность и национальное самосознание, включающие в себя и связь с национальными традициями, и историческую память, и представления о своем пути и предназначении. Недаром в одном из официальных текстов, касаясь триады, он заменил абстрактное понятие «народность» на более конкретное – «дух русский» [22, с. 7].

Цель построения национальной системы образования на принципах «Православия. Самодержавия. Народности» С.С. Уваров видел в восстановлении Святой Руси [22, с. 3–4]. В его представлении, это было реальной альтернативой тому пути, по которому шла сотрясаемая революциями Европа. В то же время на успех своего дела он смотрел с большим пессимизмом. «Мы, то есть люди девятнадцатого века, в затруднительном положении, – заявлял он, – мы живем среди бурь и волнений политических. Народы изменяют свой быт, обновляются, волнуются, идут вперед. Никто здесь не может предписывать своих законов. Но Россия еще юна, девственна и не должна вкусить, по крайней мере, теперь еще сих кровавых тревог. Надобно продлить ее юность и тем временем воспитать ее. Вот моя политическая система. <…> Если мне удастся отодвинуть Россию на пятьдесят лет от того, что готовят ей теории, то я исполню мой долг и умру спокойно» [9, с. 362]. Однако С.С. Уваров, как известно, вынужден был уйти в отставку значительно раньше (1849), чем смог увидеть и оценить плоды своих трудов на ниве народного просвещения.

Создание «русской триады» и разработка соответствующей доктрины стали вершиной консервативного творчества С.С. Уварова. Его консерватизм в этот период приобрел цельность и ясность. В целом же идейную эволюцию С.С. Уварова на протяжении первой половины XIX века можно рассматривать в том числе через призму складывания его консервативной формулы, явные намеки на которую можно обнаружить уже в трудах 1810-х годов. Уваровская триада имеет ценность и сама по себе – без мощной теоретической базы, созданной ее автором. «Православие. Самодержавие. Народность» – фраза, ставшая символом русского консерватизма. Это еще один символический вклад С.С. Уварова в

историю русского консерватизма. Значительна роль С.С. Уварова и как интеллектуального моста между различными поколениями и типами русских консерваторов. Будучи идейным последователем Н.М. Карамзина, он еще в первой четверти XIX века выступил связующим звеном между представителями русского консерватизма Александровского и Николаевского царствований.

Литература

1. *Барсуков Н.П.* С.С. Уваров и адмирал Шишков // Русский архив. 1882. Кн. III. С. 226–228.
2. *Виттекер Ц.Х.* Граф Сергей Семенович Уваров и его время. СПб., 1999. 350 с.
3. Доклады министра народного просвещения С.С. Уварова императору Николаю I / публ. М.М. Шевченко // Река времен. М., 1995. Вып. 1. С. 68–78.
4. *Дурылин С.* Г-жа де Сталь и ее русские отношения // Литературное наследство. М., 1939. Т. 33–34. С. 215–330.
5. *Зорин А.* Заветная триада : Меморандум С.С. Уварова 1832 года и возникновение доктрины «православие – самодержавие – народность» / А. Зорин // Кормя двуглавого орла… : Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., 2004.
6. *Зорин А.* Идеология «православия – самодержавия – народности»: опыт реконструкции. (Неизвестный автограф меморандума С.С. Уварова Николаю I) // Новое литературное обозрение. 1997. № 26. С. 71–104.
7. *Иванов О.А.* Идеология «православие, самодержавие, народность» С.С. Уварова // Консерватизм в России и мире: прошлое и настоящее : сб. науч. трудов / под ред. А.Ю. Минакова. Воронеж, 2001. Вып. 1. С. 92–110.
8. *Майофис М.* Воззвание к Европе : Литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815–1818 годов. М. : Новое литературное обозрение, 2008. 799 с.
9. *Никитенко А.В.* Записки и дневник : в 3 т. М., 2004. Т. 1. 639 с.
10. *Пайпс Р.* Сергей Семенович Уваров : жизнеописание. М., 2013. 81 с.
11. *Парсамов В.С., Удалов С.В.* Сергей Семенович Уваров // *Уваров С.С.* Избранные труды / сост., авт. вступ. ст., коммент. В.С. Парсамов, С.В. Удалов; пер. В.С. Парсамова. М., 2010. С. 5-54.
12. *Пыпин А.Н.* Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1890. 519 с.
13. *Сперанская Н.М.* Периодические издания на французском языке в России в первой трети XIX в. // Вестник русской христианской гуманитарной академии. СПб., 2015. С. 332–347.
14. *Степанов М.* Жозеф де Местр в России // Литературное наследство. М., 1937. Т. 29–30. С. 577–726.
15. *Уваров С.С.* Всеподданнейший доклад управляющего Министерством народного просвещения от 19 ноября 1833 года // Река времен. М., 1995. Вып. I. С. 68–78.
16. *Уваров С.С.* Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833–1843 / С.С. Уваров // Избранные труды / сост., авт. вступ. ст., коммент. В.С. Парсамов, С.В. Удалов; пер. В.С. Парсамова. М., 2010. С. 361–364.
17. *Уваров С.С.* Исследование об Элевсинских таинствах / С.С. Уваров // Избранные труды / сост., авт. вступ. ст., коммент. В.С. Парсамов, С.В. Удалов; пер. В.С. Парсамова. М., 2010. С. 97–154.
18. *Уваров С.С.* Князь де Линь / С.С. Уваров // Избранные труды / сост., авт. вступ. ст., коммент. В.С. Парсамов, С.В. Удалов; пер. В.С. Парсамова. М., 2010. С. 334–345;
19. *Уваров С.С.* Мадам де Сталь / С.С. Уваров // Избранные труды / сост., авт. вступ. ст., коммент. В.С. Парсамов, С.В. Удалов; пер. В.С. Парсамова. М., 2010. С. 521–530.
20. *Уваров С.С.* О преподавании истории относительно к народному воспитанию / С.С. Уваров // Избранные труды / сост., авт. вступ. ст., коммент. В.С. Парсамов, С.В. Удалов; пер. В.С. Парсамова. М., 2010. С. 204–213.
21. *Уваров С.С.* О средствах сделать Народное Воспитание специальным, не отступая от общих видов оного // *Шевченко М.М.* Конец одного Величия : власть, образование и печатное слово в Императорской России на пороге Освободительных реформ. М., 2003. С. 231–237.
22. *Уваров С.С.* Обозрение действий правительства за истекшее пятилетие // Журнал Министерства народного просвещения. 1839. № 1. С. 1–36. С. 7–8.
23. *Уваров С.С.* [Письмо Николаю I] // Новое литературное обозрение. 1997. № 26. С. 92–100.
24. *Уваров С.С.* Штейн и Поццо-ди-Борго / С.С. Уваров // Избранные труды / сост., авт. вступ. ст., коммент. В.С. Парсамов, С.В. Удалов; пер. В.С. Парсамова. М., 2010. С. 478–488.
25. *Уваров С.С.* Проект Азиатской академии / С.С. Уваров // Избранные труды / сост., авт. вступ. ст., коммент. В.С. Парсамов, С.В. Удалов; пер. В.С. Парсамова. М., 2010. С. 65–95.
26. *Уваров С.С.* Речь президента Императорской Академии наук, Попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, в торжественном собрании Главного педагогического института 22 марта 1818 года / С.С. Уваров // Избранные труды / сост., авт. вступ. ст., коммент. В.С. Парсамов, С.В. Удалов; пер. В.С. Парсамова. М., 2010. С. 252–271.

27. Четыре служебных документа министра С.С. Уварова // *Шевченко М.М.* Конец одного Величия : власть, образование и печатное слово в Императорской России на пороге Освободительных реформ. М., 2003. С. 227–254.

28. *Шевченко М.М.* Понятие «теория официальной народности» и изучение внутренней политики императора Николая I // Вестник Московского университета. Сер. 8: История. 2002. № 4. С. 89–104.

29. *Шевченко М.М.* Сергей Семенович Уваров // Российские консерваторы. М., 1997. С. 95–136.

30. *Шевченко М.М.* Уваров С.С. // Русский консерватизм середины XVIII – начала XX века : энциклопедия. М., 2010. С. 529–534.

31. *Ширинянц А.А.* «Консерватор» : слова и смыслы в русской социально-политической мысли // Вестник Московского университета. Сер. 122: Политические науки. 2015. № 6. С. 112–124.

Аннотация. Статья посвящена эволюции и особенностям общественно-политического мировоззрения С.С. Уварова, выявлению его роли в становлении консервативной идеологии в первой половине XIX века. Отдельно уделяется внимание символическому вкладу С.С. Уварова в русский консерватизм.

Ключевые слова: С.С. Уваров, консерватизм, Александр I, Николай I, «Православие. Самодержавие. Народность».

Arina Meshcheryakova, Ph.D. in History, Senior Lecturer, Chair of Philosophy and Arts Teaching, Burdenko Voronezh Medical University. E-mail: arina-m@mail.ru

The Earl S.S. Uvarov in the Context of Russian Conservatism of the First Half of the 19th Century

Abstract. The article is devoted to the analysis of the evolution and particulars of social and political views of S.S. Uvarov and determination of his role in the making of conservative ideology in the first half of the 19th century. Special attention in the article is devoted to Uvarov's symbolic contribution to Russian conservatism.

Keywords: S.S. Uvarov, Conservatism, Alexander I, Nicolas I, "Orthodoxy. Autocracy. Nationality".

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-1-76-86

Сергей Удалов

В тисках идеологии: власть и общество в России второй четверти XIX века

Государственная идеология, основанная на уваровской триаде «православие, самодержавие, народность», играла важную роль в социально-политической и культурной истории России второй четверти XIX века, идеологически обосновывая и детерминируя многие процессы в рамках взаимоотношений власти и общества, зачастую определяя и саму модель этих взаимоотношений. Именно этим, наверное, можно объяснить тот факт, что сюжеты, связанные с функционированием идеологии, встречаются во многих исследованиях. Тема идеологического влияния на русское общество во второй четверти XIX века как будто разлита в историографии, брызгами вкрапляясь в различные аспекты изучения российской истории указанного периода: образование, журналистику, литературу, национальную политику и т.д.

Данная статья тоже, хотя и косвенно, посвящена идеологеме графа С.С. Уварова. Если быть более точным, то она посвящена проблеме «Власть и общество», а также тому, какую роль играла в решении этой проблемы идеологема графа С.С. Уварова. Именно этот аспект обширной темы идеологического творчества и выбора политической стратегии в николаевское царствование выбран не случайно.

Исходным утверждением, во многом определяющим пафос дальнейших рассуждений, является то, что, несмотря на установившуюся с советских времен традицию критического отношения к данному вопросу, триада Уварова «православие, самодержавие, народность» все-таки появилась в благоприятный для себя момент развития общественной мысли. Обращение к этой теме именно в подобном ключе позволяет нам увидеть, что серьезного раскола в отношениях власти и общества по крайней мере в 1830-х годах не было. Как показала Т.В. Андреева, поиск пути к прогрессу, альтернативного тому, что предложили декабристы в 1825 году, сближал правительство и просвещенную часть дворянского общества [1, с. 234]. Нарастание консервативных тенденций в общественном сознании обусловлено также рефлексией над декабрьскими событиями. Они создавали изначально благоприятную среду для развития идей, соответствующих формуле Уварова. События 14 декабря, как известно, вызвали в русском обществе неоднозначную реакцию. При этом большинство не приняло путь радикальных изменений государственного устройства России, избранный декабристами. И это было не только следствием страха перед возможным преследованием со стороны властей, хотя он тоже присутствовал. «Позиция декабристов, – по определению Р.Г. Эймонтовой, – не соответствовала общественному сознанию тех лет» [21, с. 141].

Удалов Сергей Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент Института истории и международных отношений Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. E-mail: grot-saratov@mail.ru

Несмотря на сочувственное отношение к судьбе, постигшей декабристов, многие представители образованного общества считали действия заговорщиков незрелыми и в значительной степени не соответствующими российским условиям. «Это была ребячья вспышка людей взрослых, – писал позже в своих воспоминаниях М.А. Дмитриев, – дерзкая шалость людей умных, но недозрелых!» [8, с. 245]. Подобные мысли рефреном звучат во многих отзывах о тех событиях. Старший брат будущего славянофила А.С. Хомякова Ф.С. Хомяков в одном из писем характеризует декабристов как молодых людей, «которые несколько отличались умом, воспитанием или благородными чувствами». Но при этом они были безумцами, не знающими «ни отечества, ни духа народного» [12, с. 67]. П.Я. Чаадаев также относился скептически к сделанному декабристами выбору в пользу революции. В первом Философическом письме он с горечью писал, что, «вернувшись домой из этого триумфального шествия по самым просвещенным странам мира (заграничных походов 1813–1814 годов – С.У.), мы принесли с собой одни только дурные идеи и гибельные заблуждения, последствием которых было неизмеримое бедствие, отбросившее нас назад на полвека» [24, с. 330]. Критическое отношение Чаадаева к действиям декабристов нашло свое отражение и в письме И.Д. Якушкину (1836): «Я много размышлял о России с тех пор, как роковое потрясение так разбросало нас в пространстве, и я теперь ни в чем не убежден так твердо, как в том, что народу нашему не хватает прежде всего – глубины. Мы прожили века так, или почти так, как и другие, но мы никогда не размышляли, никогда не были движимы какой-либо идеей; и вот почему вся будущность страны в один прекрасный день была разыграна в кости несколькими молодыми людьми, между трубкой и стаканом вина» [25, с. 106].

Отрицая революционный, насильственный путь достижения цели, значительная часть либерально настроенного общества способна была сочувствовать декабристским идеям социально-экономических и политических преобразований. Однако проводиться они должны были легитимно, в условиях согласия между властью и обществом, а не вооруженного противостояния. Образ нового царя, сформировавшийся в первые годы его правления, как раз вселял во многих надежду на воплощение мечты о «просвещенном монархе», на проведение необходимых реформ сверху, мирным путем, а не снизу, путем революционных потрясений.

В период царствования Николая I было довольно распространено мнение о сходстве его с Петром I. Общество желало видеть в новом правителе преемника великого реформатора:

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд
И памятью, как он, не злобен [19, с. 307].

Так обращался к новому императору А.С. Пушкин. Интересно, что даже расправу над пятью декабристами поэт сумел вписать в конструируемый им образ монарха, воплотившего в себе черты главного преобразователя России:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дел Петра
Мрачили мятежи и казни [19, с. 307].

По замечанию Ю.М. Лотмана, Николай I, таким образом, «получал роль, и роль высокую, торжественную. То, чего он должен был стыдиться: казни, крови, которая обагрила начало царствования, – делалось основанием для сопоставления с правлением Петра I» [14, с. 368].

Посыл министра народного просвещения, выраженный в триаде «православие, самодержавие, народность», дополнительно стимулировал в 1830–1840-х годах обращение к проблемам национальной самобытности, отношений России и Запада, определения «русского пути» развития. Вполне можно согласиться с будущим редактором журнала «Отечественные записки» А.А. Краевским, который писал в 1837 году: «Никогда, может быть, не говорили и не писали у нас так много и так основательно о народности, о русизме, о необходимости отвыкнуть от привычки к подражанию и стряхнуть с себя иго чужеземных, несвойственных нам обычаев и мнений, – как в настоящее время» [11, с. 1].

Если рассматривать проблему в целом, то мы увидим, что вторая четверть XIX века – время, когда на самом деле происходит сближение общественного и правительственного консерватизма. Изначальная туманность и некоторая неопределенность уваровских формулировок позволили государственной идеологии раствориться в общественном сознании, проявляя себя в довольно широком диапазоне общественной мысли России. С триадой Уварова коррелировали взгляды разных людей, которых под давлением установившихся в литературе традиций сложно поставить в один ряд. В 1830-х годах внутренние противоречия с официальной трактовкой народности и самодержавия, которые могли возникнуть при критическом ее осмыслении, еще не достигли своей определенности. Образ просвещенного монарха, отстаивающего идею народности на пути дальнейшей модернизации России, вполне вписывался в идеологию зарождающегося либерализма и последовательного консерватизма.

В этой связи персонификация проблемы общества через изучение взглядов отдельных его представителей приводит к тому, что даже у тех людей, которых мы привыкли воспринимать совершенно в иной плоскости, обнаруживаются мысли, коррелирующие с идеями в духе «православия, самодержавия, народности». В итоге в историографии возникают внешне провокативные, но достаточно аргументированные мнения о сходстве взглядов А.С. Пушкина и Ф.В. Булгарина [20, с. 57–91], а анализ взглядов М.П. Погодина и С.П. Шевырева демонстрирует не столько их зависимость от триады Уварова, сколько пересечение позиций этих ученых и министра народного просвещения.

Но при этом следует оговориться, что рисуемая нами картина не была все же такой безоблачной и существовали факторы, не позволившие добиться полного согласия между властью и обществом и окончательно утвердить основные постулаты государственной идеологии в качестве основополагающих принципов социально-политического бытия. Вот на этих факторах и хотелось бы остановиться подробнее.

При распространенном мнении о том, что Россия должна в своем дальнейшем развитии ориентироваться не только (может быть, даже не столько) на западноевропейский политический и социокультурный опыт, но и на свои национальные традиции, методы выработки стратегии дальнейшего социально-экономического и политического развития, предлагаемые властью и мыслящей частью русского общества, существенно разнились. То есть мы снова возвращаемся к модели отношений власти и общества. Разные ее интерпретации со стороны власти и со стороны общества, на наш взгляд, стали краеугольным камнем тех противоречий, которые не позволили уваровской триаде утвердиться в качестве парадигмы дальнейшего развития Российского государства.

В целом следует признать, что в 1830-х годах образованное общество за некоторым исключением было готово к тому, чтобы принять предложенную идеологему как базовую в определении собственной социально-политической и культурной позиции. Еще раз подчеркнем, что преобладающие в общественном сознании тех лет консервативные тенденции были во многом обусловлены теми же событиями 14 декабря 1825 года, показавшими опасность революционного метода политического и социального переустройства, равно как и пагубность западного политического влияния. О необходимости преобразований

продолжали думать и говорить, но доминирующей на какое-то время становится идея о реформах сверху, идущих от законной самодержавной власти, действующей в согласии с обществом.

В первые годы царствования Николая I его деятельность и в самом деле создавала видимость желания власти разработать и реализовать целый комплекс социально-экономических преобразований. Для большей плодотворности этого процесса необходимо было согласие между общественным мнением и правительством. Достичь его можно было, с одной стороны, путем совершенствования системы просвещения, с другой – путем влияния на общественную мысль со стороны правительства для создания положительного образа власти. Многие представители интеллектуальной и культурной элиты, среди которых мы видим и А.С. Пушкина и П.А. Вяземского, готовы были предложить самодержавию свои услуги в качестве выразителей правительственного мнения. Веря в реформаторский и просветительский потенциал самодержавия, они предлагали власти включиться в общественный дискурс, воздействуя на него через талантливых, пользующихся общественным авторитетом представителей литературы и журналистики. Просвещение и влияние на общественное сознание должны были проводиться не через систему запретов и откровенное насаждение единой точки зрения, а, наоборот, через творческое критическое осмысление современного положения России и Запада и определение единственно возможного пути развития, основанного на традиционных национальных началах.

В начале 1830-х годов на имя Николая I и в Министерство просвещения неоднократно поступали предложения об издании журналов, цель которых – формирование политической лояльности русского общества. Правительство должно было выступать с реформаторскими инициативами, зная настоящие потребности общества, и в условиях, когда общество готово было адекватно воспринимать эти инициативы. «Журнал политический, административный, литературный, образовательный по всем частям, входящим в состав истинной государственной образованности, – писал П.А. Вяземский, – был бы у нас важное и полезное явление. Составление его должно быть правительственною мерою, вверенною исполнению людей с дарованием, с благородством в мыслях, в чувствах, имени чистого, чести несомнительной. В сей журнал входили бы все виды правительства до обличения их в закон. Сей журнал был бы не только отголоском, но и указателем правительства. Он приучал бы умы к умеренному и полезному исследованию запросов, возбуждающих участие каждого русского как современника европейских событий и гражданина России. Ныне русские поставлены между извержениями огнедышущих мнений иноплеменных, между волканическою литературою французскою и замерзлым прудом русской литературы. Нам нужно непременно иметь теплые ключи целительной, живой воды, для избежания невыгод, следующих за двумя крайностями» [6, с. 128].

Известно также, что в 1831 году А.С. Пушкин просил разрешения издавать журнал, который должен был способствовать влиянию правительства на общественное мнение. Им был составлен «Проект издания журнала и газеты», в котором говорилось: «Когда государю императору угодно будет употребить перо мое для политических статей, то постараюсь с точностью и усердием исполнить волю его величества. С радостью взялся бы я за редакцию “политического и литературного журнала”, около которого соединил бы писателей с дарованиями и таким образом приблизил бы к правительству людей полезных… Правительству нет надобности иметь свой официальный журнал; но, тем не менее, в некоторых случаях общее мнение имеет нужду быть управляемо» [27, с. 866]. Пушкин был не одинок в своей идее о создании общественно-политического журнала или газеты. Его в подобных инициативах поддерживали друзья, в частности, по «Арзамасу», в который, как известно, входил и Уваров. Журнал должен был стать не только интеллектуальным ресурсом (помимо ресурса административного) при управлении общественным мнением,

но и площадкой для создания более свободной системы взаимовыгодного сотрудничества общества с властью.

В 1836 году Краевский совместно с В.Ф. Одоевским попытался реализовать идею об издании нового журнала «Русский сборник». При всем разнообразии содержания журнал должен был, по замыслу издателей, приобрести черты полуофициального органа, способствующего распространению правительственного мнения и продвижению государственной идеологии. В особой записке, приложенной к общей программе журнала, издатели обращались непосредственно к Уварову, уговаривая его стать особым покровителем нового издания «и давать ему по временам направление, как изданию, назначаемому действовать в духе благих попечений правительства о просвещении в России <…> чуждому неблагонамеренных расчетов, а тем менее каких-либо сторонних, несогласных с духом правительства видов» [17, с. 469].

Интеллектуальная элита, таким образом, изначально поддерживая власть, стремилась все-таки к созданию двусторонней модели отношений власти и общества. Отсюда стремление многих литературных и общественных деятелей к сотрудничеству с самодержавием, в том числе и со стороны «пушкинского круга».

Политическая система, которую создавал Николай I и идеологически обслуживал Уваров, наоборот, была основана на принципе односторонности, что превращало ее в самодостаточную силу, не нуждающуюся в поддержке общественного мнения. Не отрицая необходимость преобразовательной политики, Николай неизменно подчеркивал, что главную роль в ее проведении должна играть законная власть. Так, на вопрос французского чрезвычайного посла виконта де Сен-При о реформах в системе государственного управления император заметил, что никогда не выступал против изменений в принципе, но всегда стремился «отличать тех, кто хочет справедливых преобразований и желает, чтобы исходили они от законной власти, от тех, кто сам хотел бы предпринять их и Бог знает какими средствами» [26, с. 404–405][1]. Эти слова были произнесены под впечатлением восстания декабристов, но они сохраняли свою актуальность для Николая и в последующие годы. Казалось бы, внешне никаких противоречий с тем, о чем писали и говорили многие представители русского общества, рассуждая о будущих преобразованиях, здесь не было. Но у императора в итоге получалось, что любая общественная инициатива в таком вопросе, как модернизация, могла оказаться непредсказуемой и слишком радикальной. В результате она приобрела бы деструктивный характер по отношению к политической системе, главным защитником которой император себя объявлял. Николай I во многом смотрел на общество и моделировал свои с ним отношения сквозь призму декабрьских переживаний, что накладывало свой отпечаток на его позицию и политические действия. Мнение Николая I о роли общественных сил в развитии социально-политических институтов коррелировало и с его отношением к конституционной монархии как политическому порядку, позволяющему обществу вмешиваться в деятельность власти, оказывать на нее определенное влияние, открыто обсуждая перспективы и последствия проводимых мероприятий. Рассуждая о событиях, происходивших в Пруссии в 1848 году, император дал следующую характеристику конституционному режиму: «Не ясно ли то, что там, где более не повелевают, а позволяют рассуждать вместо повиновения, – там дисциплины более не существует; поэтому повиновение, бывшее до тех пор распорядительным началом, – перестало быть там обязательным и делалось произвольным. Отсюда происходит беспорядок во мнениях, противоречие с прошедшим, нерешительность насчет настоящего и совершенное незнание и недоумение насчет неизвестного, непонятного, и, скажем прав-

[1] Встреча Николая I и Сен-При, в ходе которой состоялся этот разговор, произошла в январе 1826 года.

ду, невозможного будущего» [9, с. 291]. Эти слова вполне можно экстраполировать и на представления императора об отношениях власти и общества в целом. В итоге модель взаимодействия власти и общества складывалась в николаевское царствование исходя из исторической традиции самодержавия в официальной ее интерпретации.

Можно выделить два наиболее важных, ключевых момента, явно присутствовавших в системе взглядов императора: допустимость только тех реформ, которые не затрагивают основ российской абсолютистской государственности, и невмешательство в этот процесс общественных сил. Важность обоих тезисов подтверждается тем, что они во многом определяли характер как самой политической системы Николая I, приобретшей свой классический вид в 1830–1840-х годах, так и ее идеологического наполнения.

Таким образом, получалось, что надеждам на конструктивное взаимодействие между властью и обществом в выработке новой идеологии и социально-политической стратегии не суждено было сбыться. Православно-самодержавная, национальная традиция могла получить широкую общественную поддержку и укорениться в общественном сознании. Однако ее актуализация со стороны власти сопровождалась установлением жестких границ, не допускающих зачастую свободной рефлексии и самовыражения.

При наличии жестких идеологических рамок, установленных в николаевское царствование, особенно начиная со второй половины 1830-х годов, ни о каком коммуникативном пространстве, внутри которого власть и общество имели бы возможность полноценно согласовать свои позиции, говорить не приходится. Рассуждая о публикации письма П.Я. Чаадаева, А.И. Миллер замечает, что «создаваемое Уваровым пространство дискуссии современники воспринимали как весьма широкое» [15, с. 201]. За что, собственно говоря, приходилось серьезно расплачиваться, как в случае с Н.И. Надеждиным, опубликовавшим в своем журнале «Телескоп» философическое письмо Чаадаева, идущее вразрез с официальной идеологией.

Триада Уварова как фундамент официальной идеологии потенциально сочетала в себе две наиболее значимые и взаимосвязанные между собой идеи: национальную и государственную. При этом национальная идея в официальной версии, проводниками которой стали М.П. Погодин, С.П. Шевырев и др., все больше приобретала подчиненную по отношению к государственной роль. Подобный подход, нивелируя некоторым образом эстетическое наполнение концепта «народность», упрощал его и придавал более утилитарный характер. Особенные национальные черты русского народа постепенно сводились к набору наиболее употребляемых в официальной версии характеристик: смирение, терпение, любовь к православной вере и монарху и преданность им. В итоге они стали важным элементом более общей концепции о руководящей роли верховной власти в историческом развитии государства. Согласно этой концепции правительство объявлялось главной созидающей силой, обладающей огромным творческим потенциалом, и в то же время главным гарантом сохранения национальной самобытности.

В этой теории явно проявились и патерналистские тенденции, выраженные в создании образа царя как отца русского народа, заботящегося о благе своих чад, а подданных как послушных детей, преданных главе семейства.

Во многих научных трудах и публицистических выступлениях утверждалась историческая закономерность подобной системы, определяющей, пусть и косвенно, неспособность русского народа к самостоятельному развитию и утверждению собственных принципов управления. Примечательным в данном случае видится ответ Надеждина на вопрос III отделения о причинах публикации философического письма Чаадаева. Он подчеркивал, что его «ослепление было тем естественнее, что г. Чаадаев, говоря унизительно о народе Русском, явно отделяет от народа державную власть царей, видя в ней напротив единственное начало совершенства для народа, который сам по себе ни к чему не спо-

собен» [13, с. 437]. Вопрос о том, верил ли сам Надеждин в то, что говорил, или надеялся таким образом оправдаться, для нас является второстепенным. Главным становится то, что он был уверен: подобная интерпретация мыслей Чаадаева в тех условиях может способствовать реабилитации его в глазах правительства.

Триада Уварова включала в себя маркеры, устанавливающие границы возможных интерпретаций культурной и социально-политической реальности. Оформляясь как механизм оправдания и обоснования существующего порядка, идеология продуцировала комплекс политических мероприятий, направленных на утверждение этих интерпретаций как единственно возможных. В итоге, как уже говорилось, постепенно утвердилась односторонняя по своему содержанию система, основанная на том, что власть окончательно монополизировала ресурсы влияния на общественное мнение, не давая ему возможность самостоятельного развития. Трудно сказать, соответствовала ли она представлениям Уварова (скорее всего, нет), но создавалась при его действенном участии.

Наиболее отчетливо это просматривалось в цензурной и образовательной политике. В отличие от прямолинейного императора, Уваров был сторонником более гибкой тактики, но и он был частью той системы, которая основывалась, в первую очередь, на стремлении к осуществлению государственного контроля за развитием общественной мысли и управлению этим процессом через внедрение в общественное сознание государственной идеологии.

Политика Уварова в области цензуры, безусловно, отличалась стремлением с его стороны найти некий компромисс во взаимоотношениях власти и общества. Жесткий контроль за выражением общественного мнения через печатную продукцию, а часто и искусственное торможение этого процесса, являлись достаточно эффективным оружием, но не должны были быть, по мнению министра просвещения, единственным способом сохранить стабильное и спокойное существование государства. Поэтому, указывая цензорам на необходимость основываться при исполнении своих обязанностей на уставе, а также дополнительных, исходящих от правительства распоряжениях, Уваров, вместе с тем, требовал от них действовать так, «чтобы публика не имела повода заключать, будто правительство угнетает просвещение» [16, с. 130].

Сам Уваров, надо полагать, понимал то значение, которое приобретало развитие частной периодической печати при формировании общественного мнения.

Еще в 1832 году, подавая императору отчет о ревизии Московского университета, он акцентировал внимание на этом вопросе. «Вообще, имея при сем случае непосредственное сношение с сими лицами [издателями и журналистами. – *С.У.*], – писал будущий министр просвещения, – убедился я в том, что можно постепенно дать периодической литературе, сделавшейся ныне столь уважительною и столь опасною, направление, сходственное с видами правительства; а сие, по моему мнению, несравненно лучше всякого вынужденного запрещения издавать листки, имеющие большое число приверженцев и с жадностию читаемые особенно в средних и даже низших классах общества» [23, с. 303].

Таким образом, Уваров выделял два основных аспекта, на которые правительство, по его мнению, должно было обращать внимание, координируя свои действия в печатной среде: с одной стороны, пресечение любых возможностей проникновения в печать вредных идей, противоречащих правительственному мнению; с другой – привлечение на свою сторону наибольшего числа писателей и журналистов и превращение их тем самым в верных союзников власти и популяризаторов государственной идеологии. При этом сам министр просвещения, как видно из его собственных слов, предпочтение отдавал последнему пункту. Процесс формирования политической лояльности, по его мнению, необходимо было начинать с самой литературы. Использование только официальных каналов для утверждения «правительственного мнения» было явно недостаточно для того, что-

бы овладеть массовым сознанием. В то же время авторитетная в обществе и лояльная к власти литература могла быть гораздо эффективнее в решении поставленных задач, чем литература, просто задавленная цензурными ограничениями, не имеющая доступа к самостоятельной рефлексии.

Несмотря на это, цензура в годы управления Министерством просвещения графом С.С. Уваровым продолжала работать в довольно жестком режиме. Принцип руководящей роли правительства в развитии просвещения распространялся как на образовательные учреждения, так и на политику правительства в отношении литературы и журналистики. Уваров, указывая на необходимость ужесточения контроля над частными периодическими изданиями, прямо заявлял о том, что «в правах гражданина нет права обращаться письменно к публике. Это привилегия, которую правительство может дать и отнять когда хочет» [16, с. 141].

Порой запрещалось не только критиковать, но и замечать какие-то положительные стороны деятельности правительства. Власть в России не нуждалась ни в защите, ни тем более в критике. Как заметил впоследствии И.И. Панаев, «если бы оно [правительство. – *С.У.*] узнало, что самовластие его осмеливаются укреплять на каких-то философских формулах, оно наверное бы зажало рот своим непрошенным защитникам» [18, с. 281]. Уваров, недовольный стремлением журналистов «простирать свои покушения к важнейшим предметам государственного управления и к политическим понятиям, поколебавшим уже едва ли не все государства в Европе», прямо писал о необходимости умножать «где только можно число *умственных плотин*» [2, с. 83].

Похожая ситуация складывалась и в области образования. В 1830–1840-х годах идеологическая программа Уварова применительно к университетам, по мнению современных исследователей, использовалась «в качестве противоядия интеллектуальному разномыслию и инакомыслию. Поэтому министерство добивалось от профессоров не только лояльности, но и идейного подчинения» [5, с. 56]. По словам современника, учившегося в середине 1840-х годов в Санкт-Петербургском университете, «профессора редко позволяли себе вольнодумные намеки и делали их чрезвычайно сдержанно» [22, с. 431]. Даже в сдержанном виде подобные намеки могли восприниматься студентами в героическом ключе и повлечь за собой серьезные последствия для преподавателей со стороны довлеющей над ними административной системы.

Развитие внутри университетского научно-образовательного пространства философии, русской истории и других сопутствующих им наук было возможно только в контексте существующих норм нравственного и политического воспитания молодого поколения. В частности, реабилитация такой опасной для власти науки, как философия, в рамках государственных учебных заведений проходила путем проникновения в нее основных элементов уваровской триады. Одним из первых шагов в направлении ее идеологизации был процесс десекуляризации, то есть превращения «безбожной» науки в верную союзницу православной веры в борьбе за чистую нравственность. Определяя философию как народное самосознание, многие ученые считали, что она должна стать выражением народного духа, наиболее характерных национальных черт. Развивая эти идеи в контексте общеевропейской общественной мысли, такие ученые, как О.М. Новицкий, А.А. Фишер, А.П. Аристов и др., активно содействовали и пропаганде официальной доктрины, ограничивая основные черты русского народа смирением, благочестием, преданностью вере и престолу.

Заданную министерством программу преподавания общественных наук трудно назвать эффективной. Многие преподаватели в университетах, гимназиях старались следовать ей по разным причинам: из угодливости, нежелания и боязни противостоять установленным границам, из личной приверженности официальным установкам. Но что касается

студенчества, на которое должны были влиять наставники, то здесь не все было гладко. Проблема заключалась в неприятии со стороны обучающихся подобного однобокого, не предполагающего рефлексии и какой-либо дискуссии подхода в освещении вопросов исторического развития государства и народа, философского осмысления их социально-политического и культурного бытия. Отторжение вызывала система преподавания, не предполагающая самостоятельных суждений, основанная на заучивании и пересказывании набивших оскомину истин из рекомендованного сверху учебника Н.Г. Устрялова, без привлечения дополнительных, альтернативных источников. Столь упорное навязывание готового набора идей создавало ощущение их искусственности. Например, читавший лекции по Н.Г. Устрялову профессор Харьковского университета П.П. Гулак-Артемовский признавался студентами вредным как «представитель чиновной, казенной учености» [7, с. 84]. «Трудно было винить нас за наше равнодушие к ученью, – писал И.Д. Белов, – также бывший студент Санкт-Петербургского университета, – трудно, потому что, в наше время, во многих отношениях тяжелое время, мы не слыхали живого слова с кафедр различных факультетов» [3, с. 783].

Сложившаяся ситуация вела к отторжению занимаемой властью позиции, вызывая ощущение искусственности насаждаемой сверху точки зрения, определяемой часто как «квасной патриотизм». Не случайным в данном контексте кажется то, что интерес к письму Чаадаева со стороны широкой общественности обостряется после следственного процесса и объявления автора письма сумасшедшим, коррелируя во многом с общим сочувствием к постигшей его участи [4, с. 264].

Не допустив общество к обсуждению насущных проблем, власть сама не смогла до конца определиться в генеральной линии реформ и, увлекшись борьбой с инакомыслием, остановилась на полумерах. Политика Николая I и его окружения становилась все более охранительной, реформаторский потенциал, который видели в нем изначально, за некоторым исключением, так и не раскрылся в полном объеме. Блистательная эпоха, представляемая официальной пропагандой, все больше превращалась в эпоху застоя.

Уваровская формула осталась в итоге декларацией, ничем, по сути, не подкрепленной. В этом и заключалась ее главная слабость как идеологии. Имея все шансы стать фундаментом, укрепляющим союз власти и общества, в своем дальнейшем развитии триада «православие, самодержавие, народность» все больше превращалась в инструмент жесткой, ограничительной политики.

В результате постепенно усиливалось разочарование, и прогрессивно мыслящая часть общества окончательно разошлась с официальной версией в понимании «народности» и роли самодержавия в историческом развитии России. К концу 1830-х годов, когда многие общественные и литературные деятели отошли от абстрактных философских увлечений и приступили к обсуждению конкретных вопросов, затрагивающих, в том числе, и разные традиции социально-политического развития, блуждающая в поисках ориентиров общественная мысль разделилась и разошлась в двух направлениях: западническом и славянофильском. Следует также отметить, что во второй половине 1840-х годов в противоречие со сложившейся системой вступают не только те, кто уже в своих ранних размышлениях, заблуждениях и идейных поисках были потенциально готовы к оппозиции, но и те, кто изначально стоял на твердых позициях монархизма, веря в просветительский потенциал русского самодержавия. В дневнике за 1847 год В.А. Жуковский делает вполне характерную запись: «Меры нашего правительства клонятся к тому, чтобы снова затворить те двери, которые Петр нам отворил в Европу… нас хотят насильно заставить любить Россию, боятся заразы либеральных мнений (которые теперь всюду более или менее перекипели), боятся того действия, которое на русских производит сравнение России с Европою. Но средство фальшиво и, можно сказать, противоречащее предназначенной цели. То же, что нетерпимость…» [10, с. 300].

Литература

1. *Андреева Т.В.* Тайные общества в России в первой трети XIX в. : правительственная политика и общественное мнение. СПб., 2009.
2. *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб., 1901. Кн. 4.
3. *Белов И.Д.* Университет и корпорация // Исторический вестник. 1880. Т. 1. № 4.
4. *Велижев М.Б.* Русская политическая мысль и публичная сфера в эпоху Николая I: первое «Философическое письмо» Чаадаева // Общественная мысль России : истоки, эволюция, основные направления : материалы международной научной конференции (Москва, 28–29 октября 2010 г.). М., 2011.
5. *Вишленкова Е.А., Галлиулина Р.Х., Ильина К.А.* Русские профессора: университетская корпоративность или профессиональная солидарность. М., 2012.
6. *Гиллельсон М.И.* Неизвестные публицистические выступления П.А. Вяземского и И.В. Киреевского // Русская литература. 1966. № 4.
7. *Де-Пуле М.Ф.* Харьковский университет и Д.И. Каченовский // Вестник Европы. 1874. Т. 45. № 1.
8. *Дмитриев М.А.* Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998.
9. Записки императора Николая Павловича о Прусских делах. 1848 г. // Русская старина. 1870. Т. 1.
10. *Жуковский В.А.* Полн. собр. соч. и писем : в 20 т. Т. 14: Дневники. Письма-дневники. Записные книжки. 1834–1847. М., 2004.
11. *Краевский А.* Мысли о России // Литературные прибавления к Русскому инвалиду. 1837. № 1.
12. *Кошелев В.А.* Алексей Степанович Хомяков : жизнеописание в документах, рассуждениях, разысканиях. М., 2000.
13. *Лемке М.* Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. СПб., 1909.
14. *Лотман Ю.М.* Пушкин. СПб., 2003.
15. *Миллер А.И.* Триада графа С.С. Уварова и национализм / А.И. Миллер // Империя Романовых и национализм : эссе по методологии исторического исследования. М., 2010.
16. *Никитенко А.В.* Дневник : в 3 т. Л., 1955. Т. 1.
17. *Орлов В.Н.* Молодой Краевский / В.Н. Орлов // Пути и судьбы. Л., 1971.
18. *Панаев И.И.* Литературные воспоминания. М., 1988.
19. *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. : в 10 т. Л., 1977–1979. Т. 2.
20. *Рейтблат А.И.* Пушкин как Булгарин : К вопросу о политических взглядах и журналистской деятельности Ф.В. Булгарина и А.С. Пушкина / А.И. Рейтблат // Фаддей Венедиктович Булгарин: идеолог, журналист, консультант секретной полиции : Статьи и материалы. М., 2016.
21. Русский консерватизм XIX столетия : Идеология и практика. М., 2000.
22. *Страхов Н.И.* О ходе философской литературы // Исторический вестник. 1897. Т. 68. № 5.
23. *Уваров С.С.* Отчет по обозрению Московского университета (4 декабря 1832 г.) / С.С. Уваров // Избранные труды / сост., авт. вступ. ст., коммент. В.С. Парсамов, С.В. Удалов М., 2010.
24. *Чаадаев П.Я.* Полн. собр. соч. и избранные письма : в 2 т. М., 1991. Т. 1.
25. *Чаадаев П.Я.* Полн. собр. соч. и избранные письма : в 2 т. М., 1991. Т. 2.
26. *Шильдер Н.К.* Император Николай I. М., 1997. Т. 2.
27. *Энгельгардт Н.А.* Очерки николаевской цензуры // Исторический вестник 1901. № 9.

Аннотация. Статья посвящена отношениям власти и общества в контексте развития государственной идеологии николаевского царствования. В статье рассматриваются модели этих отношений, предлагаемые как властью, так и обществом, а также противоречия, существующие между ними.

Ключевые слова: православие, самодержавие, народность, государственный и общественный консерватизм, власть, общество, цензура, образование.

Sergey V. Udalov, Ph.D. in History, Associate Professor, Department of Russian History and Archeology, Institute of History and International Relations, Saratov Chernyshevsky State National Research University E-mail: grot-saratov@mail.ru

In the Grip of Ideology: Power and Society in Russia in the Second Quarter of the 19th Century

Abstract. The article is devoted to the relations of power and society in the context of the development of the state ideology during the reign of Nicholas I. The article examines the models of these relations offered by both the authorities and society, as well as the contradictions existing between them.

Keywords: Orthodoxy, Autocracy, Nationality, State and Public Conservatism, Power, Society, Censorship, Education.

Егор Холмогоров

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-1-86-124

Русификация русских. Граф Уваров и третий русский национализм

Пойми, кто может, буйную дурь ветров!
Валы катятся – этот отсюда, тот
Оттуда... В их мятежной свалке
Носимся мы с кораблем смоленым,

Едва противясь натиску злобных волн.
Уж захлестнула палубу сплошь вода;
Уже просвечивает парус,
Весь продырявлен. Ослабли скрепы…

Алкей[1]

Дано ли нам посреди бури, волнующей Европу, посреди быстрого падения всех подпор гражданского общества, посреди печальных явлений, окружающих нас со всех сторон, укрепить слабыми руками любезное Отечество на верном якоре, на твердых основаниях спасительного начала?

С.С. Уваров

История русской общественной мысли в последние десятилетия переживает настоящий уваровский ренессанс (если не сказать – реставрацию). Совершенно отброшена пыпинская концепция «официальной народности» и предложены свежие интерпретации уваровский триады [52, 54, 58, 69, 76]. Во всех деталях разобрана интеллектуальная биография Сергея Семеновича, предстающего как один из крупнейших консервативных интеллектуалов первой половины XIX столетия [43, 44, 56, 57, 62, 63, 75, 77]. Это корреспондент де Местра [67], собеседник г-жи Сталь [49], друг барона Штейна [12, 53], заочный интеллектуальный соперник Гизо [43; 52, с. 345–351]. Извлекаются один за другим из архивов или атрибутируются из анонимных публикаций рукописи графа, раскрывающие основы его политического мировоззрения [15, 17, 18, 19, 43].

И только одна область изучения среди этого масштабного движения по-прежнему пребывает в некотором застое, опираясь на устаревшие и зачастую ангажированные формулировки, – это вопрос о *месте графа Уварова в истории русского национализма*.

[1] Перевод В.В. Иванова.

Холмогоров Егор Станиславович, публицист. E-mail: holmogorow@yandex.ru

Мы сталкиваемся со своего рода парадоксом. Для зарубежных авторов, например для Бенедикта Андерсона, имя Уварова является практически нарицательным, синонимом официального имперского национализма, до той степени, что он характеризует Томаса Маколея как «самонадеянного молодого английского Уварова» [39, с. 249]. Отечественные же исследователи иной раз стремятся так или иначе принизить значение как лично Уварова и его идейного наследия, так и всего связанного с ним этапа в развитии русского национализма.

Аргументация строится на искусственно конструируемом противоречии между национализмом, началом народности, якобы носящим в Европе той эпохи революционный, уравнительный, прогрессивный характер, и архаичными началами православия и самодержавия, перекрещенными к тому же в «господствующую церковь» и «имперский абсолютизм» [52, с. 374].

Фактически восторжествовавшая в наших исследованиях национализма линия сводится к тому, что политика Уварова была направлена на перехват понятия «нация» и националистического дискурса у революционных, демократических кругов [68, с. 32]. Уваров якобы осуществляет выхолащивание этого понятия и *вытеснение* слова «нация» словом «народность», так как понятие о нации обладало взрывным революционным потенциалом [78, p. 320–321]. Уваровская народность рассматривается как придающая *флёр* исторической глубины Православию и Самодержавию [68, с. 33]. В крайнем случае выражается готовность признать, что Уваров намеревался «действовать в националистической логике, при этом не слишком мобилизуя эту логику в общественном мнении» [58]. Самодержавие мыслится *декорирующим* себя теми или иными формальными национальными атрибутами, однако эта декоративность раскрывает определенные «лазейки» для подлинной националистической мысли и духа [65, с. 340]. Сквозь эти лазейки просачивается мысль славянофилов, учение которых и было, по определению А.А. Тесли, «первым русским национализмом» [68, с. 5].

Сам подбор экспрессивной оценочной лексики в условиях отсутствия каких-либо источников, свидетельствующих о неискренности уваровской политики, говорит, что мы имеем дело с конструированием историографического *мифа*. Мол, Уваров коварно пытался навязать русскому мужику-народности генерала-самодержавие и архиерея-православие, чтобы он их прокормил. В любой другой области знаний концепция, которая до такой степени напоминает «теорию заговора», была бы оспорена, а то и подверглась бы осмеянию. Но русский национализм как объект исторического исследования переживал и не такое.

«Третий» русский национализм

Славянофильство, безусловно, не было первым русским национализмом. В лучшем случае – четвертым. Если не вступать в спор о соотношении модернистской и перенниалистской парадигм в понимании национализма и говорить о нации только как о явлении нового времени, если не касаться националистических настроений в русском обществе XVIII века, ярко охарактеризованных Лией Гринфельд [47, с. 185–262], то и в этом случае «первым русским национализмом» придется признать национализм Карамзина и «Беседы».

А.Ю. Минаков так обозначает сущность этого «первого национализма»: «народ как единое органическое иерархически организованное целое, большая патриархальная семья, в которой главную роль играет воля царя, выражающая волю коллективного целого и опирающаяся на собственные, глубоко отличные от западных национальные традиции. Такое целое не нуждалось в верховной власти народного представительства, ограничении власти самодержца конституцией, разделении властей, отмене сословных привилегий» [60, с. 382–383].

«Вторым русским национализмом» придется признать национализм декабристов [64, с. 24–30; 65, с. 313–337]. С.М. Сергеев видит «уникальное место декабризма в истории русского национализма» в том, что декабристы органично соединили идею демократии и идею национальной самобытности, создали детальную программу, выступили как самостоятельная политическая сила, причем действительно могли взять власть. В последнем пункте дозволительно серьезно усомниться, но несомненно, что декабристы выработали очень яркий политический национализм революционно-демократического толка [65, с. 337].

«Третьим» русским национализмом был национализм императора Николая I и Уварова. Даже исследователи, приписывающие Уварову стремление избавиться от термина «нация», настаивают, что «деятельность Уварова находилась под сильнейшим воздействием идей националистической политики» [78, p. 321]. При этом важно помнить указание Н. Рязановского о том, что очень трудно разделить идеи и действия царя и министра [79, p. 46]. Сохраняя основные элементы «первого национализма», «третий национализм» их уточняет применительно к эпохе развитых консервативных наций, каковой была вторая четверть XIX века. Этот национализм опирается на идею нации как самобытного исторического лица, своеобразие которого может быть раскрыто в истории и проявляется в культуре. Для придания этой нации модернистской унификации используется распространение стандартизированного образования, находящегося под государственным контролем и осуществляющегося в духе стандартизированной идеологической формулы. Эта унификация требует русификации других наций и этносов, входящих в состав России, и опоры на «природную русскость» в кадровом и идейном смысле. Культурной доминантой становится всё более углубленное открытие (и изобретение) нацией самой себя через постижение прошлого. Самодержавие «претендует на отражение воли народа, делая царя в его церемониальных проявлениях представителем всей нации», что закрепляется поклоном с Красного крыльца в Кремле [70, с. 392].

Национализм славянофилов, равно как и панславистов уваровского круга – Погодина и Шевырева (особенно с учетом надуманности их отличения от «истинных славянофилов»), при всей его глубине и парадигматической значительности для русской мысли, стоит в этом ряду всё-таки лишь четвертым и был бы совершенно невозможен без третьего.

«Третий национализм» Николая I и Уварова необходимо рассматривать как национализм в самом строгом смысле слова. Он содержит прозрачную, если не подвергать ее искусственным перетолкованиям, концепцию русской нации, противопоставление себя совокупности чужих национализмов как в границах Империи, так и за ее пределами, и развернутую, чёткую, реалистичную (по крайней мере в теории – на практике всё оказалось сложнее) программу *нациестроительства* (nation-building) через постепенный охват всех составляющих нацию социальных и этнических групп находящимися под правительственным контролем образовательными структурами. В обозначении николаевской политики как «*национальной революции* “*сверху*”» нет ни малейшего преувеличения [64, с. 30]. Показательно, что, столкнувшись с революционной волной 1848 года, Николай I проводит как бы символическую встречную революцию – в манифесте 14 марта 1848 обещая защитить Русь, а в апреле 1849 и августе 1851-го посетив Москву и каждый раз снова совершив поклон народу [70, с. 516–527].

Утверждение, что правительство Николая I стремилось вытеснить понятие «нации» понятием «народности», основано на явном недоразумении. В революционной утопии – «Русской Правде» Пестеля – слово «нация» ни разу не применяется к «Коренному Народу Русскому», оставаясь только для двукратного употребления применительно к инородным национальностям, зато «Народность» и «Право Народности», состоящее в праве народа составлять отдельные государства, выступают в качестве одного из центральных политических понятий всей Пестелевой системы [27].

В то же время даже сам автор теории «Народность против нации» А.И. Миллер признаёт: «Сам Уваров писал nationalite, – и в ряде его русских текстов мы встречаем также слово “национальность” в контекстах, похожих на те, в которых используется слово “народность”» [59, с. 59]. Получается, что Уваров внес в официальный дискурс «народность» – совершенно подрывной термин из радикальной революционной программы, но при этом даже не достиг этим цели вытеснения, пользуясь понятиями «национальность» и «нация» сам, в том числе и в программных формулировках: «*национальные начала*», «*развить русскую национальность на истинных ее началах*». Авторы, воспринимаемые нами как достаточно близкие к уваровскому официальному дискурсу, употребляют понятие «национальный» в сугубо положительном смысле, как М.П. Погодин в наделавшей шуму в 1841 году своим мнимым «угодничеством» статье «Петр Великий» [29, с. 359].

Представляется, что вытеснение из публичного дискурса понятий «национальность» и «нация» понятиями «народность» и «народ» имеет более простое и очевидное объяснение. Это вытеснение было следствием борьбы за ту самую н*ациональность/народность* в сфере языка. Употребление коренного славянского слова вместо чужестранного как бы подтверждало решимость правительства, а вместе с ним и общества, двигаться от «несродной нам личины» к подлинному национальному лицу в такой важнейшей сфере как политическое словоупотребление. Вчитывание же в понятие «нация» непременного конституционализма, а в понятие «народ» подспудного самодержавия – слишком произвольная, по сути – постструктуралистская, операция.

Эпоха Николая I была эпохой *русского национализма у власти*. Такая вновь наступит в масштабах всей России только при Александре III, – не случайно Б. Андерсон представляет «русификатора всея Руси» исполнителем уваровской программы, якобы оказавшейся преждевременной для его деда [39, с. 110]. На деле между императором Николаем I и его министром существовало полное согласие относительно необходимости русификации, разница была лишь в том, что создатель триады выступал за более мягкие, ненасильственные ее темпы. Необходимо помнить, что во многих случаях всеподданнейшие доклады и официальные публикации Уварова излагают царю мысли… самого царя, иногда дипломатично смягченные министром. В этом смысле главным деятелем «третьего национализма» был, безусловно, сам император Николай Павлович.

При этом нельзя отрицать определенных конфликтов националистов «третьей волны» с националистами «четвертой волны» – славянофилами. Самым знаменитым и во многом мифологизированным в современной публицистике эпизодом этих разногласий была кратковременная отправка в крепость Юрия Самарина за его дерзкие «Письма из Риги» [34]. Однако надо отчетливо понимать, в чем была *сущность* конфликта царя и молодого чиновника. Не в том, что Николай I отрицал необходимость русификации остзейского края, а в том, что самаринские письма ставили под сомнения *успехи* правительственной политики в этой русификации, показывая ее мнимость и разрушая авторитет генерал-губернатора А.А. Суворова, по жалобам которого Самарин и был наказан.

Самарин призывал идти на штурм – «с мечом в руках, как Магомет», – как упрекнул его в беседе император. Осторожный Уваров, ссылаясь на особенности немецкого характера, предлагал длительную осаду – «немцев налету схватить невозможно; против них надобно вести, так сказать, осаду» [1, с. 182]. Ни у того, ни у другого, ни у самого царя не было сомнений в том, что остзейская крепость должна быть взята. Взыскание Самарину носило дисциплинарный характер, вроде тех, что налагаются на горячих молодых офицеров, поспешностью нарушивших строй в баталии. «Правительство многое знает, чего оно не высказывает до времени и держит про себя», – выговаривал царь проштрафившемуся молодому чиновнику, каким в его глазах и был Самарин, к тому же его крестник [61, с. 48].

В отношениях Уварова со славянофилами очевидно не только скрытое полемическое напряжение, но и систематическое посильное покровительство – он предлагает Хомякову возглавить «Журнал Министерства народного просвещения», предупреждает его через Самарина об опасности появляться в русском платье в Москве, так как это «может повредить всем вашим друзьям» [35, с. 295]. Погодинский «Москвитянин» превращается для славянофилов в важную (особенно в 1845–1847 годах) трибуну. «Что касается до “Москвитянина”, то с ним славянофилов, в то время, почти невозможно было отличить», – иронически цитирует Погодин Пыпина, пытающегося расцепить «хороших» оппозиционных славянофилов и «дурных» охранительных уваровцев [30][1].

«Истинное славянофильство», так же как и погодинско-шевыревское направление, возросло под уваровским крылом, хотя А.И. Миллер, безусловно, прав, когда обращает внимание на тот факт, что безоговорочной поддержкой министра пользовались отнюдь не Погодин и Шевырев, а Н.Г. Устрялов и западник Т.Н. Грановский [58].

Можно говорить о том, что официальная националистическая политика Николая I и Уварова была недостаточной с точки зрения позднейших русских националистов, что в ней слишком сквозило недоверие к любой самодеятельности общества, а установка на правительственное воспитание чувств и разума подданных трансформировалась в навязчивое менторство.

Но не должно быть сомнений в том, что это была искренняя и чистосердечная политика, подчиненная ясно выраженному намерению: «*Развить русскую национальность на истинных ее началах и тем поставить ее центром государственного быта и нравственной образованности*» [1, с. 167]. Эта политика осуществлялась людьми, которые ощущали, что сами недополучили русское воспитание и стремились сделать для своих детей в плане выработки национальной идентичности больше, чем их родители сделали для них.

Личная семейная история Сергея Семеновича, судьба его сына – крупнейшего русского археолога, одного из основателей Исторического музея, А.С. Уварова, это с очевидностью подтверждает. На семейном микропримере мы можем оценить степень успешности нациестроительства, осуществлявшегося С.С. Уваровым[2].

«Новое поколение лучше знает *Русское* и по-Русски, чем поколение наше», – это восклицание министра выражает искреннюю отцовскую радость [3, с. 110].

[1] Там же Погодин рисует идиллическую картину покровительства Уварова журналу:

«В 1842 году, в начале “Москвитянина”, писано было тайному советнику Уварову (министру просвещения): “В последние годы некоторые журналы, и в особенности “Москвитянин”, приняли за особенную тему… возбуждать участие к политическому порабощению некоторых славянских народов, представлять им Россию, как главу, от которой могут они ожидать лучшего направления в будущности, и явно рукоплескать порывам к эмансипации, – заключало это донесение, – едва ли можно считать такую пропаганду неопасною?”.

Министр Уваров, благоволивший к “Москвитянину” и его редактору, препроводил донесение к московскому генерал-губернатору шутливым приглашением принять меры против угрожающей для Москвы опасности от статей “Москвитянина”. Князь Д.В. Голицын, благоволивший также к “Москвитянину” и его редактору, написал к Уварову шутливую записку, когда тому случилось вскоре приехать в Москву: “Venez, mon cher, et cherchons les moyens pour detourner la guerre entre la Russie et la Porte Ottomane”» [Приходите, дорогой, и давайте искать способ развязать войну между Россией и Оттоманской Портой – *фр.*] [30].

[2] Сергей Семенович всю жизнь писал на французском языке и, по злой (и вряд ли в полной мере справедливой) характеристике, данной ему С.М. Соловьевым, «во всю жизнь не прочел ни одной русской книги». «Порецкий музеум» Уваровых заключал в себе обширную коллекцию антиков, собранную Уваровым-старшим, и еще более обширную коллекцию русских икон и рукописей, собранную Алексеем Сергеевичем, составившим, во многом опираясь на эти материалы, двухтомный труд «Христианская символика» и «Русская символика», вторая часть которого осталась, к сожалению, целиком не опубликована. Первая работа А.С. Уварова, опубликованная с подзаголовком «Отрывок из Русской символики», посвященная иконографии Ангела хранителя с деяниями, опубликована в 1864 году, спустя всего пятнадцать лет после того, как его отец покинул министерство [51].

Четыре национализации, или «нацбилдинг» по-русски

Сердцевиной николаевско-уваровской национальной программы была последовательная национализация образования и науки Российской Империи, производившаяся одновременно в четырех направлениях: создание публичных школ, замена образовательных кадров «природно русскими», русификация образования на окраинах и русификация самих русских, углубление национального сознания.

«Русское правительство первым в XIX веке объявило образование особой функцией государства. Вскоре за ним последовали и другие европейские правительства», – отмечает Цецилия Виттекер [44, с. 79]. Не надо долго распространяться о важности, вероятно – центральном значении стандартизированного образования в формировании современных наций. Достаточно дать слово Эрнсту Геллнеру, в чьей концепции национализма как феномена современности, образованию отведена роль краеугольного камня. По сути, в геллнеровской интерпретации, нация – это совокупность граждан одного государства с помощью образовательной машины принужденных правительством к единой культуре:

> «Гигантская, дорогостоящая стандартизованная система образования перерабатывает целиком весь человеческий материал, которому предстоит влиться в общество, превращая это биологическое сырье в социально приемлемый культурный продукт. Подавляющую часть затрат на образование берет на себя государство или представляющие его местные власти. В конечном счете только государство (или чуть более широкий сектор, включающий также некоторую часть «общественности») может вынести на своих плечах тяжкое бремя этой ответственности, одновременно осуществляя контроль за качеством продукции в этой важнейшей из всех отраслей – в производстве социально приемлемых человеческих существ, способных делать необходимую для этого общества работу. Это становится одной из главных задач государства. Общество необходимо гомогенизировать (gleichgeschaltet), и руководить этой операцией могут только центральные власти» [46, с. 159].

Именно эти задачи – гомогенизация гражданского общества через культуру и создание «социально приемлемого» верноподданного гражданина – ставило перед собой уваровское министерство. Может возникнуть сомнение в уместности употребления применительно к политике подчиненного самодержцу министерства в сословном обществе термина «гражданское общество». Однако этот термин – один из наиболее часто употребляемых Уваровым: в сословности и неравноправии он видит структурность гражданского общества, а не его отрицание: «Все классы гражданского общества стремятся к целому, но стремятся разными путями: что одному классу необходимо, то бесполезно и вредно другому» [4, с. 115]. В уваровской логике предполагается, что правительство знает, что именно потребно тому или иному классу граждан и доставляет «свое каждому» с помощью правительственной образовательной системы.

Первая национализация – «просвещение для всех»

С.С. Уварову с несомненностью принадлежит заслуга создания целостной системы русской национальной высшей и средней школы. Именно он осуществит полноценное обобществление образования, его *национализацию* в противоположность предшествовавшей приватизации.

> «Главная задача по Министерству народного просвещения состояла в том, чтобы собрать и соединить в руках правительства все умственные силы, до-

толе раздробленные, все средства общего и частного образования, оставшиеся без уважения и частию без надзора, все элементы, принявшие направление неблагонадежное или даже превратное, усвоить развитие умов потребностям государства», – отмечал министр [1, с. 236].

Эта национализация была не только исполнением воли императора заменить хаос частного с опорой на иностранных учителей образования дворянского сословия, контролировать идейное содержание и научное качество которого правительство не могло, публичным образованием, находящимся полностью в государственных руках. Это было и удовлетворение ясно вызревшей в русском обществе потребности.

«В России домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое безнравственное: ребенок окружен одними холопями, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести… Нечего колебаться: во что бы то ни стало должно подавить воспитание частное», – говорит Пушкин в записке «О народном воспитании» [32, с. 357].

Уваров оформляет стройную систему образования, центральным элементом которой выступают государственные гимназии, призванные охватить прежде всего дворянство. Важную роль играют училища для всех свободных сословий. Публичной школе придан систематический стандартизированный вид: точно определены обязанности преподавателей всех уровней, строгие правила определили программы, учебники, порядок экзаменов и критерии отбора учащихся. Всевидящие и всеслышащие инспектора, учрежденные по образцу, введенному во Франции Гизо в его бытность министром просвещения, вникали в каждую деталь образовательного процесса.

«Домашнее воспитание… мало-помалу было поглощено воспитанием публичным. Ныне частные училища и пансионы составляют малейшую частицу в средствах народного образования», – резюмирует Уваров. На деле частное образование при Уварове тоже расширилось, Ц. Виттекер даже обвиняет министра в «опасной игре» вопреки воле императора, стремившегося покончить с частной школой [44, с. 158]. Однако по сути частное образование изменило свой характер – оно оказалось ориентировано прежде всего на недворян и на женщин, составлявших 65% учеников частных школ [44, с. 157].

«Сословная исключительность» дворянства, если и существовала в уваровской системе, то только в теории. На практике и в гимназиях, и тем более в училищах, представители недворянских свободных сословий занимают все более заметное место – если это и противоречило намерениям царя, то взглядам министра это вполне соответствовало. Для министра нацию составляют вместе все сословия и классы, и все они должны быть привержены национальному духу, вере предков и верности трону, но доза образования должна распределяться по мере потребностей каждого класса и лица[1].

«Не все классы, составляющие народ вообще, имеют равные умственные потребности: иные обязаны идти в даль; другие принуждены останавливаться посреди пути; несравненно большее число достигает полной своей цели, достигнув первых начал образования» [4, с. 115]. Правительство «*желает просвещения для всех по мере надобности каждого* для вящего утверждения народного духа в верности Религии предков и преданности к Трону и Царю» [4, с. 115]. Уваров категорически отвергает «феодальную» интерпретацию этого принципа: «Под словом *высшего класса* разумеем всех, коих природа наделила высшими умственными способностями и коим гражданское состояние не препятствует достигать полного своего развития» [4, с. 119]. Иными словами, из потен-

[1] Тут не было ничего своеобычно русского – Ц. Виттекер приводит выразительную подборку из высказываний прусского короля Фридриха Вильгельма III, французского философа Виктора Кузена и даже основателя ланкастерских школ Эндрю Белля о том, что неправильно слишком многому учить детей и тем самым «делать их недовольными своей судьбой и несчастливыми» [44, с. 159].

циального «высшего умственного класса» Уваров исключает только людей крепостного состояния, для всех остальных – купцов, мещан и свободных поселян открыто полное среднее, а для почетных граждан и высшее образование.

Не следует забывать при этом практического финансового смысла этих сословных перегородок: ресурсы министерства были достаточно ограниченными, и Уваров предпочитал не равномерно размазывать их по всему пространству Империи ради незначительного подъема образованности и обучения за госсчет слуг помещиков (что и без того встречалось в уездных училищах сплошь и рядом), а сосредоточиться на «точках роста» – университетах и гимназиях, которые могли составить костяк для дальнейшего расширения всей образовательной системы.

На основании сословного деления русского общества иногда делаются выводы, вовсе отрицающие существование русской нации (и, соответственно, нациестроительский характер уваровской школы). Согласиться с этим, конечно же, нельзя – русская нация существовала, но носила, как и многие другие европейские нации, иерархический характер. Это была *иерархическая нация* в терминологии Энтони Смита [80].

Созданная Уваровым школа не была всеобщей и равной, но она была при этом всеохватной – каждому сословию назначались четко прописанная мера допуска к образованию и его доза, не допускавшая уклонений. Правительство охотно смирялось с иванами-дураками, но не намерено было впредь терпеть митрофанушек.

Вторая национализация – «природно русское» ученое сословие

Значительное внимание министерство Уварова уделяло кадровой революции в русском образовании (причем как в развивающемся публичном, так и в вытесняемом частном), а именно – смене национального состава, привлечению «природно русской» профессуры и учителей.

Это напрямую вытекало из идеологических установок Манифеста 13 июля 1826 года, в котором постулировалось, что Россия – государство, «где любовь к Монархам и преданность к Престолу основаны на природных свойствах народа», а стало быть от дворянства, «ограды Престола и чести народной», требуется «подвиг к усовершению отечественного, природного, нечужеземного воспитания» [20].

«Создать и укоренить в Отечестве нашем самостоятельное ученое сословие, независимое в развитии умственной деятельности от влияний чуждых систем и примеров» – так обозначает Уваров программу этого направления [1, с. 161]. Это касается и домашних учителей, возведение которых в разряд госслужащих «вызвало на это полезное служение природных русских, которые… привыкли предпочитать государственную службу всякой иной» [1, с. 148].

Кто подразумевается в данном случае под «природными русскими»? Речь идет, конечно, не о «русских по крови», речь о «русских по происхождению».

В послепетровскую эпоху большая часть русского ученого сословия состояла из приглашенных немцев, а после Французской революции к ним прибавились беглые abbes («*В те времена не было ни одного видного семейства, которое не имело бы у себя какого-нибудь французского аббата*», – отмечает Уваров в своей автобиографии), не говоря о многочисленных madames и monsieur.

Николаевское царствование стало эпохой полного демонтажа монополии иностранных воспитателей. «С 1835 г. ежегодно получали аттестаты домашних учителей примерно по 300–500 человек, причем десять процентов из них всегда составляли иностранцы. В 1845 царь потребовал более жестких мер, и в следующем году иностранцев осталось только 11 человек из 400 аттестованных. В 1848 г. иностранцев, желавших стать домашними воспитателями, больше в Россию не допускали» [44, с. 156].

«Природный русский» преподаватель должен был родиться, возрасти и получить воспитание в России, и лишь усовершить свое образование в Европе. Понимание народного духа и особых условий страны будет для него естественным и само собой разумеющимся.

В свидетельство своего успеха в этой национализации Уваров призывает внешнего наблюдателя, который «увидит на кафедрах профессоров русских младшего поколения, не уступающих ни в чем лучшим иностранным преподавателям, с тем только, что природное чувство привязанности ко всему народному укрепляет между ними и слушателями благородную связь, дотоле небывалую… кто из них отличнее по таланту, тот и замечательнее по чувству русскому и по непорочности мнений» [1, с. 164–165].

Третья национализация – провал «умственного слияния»

Ни в чем так ярко и бесспорно не проявляется националистический настрой Николая I и Уварова, как в программе русификации окраин империи. Из четырех специальных «проблемных пунктов», по которым А.А. Тесля предлагает определять сходства и различия программ русского национализма: польский вопрос, остзейский вопрос, украинофильство, славянский вопрос [68, с. 39–47], – по первым двум Уваров изложил развернутую, стройную и реально проводимую в жизнь программу в отчете на десятилетие управления министерства в 1843 году (о двух других пунктах речь позже).

Специфика той ситуации, в которой оказался русский национализм в XIX веке, состояла в том, что он практически не сталкивался с проблемой внешней ирредены. Подавляющая часть русского народа была соединена под скипетром государей из рода Романовых. Галицийская проблема как острая национальная проблема еще долго не сознавалась и в любом случае была каплей, отделенной от русского моря. Более существенным вопросом была внутренняя ирредента областей, которые были возвращены из состава Речи Посполитой в ходе разделов Польши, и где требовалось возвратить русский язык, православную веру и этническое самосознание.

Соответственно практически полному отсутствию внешних этнических задач у русского национализма отсутствовала необходимость актуализовать те черты идеологии, которые были актуальны для национализма немецкого: общность происхождения, «расы», языка. «В русских условиях “народности” нет нужды создавать политического субъекта… поскольку этот субъект уже наличествует в лице Российской империи» [68, с. 33]. Для русских единство происхождения и языка, по крайней мере если говорить о пространственном, а не классовом аспекте, было в XIX веке ничего не объясняющей тавтологией (сейчас, в XXI веке ситуация изменилась, и мы наблюдаем «германизацию» русского национализма прямо на глазах).

Сознательный немец, если он не был пруссаком, обязан был быть «антипатриотом» и мечтать о поражении своего малого отечества во имя торжества единой Германии. Русский национализм при своем зарождении сталкивался с противоположной проблемой: в том же отечестве живут представители других этносов, других религий, других культур и цивилизаций. Соответственно, перед русскими вставал вопрос цивилизационной, культурной, а, по возможности, и религиозной ассимиляции соотечественников. Вопрос состоял в том, как сделать если не всех, то значительную часть представителей меньшинств природными патриотами.

«Народный суверенитет» был для русских бессмысленной и опасной доктриной, поскольку потенциальная «нация как гражданское сообщество» должна была быть намного больше числом русской нации как этноса. Именно с этой проблемой пытается справиться Пестель в «Русской Правде», противопоставляя «праву народности» «право благоудобства» [27]. Принцип народности играет в этом конституционном проекте не на стороне русских, которые и так составляют Коренной Народ. Напротив, «право народности» требует отде-

ления от русских всевозможных окраин, сепаратистские поползновения которых политический мыслитель-декабрист ограничивает «принципом благоудобства», а иногда, как в случае Польши, капитулирует перед ними. Как Пестель намеревался, сокрушив русское самодержавие, уговорить народы остаться под властью России «из соображений благоудобства», – это навсегда осталось тайной, возможно и от самого декабриста.

Программа «третьего национализма», изложенная Уваровым, базировалась на гораздо более прочном основании – самодержавии. Будучи одновременно исторической национальной властью русских, самодержавие было в то же время источником господства над обширной и чрезвычайно разнородной империей, в которой причудливо перемешивались разные принципы легитимности – феодальная присяга, право завоевателя, религиозное, с привкусом суеверия, почитание «Белого Царя» восточными народами. Для русского национализма, выразителями программы которого были царь и министр, фундаментальная задача заключалась в том, чтобы привести это многообразие лояльностей к единому образцу – образцу той национальной власти, которой пользовался русский царь у своего русского народа[1].

Соответственно русский национализм этой эпохи обречен был строиться на державном патриотизме, форсировании православия и общих культурных черт, которые должны *перекрывать* этничность и быть для привлекаемых к общему русскому делу инородцев выше голоса крови.

Главной из этих культурных черт, конечно, должен быть «*язык русский – этот великий двигатель русской народности*» – как выражается Уваров [1, с. 177]. Министр предполагает применить новое мощное оружие, которое оказалось в руках у правительства, – образовательную систему, в которой преподавание ведется на русском языке. Создание «социально приемлемых существ» должно здесь носить национально-культурный характер, осуществляясь при помощи русификации.

При этом «социальная неприемлемость» поляков и остзейских немцев – факт, который ни министр, ни венценосный читатель его докладов под сомнение не ставят. Уваров ярко говорит о «взаимной ненависти одного языка к другому, римской церкви к Православной, западной цивилизации к восточной» [1, с. 166], но рассчитывает осуществить «умственное слияние сих начал с надлежащим перевесом русского» [1, с. 167]. Относительно немцев он едко характеризует их сомнительную роль в послепетровской России и претензию быть наставниками и культурными руководителями русских: «Истинное и главное заблуждение немецких губерний состоит в том, что они до сих пор не постигают, “что Россия возмужала”... – настаивает министр. – Они упорно заключают, что Россия – тот же младенец» [1, с. 180–181].

[1] Мнение о том, что Российский император есть прежде всего государь русского народа, а не средоточие многонациональности, – основоположная доктрина русского национализма в XIX веке от Карамзина до Погодина, Каткова и далее. «Любите людей, но еще более любите Россиян, ибо они и люди и Ваши подданные, дети Вашего сердца. И Поляки теперь слушаются Александра: но Александр взял их Русскою силою, а Россиян дал Ему Бог», – обращается в 1818 году Карамзин к Александру I в «Мнении русского гражданина» [21, с. 437]. «Русский государь родился, вырос на русской земле, он приобрел все области с русскими людьми русским трудом и русской кровью. Курляндия, Имеретия, Алеутия и Курилия суть воскрылия его ризы, полы его одежды, а его душегрейка есть святая Русь. Видеть в государе не русского, а сборного человека из всех живущих в России национальностей, это есть такая нелепость, которую ни один настоящий русский человек слышать не может без всякого негодования», – заявляет в 1864 году Погодин [31, с. 655].

Ничто в самаринских «Письмах из Риги» не задело Николая I, всегда апеллировавшего к «природной русскости», так болезненно, как читавшийся между строк намек, что он окружен немцами и сам немец. «Вы хотели сказать, что со времени Императора Петра I и до меня мы все окружены Немцами и потому сами немцы… Ваша книга… стремится подорвать доверие к правительству и связь его с народом, обвиняя правительство в том, что оно национальные интересы русского народа приносит в жертву Немцам», – выговаривал он славянофилу [61, с. 48].

Центральной трудностью остзейского и польского вопросов, которая и сделала их основными для русского национализма, состояла в том, что здесь русскому влиянию противостояли две европейские нации, с большим или меньшим основанием рассматривавшие себя как культурно превосходящие русских. В конструкции европеизированной и европеизирующей Империи, осознанно выступающей агентом просвещения и на этом строящей свою легитимность, не было и не могло быть нормальным положение, что какие-то народы ощущают себя или в самом деле являются стоящими в большей степени вровень с Европой, чем русские.

Польский вопрос Уваров делит на две составляющие. Первая – это ирредентистское культурное отвоевание Западного края, возвращенного Екатериной (и едва не переданного Александром I назад Польше, что остановила полная скрытых угроз записка Карамзина – один из ярких памятников «первого русского национализма»). «Язык русский едва был слышен на этом огромном пространстве», – констатирует Уваров [1, с. 168]. «В Белоруссии народ говорит по-русски, владельцы – по-польски; народ не имеет русских школ или весьма мало, не учится русскому языку и, к стыду нашему, начинает забывать оный; тут нужно принять быстрые и решительные меры» [4, с. 117].

Однако тактика, которую предлагает Уваров для решения этой задачи, весьма специфична – это *русификация польского дворянства*, главным инструментом которой должен был стать Университет Св. Владимира в Киеве. Эта русификация польской элиты должна была «сглаживать те резкие характеристические черты, которыми польское юношество отличается от русского, и в особенности подавлять в нем мысль о частной народности, сближать его более и более с русскими понятиями и нравами, передавать ему общий дух русского народа» [1, с. 169].

Значительная часть польской шляхты Западного края была русской шляхтой, некогда ополяченной и окатоличенной в иезуитских коллегиумах. Ничего невозможного в *рерусификации* их не было. Мало того, время от времени она сама собой происходила, как у Достоевских: дед писателя был униатским священником, отец еще родился польским подданным. Однако подобный обратный ход, успешно использованный Церковью при воссоединении в те же годы западнорусских униатов, Уварову в голову не приходит. Министр рассматривает полонизм как «природное» состояние подлежащего перевоспитанию юношества. «Последуют ли они влиянию духа русского или, напротив, распространят они дух своего племени, дух враждебный во всех изменениях и под всеми личинами?» [14, с. 340].

Второй частью вопроса был вопрос о русификации коренной Польши, где Россия царила по праву завоевателя, торжествующего в «споре славян». Здесь Уваров выступает апологетом среднего пути между силовой русификацией, поддерживавшейся фельдмаршалом Паскевичем, и мечтательностью александровского царствования, стремившегося восстановить Польшу, «между двумя крайностями: между ультрарусским, понятным, но бесплодным и бесполезным чувством явного презрения к народу, имевшему доселе мало прав на наше сочувствие, и между ультраевропейскою наклонностию сделаться в глазах этого народа предметом его слепого энтузиазма» [1, с. 199].

Эта средняя стезя видится Уварову как использование мягкой силы России. Он отменяет принудительное обучение только на русском языке в Царстве Польском и уповает на то, что «будучи воспитаны в ненависти и презрении к России, вид ее могущества, ее устройства, ее образования непосредственно действует на умы юношества и поселяет в них нечувствительно какое-то уважение к ее первенству между славянскими племенами, которое должно непринужденно и мало-помалу переменить до корня все их понятия» [1, с. 201]. Иными словами, Уваров надеется на то, что Россия в будущем будет обладать таким могуществом и притягательностью, таким превосходством в цивилизации, что это само по себе сблизит молодые поколения поляков с Россией. А.И. Миллер спра-

ведливо характеризует такую стратегию Уварова как «не ассимиляция, но аккультурация», ориентированная на выработку «уважения к имперскому центру как центру цивилизационного притяжения» [58].

Чтобы достичь этой интеграции, Уваров инициировал систематическую командировку в Россию будущих польских юристов, которые должны были учиться в Москве и Санкт-Петербурге и служить по пять лет в центральных русских губерниях. А.И. Миллер связывает унификацию университетских программ в империи именно с планом перемешать студентов – выходцев из центра и студентов с окраин [78, p. 322]. К неудовольствию попечителя Московского учебного округа графа Строганова, на стипендии для этих студентов было к 1845 году истрачено 32 000 рублей, которых так не хватало русским бедным студентам [44, с. 225]. В коня ли был корм, показывает тот факт, что виднейший вождь польского восстания 1863 года Викентий Константин Калиновский окончил именно юридический факультет Санкт-Петербургского университета (правда, уже в начале эпохи Александра II).

Аналогичны были надежды Уварова и в русификации остзейского края, где он выступал идеологом ненасильственного подталкивания к изучению русского языка. Его надежды переменить горделивость и упрямство немцев основаны на том, что Россия теперь более прогрессивное государство, чем раздробленная Германия, и тем более чем застрявшие в феодальной эпохе с ее привилегиями остзейские губернии. «Тщетно дух остзейских губерний считает себя представителем немецкого просвещения в России; мы это просвещение понимаем и ценим вернее их» [1, с. 181]. Отныне не немцы русских, а русские немцев могут и должны учить тому, что есть истинная европейская образованность.

Впрочем, Уваров держал Дерптский университет под своим постоянным покровительством и использовал его высокий «импортный» научный уровень для того, чтобы готовить профессуру для остальной России. То есть на практике просвещение шло попрежнему с Запада на Восток [44, с. 228].

Остзейской реакцией на русификаторские поползновения правительства был упорный саботаж. Русский язык изучали (или по крайней мере делали вид, что изучают), но ни малейшего желания переходить на него в Дерптском университете и судах не изъявляли, пользуясь в этом попустительством генерал-губернатора А.А. Суворова, писавшего в столицу, что «всякое понудительное распоряжение казалось бы изъявлением некоторого неудовольствия правительства и недоверия к собственным усилиям жителей» [22, с. 511].

Усилиями ставшего своего рода оводом остзейцев Ю.Ф. Самарина правительство постепенно начинало осознавать роль немецкой особости как тормоза при русификации самой России. Когда Самарин в 1868 году публиковал в «Окраинах России» высказывание вице-президента Лифляндского гофгерихта фон Бокка: «Германия должна радоваться, что люди по отношению к ней *свои*, вступая в русскую службу и овладевая государственными силами России, приобретают возможность *мешать ей сделаться вполне русскою*» [цит. по: 22, с. 528], он уже мог предполагать эффект подобных цитат на будущее. Бисмарковская Германия стояла на пороге единства, в связи с этим остзейцы оказывались в эпицентре конфликта двух национально-имперских идентичностей, и это делало решительную политику Александра III неизбежной.

Горькое разочарование ждало бы Уварова, проживи он на восемь лет дольше, и в польском вопросе. В 1863 году польское восстание, руководимое в Западном крае дворянами, выучившимися в русских университетах (правда, по большей части в Петербургском, а не в специализированном Киевском), пришлось подавлять белорусским крестьянам, тому самому народу, который «говорит по-русски», и образование которых министерство привело в меру «пользы умственной и нравственной людей этого сословия».

Заметим, что крупную роль в подавлении восстания сыграли русские старообрядцы-беспоповцы федосеевского, филипповского и поморского согласий, полностью разгромив-

шие отряд Л. Плятера, что послужило своеобразным прологом действий М.Н. Муравьева [41]. Вряд ли случаен тот факт, что это была именно та часть русского народа, у которой существовали собственные, независимые от правительства традиции самобытного русского образования.

Пожалуй, самый крупный государственный деятель из последовательных сторонников русского национализма – Муравьев – взял по отношению к Западному краю именно ту «ультрарусскую линию», которую считал столь нежелательной Уваров. Он вовсе отказался от попыток русифицировать шляхту и сделал ставку на того, кто уже был «природно русским», – мужика, обращаясь к этническому и культурному самосознанию русского населения края и налаживая в нем образование с опорой на выходцев из великорусских губерний, поляков же стараясь полностью из этой системы исключить[1].

Вместо уваровской цивилизационной интеграции на основе европейской цивилизации с «надлежащим перевесом» русского начала Муравьев делает ставку на цивилизационное размежевание посредством прежде всего религии. Это размежевание сочетается с попыткой утянуть максимальное число местных жителей, в первую очередь крестьян, на русскую православную сторону путем «разделения оспариваемой паствы», переделки костелов в православные храмы, раздачи крестьянам православных крестиков и т.д[2].

Как мы видим, «третьей национализации» Уваровым уделялось, в соответствии с пожеланиями царя, огромное внимание, однако ее результаты были хотя и не нулевыми, но гораздо менее впечатляющими, чем на остальных направлениях. Ни одну из национальных проблем на западной окраине Российская Империя до конца своего существования так и не решила, а если были достигнуты какие-то успехи, то совсем не на путях уваровской «мягкой силы». Этот неуспех уваровской модели был связан с внутренней противоречивостью ее идеологического фундамента.

Основные русификаторские усилия были нацелены на народы, которые являлись яркими представителями западной цивилизации и в культурном, и в религиозном отношениях. Уваров рассчитывал, что успехи образования и науки в Российской Империи вызовут переподключение как поляков, так и остзейских немцев к Западу через Россию. Он не без резона указывал, что николаевские русские являются более модернизированными представителями европейской цивилизации, чем провинциализированные остзейцы, а поляки, лишившиеся самостоятельного источника политического и культурного развития, и вовсе не найдут вскоре иного доступного источника европейской образованности, кроме русского. Таким образом, Уваров, по выражению А.И. Миллера, ставил проблему «цивилизационной привлекательности русского центра» [58].

Однако для того, чтобы Россия могла выступать для остзейцев и поляков в качестве своеобразного «провайдера» европейской цивилизации, она должна была бы сама все более в эту цивилизацию погружаться, и русские должны были бы приобретать характер «средних европейцев». Но деятельность уваровского министерства имела парадоксаль-

[1] См. прежде всего работу А.Ю. Бендина, в которой подробно проанализирован характер этой борьбы Муравьева как «столкновения цивилизаций» [42], а также монографии А.А. Комзоловой [55] и Э.П. Федосовой [71].

[2] В работах М.Д. Долбилова [48, там же на с. 823 перечисление основных публикаций автора] предпринята попытка своего рода постструктуралистской «деконструкции» образа Муравьева и муравьевской политики – под сомнение ставится ее системный националистический характер, ее осознанность и последовательность. Разумеется, в любой практической политике можно отыскать массу непоследовательностей, но в целом политика Муравьева – это, пожалуй, одна из наиболее цельных, последовательных и осознанных русских националистических политик, когда-либо проводившихся властями Российской Империи. В попытке обесценить этот факт можно увидеть своего рода постмодернистскую игру – «социально неприемлемый» Муравьев-«вешатель» вводится в качестве легитимного для либеральной историографии объекта изучения через стирание его наиболее ярких, идеологически пугающих, знаковых черт. Однако сам же автор отмечает символическое значение этой фигуры [48, с. 830], доходившее у русских Западного края до почти религиозного культа.

ный результат. Чем больших успехов достигала уваровская просветительская программа, тем в большей степени для русского самосознания становилось очевидно, что Россия – это самостоятельная цивилизация, не сводимая к европейской и чуждая ей в самих основах. Во все более очевидное противоречие с программой, выбранной министерством для третьей национализации, – русификации окраин, входила программа четвертой национализации – *русификация русских*.

Парадокс четвертой национализации: слишком Русское и слишком по-Русски

Не менее чем автор «триады», граф Уваров должен был бы быть известен как автор двуединой формулы: «*Русская система и Европейское образование*» [13, с. 131–132]. «Сохраняя все выгоды европейского просвещения, подвергнув умственную жизнь России вровень с прочими нациями, – характеризует Уваров деятельность своего министерства, – оно желало дать ей самобытность народную, основать ее на началах собственных и привести в соответственность с потребностями народа и государства» [1, с. 206].

Однако уваровская программа национализации окраин строилась на предпосылке единства европейской цивилизации, европейской образованности, при множестве народов, ей причастных. При допущении множественности цивилизаций, множественности гражданских образованностей, система переставала работать. Чтобы отчетливее понять тот смысловой капкан, в которой попала с течением времени уваровская доктрина, необходимо пристальнее присмотреться к составлявшему ее логический центр понятию «народность».

«Слово “*Народность*” возбуждало в недоброжелателях чувство неприязненное за смелое утверждение, что Министерство считало Россию возмужалою и достойною идти не *позади*, а, по крайней мере, рядом с прочими европейскими национальностями», – пишет в 1843 году Уваров [1, с. 235–236]. Подбор слов «*рядом с прочими европейскими национальностями*» как нельзя лучше характеризует его политическое видение.

Русские – это одна из наций Европы. Нации при этом толкуются Уваровым довольно широко, как крупные исторические субъекты, которые в современной посттойнбианской терминологии скорее обозначали бы как «цивилизации», Шпенглер бы назвал «культурами», а Данилевский точнее прочих – «культурно-историческими типами». Уваров говорит о «греческой нации», «индийской нации» [8], в последнем случае разумея ту разноязычную, разноплеменную, разнокультурную среду, которая могла казаться чем-то единым лишь внешнему наблюдателю и лишь в немногих культурных чертах. Германцы же, к примеру, для него «народ» или скорее даже «народы».

Европейская нация для Уварова – это нация, причастная к европейской образованности и цивилизации. Точнее, такая формулировка для Уварова почти тавтология, поскольку цивилизация для него, как и для Гизо, есть образованность, «гражданское образование» [52, с. 345–351].

В 1829 году Уваров посвятил проблеме цивилизации главу своего неопубликованного труда «Etudes sur la Russie au XIX siècle», названную «De la civilisation en Russie» [43]. В ней он рисует картину своеобразного формирования в России цивилизации не из борьбы за власть третьего сословия против аристократии и плебса, как то было во Франции, а из прививаемого правительством высшим классам желания стать вровень с Европой. Уваров рассчитывает, что в России удастся водворить цивилизацию и распространить европейскую образованность, в том числе и на низшие классы, избежав возникновения «третьего сословия», которое, будучи охоче до привилегий аристократии, использует цивилизацию и промышленность, по сути, для захвата власти.

Здесь мы видим наиболее своеобразную черту уваровского национализма – в то время как большинство модернистских национализмов имеет однозначно «третьесословный» характер, уваровская программа несет столь же отчетливый отпечаток осознанного желания не допустить становления «Tiers état» и превращения его в самодовлеющую нацию, подавив и поглотив остальные сословия.

Уваров видит особый исторический путь России в том, что она может в полной мере воспользоваться «привилегией отсталости». «Промысел благословил Россию, призвав ее последнею в сонм просвещенных государств!» [13, с. 131]. К этой любимой мысли о модернизационном скачке, который составляет историческое преимущество России, Уваров возвращается не раз и не два в самых разных контекстах. Россия молода и потому не принуждена развивать своекорыстное третье сословие, чтобы обеспечивать с его помощью развитие цивилизации. Россия молода, «мы не знали промышленности мануфактурной в первобытном ее виде» [13, с. 130], а потому машины здесь благотворны и не отнимают хлеб у рабочих. (Сергей Семенович, назвавший Волгу «Нилом России», по всей видимости, никогда не слышал, как бурлаки на этом «Ниле» рассказывают истории о том, что конкурирующие с ними пароходы движет пар от мучающихся в аду душ утопленников.)

Те же выгоды юности Уваров видит и в гуманитарном развитии России, сравнивая между собой ее и Рим, тоже некогда молодым вышедший на поприще древней цивилизации. «Наша словесность есть некоторым образом поздний цвет нового политического образования России… Римляне сперва овладели миром и впоследствии уже начали думать о просвещении. Из сего следует, что их литература, как и наша, не отличается оригинальностью; но их литература имеет, по крайней мере, свой характер; и сей характер заимствован от греков…» [8, с. 299–300]. Прививку молодой нации древнего греческого начала Уваров рекомендует и для русских: «...основать новейшее русское образование тверже и глубже на древней образованности той нации, от которой Россия получила и святое учение веры, и первые начатки своего просвещения», – обращает на себя внимание, что он совершенно не различает Древней Греции и Византии [1, с. 152].

В этой связи стоит формулировка Уваровым своей программы, донесенная до нас дневником А.В. Никитенко: «Россия еще юна, девственна и не должна вкусить, по крайней мере теперь еще, сих кровавых тревог. Надобно продлить ее юность и тем временем воспитать ее. Вот моя политическая система» [26, с. 362]. Характерно то, кого в этом размышлении Уваров называет в качестве главных своих противников: «Греч, Полевой, Сенковский и проч.» – иными словами, представители буржуазного, третьесословного направления в русской журналистике, носители той альтернативы, которой Уваров всячески стремится избежать. Эти люди в его представлении преждевременно хотят «состарить» Россию и тем навредить ей.

В чем заключается это старение, Уваров выпукло показал в своем эссе «О преподавании истории относительно к народному воспитанию», опубликованном в 1813 году, задолго до формулировки «триады». «Быстрый ход наук и художеств, сильное распространение роскоши и общежития, направления к торговле сблизили между собою все государства Европы. Сей порядок вещей, *искоренив мало-помалу почти в каждом государстве народный дух* [выделено мной – *Е.Х.*], готовил медленную пагубу всей Европе» [7, с. 374]. Уваров рисует картину «первой глобализации», неразрывно связанной с деятельностью третьего сословия, и видит в ней причину упадка того источника оригинальной жизни и культурного творчества, которым является *народный дух*. Будь Уваров нашим современником, его подход назвали бы антиглобализмом и идентитаризмом.

Средство сохранения молодости народного духа Уваров видит в преподавании истории. Тому, кто наставляет русских в истории, «до́лжно возбуждать и сохранять, сколь-

ко можно, народный дух и тот изящный характер, на который ныне Европа смотрит, как изнеможенный старец на бодрость и силу цветущего юноши» [7, с. 374].

В ранней историософии Уварова Россия предстает народом-юношей, лишь приобщающимся к европейской образованности, чтобы встать вровень с более зрелыми европейскими народами. Она, как Рим, вошедший в цивилизацию со Сципионовым мечом, чтобы прибавить к нему Овидиеву лиру. Силой она приобретет себе право не только «народами править державно», но и научать основам цивилизации, сама постигая их во все большей мере. Тем самым Россия в уваровской теории получала право наставлять в цивилизации подвластных ей поляков и германцев.

История Российского государства и русской словесности должна была стать в представлении Уварова запасом своего рода молодильных яблок, способом приобщения русских к своему собственному народному духу, *русификации русских*.

Когда Уваров формулировал первоначальный вариант своей триады, он не случайно обозначил ее как *некоторые остатки* русской народности.

> «Посреди всеобщего падения религиозных и гражданских учреждений в Европе, невзирая на повсеместное распространение разрушительных начал, Россия, к счастию, сохранила доселе теплую веру к некоторым религиозным, моральным и политическим понятиям, ей исключительно принадлежащим. В сих понятиях, в сих священных остатках ее народности находится и весь залог будущего ее жребия…» [2, с. 103].

Смысл, вкладываемый Уваровым в понятие «остатков» или даже «священных останков» (как сказано в докладе на десятилетие министерства), точнее всего выразил уваровский интеллектуальный «фаворит», как именует его А.И. Миллер [58], – историк Николай Герасимович Устрялов. В «Начертании русской истории для средних учебных заведений», опорном учебнике для всей уваровской образовательной программы, он пишет:

> «Древний Русский мір исчез с большею частью его уставов, законов, форм, нравов, обычаев; впрочем главные непременные условия Русской жизни, Религия и Самодержавие остались неприкосновенными» [81, с. VIII].

То есть, по Устрялову (и стоящему за ним Уварову), Религия и Самодержавие – это то, что *осталось* от древнего Русского міра, исчезнувшего после петровских преобразований. По счастью, эти остатки имеют основополагающий характер, и потому русская жизнь не прервалась, но все подробности русской народности, как оказывается, исчезли.

Однако уваровская триада носит, в сущности, кризисный, чрезвычайный, спасательный характер. Министр обещал царю «найти начала, составляющие отличительный характер России и ей исключительно принадлежащие; собрать в одно целое священные останки ее народности и на них укрепить якорь нашего спасения» [1, с. 135]. И останки утонувшего древнего русского міра начинают инструментами исторической, археографической и филологической науки один за другим извлекаться на поверхность, собираться в целое, упорядочиваться и пропагандироваться через новоутвержденную систему образования. Усилия «возмужавшей» России направляются на то, чтобы открыть секрет ее молодости.

В соответствующем ключе была составлена программа уваровских гимназий и училищ, которым надлежало стать краеугольным камнем нового русского образования. В средней школе 36% времени отводилось, как указывает Ц. Виттекер, на закон Божий, русский язык и литературу (сочинения русских писателей от Ломоносова до Пушкина), российскую историю в изложении Карамзина и географию со статистикой [44, с. 168].

Особое внимание уделялось преподаванию русской истории. «Российская история может сделаться охранительницею и блюстительницею общественного спокойствия, самою верною и надежною» – провозглашал еще в 1832 году Погодин, заступая на кафедру

в Московском университете [28, с. 16]. Университетские кафедры истории и словесности в мире уваровского «нацбилдинга» были главными сборочными цехами. Именно достижения русской истории и филологии составляют главную гордость уваровского «направления»:

> «К какому прибегнули мы средству и какое орудие оказало более услуг, как не возбуждение духа отечественного в тройственной формуле «Православие. Самодержавие. Народность»? Если наши сыновья лучше нас знают родной язык, если они ближе знакомы с нашей историей, с нашими преданиями и народным бытом, то не произошло ли все это оттого, что образованию их дано повсюду русское направление? Если до берегов Немана и далее все заговорило по-русски, все учится по образцу русскому, если даже в Остзейском крае усиливается ежедневно владычество отечественного образования, то не русский ли язык и не русский ли дух произвели и продолжают производить этот благодатный результат? Если, наконец, публичное воспитание, без содействия запретительных мер, совершенно уничтожило частное, то не следует ли приписать это добровольное всех отцов семейств отчуждение иностранных воспитателей от образования их детей влиянию духа Русского, проявившегося во всех распоряжениях наших?
>
> Для усиления и укрепления этого духа Министерство необходимо обязано было обратиться к источнику оного – к основательному изучению церковнославянского языка и сродных славянских наречий, и потому, с разрешения Вашего Величества, учреждены в русских университетах кафедры славянского языка и занятие оным поставлено обязанностью и в средних учебных заведениях. Главнейшие памятники нашей древней славяно-русской литературы вышли из забвения, множество актов и документов, служащих к узаконению истории, обнародованы иждивением правительства...» [6, с. 82–83].

Успехи археографической экспедиции во главе со Строевым, издание многочисленных актов, летописей и хронографов, разыскания С.М. Соловьева (того самого, что даст позднее Уварову нелестную характеристику) в его шведской экспедиции, извлечения, касающиеся русской истории, даже из Ватиканского архива – все эти исторические открытия, которым Уваров посвящает немало страниц в своем отчете [1, с. 219–224], углубляли познание русскими самих себя, укрепляли национальное самосознание.

Исчезнувший «древний Русский мір» вступал в свои права. Но открывавшаяся взору мыслящего русского человека картина приводила его к выводу, что **Россия есть не младшая среди европейских наций, а оригинальная самобытная цивилизация, равночестная с европейской**.

Здесь-то и обозначилась точка расхождения уваровского «третьего национализма» с «четвертым национализмом» славянофилов.

Славянофилы с энтузиазмом относились к реставрации исторической памяти, проводимой уваровским министерством. В 1840 году в письме французскому депутату Могену юный Самарин провозглашает: «Обратимся к изучению нашего прошлого. Извлечем его из праха, исследуем в нем зародыши жизни, наши природные начала, которые по сие время не могли получить надлежащего развития» [33, с. 52]. Однако выводы из этой реставрации делались не совсем уваровские.

Уже в 1836 году, готовясь к полемике с «Философическим письмом» Чаадаева, А.С. Хомяков (хорошо знакомый и находящийся в постоянном живом диалоге с Уваровым) принимает характерное уваровское уравнение «Греция = Византия». Однако это приводит его к совершенно иной итоговой конструкции:

> «От добровольного соединения Греции и Севера родилась Русь: от насильственного соединения Рима с Севером родились западные царства. Греция

> и Рим отжили. Русь – одна наследница Греции; у Рима много было наследников» [36, с. 452].

В этом уравнении Россия не выступает в отношении к Европе аналогом Рима в его отношении к Греции. Напротив, Русь, по Хомякову, – это прямая наследница старшей ветви древней цивилизации, греческой, от соединения с нею северного начала. Европа же – это прямая наследница младшей ветви, римской, при соединении ее с тем же северным началом.

«Русский мір» в славянофильской перспективе – это не ученик европейской цивилизации, не «Рим» в его соотношении с эллинизмом, а наследник старшей греческой цивилизации в соотношении с наследником младшей римской. Русский мір предстает у Хомякова как своего рода Стрыйчич Европы. Одно из двух начал – северное, варварское, у Руси и Запада общее и обеспечивающее им равенство, другое – различное, и оно дает Руси право на старшинство.

Весьма показательна заостренная полемичность замечаний Хомякова о крестовых походах, бывших для Уварова, находящегося в контексте раннего романтизма, высшим проявлением европейского начала, манифестацией молодости европейского духа.

«Крестовые походы были первым движением дремлющих сил Европы» [7, с. 372]. «Промысел родил в недрах феодальных законов способ и случай их навсегда уничтожить. Сей способ – Крестовые походы. Они – последнее испытание юной Европы; последний ее порыв, последняя ее поэзия» [8, с. 311]. «Крестовые походы, которые в первый раз представляют Европу в виде одного великого семейства, занятого одним общим делом, имеющего в виду одинакую цель» [8, с. 314].

Хомяков не только отбрасывает крестовые походы как нечто чуждое Руси, но и представляет их как бесполезные игрушки, которыми Европа была занята в то время, как русские образовывали свою душу и развивали высокую словесность.

> «В XII веке у нас христианский мир уже процветал мирно; а в Западной Европе что тогда делалось? – возражает Хомяков не столько уже Чаадаеву, сколько всем романтикам-евроцентристам. – Овцы западного стада, возбужденные пастырем своим, думали о преобладании; но, верно, святые земли не им были назначены под паству. Бог не требует ни крови, ни гонений за веру; мечом не доказывают истины. Бог слова покоряет словом. Гроб Господень не яблоко распри; он – достояние всего человечества. Таким-то образом мнимо великое предприятие должно было рушиться. Мы не принимали в нем участия, и похвалимся этим. Мы в это время образовали свой ум и душу – и потому-то ни одно царство, возникшее из средних времен, не представит нам памятников XII столетия, подобных Слову Игоря, Посланию Даниила к Георгию Долгорукому и многим другим сочинениям на славянском языке, даже и IX, и X столетий» [36, с. 455].

Для Уварова Россия и русские – равночестная европейским молодая духом нация, обладающая остатками собственных народных начал, составляющих ее особенное историческое лицо, но нуждающаяся в европейской образованности и цивилизации для усовершения этих начал. Для славянофилов Русь и русские есть почтенная самобытная цивилизация, имеющая собственные основания и устроение, которым европейская образованность не во всем содействовала, а во многом и повредила.

Уваровская Россия нуждается в благодетельном попечении правительства и его образовательных учреждений, которые осуществляют «модернизационный скачок», приобщающий русских к цивилизации, минуя буржуазность и третьесословность. Славянофильская Русь нуждается прежде всего в том, чтобы ей *не мешали быть собой,* а всё остальное она и без того умеет, что доказывают документы истории… собранные Строевым и изданные стараниями самого же Уварова [37, с. 457].

В любом случае, период ученичества и умственного покорства Западу для русских закончен. Благом были дела Петра или злом, но европейский период для России с воцарением Николая I завершился, в этом согласны оба славянофильских крыла – и панслависты в лице Погодина, и «истинные славянофилы» в лице Самарина – «влияние Запада на Россию кончилось… отныне наше развитие будет вполне самобытно» [33, с. 52].

Даже сам министр Уваров оказался встроен Погодиным в эту схему исхода из Европы в его вызвавшем столько нареканий со стороны славянофильского кружка за «угодничество» панегирике Петру Великому 1841 года [29, с. 359]:

> «Период Русской Истории от Петра Великого до кончины Александра должно назвать периодом *Европейским*. С Императора Николая, который в одном из первых своих указов по вступлении на престол повелел, чтоб все воспитанники, отправленные в чужие края, будущие Профессоры, были именно Русские, – с Императора Николая, которого Министр, в троесловной своей формуле России, после православия и самодержавия поставил народность, – с Императора Николая, при котором всякое предприятие на пользу и славу отечества, предприятие Русское принимается с благоволением, начинается новый период Русской Истории, период *национальный*»[1].

Славянофильская программа разом подрывала и основания для правительственного образовательного менторства, и уваровскую логику русификации окраин. Оригинальная самобытная русская цивилизация не может быть «провайдером» ценностей и образованности западной цивилизации для народов западной же цивилизации. Это столь же неестественно, как если бы иезуиты учили русских византийскому богословию. В миссионерской практике Рима подобное, кстати, имело место и не раз, но правительство в Петербурге до такого не додумалось, так как все еще рассматривало западную культуру как универсальную. Так зарождаются предпосылки муравьевского «разбора оспариваемой паствы», причем не только церковного, но и цивилизационного.

«Третий русский национализм» уперся в драматическое противоречие между националистическим *историцизмом*, на который опиралось обновление народного духа и восстановление основ «Русского міра» при помощи чтения ветхих летописей, и европеизирующим *цивилизаторством*, из необходимости которого исходила программа тотального (хотя и сословного) образования. Русские внезапно оказались слишком русскими.

Национализм по Гегелю: Уваров против славизма

По всей видимости, Уваров далеко не сразу осознал внутреннее противоречие между историцизмом и цивилизаторством в созданном им идеологическом поле. В 1839 году он публикует в «Журнале Министерства народного просвещения» в рубрике «Действия правительства» анонимный программный очерк «Обозрение истекшего пятилетия» [16].

Исследователи зачастую включают его в число произведений атрибутируемых Уварову. Такой вывод представляется поспешным. Ни по шишковистскому стилю, ни по кругу идей он совершенно не соответствует личным стилю и идеологии Уварова. Фрагменты его ни разу не появляются в позднейших уваровских сочинениях, хотя метод «копипасты» был для писательской манеры Сергея Семеновича в высшей степени характерен. Однако несомненно, что Уваров не придал бы этому тексту кого-то из своих сотрудников программного статуса, если бы не был с ним согласен и не считал, что он в достаточной степени выражает идеологию и программу его министерства.

[1] Попутно отметим еще раз присутствие в этом программном, считаемом образцово-пропагандистским тексте слова «национальный», якобы «вытесняемого» правительственной политикой.

В «Обозрении» заявляется, что Россия обладает древней образованностью, задержанной нашествием варваров, приобщенной к Европе Иваном III и лишь *обновленной* Петром Великим.

> «Россия уже за восемь веков явила свои первые народные Училища и книжный язык, обогащенный всеми красотами Библии в превосходном Славянском переводе. Пастыри Церкви насаждали в простых сердцах народа благотворные семена Веры Православной, а в письменных беседах с Князьями передавали иногда им наблюдения опытного любомудрия. Видим и Песнопевцев, славивших подвиги могучих витязей. Законы, торговля, промышленность содействовали развитию просвещения, и оно, хотя и замедляемое удельными междоусобицами, должно было постепенно разлиться на все состояния народа, как вдруг остановилось под игом варваров… Вера не дала ему померкнуть на веки. Новый день блеснул с Иоанном III; Россия стала усваивать себе плоды тогдашней Европейской образованности; но еще предстоял ей новый, страшный период испытания. Наконец и он, с помощью Веры и любви к Отечеству, протек невозвратно; хищники Трона исчезли перед доблестным Домом Романовых. Россия шествовала к своему величию, и, введенная десницею Петра Единственного, взошла на чреду первых Государств Европы. Зиждитель новых сил ея был вместе и обновителем ей просвещения, которое расцвело потом под державою Екатерины Великой и Александра Благословленного» [16, с. 2–3].

Впрочем, за новоевропейское образование Россия уплатила немалую цену – слепое пристрастие к чужому и зависимость от Европы, утрата самобытного характера литературы. Конечной целью николаевско-уваровской образовательной революции автор ставит обращение умов, привыкших жить «*иноземщиной*» (одно это шишковистское слово напрочь исключает возможность атрибуции данного текста перу лично Уварова), к «восстановлению в нас Святой Руси, но уже не в прежнем ограниченном виде, а в нынешнем, достойном великой монархии и всеобщих успехов образованности» [16, с. 3–4].

Особую трактовку автор «Обозрения» дает и уваровской триаде, которую «находим в опытах веков и особенно в бытописаниях нашего Отечества». Оригинальностью отличается его интерпретация Православной Веры как устанавливающей самобытность русской цивилизации исторической силы.

> «Вера, торжествующая над всеми земными бедствиями, помогла ему устоять среди всех бурь и волнений; сохранила бытие России при напоре и полудиких орд языческого Востока и полупросвещенных полчищ мятежного Запада; и она же, основанная в нашем Отечестве на незыблемом камени Православия, служит ему вернейшею защитой от того развращения умов, которое гибельнее всех физических зол и иноплеменных нашествий» [16, с. 8].

Под полчищами мятежного Запада, разумеется, конечно же, наполеоновское нашествие «двунадесяти языков», одушевляемых полупросвещенным якобинским духом[1].

В «Обозрении», по сути, расшатываются несколько краеугольных камней личной

[1] «Представителями консервативного просвещения от Екатерины II, Фонвизина и Карамзина до Пушкина и Вяземского сформирован отчетливый полемический образ полупросвещения, для которого характерно соединение двух отрицательных черт. Первая, – радикализм, – сочетание умственной поверхности, амбициозности, мечтательности, "катилинства", склонности к решительным и авантюристическим действиям, по сути – якобинству. Вторая, – презрение к отечеству и народу, отчужденность от русских начал и традиции, некритическая приверженность новому и иностранному. Отождествление просвещения и цивилизации с западными, европейскими началами, превращающее полупросвещенца в духовного иностранца» [74 с. 62] – там же очерк разработки понятия «полупросвещение» в русской консервативной мысли.

уваровской доктрины – постулируется древность цивилизации и просвещения в России, констатируется неочевидность выгод образовательной зависимости от Европы, утверждается самостояние Святой Руси как особого исторического и цивилизационного феномена между Востоком и Западом.

Однако министр, давая добро на публикацию этого манифеста, противоречий не видел или не хотел видеть и считать существенными, хотя, подавая императору четыре года спустя обзор десятилетних трудов министерства собственного сочинения, дословно излагает свою западнически-просветительскую версию доктрины, впервые изложенную в черновике, опубликованном А.Л. Зориным [15], и затем многократно повторенную: «священные останки народности», «Церковь отцов», «Самодержавие – краеугольный камень величия русского колосса», «народность как физиономия, которая меняться не должна».

Появляются, впрочем, и новые мотивы в интерпретации триады, изложенные в «Заключении» [1, с. 234–237] через противопоставление членам триады противоположных им ложных начал. *Самодержавие* есть противоположность *либерализму* и утверждение приверженности русскому монархическому началу во всем его объеме. *Православие* – противоположность *мистицизму*, положительное понимание религии, удаление от всех мечтательных призраков, помрачающих чистоту священных преданий Церкви. *Народность* – противоположность *принижению* России, утверждение цивилизационной «взрослости» и равноправия русских с иными национальностями Европы[1].

Уваров в отчете 1843 года безоговорочно остается в рамках своей европеизаторской парадигмы, хотя и дополненной выпадами против «слепого подражания иноземному». Его целью по-прежнему остается «приноровление общего всемирного просвещения к нашему народному быту, к нашему духу» [1, с. 235]. Находясь в интеллектуальном поле двух славянофильств, министр, однако, почти не меняет собственного подхода, хотя и готов в иных случаях, как в «Обозрении», выдавать славянофильский подход за официальный.

Однако в 1847 году в уваровских воззрениях происходит резкий скачок, интеллектуальные и биографические истоки которого еще требуют уточнения. Столкнувшись с серьезным административным вызовом после дела «Кирилло-Мефодиевского общества» [50], в котором европейский демократический панславизм наложился на доморощенное украинофильство, Уваров выдает совершенно новую версию своей историософской и политической доктрины, полемичную в отношении всех версий славянофильства.

Нас сейчас меньше интересует уваровский ответ на украинский вопрос, сформулированный в кратких и сильных выражениях. «Мы видим здесь следы какого-то слепого стремления провинциального духа к разъединению, когда, напротив, славянство, не ставя в счет ни географические, ни политические препятствия, неуклонно хочет соединения всех частей в одно, уничтожения всякого провинциального духа… в брожениях, обнаруженных перед правительством, господствует не дух славянский, а какой-то отголосок украинских предрассудков» [6, с. 81].

Более существен тот ответ на вызов славянофильства с его концепцией особенной славяно-русской цивилизации, который министр даст в докладе о славянстве и с еще большей выпуклостью в публицистическом «Циркуляре», подлежавшем широкому обнародованию.

Уваров здесь резко переменяет философскую систему, на которую опирается, и в свете новой системы славянство оказывается уже не исторической древностью, которая противостоит юной и недозрелой России, нуждающейся в европейской образованности.

[1] В последнем случае уваровская «народность» – это явная полемика с германским менторством, выраженным в переданном через Бенкендорфа письме императору академика-остзейца Паррота, который возражал против уваровской программы русификации Балтийских провинций со ссылкой на то, что тогда Россией некому будет управлять, так как с этим справятся только немцы.

Напротив, славянство оказывается необработанным младенчеством, которому противостоит зрелость, историческая выработанность самобытной русской цивилизации, добившейся успеха там, где прочие славянские народы постигла неудача. Настоящее оказывается национальней прошедшего.

> «Каждый народ, в периоде самобытности своей, вмещает в себе два элемента: общий наследственный от народа-родоначальника, исчезающего в поколениях, и частный, составляющий личность народа. Общий элемент в нас есть родовой, славянский, частный – наш, собственный русский. Посредством личности своей каждый народ развивает в жизни человечества особую мысль Провидения и содействует исполнению благих Его предначертаний», – рассуждает Уваров в «Циркуляре» [5, с. 346–347].

Образ *народа-личности*, воспринятый от Фридриха Шлегеля, – один из самых узнаваемых элементов уваровской историософии [53]. Однако прежде он использовался графом совсем иначе: Уваров различал *физиономию* – наиболее характерные узнаваемые особенности, *лицо* – общий надысторический облик народа, и *личину* – маску чужих и несродных народу понятий и обычаев, которую он носить не должен. В шлегелевском ключе Уваров заключал, что «черты изменяются с летами, но физиономия изменяться не должна».

Однако в «Циркуляре» эта схема претерпевает драматические изменения. Теперь для Уварова **лицо и личность народа – это не вневременная константа, а напротив – приобретаемая в ходе исторической деятельности народа особенность,** частный, конкретный элемент его исторического бытия, который и является, в отличие от родового, действительно существенным, так как выражает особую мысль Провидения об этом народе. Народная личность отныне – не статичное, а динамическое начало, осуществляющееся в ходе *исторической борьбы*, в которой есть победители и проигравшие (мысль для характерной Уварову в прежние времена всепримиряющей схемы «великой цепи» совершенно невозможная).

> «Все славянские государства были в свое время славны и могущественны, и все, как бы по очереди, пали… Этим славянам, утратившим значение свое, свойственно с сожалением вспоминать славное прошедшее. Но Россия, по воле Провидения, выдержала удары судеб и *приобрела самобытность* [выделено мной – *Е.Х.*], претерпев многоразличные долговременные бедствия, внутренние и внешние, она одна возносится над могилами единородных государств и своею собственною личностью представляет беспримерную историю по необъятности владений, многочисленности обитателей и по могуществу народного духа, благоговейно преданная своей вере, своему Государю, сохранившая свой язык, знамение народного ума, народных доблестей, народного чувства. Тогда как прочие славянские народы в изнеможении своем от чуждого владычества еще гордятся общим славянским происхождением, Россия, не помрачившая славы предков, славна своими народными доблестями, славна и прошедшим, и настоящим» [5, с. 347].

Россия не *была* самобытна в виду своего родового славянства, а приобрела самобытность, потому что боролась и воздвигла свой рог там, где иные славянские народы, с жестокосердостью перечисленные поименно (включая поляков), пали, иной раз даже потеряв свой язык и вообще упразднившись, как славяне Померании, Мекленбурга или Мореи.

По отношению к прочим славянам здесь звучит отчетливо социал-дарвинистская нотка – русские выступают у Уварова как наиболее приспособленные, исторически успешные из славян, с чем трудно было спорить, особенно в 1847 году, когда Россия оставалась единственным полностью независимым славянским государством, будучи при этом

на пике державного могущества. Достижения России – это ее собственные достижения, собственная история успеха, к которым остальные славяне лишь хотели бы приобщиться, причем отнюдь не бескорыстно.

Если и раньше Уваров тяготел к скрытой третьеримской доктрине, устанавливая параллели России и Рима, то здесь он прямо приходит к своей оригинальной версии иосифлянского изоляционизма: «Русская земля благочестием всех <славян> одоле»:

> «Святая Русь бедствовала и страдала одна, одна проливала кровь свою за престол и веру, одна подвигалась твердым и быстрым шагом на поприще гражданского своего развития; одна ополчилась против двадцати народов, вторгнувшихся в ее пределы с огнем и мечом в руках. Все, что имеем мы на Руси, принадлежит нам одним, без участия других славянских народов» [5, с. 348].

Грань между двух славянств – в историческом провале одного, утратившего либо православную веру, либо самодержавие в смысле суверенной государственности, либо то и другое разом и, как следствие, вынужденного искать «подпору не в русском начале, а в германском». И в историческом успехе другого, сохранившего и свою национальную религию (а православие есть национальная религия славян хотя бы благодаря культурному и миссионерскому подвигу солунских братьев), и свое самодержавие (то есть суверенитет), и свою народность – язык, письменность, литературу, обычаи и законы.

Уварову удалось встроить в общий контекст русских достижений и приобретенную в петровскую эпоху европейскую образованность.

> «Могучею волею Петр I совершил в свое царствование то, для чего потребны столетия; но он совершил то, до чего народы достигают и в постепенном своем развитии. Какие следствия его преобразований? Мы, оставаясь русскими по духу и сердцу, сравнились с европейцами в образованности. Ломоносов для пересоздания слова русского там же искал сокровищ науки, где Петр Великий находил их для пересоздания государства» [5, с. 348].

Европейское просвещение оказалось уже не «редким цветком», с трудом прививающимся на русской почве, не сомнительным приобретением, не завершенной эпохой ученичества, а еще одним великим историческим деянием русских, модернизационным «большим скачком», который теперь навсегда останется одной из резких черт русского цивилизационного лица, разнящих его от общеславянского.

Интересен интеллектуальный источник новой уваровской историософии. Это прежде всего «Лекции по философии истории» Гегеля, чья философия находилась в центре русского умственного движения 1840-х годов[1]. Уваров немало вынес из идейных споров эпохи, уловил самую суть гегелевской философии истории и обратил ее в полемическое оружие против славянофилов (вспомним слова Погодина о Хомякове: «Гегель был любимым его противником в философии», – или отзыв о Гегеле шелленгианца Шевырева [38]). Народ определяется Гегелем не статически, через его вневременные характерные черты, а динамически, через его дело, через res gestae.

> «Таким образом действует дух народа: он есть определенный дух, создающий из себя наличный действительный мир, который в данное время держится и существует в своей религии, в своем культе, в своих обычаях, в своем государственном устройстве и в своих политических законах, во всех своих учреждениях, в своих действиях и делах. Это есть его дело – это есть этот народ. **Народы суть то, чем оказываются их действия** [выделено мной – *Е.Х.*]. Каждый ан-

[1] Мнение Ц. Виттекер, что Уваров в свой речи 1818 года «предвосхитил» Гегеля, представляется все-таки слишком смелым [44, с. 46]. К тому же в 1818 и в 1847 годах Уваров «совпадает» с Гегелем совершенно по-разному.

> гличанин скажет: мы – те, которые плавают по океану и в руках которых находится всемирная торговля, которым принадлежит Ост-Индия с ее богатствами, у которых есть парламент и суд присяжных и т.д.» [45, с. 71].

Гегельянская «историософия успеха» Уварова носит отчетливо националистический и изоляционистский характер, что ничуть в рамках гегельянской парадигмы не противоречит всемирно-историческому универсализму, так как русские выходят здесь на ступень «народов исторических». Россия встала выше славянства как своей племенной первоосновы, она не обязана славянству ничем существенным за поддержку, и не облечена непременной миссией по его спасению. По славянской «расовой» (в шлегелевском смысле) основе Россия в ходе своей истории вылепила свое неповторимое историческое лицо. Славянство не есть нечто действительное, Россия – действительна и в этом гегелевском смысле разумна.

> «Независимо от общего славянства, в действительности не существующего, а изменившегося в нескольких славянских племенах, мы должны следовать за своими судьбами, свыше нам указанными, и в своем родном начале, в своей личности народной, в своей вере, преданности к престолу, в языке, словесности, в истории, в своих законах, нравах и обычаях мы обязаны утвердить живительное начало русского ума, русских доблестей, русского чувства. Вот искомое начало *народное*, и не *славяно-русское*, а *чисто русское*, непоколебимое в своем основании, собственно наша *народность*» [5, с. 347–348].

К концу своей идеологической эволюции Уваров дает, оперевшись на гегелевскую философию, вполне четкое определение народности – это **выработанная в ходе исторической борьбы национальная личность,** сбывшаяся историческая судьба. Православие и Самодержавие – это две наиболее характерные черты данной исторической личности.

> «Русское славянство в чистоте своей должно выражать безусловную приверженность к Православию и Самодержавию; но все, что выходит из этих пределов, есть примесь чуждых понятий, игра фантазии или личина» [5, с. 346].

Взглянем на ситуацию из 1847 года. Возьмем славянство как определенный этнографический комплекс, как «расу» (опять же в шлегелевском смысле). Ограничим часть этого славянства первой чертой – Православием. Останется лишь небольшое сообщество из русского, сербского и болгарского народов. Ограничим второй чертой – Самодержавием. Останутся только русские, единственные обладавшие на тот момент исторически непрерывной, суверенной, централизованной государственностью[1].

После этих отграничений остальные самобытные черты – особенный ход русской истории, особенные памятники словесности, особенный народный характер и прочие переоткрытые в рамках уваровской политики остатки Русского міра, – оказываются отчасти избыточными. Четкость национального облика русских уже достигнута, и остальные черты вносят лишь уточнение в общую картину.

Если славянофильский историцизм поставил под сомнение уваровскую просвещенческую утопию, то уваровское гегельянство сделало этот историцизм отчасти излишним. Да, в ходе русской исторической борьбы выработалась значительная историческая самобытность, яркая особенность русского национального лица. Но все-таки словами *Православие* и *Самодержавие* сказано главное – именно они выражают особенность русской Народности и впечатаны в ее исторический облик навсегда.

[1] Сербия в том году – еще зависимое от Османской империи княжество, власть в котором находится в руках олигархических конституционалистов – уставобранителей, Черногория так же зависимое от османов княжество под управлением митрополитов, живущее на субсидии из Петербурга.

Жизнь идей после жизни: леонтьевская триада

Славянофилы никогда не приняли нового варианта уваровской историософии. Для них Православие и Самодержавие остались одними из многих, хотя и чрезвычайно важными, аспектами русской Народности. Чем дальше, тем больше рядом с этими началами становился, к примеру, русский крестьянский мір, едва не ставший синонимом Русского міра вообще.

К тому же закончилась сперва уваровская министерская эпоха, затем николаевское царствование, а с ним закончилась и историософия национального успеха. Частичное поражение в частном конфликте против всеевропейской коалиции настолько не соответствовало образу новой всемирно-исторической монархии, рисовавшемуся славянофилами, что русская мысль погрузилась в обиженный минор, не преодоленный в полной мере и по сей день. Соответственно линия «историософии национального успеха», которую представляли Карамзин, Пушкин, и Уваров, по сути, прервалась. Историософия и геополитика Данилевского, к примеру, обосновывают русскую особенность, исходя из опыта исторической неудачи Крымской войны [73].

В 1873 году в «Гражданине» Достоевского Погодин, говоря о наследии Уварова, сводит его к «Народности» и к тому, что эта народность выступала как бы крышей для славянофильского историцизма:

> «Неужели г. Пыпин думает, что Уваровская формула играла роль еще где-нибудь, кроме отчетов министра, т.е. самого автора? В литературе она служила только охранением для охранения мыслей, излагавшихся иногда под ее покровительством; во всяком случае, нельзя было говорить об одном члене формулы отдельно от других. Впрочем, и о трех вместе говорено было немного. Давления никакого она не производила и производить не могла… В Уваровской формуле появилось впервые слово “народность”, в официальном языке до тех пор неслыханное. За одно это слово должно помянуть добром Уварова, а так как мысли живут, развиваются, зреют, то за этим словом последовали и другие – однородные» [30].

Однако подлинный интеллектуальный наследник позднего Уварова явился почти сразу за этим, в 1875 году – это был Константин Леонтьев[1].

Под пером Леонтьева Православие и Самодержавие превращаются в единый цивилизационный комплекс – *византизм*. Сильны и могучи у нас только три вещи – византийское Православие, родовое безграничное Самодержавие и сельский мір (о третьем Леонтьев говорит с выраженным сомнением, скорее идя на уступки славянофильскому культу общины, нежели в реальности признавая его).

> «С какой бы стороны мы ни взглянули на великорусскую жизнь и государство, мы увидим, что византизм, т.е. Церковь и Царь, прямо или косвенно, но во всяком случае глубоко проникают в самые недра нашего общественного организма. Сила наша, дисциплина, история просвещения, поэзия, одним словом, все живое у нас сопряжено органически с родовой монархией нашей, освященной православием, которого мы естественные наследники и представители во вселенной. Византизм организовал нас, система византийских идей создала величие наше, сопрягаясь с нашими патриархальными, простыми началами, с нашим, еще старым и грубым вначале, славянским материалом. Изменяя, даже в тайных помыслах наших, этому византизму, мы погубим Россию» [23, с. 107].

[1] На идейное и интеллектуальное родство Уварова и Леонтьева специально обращает внимание Д.А. Бадалян [40].

С.М. Сергеев сообщает, что провел «специальное исследование, которое показало, что Константин Николаевич нигде в своих сочинениях и в тех письмах, которые нам доступны, не использует “уваровской” триады полностью». Он полагает, что для Леонтьева «неупоминание “Народности” имеет принципиальный характер» и связывает это с тем, что Константин Николаевич крайне подозрительно относится к «народности» как самодостаточному принципу» [66]. О.Л. Фетисенко отмечает, что «это утверждение достаточно софистично» – народность просто трансформирована Леонтьевым, и к тому же нет никакой обязанности следовать триаде рабски [72, с. 9–10].

Никакой подозрительности у Леонтьева к принципу «народности», конечно, нет – он дает свое развернутое разъяснение этого принципа в работе «Грамотность и народность» (чисто уваровский сюжет), устанавливая разницу между народностью и простонародностью [24].

Связать этот парадокс можно и нужно с тем, что Леонтьев в своих размышлениях и особенно в «Византизме и славянстве» базируется не на первоначальной, общеизвестной версии триады, а на философии и историософской логике «Циркуляра» 1847 года, в которой Народность определяется и конкретизируется, приобретает конкретную форму, через Православие и Самодержавие.

> «Условия русского православного царизма были еще выгоднее. Перенесенный на русскую почву, византизм встретил не то, что он находил на берегах Средиземного моря, не племена, усталые от долгой образованности, не страны, стесненные у моря и открытые всяким враждебным набегам... Нет! Он нашел страну дикую, новую, едва доступную, обширную, он встретил народ простой, свежий, ничего почти не испытавший, простодушный, прямой в своих верованиях» [23, с. 99].

Здесь, как видим, православие, царизм (самодержавие) и народность в ее первобытном качестве встречаются в коротком пассаже вместе. Та особенность, которую, на взгляд Леонтьева, придает русская племенная основа византийскому содружеству православия и самодержавия, заключается в русском родовом начале, давшем византийской автократии плоть и кровь.

И вновь Леонтьев прибегает к триаде, чтобы объяснить феномен русского самодержавия, в котором «*соединились три могущественных начала: римский кесаризм, христианская дисциплина (учение покорности властям) и сосредоточившее всю силу свою на царском роде родовое начало*» [23, с. 103]. Это уже «*леонтьевская триада*», как бы развивающая уваровскую.

Уваровская триада объясняла компоновку русской народности, национальные начала. Леонтьевская объясняет компоновку русского самодержавия, государственные начала – самодержавие-автократия, православие-христианство и родовой монархизм – народность. Для законченности следовало бы ввести третью триаду, которая объясняла бы компоновку русского православия. Византийская ортодоксия, оформившаяся как раз к моменту появления на византийском горизонте Руси. Государственная мощь самодержавия, последовательно отождествляющая себя с православием, а православие с собой, что так ярко выразилось в неприятии Флорентийской унии и выработке идеи Третьего Рима. Русский народный порыв к святости, идея Святой Руси как совокупности русских святых, которая столь велика, что составляет в селениях райских целый народ, Небесную Русь.

Наметив новую триаду, Леонтьев возвращается в более привычную уваровскую логику, определяя историческую особенность и судьбу русскости через византизм.

> «Царизм наш, столь для нас плодотворный и спасительный, окреп под влиянием православия, под влиянием византийских идей, византийской культуры. Византийские идеи и чувства сплотили в одно тело полудикую Русь. Визан-

> тизм дал нам силу перенести татарский погром и долгое данничество. Византийский образ Спаса осенял на великокняжеском знамени верующие войска Дмитрия на том бранном поле, где мы впервые показали татарам, что Русь Московская уже не прежняя раздробленная, растерзанная Русь! Византизм дал нам всю силу нашу в борьбе с Польшей, со шведами, с Францией и с Турцией. Под его знаменем, если мы будем ему верны, мы, конечно, будем в силах выдержать натиск и целой интернациональной Европы, если бы она, разрушивши у себя все благородное, осмелилась когда-нибудь и нам предписать гниль и смрад своих новых законов о мелком земном всеблаженстве, о земной радикальной всепошлости!..
>
> Что, как не православие, скрепило нас с Малороссией? Остальное все у малороссов, в преданиях, в воспитании историческом, было вовсе иное, на Московию мало похожее. Что, как не сохранение в христианстве восточно-византийского оттенка народом Белой и Южной Руси дало нам ту вещественную силу и то внутреннее чувство права, которые решили в последний раз участь польского вопроса?..
>
> Византийский дух, византийские начала и влияния, как сложная ткань нервной системы, проникают насквозь весь великорусский общественный организм» [23, с. 104–105].

Логика «Византизма и славянства» следует за уваровским «Циркуляром» в привязке к тому же полемическому тезису – превосходство конкретного русского начала в его определенной византизмом исторической самореализации над неопределенным и размытым славянским. И это вносит в научную повестку вопрос о необходимости специального исследования происхождения взглядов Леонтьева. Подобное исследование с большой вероятностью покажет прямую идейную и даже текстуальную зависимость славяноборчества Леонтьева от славяноборчества Уварова.

Единственное, в чем, по всей видимости, Леонтьев последовал за славянофилами, а не за Уваровым, это в отрицательной оценке петровского западничества. В «Записках отшельника» он высказывает желание «содрать с себя ту европейскую маску, которую намазала на лицо наше железная рука Петра I» [25, с. 445]. Зато здесь совершенно уваровские образы лица и маски.

И тут же находим у Леонтьева еще одно уваровское сближение: «Франция – это Афины, Пруссия – Спарта, а Россия – Рим». Что ж, в таком случае Карфаген должен быть разрушен.

Вместо заключения: и все-таки третий национализм

Насколько все-таки уместно говорить о политике Николая I и министра Уварова как о русском национализме?

Сразу отбросим крайний гиперкритицизм, который отказывает в праве называться националистом даже М.Н. Каткову, поскольку он говорит о «национальной», а не о «националистической» политике. Националистической делает ту или иную политику не употребление соответствующего политологического ярлыка, а стоящий за нею смысл.

При характеристике же смысла приходится отметить еще раз разительное противоречие между зарубежными исследователями, которые ни секунды не сомневаются в существовании русской нации как осязаемой политической реальности, и частью российских авторов, у которых история русской нации превращается в «рассказ об ее отсутствии».

Хью Сетон-Уотсон вносит русских в весьма ограниченный перечень «старых непрерывных наций» Европы: «Старыми нациями Европы в 1789 году были на западе – англи-

чане, шотландцы, французы, голландцы, кастильцы и португальцы; на севере – датчане и шведы; и на востоке – венгры, поляки и русские» [82, p. 7]. Энтони Смит полагает, что ключевые составляющие нации – структуры, чувства и симпатии «можно проследить – источников, подтверждающих это достаточно – по крайней мере с позднего средневековья у большинства европейских наций – от Англии и Франции до Польши и России. Они свидетельствуют об определенной национальной преемственности» [83, с. 347]. Русские уверенно причисляются к кругу тех, по выражению Джона Армстронга, «*наций до национализма*», с которых и лепится портрет последующих «сконструированных» наций.

Западные исследователи как бы заранее возразили на тезис своих современных российских коллег, утверждающих, что нация – это гражданское равенство и политическое представительство, а стало быть о русской нации применительно к девятнадцатому и более ранним векам говорить не приходится. Тот факт, что значительная часть русских были крепостными крестьянами, не имевшими ни полных гражданских прав, ни институционального представительства, еще не исключает их из состава русской нации. «Мы можем ощущать принадлежность к сообществу, не имея возможности участвовать в работе его политических институтов» [83, с. 302]. Мало того, барщина и воинская повинность – то есть обязанности, а не права подданных – были формой их включенности в единое национальное пространство [83, с. 359].

Отрицать за русскими право называться нацией можно, на мой взгляд, либо в порядке интеллектуальной провокации, либо с чисто политической целью. Сложнее обстоит дело с национализмом. Даже представители модернистского конструктивизма не понимают тезис «национализм создает нацию, а не нация национализм» слишком уж буквально. Соответственно, нация вполне может существовать, при этом национализм может быть слабо выраженным, поздним или достаточно однобоким.

Каждый из исторически данных русских национализмов необходимо проверять по определенной схеме на соответствие или несоответствие критериям настоящего национализма. Мне таким критерием видится «основная доктрина», характерная для любого национализма, выделяемая Энтони Смитом, исследователем, равно далеким как от крайностей модернизма и конструктивизма в подходе к нациям, так и от наивных примордиалистских моделей. На взгляд Смита, инвариантная основная доктрина национализма такова:

> «1. Мир естественным образом разделен на нации, каждая из которых имеет свой особый характер и судьбу; 2. нация – это источник всей политической власти, и лояльность к ней превосходит все остальные виды лояльностей; 3. если люди хотят быть свободными и самореализоваться, они должны идентифицировать себя с нацией и осознавать свою принадлежность к ней; 4. глобальные свобода и мир – это следствие освобождения и стабильности всех наций; 5. нации по-настоящему могут стать свободными и выразить себя наиболее полно только в собственных суверенных государствах» [83, с. 342].

Попытаемся определить – присутствует ли эта основная доктрина в «третьем национализме» императора Николая I и графа Уварова?

Первый пункт: представление о нациях как о естественном гранении человечества и особом историческом характере и судьбе этих наций – стержень доктрины Уварова, безусловно поддержанной императором: «*Мы должны следовать за своими судьбами, свыше нам указанными, и в своем родном начале, в своей личности народной…*» [5, с. 347].

Столь же очевидно присутствие в уваровской доктрине и третьего пункта, коль скоро она сочетает представление о «просвещении для всех» по мере способностей каждого с представлением о сути этого просвещения как все большей самоидентификации

с нацией через историю, словесность, изучение языка. Задача уваровской своеобразной образовательной утопии в том, чтобы «*развить русскую национальность на истинных ее началах и тем поставить ее центром государственного быта и нравственной образованности*» [1, с. 167].

Не занимаясь формированием внешнеполитической доктрины, Уваров, по понятным причинам, не мог исчерпывающе высказаться на своем посту касательно четвертого пункта, глобальной политической архитектуры. О его видении, впрочем, достаточно свидетельствует намерение «идти… по крайней мере, рядом с прочими европейскими национальностями» [1, с. 236] – его образ Европы – это образ равных в развитии наций. О том же говорят уваровские брошюры эпохи торжества над Наполеоном, в частности «Император всероссийский и Бонапарте», где в финале рисуется утопическая картина расцвета Европейской Республики, состоящей из отдельных наций: Франция, Германия, Россия, Испания, Португалия, Англия [84].

Ту же националистическую картину политического космоса, стандартную для тогдашнего европейского национализма, мы находим и в переписке императора Николая I с канцлером Нессельроде (ведшейся по-французски), касающейся планов войны с Османской империей. В этой переписке император не только планировал добиться «освобождения <l`emancipacion> европейских христиан», инициировав восстание против османов порабощенных ими христианских народов, но и намеревался пригласить «все христианские нации <toutes les nations chretiennes> присоединиться к нам для достижения этой священной цели», которая выражается в желании «действительной независимости <l`independence> молдаво-валахов, сербов, болгар, босняков и греков с тем, чтобы каждый из этих народов <nations> вступил в обладание страною, в которой живет уже целые века, и управлялся человеком по собственному выбору, избранным им самим из среды своих же соотечественников <nationaux>» [85, с. 643].

В вышеприведенной программе императора мы находим и разъяснение его подхода к пятому пункту – истинное бытие наций должно состоять в обретении ими собственной суверенной государственности. Тот же самый взгляд мы обнаруживаем и в уваровском «Циркуляре», но в обратной перспективе – утрата национальной независимости ведет и к утрате нацией своего бытия.

> «Все славянские государства были в свое время славны и могущественны, и все, как бы по очереди, пали: Моравия, Болгария, Сербия, Померания, Чехия, Кроация, Славония, Далмация, Босния, Польша. Многие Славяне даже потеряли язык свой вместе с воспоминаниями о прежней самобытности: в Померании, Мекленбурге, Саксонии и в других странах Германии славянское наречие вытеснено немецким, в Морее – Греческим, в Венгрии – Мадьярским. Этим славянам, утратившим значение свое, свойственно с сожалением вспоминать славное прошедшее. Но Россия, по воле Провидения, выдержала удары судеб и приобрела самобытность, претерпев многоразличные, долговременные бедствия, внутренние и внешние, она одна возносится над могилами единородных государств и своею собственною личностью представляет беспримерную историю по необъятности владений, многочисленности обитателей и могуществу народного духа» [5, с. 347].

Казалось бы, наиболее проблематичным для русского самодержавия должен был быть второй пункт «основной доктрины» национализма: «нация – это источник всей политической власти, и лояльность к ней превосходит все остальные виды». Духовным источником самодержавной власти должен мыслиться Бог, а не нация, самодержавие покоится на собственной силе и именно лояльность к нему, а не к нации, должна быть поставлена во главу угла.

Однако эта трудность наличествует только в теории. На практике «третий русский национализм» и в лице Уварова, и в лице самого Николая I исходит из представления о первенстве лояльности к нации и, мало того, из представления о нации как об источнике политической власти. Именно этот взгляд последовательно прослеживается в документах николаевского царствования.

В манифестах Александра I народ Русский либо вовсе не является субъектом, либо не действует вместе с царем в неразрывном с ним единстве. В манифесте 6 июля 1812 года, где русский народ упомянут всего яснее, он упоминается вслед за дворянством и синодом. Здесь народ мыслится как третье сословие, в каждом гражданине коего царь надеется увидеть Минина.

Политическая доктрина Николая I, публично выражаемая в монарших манифестах, базируется на идее неразрывного союза царя и русского народа. Царь действует в постоянном неразрывном единстве с нацией, мыслимой как семья, как Святая Русь: «Не щадя Себя, будем, в неразрывном союзе с Святою Нашей Русью, защищать честь имени Русского» (18 марта 1848 года) [86]; «Да познает же все Христианство, что как мыслит Царь Русский, так мыслит, так дышит с ним вся русская семья, верный Богу и Единородному Сыну Его Искупителю Нашему Иисусу Христу Православный Русский народ» (собственноручный манифест 11 апреля 1854 года) [87].

Это национализм не республиканского, а иерархического характера. Однако для политического сознания императора Николая I противопоставление нации и монарха безусловно неприемлемо. Очень характерны записки, составленные им по случаю революции в Пруссии как проект контрреволюционного выступления. Король для него и есть истинный представитель нации – прусской нации (в противоположность рассматриваемой как искусственная «германской»). «Несколько подлецов», затеявших мятеж, даже весь восставший Берлин для него ничто по сравнению с национальным целым.

«Берлин, изменнически восставший против своего короля, имеет ли право предписывать законы всему королевству? Подчиниться воле толпы, овладевшей властью, не значит ли это предоставить ей странную силу? И если правительство настолько слабо, что не может найти средство восторжествовать над нею, следует ли из этого, что вся монархия должна ей подчиниться?» [88]. Николай I прямо отвергает суверенитет восставшего народа, однако не во имя богоустановленной власти и королевской прерогативы, а во имя… народа не восставшего, который и есть истинная нация.

Он рекомендует Прусскому королю сообщить народу, что конституция была дарована лишь из жалости к льющейся народной крови и в расчете на то, «что неодобрения не замедлят выразиться со стороны большинства народа, как вещь противоречащая духу народных преданий, воспоминаниям о монархии и к тому же в совершенной противоположности с интересами страны» [88].

Характерна постоянная апелляция Николая I к крови, практически мистика крови, которой пронизаны его манифесты. Казнь декабристов он рассматривает как «жертву очистительную за кровь Русскую, за веру, Царя и Отечество, на сем самом месте пролиянную» (Манифест 13 июля 1826 года) [20]. В собственноручно написанном проекте воззвания Паскевича к христианским народам Османской империи на переход турецкой границы сообщается, что «не раз лилась уже за вас Русская кровь и, с благословением Божьим, лилась не даром. Ею орошены права, приобретенные теми из вас, которые менее других стеснены в своем быте» [89]. Эта мистика регулярно прорывается и в документах Уварова [1, с. 180, 182; 2, с. 104; 5, с. 348].

Национализм Николая I носит, конечно, не зоологический, он носит семейный, родовой характер. Нация для него семья, спаянная высшим кровным родством, превосходящим

всякое другое родство и для самого императора, и для всех подданных. Именно поэтому он полагается на «природную русскость» как на фактор высшей лояльности. Характерен в этом смысле данный в манифесте 13 июля 1826 года образ расправы над декабристским заговором как «дела всей России».

> «Не в свойствах, не во нравах Русских был сей умысел… Мы видели при сем самом случае новые опыты приверженности; видели, как отцы не щадили преступных детей своих, родственники отвергали и приводили к Суду подозреваемых; видели все состояния соединившимися в одной мысли, в одном желании: суда и казни преступникам… Единодушным соединением всех верных сынов Отечества, в течение краткого времени укрощено зло, в других нравах долго неукротимое» [20].

Именно из этого всенародного подавления мятежа вытекает взыскание с дворянства «подвига к усовершению отечественного, природного, нечужеземного воспитания», которое ляжет в основание уваровской образовательной программы, осуществляемой «в государстве, где любовь к Монархам и преданность к Престолу основаны на природных свойствах народа».

Николай I видит в нации носительницу консервативного суверенитета, которая сопрягается в семейном союзе с монархом и только через такое совместное действие и можно «защитить честь имени Русского». Его двукратные визиты в Москву, состоявшиеся после революционных взрывов в Европе, – в марте-апреле 1849 и августе 1851 года – сопровождаются поклоном народу с Красного крыльца, обозначают ритуал обновления того права представительства, которое самодержавие обретает через непосредственное единение с нацией [70, с. 516–527]. Перед нами консервативная, самодержавная интерпретация нации-суверена, но сведение понятия о нации-суверене исключительно к республиканской интерпретации было бы заведомой подменой.

Нам могут возразить, что эта консервативная нация Николая I является «русской» только по имени, не этнической. Этнический же аспект национального самосознания императора, якобы, был нерусским и антирусским, немецким, в доказательство чего можно привести его характерную фразу об остзейцах: «русские дворяне служат государству, немецкие – нам».

Однако Николай I ничего такого не говорил. Невозможно найти источники этого изречения ранее пропагандистских брошюр совершившего прыжок из кадетов в марксисты А.Е. Преснякова [90, с. 9; 91, с. 26], изданных в ту эпоху, когда в борьбе с династией Романовых не брезговали и сочинением «Дневников Вырубовой». Никакие «концы» этого исторического анекдота от Преснякова в опубликованных исторических источниках не обнаруживаются, никто из исследователей, занимавшихся николаевской эпохой, не приводил эту фразу с другой отсылкой, нежели отсылка к работам Преснякова. А потому этот апокриф, возникший в контексте подробного обсуждения немецких связей династии в главе с выразительным названием «Военно-династическая диктатура», приходится числить по тому же разряду, что и «шпион полковник Мясоедов», «провод из спальни царицы в Германский генеральный штаб» и прочие пропагандистские инструменты ломки русской монархической государственности, как минимум пока не будет доказано обратное.

При поиске источника этой псевдоцитаты, вполне вероятно, прав С.М. Сергеев, без всякой критики сославшийся на пресняковский анекдот, а затем подкрепивший его следующим пассажем К.Н. Леонтьева:

> «Первые провозвестники собственно национального дела в России в обоих смыслах (культурном и племенном), специалисты этого вопроса, не могли поэтому считать политику этого великого Монарха национальной. Они,

> славянофилы, сверх того, жаловались неоднократно на то, что при Николае Павловиче правительство наше и во внешних делах слишком потворствовало немцам, и в самой России было к ним "слишком" благосклонно. И.С. Аксаков в 57-м году, при мне, в крымском имении покойного Осипа Николаевича Шатилова, говорил так: "Остзейские бароны и другие наши немцы внушали покойному Государю следующую мысль. Для коренных русских нация русская, русский народ дороже, чем Вы. Нам же нет дела до русской нации; мы знаем только Вас, Государя – вообще. Мы не русской нации "хотим" служить; мы своему Государю хотим быть верными. Но так как наш Государь есть в то же время и Российский Император, то, служа Вам верой и правдой, мы служим России". Аксаков находил, что эта постановка вопроса ложная и вредная для России; ибо русский народ доказал на деле не раз свою "потребность" в Самодержавии и без всяких немцев. Привожу я здесь этот исторический разговор не для того, чтобы разбирать, чей взгляд правильнее, взгляд Аксакова или взгляд остзейских баронов, а только в виде "живого" примера тому, как смотрели славянофилы на дух правления Императора Николая. Они не находили его национальным, хотя и чрезвычайно чтили в Императоре то, что он за границей "держал знамя России грозно"» [92, с. 604].

Однако взгляд остзейцев на самих себя и их попытка через лояльность монархии уйти от проблемы лояльности к русской нации, это совсем не взгляд императора Николая I на остзейцев и не его отношение к русским и немцам. Последнее, по всей видимости, гораздо точнее было высказано императором в споре с Ю.Ф. Самариным о его «Письмах из Риги» и остзейцах, записанном славянофилом по горячим следам.

«Вы очевидно возбуждали вражду Немцев против Русских, вы ссорили их тогда, когда следовало их сближать; вы укоряете целые сословия, которые служили верно; начиная с Палена я мог бы высчитать до 150 генералов». Царь говорил не о том, что немцы служат лично ему, а, напротив, защищал немцев от подозрения, что те служат России хуже, чем русские. Дальше в монологе императора вполне ясно обозначено его собственное воззрение на службу – он требует от Самарина в дальнейшем служить, «как Вы присягали, верою и правдою, а не нападать на правительство. Мы все так должны служить; я сам служу не себе, а вам всем, и я обязан наводить заблуждающихся на путь истины, но я никому не позволю забываться; я не должен этого по той самой присяге, которой и я верен» [93, с. XCIII]. Разумеется, человек, который говорил «я сам служу не себе», не мог поставить немцам в заслугу то, что они «служат не государству, а нам».

Слово «мы» в смысле «Романовы» звучит у императора в этом разговоре совсем в ином контексте – сама мысль об отнесении его и его династии к немцам звучит для него прямо оскорбительно: «Вы хотели сказать, что со времени Императора Петра I и до меня мы все окружены Немцами и потому сами Немцы».

«В 1875 г. Ю.Ф. добавил на словах, что Государь при этом высказал, что его книга ведет к худшему, чем 14 декабря, так как она стремится подорвать доверие к правительству и связь его с народом, обвиняя правительство в том, что оно н*ациональные интересы русского народа приносит в жертву немцам* [выделено мной – *Е.Х.*]» – пишет Дмитрий Фёдорович Самарин [93, с. XCII].

Присмотримся внимательнее к логике императора. Книга Самарина вредна тем, что подрывает связь правительства с народом, возводя ложное обвинение в том, что правительство приносит национальные интересы русского народа в жертву немцам. Такое обвинение ведет к худшему, чем декабристское восстание, так как выступление против

правительства, обвиненного в национальной измене, будет не делом кучки заговорщиков, а порывом целого народа.

Этот логический ход с определенностью приводит нас к своему источнику – убеждению Николая I, что именно национальные интересы русского народа являются подлинным источником политической легитимности для самодержавной монархии в России. Такое убеждение и составляет сердцевину второго пункта «основной доктрины национализма» по Энтони Смиту, и рассматривается как признак «национализма как он есть» модернистскими теориями национализма.

Николай I разговаривал с Самариным как русский националист с русский националистом – националист, облеченный всею полнотой власти и вынужденный соразмерять приказания с реальной исполнимостью, с националистом, смеющим находится в кругу не связанных административной процедурой политических идей (именно в этом и состоял главный царский упрек молодому чиновнику, что, будучи служащим, он ведет себя как публицист). Однако разговаривают они, по существу, как единомышленники.

И.С. Аксаков после своего ареста и допроса писал 4 апреля 1849 года, что «эта история, пополнив собою историю Самарина, довершила убеждение в правосудии и *русских свойствах* Государя» [94, с. 487][1]. «Не может подлежать сомнению, что мысли, высказанные в Рижских письмах, были в сущности сочувственны Государю… – отмечает Д.Ф. Самарин. – В своем взгляде на остзейский вопрос… Государь Николай Павлович опередил не только Петербургское общество, но и то, что называется у нас высшим правительством, за исключением разве немногих лиц» [93, с. XCIX–C].

Среди этих немногих лиц был, в частности, шеф III Отделения граф А.Ф. Орлов, уверявший славянофила, что убеждал императора в правоте его суждений о том, что «Остзейцы, в противность нам, Русским, постоянно отделяют личность Государя от отечества» [93, с. CXI]. Иными словами, и в «русской партии» бюрократии, и в славянофильских кругах противопоставление монарха и государства рассматривалось не как воззрение императора, а напротив – как злокозненное остзейское мнение.

О том, на чьей стороне был в этой борьбе С.С. Уваров и как воспринималась его программа, говорит следующий факт. В «Письмах из Риги», написанных в 1848 году, Самарин дает формулировки, перефразирующие (впрочем, со значительным полемическим усилением) «Отчет» Уварова 1843 года.

> Уваров писал:
>
> «Истинное и главное заблуждение немецких губерний состоит в том, что они до сих пор не постигают, «что Россия возмужала»; они видели в пеленах наш государственный быт; весьма часто были призываны в пестуны к его колыбели и в свидетели всех недоумений, всех ошибок, всех колебаний нашего внутреннего образования… Они упорно заключают, что Россия – тот же младенец, к охранению коего и они платили дань усердия, не всегда беспристрастного, не всегда бескорыстного. Словом, они не постигают России Николая I… С одной стороны, Германия изменилась, с другой – Россия возмужала. Тщетно дух остзейских губерний считает себя представителем немецкого просвещения в России; мы это просвещение понимаем и ценим вернее их» [1, с. 180–181].

Самарин пятью годами позже дает ту же мысль со славянофильским политическим доворотом – вместо законченной школы вопрос встает о цивилизационной кабале:

> «В настоящее время, когда вся Европа уже признала нас совершеннолетни-

[1] Даже если допустить необоснованное сомнение, что эта фраза предназначалась для глаз III Отделения, то сам за себя говорит тот факт, что Аксаков предполагал бы польстить императору, сказав о его «русских свойствах». Но всего вернее, что эти слова выражали искреннее убеждение Аксакова на тот момент.

> ми, остзейцы продолжают смотреть на нас глазами недальновидных современников Петра I. Они понимают реформу его следующим образом: в народе, не заключавшем в себе ни одного задатка будущности и развития, явился человек, который понял его ничтожество и отдал его на выучку немцам, как лучшим представителям человеческих начал. Он завещал России не быть Россиею, а претвориться по возможности в Германию: ибо Россия и невежество, Германия и просвещение – слова тождественные. Таким образом в понятиях остзейцев дело шло совсем не о школе, сквозь которую мы должны были пройти, а о вечной кабале» [34 с. 51].

Мы видим в этой перекличке как общие мотивы, происходящие из вероятного знакомства Самарина с текстом уваровского отчета, так и уловленную нами прежде разницу уваровского цивилизаторского и славянофильского цивилизационного подходов. В отношении к остзейскому вопросу и министр и славянофил, несомненно, находятся на одной волне.

К.Н. Леонтьев, довольно верно передав воззрение Аксакова (равно как и Самарина, и графа Орлова, и многих других сторонников русского направления) на остзейцев, совершенно необоснованно перенес этот взгляд на «дух правления» Николая I. Того самого правления, при котором императором и его министром просвещения был впервые поставлен вопрос о русификации края. У славянофилов, разумеется, такой оценки этого духа правления быть не могло, поскольку они сами были порождением этого духа. Да, они были моложе и шли дальше и смелее по дороге «русификации русских», чем царь и его министр, да, они решительнее требовали этой русификации и для окраин империи. Но это было расхождение понятия о темпах, а не о направлении движения.

Русскими консерваторами прошлого поворотное значение николаевской эпохи в формировании русской национальной идентичности признавалось безоговорочно. Характерен в этом смысле панегирик Николаю I консервативного публициста М.В. Юзефовича, который выразил «дух правления» императора совсем иначе, чем Леонтьев:

> «Воздадим ему пока должную благодарность за возможное, им сделанное для великого вопроса нашей народности, за важную заслугу начатого им поворота, которого не остановит уже никакая противоборствующая сила: нашей крепкой несокрушимой народности, раз вызванной к самопознанию, не одолеют уже никакие чуждые ей убеждения, и ежели у нас еще недавно видели русских людей, которые после падения Севастополя говорили, что они плакали при известии об этом событии и чувствовали себя способными умереть за Россию, хотя и не желали ей победы, то на окопах того же Севастополя видели в первый раз и выпущенных на волю каторжников, которые геройски защищали свою тюрьму и умирали за нее, говоря: хоть тюрьма, да наша!» [95, с. 112].

Можно сколько угодно говорить о фасадности николаевского национализма, об официозности уваровской триады, о том, что они были обращены не к настоящей, но к «служилой» нации (та ли нация настоящая, которая, обладая всеми демократическими институтами, неспособна, к примеру, остановить свое миграционное замещение?), одно несомненно – эта картина единения прогрессивных «пораженцев» и самоотверженных каторжников под Севастополем и есть то состояние, которое именуется нацией в самом строгом смысле слова.

Литература

1. *Уваров С.С.* Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833–1843 / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 133–236.
2. *Уваров С.С.* О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством народного просвещения / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 102–108.
3. *Уваров С.С.* Обозрение управления Министерством народного просвещения. 1849 / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 108–112.
4. *Уваров С.С.* О средствах сделать народное воспитание специальным, не отступая от общих видов оного / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 113–122.
5. *Уваров С.С.* <Циркулярное предложение попечителю Московского учебного округа> / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 344–350.
6. *Уваров С.С.* Доклад императору Николаю I о славянстве / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 76–86.
7. *Уваров С.С.* О преподавании истории относительно к народному воспитанию / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 363–375.
8. *Уваров С.С.* Речь президента Императорской академии наук, попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, в торжественном собрании Главного педагогического института 22 марта 1818 года / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 287–317.
9. *Уваров С.С.* О системе чинов в России / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 86–93.
10. *Уваров С.С.* Общий взгляд на философию словесности / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 351–363.
11. *Уваров С.С.* Совершенствуется ли достоверность историческая? / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 375–387.
12. *Уваров С.С.* Штейн и Поццо ди Борго / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 387–402.
13. *Уваров С.С.* О народонаселении в России / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 122–132.
14. *Уваров С.С.* Отчет по обозрению Московского университета / С.С. Уваров // Государственные основы. М. : Институт русской цивилизации, 2014. С. 317–344.
15. *Уваров С.С.* [Письмо Николаю I] // Новое литературное обозрение. 1997. № 26. С. 92–100.
16. Обозрение истекшего пятилетия // Журнал Министерства народного просвещения. 1839. № 1. С. 1–36.
17. Четыре служебных документа министра С.С. Уварова // *Шевченко М.М.* Конец одного Величия: власть, образование и печатное слово в Императорской России на пороге Освободительных реформ. М., 2003. С. 227–254.
18. *Уваров С.С.* Избранные труды / сост., авт. вступ. ст., коммент. В.С. Парсамов, С.В. Удалов; пер. В.С. Парсамова. М., 2010.
19. Доклады министра народного просвещения С.С. Уварова императору Николаю I / публ. М.М. Шевченко // Река времен. М., 1995. Вып. 1. С. 68–78.
20. Высочайший манифест 13 июля 1826 // *Шильдер Н.К.* Император Николай Первый, его жизнь и царствование. СПб.: Изданіе А.С. Суворина, 1903. Т. 1. С. 705–706.
21. *Карамзин Н.М.* Мнение русского гражданина / Н.М. Карамзин // О древней и новой России. М. : Жизнь и мысль, 2002.
22. *Катков М.Н.* Книга г. Самарина «Окраины России» / М.Н. Катков // Собр. соч.: в 6 т. Т. 4: Философские чтения: Статьи, трактаты, полемика. СПб.: Росток, 2011. С. 509–530.
23. *Леонтьев К.Н.* Византизм и славянство / К.Н. Леонтьев // Восток, Россия и Славянство Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872-1891). М. : Республика, 1996. С. 94–156.
24. *Леонтьев К.Н.* Грамотность и народность / К.Н. Леонтьев // Поздняя осень России. М., 2000. С. 157–196.
25. *Леонтьев К.Н.* Записки отшельника (1887 г.) / К.Н. Леонтьев // Восток, Россия и Славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872–1891). М. : Республика, 1996. С. 432–457.
26. *Никитенко А.В.* Записки и дневник: в 3 т. М., 2004. Т. 1.
27. *Пестель П.И.* Русская Правда // Восстание декабристов. Документы. Т. VII: «Русская Правда» П.И. Пестеля и сочинения, ей предшествующие. М. : Госполитиздат, 1958.
28. *Погодин М.П.* Взгляд на русскую историю / М.П. Погодин // Историко-критические отрывки. Книга первая. М. : Типогр. Августа Семена, 1846. С. 1–18.
29. *Погодин М.П.* Петр Великий / М.П. Погодин // Историко-критические отрывки. Книга первая. М. : Типогр. Августа Семена, 1846. С. 333–364.
30. *Погодин М.П.* К вопросу о славянофилах // Гражданин: Газета-журнал политический и литературный. СПб., 1873. 26 марта. С. 415–420.
31. *Погодин М.П.* О книге господина Шедо-Ферротти / М.П. Погодин // Вечное начало. Русский дух. М. : Институт русской цивилизации, 2011. С. 646–655.
32. *Пушкин А.С.* О народном воспитании / А.С. Пушкин // Собр. соч.: в 10 т. М. : ГИХЛ,

1959–1962. Т. 7: История Пугачева, Исторические статьи и материалы, Воспоминания и дневники. С. 355–360.

33. *Самарин Ю.Ф.* О двух началах нашей народности, православии и самодержавии. Письмо к члену Камеры депутатов г. Могену / Ю.Ф. Самарин // Собр. соч. : в 5 т. Т. 1: Литература и история. СПб. : Росток, 2013. С. 49–57.

34. *Самарин Ю.Ф.* Письма из Риги. Май-июнь 1848 / Ю.Ф. Самарин // Собр. соч. : в 5 т. Т. 3: Русское самосознание. СПб.: Росток, 2016. С. 22–151.

35. *Самарин Ю.Ф.* Письма К.С. Аксакову / Ю.Ф. Самарин // Собр. соч.: в 5 т. Т. 3: Русское самосознание. СПб. : Росток, 2016. С. 295.

36. *Хомяков А.С.* Несколько слов о философическом письме (напечатанном в 15 книжке «Телескопа») (Письмо к г-же Н.) / А.С. Хомяков // Сочинения : в 2 т. Т. 1: Работы по историософии. М. : Московский философский фонд; Изд-во «Медиум», 1994. С. 449–455.

37. *Хомяков А.С.* О старом и новом / А.С. Хомяков // Сочинения : в 2 т. Т. 1: Работы по историософии. М. : Московский философский фонд; Изд-во «Медиум», 1994. С. 456–470.

38. *Шевырев С.П.* Из писем С.С. Уварову // Шеллинг. Pro et contra. СПб. : РХГА, 2001.

39. А*ндерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М. : КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2001.

40. *Бадалян Д.А.* Леонтьев и «слишком либеральные» славянофилы // Российская история. 2014. № 2. С. 19–23.

41. *Бендин А.Ю.* 1863 г. в судьбах старообрядцев Северо-Западного края Российской империи // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «История России». 2011. № 1. С. 77–92.

42. *Бендин А.Ю.* Михаил Муравьев-Виленский: усмиритель и реформатор Северо-Западного края Российской империи. М. : ММО «CISEMO»; Книжный мир, 2017.

43. *Велижев М.* «Цивилизация» и «средний класс» // Новое литературное обозрение. 2010. № 104. С. 29–59.

44. *Виттекер Ц.Х.* Граф Сергей Семенович Уваров и его время. СПб., 1999.

45. *Гегель.* Философия истории / Гегель // Сочинения. Т. 7. М.; Л. : Соцэкгиз, 1935.

46. *Геллнер Э.* Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Нации и национализм. М. : Праксис, 2002. С. 146–201.

47. *Гринфельд Л.* Национализм. Пять путей к современности. М. : ПЕР СЭ, 2008.

48. *Долбилов М.* Русский край, чужая вера: этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М., 2010.

49. *Дурылин С.* Г-жа де Сталь и ее русские отношения // Литературное наследство. М., 1939. Т. 33–34. С. 215–330.

50. *Жуковская Т.Н.* С.С. Уваров и Кирилло-Мефодиевское общество, или кризис «официальной народности» // Отечественная история и историческая мысль в России XIX–XX веков: Сб. статей к 75-летию Алексея Николаевича Цамутали. СПб.: Нестор-История, 2006. С. 196–207.

51. *Зеленина Я.Э.* Коллекция графа А.С. Уварова как материал для его работы «Русская символика» // Уваровские чтения-VI. Граница и пограничье в истории и культуре: материалы научной конференции, Муром, 16–18 мая 2005 г. Муром, 2008.

52. *Зорин А.Л.* Кормя двуглавого орла…: Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М. : Новое литературное обозрение, 2004.

53. *Зорин А.Л.* Идеология «Православия – Самодержавия – Народности» и ее немецкие источники // В раздумьях о России (XIX в.) / отв. ред., сост. и авт. вступ. ст. Е.Л. Рудницкая. М. : Археогр. центр, 1996. С. 105–128.

54. *Иванов О.А.* Идеология «православие, самодержавие, народность» С.С. Уварова // Консерватизм в России и мире: прошлое и настоящее: сб. науч. трудов / под ред. А.Ю. Минакова. Воронеж, 2001. Вып. 1. С. 92–110.

55. *Комзолова А.А.* Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ. М. : Наука, 2005.

56. *Майофис М.* Воззвание к Европе: Литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815–1818 годов. М. : Новое литературное обозрение, 2008.

57. *Мещерякова А.О.* Создатель русской триады: интеллектуальная биография С.С. Уварова // Вопросы истории консерватизма : Альманах. 2015. № 1. С. 132–143.

58. *Миллер А.И.* Триада графа С.С. Уварова и национализм / А.И. Миллер // Империя Романовых и национализм: эссе по методологии исторического исследования. М., 2010 (см. также: https://polit.ru/article/2007/04/11/uvarov/).

59. *Миллер А.И.* Нация, или Могущество мифа. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2016.

60. *Минаков А.Ю.* Русский консерватизм в первой четверти XIX века. Воронеж : Изд-во Воронежского государственного университета, 2011.

61. *Нольде Б.Э.* Юрий Самарин и его время. Paris : YMCA-Press, 1978.

62. *Пайпс Р.* Сергей Семенович Уваров : жизнеописание. М., 2013. 81 с.

63. *Парсамов В.С., Удалов С.В.* Сергей Семенович Уваров // *Уваров С.С.* Избранные труды / сост., авт. вступ. ст., коммент. В.С. Парсамов, С.В. Удалов; пер. В.С. Парсамова. М., 2010. С. 5–54.

64. Патриотизм и национализм как факторы российской истории (конец XVIII в. – 1991 г.) : Коллективная монография. М. : Политическая энциклопедия, 2015.

65. *Сергеев С.М.* Русская нация, или Рассказ об истории ее отсутствия. М. : Центрполиграф, 2017.

66. *Сергеев С.М.* Творческий традиционализм Константина Леонтьева. Статья первая [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://portal-slovo.ru/history/41602.php

67. *Степанов М.* Жозеф де Местр в России // Литературное наследство. М., 1937. Т. 29–30. С. 577–726.

68. *Тесля А.А.* Первый русский национализм… и другие. М. : Европа, 2014.

69. *Удалов С.В.* «Православие, самодержавие, народность»: идеологема николаевского царствования // Вопросы истории консерватизма: Альманах. 2015. № 1. С. 144–160.

70. *Уортман Р.С.* Сценарии власти : Мифы и церемонии русской монархии. Т. 1: От Петра Великого до смерти Николая I. М. : ОГИ, 2004.

71. *Федосова Э.П.* Граф М.Н. Муравьев-Виленский (1796–1866): Жизнь на службе империи. М. : Институт российской истории РАН, 2015.

72. *Фетисенко О.Л.* «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики (Идеи русского консерватизма в литературно-художественных и публицистических практиках второй половины XIX – первой четверти XX века). СПб.: Пушкинский дом, 2012.

73. *Холмогоров Е.С.* В поисках утраченного Царьграда. Цымбурский и Данилевский // Тетради по консерватизму. 2015. № 1. С. 45–64.

74. *Холмогоров Е.С.* Поминки по полупросвещению. «Вехи», «Из под глыб» и идеология Солженицына // Тетради по консерватизму 2017. № 4. С. 45–64.

75. *Шевченко М.М.* Сергей Семенович Уваров // Российские консерваторы. М., 1997. С. 95–136.

76. *Шевченко М.М.* Понятие «теория официальной народности» и изучение внутренней политики императора Николая I // Вестник Московского университета. Сер. 8: История. 2002. № 4. С. 89–104.

77. *Шевченко М.М.* Уваров С.С. // Русский консерватизм середины XVIII – начала XX века : энциклопедия. М., 2010. С. 529–534.

78. *Miller A.I.* The Romanov Empire and the Russian Nation // Nationalizing Empires / ed. by S. Berger, A. Miller. Budapest : CEU Press, 2014.

79. *Riasanovsky N.V.* Nicholas I and official nationality in Russia, 1825–1855. Berkeley: University of California Press, 1959.

80. *Smith A.D.* The cultural foundations of nations: hierarchy, covenant, and republic. Malden; Oxford; Carlton: Blackwell Publishing, 2008 (см. также русский перевод: *Смит, Ентони Д.* Культурні основи націй. Ієрархія, заповіт і республіка. Наукове видання. Киев: Темпора, 2009).

81. *Устрялов Н.Г.* Начертание русской истории для средних учебных заведений. СПб., 1842.

82. S*eton-Watson, Hugh.* Nations and States. London: Methuen, 1977.

83. *Смит, Энтони.* Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма. М. : Праксис, 2004.

84. *Уваров С.С.* Император Всероссийский и Бонапарте / С.С. Уваров // Избранные труды. М., 2010.

85. *Шильдер Н.К.* Император Николай Первый, его жизнь и царствование. Т. 2. СПб. : Изданіе А.С. Суворина, 1903.

86. Высочайший манифест 18 марта 1848 // Николай I и его время : в 2 т. М. : Олма-Пресс, 2000.

87. Манифест 11 апреля 1854 // Николай I и его время : в 2 т. М. : Олма-Пресс, 2000.

88. Записки имп. Николая Павловича о Прусских делах // Николай I и его время: в 2 т. М. : Олма-Пресс, 2000.

89. Воззвание 7 апреля 1854 // Николай I и его время : в 2 т. М. : Олма-Пресс, 2000.

90. *Пресняков А.Е.* Апогей Самодержавия. Николай I. Л. : Брокгауз-Ефрон, 1925.

91. *Пресняков А.Е.* 14 декабря 1825 года. М. ; Л., 1926.

92. *Леонтьев К.Н.* Культурный идеал и племенная политика / К.Н. Леонтьев // Восток, Россия и Славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872–1891). М. : Республика, 1996. С. 600–625.

93. *Самарин Дмитрий.* Предисловие // Сочинения Ю.Ф. Самарина. Т. 7: Письма из Риги и История Риги. М. : Типогр. А.И. Мамонтова, 1889.

94. *Аксаков И.С.* Письма к родным. 1844–1849. М. : Наука, 1988.

95. *Котов А.Э.* Михаил Юзефович – идеолог русского политического предмодерна // Вопросы истории. 2018. № 6. С. 105–121.

Аннотация. В статье рассматриваются воззрения графа С.С. Уварова в контексте «третьего русского национализма» – волны националистической идеологии и политики в России, связанной с деятельностью императора Николая I. Политика Уварова во главе Министерства народного просвещения, определяемая знаменитой «триадой», показывается как классическая форма националистического стандартизированного образования, нацеленного на унификацию школы, формирование национальных образовательных кадров, русификацию окраин и подъем национального сознания у представителей коренной национальности Империи. Относительный неуспех политики русификации окраин связан с тем, что она приходила в противоречие с политикой «русификации русских» – формирование восприятия России как самобытной цивилизации противоречило предназначавшейся Уваровым для нее роли в качестве носительницы европейской цивилизации для окраин. Отмечается, что под влиянием этого противоречия в трактовке триады самим Уваровым произошли изменения – в 1840-х годах он в посвященном славянской проблеме «Циркуляре» переходит к гегельянскому истолкованию русской народности как успешного исторического дела, а православия и самодержавия как характерных черт, определяющих эту народность. Такая трактовка окажет заметное влияние на формирование воззрений Константина Леонтьева. Однако приписанное Леонтьевым славянофилам противоречие «духу правления» Николая I и политике Уварова было в действительности гораздо менее острым. Для политической доктрины императора и министра был характерен именно национализм в самом строгом смысле слова – включая признание нации высшим источником политической легитимности. Расхождения между императором и славянофилами касались не направления, а темпов политических изменений.

Ключевые слова: Николай I, Уваров, уваровская триада, православие, самодержавие, народность, славянофилы, русификация, народное образование, цивилизация, Константин Леонтьев, Юрий Самарин, Иван Аксаков, остзейцы, нация, национализм, панславизм.

Yegor Kholmogorov, Essayist. . E-mail: holmogorow@yandex.ru

Russification of the Russians. Count Uvarov and the Third Russian Nationalism

Abstract. The article is devoted to the study of Count S.S. Uvarov's views in the context of the "third Russian nationalism" – the trend in nationalist ideology and politics in Russia closely connected with the reign and activities of the Emperor Nicolas I. The policy of Uvarov as the Minister of Public Education was determined by the famous "triad", and is described in the article as the classic form of nationalistic standardized education aiming at the unification of school, forming of national specialists in education, Russification of the population in the remote areas of the country and the rise of national awareness of the indigenous population of the Empire. The relative failure in the Russification of the country remote areas was accounted for by its contradictions with the policy of the "Russification of the Russians", as the forming of the perception of Russia as a specific civilization with its own identity was contrary to Uvarov's objective of presenting it as European civilization transmitter for the remote areas of the Empire. The author points out that under the influence of those contradictions there occurred changes in Uvarov's interpretation his triad when in his work on the Slavic problems "The Circular" in the 1840-ies he switched to Hegelian interpretation of Russian Nationality as successful historical cause, while Orthodoxy and Autocracy he described as characteristic features determining Nationality. That interpretation later had very important influence on the views of Konstantin Leontiev. However, the opposition of Slavophiles to the "spirit of the reign" of Nicolas I and the Uvarov's policy was far less acute than described by Leontiev. The political doctrines of the Emperor and his minister were characterized by nationalism in its strict sense including the recognition of nation as the main source of political legitimacy. The differences in the views of the Slavophiles and the Emperor dealt not with the general direction but with the momentum of political changes.

Keywords: Nicolas I, Uvarov, Uvarov's Trisd, Orthodoxy, Autocracy, Nationality, Slavophiles, Russification, Public Education, Civilization, Konstantin Leontiev, Yuri Samarin, Ivan Aksakov, Baltic Germans, Nation, Nationalism, Pan-Slavism.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-1-124-142

игумен Виталий (Уткин)

Мифология истории, народность и православие в концепции графа С.С. Уварова (к разработке проблемы)

Проблемы истории русской консервативной мысли сегодня весьма актуальны. Ее наследие является важным подспорьем при попытках осмыслить современное положение и дальнейшие пути России.

Один из видных современных отечественных консервативных мыслителей А.В. Щипков в этой связи отмечает в «российской и глобальной повестке дня для консерватизма» «поиск новых форм для старой идентичности» [37, с. 88]. По его словам, консерватизм является наиболее универсальной и интегральной идеологией, которая «не ставит часть выше целого, какую-либо идею – над всем интеллектуальным опытом нации» [37, с. 88]. Он нужен нам, чтобы «защищать свои ценности, свой путь и свою историческую миссию», и только с таким самостоятельным подходом на самом деле считаются в мире [37, с. 88].

Однако практические способы подобного поиска на протяжении долгого времени вызывают многочисленные дискуссии. В их центре зачастую оказываются наиболее значимые консерваторы прошлого. Среди них особое место, конечно же, занимает фигура графа Сергея Семеновича Уварова (1786–1855), с 1818 года и до самой смерти бывшего президентом Императорской Академии наук и шестнадцать лет (1833–1849) – министром народного просвещения.

Целью настоящей статьи является попытка оценить романтическо-мифологические методы конструирования С.С. Уваровым картин прошлого, а также реалии практической политики в вопросах соотношения первой и третьей составляющих его известной триады «Православие, самодержавие, народность». Автор исходит из взгляда на уваровское мировоззрение как прогрессистское и модернистское. Для Сергея Семеновича Уварова средством такой модернизации и прогрессизма оказывается даже православие, точнее то, что он под последним понимает.

С.С. Уваров – блестяще и европейски образованный представитель элиты своего времени, один из учредителей литературного общества «Арзамас» [11, с. 83], почетный член Института Франции за работу «Опыт об элевсинских таинствах» [11, с. 84], учредитель «Журнала Министерства народного просвещения» [11, с. 85], более восьмидесяти лет являвшегося главным научно-педагогическим периодическим изданием России.

Он европеец не только из-за фактически родного с детства французского языка [11, с. 83]. И не только потому, что был близко знаком с Гёте, братьями Гумбольдтами, Ж. де Сталь и другими представителями ученого и литературного мира Европы [11, с. 83]. Уваров – европеец именно в силу своего идейного генезиса.

игумен Виталий (Уткин Игорь Николаевич), секретарь Архиерейского совета Ивановской митрополии, секретарь Ученого совета Иваново-Вознесенской духовной семинарии, руководитель Миссионерского отдела Иваново-Вознесенской епархии, аспирант Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени свв. равноапп. Кирилла и Мефодия. E-mail: inok_vitl@mail.ru

Наиболее известный зарубежный исследователь жизни и мировоззрения С.С. Уварова Цинтия Х. Виттекер так характеризует его: «Глубоко проникнутый идеями, владевшими Европой и Россией на рубеже столетий, Уваров в 1810-е годы разработал универсальную теорию исторического процесса, которая до конца дней служила ему путеводной нитью. По этой теории, история демонстрировала «естественный ход политической свободы», предначертанный и направляемый Провидением. Господь завещал человечеству христианство с его «великим уроком морального равенства» в залог политической свободы – «последнего и прекраснейшего его дара». Уваров считал, что лишь достигнув «зрелости», народы поднимаются до этих вершин» [10, с. 8]. По словам Виттекер, С.С. Уваров считал, что живет «в переходную эпоху, в точке слияния двух миров, умирающего и только нарождающегося» [10, с. 8]. Перед нами совершенно четкий прогрессизм, пусть и окрашенный в некие консервативные тона.

Ц.Х. Виттекер подчеркивает, что известная уваровская триада «Православие, самодержавие, народность» служила целям модернизации, осознаваемым как «консервативное обновление» (в терминологии С.С. Уварова – «созревание») [10, с. 10]. Модернизация должна была предотвратить революцию [10, с. 10]. У Виттекер читаем: «Уваров полагал своим долгом просвещать Россию – возможно, даже ее монархов – чтобы подвести страну к «порогу гражданства» [10, с. 11].

Андрей Рачинский указывает на переписку Жозефа де Местра с С.С. Уваровым «по вопросам истории греческой и немецкой философии и по вопросам теологии» [27, с. 25], а в личности самого графа отмечает его интерес к «греческим корням франкмасонства» [27, с. 25]. Д.В. Сивакова, отмечая мысли молодого С.С. Уварова о том, что «России не стоит ориентироваться на Европу и ее идеалы, поскольку Старый Свет находится в кризисе и упадке» [28, с. 54], в то же время подчеркивает его прямую зависимость от общего романтического направления той эпохи [28, с. 52–53].

Одной из основных черт романтизма было развитие «национальных идей», точнее, создание особой мифологии национальной истории.

Д.В. Сивакова обращает внимание на интерес С.С. Уварова к истории и культуре Востока, на его рассуждения об Индии «как колыбели мировой культуры и религий» и санскрите как «родоначальнике европейских языков» [28, с. 55]. Все эти ориенталистские штудии С.С. Уварова остаются в рамках именно европейского романтического дискурса своей эпохи.

Например, первым научно-исследовательским учреждением, открытым в бытность графа С.С. Уварова президентом Императорской Академии наук, был Азиатский музей [11, с. 84]. Его появление напрямую опиралось на работу Сергея Семеновича «Проект Азиатской академии», написанную им в 1810 году в Париже по-французски и переведенную В.А. Жуковским на русский [11, с. 83]. Уваров отталкивался в своем проекте от факта учреждения англичанами Азиатскаго общества в Калькутте (1784 г.) [см. 28, с. 55]. Всё это было следствием именно общего романтического направления эпохи, направления сугубо европейского.

Первоначально романтическое движение поиска национальных корней, в первую очередь в Пруссии и других германских государствах, опиралось в качестве образца на античную классику [28, с. 52–53]. Однако подобные устремления были в первую очередь не выявлением исторической реальности, а сотворением особого культурного мифа об истории.

Поворот к Востоку, любовь к Индии и санскриту тоже осмысливались не столько в рамках строгой научной объективности, сколько в процессе такого литературного мифотворчества.

Через призму подобных устремлений С.С. Уваров конструировал и русскую национальную идею. В этом смысле его деятельности предшествовало создание европейски ориентированной национальной мифологии в России второй половины XVIII столетия.

В эпоху Екатерины II происходит обращение к образам и сюжетам классической древности. Как показала в своей монографии В.Ю. Проскурина, это было не формальной данью запоздалому классицизму, а использовалось для формулирования и осмысления официальной имперской идеологии [26].

Обращает на себя внимание статья Л.Н. Вдовиной, посвященная понятиям русской политической культуры XVIII века [4, с. 463–473]. Она, подобно В.Ю. Проскуриной, подчеркивает, что римские мифологические образы и ассоциации привносили в русскую культуру «элементы европеизации» [4, с. 466]. То есть само обращение к античности было опосредовано основными тенденциями европейской политической мифологии XVIII столетия. Важным посредником в перенесении европейских политических понятий в Россию становится в этот период Польша. Л.Н. Вдовина отмечает распространенность точки зрения на заиствование именно через эту страну таких понятий как «нация» [4, с. 466], «подданство», «подданный» [4, с. 469].

В.С. Парсамов и С.В. Удалов считают, что получивший столь характерную известность благодаря уваровской триаде термин «народность» был впервые использован П.А. Вяземским в письме к А.И. Тургеневу в 1822 году, причем при этом творчески переработано именно польское слово [23, с. 41].

Думается, что акцент, который делают на польском влиянии перечисленные выше авторы, весьма неслучаен при разговоре о сотворении русской исторической мифологии Нового времени.

Прежде чем поговорить об этом, вспомним, как понимал С.С. Уваров достоверность в исторической науке. В своей известной статье на эту тему [34, с. 502–509] он пишет: «История имела у древних одно общее происхождение с религией и поэзией; тот же Vates, тот же вещий человек, был и ее всечтимым и в некотором смысле божественным органом» [34, с. 504].

Сергей Семенович противопоставляет два вектора: с одной стороны, «деятельный труд» современных ему историков, посвящающих себя «разъяснению бесконечного хаоса данных, изобильных в высшей степени, но в то же время пристрастных, неопределенных, противоречащих» [34, с. 504], с другой – устремление человеческого ума, который наклонен «к синтезу, одарен природным инстинктом стремиться к положительному в области приобретенных знаний и подчиняться охотно только установившемуся авторитету» [34, с. 502].

Казалось бы, С.С. Уваров утверждает необходимость охранения «цепи преданий неразрывно переходящей из века в век и остающуйся навсегда в памяти народов» [34, с. 502] и отрицает «страсть века к разлагающему анализу, отвращение ко всем синтезам, религиозным, историческим, или нравственным, совершенное безверие, перенесенное в область более или менее таинственной действительности» [34, с. 504].

Этот скептицизм, с его точки зрения, весьма опасен. Такая «форма истории» «ведет более или менее непосредственно к отрицанию добра и зла, она изгоняет Промысел из истории и ставит на место великих законов общественного порядка какой-то искусственный механизм, порожденный случаем и унижающий достоинство человека, отнимая у него лучшие его надежды» [34, с. 506].

Однако фактическое отрицание исторической критики и попытка реконструировать вне ее некие важные фундаментальные принципы и смыслы оборачиваются, по сути, мифотворчеством.

Сам же С.С. Уваров в своей статье «Исследование об элевсинских таинствах», посвященной элевсинским мистериям [34, с. 96–154], пытается провести историческую реконструкцию тайных эзотерических культов, которые, с его точки зрения, сохранили для человечества изначальный монотеизм, несмотря на, казалось бы, внешнее господство политеизма. Подлинная вера, как он полагал, была достоянием узкого круга избранных бла-

годаря неким «великим мистериям». При этом Сергея Семновича не смущает отсутствие в исторических документах сведений о содержании таких мистерий, ибо такое содержание он выводит, «исходя из истинного источника всех наших познаний» [см. 23, с. 26–27].

С.С. Уваров пишет: «Нам нельзя положительно определить всех сведений, которые открывали эпоптам, но из показанного отношения этих посвящений к истинному источнику всех наших познаний можно судить, что они получали в великих мистериях не только правильные понятия о божестве и его отношениях к человеку, но и о первоначальном достоинстве человеческой природы, о падении, бессмертии души, о средствах ее возвращения к Богу, наконец, о другой жизни за гробом; но им открывали также устные и даже письменные предания, эти драгоценные остатки после великого кораблекрушения человечества» [23, с. 115].

Перед нами, по сути, реконструкция, никак не основанная на источниках, но исходящая из благой идеи, неких базовых благочестивых представлений. Попутно стоит отметить, что попытки искать тайное знание о едином Боге в элевсинских мистериях никак не связаны с учением Православной Церкви. А вот с франкмасонством, которым так интересовался С.С. Уваров, они связаны вполне.

Казалось бы, причем тут Польша? Дело в том, что именно польское влияние оказалось решающим при формировании, например, предромантических и романтических представлений о дохристианской славянской истории. Началось это влияние еще в XVI столетии, что ясно видно при анализе одного достаточно известного текста «Сказание о построении града Ярославля» [см. 6, с. 182–190].

В 1579 году польский комендант г. Витебска, итальянец по происхождению, Александр Гваньини издал книгу «Описание Европейской Сарматии», основанную на тексте польского историка Мацея Стрыйковского, участника Ливонской войны. В ней среди прочего сообщается о капище Перуна, якобы находившемся под Новгородом: «В память этого идола днем и ночью горел костер из дубовых поленьев; если он потухал по небрежности служителей, которым был поручен присмотр за ним, то их безжалостно предавали смерти» [17, с. 21].

В Густынской летописи (известна в списках XVII века), основанной на других польских авторах (Кромер, Гвагнин, Мартин Бельский) [19, с. 115], эта легенда прилагалась уже к Киеву: «Во-первых, Перкунос, си есть Перун… ему же яко богу жертву приношаху, и огнь неугасающий из дубового древия непрестанно паляху; аще ли бы случилося за нерадением служащего иерея когда сему огню угаснути, такового иерея без всякого извета и милости убиваху» [цит по: 19, с. 115–116].

В 1654 году эту же литературную легенду повторяет Адам Олеарий, а в 1674 году архимандрит Киево-Печерской лавры Иннокентий (Гизель) на основе польско-украинских источников издал «Синопсис, или Краткое собрание от разных летописцев о начале славяно-российского народа» [17, с. 21]. Это был фактически первый отечественный учебник истории, выдержавший затем свыше тридцати изданий.

В нем была воспроизведена всё та же польская литературная легенда, только опять отнесенная к идолу Перуна в Киеве, как в Густынской летописи. В «Синопсисе» читаем об этом киевском идоле Перуна, что якобы «пред ним огнь всегда горяще. Аще же бы по нерадению жреческому ключилось огню угаснути, того ради жреца, аки врага бога своего, смертию казняху» [17, с. 21–22].

С 1776 по 1783 год на кафедре в Ростове Великом находился архиепископ Самуил (Мисловский), будущий митрополит Киевский. Это был столь характерный для XVIII столетия пример малороссийского архиерея на русской кафедре. Являясь выпускником Киево-Могилянской академии, он преподавал там затем латинскую грамматику, поэзию и риторику [6, с. 185].

Свободно изъяснялся он не только на латыни, что было тогда привычно для духовных лиц, но и на французском и польском языках. Был епископом Белгородским, затем Крутицким. В Ростове и Угличе основал духовные училища, заложил в Ростове здание семинарии. Член Российской академии наук. Известны следующие его сочинения: «Латинская грамматика», «Догматы православной веры» на латинском и русском языках, «Историческое описание Киевской лавры», «Права и преимущества малороссийского духовенства» [6, с. 185]. То есть перед нами человек западно-русской, латинизированной книжной традиции. Как видим, среди его сочинений нет библиографических исследований, нет описаний рукописей. Не из чего не следует, что он якобы занимался разборкой монастырских библиотек и такие рукописи искал.

И тем не менее в современной историографии, причем два весьма солидных и уважаемых автора, В.В. Иванов и В.Н. Топоров, основоположники так называемой теории основного мифа, приписывают ему находку древней рукописи об основании Ярославля [13, с. 55–66]. Вслед за советским исследователем Н.Н. Ворониным они даже предполагают, что архиепископ «Самуил нашел использованный им оригинал старинной рукописи в том же Ярославском Спасском монастыре, где был найден список “Слова о полку Игореве”» [13, с. 55].

На самом деле архиепископ Самуил (Мирославский), составляя описание храмов Ярославля, оказался в затрудении объяснить название храма в честь священномученика Власия Севастийского. Он предполагает, что ранее на этом месте находилось капище Велеса, а затем просто воспроизводит известный уже нам польский литературный миф, используя при этом распространенное в Поволжье общее обозначение капища как «кереметь» и заменив имя Перуна на имя Велеса [6, с. 186]: «Сему многокозненному идолу и кереметь створена бысть и волхв вдан, а сей неугасимый огнь Волосу держа и жертвенная ему кури… И вельми потчен бысть сей волхв у языцев. Но люто и истязуем бываше, егда огнь у Волоса преста: волхва по том же дне и часе реши керемети и по жребию избра иного, и сей закла волхва, и, раже огнь, сожига в сем труп его, яко жертву точию довольгу возвесилити сего горазда бога» [цит. по: 13, с. 64].

Так именно польское влияние через Малороссию, через латинизированную Киево-Могилянскую академию и малороссийских архиереев формировало предромантическую мифологию славянской истории в России. Точно такой же процесс исторического мифотворчества затем будет отстаивать граф С.С. Уваров. Как видим, польские построения оказали столь существенное влияние на парадигмальные основания российской историографии, что под их давлением оказались даже весьма уважаемые современные авторы.

Процесс мифотворчества на основе исторической реконструкции будет характерен и для сына графа Сергея Семеновича – Алексея Сергеевича Уварова (1825–1884), русского археолога, члена-корреспондента, почётного члена Императорской Академии, одного из основателей Московского археологического общества, Исторического музея в Москве, инициатора археологических съездов [см. о нем, напр., 24, с. 48–64].

В междуречье Оки и Волги он в 1851–1854 годах за крайне короткий срок силами местных крестьян вскрывает семь тысяч курганных могильников [21, с. 168], фактически разрушив эти археологические памятники. На основании своих умозрений в ходе раскопок А.С. Уваров предположил, что все выявленные им памятники принадлежали летописному союзу племен меря, финно-угорского происхождения.

Благодаря ему тема «мери» становится достоянием общественности и захватывает умы.

А.С. Уваров в трудах Первого археологического съезда, исходя из своей концепции, публикует обширный текст «Меряне и их быт по курганным раскопкам», который затем издается в 1872 году ни много, ни мало – в Синодальной типографии [33].

Книга А.С. Уварова, содержащая, как впоследствии выяснилось, фантастические построения, на протяжении четверти века оставлась единственным обобщающим трудом в области русской средневековой археологии [18, с. 4]. И лишь в 1902 году известный русский археолог А.А. Спицын выступает с критикой гипотезы А.С. Уварова [18, с. 4], показывая славянское, а не финно-угорское происхождение большинства уваровских материалов.

Однако было уже поздно. Книга А.С. Уварова царила в русской литературе на протяжении одного из самых насыщенных периодов в истории становления нашего общественного самосознания. Это было время археологических съездов (с 1869 года), антропологической выставки (1879), бурного развития различных исторических обществ, соответствующей периодики, и вообще поиска своих исторических корней. И вот именно тогда сын известного министра народного просвещения, подобно своему отцу учившийся за границей и являвшийся носителем европейских идей, предложил русскому обществу простую идею: господствующим населением всего Северо-Востока Руси были не славяне, а финно-угры, некие «меряне».

Эта концепция имела далеко идущие последствия. Она проявила себя и спустя полтора столетия после уваровских раскопок – в современном движении так называемого мерянского этнофутуризма [9]. Его участники призывают жителей центральных регионов России сменить идентичность с русской на «мерянскую», создают свой искусственный язык, активно проводят различные мероприятия, оказывают влияние на музейное и культурное сообщество, образовательное пространство, проникают в академическую среду [9]. Они взаимодействуют с движением этнофутуристов в финно-угорских национальных республиках в России, со странами Прибалтики [9]. Так старый литературный миф, отравлявший некогда общественное русское самосознание в его поиске национальной идентичности, становится фактором культурно-политического сепаратизма и в наши дни.

В связи с вышесказанным представляется необходимым вновь вернуться к такому важному члену уваровский триады как «народность». Как известно, идеологема «Православие, самодержавие, народность» была сформулирована графом С.С. Уваровым в циркуляре руководству учебных округов, опубликованном в первом номере созданного им «Журнала Министерства народного просвещения» [35]. В 1843 году Сергей Семенович представил императору Николаю I записку по поводу десятилетия Министерства народного просвещения [34, с. 346–455]. Государь начертал на ней следующую резолюцию: «Читал с удовольствием» [34, с. 346].

Граф писал своему императору: «Относительно к народности все затруднение заключалось в соглашении древних и новых понятий. Государственный состав, подобно человеческому телу, переменяет наружный вид свой по мере возраста; черты изменяются с летами, но физиономия изменяться не должна. Неуместно было бы противиться этому периодическому ходу вещей; довольно, если мы сохраним неприкосновенным святилище наших народных понятий» [34, с. 348].

От этой прогрессистской концепции можно было бы ожидать конкретизации содержания «святилища народных понятий», уточнения – что же в это «святилище» входит. Однако ни сам С.С. Уваров, ни его сотрудники по министерству и консервативной публицистике никогда к такой конкретизации не стремились.

В то же время, с точки зрения В.А. Власова, «народность по Уварову – это синоним равноправия данного народа в семье других народов и одновременно – показатель индивидуальности, непохожести, своеобразия как постоянной величины, не подверженной прогрессистским изменениям» [11, с. 85].

Обращают на себя внимание утверждения В.С. Парсамова и С.В. Удалова, считающих народность «единственным европейским элементом уваровской триады», которая затем «благодаря авторитету» В.Г. Белинского «была вырвана из рук правительственных

идеологов и обращена против них», «став не только одним из важных политических знамен оппозиционного лагеря, но и важным фактором в дальнейшем развитии русского искусства и реалистической эстетики» [23, с. 54].

Однако и у славянофилов понятие «народности» оказывается достаточно размытым. На это указывает, например, Г.Н. Миненко, посвятивший данной проблеме специальное исследование [20, с. 38–52].

Как же практически реализовывался принцип «народности» в государственной политике и как он соотносился с «православием» уваровской триады? Приведу некоторые примеры, до сих пор не вводившиеся в современный научный оборот. Первые из них характеризуют отношение к народным обычаям, издревле ставших частью церковной жизни в России.

В 1824 году было запрещено изнесение «громовых стрел» (каменных наконечников, вероятно, эпохи познего неолита), имевшее место ранее в одном из крестных ходов в Вятской губернии. Об этом пишет упоминавшийся выше известный русский археолог А.А. Спицын [31, с. 11–12].

Приведем обширную цитату из работы «О крестных ходах вятских» архимандрита Иосифа (Баженова), настоятеля Вятского Успенского Трифонова монастыря, ректора Вятской духовной семинарии и редактора «Вятских епархиальных ведомостей»: «Крестный ход из сел Никулицына и Волкова, совершающийся ныне за день до Преполовения, есть самый древнейший из Вятских ходов. Начало этого хода совпадает с основанием г. Вятки. Из истории известно, что новгородские выходцы, по прибытии в Вятскую страну, прежде всего завоевали Вятское городище при реке Чепце, известное под названием «болвановки» от языческой молельни с идолами или болванами. Перед началом приступа к означенному городищу новгородцы по христианскому обычаю постились и молились Богу и святым угодникам Его Борису и Глебу… набожные ратники, по молитвам святых князей-мучеников, 24 июня 1181 года… овладели городищем и выгнали из него язычников… наполнился жителями сам город и устроились новые погосты… Волковский, Воскресенский и Богоявленский. Между тем и коренные насельники Вятской страны – вотяки и черемисы, напуганные сначала пришельцами, собрались с силами и решились вытеснить их из занятых мест… При внезапном нападении многочисленных черемис и вотяков погосты Воскресенский и Богоявленский были разрушены, но в погосте Волковском неприятели сами встретили сильный отпор и решительное поражение. Побросав здесь свои стрелы, с ужасом бежали в свои селения и… уже не решались после нападать… В погосте Волковском церковь была устроена в честь святого великомученика Георгия. Торжествуя победу над множеством пораженных неприятелей и вознося Господу Богу благодарение в храме, посвященном св. Георгию, хлыновское[1] ополчение приписало успех свой особенному заступлению сего небесного Победносца. Вместе с сим тогда же было положено единодушное обещание, чтобы в каждый год икона святого великомученика Георгия была приносима в г. Вятку вместе с иконой святых Бориса и Глеба… При возвращении крестного хода из Вятки на другой день Преполовения в четверток бывает в селе Волковском замечательная церемония, которая придает этому ходу много торжественности и проясняет в памяти дарованную по молитвам святого великомученика Георгия победу над вотскими и черемисскими войсками. Происходит эта церемония так: за селом Волковским в двух верстах находится часовня. Сюда в четверток после Преполовения стекается множество народа пешего и на конях. Около 11 часов вечера, при наступлении темноты, к часовне приходит крестный ход, возвращающийся из г. Вятки. В это время зажигаются свечи в руках многочисленной массы, покрывающей всё пространство от часовни до Волковской церкви, которая также освещается извне и внутри, а всадники ставят зажженные свечи над

[1] Хлынов – первоначальное название Вятки.

головами лошадей. Таким образом, составляется движущаяся река с огненными волнами, среди которых проходит в церковь образ святого великомученика Георгия. Чем темнее ночь и спокойнее погода, тем лучшее образуется зрелище» [16, с. 56–57].

А.А. Спицын цитирует текст из «Повести о стране Вятской» (XVII–XVIII вв.): «И во многи лета во объявление всему народу бывшее набежание чуди, отяков и черемис со стрелами воспоминающе, приносяще со образом великомученика Георгия стрелы, окованы железом, и людие со свещами стрелы оные сретающе в память великомученика избавления ради от набежания чуди, черемис и отяков и прочих черемис неверных народов, бывших со оными стрелами» [31, с. 12].

Архимандрит Иосиф (Баженов) уточняет: «В прежние времена всадники имели на головах своих лошадей стрелы вотские и для большей видимости освещали их, но это невинное и чуждое всякого суеверия обыкновение признано было почему-то неприличным и отменено. Стрелы восткие, хранившиеся с давних времен в Волковской церкви, были отобраны в 1824 году по распоряжению гражданского начальства, но куда переданы – неизвестно» [16, с. 58].

Таким образом, икону великомученика Георгия в этом крестном ходе первоначально окружали всадники, имевшие над головами коней освещенные свечами стрелы. В «Повести о стране Вятской» четко говорится, что эти стрелы были окованы железом, то есть сами не были железными.

Конечно же, вотяки и черемисы в XII веке использовали в бою не каменные, а железные стрелы.

Из этого можно сделать вывод, что в крестном ходе износились не подлинные боевые стрелы вотяков и черемис.

Каменные, по-видимому, неолитические стрелы, найденные на месте сражения, были в представлениях местных жителей связаны с одержанной победой.

Автором этой статьи уже выдвигалась ранее следующая версия по поводу «вотских стрел»: вотяки и черемисы, рассматриваемые в контексте истории об этом сражении как язычники, противники христиан, отступая, попытались с помощью стрел совершить некий ритуал и магически «запереть» своих противников [7, с. 116].

Но христиане затем овладели этими стрелами как трофеями и использовали их как символы своей победы, дважды в год воспоминаемой на крестном ходе. Тем самым они как бы разрушили запоры своих противников с помощью великомученика Георгия Победоносца и святых благоверных князей Бориса и Глеба и одержали духовную побежу над вражеским колдовством, а, может быть, считали, что «заперли» это колдовство, загородились от его влияния [7, с. 116].

Как видим, местная гражданская власть предприняла меры по искоренению этого суеверия.

Но дело в том, что далеко не всегда подобные инициативы местной власти получали поддержку на уровне имперских учреждений.

В 1839 году вятский гражданский губернатор Хомутов в своем отчете на Высочайшее имя (то есть – императору Николаю I) пожаловался на «разные беспорядки», в том числе на «жертвоприношения в селе Великорецком во время крестного хода», которые духовенство использует якобы для своей выгоды [16, с. 64].

Тридцать лет спустя, в 1869 году известная либеральная газета «Голос», издаваемая А.А. Краевским, поместила статью под названием «Корреспонденция из Великорецкого села». В ней вятский корреспондент «Голоса» описал ход празднеств и особо остановился на обычаях, показавшихся ему странными.

Он отметил, что крестьяне окрестных селений жертвуют святителю Николаю баранов. Эти бараны оставляются в двух специальных дворах – овчарнях. Баранов набирались сотни. Часть баранов резали, а их мясо шло на угощение паломников.

Автор заметки в «Голосе» поговорил с крестьянами, дарившими баранов, и напи-

сал: «На мои расспросы мне объяснили, что здесь приносят жертвы святителю Николаю. По-видимому, жертвы эти понимаются не как приношение только, а непременно как закланиe».

Таким образом, газета «Голос», имевшая очень значительный по тем временам тираж и большое количество подписчиков не только в столицах, а во многих населенных пунктах империи, во всеуслышание заявила, что во время Великорецкого крестного хода приносятся кровавые жертвы святителю Николаю.

Архимандрит Иосиф (Баженов) как редактор «Вятских епархиальных ведомостей» обратился в связи с обвинениями «Голоса» с запросом к великорецкому причту.

В результате настоятель прихода села Великорецкое, благочинный местного округа священник Иоанн Сычугов составил подробный отчет, помещенный в том же 1869 году в «Вятских епархиальных ведомостях» [22]. Отчет был подписан всеми членами причта прихода.

На следующий год архимандрит Иосиф (Баженов) в официальном губернском издании «Памятная книжка Вятской губернии» подробно разобрал историю «жертвоприношения» баранов в ходе Великорецкого крестного хода [16, с. 55–74].

Он указывал, что явление иконы святителя Николая произошло в 1383 году, крестный ход в честь него ежегодно совершается с 21 мая ст. ст. [16, с. 59]. Крестный ход совершался неопустительно на протяжении столетий: «Пред 1551 годом замечено в летописи, что хлыновцы почему-то в этот год не носили иконы святителя Николая Чудотворца в село Великорецкое, но быв вразумлены явным наказанием Божиим – появлением во время лета страшного холода (с 1 июня по 12-е), угрожавшего неурожаем и голодом, “паки обещашася по вся лета ходить неотложно”» [16, с. 60].

В XVIII веке управляющие Вятской епархией принимают ряд решений, регламентирующих этот крестный ход (раньше он совершался водным путем на стругах, теперь стал пешим) [16, с. 61–62].

Однако вернемся в 1839 год. Своей резолюцией на рапорте губернатора император Николай I потребовал разъяснений от епископа Вятского Неофита. При этом император повелел «не нарушая при сем случае древних и укоренившихся в народе обычаев, поколику оные не противны правилам Церкви, учинить распоряжение, дабы тщательно устранено было все, что не сообразно с достоинством богослужения и со святостью места, и дабы обычай, соединенный с набожностью, не был в то же время соединен с беспорядками, нечистотой и корыстными видами» [16, с. 64–65].

Святейший Правительствующий Синод изучил объяснения епископа Неофита и 17 мая 1840 года издал указ № 5690, в котором объявил, что «нашел основательным доказательство Его Преосвященства[1] как о безупречности простого набожного обычая (приношение баранов и заколение их для общей трапезы) при праздновании в селе Великорецком, так и о невиновности духовенства в приписываемых ему корыстных видах» [16, с. 65].

Св. Синод утвердил специально разработанные правила Великорецкого крестного хода, в которых в том числе говорилось и о порядке приема жертв от крестьян: «д) Вклады от крестьян овец, которые доселе принимались на близком расстоянии от церкви, в предбудущее время, поколику оных[2] нельзя отрицать без оскорбления народного чувства, отвесть в другое, более отдаленное от церкви место и именно в поле, за лавки, стоящие на северной стороне. И для сего там, на северо-восточном конце за вновь устроенным каменным церковным домом для гостиницы, сделать деревянный небольшой овчарник в виде крытого двора; е) Из сих приношений по древнему обыкновению производившееся

[1] Епископа Вятского Неофита.

[2] То есть жертвы.

заклание баранов, сколько требовалось для трапезного употребления, не отменяя [это заклание – *и. В.*] согласно указанию Высочайшей воли[1], привести, сколько возможно, в лучший вид, по примеру монастырских гостиниц и общих трапез. Для чего построить кухню, раздавать приготовленную в ней пищу желающим без всякого взимания платы, кроме добровольных подаяний в кружку. При таковой раздаче полиции в особенности необходимо наблюдать, чтобы не было при сем случае в народе излишнего стеснения, нахальства и дерзости; ж) Для сего же трапезного учреждения заклание животных нужно производить в приличном и закрытом месте, устроив для сего за предполагаемым овчарником в приличном месте обыкновенную бойню, какая устрояется для мелкого скота… з) По устроении кухни и бойни все приготовление пищи и распоряжения производить под ведением соборного старосты через доброхотных "трудников" или вольнонаемных людей, сведущих в этом деле» [16, с. 66–67].

Тридцать лет спустя в объяснении причта села Великорецкого по поводу публикации «Голоса» говорилось: «Бараны, приводимые богомольцами в селе Великорецком, во время пребывания в оном явленного образа Святителя и чудотворца Николая, действительно закалаются в особо устроенном для них дворике. Но закалаются не как жертвоприношения, не по каким-либо религиозным верованиям жертвователей. Поселяне жертвуют баранов живыми, и все бараны, поступающие в пользу Великорецкой церкви и в пользу Великорецкого причта, остаются живыми; только поступающие в пользу кафедрального собора не все продаются живьем, а некоторые и закалываются. И это не потому, будто "жертва здесь понимается не как приношение, а как заклание". Колются бараны по распоряжению кафедрального соборного старосты по следующему побуждению» [16, с. 66–67].

Здесь же читаем: «Веками установился обычай, что в тех селениях, где Вятские иконы останавливаются на ночь, содержание трудников местные общества принимают на свой счет. В селе Великорецком и остановка икон бывает продолжительнее, и число трудников более. На кого же должно пасть содержание здесь трудников? Для местного великорецкого общества оно было бы в значительной степени отяготительно и потребовало бы от него не добровольных пожертвований, а вынужденных, вроде налога. Но это обижало бы и великорецких прихожан, и оскорбляло бы религиозное чувство самих богомольцев-трудников. Добрый и вековой обычай разрешил этот затруднительный вопрос, возложив содержание бедных трудников в селе Великорецком на счет Вятского кафедрального собора. Поступающих в его пользу баранов, конечно, выгоднее было бы продавать исподоволь живьем, но тогда дороже, труднее и хлопотливее было бы содержать трудников; тогда, быть может, не было бы и самих трудников, а это, без всякого сомнения, глубоко оскорбило бы религиозное чувство простого народа всего Вятского края. Кафедральный собор волей-неволей колет своих баранов и питает ими трудников, беднейших даром, выдавая даже по нескольку рублей на хлеб им, а с иных лиц принимает незначительную совершенно добровольную плату. Корреспондент "Голоса" пред всеми читателями его, пред всей Россией взвел тяжкую клевету на здешнее вековое место народной святыни страны Вятской, набросив на простое и обыкновенное в нем дело закалывания баранов оттенок языческих жертвоприношений. "На мои расспросы мне изъяснили, что здесь (во дворике, где колются бараны) крестьяне приносят жертвы Святителю Николаю". Известное неумение простых крестьян правильно выражать свои мысли принято корреспондентом как юридическое показание образованного человека, но принято крайне неосновательно. В этом дворике не бывает ни жрецов (кого-либо из духовенства), ни каких-либо знаменательных действий (молений), ни символических орудий; не бывает даже иконы; дворик этот не вблизи церкви, а вдали, в поле, устроенный назад тому около тридцати лет, остается и

[1] Воли императора.

есть самый простой дворик и за исключением жертвователей, приводящих сюда своих баранов, “публика” здесь большею частию бывает тоже праздная, какая трется и пред балаганами площадных паяцов» [16, с. 66–67].

Архимандрит Иосиф (Баженов) особенно подчеркивает, что в случае, если Великорецкий крестный ход приходится на Петров пост, никакого заклания баранов не совершается [16, с. 67]. Это, с его точки зрения, должно свидетельствовать о вполне церковном характере всего явления.

Как видим из сказанного выше, в случае приношения баранов во время Великорецкого крестного хода мы имеем дело с массовой братчиной, которая стала в 1839–1840 годах предметом тщательного рассмотрения со стороны верховной государственной и церковной власти. В результате древний обычай, хотя и был регламентирован, но сохранился во всей своей полноте.

И даже тридцать лет спустя попытка крупнейшей либеральной газеты объявить этот обычай «языческим» встретила резкий отпор со стороны местного духовенства.

Обычаи братчины оставались и остаются предметом претыкания. Многие авторы видят в них одно из наиболее ярких проявлений язычества в народной среде, сохранившееся с дохристианских времен[1]. Академик В.В. Седов обнаружил следы братчины в нижнем горизонте новгородского культурного слоя (середина X века), то есть однозначно до крещения Новгорода [27а, с. 28]. В то же время такой известный исследователь как Д.К. Зеленин считает братчины обрядом, совершавшимся «под кровом церкви» и приуроченным к разным церковным праздникам [12а, с. 132].

В XV столетии московские митрополиты защищали братчины в митрополичьих селах от посягательств со стороны княжеских чиновников, великие князья поддерживали митрополитов в этих вопросах и выдавали специальные охранные грамоты на право сельских общин совершать братчины как общественные пиры [5, с. 44–53]. Удивительно, но этот пир обладал своей юрисдикцией, выборные лица братчины имели право совершать суд за мелкие преступления [5, с. 48].

Нормы пошлин со спиртного на братчине установлены, например, в уставной грамоте собора Троице-Сергиева монастыря (апрель – май 1590 года): «У которого крестьянина случится особное пивцо, на родинах[2] или по родителех поминок, и нашему приказщику с того не имати ничего; а с братчины имати по две денги» [3, с. 421].

Несмотря на многочисленные ограничения в отношении скоморохов, их присутствие в определенной степени дозволялось, в том числе – на братчинах, при условии, если скоморохи не сами навязываются пирующим, а приглашены последними [25, с.30].

Вот, например, характерное место в уставной грамоте Дмитровского князя Юрия Иоанновича бобровникам Каменского стана от 29 июля 1509 года: «А на пиры к ним в братчины питии не ходит незван никто… А скоморохом у них ловчей и его тиун по деревням силно играти не ослобождает: кто их пустит на двор доброволно, и они тут играют; а учнут у них скоморохи по деревням играти силно, и они их из волости вышлют вон беспенно» [3, с. 122]. Как видим, даже эта высылка не сопровождалась взиманием пени, штрафа.

В «Памятной книжке Олонецкой губернии» за 1867 год дается описание ряда местных обычаев, связанных с братчинами [15, с. 131–156].

Например, в Канакшанском приходе братчина совершалась в Ильин день. Автор очерка, оставшийся анонимным, пишет: «Испокон веку ведется здесь обычай – убивать в этот день заветного быка. Канакшане особенно почитают Илью пророка, и день его

[1] Обзор точек зрения см. [5, с. 30–40].

[2] То есть на общинном празднике в честь новорожденного.

празднуют с особенною торжественностью. С этого дня они считают время года и своим детям, прежде всего, внушают уважение к этому святому» [15, с. 131].

Вот как автор очерка описывает эту братчину: «В Егорьев день (23 апреля) хозяин или хозяйка завичает: “Илья пророк многомилостив, сохрани мою скотинку и проводи все летушко здраво, а я завичаю тебе (или овчину, или масла, или денег, или же) быка, ко твоему дню великому”. Этот-то завиченный бык и служит обыкновенно жертвой Ильинского праздника. Канун его начинается за три дня. Богатые люди в это время варят пиво и называются канунщиками. Так как это пора рабочая и время сенокосное, то крестьяне обыкновенно бывают вдали от своих деревень, уходят на пожни в понедельник и возвращаются в субботу вечером, но к Ильину дню никогда не остаются на работах; все возвращаются накануне, моются в бане, и, если Ильин день постный, то в тот же день отправляются к вечерне на погост – хватать ильинское мясо. Когда праздник бывает скоромным, тогда быка бьют не накануне, а в самый праздник. В определенный час приводят к церкви одного или несколько завиченных быков. Если он не один, то обыкновенно кидают жребий, который из них должен сделаться жертвою праздника. Хозяин избранного быка, получив благословение священника, отрезывает у жертвы кончик правого уха и передает его в часовню. Затем отводит его на поварню, где его убивают, чередуют и варят большими кусками (от 4-х до 8 фунтов); при этом кусков на дно не опускают, но прикрепляют их к ивовому пруту и вешают на край котла. Кожу и остальных быков, если они бывают, продают; деньги за них поступают в церковь. Голову и щи отдают нищим, а правую заднюю ногу на причет церковный. По окончании вечерни или обедни священник с причетниками выходит для освящения и благословения жертвы и едва успевает отойти, как народ со всех сторон кидается за ильинским мясом, и при этом не щадит уже своих ребер. Рыболовы и полесники[1] стараются схватить непременно кость. Эта кость, вместе с пасхальной свечой, имеет в их глазах то значение, что с ними все троится. Пойдут ли рыбу ловить – наловят втрое, пойдут ли полесовать[2] – и тут тройной успех. Притом, кто имеет ильинскую кость и пасхальную свечу, тому, говорят, нечего бояться, с тем всегда крестная сила и Илья пророк – заступник. Священник между тем освящает в это время канун – сусло, и пробует каждую “варю”[3]; за ним пробуют и все присутствующие из каждого туеска, сколько бы их ни было. По окончании обряда освящения и общего дележа ильинской жертвы, народ идет на луг, куда привезено уже и пиво: у каждого пирующего мужчины ендова или бочонок, а у каждой женщины по бураку в руках. На лугу устраивается общий стол. Почетные гости – священник с причтом и старостой. Женщины потчуют гостей пирогами и рыбниками, а мужчины угощают пивом. Остатки делят на причт» [15, с. 131–133].

Далее автор описывает братчину на Лепше в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Он пишет: «Кроме Ильина дня, когда закалают однолетних баранов, здесь подобный же обряд повторяется в день Рождества Богородицы. Накануне этого праздника усердствующие приводят к церковному сторожу однолетних овечек. Сторож в тот же день убивает их. Голову, ноги, сердце, печень и легкое раздает нищим, шкуру передает церковному старосте, а все остальное перед Литургией варит на берегу озера в большом медном котле. Он котел со щами оставляет для нищих, а (мясо) кладет в ушат и приносит к церкви, где собственно для этой цели приготовлен большой стол из длинных желобов. По окончании Литургии священник с причтом выходит из церкви, освящает и благословляет жертву, затем садится за общественный стол; около него размещаются причетники и более почетные из прихожан. Все прочие гости, равно как и малые дети становятся около стола и на-

[1] Охотники.

[2] Охотиться.

[3] То есть то, что сварено.

чинают угощаться. При этом всегда бывает пиво, которое варит сам староста церковный, и для которого собирается зерновой хлеб со всего прихода» [15, с. 133].

В 1854 году А. Попов писал: «Пиры и братчины, о которых известия встречаются в источниках нашей истории с XIII столетия и продолжаются непрерывно до XVII, существуют в разных местах России и в настоящее время» [25, с. 34].

В отрывке из дела об убийстве во время братчины 1624 года в показаниях свидетелей говорится: «У Якова, де, Мусина Пушкина была ссыпная крестьянская братчина после Светлого Воскресенья в понедельник» [25, с. 34].

«Из этих слов, – пишет А. Попов, – можно заключать, что ссыпчины и братчины составляют различные названия одного и того же рода пиршеств» [25, с. 34].

Современные исследователи О.А. Терновская и Н.И. Толстой пишут о братчинах: «Помимо мяса жертвенными продуктами были хлеб, воск и мед, из которого варили пиво. Так на Вологдчине (Грязовецкий уезд) в Ильин день в деревне пекли огромный каравай «для всего мира»[1] (из-за этого ломали устье печи) и 12 караваев поменьше. У русских братчиной назывались и общие празднования в складчину (также «ссыпщина», «ссыпка», «мирщина») разного характера» [32, с. 256].

Д.К. Зеленин описывает также «земледельческую братчину»: «На земледельческой братчине нет жертвенного животного; обрядовые блюда: пиво (так называемый канун, мирщинка, братчина) и каша. Пиво варится или из продуктов, собранных в складчину, или же каждый варит у себя дома, но его приносят в церковь и здесь сливают в один общий сосуд, после чего его пьют» [12а, с. 133].

Известный русский историк Сергей Михайлович Соловьев, посвятивший братчинам отдельное исследование, считал, что из братчин выросли известные православные юго-западные братства, активно боровшиеся за Православие против униатства и католичества в XVI столетии. Приведя обширный исторический материал, он пишет: «Из сличения приведенных известий легко усмотреть, что братчина Восточной России и братство Западной в начале было одно и то же учреждение, которое в разных местах имело разные степени развития: в областях собственно Московского государства наименьшую, в Пскове и, по всем вероятностям, в Новгороде большую, а в Западной России… наибольшую» [30, с. 117].

У С.М. Соловьева мы также читаем: «О древности и важном значении братчины в жизни нашего народа свидетельствует язык: в известной каждому поговорке братчина является представительницею всякого общего дела, союза; о человеке, не способном по своей сварливости, неуживчивости к общему делу, говорят: “с ним пива не сваришь”… Первоначально, да и после, в сельских небогатых братчинах каждый участник приносил свою долю натурою: приносил солод, овсяную муку; всё это ссыпалось вместе, отсюда выражение: «ссыпная крестьянская братчина»; участники называются сыпцами, сама доля называется сыпью. Последнее название удерживается и тогда, когда из самого известия видно, что участники вносили деньги» [30, с. 109].

Братчины, совместные пиры, оказываются в определенном смысле выражением духовно-социального единства общины [8, с. 60].

И, тем не менее, очевидно, что обычай этот весьма непрост по интерпретации своего происхождения и духовного содержания. Как отмечалось выше, он вызывал серьезнейшие вопросы у европеизированных чиновников и журналистов. Однако специальными правилами, утвержденными императором Николаем I, в 1840 году утверждаются правила братчины во время Великорецкого крестного хода. То есть данный спорный обычай, существующий в жизни ряда церковных общин, не преследуется, но допускается и легализуется.

[1] То есть сельской общины.

В то же время с чисто церковными явлениями, например – чудесами, в уваровский период дело обстоит совершенно по-другому.

Спустя всего пять лет после утверждения описанных выше правил великорецкой братчины в Казанском Явленском девичьем монастыре города Рязани произошло чудо. У чтимой Казанской иконы Пресвятой Богородицы исцелилась от слепоты государственная крестьянка села Казарь Рязанского уезда Евдокия Иванова.

Материалы следствия по этому делу отложились в фондах Рязанской духовной консистории, ныне хранящихся в Государственном архиве Рязанской области [1].

28 марта 1845 года настоятельница Казанского монастыря игумения Екатерина с сестрами обратилась к епархиальному архиерею, архиепископу Гавриилу (Городкову)[1] с рапортом, в котором говорилось, что слепой «крестьянской жене» Евдокии Ивановой, жительнице расположенного недалеко от Рязани древнего села Казарь, явилась во сне некая «белообразная старица» и повелела идти в Казанский монастырь и просить перед Казанской иконой Богородицу о своем исцелении [1, л. 1]. Ее привели в монастырь, где Евдокия «в простоте своей веры» молилась перед иконой и, «по троекратном помазании глаз маслом от лампады Божией Матери, чудесно прозрела» [1, л. 1].

Архиепископ Гавриил поручил архимандриту Солотчинского монастыря Афанасию вместе с благочинным, в присутствии «гражданского чиновника» провести следствие о «поведении крстьянки», то есть об ее репутации, о предшествовавшей слепоте и обо всех обстоятельствах дела [1, л. 1]. Игумения Екатерина вместе со старшими сестрами обители составила для комиссии специальную записку [1, л. 2–3], где подробно изложила историю исцеления. Здесь рассказывается о том, что крестьянка потеряла зрение в августе 1843 года, то есть за год и семь месяцев до своего исцеления [1, л. 2].

С ее слов подробно описывается сон, когда ей явилась некая Старица в белых одеждах. Евдокия Иванова рассказала об этом сне мужу и другим родственникам, но те ей не поверили и не пустили в Рязань. Тогда сон повторился, причем явившаяся вновь старица укоряла слепую крестьянку за неверие. В итоге Евдокии удалось добраться до монастыря с помощью тетки [1, л. 2–2об.]. В монастыре одна престарелая монахиня посоветовал ей взять масло от лампады перед чтимой Казанской иконой и мазаться им в гостинице. После троекратного помазания слепая прозрела [1, л. 3].

Комиссия опросила двадцать три человека в селе Казарь [1, л. 10–15 об.] (из числа, как подчеркивалось особо, «лучших людей» [1, л. 37 об.]), а также ряд сестер Казанского монастыря [1, л. 22–26]. Все они, как было принято в то время, приводились к клятвенному обещанию и скрепляли показания своими подписями. Из этих допросов следовало, что крестьянка действительно была слепа и действительно прозрела [1, л. 3–29 об.].

Городской врач признал данный случай необъяснимым [1, л. 32 об.]. Он высказал предположение, что Иванова «страдала хроническим воспалением глаз ревматического свойства, в котором деревянное масло никогда не оказывало и не оказывает существенной пользы» [1, л. 32].

Примечательно, что в ходе расследования игумении и сестрам монастыря приходилось в оправдательном тоне доказывать древность почитания той самой Казанской иконы, перед которой исцелилась Евдокия Иванова [1, л. 35–36].

Вся переписка по делу велась в секретном режиме [см., например, 1, л. 37 об.].

По итогам следствия о чуде архиепископ Гавриил (Городков) 10 августа 1845 года обратился с соответствующим рапортом в Святейший Синод [1, л. 39–52 об.]. Он подробно описал само чудо и ход следствия. Однако что же просил рязанский архипастырь у Синода, а через последний – у верховной государственной власти?

[1] Архиепископ Рязанский и Зарайский в 1837–1858 годах, ныне прославлен в лике святых.

Ответ на этот вопрос, на наш взгляд, выявляет в полноте проблему взаимоотношений Церкви и российской государственной власти в 40-х годах XIX столетия. Архиепископ Гавриил ходатайствует не запрещать верующим молиться у чудотворной иконы, раз уж выяснилась ее чудотворность, и обещает держать все чудеса в тайне [1, л. 57–57 об.].

Рязанский архипастырь в рапорте пишет, что Казанская икона в Казанском Явленском монастыре древняя и «чудодействует издревле», поэтому просит, «не производя разглашений об оной иконе как чудотворной, не возбранять продолжать по-прежнему молебствие для усердствующих и притекающих к Божией Матери с теплой верой» [1, л. 57]. При этом надо «игумении и священникам поставить в обязанность постоянно доносить начальству об особенных случаях чудесных исцелений, если таковые будут, и для предотвращения преждевременной молвы в народе, воздерживаться от всяких со своей стороны оглашений по оному» [1, л. 57–57 об.].

То есть ныне прославленный в лике святых архиепископ Гавриил (Городков) опасался, что верховная гражданская власть руками Святейшего Правительствующего Синода может просто отобрать икону или хотя бы запретить служение перед ней молебнов, дабы об образе не распространялись слухи как о чудотворном. И это при том, что сам монастырь именовался Казанским Явленским именно в силу явления некогда этой самой чудотворной иконы, списка с подлинной Казанской, в городе Рязани!

Что же ответил Синод? Синодалы разрешили продолжить служить молебны, но запретили игумении, сестрам и духовенству хоть что-то рассказывать о чудесах от иконы.

2 октября 1845 года вышел указ Святейшего Правительствующего Синода с традиционной для таких документов шапкой: «Указ Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийского, из Святейшего Правительствуюшего Синода Преосвященному Гавриилу, Архиепископу Рязанскому и Зарайскому» [1, л. 58–58 об.].

В нем разрешалось служение молебнов перед чтимой в Рязани Казанской иконой Матери Божией, «с тем, чтобы отнюдь не было допускаемо никаких разглашений о сей иконе, и чтобы игумения и священнослужители означенного монастыря доносили по временам Епархиальному Начальству, также без огласки, обо всем, что будет происходить при иконе с надлежащими подробностями… в случаях надобности и Святейшему Синоду» [1, л. 58 об.].

Таким образом, чудотворная, издревле чтимая в одном из губернских городов икона оказалась приравнена к каменным неолитическим стрелам, странным образом употребляемым во время одного из крестных ходов, и попала в гораздо худшее положение, нежели бараны, традиционно закалаемые во время Великорецкого крестного хода.

Конечно, описанное выше трудно укладывается в рамки традиционной уваровской триады, где «Православие» стоит на первом месте перед «Саможержавием» и «Народностью».

Однако сам такой подход государственной власти, проявлявшийся через полностью зависимый от нее Святейший Синод (по сути, один из правительственных департаментов), ведет свое начало еще от известного «Духовного регламента» 1721 года. Там, в разделе «Дела епископов» прямо говорилось: «Смотрети же должен Епископ, чего смотреть обещался с клятвою на своем поставлении, сиесть о монахах, дабы не волочились безпутно, дабы лишних безлюдных Церквей не строено, дабы иконам Святым ложных чудес не вымышлено; також о кликушах, о телесах мертвых несвидетельствованных, и о прочих всего того добре наблюдать» [12].

Государственное требование борьбы с чудотворными иконами было сквозным для всего синодального периода истории Русской Церкви. Так, 14 июня 1878 года издается от лица «Самодержца Всероссийского» следующий указ Святейшего Синода: «Святые иконы, оглашаемые чудотворными, должны быть немедленно отбираемы и поставляемы для

хранения в ризнице кафедральных соборов, о чем следует доносить епархиальному начальству» [14, с. 79].

В уваровский период Русская Церковь оказывалась во все большей и большей зависимости от государственной власти. Символом такой зависимости стал современник графа С.С. Уварова и его коллега по правительствующим учреждениям генерал-адъютант граф Николай Александрович Протасов, бывший в 1836–1855 годах обер-прокурором Святейшего Правительствующего Синода. Именно через него издавался, среди прочего, и указ о запрете разглашения чудес от Рязанской Казанской иконы Матери Божией.

Известный историк Русской Церкви И.К. Смолич считал, что Протасов «был совершенно несведущ в делах Церкви и, судя по его предшествующей жизни, вовсе не подходил для должности обер-прокурора» [29, с. 162]. И.К. Смолич подчеркивает, что Н.А. Протасов был воспитан домашним учителем-иезуитом, не обладал достаточным образованием и «в нем очень чувствовалось католическое влияние» [29, с. 162]. По словам этого историка, благодаря целенаправленным усилиям Протасова «весь административный аппарат Церкви был сильно централизован, в руках обер-прокурора оказались все его нити» [29, с. 162]. И.К. Смолич приводит слова одного из современников обер-прокурора, священника М.Я. Морошкина: «Сильный доверенностью государя[1], он худо таил стремление самовластвовать в Синоде и всем управлять… У Протасова было даже какое-то предубеждение к архиереям… Главная, хотя и тайная цель преобразований Протасова – усилить его личную власть в ущерб правам членов Синода – вполне была достигнута, и это отразилось на всем синодальном производстве» [29, с. 162].

Далее И.К. Смолич пишет: «Это было время, когда на всякую мелочь в деле управления требовалась санкция правительства» [29, с. 163].

Современный исследователь В.Н. Федорук считает, что преобразования Протасова «были произведены… в полном соответствии с предначертаниями верховной власти» [36, с. 7]. Он отмечает: «В рамках усиления бюрократического, административного начала в николаевское царствование институт синодальной обер-прокуратуры стал выразителем личных интересов императора, в управлении Церковью произошли изменения, имевшие определяющее значение в течение всего последующего периода синодальной истории» [36, с. 7].

В.Н. Федорук отмечает со слов Н.С. Лескова, что Н.А. Протасов был поставлен на свой пост во многом благодаря пожеланиям синодалов, но затем, в силу своей властности, удостоился от последних таких эпитетов: «иезуит», «скрытый католик», «фальшивый, честолюбивый и самолюбивый человек» [36, с. 11].

Однако общий процесс закрепощения Церкви, постепенного превращения ее в придаток государственной машины сказался не только на положении высших церковных иерархов.

Именно в 30–40-х годах XIX столетия священник окончательно превращается в глазах государства в мелкого чиновника, призванного собирать самые различные статистические данные или «доводить до сведения прихожан» различные требования Начальства (последнее непременно писалось в заглавной буквы).

С нашей точки зрения, характерным для всего уваровско-протасовского периода является одно из дел Рязанской духовной консистории за 1841 год, отложившееся в фондах Государственного архива Рязанской области. Оно озаглавлено «Дело по указу Св. Синода о вменении в обязанности сельских священников вести агитацию среди крестьян к разведению картофеля» [2].

Название дано архивистами советского периода, однако в точности отражает саму суть дела. Во исполнение «указного предписания», «последовавшего» из Рязанской ду-

[1] Николая I.

ховной консистории 30 сентября 1841 года «о разведении повсюду картофеля», благочинные объявили под расписку «всем подведомственным священникам», «дабы они своими внушениями и собственным примером приглашали поселян к распространению картофеля, засевая оный у себя на огороде и на церковной земле», «в чем и обязаны подписками» [2, л. 17]. Каждому благочинному такое предписание было выдано за отдельным номером [см., напр., 2, л. 1, 3, 5, 7], а он в свою очередь взял подписи всего духовенства своего округа в том, что оно ознакомлено с указами. Всё это рапортами было представлено обратно в консисторию.

Таким образом, европейски ориентированная романтическая концепция С.С. Уварова под влиянием Европы продолжала характерную для предшествующего столетия традицию создания мифов о национальной истории. Эта концепция, ставя своей целью предотвращение революции, была тем не менее модернистской и прогрессистской. В уваровской триаде понятие «народность» оказывалось весьма размытым. Возвышая, казалось бы, православие, государственная власть одновременно всё больше превращала Церковь в один из своих бюрократических придатков. В рационалистической традиции, восходящей еще к «Духовному регламенту» Петра I, в принципе отвергались чудесные явления. Одновременно весьма странные и далекие от православного христианства народные обычаи могли не просто терпеться, но и получать определенную государственную поддержку и регламентацию.

Литература

1. ГАРО (Государственный архив Рязанской области). Ф. 627 (Рязанская духовная консистория). Оп. 239. Св. 4. Д. 22. Дело об исцелевшей от слепоты Рязанского уезда села Казари государственной крестьянки Евдокии Ивановой. Начато 27 марта 1845 г. Окончено 9 октября 1845 г. 62 л.
2. ГАРО. Ф. 627. Оп. 101. Св. 1897. Д. 106. Дело по указу Св. Синода о вменении в обязанности сельских священников вести агитацию среди крестьян к разведению картофеля. Начато 3 ноября 1841 г. Окончено 16 ноября 1841 г. 82 л.
3. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской Империи Археографическою экспедициею Императорской академии наук / доп. и изд. Высочайше учрежденною комиссиею. Т. 1 : 1294–1598. СПб. : Типогр. 2 отд-ния Собственной Е.И.В. канцелярии, 1836. 548 с. разд. паг.
4. *Вдовина Л.Н.* Об истории некоторых понятий русской политической культуры XVIII в. // Русь, Россия. Средневековье и Новое время. М., 2017. № 5. С. 463–473.
5. *Виталий (Уткин), игум*. Братчины и Церковь / Виталий (Уткин), игум. // Прав ли Павел Травкин? Вып. второй : Найдено ли в Плёсе «святилище Велеса»? Иваново-Вознесенск : Плес, 2015. С. 41-53.
6. *Виталий (Уткин), игум.* Волос и кереметь в «Сказании о построении града Ярославля» / Виталий (Уткин), игум. // Прав ли Павел Травкин? Вып. второй : Найдено ли в Плёсе «святилище Велеса»? Иваново-Вознесенск : Плес, 2015. С. 182–190.
7. *Виталий (Уткин), игум.* «Громовые стрелы» и крестный ход в Вятской губернии / Виталий (Уткин), игум. // Прав ли Павел Травкин? Вып. второй : Найдено ли в Плёсе «святилище Велеса»? Иваново-Вознесенск : Плес, 2015. С. 113–117.
8. *Виталий (Уткин), игум.* Общинный характер братчин / Виталий (Уткин), игум. // Прав ли Павел Травкин? Вып. второй : Найдено ли в Плёсе «святилище Велеса»? Иваново-Вознесенск : Плес, 2015. С. 56–61.
9. *Виталий (Уткин), игум.* Этнофутуризм и сепаратизм // RELIGARE («Религия и СМИ») [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.religare.ru/2_108394.html 1 (дата обращения: 04.09.2018).
10. *Виттекер, Цинтия Х.* Граф Сергей Семенович Уваров и его время : пер. с англ. Н.Л. Лужецкой. СПб. : Акад. проект, 1999. 348 [1] с.
11. *Власов В.А.* «Радетель российской самобытности» граф Сергей Семёнович Уваров // Известия Пензенского государственного педагогического университета имени В.Г. Белинского. Пенза, 2008. № 13. С. 83 – 88.
12. Духовный регламент Петра I 1721 года // Монастырский хронограф : сайт Синодального отдела по делам монастырей и монашеству Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://monasterium.by/ustavy_i_dokumenty/dokumenty/dukhovnyy-reglament-petra-i-1721-ujl/ (дата обращения: 04.09.2018).

12а. *Зеленин Д.К.* Древне-русская братчина, как обрядовый праздник сбора урожая // Сборник статей в честь академика А.И. Соболевского. Л., 1928.

13. *Иванов В.В., Топоров В.Н.* Исследования в области славянских древностей : Лексич. и фразеол. вопросы реконструкции текстов. М. : Наука, 1974. 342 с.

14. *Ивановский Я.И.* Обозрение церковно-гражданских узаконений по духовному ведомству (применительно к уставу духовных консисторий и своду законов) : С истор. примеч. и прил. : Справ. кн. / сост. Я. Ивановский. 2-е изд. СПб. : Синод. типогр., 1893. XII. 386 с.

15. Из обычаев обонежского народа (Этнографические заметки) // Памятная книжка Олонецкой губернии за 1867 год. Петрозаводск, 1867. С. 131–156.

16. *Иосиф (Баженов), архим.* О крестных ходах вятских // Памятная книжка Вятской губернии на 1870 год. Вятка, 1870. С. 55–74.

17. *Клейн Л.С.* Воскрешение Перуна : К реконструкции восточнославянского язычества. СПб. : Евразия, 2004. 479 с.

18. *Леонтьев А.Е.* Археология мери (К предыстории Северо-Восточной Руси) : автореферат дис. ... докт. ист. наук : 07.00.06. М., 1991. 46 с.

19. *Мансикка В.Й.* Религия восточных славян. М. : ИМЛИ РАН, 2005. 365 [2] с.

20. *Миненко Г.Н.* Западные и российские источники концепта «народность» в идеологии раннего славянофильства // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. Кемерово, 2012. № 19-2. С. 38–52.

21. *Митрофанов В.В.* Некролог С.Ф. Платонова о графе А.С. Уварове // Российская археология. М., 2008. № 4. С. 167–169.

22. Официальное донесение из села Великорецкого о некоторых древних порядках и обычаях при празднестве в честь чудотворной иконы святителя Николая // Вятские епархиальные ведомости. 1869. № 4.

23. *Парсамов В.С., Удалов С.В.* Сергей Семенович Уваров // *Уваров С.С.* Избранные труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент.: В.С. Парсамов, С.В. Удалов ; пер. В.С. Парсамова. М. : РОССПЭН, 2010. С. 5–55.

24. *Полякова М.А., Фролов А.И.* Ревнители московских древностей : Алексей Сергеевич Уваров. 1825–1884; Прасковья Сергеевна Уварова. 1840–1924 // Краеведы Москвы. (Историки и знатоки Москвы) : Сборник : в 3 кн. / сост.: Л.В. Иванов, С.О. Шмидт. М. : Книжный сад, 1995. Кн. 2. С. 48–64.

25. *Попов А.* Пиры и братчины // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Николаем Калачовым. М., 1854. Кн. 2. Пол. 2. С. 19–41.

26. *Проскурина В.Ю.* Мифы империи: литература и власть в эпоху Екатерины II. М. : Новое лит. обозрение, 2006. 322 [1] с.

27. *Рачинский А.* Большая «семья» Жозефа де Местра в России // Тетради по консерватизму. М., 2017. № 1. С. 21–31.

27а. *Седов В.В.* К вопросу о жертвоприношениях в Древнем Новгороде // КСИА. М., 1957. Вып. 68.

28. *Сивакова Д.В.* Истоки философско-мифологической концепции графа С.С. Уварова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. М., 2015. № 3. С. 52–57.

29. *Смолич И.К.* История Русской церкви 1700–1917 // История Русской церкви. М. : Изд-во Спасо-Преображ. Валаам. монастыря, 1996. Кн. 8. Ч. 1. 798 [1] с.

30. *Соловьев С.М.* Братчины // Русская беседа, 1856. Т. IV. М., 1856. С. 108–117.

31. *Спицын А.А.* Свод летописных известий о Вятском крае. Вятка : Губерн. типогр., 1883. 44 с.

32. *Терновская О.А., Толстой Н.И.* Братчина // Славянские древности : Этнолингвистический словарь / под ред. Н.И. Толстого. М., 1995. Т. I. С. 256–257.

33. *Уваров А.С.* Меряне и их быт по курганным раскопкам : Исслед. гр. А.С. Уварова. М. : Синод. типогр., 1872. [8], 217 с. 1 л. карт.

34. *Уваров С.С.* Избранные труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент. В.С. Парсамов, С.В. Удалов ; авт. пер. В.С. Парсамов. М. : РОССПЭН, 2010. 719 с.

35. *Уваров С.С.* Циркулярное предложение г. управляющего Министерством народного просвещения начальствам учебных округов, о вступлении в управление министерством // Журнал Министерства народного просвещения. 1834. Ч. 1. № 1. С. XLIX–L (Отд. 2. «Министерские распоряжения»).

36. *Федорук В.Н.* Церковь и государство в России во второй четверти XIX в. в свете мнений и отзывов духовных лиц николаевской эпохи // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. СПб., 2012. Т. 13. № 1. С. 7–15.

37. *Щипков А.В.* До и после политики. М. : Пробел-2000, 2016. 132 с.

Аннотация. Статья посвящена анализу ряда положений концепции известного русского консерватора первой половины XIX столетия графа С.С. Уварова. Его взгляды, несмотря на их консервативную презентацию, рассматриваются как европейски ориентированные, модернистские и прогрессистские. Автор считает, что С.С. Уваров продолжил традицию русской политической мысли XVIII века, связанную с искусственным конструированием мифологии истории. Показано, что значительное влияние на данную традицию через Малороссию и малороссов оказали польские авторы предшествующих веков. В целях уточнения понятия «народность» уваровской триады в статье впервые в современной исторической науке вводится в оборот значительный массив данных, касательно некоторых вошедших в жизнь Церкви странных обычаев, иногда интерпретируемых как пережитки язычества. Подчеркивается, что государственная власть в уваровский период не выступала против ряда этих обычаев. На впервые вводящемся в научный оборот материале архивных источников показано, что, несмотря на официальное провозглашение приверженности Православию, Православная Церковь в уваровский период подвергалась жесткой рационалистической регламентации, а разглашение сведений о чудесах, даже вполне доказанных, было практически запрещено. Священство превращалось в мелких государственных чиновников, подпавших в зависимость от государственной машины.

Ключевые слова: С.С. Уваров, православие, самодержавие, народность, консерватор, консерватизм, прогрессизм, модернизм, мифология истории, братчины, крестные ходы, громовые стрелы, чудеса, чудотворная икона, монастырь, духовенство.

Abbot Vitaly (Utkin Igor Nikolayevich), Secretary, Council of Bishops, Ivanovo Metropolia; Secretary, Academic Council, Ivanovo-Voznesensk Theological Seminary, Head, Missionary Department, Ivanovo-Voznesensk Diocese, Postgraduate Student, SS Cyril and Methodius Theological Institute, Post-Graduate Studies. E-mail: inok_vitl@mail.ru

Historical Mythology, Nationality and Orthodoxy in Count Uvarov's Conception (To the Problem Development)

Abstract. In the article the author analyses certain conception theses of Count S.S. Uvarov, one of the prominent Russian conservatives in the first half of the 19th century. His views in spite of their conservative presentation are considered to be Europe oriented, modernistic and progressive. According to the author, S.S. Uvarov kept on the tradition of Russian political ideas of the 18th century that was related to the artificial creation of the historical mythology. The author demonstrated the strong influence of Polish thinkers on this tradition via Malorossia (Little Rus') and Malorussians (Little Russians). To specify the term "nationality" in Uvarov's triad, the author for the first time in historical science uses in this article the broad data array regarding some specific Church traditions that are sometimes viewed as relics of the pagan era. The author points out that the state authorities in Uvarov's time did not oppose those traditions. On the basis of the archival documents for the first time used in scientific research, the author shows that in spite of the officially proclaimed commitment to Orthodoxy, the Orthodox Church in Uvarov's time was subjected to strict rationalistic regulation when disclosing information on the miracles, even well-proven, was practically forbidden. The clergy was gradually turned into low-level state officials depending strongly on the wheels of state.

Keywords: S.S. Uvarov, Orthodoxy, Autocracy, Nationality, Conservative, Conservatism, Progressivism, Modernism, Historical Mythology, "Bratchiny", Religious Processions, Thunder Arrows, Miracles, Miracle-Working Icons, Monastery, Clergy.

Служение Уварова: образование как nation-building

Раздел второй

А.Ю. Минаков
Предтечи С.С. Уварова в поисках идеологического обоснования правительственной политики в области народного просвещения в 1817–1825 годах

М.А. Волхонский
Лазаревский институт восточных языков в политике министра народного просвещения С.С. Уварова.1830-е–1840-е годы

В.В. Ванчугов
Роль «триады» Уварова в трансформации отечественной философии

А.И. Любжин
Две модели русского образовательного классицизма. Граф С.С. Уваров и граф Д.А. Толстой

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-1-145-164

Аркадий Минаков

Предтечи С.С. Уварова в поисках идеологического обоснования правительственной политики в области народного просвещения в 1817–1825 годах

По окончании Отечественной войны 1812 года и зарубежных походов русской армии 1813–1814 годов Александр I взял курс на создание «общехристианского», или «евангельского» государства, идеологической основой которого был экуменический вариант христианства и протестантский мистицизм. Западническая ориентация императора подталкивала его к принятию того надконфессионального варианта христианства, который был бы «выше» и православия, и католичества и протестантизма. Общехристианское содержание должно было возобладать над догматическими различиями.

На принятие подобного курса повлияла общая идейная атмосфера на Западе во второй половине царствования Александра I. Резко усилились реставрационные настроения, ядром которых являлось христианство, интерпретированное исключительно в консервативном и антиреволюционном духе. Ф. фон Баадер заявлял: «…для действительного искоренения революции, необходимо поднять дух истинного христианства и оживить им все общество и государство. <...> Истинная теократия должна заступить место демократии. Элемент языческий должен быть устранен из жизни общественной. На основах евангельского учения должно быть создано новое народное право» [1, с. 473–474]. Подобные идеи вполне совпадали с намерением императора Александра I пересоздать всю политическую систему на основе христианской этики, изжить национальный эгоизм, источник войн и разорения, и применить к политике мораль Евангелия. В Священном союзе, который был внешнеполитической проекцией «общехристианского» государства, он «вполне искренне видел <…> орудие всеобщего и полного обновления, своего рода символ завершения апокалиптической схватки Добра со Злом, которая должна предшествовать последним временам, предваряющим наступление Царства Божия» [2, с. 84].

Подобного рода установки вскоре отразились на одной из наиболее тонких и чувствительных сфер государственной и общественной жизни – политике в области образования и науки.

24 октября 1817 года Министерство народного просвещения было преобразовано в Министерство духовных дел и народного просвещения [3, с. 84]. Эта реформа была обусловлена желанием соединить светское европейское образование с традициями западноевропейского мистицизма и масонства и одновременно православного просвещения. В записке, обосновывающей создание объединенного министерства, говорилось, что «разрушительный дух последнего столетия распространил вредную мысль о непримиримой вражде, долженствующей существовать между религией и наукой. За сию пагубную мечту Европа заплатила реками крови и слез». В ней также содержался призыв «освятить науки духом религии и вместе вооружить религию всеми пособиями наук» [3, с. 70–71].

Минаков Аркадий Юрьевич, доктор исторических наук, профессор Воронежского государственного университета. E-mail: minak.arkady2010@yandex.ru

Вновь образованное министерство состояло из двух департаментов: духовных дел и народного просвещения. Во главе первого находился А.И. Тургенев, второго – один из главных представителей мистицизма того времени В.М. Попов, секретарь Библейского общества. А.И. Тургенев, занимавший также пост секретаря комитета Библейского общества, был одним из образованнейших людей своего времени, являлся членом знаменитого литературного общества «Арзамас». В.П. Попов был одним из самых активных участников мистического общества «пророчицы» Е.Ф. Татариновой-Буксгевден.

После создания Министерства духовных дел и народного просвещения (в литературе его иногда для краткости называли «сугубым», то есть двойным, объединенным) изменения в консервативном духе произошли прежде всего в области просвещения, науки и цензуры. На практике их осуществляли такие деятели министерства, как министр А.Н. Голицын, А.С. Стурдза, М.Л. Магницкий, Д.П. Рунич. Руководящим органом «сугубого» министерства стало Главное правление училищ, где, по словам историка науки В.В. Григорьева, заседали «ретрограды-честолюбцы», составившие кружок «властолюбивых мистиков» [4, с. 33–34]. При Главном правлении училищ был учрежден Ученый комитет, состоящий из нескольких членов. Повседневная работа Главного правления училищ должна была заключаться в выполнение программы, записанной в предварительных правилах народного просвещения: «в открытии или преобразовании университетов, в учреждении многочисленных средних и низших училищ, во введении новых начал в народное образование, согласно с требованиями времени» [5, с. 28]. Однако на практике Главное правление училищ, по словам либерального историка М.И. Сухомлинова, стало насаждать в подведомственных учреждениях «начала веры и монархизма, торжество Откровения и покорности властям над порывами разума и воли, представленных самим себе и неподчиненных никакому авторитету» [5, с. 159–160]. В 1819 году было предписано учредить специальные кафедры «богопознания и христианского учения» во всех российских университетах. Посещение лекций по богословию было обязательным в течение трех лет обучения [3, с. 47–48].

Образцами для подражания были выбраны католические учреждения и система религиозного воспитания, принятые во Франции и в Австрии [5, с. 161]. В этих государствах в 1820-х годах религия и монархизм были провозглашены началами народного воспитания, «при выборе преподавателей предписано руководствоваться их религиозностью <…> Ревнители католичества, предлагая советы по устройству высших учебных заведений в России, восхваляли безбрачие профессоров, затворничество студентов, требовали уничтожения вредных книг» [5, с. 190].

Главной фигурой, осуществляющей реформу в области народного просвещения, стал Александр Николаевич Голицын (1773–1844) [6–8]. Это был деятель с консервативной репутацией, однако вариант консерватизма, который он отстаивал, существенно отличался от магистрального направления русского консерватизма, в основе которого лежали прежде всего православные ценности и патриотизм, что в дальнейшем привело к острому конфликту между Голицыным и православными консерваторами. Голицын принадлежал к княжескому роду XVI века литовского происхождения и был прямым потомком князя Б.А. Голицына, воспитателя Петра I. Он родился в бедной дворянской семье, но благодаря знакомству матери Голицына с камер-фрейлиной Екатерины II М.С. Перекусихиной был представлен императрице и воспитывался за ее счет в Пажеском корпусе. Определяющую роль в его судьбе сыграло то обстоятельство, что он стал другом детства и юности великих князей Константина Павловича и Александра Павловича (впоследствии императора Александра I), что предопределило всю его дальнейшую карьеру. В 1794 году Голицын был назначен в придворный штат великого князя Александра Павловича камер-юнкером, затем в 1797 году – действительным камергером императорского двора. 21 октября 1803 года он был назначен обер-прокурором Синода и статс-секретарем с правом личного доклада

императору Александру I, поскольку император желал видеть на этом посту лично преданного ему человека [9]. После назначения обер-прокурором Голицын, ранее слывший «веселым эротоманом», «вольтерьянцем» и «эпикурейцем», впервые в жизни прочитал Новый Завет и изменил прежний образ жизни: стал уклоняться от посещения театров, пытаться соблюдать посты, постоянно причащаться, читать Библию, литературу религиозного содержания, встречаться и беседовать с авторитетными представителями различных конфессий, периодически испытывать «мистические восторги» и т.д. Хорошо знавший его А.С. Стурдза вспоминал: «Несмотря на жалкие недостатки светского образования, на скудость познаний и прежнюю крайне-рассеянную жизнь, Голицын, по какому-то чувству приличия, остепенился, принялся за труд, бросил кощунство и переменил все наружные приемы» [10, с. 268]. Кроме того, Голицын обзавелся собственной домовой церковью, в которой стояло «подобие гроба», которое было приставлено «к подножию огромного деревянного креста; на гробе положена плащаница, принадлежащая церкви, на этой плащанице укладены различных видов кресты, подаренные в разное время и от разных людей князю. В этой комнате нет лампады, но пред гробом вместо люстры сделано из пунцового стекла изображение человеческого сердца, и в этом-то сердце теплится неугасимый огонь <…> В этой уединенной каморке маливался [молился – *А.М.*] вместе с князем и блаженной памяти император Александр» [11, с. 370–371].

Взгляды Голицына сформировались под влиянием модной тогда западноевропейской мистической литературы (И.-Г. Юнг-Штиллинг, К. фон Эккартсгаузен и пр.). Он индифферентно относился к различию догматов христианских конфессий, считая их равноценными, и стремился к воплощению идеала западноевропейских мистиков: соединению всех вероисповеданий в лоне «универсального христианства» ради водворения Царства Божия на земле. Голицын мог считать себя православным, одновременно молитвенно общаясь и ведя благочестивые беседы и переписку с архимандритом Фотием (Спасским) и иеромонахом (впоследствии митрополитом Московским) Филаретом (Дроздовым), а также с баронессой Крюденер, английскими методистами и квакерами, иезуитами, гернгутерами, Е.Ф. Татариновой, русскими скопцами, «духоносцами», порвавшими с католичеством проповедниками Линдлем и Госснером, сомнительными визионерами и ясновидцами и пр.

Представляется, что наиболее точно существо взглядов Голицына выразил хорошо знавший его Д.П. Рунич: «Окруженный православными монахами, священниками и епископами и английскими, лютеранскими или протестантскими методистами, проникнутый духом библейских и иных иностранных христианских обществ, министр духовных дел и народного просвещения простодушно считал возможным помирить все эти несогласия и подчинить вместе с тем философию религии» [12, с. 379].

В практической своей деятельности Голицын, однако, был по-своему последователен и логичен. Он предпринял меры к усилению власти обер-прокурора, для того чтобы активно влиять на решение дел в Синоде. При Голицыне резко усилилось влияние светской власти на дела церкви, был установлен строгий контроль за деятельностью синодальных чиновников и секретарей провинциальных духовных консисторий, установлен новый порядок делопроизводства, проводилась борьба с пьянством среди духовенства. С учреждением в июне 1810 года Главного управления духовных дел инославных исповеданий (римско-католического, униатского, армянского, евангелически-лютеранского, реформатского, магометанского и иудейского), которое было выделено из состава Министерства юстиции, Голицын стал его начальником, оставшись в должности обер-прокурора Синода. Помимо этого Голицын с 1810 года являлся членом Государственного совета, а с 1812-го – еще и сенатором.

В 1812 году именно он стал одним из тех мистиков, кто увлек Александра I чтением Нового Завета, а затем Библии, повлияв тем самым на формирование религиозных

взглядов императора, проделавшего, подобно Голицыну, сложную духовную эволюцию от деизма к «универсальному христианству». В 1812 году после ходатайства английского пастора Д. Петерсона об открытии в России Библейского общества Голицын организовал и возглавил Петербургское Библейское общество, в котором было исключительно сильно влияние протестантов, мистиков западноевропейского толка, сектантов и масонов. При этом Голицын всемерно поощрял перевод и издание книг мистического содержания, порой содержащих откровенно антиправославные взгляды, и широкое их распространение через структуры Библейского общества. Одновременно Голицын запрещал произведения ревнителей православия, опровергавших положения мистиков, и даже принимал против них репрессивные меры. В 1819 году Голицын был назначен главноначальником над почтовым департаментом, что позволяло ему беспрепятственно и оперативно распространять по всей России произведения западноевропейских мистиков и выполнять важную в глазах императора функцию – перлюстрацию частных писем.

Следует отметить, что Голицын был прежде всего исполнителем воли императора и крупным государственным сановником. Идейными вдохновителями консервативного курса в области образования, цензуры и конфессиональных отношений были другие лица.

Так, большой вклад в разработку идеологической доктрины «сугубого» министерства внес Александр Скарлатович Стурдза (1791–1854), чиновник Министерства иностранных дел, дипломат, советник Александра I по вопросам внешней и внутренней политики, религиозный философ и публицист [13, 14]. В.А. Жуковский называл Стурдзу «нашим Платоном христианским» [15, с. 53], а современные историки определяет его роль в 1811–1819 годах как «не просто официального публициста, а личного рупора императора» [16, с. 275]. Это очень высокие оценки как интеллектуальных, так и политических возможностей Стурдзы. Род Стурдза являлся одним из самых влиятельных в Молдавском княжестве. Вскоре после рождения сына Александра семья эмигрировала в Россию. Александр Скарлатович получил домашнее образование, овладев несколькими языками, изучая богословие, философию и историю. Высшее образование он получил, слушая лекции в германских университетах. С помощью связей его сестры Роксандры Стурдзе удалось проникнуть в большой свет. Роксандра же к 1811 году стала не только любимой фрейлиной императрицы Елизаветы Алексеевны, но и конфиденткой государя [17, с. 137]. В то время А.С. Стурдза примкнул к сторонникам «архаиста» и одного из столпов нарождавшегося русского консерватизма А.С. Шишкова и являлся членом литературного общества «Беседа любителей русского слова», объединившего в своих рядах консервативных интеллектуалов. По словам тонкого историка той эпохи А.Н. Шебунина, «многое из идейного обихода этой литературно-политической организации навсегда вошло в его мировоззрение <...> православие, и народность, и интерес к церковно-славянскому языку, и глубокая антиреволюционность – это что от Беседы получил Стурдза» [18, л. 3–4]. Подобно Шишкову, Стурдза определял связь языка с морально-политическим развитием народа, подчеркивая в то же время «разрушительные» свойства «чудовищных неологизмов», созданных эпохой Французской революции 1789 года.

В 1809 году Стурдза заступил на дипломатическую службу, в 1813 году был пожалован в звание камер-юнкера, а в 1815 году стал статс-секретарем по иностранным делам. Его сестра Роксандра через императрицу Елизавету Алексеевну добилась от Александра I, чтобы тот включил Стурдзу в состав делегации, отправляющейся на Венский конгресс.

Стурдза в зрелые годы решительно отрекался от западноевропейского мистицизма и Библейского общества, настаивая на своей приверженности православию и возлагая ответственность за насаждение мистицизма в России на князя А.Н. Голицына [10, с. 272]. Однако ряд данных свидетельствует о том, что он не избежал достаточно близкого зна-

комства с мистиками. Так, сближение Александра с баронессой В. Крюденер произошло через Роксандру Стурдзу. Но ничего не надо преувеличивать. В литературе имеется «фантастическая история» [1, с. 327] о якобы имевшем место заговоре мистиков и хилиастов, ставившем «целью подчинить русского императора влиянию “верующих”, сделать его главою “Нового Израиля” и воспользоваться им для конечного осуществления своих фантастических целей» [1, с. 325], причем Роксандра якобы завербовала своего брата Александра в этот кружок и он сделался «одним из интимнейших друзей Юнга-Штиллинга» [1, с. 326]. Здесь правдой является только то, что Стурдза через Роксандру был знаком с И.-Г. Юнгом-Штиллингом. Ни в каких мифических «совещаниях магов» он участия не принимал. Вся жизнь Стурдзы и его духовная эволюция свидетельствуют о его приверженности православию. Если и было у него увлечение мистицизмом, то кратковременное, и оно не оказало на его взгляды сколько-нибудь существенного влияния. Представляется справедливым мнение В.С. Парсамова: «Мистицизм молодого Стурдзы был всего лишь данью тогдашней придворной моде и в первую очередь следствием влияния на него сестры Роксандры, допущенной в наиболее интимный круг мистиков, окружавших Александра I в 1810-е гг.» [13, с. 11–12].

В 1815 году Стурдза на Венском конгрессе выступил в роли переводчика. В сентябре 1815 года именно он редактировал акт Священного союза. Стурдза в принципе не мог внести в проект каких-либо новых мыслей и «ограничился лишь поправкою некоторых выражений и редактированием проекта» [1, с. 623]. Но в целях пропаганды идей Священного союза он написал на французском языке трактат «Размышления об учении и духе православной церкви». Этот труд Стурдзы «Государь принял <…> благосклонно» [19, с. 14]. Трактат Стурдзы стал первым «за продолжительное время современной апологией православия, написанной светским лицом» [20, с. 525]. Стурдза полагал, что православие может сочетаться с идеей Священного союза из-за необходимости объединить силы всех христиан для борьбы с «неверием рационализма». Он возлагал надежды на то, что Священный союз приведет к духовному возрождению Европы и стремился к тому, чтобы идеология такого союза учитывала национальные русские особенности, в частности, специфику православной религии.

Большая часть книги Стурдзы была посвящена «обоснованию того тезиса, что именно православие осталось верным основам христианства, заложенным в первые века его существования, между тем как на Западе исказился дух христианского учения» [13, с. 104]. Заявляя, что «независимость народов, свобода духа, успехи просвещения – совместимы с истинной религией», то есть с православием, Стурдза советует заняться пропагандой православия в разъедаемой религиозными распрями Германии» [18, л. 12]. Европе необходимо полное духовно-политическое обновление, которое и призван осуществить Священный союз [21, с. 146].

«Платоном христианским» В.А. Жуковский назвал Стурдзу именно после прочтения этой книги. Сам Стурдза в своих позднейших воспоминаниях о Н.М. Карамзине утверждал, что его книга «заслужила внимание и одобрение Николая Михайловича, хотя многое выходило в ней из круга тогдашних мыслей и убеждений его» [22, с. 149].

Взгляды Стурдзы в основном сложились к 1816 году. Он был противником идеологии Просвещения, будучи убежден в том, что как «просвещенный абсолютизм», так и либерализм одинаково опасны для традиционно-монархического миропорядка, одинаково посягают на исторически сформировавшийся, Богом сотворенный миропорядок. Стурдза, как и все консерваторы, усматривал в религии и национальном характере главные опоры общества. Религия являлась для него главным источником нравственности и существенным аспектом национальной культуры. Понимая неизбежность перемен, Стурдза тем не менее был категорическим противником революционных ломок. Общественным идеалом для него выступала самодержавная монархия, освященная Право-

славной церковью, со строгой сословной иерархией, цензурой, охраняющей начала религии и нравственности.

После завершения Венского конгресса и подписания акта Священного союза Стурдза возвратился в Россию, где в начале января 1816 года продолжил свою деятельность в Министерстве народного просвещения. Послужной список Стурдзы начиная с 1816 года оказался богат событиями: он находился в должности члена Совета Императорского человеколюбивого общества, в 1818 году участвовал в совещаниях и деятельности Главного правления училищ, лично «пересмотрел немалое число учебных книг», составил первый проект устава Нежинской гимназии, редактировал устав Московского университетского Благородного пансиона. Кроме того, он разработал проект цензурного устава, «внушающий много указаний и правил новых, признанных полезными», и план «Классического сочинения для преподавания естественного права со всеми потребностями» [23, л. 2].

В эти годы большое влияние на активизацию деятельности консерваторов в области образования и цензуры оказали нарастающие революционные события в Германии: студенческие волнения в германских университетах и террористические акты против неугодных либералам деятелей. На совещании министров германских государств в Карлсбаде был принят целый ряд мер против университетских прав и свобод: ограничена автономия университетов, запрещены любые тайные общества в них, резко усилен надзор уполномоченных правительством чиновников над профессурой и студенчеством. Если по донесению этих чиновников профессор обвинялся в неблагонадежности, то он подлежал немедленному увольнению, причем никакое из германских государств не должно было предоставлять ему кафедры; исключенных студентов запрещалось принимать в другие университеты, и т.д. Одновременно с этим вводилась цензура для всех периодических изданий. Инициатором всех мероприятий был К. Меттерних [24, с. 476]. Консервативный поворот в Германии сказался и на политике в области просвещения и цензуры в России.

В 1818 году Стурдза, считавшийся знатоком германского вопроса, принял участие в карлсбадском совещании, на котором обсуждался университетский вопрос, вызванный студенческими беспорядками в университетах Пруссии, а затем – в качестве эксперта по германскому вопросу – на Аахенском конгрессе Священного союза. Александр I дал Стурдзе поручение составить особую записку для участников конгресса, в которой давалась оценка событиям сложившейся предреволюционной ситуации в Германии. Негласным консультантом Стурдзы во время его работы над запиской был Ф. фон Баадер [13, с. 163].

Записка Аахенскому конгрессу первоначально была напечатана только для членов конгресса в количестве пятидесяти экземпляров, ее должны были раздать в обстановке строгой секретности, но против воли конгресса и самого Стурдзы она в конце 1818 года попала в «Таймс», а оттуда была перепечатана немецкими газетами. В этой записке Стурдза утверждал, что политическая ситуация в Германии была порождена немецкими традициями высшей школы. Он подвергал критике автономию университетов, универсализм знаний, рационализм. Для него университеты были рассадниками революционного духа и атеизма.

Большинство положений «Записки» Стурдзы были одобрены кабинетами Австрии и Пруссии. Иначе отнеслись к ней немецкие радикалы и либералы. Они не могли примириться с тем, что «иностранец вмешивается во внутреннее устройство Германии и является истолкователем ее нужд перед лицом европейского конгресса» [5, с. 183–184]. В итоге инициатива Стурдзы невольно спровоцировала террористические акты против правительственных чиновников со стороны немецких студентов. Наиболее громким делом такого рода было убийство в марте 1819 года студентом К. Зандом писателя А. Коцебу, которого либеральное общественное мнение подозревало в «шпионаже» в пользу России и который публично защищал идеи записки Стурдзы. Сам Стурдза был вызван в апреле 1819 года на дуэль двумя немецкими студентами, но отказался от участия в ней. Перенеся

серьезную операцию на глазах, в апреле 1819 года он покинул Германию, возвратился в Россию и уединился в семейном имении Устье.

По приглашению министра духовных дел и народного просвещения, князя А.Н. Голицына, Стурдза с февраля 1818 года принял участие в совещаниях и деятельности Главного правления училищ. Он был также избран членом Ученого комитета, и в этом звании занимался составлением инструкций, проектов в области народного просвещения, а также пересмотром учебных книг [25, с. 196]. В итоге Стурдза получил статус ключевой фигуры в Главном правлении училищ при Министерстве духовных дел и народного просвещения, активно выступая в пользу распространения религиозного образования. «Наставление для руководства Ученого комитета, учрежденного при Главном правлении училищ», составленное Стурдзой 5 августа 1818 года, стало документом, который идеологически направлял всю работу Министерства духовных дел и народного просвещения. Главное правление училищ решило «утвердить инструкцию во всей ее силе, и правила, в ней заключающиеся, предоставить к точному исполнению» [5, с. 194].

В Наставлении главная цель определялась как достижение «спасительного согласия между верою, ведением и властию: или другими выражениями, между Христианским благочестием, просвещением умов, и существованием гражданским» [26, с. 187–188]. Причем, что особенно важно подчеркнуть, сам Стурдза говорил не об универсальном христианстве, а именно и только о Православии. Ученый комитет рекомендует лишь православные книги: «Точную и буквальную сообразность преподаваемого православному юношеству с Никейско-Цареградским символом веры, во всем, что касается Божества и Святой Соборной и Апостольской нашей церкви <...> Православное учение о всех заповедях Божиих и правилах церковных, без всякого произвольного истолкования, не обретаемого в утвержденных Церковию книгах, сколь бы впрочем сии толкования или применения ни были благовидны» [26, с. 196–197].

Инструкция предполагала существенные ограничения в преподавании философии и естественного права: «допускать в преподавании токмо те книги о нравственной Философии и умозрительном Законодательстве, <...> кои не противоречат практическому христианству. <...> Теории о Естественном Праве, основанные на ложном понятии о некоем первобытном состоянии человека, в котором он уподобляется животным, также надлежит отвергнуть. <...> Ложные учения о происхождении верховной власти не от Бога, а от условия между людьми, подлежат тому же отвержению» [26, с. 199].

Следует особо отметить то обстоятельство, что наставление было одобрено архимандритом Филаретом (Дроздовым), одним из самых выдающихся православных богословов XIX века (канонизирован в 1994 году), о чем впоследствии вспоминал Стурдза: «…когда князь Голицын возложил на меня составить руководство ученому комитету для рассмотрения и введения учебных книг по всем отраслям науки, – я, написав свой проект, тотчас отправился в лавру, явился в келью Филарета и вместе с ним читал мое предначертание. Он показался мне чрезвычайно довольным...» [27, с. 4]. Знакомство Стурдзы с Филаретом произошло в 1816 году, с тех пор они заседали вместе в Императорском человеколюбивом обществе и Главном правлении училищ. Особенно сблизил их разбор рукописи книги Стурдзы «Размышления об учении и духе православной церкви» [27, с. 4]. Одобрение Филарета не могло быть случайностью. Раздел Наставления «О духовных книгах» свидетельствует о том, что Стурдза предлагал положить в основу религиозного образования исключительно православное учение [28, с. 186].

Еще одной важной фигурой консервативного лагеря стал в этот период Михаил Леонтьевич Магницкий (1778–1844), который по протекции А.Н. Голицына в январе 1819 года был назначен членом Главного правления училищ при Министерстве духовных дел и народного просвещения [29]. Магницкий был правнуком знаменитого создателя учебника арифметики

Л.Ф. Магницкого. Окончив в 1795 году с отличием Благородный пансион при Московском университете, он в 1798 году поступил в Коллегию иностранных дел и в течение двух лет служил секретарем посольства в Вене. В 1801–1803 годах Магницкий состоял при российском после в Париже. По возвращении в Россию он был назначен в 1803 году начальником отделения в Экспедицию государственного благоустройства Министерства внутренних дел. В это время Магницкий сблизился с М.М. Сперанским и стал его ближайшим сподвижником. С 1810 года Магницкий занял пост статс-секретаря Департамента законов Государственного Совета, тогда же он вступил в масонскую ложу «Полярная звезда».

В марте 1812 года Магницкий был арестован по делу Сперанского и выслан в Вологду. По окончании Отечественной войны и зарубежных походов русской армии император вспомнил об опальных друзьях. 30 августа 1816 года по высочайшему указу Сперанский был назначен пензенским гражданским губернатором, а Магницкий – воронежским вице-губернатором. На этом посту Магницкий вскрыл значительные злоупотребления местных властей. В июне 1817 года он был назначен симбирским гражданским губернатором. В его мировоззрении начинают происходить весьма радикальные перемены. Так, Магницкий в духе того времени увлекся западноевропейскими мистическими учениями. В письме к Сперанскому от 12 сентября 1817 года он писал: «Молитесь за нас, как мы за вас уже несколько лет молимся. Особливо за обедней в страшные минуты совершения таинства, вспоминайте о друзьях ваших. Не забудьте прислать мне продолжение переписки вашей о молчании. Вообразите, что Хвостова [А.П. Хвостова (1768–1853), писательница, поклонница западноевропейской мистики – А.М.] с вами встретилась, в полученной здесь книжке «Сионского вестника» помещено ее сочинение отменно близкое к вашим мыслям» [30, л. 1–1 об.]. Далее он просит совета у Сперанского, как у деятеля, более опытного в духовной сфере: «Скажите, как мне приняться за открытие здесь библейского общества» [30, л. 1 об.]. Вскоре Магницкий сблизился с князем А.Н. Голицыными и по его протекции 25 января 1819 года был назначен членом Главного правления училищ [31, л. 11].

Ему было поручено обревизовать Казанский университет, о котором ранее неоднократно поступали «весьма неблагоприятные известия». Магницкому были предоставлены права попечителя учебного округа; университетский совет обязан был удовлетворять безотлагательно всем его требованиям, а «сношениям университета с министром предназначено было происходить не иначе как чрез его посредство» [24, с. 481–482].

Ревизия Казанского университета, осуществленная Магницким, обычно интерпретировалась в отечественной историографии исключительно как «погром», как одна из самых реакционных и зловещих мер александровской политики того времени. Миф о погроме стал одним из важнейших элементов, на которых держалась историографическая конструкция «реакционного поворота 1820-х годов», в которой казанская ревизия приобрела характер важнейшего, знакового события, ключевого для внутренней политики этого периода, став своего рода символом мракобесия, обскурантизма и крайней реакции. Историки и публицисты обвиняли Магницкого в невежестве, незнании особенностей университетской жизни, предвзятости, карьеризме, интриганстве. Утверждалось, что сроки, в которые была проведена ревизия, были чрезмерно краткими, для того чтобы выявить объективную картину состояния Казанского университета. Подразумевалось, что ревизия была вызвана политическими, а не академическими мотивами, и уж тем более – не какими-либо вопиющими злоупотреблениями, поскольку университет был заведомо вне подозрений в силу того, что являлся «заповедником» свободы и прогресса. Общим местом стало утверждение об изгнании Магницким из университета лучших профессоров с последующей их заменой на благонадежных гимназических учителей – априори недостойных, интриганов и льстецов, пресмыкающихся перед новым попечителем. Утверждения эти, сформулированные

в 60-х годах XIX века преимущественно противниками Магницкого и либеральными мемуаристами, публицистами и историками, повторяются из исследования в исследование, создавая иллюзию исчерпанности темы. Однако обращение к самим материалам ревизии позволяет существенно уточнить картину произошедшего [32, л. 14–53].

Так, в отчете о ревизии реакционные политические мотивы, которыми, как часто утверждают, Магницкий руководствовался в огромной степени, почти не прослеживаются. В этом документе совершенно очевидно преобладают мотивы академического свойства, стремление проверить финансовое состояние университета, его административно-хозяйственную часть и пр. Текст доклада, равно как и подробности биографии Магницкого, позволяют утверждать, что он был чиновником, достаточно сведущим и компетентным в вопросах университетской жизни. Оснований говорить о поверхностности и поспешности ревизии из-за отсутствия у Магницкого времени нет. Изучение дел на месте длилось почти две недели, а отчет составил четыре тома (5 тыс. листов) [33, с. 24].

Итоговый текст отчета о ревизии рисует несомненные вопиющие недостатки, злоупотребления и должностные преступления в деятельности Казанского университета. Речь в нем шла о растрате очень значительных сумм из университетского бюджета, огромных по тем временам расходов на обучение с минимальной отдачей, липовой отчетности, фальсификациях экзаменов, сомнительном уровне квалификации значительной части преподавателей и профессуры и их не менее сомнительном моральном уровне, разваливающихся учебных корпусах, злоупотреблениях в использовании имеющихся площадей, когда студенты вынуждены были ютиться в грязных помещениях, в антисанитарных условиях, при неисправных противопожарных средствах; закупке дров, свечей и провианта по завышенным ценам у «своих» подрядчиков.

При этом характеристики, данные Магницким профессорско-преподавательскому составу университета, были зачастую точны и объективны. Отметим, что он выделил как выдающихся ученых математика Н.И. Лобачевского («есть человек отлично знающий» [34, с. 137]) и астронома И.М. Симонова («подающий самую большую надежду на будущее время» [34, с. 136]), участника полярной экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева.

Магницкий поддерживал этих двух ученых и в дальнейшем. Ф.А. Петров пишет, что «именно при Магницком начинается административная карьера Н.И. Лобачевского, который с 1820 по 1825 год практически ежегодно избирался деканом физико-математического отделения», что было бы невозможно, если бы не было санкционировано Магницким. Он же «способствовал включению Симонова в состав кругосветной научной экспедиции, прославившей имя Симонова, после возвращения из которой он стал в 1822 году, одновременно с Лобачевским, ординарным профессором, а в 1822/1823 учебном году избирался деканом физико-математического факультета». Кроме того, А.Ф. Петров отмечает, что в штате физико-химического факультета «оставались и другие опытные педагоги, в частности, профессор прикладной математики Г.Б. Никольский, избранный в 1820 году ректором Казанского университета, а после своего ухода с поста в 1823 году занявший должность директора (1823–1824 и 1826)» [3, с. 104–105].

Особое внимание стоит обратить на то, как следует понимать ставшую «хрестоматийной» фразу Магницкого о том, что университет «по непреложной справедливости и по всей строгости прав, подлежит уничтожению <…> в виде публичного его разрушения» [34, с. 152]. Из текста ясно, что речь идет о системе мер, целесообразность которых можно оспаривать, но которые сами по себе не были реакционными и обскурантскими: укрепление уже существовавшей гимназии, с отделением при ней, в котором готовились бы учителя для обширного региона, создание пансиона для «благородного юношества», создание татарского училища, основание медико-хирургического института с анатомическим театром, больницами и ветеринарным отделением и т.д.

Если говорить о ревизии как об акте политической реакции, то в ее материалах есть лишь отдельные акценты, которые можно интерпретировать как консервативные. Такого рода мотивы прослеживаются тогда, когда Магницкий отмечает отсутствие в учебных программах Закона Божия (что противоречило общему курсу Министерства духовных дел и народного просвещения), невежество студентов в знании этой дисциплины; дух деизма, свойственный студенческой массе, выдвигает претензии к преподаванию философии (при этом его обвинения сводились к тому, что профессор философии «руководствуется духом не весьма полезным и по счастию преподает лекции свои так дурно, что их никто не понимает» [34, с. 135]). Кроме того, в отчете имеется несколько выпадов против преподавания философии (просветительской, рационалистической, материалистической): «без всякого сомнения все правительства обратят особенное внимание на общую систему их учебного просвещения, которое сбросив скромное покрывало философии стоит уже посреди Европы с поднятым кинжалом» [34, с. 152].

Особенно возмущало Магницкого то, что кафедра богословия пребывала вакантною и студенты оказывались крайне слабыми в законе Божием: «Признаюсь вашему сиятельству, – писал он в докладе своем министру, – что, невзирая на вопль ученых и полуученых целой Европы против намерений основать зыблющийся храм наук на едином твердом краеугольном камени, я не постыдился спросить у студентов, наученных профессором философии управляться *нравственным законом*, слыхали ли что-либо о законе Божием, письменном и откровенном, и к величайшему удивлению нашел, что многие из них не знают числа заповедей; другие отвечали мне, что Бог написал их на двух, а не на трех скрижалях, потому что так Ему было угодно; и несмотря на то, что в расписании занимаются они якобы разбором Одиссеи, ни один из тех, коих вопрошал я, не знает, что значит слова *евангелие*. Между тем как сочинения Вольтера выбросил я из библиотеки, отобранной для чтения студентов их инспектором» [35, с. 135].

8 июня 1819 года Магницкий по представлению Голицына был назначен попечителем Казанского учебного округа, а 14 июня получили высочайшее утверждение основания реформы университета. Решено было ввести преподавание богопознания и христианского учения, уволить «ненадежных» профессоров, учредить должность директора для экономической, полицейской и нравственной части, преобразовать гимназию и главное народное училище. Исполнение реформы возлагалось на попечителя [36, с. 119].

Масштабы и идейная направленность чистки «лучших профессоров» в литературе были явно преувеличены. Увольнения происходили прежде всего по причине преклонного возраста, низкой квалификации, пристрастия к алкоголю и т.д. По идейным мотивам был уволен лишь один профессор И.Е. Срезневский, преподававший философию [33, с. 29]. В отчете университета за 1819–1820 годы вполне точно утверждалось: «милосердие покрыло всех виновных: не только ни один из них не подвергся заслуженному взысканию, но, в числе удаленных из университета, люди престарелые получили пенсионы и путевые на проезд в чужие краи издержки, а прочим открыты способы вступить в другой род службы» [37, с. 85]. Всего Магницкий действительно уволил одиннадцать профессоров из двадцати пяти, придал религиозную направленность преподаванию всех дисциплин, изменил учебные планы, ввел по образцу уставов католических учебных заведений строгий режим. Ф.А. Петров в примечаниях к своему объемному исследованию признает, что Магницкий проводил достаточно продуманную кадровую политику и что было «несправедливо однозначно негативно оценивать наблюдения Магницкого о ходе преподавания в казанском университете» [3, с. 200–201].

Но так или иначе, в Казанском университете была ликвидирована автономия и проведена радикальная реформа, принципы которой были изложены Магницким в инструкции директору Казанского университета от 17 января 1820 года. Она определяла дух и направ-

ление, которому обязаны были следовать в преподавании различных дисциплин ученые университета. Опубликованная в «Журнале Департамента народного просвещения», она подробно излагала идеи наставления Ученому комитету, составленного Стурдзой, и вместе с ним представляла программу деятельности Министерства духовных дел и народного просвещения.

Согласно Магницкому, в основе преподавания всех наук «должен быть один дух Святого Евангелия» [38, стлб. 1325]. В университете было создано богословское отделение, профессор которого обязан был преподавать библейскую и церковную историю.

В преподавании философии основополагающим становился следующий принцип: «все то, что не согласно с разумом Священного Писания, есть заблуждение и ложь, и без всякой пощады должно быть отвергаемо <...> только те теории философские основательны и справедливы, кои могут быть соглашаемы с учением Евангельским: ибо истина едина, а бесчисленны заблуждения» [38, стлб. 1382]. Основанием философии должны служить послания апостола Павла к колоссянам и к Тимофею, в которых призывалось уклоняться от «басен», «скверных суесловий», «словопрений лжеименного разума» и «учений бесовских».

Преподавание политического права должно было показать, что «правление Монархическое есть древнейшее и установлено самим Богом, что священная власть Монархов в законном наследии и в тех пределах, кои возрасту и духу каждого народа свойственны, нисходит от Бога, и законодательство, в сем порядке установляемое, есть выражение воли Вышнего» [38, стлб. 1382].

Профессора физики, естественной истории и астрономии, согласно инструкции, обязаны были «указать на премудрость Божию и ограниченность наших чувств и орудий для познания непрестанно окружающих нас чудес», а также показать, что «обширное царство природы, как ни представляется оно, премудро и в своем целом для нас непостижимо, есть только слабый отпечаток того высшего порядка, которому, после кратковременной жизни, мы предопределены», указать «на тверди небесной пламенными буквами начертанную премудрость Творца и дивные законы тел небесных, откровенные роду человеческому в отдаленнейшей древности» [38, стлб. 1331].

В лекциях по словесности на первом плане должна была быть Библия, разбор «красот языка Славянского», а также «образцовых творений» Ломоносова, Державина, Богдановича и Хемницера, с тем чтобы отвергать всё, что «введено в язык произволом и смелостью» как «неклассическое и недостойное подражания» [38, с. 1333]. В курсе древних языков необходимо знакомить слушателей преимущественно с творениями отцов церкви: святых Иоанна Златоуста, Григория Назианзина, Василия и Афанасия Великих [38, с. 1333].

В курсе истории профессор обязан был прежде всего проследить роль христианства и христианской церкви, показать, что «Отечество наше в истинном просвещении упредило многие современные государства, и докажет сие распоряжениями по части учебной и духовной Владимира Мономаха». Кроме того, он должен был «распространиться о славе, которою Отечество наше обязано Августейшему дому Романовых, о добродетелях и патриотизме его родоначальника и достопримечательных происшествиях настоящего царствования» [38, с. 1336].

Как писал историк русской науки В.В. Григорьев: «Университет в самом скором времени принял вид средневекового католического монастыря» [4, с. 34], а инструкции Магницкого «имели целью обратить Казанский университет в иезуитский коллегиум, что и было достигнуто на некоторое время» [4, с. 39]. В преподавании наук должен был преобладать дух пиетизма, требующий, «чтобы все науки с механическим однообразием проводили одну и ту же мысль, укрепляли в благочестии и возводили умы учащихся от земли

небу» [5, с. 226]. Преподаватели всех факультетов и кафедр должны были давать на рассмотрение попечителю подробные планы своих лекций.

Профессор математики Г.Б. Никольский, говоря о полном согласии законов математики с истинами христианства, утверждал, что ее законы полностью согласуются с истинами христианского учения: «В математике содержатся превосходные подобия священных истин, христианскою верою возвещаемых. Например, как числа без *единицы* быть не может, так и вселенная, яко множество, без *Единого* владыки существовать не может. Начальная аксиома в математике: всякая величина *равна* самой себе: главный пункт веры состоит в том: Единый в первоначальном слове своего могущества *равен* самому себе. В геометрии *треугольник* есть первый самый простейший вид, и учение об оном служит основанием других геометрических строений и исследований. Он может быть эмблемою: силы, действия, следствия; времени, разделяющегося на прошедшее, нстоящее и будущее; пространства, заключающего в себе длину, широту и высоту или глубину; духовного, вещественного и союза их. Святая церковь издревле употребляет *треугольник* символом Господа, яко верховного геометра, зиждителя всея твари» [5, с. 225]. Впрочем, вышеприведенная цитата взята из «Слова о пользе математики, говоренного 5-го июля 1816 года профессором Никольским», то есть произведения, появившегося на свет еще до назначения Магницкого попечителем в Казанский университет.

Вышеприведенные суждения были лишь вставками в тексты уже сложившихся учебных курсов и не могли существенно изменить общий дух и направленность преподавания университетских наук. Но они закономерно должны были вызвать обвинения в «обскурантизме» и «мракобесии», что и произошло на практике.

Главной целью университетского образования инструкция Магницкого директору Казанского университета от 17 января 1820 года объявляла воспитание «верных сынов Православной Церкви, верных подданных Государю, добрых и полезных граждан Отечеству» [38, стлб. 1320]. Для этого студенты обязаны были ежедневно «отправлять» должные молитвы в положенное время и в присутствии инспектора, а в воскресные дни и в дни церковных праздников ходить с инспектором к Божественной литургии, приучаться «к делам милосердия небольшими, по состоянию каждого милостынями, посещением больных товарищей в праздничные дни, и тому подобного» [38, стлб. 1321]. Причем студенты, «отличающиеся Христианскими добродетелями», должны были предпочитаться всем прочим, и руководство университета обязано было принять их «под особенное покровительство по службе и доставить им все возможные по оной преимущества» [38, стлб. 1322]. Директор университета должен был «иметь достовернейшие сведения о духе университетских преподавателей, часто присутствовать на их лекциях, по временам рассматривать тетради студентов, наблюдать, чтобы не прошло что-нибудь вредное в цензуре» [38, стлб. 1321], чтобы «дух вольнодумства ни открыто, ни скрытно не мог ослаблять учение церкви в преподавании наук философских, исторических или литературы» [38, стлб. 1321].

Изменения коснулись и студенческой жизни. Все студенты были распределены не по курсам, а по степени «нравственного содержания». К первому разряду относились «отличные», «весьма хорошие» и «хорошие» студенты, ко второму – «испытуемые», «посредственные» и «исправляемые» и, наконец, «находящиеся под особым присмотром». Студенты, принадлежащие к каждому из этих разрядов, располагались на разных этажах (по сложившемуся в то время обычаю значительная часть студентов жила в помещении высшего учебного заведения) и собирались вместе только на лекциях. Но и здесь принимались меры для того, чтобы предотвратить какое бы то ни было общение между ними. Надзор за студентами доходил до такой степени, что не только посещать знакомых, но и переходить с одного этажа на другой запрещалось без билета от инспектора. Надзиратели обязаны были водить студентов из одной комнаты в другую, осматривать волосы, платье,

кровати. Посторонние лица могли посещать университет только в праздники, да и то под непосредственным наблюдением надзирателя. Такая атмосфера неизбежно порождала практику доносительства студентов друг на друга и на присматривающее за ними начальство. За все нарушения заведенных правил студенты подвергались наказаниям, перечень которых был весьма обширен. Это могло быть лишение пищи на несколько дней, заключение в карцер, или «комнату уединения», где двери и окна были загорожены железными решетками, на одной из стен висело распятие, а на другой картина Страшного Суда. Попадавшие в карцер получали название «грешников», и пока они находились в заключении, за спасение их душ произносились молитвы. Во время попечительства Магницкого в Казанском университете стала практиковаться такая мера, как отправка студентов в солдаты без суда и следствия, и ей подверглись двое студентов – за «неумеренное употребление крепких напитков» [39, с. 24–26].

Однако надзору подвергались не только студенты; общественная и даже личная жизнь профессоров тоже стала предметом строгого контроля, или, как выражался пристрастный А.М. Скабический, подверглась «строгому надзору баснословно-унизительного свойства» [35, с. 140]. И.И. Лажечников вспоминал по этому поводу: «За профессорами наблюдали, чтоб они не пили вина. Из числа их, некоторые весьма воздержные, но привыкшие пред обедом выпивать по рюмке водки, в свой адмиральский час, ставили у наружной дверей на караул прислугу, чтобы предупредить грозу нечаянного дозора. Таким образом, прислушиваясь к малейшему стуку и беспрестанно оглядываясь, преступник дерзал ключом, привешенным у пояса, отворять шкаф, где, в секретной глубине, хранилось ужасное зелье» [40, с. 138–139].

Принудительное насаждение дисциплины и религиозности не могло не вызвать определенных негативных последствий. М.И. Сухомлинов по этому поводу отмечал: «Религиозность ограничивалась иногда одною только внешностью, и за набожною обстановкою скрывались недостойные религии свойства: лицемерие, раболепство, отсутствие убеждений и нравственных начал. У некоторых из лиц, игравших роль в событиях Казанского университета, пиетизм был маскою, надетою по необходимости и расчету, в угоду сильным мира» [5, с. 223]. Это мнение разделяет и В.В. Григорьев: «Неизбежным следствием злоупотребления религиею (которая была только выставлена началом воспитания, тогда как в действительности им руководили другие начала, несовместные с чистотою и искренностью учения Спасителя, и недостойные его святого знамени) явились: упадок религиозного чувства и нравственности, застой в области умственной и научной, лицемерие и раболепство. Истинные ревнители Православия и Русской народности возмущены были обращением Русских юношей в питомцев иезуитских школ и развитием ханжества с сильным католическим оттенком» [4, с. 44].

Отметим, что меры Магницкого носили не только репрессивный характер. М.И. Сухомлинов, который в целом негативно оценивал итоги попечительства Магницкого, упоминал о том, что последний «снаряжал ученые экспедиции по различным отраслям наук, в разные страны, на запад и на восток», отправлял ученых в Германию, Францию и Англию «для изучения математических наук и устройства кабинетов», а для «отыскания рукописей древних классиков положено было объехать армянские монастыри, по поводу открытой в Италии драгоценной рукописи Евсевия на армянском языке» [5, с. 217]. По свидетельству И.И. Лажечникова, Магницким «сделано было много на увеличение и украшение зданий университета, на устройство церкви (по образцу домашней князя А.Н. Голицына в Петербурге), библиотеки, физического кабинета, обсерватории, одним словом, все, что можно было сделать денежными средствами, щедро ему отпускаемыми» [40, с. 135–137].

Особую настороженность консерваторов вызывала необходимость преподавания философии и естественного права. Магницкий представил Голицыну проект, в котором преподавание философии предлагал существенно ограничить, разработав такие курсы

философии, «кои были бы очищены от разрушительных начал, введенных в науку сию философами XVII и XVIII столетий, а в новейшее времена германскими университетами» [24, с. 421–422].

Вместо римского права в Казанском университете было введено преподавание византийского права, и в качестве источника последнего рассматривалась церковная «Кормчая книга». Новый попечитель также устроил в 1823 году с «обличительной» целью особую «кафедру конституций», английской, французской и польской.

Большинство авторов различных идейных направлений сходятся в том, что в попечительство Магницкого ученая жизнь в Казанском университете не развивалась. Справедливости ради стоит отметить, что примерно такая же ситуация существовала в Казанском университете и до попечительства Магницкого. В первой четверти XIX века русская наука переживала стадию становления, и лишь в более поздний период она стала приносить зрелые плоды. Кроме того, никто еще точно не исследовал, в какой степени затормозилось становление гуманитарных дисциплин из-за неуклюжих экспериментов консерваторов из «сугубого» министерства. Нельзя также оставить без внимание наблюдение Ф.А. Петрова: «революционным движением Казанский университет, в отличие от Московского и Виленского, практически не был затронут» [3, с. 107], то есть главная политическая цель, которую ставил перед собой Магницкий, в Казани была достигнута.

Опыт Магницкого оказал сильное воздействие на линию Главного правления училищ, в особенности на одного из его членов, Д.П. Рунича [28, 41]. Дмитрий Павлович Рунич (1778–1860), известный масон, мемуарист, писатель, директор Московского почтамта, попечитель Петербургского учебного округа, родился в семье сенатора П.С. Рунича, гражданского губернатора Владимира. В 1797 году Рунич был зачислен на должность в Коллегию иностранных дел и некоторое время работал переводчиком. В 1800 году он вернулся в Россию, где в 1805 году был назначен помощником московского почт-директора Ф.П. Ключарева, а в 1812 году занял пост директора Московского почтамта. В 1819 году Рунич был назначен членом Главного правления училищ и тогда же получил место в собрании Правления Министерства духовных дел и народного просвещения и стал членом Ученого комитета. В одной из своих записок Рунич писал, что, ознакомившись с основополагающими документами для управления Казанским университетом, составленными Магницким, он признал предлагаемые меры «не только сообразнейшими с целию, для которой Университеты учреждаться могут; но и спасительными в отношении к частной пользе и общему благу Государства» [42, л. 1]. Среди мистиков, окружавших Голицына, Рунич был настроен, пожалуй, наиболее воинственно. Его видение мира определялось представлениями, бытовавшими среди правых масонов-консерваторов той поры: «Злой дух тьмы носится над вселенною, силясь мрачными крылами своими заградить от смертных свет истинный, просвещающий и освещающий всякого человека в мире. Счастливым почту себя, если по слову одного почтенного соотечественника, вырву хотя одно перо из черного крыла противника Христова» [35, с. 131].

Деятельность Д.П. Рунича в Петербурге разворачивалась параллельно с деятельностью Магницкого в Казани. Именно он выступил инициатором скандального суда в 1821–1822 годах над профессорами Петербургского университета, выдвиженцами С.С. Уварова.

5 мая 1821 года Рунич был назначен вместо С.С. Уварова исполняющим обязанности попечителя Петербургского учебного округа. 29 августа 1821 года он потребовал от университетской Конференции представить конспекты лекций «по нравственным, политическим и юридическим наукам». Это было началом масштабных гонений «на самых либеральных» профессоров университета [20, с. 285].

От профессоров потребовали ответы на вопросы, которые были составлены членами Главного правления училищ и должны были доказать принадлежность обвиняемых к «вредным и ложным учениям» [5, с. 260]. В ходе ряда чрезвычайных собраний, которые происходили днем и ночью по 9–11 часов 3–7 ноября 1821 года, общее собрание университета признало, что в лекциях и трудах обвиняемых содержались положения, противоречащие курсу Министерства духовных дел и народного просвещения, например, о том, что разум противоречит вере. Помимо этого, в них обнаружили отрицание божественного происхождения верховной власти, утверждения, что источником власти является народ, что конституционная монархия превосходит самодержавие, отрицание сословных прав и привилегий дворянства и духовенства, словом, все то, что составляло «ядро» тогдашнего либерального дискурса.

При этом Рунич явно перестарался. «Он положительно не давал им произнести ни одного слова в оправдание и осыпал их потоками самой площадной брани, обзывая их бунтовщиками, возмутителями, государственными изменниками, глумился в их присутствии над их собственноручными тетрадями лекций, называя их гадкими, мерзкими чтоб взять в руки, и к тому же смердящими, предлагая нюхать их, кому угодно, показывая со своей стороны отвращение от какого-то дурного в них запаха и зажимая нос. Наконец он торжественно объявил обвиняемым, что лишь его великодушию они обязаны, что их ввели в залу совета не под конвоем жандармов с саблями наголо как государственных преступников. И почтенные члены совета все это выслушивали терпеливо, с наружным видом подобострастной почтительности» [35, с. 143]. Поведение значительной части самой профессуры оказалось не на высоте: «профессора Балугьянский, Вишневский, Ржевский, Грефе, Лодий, Соловьев, Чижов и адъюнкт Радлов, требуя, чтобы обвиняемым профессорам были предоставлены «все законные средства и способы к их оправданию», в то же время заявили, что если сделанные выписки из лекций достоверны, то учение их «ужасно и не может быть терпимо ни в каком публичном, ни в приватном заведении», а сами они не могут быть допущены к преподаванию» [3, с. 116].

24 ноября 1821 года Главное правление училищ вынесло решение об удалении К.Ф. Германа и Э.В.С. Раупаха из университета и запрете им преподавания во всех училищах ведомства народного просвещения. А.И. Галича, который признал свою «вину», оставляли при университете, но не в преподавательской должности, К.И. Арсеньеву было запрещено преподавать в ведомстве народного просвещения, но разрешалось служить в другом ведомстве (в этом случае сказалось покровительство ему великого князя Николая Павловича). Книги «Краткое руководство ко всеобщей теории статистики», «Всеобщая теория статистики» и «Историческое обозрение литературы статистики в особенности Российского государства» Германа, «Историю философских систем» Галича и «Начертание статистики Российского государства» Арсеньева предписывалось запретить. Поскольку обвиненные профессора потребовали, чтобы им разрешили оправдаться, то Главное правление училищ приняло решение о рассмотрении «дела профессоров» в уголовной палате [5, с. 261–262].

Голицын представил дело профессоров в комитет министров 23 января 1822 года со следующим заключением: «Ни малейшему сомнению не подвержена вредность системы учения Германа, Раупаха, Галича и Арсеньева. <…> Полагаю мнением: Германа и Раупаха выслать из России, давши им некоторую сумму для выезда за границу из личной по человечеству им пощады, но надо в иностранных газетах напечатать причину высылки их из России; книги их запретить в употреблении; Галича оставить при университете, но в другой должности; Арсеньеву запретить преподавание в учебных заведениях какого бы то ни было ведомства, предоставив избрать другой род гражданской службы; Рунича утвердить попечителем и наградить за открытие» [5, с. 263–264].

Комитет министров по рассмотрении дела единогласно признал учение, заключающееся в представленных министром народного просвещения выписках из лекций профессоров, «вредным» [5, с. 264]. При этом комитет министров заявил, что необходимо на суде выслушать все оправдания обвиняемых, чтобы в случае их неудовлетворительности обратить на виновных всю строгость ответственности. Но единства по этому вопросу в комитете достигнуто не было. Против идеи уголовного суда над профессурой выступили совместно Н.С. Мордвинов, А.А. Аракчеев, А.С. Шишков. Нового суда над профессорами Петербургского университета не было. В феврале 1827 года было объявлено высочайшее повеление считать дело о профессорах оконченным [5, с. 266].

Приемы, которые использовал в борьбе с уваровской группировкой Рунич, возмущали не только либералов. Приведем суждение А.С. Стурдзы относительно «суда» над профессурой. Он находился в своем имении, когда на рассмотрение к нему пришла огромная кипа бумаг: «Нельзя было не усмотреть много худого в этих лекциях, для меня, впрочем, не новых, ибо еще в 1817 году, выслушав вступительную лекцию Раупаха в Педагогическом институте, я было заспорил с Уваровым против его любимца и прямо обличил его вредное направление в обзоре всемирной истории. Куницын тоже причастен был к ложному учению. Но в суде над ними много заметил придирок и еще более отступления от законного делопроизводства. Обе стороны были неправы. Я вспомнил апостольскую заповедь: «не приобщайся грехом чуждым» и, высказав несколько замечаний, отклонил от себя всякое участие в неправильном суде» [10, с. 280]. Магницкий в «Особом мнении» подчеркнул, что «считает совершенно неуместным уголовное судопроизводство над обвиняемыми профессорами, поскольку «из ничтожного дела» раздуто было «дело разделившейся на партии столицы», и благодаря тесным связям профессоров с городским обществом раздался «повсеместный вопль неверия» в виновность их [3, с. 119]. При этом он предлагал профессоров Германа и Раупаха выслать за границу и «остеречь державы союзные насчет сих опасных людей, и все происшествие, с ними бывшее, напечатать в гамбургской газете» [5, с. 377].

Следует признать, что Рунич и его единомышленники достигли поставленной ими цели: «после Петербургской истории 1821 года в С.-Петербургском университете не осталось ни одного профессора, который был бы носителем определенных общественных идеалов [либеральных – *А.М.*], подобно Куницыну или Галичу, Балугьянскому или Герману, Арсеньеву или Плисову» [3, с. 127].

Осуждением петербургской профессуры дело не ограничилось. В течение 1821–1822 годов по предложению Рунича в Петербургском университете применена была инструкция директору и ректору Казанского университета [36, с. 124]. В течение года, с 1821 по 1822-й ушло одиннадцать человек, то есть около трети преподавательского состава; в наибольшей мере пострадали историко-филологический и философско-юридический факультеты. В 1822 году был приостановлен прием воспитанников, произошел «разбор» студентов «по способностям и нравственности и увольнение безденежных» [36, с. 124]. Была исключена значительная часть казеннокоштных студентов на основании их якобы низкой нравственности. Безусловно, определенное снижение уровня преподавания произошло, но его масштабы не следует, вслед за мемуаристами, преувеличивать. Представляется, что наибольшую ответственность за происшедшее несли Голицын и Рунич, в меньшей степени – Магницкий. Православные консерваторы вроде А.С. Шишкова, А.А. Аракчеева, А.С. Стурдзы занимали более взвешенную позицию. Иначе говоря, в Петербурге «переусердствовала» именно «мистическая партия», что позволяет современному исследователю справедливо говорить о «реакционно-космополитическом мракобесии» [3, с. 161].

Заняв ответственные посты в мае 1824 года, когда стараниями «православной оппозиции» мистико-космополитическому курсу был отправлен в отставку А.Н. Голицын и

расформировано «сугубое» министерство, православные консерваторы прекратили гонения на уваровскую группировку.

Став министром народного просвещения 15 (27) мая 1824 года, А.С. Шишков задал народному просвещению тот вектор, который получил дальнейшее развитие при С.С. Уварове. «Народное образование должно быть национальным» – таков был основной идеал, провозглашенный новым министром. Учебные программы предполагали приоритетное изучение русского языка и русской истории.

25 апреля 1828 года А.С. Шишков был уволен от должности министра «по преклонности лет и по расстроенному здоровью», сохранив звания члена Государственного Совета и президента Российской Академии. Наступало время Уварова…

Таким образом, при всех противоречиях между двумя консервативными группировками в сфере народного образования, олицетворяемыми фигурами, соответственно, А.Н. Голицына и А.С. Шишкова, им удалось придать высшему образованию религиозный характер, в чем они усматривали противоядие от влияния революционных идеологий. При этом в итоге победила линия православных консерваторов, делающих акцент не на «христианский универсализм», мистицизм и космополитизм, а на православие и русскую национальную культуру.

В наибольшей степени взгляды православных консерваторов на то, какой должна стать система народного образования, были развиты Магницким в «Записке о народном воспитании», которую он направил царю Александру I 7 ноября 1823 года [43, с. 363–374].

В этой записке Магницкий предлагал царю проект создания целостной системы «народного воспитания», которой, по его словам, покуда еще нет ни в одном из существующих христианских государств: «самоважнейшая часть управления как бы брошена везде на произвол исполнителей и ежели получила некоторое устройство, то как бы случайно и от обстоятельств» [43, с. 364]. Напротив же, «люди злонамеренные» (в их число Магницкий относил Талейрана, Наполеона и Вейсгаупта), целенаправленно «занялись составлением полной системы народного воспитания». Это привело к тому, что «большая часть лучших учителей», которые должны учить наследника престола, «заражены опаснейшими началами неверия идей возмутительных» [43, с. 373]. Мало того: «Нет книги, по которой бы безопасно можно было учить его истории всеобщей и Российской. Нет курса прав, который можно было преподать царевичу Российскому в истинном его смысле. Нет истории систем философских, которая бы не развратила мыслей» [43, с. 373].

Созданная антихристианская система народного воспитания является плодом реализации «правильного, обширного и давно втайне укоренившегося плана и заговора» [43, с. 365]. Судя по некоторым деталям, Магницкий имеет в виду прежде всего масонство, но прямо не говорит об этом, предпочитая возлагать ответственность за происходящее в мире зло прежде всего на «князя тьмы века сего» [43, с. 364].

В записке содержится религиозно-философская трактовка Магницким тех процессов, которые происходят в мире, и таких характерных явлений нового времени, как «общественное мнение», «свобода книгопечатания», «конституции». В его изображении все вышеперечисленное есть ни что иное как порождение дьявольских сил: «Князь тьмы века сего производит большую часть влияний своих на мир и миродержителей гражданских чрез общее мнение, которое есть как бы труба, коею он, как в древности оракулы, произносит свои заключения, суды и приговоры, сеет лжи и клеветы, распространяет нелепые предсказания и нечестивые понятия. У большей части народов, и в том числе у нас, гул сей, совершенно вопреки истине, почитается гласом Божиим (*глас народа – глас Божий*). В конституциях, сем неистовом порождении бунта народного, главным их основанием положена *свобода книгопечатания*, или, что одно и то же, беспрепятственное волнение и *необузданность мнения общественного*, т.е. труба для глаголов князя тьмы, как можно

более широкая, громкая и всегда отверзтая; а как он знает, что доброе воспитание народное, улучшая сердце и образ мыслей падшего человека, составить может и общее мнение доброе, т.е. из трубы, для него нужной, может сделать проток благодати не только на поколение настоящее, но и на будущие; то он, отвлекая всеми способами внимание правительств и людей благонамеренных от сего важного предмета, указывает его одним своим чадам и последователям, *как рычаг, которым можно потрясти весь мир гражданский*» [курсив Магницкого – *А.М.*; 43, с. 365].

В обоснование вышеизложенного Магницкий ссылается на революционные события, которые прокатились по Европе в 1820–1821 годах: «единомыслие разрушительных учений в Мадриде, Турине, Париже, Вене, Берлине и Петербурге не может быть случайным» [43, с. 365].

Исходя из своего видения общеевропейских процессов, в которых главную роль играют некие темные силы, Магницкий предлагал Александру воспользоваться тактикой и указаниями врагов монархии и христианства, поскольку «из них же можно, как кажется, почерпнуть и противуядие, как то делается в медицине, когда кровью бешеной собаки исцеляется ее укушение», то есть составить на определенных началах план «народного воспитания», который бы охватывал все учебные заведения Российской империи [43, с. 366].

В качестве «основного начала» народного воспитания Магницкий называл православие. На мистической стороне православия Магницкий не заостряет внимание. Оно интересует его главным образом с точки зрения политической, как учение, освящающее царскую власть: «Верный сын церкви православной, единой истинной веры Христовой, знает, что всякая власть от Бога, и посему почитает он всех владык земных, Нерона и Калигулу; но истинным помазанником, Христом Божиим, не может признавать никого, кроме помазанного на царство церковью православною. Итак мы одни, по слову Оригена, исповедуем обе религии: и первого и второго величества. У нас одних корона самодержавия лежит на алтаре Божием, неприкосновенна для рук черни, но приемлется в таинственном священнодействии, из рук церкви. Над нею крест, над державою крест, над скиптром крест. Тут нет ничего человеческого. Нашего Государя мы открыто во всяком училище отечества нашего называем и должны называть помазанником Божиим, и все знают и веруют, что это правда. Пусть скажут сие в училищах Пруссии, Нидерландов, Англии о их государях, там рассмеются» [43, с. 368].

Высказывания Магницкого о православии явно отражали позицию тех церковных кругов, которые были недовольны «петровской революцией». Так, поминая недобрым словом «Лефортов и Бирон», он утверждал, что «дух времени» «более ста уже лет» нападает на православие: «Пусть заглянут в акты синода и тайной канцелярии от начала 18 столетия до конца его и между прочим в дела о Феофилакте [Лопатинском – *А.М.*], епископе Тверском, и члене синода Арсение [Мацеевиче – *А.М.*]». Однако, несмотря на то, что православие оказалось ослабленным борьбой с «духом века сего», оно остается единственной верой истинной, «в которой слово Божие не только сохранено во всей чистоте непрерывной иерархиею Апостольскою; но и засвидетельствовано, подписано кровью мучеников всех веков прошедших и даже ежедневных» (Магницкий ссылался на то, что в Греции был напечатан мартиролог, в котором перечислялись сотни современных мучеников за веру, погибших от рук турок) [43, с. 368–369].

Понимаемое таким образом православие теснейшим образом связано с самодержавием. Без первого невозможно второе. Более того, «самодержавие вне православия есть одно насилие» [43, с. 373], утверждал Магницкий. Православие и самодержавие, таким образом, «два священных столпа, на которых стоит империя». Но эти начала русской жизни, «хотя еще не поколебались, но уже ослаблены» [43, с. 369–370]. Говоря о том, что «православие и благоговение к помазаннику Божию должны быть основанием русского

народного воспитания» [43, с. 370], Магницкий уже в 1823 году вплотную приблизился к триединой формуле, представленной впоследствии С.С. Уваровым.

Таким образом, казалось бы, политические антагонисты, каковыми являлись Стурдза, Шишков, Магницкий, с одной стороны, и Уваров – с другой, двигались к одной общей цели, активно преодолевая мистико-космополитический вектор, заданный в системе образования после Отечественной войны 1812 года Александром I и Голицыным.

Литература

1. *Надлер В.К.* Император Александр I и идея Священного союза. Рига. 1886. Т. 5.
2. *Бокова В.М.* Беспокойный дух времени : Общественная мысль первой трети XIX в. // Очерки русской культуры XIX века. Т. 4: Общественная мысль. М., 2003.
3. *Петров Ф.А.* Российские университеты первой половины XIX века : Формирование системы университетского образования : в 4 кн. Кн. вторая: Становление системы университетского образования в России. М., 1999. Ч. 3.
4. *Григорьев В.В.* Императорский С.-Петербургский университет в течение первых 50 лет его существования. СПб., 1870.
5. *Сухомлинов М.И.* Материалы для истории образования России в царствование императора Александра I // Исследования и статьи по истории русского просвещения. СПб., 1889. Т. 1. С. 28.
6. *Фаджионатто Р.* А.Н. Голицын // Против течения. Воронеж, 2005.
7. *Назаренко Е.Ю.* Князь А.Н. Голицын в общественно-политической и религиозной истории России первой половины XIX века. Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2014.
8. *Кондаков Ю.Е.* Князь А.Н. Голицын: придворный, чиновник, христианин. СПб. : ООО «ЭлекСис», 2014.
9. РГИА. Ф. 1162. Оп. 6. Д. 124.
10. *Стурдза А.С.* О судьбе Православной Церкви Русской в царствование императора Александра I // Русская Старина. 1876. Т. XV. № 2.
11. Рассказы А.Н. Голицына в записи Ю.Н. Бартенева // Русский Архив. 1886. № 3. С. 370–371.
12. *Рунич Д.П.* Из записок // Русская Старина. 1901.
13. *Парсамов В.С.* Жозеф де Местр и Александр Стурдза : из истории религиозных идей Александровской эпохи. Саратов, 2004.
14. *Минаков А.Ю.* А.С. Стурдза : интеллектуальная биография православного мыслителя // Христианское чтение. 2016. № 1.
15. [*Жуковский В.А.*] Неизданные письма В.А. Жуковского // Русский Архив. 1900. Кн. 3. № 9.
16. *Жуковская Т.Н.* А.Н. Шебунин – историк, архивист, публикатор // История глазами историков : Межвузовский сб. науч. трудов, посвященный 70-летию доктора ист. наук, профессора, заведующего кафедрой Российской истории СПб – ГАУ Евгения Романовича Ольховского. СПб.; Пушкино, 2002.
17. *Лямина Е.* Новая Европа : мнения «деятельного очевидца». А.С. Стурдза в политическом процессе 1810-х годов // Россия. Russia. Культурные практики в идеологической перспективе. Россия, XVIII – начало XX века. М. ; Венеция, 1999.
18. ОР РНБ. Ф. 849 (Шебунин А.Н.). Д. 91.
19. *Анфим, иеромонах*. Александр Стурдза // Странник. 1864. Апрель. СПб., 1864.
20. *Майофис М.* Воззвание к Европе : Литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815–1818 годов. М., 2008.
21. *Мартин А.* А.С. Стурдза и «Священный союз» (1815–1823) // Вопросы истории. 1994. № 11.
22. *Стурдза А.С.* Воспоминания о Николае Михайловиче Карамзине // Москвитянин. 1846. № 9/10.
23. РГАЛИ. Ф. 1863. Колл. форм. списков. Формулярный список Стурдзы.
24. *Феоктистов Е.М.* Магницкий : Материалы для истории просвещения в России // Русский вестник. 1864. № 6.
25. *Диктиадис.* Краткое сведение о Стурдзе // Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1864. Кн. 2.
26. *Стурдза А.С.* Наставление для руководства Ученого Комитета, учрежденного при Главном Правлении училищ // Журнал департамента народного просвещения. СПб., 1821. Ч. 1. № 2.
27. [*Неводчиков Н., свящ.*] Знакомство и переписка А.С. Стурдзы с высокопреосвященным Филаретом, митрополитом Московским. Одесса, 1868.
28. *Кондаков Ю.Е.* Либеральное и консервативное направления в религиозных движениях в России первой четверти XIX века. СПб. 2005.
29. *Минаков А.Ю.* Политическая биография М.Л. Магницкого : из истории становления русского консерватизма. Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2017.
30. ОР РНБ. Ф. 731. Сперанский М.М., Магницкий (М.Л.); попечитель Казанского учебного округа. Письма (2) М.М. Сперанскому 12 сентября – 28 ноября 1817 г. Симбирск.
31. РГИА. Ф. 733. Оп. 40. Д. 203.
32. РГИА. Ф. 733. Санкт-Петербургский учебный округ. Оп. 39. Д. 259.
33. *Вишленкова Е.А.* Ревизор, или случай университетской проверки 1819 года // Отечественная история. 2002. № 4.

34. [*Магницкий М.Л.*] Отчет по обозрении Казанского университета // Консерватизм в России и мире : в 3 ч. Воронеж, 2004. Ч. 3.

35. *Скабический А.М.* Очерки истории русской цензуры (1700–1863). СПб., 1892.

36. *Рождественский С.В.* Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902. СПб., 1902.

37. *Попов Н.А.* Общество любителей отечественной словесности и периодической литературы в Казани с 1804 по 1834 г. // Русский вестник. 1859. № 17. Т. 23.

38. [*Магницкий М.Л.*] Инструкция директору Казанского университета // Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Царствование Александра I. 1802–1825. 2-е изд. СПб., 1875. Т. 1.

39. *Феоктистов Е.М.* Магницкий : Материалы для истории просвещения в России // Русский вестник. 1864. № 7.

40. *Лажечников И.И.* Как я знал Магницкого // Русский вестник. 1866. № 1.

41. *Азизова Е.Н.* Общественно-политическая деятельность Д.П. Рунича. Воронеж : Истоки, 2014.

42. ИРЛИ РАН РО. Ф. 263. Оп. 3. Ед. хр. 91.

43. *Магницкий М.Л.* Собственноручное всеподданнейшее письмо действительного тайного советника Магницкого, с поднесением записки о народном воспитании / М.Л. Магницкий // Сборник исторических материалов, извлеченных из архива I-го Отделения с.е.и.в.к. СПб., 1876. Вып. 1.

Аннотация. В статье рассматриваются деятельность и взгляды ключевых фигур Министерства духовных дел и народного просвещения в царствование Александра I: А.Н Голицына, А.С. Стурдзы, М.Л. Магницкого, Д.П. Рунича. Описываются важные аспекты реформы народного просвещения, предпринятой в 1817–1824 годах, ставящей целью соединить светское образование с традициями западноевропейского мистицизма и масонства и одновременно православного просвещения. Анализ позволяет сделать вывод, что непосредственными предшественниками курса С.С. Уварова в политике народного просвещения являлись А.С. Стурдза, М.Л. Магницкий и А.С. Шишков. Они вплотную приблизились к реализации на практике знаменитой триады «Православие. Самодержавие. Народность».

Ключевые слова: консерватизм, политика в области народного просвещения в царствование Александра I, мистико-космополитический курс в системе народного просвещения, А.Н. Голицын, А.С. Стурдза, М.Л. Магницкий, А.С. Шишков.

Arkady Minakov, Ph.D. In History, Professor, Voronezh State University.. E-mail: minak.arkady2010@yandex.ru

S.S. Uvarov's Forerunners in Searching of an Ideological Basis for Government Policy in the Sphere of Public Education in 1817–1825

Abstract. The article considers the activities and views of key figures in the Ministry of Spiritual Affairs and Public Education during the reign of Alexander I: A.N. Golitsyn, A.S. Sturdza, M.L. Magnitsky, D.P. Runich. It describes the important aspects of the reform of public education undertaken in 1817–1824. The aim of this reform was to combine secular education with the traditions of Western European mysticism and Freemasonry and at the same time Orthodox education. Analysis allows to conclude that the immediate predecessors of S.S. Uvarov's course in the policy of public education were A.S. Sturdza M.L. Magnitsky and A.S. Shishkov. They came close to realizing the famous «Orthodoxy. Autocracy. Nationality» triad.

Keywords: Conservatism, Politics in The Sphere of Public Education During the Reign of Alexander I, Mystic-Cosmopolitan Course in the System of Public Education, A.N. Golitsyn, A.S. Sturdza, M.L. Magnitsky, A.S. Shishkov.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-1-165-181

Михаил Волхонский

Лазаревский институт восточных языков в политике министра народного просвещения С.С. Уварова. 1830-е–1840-е годы

Общеизвестно, что одним из результатов политики Сергея Семеновича Уварова на посту министра народного просвещения стало развитие научного востоковедения в России. По мнению Цинтии Виттекер, автора наиболее глубокого исследования литературной и административной деятельности Уварова, он стал «главным столпом ориенталистики в России, как в силу его собственных склонностей, так и благодаря пониманию политических интересов империи на Востоке» [5, с. 31]. Находясь на дипломатической службе в Вене в 1806–1809 годах, молодой Уваров имел возможность ознакомиться с идеями ориентализма – нового европейского интеллектуального течения, сформировавшегося в конце XVIII – начале XIX века. Особенно большое впечатление произвела на него вышедшая в 1808 году книга Фридриха Шлегеля «О языке и мировоззрении индийцев». В этом очерке автор сформулировал центральную идею ориентализма: корни европейской культуры находятся на Востоке. Уваров навсегда оказался увлечен идеей востоковедческих исследований как способа познания не только истоков европейской истории и культуры, но в целом всего «общего плана развития человеческого разума» [13, с. 68].

По возвращении в 1810 году в Петербург он начинает серьезно заниматься восточными исследованиями. Плодом его востоковедческих штудий стал опубликованный им в том же году «Проект Азиатской академии», который принес автору литературную и научную известность не только в России, но также в Европе. Проект не содержал каких-либо оригинальных идей. Его главное достоинство заключалось в том, что впервые в России публично перед правительством и образованным обществом ставился вопрос о необходимости развития отечественного востоковедения. В проекте Уваров прямо ставил вопрос: «Может ли Россия в этот период возрождения восточных исследований отставать от других народов Европы?» [13, с. 68].

Особое внимание автор обратил на практическую сторону развития в России востоковедения. «Россия, граничащая с Азией и владеющая всей северной частью этого континента, разделяет с другими державами нравственный интерес, руководимый ими в их благородных предприятиях, – говорилось в проекте. – Но, кроме того, у нее имеется еще и интерес политический, столь очевидный и неоспоримый, что одного беглого взгляда на карту достаточно, чтобы в нем убедиться. Россия, можно сказать, лежит на Азии... Россия, имеющая столь тесные отношения с Турцией, Китаем, Персией, Грузией, смогла бы не только содействовать в огромной степени общему прогрессу просвещения, но еще и удовлетворить свои наиболее дорогостоящие потребности. Никогда еще государственные соображения не были в таком согласии с великими видами нравственной цивилизации» [13, с. 71].

Волхонский Михаил Алексеевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Института международных исследований МГИМО МИД России.
E-mail: VolhonskyMA@yandex.ru

В итоге Уваров предлагал учредить в Петербурге Азиатскую академию, в которой параллельно велась бы научная и преподавательская деятельность. Научная деятельность академии должна была заключаться в переводе памятников восточной литературы, составлении грамматик и словарей. Преподавательская деятельность должна была преследовать цель подготовки чиновников для различных министерств. Проект не был осуществлен. Но намеченная для академии программа развития востоковедения в России через двадцать лет стала успешно реализовываться в политике Уварова как министра народного просвещения.

В 1843 году, подводя итоги своего десятилетнего управления Министерством народного просвещения, С.С. Уваров не без гордости писал: «Иностранные ученые, еще недавно обвинявшие Россию, и в тайне и гласно, в недостатке основательных изысканий о Востоке, ей сопредельном и подвластном теперь единогласно и с изумлением прославляют учреждения правительства русского и услуги, оказанные учеными России по этой части в такое короткое время и с таким несомненным успехом» [13, с. 364]. В числе инициированных или поддержанных с 1833 по 1843 год Министерством народного просвещения наиболее важных образовательных и исследовательских востоковедческих проектов Уваровым был упомянут Московский Лазаревский институт восточных языков. «В Москве Лазаревский институт восточных языков, – писал министр, – получил особые права и старается о распространении познаний о Востоке, успешно образуя для армянского народа чиновников военных и гражданских, переводчиков и учителей» [13, с. 361].

Основанное в 1815 году семьей богатых промышленников армянского происхождения Лазаревыми в качестве училища для обучения армянских детей, это учебное заведение со временем превратилось в институт и признанный центр отечественного востоковедения. Становление Лазаревского института восточных языков почти целиком пришлось на 1830-е – 1840-е годы, время, когда во главе Министерства народного просвещения стоял С.С. Уваров. Поэтому было бы закономерным поставить вопрос о том, какое влияние оказала политика Уварова на развитие этого необычного учебного заведения, внесшего существенный вклад в развитие отечественного востоковедения. В то же время интересно было бы посмотреть на реформы Уварова в сфере образования сквозь призму Лазаревского института. Сосредоточившись на небольшом объекте, можно более детально рассмотреть отдельные аспекты этих преобразований. Рассмотрению поставленных вопросов посвящена данная статья.

* * *

Впервые С.С. Уваров близко познакомился с деятельностью учебного заведения Лазаревых будучи членом Комитета по устройству учебной части, созданного в 1826 году императором Николаем I для разработки реформ в сфере образования, в частности, общего устава училищ и гимназий. Отметим сразу, что его отношение к этому учебному заведению не было изначально положительным, скорее даже отрицательным. Как член комитета Уваров находился под негативным впечатлением от тех напряженных отношений, которые в 1820-х годах сложились между Лазаревыми и руководством Министерства народного просвещения.

Частично это объяснялось тем, что в министерстве с момента его учреждения с подозрением относились к любым частным учебным заведениям. Хорошей иллюстрацией этого отношения служит следующий отрывок из доклада министра А.К. Разумовского 25 мая 1811 года: «Дворянство, подпора государства, возрастает нередко под надзором людей одною собственною корыстью занятых, презирающих все не иностранное, не имеющих ни чистых правил нравственности, ни познаний» [15, с. 36–37]. Частные учебные заведения обвинялись в том, что они не дают того образования и воспитания молодому поколению, которое позволило бы им эффективно служить Российскому государству.

В силу того, что Лазаревское училище являлось частным учебным заведением, на него тоже распространялась подозрительность министерства. Кроме того, недоверие к училищу во многом подкреплялось действиями его попечителей. Основав в 1815 году училище с элементарной программой преподавания, Лазаревы, отец Еким Лазаревич и его сыновья Иван и Христофор Екимовичи, явно не хотели останавливаться на достигнутом и стремились придать ему более высокий статус и значение. Их конечной целью являлось превращение училища в главный образовательный центр для армянских общин Российской империи.

В 1817 году Лазаревы в первый раз обратились в министерство с просьбой разрешить училищу называться «Армянской Лазарева академией». Проект был рассмотрен в Главном правлении училищ и отвергнут под предлогом, что училище Лазаревых не может называться академией, так как не является чисто научным заведением [11, с. 97]. Попечителям было указано, что учебная программа училища не соответствует запрашиваемому для него статусу. Поняв свою ошибку, братья Иван и Христофор Лазаревы, которым их отец Еким Лазарев в июне 1818 года передал управление всеми делами училища, стали планомерно расширять учебную программу, пытаясь сравнять ее с программой казенных гимназий. С каждым годом качество преподавания в нем росло, свидетельством чего стало поступление в 1821 году в Московский университет пяти из двенадцати его воспитанников.

В итоге Лазаревское училище к 1823 году фактически превратилось в гимназию, в которой обучались не только армянские, но и русские дети – пансионеры и полупансионеры из дворянского и купеческого сословий. Решение основателей не ограничивать контингент воспитанников училища только армянами обусловлено было как желанием повысить его доходы, так и соображениями престижа. При этом Лазаревы не собирались поступаться первоначальном предназначением училища – преподаванием армянского языка и литературы. В результате в училище стали выстраиваться два параллельных учебных курса – для армянских и русских воспитанников.

В 1821–1823 годах в училище стали последовательно вводить преподавание персидского, турецкого и арабского языков [11, с. 46, 70]. Точно нельзя сказать, какими мотивами и целями руководствовались Лазаревы, вводя в своем учебном заведении обучение восточным языкам. Однако если учесть, что в 1818–1820-х годах в русском образованном обществе идея изучения восточных языков, культуры и истории набирала популярность, то введение попечителями армянского училища в учебный план преподавания восточных языков выглядит понятной.

Возможно, Лазаревы, как и все образованное общество Москвы и С.-Петербурга, находились под впечатлением от речи, произнесенной 22 марта 1818 года попечителем петербургского учебного округа С.С. Уваровым на торжественном собрании Главного педагогического института. Речь была посвящена учреждению при институте двух новых кафедр для преподавания восточных языков. Обращаясь к слушателям, Уваров снова подчеркнул важность изучения восточных языков: «Из Азии проистекали все религии, все науки, все философии. Она одна сохранила чудесный дар производить все большие явления морального мира; там находили мы истинный единственный источник всеобщего просвещения, и кто мог бы не гореть желанием созерцать вблизи богатства сего неисчерпаемого рудника ума человеческого? К сему имеем мы один способ: восточные языки» [13, с. 253–254]. Не забыл Уваров снова напомнить русскому правительству и обществу о политическом значении изучения восточных языков. «Если мы будем смотреть на сии занятия с политической стороны, – говорил он, – то один взгляд на карту докажет уже ясно, сколь сии познания для нас важны и даже необходимы. Должна ли Россия, опирающаяся на Азию, повелевающая целой третью сего пространного края, Россия в непрерывных сношениях с Турцией, Китаем и Персией, овладеть, наконец, орудием восточных языков? Сей вопрос кажется излишним» [13, с. 260].

В 1823 году братья Лазаревы представили министру духовных дел и народного просвещения князю А.Н. Голицыну новый проект устава своего училища, которое теперь должно было называться «Армянская Лазарева гимназия высших наук и восточных языков». Целью гимназии объявлялась подготовка чиновников со знанием восточных языков [4, с. 22]. Возможно, взяв на себя выполнение запроса государства на подготовку для государственного аппарата переводчиков и чиновников, знающих восточные языки, Лазаревы тем самым старались увеличить шансы своего учебного заведения на получение более высокого статуса и связанных с ним прав и преимуществ. Проект в целом понравился в министерстве. В итоге было решено: «Армянскую Гимназию Лазарева сравнять в правах и обязанностях с прочими Гимназиями, предоставить на сем основании Московскому университету, начертать проект Устава и штата сего заведения, которые тогда предоставить начальству на утверждение» [11, с. 97–99]. Однако после этого дело о разработке устава и штатов гимназии Лазаревых остановилось.

Чтобы выйти из порочного круга бюрократической волокиты Лазаревы по совету их старинного друга, известного государственного деятеля М.М. Сперанского подали в июне 1824 года императору Александру I прошение о передаче училища под главное начальство начальника военных поселений графа А.А. Аракчеева. Комбинация удалась, и в ноябре того же года прошение было удовлетворено [11, с. 96–99]. В итоге Армянская Лазаревых гимназия была выведена из-под подчинения Министерства народного просвещения [11, с. 93–94]. Но надежды Лазаревых на то, что всесильный Аракчеев сможет быстро добиться высочайшего утверждения устава гимназии, не оправдались. Смена царствований, а также последовавшая в ноябре 1826 года отставка графа А.А. Аракчеева со всех занимаемых им должностей снова отодвинула решение вопроса.

* * *

Утратив в лице Аракчеева высокого покровителя, Лазаревы попытались быстро найти нового. В это время правительственные круги проявляли особое внимание к армянскому вопросу. В 1826–1828 годах шла русско-персидская война, которая закончилась заключением Туркманчайского договора, согласно которому к России была присоединена Восточная Армения. Участие Лазаревых в событиях русско-персидской войны позволило им свести близкое знакомство с братьями Бенкендорфами. В сентябре 1826 года Х.Е. Лазарев, служивший по ведомству иностранных дел, получил от вице-канцлера графа К.В. Нессельроде предписание «находиться при генерал-адъютанте графе Бенкендорфе[1] для исполнения возлагаемых на него поручений по внешним и внутренним азийским сношениям»[2]. Неудивительно, что брат графа Константина Христофоровича, к которому был прикомандирован Х.Е. Лазарев, начальник III отделения Собственной Е.И.В. канцелярии, граф Александр Христофорович Бенкендорф вскоре стал явно покровительствовать учебному заведению Лазаревых.

В апреле 1827 года граф направил министру народного просвещения А.С. Шишкову запрос о скорейшем, согласно высочайшей воле, окончании дела об уставе «Армянской Лазаревой Московской Гимназии»[3]. Но министр отклонил представленный Лазаревыми проект устава гимназии. Шишков требовал от попечителей определиться, будет ли гимна-

[1] Имеется в виду генерал-лейтенант, генерал-адъютант граф Константин Христофорович Бенкендорф.

[2] Формулярный список действительного статского советника, камергера Х.Е. Лазарева // Архив внешней политики Российской империи. Ф. Департамент личного состава и хозяйственных дел. Оп. 464. Д. 1923. Л. 24–27 об.

[3] Письмо гр. А.Х. Бенкендорфа министру народного просвещения А.С. Шишкову // Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 1717. Оп. 1. Д. 11. Л. 2–2 об.

зия общеобразовательным или специальным учебным заведением для изучения восточных языков. Совмещать две цели в одном заведении министр считал нецелесообразным. Но Лазаревы настаивали на сохранении в гимназии двух учебных программ: общеобразовательной и специальной по обучению восточным языкам [4, с. 24].

В итоге дело о Лазаревской гимназии было решено направить в Комитет устройства учебных заведений, который, как уже говорилось выше, должен был разработать общий устав для всех начальных и средних учебных заведений Российской империи. В ходе работы над уставом члены комитета особое внимание уделили вопросам установления более строгого контроля со стороны министерства за всеми учебными заведениями, в том числе частными. Кроме того, комитет настоял на том, чтобы значительно было увеличено денежное содержание для преподавателей. Общий устав был подготовлен комитетом в феврале 1828 года и после неоднократного рассмотрения в Государственном совете и внесения поправок утвержден в декабре того же года императором [3, с. 109].

Тот факт, что устав Лазаревской гимназии рассматривался членами комитета параллельно их работе над общим уставом училищ и гимназий, конечно, не мог не оказать влияния на ход дела. В сентябре 1827 года комитет поручил своему члену, академику А.К. Шторху изучить представленный Лазаревыми проект устава гимназии. Ознакомившись с ним, а также с непосредственной деятельностью гимназии, академик пришел к выводу, что «круг действия оной гораздо обширнее других гимназий», поскольку в ней параллельно существовало сразу несколько отделений: 1) общеобразовательное гимназическое, для армянских и русских воспитанников; 2) отделение из трех классов для преподавания восточных языков и литератур; 3) отделение подготовки священнослужителей и учителей для армянских церквей и училищ. Поэтому академик предложил переименовать гимназию в лицей или институт[1].

На заседании 12 декабря 1827 года комитет рассмотрел проект устава, а также предложения академика Шторха. Внимание членов комитета особенно привлекли некоторые необычные пункты устава. Дело в том, что по инициативе армянских духовных иерархов Лазаревы решили внести в устав статьи, согласно которым все армянские училища в Российской империи, «состоя по-прежнему под главным начальством попечителя округа», в то же время должны были подчиняться по учебной и административной части руководству Лазаревской гимназии[2]. Таким образом Лазаревы стремились создать параллельную Министерству народного просвещения вертикаль армянских образовательных учреждений, во главе которой стояла бы Лазаревская гимназия.

Комитет устроения учебных заведений, с учетом того, что одной из главных его задач, являлось строгое подчинение министерству всех, в том числе, частных учебных заведений, конечно, не мог утвердить такой устав. В журнале заседания относительно предложения Лазаревых было твердо заявлено: «Так как предположение… основано на прежнем порядке вещей, по которому Гимназия Лазаревых имела особого своего Главноначальствующего, и как ныне положено подчинить сие учебное заведение, на общих правилах ведению министерства народного просвещения, то не усматривается достаточной причины к изъятию армянских училищ из-под надзора по учебной части университета и попечителя округа, к управлению коего принадлежат оные, тем более, что подчинение сих заведений гимназии Лазаревых с оставлением их в составе учебного округа, неминуемо произвело бы смешение в порядке управления и причинило бы запутанность в делах»[3]. В то же время

[1] Выписка из журнала XXXIII заседания Комитета устройства учебных заведений 12 декабря 1827 г. // ГАРФ. Ф. 1717. Оп. 1. Д. 11. Л. 50–50 об.

[2] Выписка из журнала XXXIII заседания Комитета устройства учебных заведений 12 декабря 1827 г. // ГАРФ. Ф. 1717. Оп. 1. Д. 11. Л. 52.

[3] Там же. Л. 57–57 об.

члены комитета не возражали против того, чтобы учебное заведение Лазаревых продолжало готовить учителей для армянских училищ, которые, однако, в обязательном порядке должны были проходить аттестацию в министерстве, как все вообще учителя. В заключении комитет согласился с предложением академика Шторха переименовать гимназию в Лазаревский институт[1].

Попытка Лазаревых добиться автономии от министерства как для своего учебного заведения, так и для всех армянских училищ в империи, вызвала у членов комитета, в том числе у С.С. Уварова, серьезное недоверие к Лазаревскому институту. На заседании 9 января 1828 года, в ходе которого был рассмотрен устав института, разработанный под руководством академика А.К. Шторха, члены комитета с особым пристрастием сосредоточились на вопросе финансирования учебного заведения. С одной стороны, комитет смирился со сложным образовательным профилем института (существованием в нем сразу нескольких отделений), но с другой – у членов комитета закономерно возникал вопрос, хватит ли у попечителей средств на содержание такого учебного заведения? Рассмотрев записку Ивана Лазарева о средствах на содержание института, члены комитета пришли к выводу, что они не являются надежными. От Лазаревых потребовали предоставить другие источники содержания учебного заведения, например, доходы от имений. В противном случае комитет отказывался утвердить устав и штат Лазаревского института наравне с другими государственными учебными заведениями. В итоге, как подчеркивалось в журнале комитета, институт остался бы «на общем положении о частных учебных заведениях, без всяких прав и преимуществ»[2].

Между тем именно получение этих прав и преимуществ было заветной целью попечителей института. Дело в том, что правительство, стремясь сделать получение образования среди привилегированных слоев империи более популярным, стало с начала XIX века предоставлять выпускникам разных высших и средних государственных учебных заведений право поступать на гражданскую службу прямо с классным чином, минуя низшие канцелярские должности. Другой целью этой политики, горячим сторонником которой был С.С. Уваров, являлось обновление состава русского чиновничества за счет притока на государственную службу хорошо образованных молодых людей [15, с. 33–35, 50–52]. Так, с 1817 года выпускникам Петербургской гимназии сразу давался четырнадцатый класс, а Ришельевского лицея – двенадцатый. В 1825 году выпускники Нежинской гимназии князя А.А. Безбородко в степени кандидата получили право начинать службу в десятом классе, а в степени действительных студентов – в двенадцатом [8, с. 969–970, 1012–1013, 1834–1835]. Более того, принятый в декабре 1828 года устав гимназий и училищ закреплял за всеми окончившими гимназию право на сокращенные сроки производства в первый классный чин, а для тех, кто изучил греческий, право начинать службу в четырнадцатом классе. Именно эти права для своего института хотели получить Лазаревы, поскольку это сделало бы их учебное заведение более популярным, привлекло бы в его стены большее число русских воспитанников, что в свою очередь увеличило бы доходы института.

Стремясь преодолеть сопротивление комитета, Лазаревы прибегли к уже опробованному приему. В январе 1828 года они подали императору прошение назначить главноначальствующим Лазаревского института графа А.Х. Бенкендорфа. Начальник III отделения был не против того, чтобы занять эту должность, тем более что он уже де факто покровительствовал институту. В конце января 1828 года Бенкендорф попытался заручиться поддержкой С.С. Уварова как одного из самых влиятельных членов Комитета

[1] Там же. Л. 57–57 об.

[2] Выписка из журнала XXXVI заседания Комитета устройства учебных заведений 9 января 1828 г. // ГАРФ. Ф. 1717. Оп. 1. Д. 11. Л. 63 об. – 64.

устройства учебных заведений. В направленном ему письме граф просил не отказать Лазаревым в покровительстве[1]. Но несмотря на то, что просьба исходила от такого влиятельного в правительственных сферах лица, Уваров в завуалированной форме ответил отказом. В письме 30 января 1828 года он писал: «Сенатор Уваров, свидетельствуя истинное почтение… имеет честь препроводить при сем выписку из журнала Комитета устройства учебных заведений по делу господ Лазаревых, из коей усмотреть можно, что дело сие остановилось за гг. Лазаревыми. Сей журнал был уже удостоен Высочайшего воззрения»[2]. Сергей Семенович, по свидетельству современников, был не чужд тщеславия, карьерных амбиций, но когда дело касалось вопросов развития образования в России, всегда оставался тверд и принципиален. Он полностью разделял мнение комитета и тоже считал, что недопустимо давать права и привилегии частному учебному заведению, которое испытывает финансовые трудности.

В марте 1828 года комитет снова рассмотрел вопрос об уставе Лазаревского института, а также вопрос о назначении графа А.Х. Бенкендорфа его главным начальником. Утверждение устава было отложено до того времени, когда будет принят общий устав училищ и гимназий. Кроме того, члены комитета по-прежнему ждали от Лазаревых ответа, согласны ли они выделить дополнительные средства на содержание института. Что касается вопроса о назначении А.Х. Бенкендорфа, то комитет, не найдя к этому препятствий, в то же время твердо заявил, что «институт не должен выходить из общего заведывания министерства народного просвещения». В том же месяце журнал комитета был высочайше утвержден [12, с. 18].

В течение 1828 и 1829 годов Лазаревы при поддержке графа А.Х. Бенкендорфа безуспешно пытались сломить упорство членов комитета. Точку в затянувшемся противоборстве поставил в феврале 1830 года министр народного просвещения князь К.А. Ливен. В письме к А.Х. Бенкендорфу, князь, еще раз описав ход дела, резюмировал: «А как обстоятельства самого дела и десятимесячное молчание гг. Лазаревых достаточно показывают, что они не намерены представить благонадежного во всех отношениях обеспечения к содержанию института их: не изволите ли согласиться с Комитетом устройства учебных заведений, чтобы производившееся в оном дело об уставе означенного института почесть совершенно оконченным. Самое же заведение гг. Лазаревых оставить в ряду с частными училищами в нынешнем хорошем состоянии оного, при котором оно не без ощутительной пользы существовать может, оказывая соразмерное с способами своими содействие в образовании армянского юношества»[3]. В итоге главноначальствующий институтом вынужден был согласиться с аргументами министра[4].

Между тем в письме князь Ливен также позволил себе откровенно высказаться об отношении Комитета устройства учебных заведений к Лазаревскому институту. Дело в том, что его члены воспринимали институт как учебное заведение, предназначенное исключительно для образования «армянского юношества». Преподавание восточных языков, рассматривалось как всего лишь часть образовательной программы для подготовки из армянских воспитанников переводчиков и чиновников. Поэтому попытки Лазаревых привлечь в институт русских воспитанников была воспринята членами комитета негатив-

[1] Письмо гр. А.Х. Бенкендорфа сенатору С.С. Уварову 22 января 1828 г. // ГАРФ. Ф. 1717. Оп. 1. Д. 11. Л. 46.

[2] Письмо сенатора С.С. Уварова гр. А.Х. Бенкендорфу 30 января 1828 г. // ГАРФ. Ф. 1717. Оп. 1. Д. 11. Л. 47.

[3] Письмо министра народного просвещения К.А. Ливена главному начальнику Лазаревского института гр. А.Х. Бенкендорфу 25 октября 1829 г. // ГАРФ. Ф. 1717. Оп. 1. Д. 11. Л. 27 – 30 об.

[4] Письмо министра народного просвещения К.А. Ливена главному начальнику Лазаревского института гр. А.Х. Бенкендорфу 12 февраля 1830 г. // ГАРФ. Ф. 1717. Оп. 1. Д. 11. Л. 34–34 об.

но. «Главное же стремление гг. Лазаревых… состоит в домогательстве присвоить оному права и преимущества, – говорилось в письме министра, – привлечь через то в немалом числе пансионеров из российского юношества и таким образом помочь в недостаточности предоставленных сему заведению способов содержания. Ваше высокопревосходительство конечно изволите согласиться со мною, что таковое домогательство не заслуживает уважения и что гораздо лучше оставить Лазаревский институт в теснейшем кругу действия полезным заведением собственно для армянского юношества, нежели помогать им отвлекать российское юношество от российских училищ, заманивая оное в армянское, дабы за счет русских лучше воспитать армян»[1].

* * *

Вероятно, Лазаревский институт так и остался бы только одним из лучших армянских учебных заведений на территории Российской империи. Но в 1830-х годах деятельность Лазаревых, продолжавших развивать в своем учебном заведении преподавание восточных языков, совпала с усилиями ставшего уже министром народного просвещения С.С. Уварова по развитию российской системы образования, в том числе преподаванию в высших и средних учебных заведениях востоковедческих дисциплин.

Необычность образовательного профиля института, преподавание в нем восточных языков – все это привлекало внимание к Лазаревскому институту как со стороны общества, так и правительства. В начале 1830-х годов в правительственных верхах с удовольствием демонстрировали высокопоставленным дипломатическим представителям Ирана и Османской империи Лазаревский институт как учебное заведение, где на высоком уровне преподавали восточные языки. Так, в январе 1830 года институт посетила группа турецких дипломатов. В «Московских ведомостях» по этому случаю сообщалось, что один из воспитанников произнес перед гостями длинную приветственную речь, в которой рассказал об истории создания института. Кроме того, турецкие дипломаты с удовольствием пообщались на турецком языке с преподавателями и другими воспитанниками [11, с. 122–123, 131]. Но главным событием, свидетельствовавшим об особом внимании в правительственных верхах к институту, стала проведенная в октябре 1834 года своего рода высочайшая аттестация этого учебного заведения. Своим личным посещением институт удостоил император Николай I, который остался доволен состоянием учебного заведения, установленными здесь дисциплиной и порядком. Через главного начальника института графа А.Х. Бенкендорфа император объявил «высочайшее благоволение Восточному Лазаревых Институту за благоустройство заведения и за пользу, приносимую институтом» [11, с. 155–156, 446].

Между тем Уваров, став в 1833 году министром народного просвещения, продолжил политику своих предшественников по централизации и унификации системы российского образования. В 1843 году в отчете о своем десятилетнем управлении министерством он писал: «В царствование Вашего Величества главная задача по министерству народного просвещения состояла в том, чтобы собрать и соединить в руках правительства все умственные силы, дотоле раздробленные, все средства общего и частного образования, оставшиеся без уважения и частью без надзора» [13, с. 347–348]. В своей политике централизации и унификации министр делал ставку на качество, а не на количество учебных заведений. С учетом острой нехватки учителей, учебников и денег, а часто – интереса со стороны русского общества, политика С.С. Уварова являлась разумной [5, с. 150].

Как и его предшественники, министр обратил особое внимание на частные учебные заведения. Во второй половине 1820-х годов Комитет устройства учебных заведений,

[1] Там же. Л. 34–34 об.

членом которого являлся тогда С.С. Уваров, постоянно критикуя частное образование, все же было вынуждено признать его «неизбежным злом», поскольку у государства не было сил, чтобы заменить все частные учебные заведения государственными. Заняв кресло министра, Уваров стал придерживаться той точки зрения, что если частные школы строго контролировать и направлять их деятельность, то они не смогут принести особенного вреда, а в некоторых случаях, могут даже принести пользу [5, с. 156].

Политика Уварова была направлена на полное подчинение частных учебных заведений министерству. В 1831 году было введено правило, согласно которому учителя частных школ должны были в обязательном порядке иметь государственные аттестаты, дававшие им право преподавать [9, с. 438]. В июле 1834 года вышло положение «О домашних наставниках и учителях», по которому учителя частных учебных заведений признавались находящимися на государственной службе [9, с. 784–798]. Месяцем раньше, 25 июня 1834 года император утвердил мнение Государственного совета о разделении всех высших и средних учебных казенных и частных заведений на два разряда. В нем в частности говорилось: «Предоставить министрам и управляющим особыми частями, по взаимном между собой совещании, составить неукоснительно по ведомствам их и внести в Государственный совет расписание по разрядам высших и средних учебных заведений… дабы определить сим, со всею точностью, какие учебные заведения в государстве считать высшими и какие средними» [12, с. 30]. Таким образом, частные учебные заведения уже не могли оставаться отдельной от государственной сферой общей системы российского образования.

В итоге то, чего Лазаревы так долго пытались добиться от Министерства народного просвещения, а именно, приравнивание их института к государственным учебным заведениям в плане устава, а также отдельных прав, теперь должно было произойти само собой, в силу логики проводимых С.С. Уваровым преобразований. Уже 17 августа 1834 года министр народного просвещения направил главному начальнику института графу А.Х. Бенкендорфу письмо, в котором в частности говорилось: «…обращаюсь с покорнейшей просьбой почтить меня уведомлением, не изволите ли признать справедливым включить во 2-й разряд и состоящий в ведении Вашем Институт Лазаревых в Москве?» [12, с. 30]. Получив согласие, Уваров внес Лазаревский институт во 2-й разряд общего расписания всех высших и средних учебных заведений, которое 20 ноября 1835 года было утверждено высочайшим указом [12, с. 36]. Включение Лазаревского института во 2-й разряд еще не означало, что институт должен был сразу получить те права и преимущества, которыми пользовались казенные учебные заведения этого разряда. Тем не менее путь к приобретению этих привилегий был открыт.

Выждав год, граф А.Х. Бенкендорф в июне 1837 года представил на имя императора прошение о даровании Лазаревскому институту прав и преимуществ наравне с другими учебными заведениями 2-го разряда. Комитет министров, рассмотрев прошение 3 и 31 августа того же года, пришел к следующим выводам: «что Восточный Лазарева Институт существует уже более 20 лет без всяких пособий от правительства, а с другой, что не только многие частные благотворительные заведения пользуются правами, превосходящими те, кои испрашиваются ныне Институту Лазаревых, но даже и домашним наставникам, положением 1-го июля 1834 г. предоставлено право государственной службы и производства в чины. Посему Комитет не встречает особенных препятствий присвоить права и служащим в Институте Лазаревых» [12, с. 52]. Журнал комитета был утвержден императором, а 21 октября 1837 года вышел указ, согласно которому чиновники и преподаватели института были признаны находящимися на действительной государственной службе с присвоением им соответствующих чинов [12, с. 50–55].

Все эти преобразования поставили перед администрацией Лазаревского института вопрос о приведении его структуры и деятельности в соответствие с теми общими прави-

лами, которым подчинялись остальные учебные заведения этого разряда. До этого Лазаревский институт жил по собственному уставу 1830 года, который теперь необходимо было легализировать. Так, следовало подтвердить право передачи должности попечителя института по наследству в семье Лазаревых. Необходимо было добиться разрешения на то, чтобы оставить в структуре института такой орган, как Совет института. Лазаревы также хотели закрепить в уставе правило об обязанности воспитанников, окончивших институт с отличием, прослужить в нем шесть лет в должностях старших и младших учителей [12, с. 60–62]. Но главным пожеланием по-прежнему оставалось дарование выпускникам института прав и преимуществ при поступлении на государственную службу.

Все эти вопросы главный начальник института граф А.Х. Бенкендорф в январе 1838 года внес на рассмотрение Комитета министров. Новое ходатайство закономерно вызвало сопротивление Уварова, который считал, что поскольку Лазаревы так и не решили вопрос о более надежном финансовом обеспечении института, то нельзя давать этому учебному заведению каких-либо дополнительных привилегий [7, с. 143]. Министр снова проявлял свойственную ему в вопросах образования принципиальность. Тем не менее Комитет министров пошел навстречу Бенкендорфу. Относительно возражений С.С. Уварова в журнале комитета было отмечено: «что, хотя с одной стороны нельзя не признать справедливости сих замечаний, но с другой невозможно не принять в уважение, что пожертвования учредителя и его наследников… простираются до весьма значительной суммы, что помянутый институт… в продолжении 22-летнего существования содержался исключительно собственными средствами и успел уже оказать пользу, и что по сей причине не только не может быть никакого опасения на счет дальнейшего существования оного, но напротив, предполагать должно, что заведение при ближайшем надзоре за ним правительства, постепенно приходить будет в лучшее положение» [7, с. 143].

В итоге высочайше утвержденным журналом Комитета министров от 29 марта и 26 апреля 1838 года за Лазаревским институтом были утверждены «некоторые из просимых преимуществ». Институту было позволено сохранить Совет «для управления по части устройства и хозяйственной». Звание попечителя было присвоено старшему в семье Лазаревых. Воспитанники, содержавшиеся на иждивении попечителя, теперь обязаны были после окончания прослужить в институте шесть лет в должностях учителей. И все же особое мнение С.С. Уварова возымело действие. Комитет отклонил ходатайство о даровании выпускникам института преимуществ при поступлении на гражданскую службу. Кроме того, в журнале комитета было особо подчеркнуто: «За сим никаких более прав и преимуществ институту сему не предоставлять и всякое о том, домогательство на будущее время устранять» [7, с. 146].

Следует подчеркнуть, что у министра не было какого-либо особого отрицательного отношения к Лазаревскому институту. Исходя из своего многолетнего опыта службы по ведомству народного просвещения Уваров знал, что при недостаточном финансировании учебное заведение не могло обеспечить высокий уровень образования для воспитанников. Ему необходимо было лично ознакомиться с Лазаревским институтом, чтобы убедиться, что это учебное заведение соответствует его высоким требованиям.

17 июня 1840 года С.С. Уваров лично посетил институт. Подробности этой инспекции были зафиксированы в специальном рапорте администрации учебного заведения: «Прежде всего г. министр изволил войти в залу собрания, где выстроены были воспитанники всех классов. Тут приказал сделать в присутствии своем испытания старшим ученикам из некоторых предметов: истории русской и всеобщей, латинского, немецкого и восточных языков, при чем сам воспитанникам делал вопросы, на которые они, к удовольствию его, отвечали весьма удовлетворительно… После г. министр присутствовал в столовой за обедом воспитанников. Прощаясь с начальствующими лицами и преподавателями института

Его Высокопревосходительство за все благоустройство изъявил полное свое удовольствие» [7, с. 146–147].

Министр мог быть доволен вдвойне, поскольку Лазаревский институт не только отвечал его высоким требованиям к уровню образования, которое должны были давать средние учебные заведения, но также его стремлению развивать в России востоковедение. Еще в 1810 году, разрабатывая проект Азиатской академии, С.С. Уваров выделил два возможных направления развития востоковедных исследований – академическое и практическое, политическое. Последнее направление подразумевало прежде всего создание в высших и средних учебных заведениях системы специальной подготовки кадров переводчиков, чиновников и учителей, призванных работать на южных и восточных национальных окраинах империи.

Впрочем, Уваров отводил этим специальным заведениям решение более широкой, масштабной задачи, нежели просто подготовка чиновников. Еще в 1818 году в уже упоминавшейся выше речи он заявил: «Завоевание без уважения к человечеству, без содействия новых, лучших законов, без исправления состояния побежденных – тщетная, кровавая мечта, но побеждать просвещением, покорять умы кротким духом религии, распространением наук и художеств, образованием и благоденствием побежденных – вот единственный способ завоевания, от коего можно ныне ожидать прочности вековой» [13, с. 260]. Министр считал, что, распространяя просвещение на национальные окраины, правительство сможет завоевать доверие нерусских народов и тем самым укрепить единство Российской империи.

Успешность этой политики, по мысли Уварова, зависела от способности российской системы образования применяться к местным, конфессиональным и национальным особенностям окраин. В 1835 году в докладе «Об усилении преподавания Восточных языков в училищах Казанского края» министр писал: «Недостаток местного, специального применения был всегда одним из главных затруднений, встречаемых министерством народного просвещения в развитии учебной части. Предполагалось одному и тому же предмету в одном и том же виде обучения на Двине и Каме, на берегах Балтийского моря и на берегах Каспийского моря. Все потребности столь различных стран, составляющих империю, подводить под один неизменный план, под одну неподвижную форму, оказалось и бесплодным, и невозможным, и это непрактическое начало было, без сомнения, главной причиной недоверия к нашим учебным заведениям и недостаточного влияния некоторых на местности, в коих оные существуют. По уважении сего… обратил я на оное, с самого вступления в управление министерства народного просвещения, ближайшую попечительность» [9, с. 951–952].

Если рассмотреть, всю совокупность тех мер, которые Уваров предпринимал в 1830-х годах для развития преподавания восточных языков в средних учебных заведениях, то мы увидим, что географически они касались преимущественно Казанского учебного округа, а также Закавказского края. Учебным заведениям Казанского округа, безусловно, досталось больше внимания со стороны министра. Он твердо верил, что его «устройство должно быть применено частью к потребностям восточных уроженцев, а университет составлять звено между ними и великорусским населением того края» [9, с. 951–952]. Введенное министром в 1836 году в Казанской гимназии преподавание арабского, турецкого, персидского, монгольского языков позволило создать в этом округе стройную двухуровневую систему преподавания восточных языков, сначала в гимназии, а затем в Казанском университете, где уже с 1810-х годов успешно преподавались востоковедческие дисциплины.

Но министр также уделял много сил развитию системы образования в Закавказском крае. В 1835 году Уваров ввел новое положение о закавказских училищах. В том же году во всеподданнейшем докладе он писал: «Ваше Величество, по утвержденному вновь

положению о закавказских училищах, изволили всемилостивейше распространить на тот важный и любопытный край действие высокой попечительности вашей. Отдаленнейшим следом и последним трофеем победоносного вашего оружия на Востоке служит русское училище, учрежденное в виду Арарата» [9, с. 951–952]. Но для закавказских училищ не хватало учителей, знающих местные языки. При этом в Закавказье в отличие от Казанского учебного округа не было университета, где выпускники Тифлисской гимназии, могли бы продолжить свое образование, изучить восточные языки и сдать экзамен на должность преподавателя. Поэтому с 1834 года при активном участии Уварова стала создаваться система дальнейшего обучения воспитанников Тифлисской гимназии в высших учебных заведениях внутренних губерний России. В этом плане Лазаревский институт, в уставе которого были заявлены целью «теоретическое и практическое изучение восточных языков, и приготовление опытных переводчиков в оных», а также «приготовление учителей для всех прочих воспитательных заведений армянского народа», являлся готовым элементом для этой системы.

Уваров это прекрасно понимал. Не случайно в своем отчете 1843 года он отнес Лазаревский институт к числу тех «заведений специальных», которые являются «посредствующим звеном в некоторых частях империи» между, с одной стороны, низшими и средними учебными заведениями министерства, а с другой – университетами. Признавая, что Лазаревский институт имеет специальное назначение, а именно подготовку «для армянского народа чиновников военных и гражданских, переводчиков и учителей», министр в то же время согласился увидеть в нем такое учебное заведение, где могла осуществляться на высоком уровне подготовка воспитанников к поступлению в университеты [13, с. 357, 361]

* * *

Развитие Лазаревского института могло остановиться на этом этапе. В итоге он остался бы для армянских общин Российской империи де факто их главным учебным заведением, а для правительства одним из немногочисленных частных институтов, где преподавались восточные языки, с целью подготовки преимущественно из армянских воспитанников переводчиков, учителей, чиновников для Закавказского края. Но в середине 1840-х годов в правительственных верхах решили изменить статус института, что явилось следствием проводимых в это время на Кавказе крупных административных реформ, в том числе в сфере образования.

В 1843 году в своем отчете С.С. Уваров вынужден был признать, что усилия министерства по развитию системы образования в Закавказье не дали ожидаемых результатов. «Министерство народного просвещения, со своей стороны, принимало все меры к возведению учебной части в этой стране на равную степень совершенства, как в других округах ему подведомственных, – писал министр. – Но при отдаленности края, при особом положении оного, оно не смогло действовать непосредственно и прямо. Успех его мер зависел более или менее от участия главных местных начальств тамошних. К сожалению, некоторые послабления и вкравшиеся злоупотребления остановили успешный ход учебной части в Закавказских областях и сделали необходимым новое, радикальное преобразование» [13, с. 355].

Закавказский край в связи с проводившимися в нем в конце 1830-х – начале 1840-х годов административными реформами очень нуждался в чиновниках из местных уроженцев. В отношении от 30 ноября 1843 года статс-секретарь М.П. Позен докладывал главноуправляющему Закавказским краем генералу А.И. Нейдгардту о принятом в Петербурге решении расширить подготовку чиновников из закавказских уроженцев путем их обучения в учебных заведениях Петербурга и Москвы. «Государь Император

в неусыпном попечении о скорейшем водворении за Кавказом прочного гражданского устройства, – писал Позен, – высочайше соизволил обратить особенное внимание на замеченный вами, равно и, как и предместниками вашими, чрезвычайный недостаток в способных и надежных чиновниках по всем без изъятия местам гражданского ведомства. Признавая, что недостаток сей может быть отвращен только тщательным приготовлением в нравственном и учебном отношениях молодых людей, из туземцев, исключительно для службы за Кавказом, Е.И.В. <…> высочайше повелеть соизволил… воспитывать на казенный счет в Императорском Училище Правоведения, в Московском Армянском Лазаревых Институте восточных языков и в отделении восточных языков С.-Петербургского Университета, на первый раз, в каждом из означенных заведений по 5-ти юношей из закавказских уроженцев» [1, с. 634–635; 10, с. 445–446]. В сентябре 1844 года вышло новое распоряжение – «О воспитании юношей из уроженцев Закавказского края», в котором уточнялись правила приема и распределения «закавказских воспитанников» в средние и высшие учебные заведения Петербурга и Москвы [10, с. 511–512].

Со своей стороны, Уваров предлагал в качестве одного из мест обучения «закавказских воспитанников» Казанский университет, но, очевидно, против выступило кавказское начальство. В итоге предпочтение было отдано С.-Петербургскому университету, «как потому, что отправление детей в Казань, по понятиям жителей, может произвести неблагоприятное впечатление, так и потому еще, что нравственное образование сих молодых людей может быть с большим успехом совершено… в университете, столь близком надзору главного училищного начальства». В этой связи Уварову было поручено усилить Отделение восточных языков в С.-Петербургском университете, «чтобы воспитанники из закавказских уроженцев могли приобрести необходимые познания в языках, употребительных за Кавказом, и сверх того, проходили бы курсы наук, входящих в состав образования гражданских чиновников». В итоге в июле 1844 года при Отделении восточных языков было решено начать преподавание грузинского, армянского и татарского языков [10, с. 445–446, 509].

Между тем, в том же 1844 году произошли важные перемены в управлении Кавказом, что привело в свою очередь к изменениям в системе обучения «закавказских воспитанников». В декабре того года наместником Кавказским был назначен князь М.С. Воронцов, который имел свои взгляды на пути развития системы образования в крае. Чтобы подтолкнуть ее развитие, наместник предложил в 1845 году «сосредоточить все гражданские училища на Кавказе и за Кавказом в одном управлении, образованном по примеру учебных округов империи» [2, с. 126]. Инициированная Воронцовым реформа завершилась в 1848 году созданием Кавказского учебного округа. Поскольку вся система образования в крае должна была теперь подчиняться кавказской администрации, в Петербурге решили поставить систему обучения «закавказских воспитанников» под отдельный надзор управляющего Кавказским комитетом [10, с. 511–512, 607–608], который стал исполнять роль Комитета министров для Кавказского края. В указе от 2 марта 1845 года говорилось: «Общий надзор за воспитанием закавказских уроженцев в учебных заведениях империи поручить управляющему делами Кавказского комитета… Для сего присутствовать ему на испытаниях закавказских уроженцев, как первоначальных, при определении в заведения, так и всех последующих частных и публичных. О результатах сих испытаний он обязан доносить председателю Кавказского комитета … Для надзора за успехами образования закавказских уроженцев в московских заведениях, предоставить управляющему делами Кавказского комитета отлучаться, с дозволения председателя, в Москву и там по соглашению с начальством каждого заведения, делать в свободное от учения время, краткое испытание закавказских воспитанников» [10, с. 607–608].

Согласно этому положению управляющий делами Кавказского комитета статс-секретарь В.П. Бутков провел в 1846 году первое такое испытание «кавказских уроженцев, воспитывающихся в Лазаревском институте», которое показало, что «воспитанники учатся весьма удовлетворительно, заботливость о них начальства примерная, порядок во всем заведении отличный» [7, с. 149]. Тем не менее Бутков остался недоволен общей системой обучения «закавказских воспитанников» в московских и петербургских заведениях. Главное, что не устраивало управляющего делами Кавказского комитета в сложившейся системе, это обучение «закавказских воспитанников» в университетах. По мнению Буткова, в Московском университете «кавказские воспитанники не только не могут усовершенствоваться в главном предмете их образования – восточной словесности, но легко могут забыть все то, что они прошли по этой части в Лазаревском институте» [7, с. 150]. Что касается выпускников Тифлисской гимназии, поступавших в С.-Петербургский университет, то инспекция Буткова выявила сразу несколько слабых мест. Так, управляющий в записке указал, что воспитанники, не имея хорошего среднего образования, поступив в университет, вынуждены слушать дополнительно «множество предметов, кои не слушаются прочими студентами». Большая нагрузка усугублялась плохим знанием русского языка. При этих условиях попытка преподавать им помимо других предметов еще семь восточных языков, приводила к тому, что они «по необходимости начинают с азбуки и никак не могут успеть изучить сии языки так, как бы следовало». Кроме того, университетская система, по мнению Буткова, не позволяла иметь за воспитанниками жесткого надзора, «который особенно необходим для закавказских уроженцев, еще довольно слабых в своих понятиях о пользе и необходимости учения» [7, с. 150].

По мнению Буткова, исправить положение можно было путем учреждения при одной из гимназий Петербурга «восточного отделения», а также усилением преподавания восточных языков в С.-Петербургском университете. Но для этого потребовались бы значительные финансовые вливания, что правительство делать не хотело. Поэтому Бутков в качестве более простого решения проблемы предложил сосредоточить подготовку переводчиков и чиновников для Закавказского края «исключительно в Московском Лазаревых Институте» [7, с. 151]. В Кавказском комитете хотели, чтобы «закавказские воспитанники» института выходили из стен Лазаревского института уже полностью подготовленные к гражданской и военной службе на Кавказе. Но курс обучения в институте, ограниченный пятью классами, по мнению Буткова, был слишком краток для одновременного изучения гимназических дисциплин и восточных языков. Поэтому он предложил провести реформу Лазаревского института. Согласно проекту реформы после окончания института «закавказские воспитанники» должны были поступать не в университет, а прямо на гражданскую службу. В институте планировали обучать постоянно тридцать «закавказских уроженцев», которые после окончания получали бы преимущества при поступлении на службу. Институт должен был получить новый устав, аналогичный уставам лицеев, а также новую, сильно расширенную учебную программу [7, с. 151–152].

Ставший в 1844 году главным начальником Лазаревского института граф А.Ф. Орлов, который одновременно являлся начальником III отделения, а также членом Кавказского комитета, полностью одобрил этот проект. Вслед за этим его одобрил император Николай I. Новый устав А.Ф. Орлов поручил разработать В.П. Буткову и И.К. Лазареву. Сама реформа, также как решение о рассмотрении проекта нового устава исключительно в Кавказском комитете, заметно ущемляла права Министерства народного просвещения. На рассмотрение С.С. Уварова в августе 1847 года передали только те статьи устава, которые касались организации учебного процесса [7, с. 153–157].

Министр выступил с жесткой критикой проекта. В отзыве 16 сентября 1847 года он писал: «Всякое учебное заведение тем с большим успехом достигает своей цели, чем оно

представляет менее сложности. К сожалению, предполагаемый Лазаревский лицей… не удовлетворяет такому требованию. В нем полагается: во-первых, соединить в сжатом виде и приготовительное и высшее учебное заведение, т.е. гимназию и собственно лицей… Во-вторых, в самом лицее, или в высших классах заведения предполагается совместить три совершенно разнородные цели образования воспитанников, с приготовлением их: а) для службы гражданской в сопредельных с Азией провинциях; б) для торговли с востоком, и в) на службу по духовному ведомству Армянского исповедания… Такая разнородность естественно производит несоразмерные с объемом заведения скопление учебных предметов и замешательство в распределении их, ко вреду сего заведения» [7, с. 158].

Уваров справедливо указал на то, что воспитанники будут должны одновременно изучать слишком большое количество языков: русский, французский, арабский, персидский и турецкий, кроме того для тех, кто хотел поступить на гражданскую службу, обязательным станет латинский язык, а для предназначавших себя в торговлю – английский. Воспитанники армяне обязаны также изучать армянский, а другие «закавказские воспитанники» – грузинский и татарский. По мнению министра, «обучение столь многим языкам в одно и то же время, способное произвесть совершенное смешение в понятиях молодых людей и притупить их способности, не обещает решительно никакой пользы» [7, с. 160].

Со своей стороны, министр предлагал, во-первых, учредить отдельно гимназию и лицей, а во-вторых, ограничиться для лицея в качестве главной цели только подготовкой «переводчиков и чиновников для гражданской службы в Закавказском крае, также духовных лиц Армянского исповедания». Если же финансовые возможности Лазаревых не позволяли выделить из института отдельно гимназию и лицей, то тогда Уваров предлагал внутри института создать шесть гимназических и три лицейских класса. Министр также предложил подключить к работе над проектом устава кавказского наместника князя М.С. Воронцова, с которым у него были дружеские отношения и который мог бы поддержать его точку зрения [7, с. 162–163].

Однако прислушаться к мнению полуопального министра граф А.Ф. Орлов не хотел. В 1847 году позиции С.С. Уварова ослабли вследствие возникшего дела о Кирилло-Мефодиевском обществе. В феврале 1848 года, когда в Петербурге получили известие о революции во Франции, министр снова оказался под огнем критики со стороны противников его политики в правительственных кругах [5, с. 242–253]. Карьера С.С. Уварова явно клонилась к закату. В этой связи дело о реформе Лазаревского института можно рассматривать как часть интриги, направленной против министра.

В ответном письме Уварову 12 марта 1848 года граф А.Ф. Орлов парировал критику министра тем, что реформа имеет более широкую цель: «обучение всех желающих восточным языкам, а не исключительную цель приготовления для Закавказского края чиновников и переводчиков». И в этом случае вступать в переписку с кавказским наместником нет необходимости. В аргументах Орлова заключалось противоречие. С одной стороны, он отверг предложение Уварова разделить институт на гимназию и лицей или хотя бы увеличить количество лицейских классов до трех, а с другой – указывал, что цель реформированного института состоит «в обучении восточным языкам, не только приуготовительном, но общем и высшем, обнимающем преподавание восточных языков в том размере, как они читаются в С.-Петербургском университете» [6, с. 33]. Согласно проекту нового устава, курс обучения в институте делился на восемь классов, из которых шесть являлись гимназическими, а два лицейскими. В последних двух воспитанникам должны были давать полный университетский курс восточных языков. Очевидно, ставка делалась на то, что воспитанники, изучая эти языки в гимназических классах, окажутся подготовленными к восприятию университетской программы.

Резюмируя, Орлов писал: «В заключение долгом считаю присовокупить, что преобразованием Лазаревского Института… откроется в Москве заведение, которого именно для Москвы при настоящих торговых сношениях ее с Востоком, не достает, заведение, где будут изучать восточные языки в обширном размере и которое, таким образом, будет заменять восточный факультет университета, не требуя никаких издержек со стороны казны» [6, с. 35]. Последняя фраза была ключевой. Вероятно, Лазаревы не могли обеспечить создание трех лицейских классов, а правительство, со своей стороны, не готово было их субсидировать. Поэтому Кавказский комитет принял этот, по сути, паллиативный проект преподавания целого университетского курса востоковедческих дисциплин в течение только двух лет в лицейских классах. Таким образом, целью реформы являлось превращение Лазаревского института в подобие высшего учебного заведения. 29 апреля 1848 года новый устав института был рассмотрен и одобрен на заседании Кавказского комитета. 10 мая 1848 года император Николай I утвердил журнал комитета и подписал указ Правительствующему Сенату о преобразовании Лазаревского института.

Дальнейшая деятельность института в 1850-х – 1860-х годах показала, что граф С.С. Уваров был прав, критикуя проект его реформы. Вследствие того, что в гимназических классах одновременно велась подготовка сразу по нескольким направлениям, восточные языки в них стали восприниматься как лишняя нагрузка. «Закавказские воспитанники» стали смотреть на эти занятия как на тяжелую повинность, «связанную с кавказскими стипендиями» [14, с. V]. Успеваемость по восточным языкам снизилась. В итоге двух лет лицейских классов стало не хватать для освоения университетской программы востоковедческих дисциплин, поскольку воспитанники стали переходить в эти классы недостаточно подготовленными. Кроме того, большая часть воспитанников гимназических классов, за исключением «закавказских уроженцев», стала стремиться поступать в университет, а не в лицейские классы института. Таким образом, гимназические классы так и не смогли стать средней школой, специализирующейся по восточным языкам, а лицейские классы – полноценным высшим учебным заведением востоковедческого профиля. Интересно, что все эти недостатки были устранены проведенной в 1872 году новой реформой института, содержание которой удивительно напоминало предложения, сделанные графом С.С. Уваровым в 1848 году.

Подводя итог, подчеркнем, что появление Лазаревского института во многом стало прямым следствием той политики, которую проводил С.С. Уваров на посту министра народного просвещения. Основанный Лазаревым как учебное заведение для армянского юношества, Лазаревский институт в течение 1830-х – 1840-х годов прошел сложную эволюцию от училища к гимназии, а затем к высшему учебному заведению под влиянием двух ключевых направлений политики Уварова: с одной стороны, централизации и унификации всей системы образования, то есть подчинения министерству всех, в том числе и частных учебных заведений, а с другой – особого покровительства со стороны министра развитию востоковедения в средних и высших учебных заведениях империи, в частности преподаванию в них восточных языков.

Литература

1. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Т. IX: Кавказ и Закавказье за время управления генерала-адъютанта, генерала от инфантерии Евгения Александровича Головина. 1837–1842; Кавказ и Закавказье за время управления генерала от инфантерии Александра Ивановича Нейдгардта. 1842–1844. Тифлис, 1884.
2. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Т. X: Кавказ и Закавказье за время управления генерала от инфантерии князя Михаила Семеновича Воронцова. 1844–1854. Тифлис, 1885.
3. *Алешинцев И.А.* История гимназического образования в России (XVIII–XIX век). СПб., 1912.

4. *Базиянц А.П.* Лазаревский институт в истории отечественного востоковедения. М. : Наука, 1973.

5. *Виттекер, Цинтия Х.* Граф Сергей Семенович Уваров и его время. СПб. : Акад. Проект, 1999.

6. *Кананов Г.И.* Очерк пятидесятилетней деятельности Лазаревского института восточных языков в связи с краткою историею водворения армян в России. М., 1965.

7. *Кананов Г.И.* Семидесятипятилетие Лазаревского института восточных языков: 1815–1890 : Исторический очерк и приложения. М., 1891.

8. Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. 2-е изд. Т. 1: Царствование императора Александра I. 1802–1825. СПб., 1873.

9. Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. 2-е изд. Т. 2: Царствование императора Николая I. 1825–1855. Отд. 1. СПб., 1875.

10. Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. 2-е изд. Т. 2: Царствование императора Николая I. 1825–1855. Отд. 2. СПб., 1876.

11. Собрание актов, относящихся к обозрению истории армянского народа. М., 1838. Ч. III.

12. Собрание высочайших указов и актов, относящихся до Московского Армянского Лазаревых института восточных языков, с обзором основания, состава и цели института. СПб., 1839.

13. *Уваров С.С.* Избранные труды / сост., авт. вступ. ст., и коммент.: В.С. Парсамов, С.В. Удалов; пер. В.С. Парсамова. М. : РОССПЭН, 2010.

14. *Хаханов А.С.* Тридцатилетие специальных классов Лазаревского института восточных языков. М., 1903.

15. *Шевченко М.М.* Конец одного Величия : Власть, образование и печатное слово в Императорской России на пороге Освободительных реформ. М. : Три квадрата, 2003.

Аннотация. В статье исследуется история развития Лазаревского института восточных языков в контексте проводимых в 1830-х – 1840-х годах министром народного просвещения С.С. Уваровым реформ. Лазаревский институт был основан в 1815 году семьей Лазаревых, богатых предпринимателей армянского происхождения. В 1830-х – 1840-х годах это учебное заведение проделало сложный путь развития. Основанное как простое училище для армянских детей, в 1835–1837 годах оно было преобразовано в гимназию, получившую название «Лазаревский институт». Особенностью института стало преподавание в нем восточных языков. В 1848 году институт получил статус высшего учебного заведения. Решающее влияние на преобразования института оказали два ключевых направления политики С.С. Уварова: централизация и унификация всей системы образования, а также особое покровительство развитию востоковедения в средних и высших учебных заведениях. В итоге Лазаревский институт стал одним из крупных центров отечественного востоковедения.

Ключевые слова: реформы в сфере образования, востоковедение, Лазаревский институт, Комитет устройства учебных заведений, император Николай I, С.С. Уваров, А.Х. Бенкендорф.

Michael Volkhonsky, Ph.D. in History, Senior Researcher, Center for the Caucasian Studies and Regional Security, Institute for International Studies, MGIMO-University. E-mail: Volhonskyma@yandex.ru

Lazarev Institute of Oriental Languages in the Policy of the Minister of National Education S.S. Uvarov 1830–1840s

Abstract. The article examines the history of the Lazarev Institute of Oriental languages in the context of the reforms carried out in the 1830s-1840s by the minister of National Education S. Uvarov. Lazarev Institute was founded in 1815 by Lazarev family, a family of wealthy entrepreneurs of Armenian origin. In the 1830s – 1840s that school followed a difficult path of development. Initially founded as a simple school for Armenian children, in 1835–1837 it was transformed into the gymnasium under the name of Lazarev Institute. The special feature of the Institute was the teaching of Oriental languages. In 1848 the Institute received the status of a higher educational institution. Two key directions of S. Uvarov's policy mainly influenced the Institute's transformation: centralization and unification of the entire educational system, and special support of the development of Oriental studies in secondary and higher education institutions. As the result Lazarev Institute became one of the major centers of Russian Oriental studies.

Keywords: Reforms in Education, Oriental Studies, Adler Institute, the Committee for Arrangement of Educational institutions, the Emperor Nicholas I, S.S. Uvarov, A.Ch. Benkendorf.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-1-182-192

Василий Ванчугов

Роль «триады» Уварова в трансформации отечественной философии

Будучи еще заместителем Ливена, С.С. Уваров в марте 1832 года делает набросок письма, чтобы представить императору свои соображения относительно принципов внутренней политики, в которой немаловажную роль играло и его ведомство: чтобы отечество усиливалось и благоденствовало, следует придерживаться трех «великих государственных начал» – «национальной религии», «самодержавия» и «народности». Эта триада, делающая упор на собственные ценности и отечественные начала, повторяется и в отчете о ревизии Московского университета, представленном императору 4 декабря 1832 года. Здесь Уваров сообщает о необходимости наличия у нас «правильного, основательного» образования, которое следует соединить «с глубоким убеждением и теплою верою в истинно русские охранительные начала православия, самодержавия и народности». Ну а 20 марта следующего года, когда Уваров вступил уже в полное управление министерством, в циркулярном предложении, предназначавшемся для попечителей всех учебных округов, сообщалось, что «общая наша обязанность» состоит в том, «чтобы народное образование совершалось в соединенном духе православия, самодержавия и народности» [1, с. XLIX–L; см. также 2, стлб. 838].

Уваров выразил уверенность, что отныне все профессора и наставники, проникнувшись одним и тем же чувством «преданности трону и отечеству», используют свои силы и дарования, чтобы сделаться «достойным орудием правительства и заслужить полную доверенность оного»; что всяк на своем месте доведет преподавание вверенной ему науки или ремесла до совершенства, «посвящая всего себя на образование юношества» [1, с. L]. Новый министр сразу же четко определил, каковы критерии *истинного просвещения* для тех, кто работает, точнее, служит отечеству по его ведомству: образование российского юношества в духе «охранительных начал», изучение всех наук, искусств таким образом, чтобы прошедшие высшую школу всю свою сознательную жизнь оставались приверженцами «православия, самодержавия и народности».

Подготовленный вскоре доклад III отделения «Обозрение расположения умов и различных частей государственного управления в 1833 году» в разделе «О расположении умов» отметил положительные изменения на ниве просвещения: «Последовавшее в 1833 году назначение тайного советника Уварова управляющим Министерством народного просвещения было вообще принято с одобрением. Его почитают человеком умным и просвещенным и ожидают от него улучшения вверенной ему важной части государственного управления. С удовольствием замечают, что со времени его назначения появилась в Министерстве народного просвещения деятельность, которая уже несколько лет была

Ванчугов Василий Викторович, доктор философских наук, профессор кафедры истории русской философии философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, заместитель главного редактора портала «Русская idea». E-mail: vanchugov@gmail.com

ному чужда. Обращено внимание на цензуру, и цензоры ненадежные заменены другими, достойнейшими. Издатели журналов также имели уже случай удостовериться, что произведения их не остаются без должного надзора» [3, с. 95].

С разных сторон поступали предложения о необходимости новых печатных изданий, газет и журналов, согласных с духом нового времени, созвучных по духу и форме с охранительными началами. Так, А.С. Пушкин вступил в переписку с Бенкендорфом, начальником III отделения Собственной Е. И. В. канцелярии, обосновывая полезность и необходимость издания *политической газеты*, напирая на то, что «общее мнение имеет нужду быть управляемо». В итоге Блудов, который надеялся использовать инициативу для создания рупора Министерства внутренних дел, получил добро на издание печатного органа под названием «Дневник. Политическая и литературная газета», однако этот проект не состоялся. Зато годом ранее появился новый печатный орган, в первом номере которого, в редакторской статье «Современное направление просвещения» можно было найти такое объяснение собственного названия: «Тучи бродят над Европой; но на чистом небе русском загораются там и здесь мирные звезды, утешительные вестницы утра. Всегда ль должно будет их разглядывать в телескоп? Придет время, когда они сольются в яркую пучину света!». Это был проект преподавателя Московского университета Николая Надеждина под названием «Телескоп», который, желая сделать свой журнал «указателем современного просвещения», обещал стараться доставить образованной публике приятное чтение, соединять полезное с приятным, как в лучших европейских журналах, преимущественно французских и английских.

С приходом на «ниву просвещения» Уварова появился еще один печатный орган, за благонадежность которого Бенкендорфу можно было не беспокоиться и смело рассылать во все уголки Российской империи: «Журнал Министерства народного просвещения». По воспоминаниям А.В. Старчевского, именно Уваров составил план нового журнала, придумал для него все рубрики, пригласил необходимых сотрудников – профессоров университетов, учителей гимназий и других учебных заведений, а также «прочей пишущей братии, служившей по тому же министерству» [4, с. 110]. Он предложил вести издание не под руководством ученого комитета Главного правления училищ, а под «собственным наблюдением», что, как показало время, сыграло безусловно положительную роль.

В журнале было два отдела – *официальный*, для освещения «действий правительства», где помещались высочайшие указы, циркуляры и распоряжения министерства, и *неофициальный*, состоящий из «оригинальных и переводных статей по части религии, философии, правоведения, нравоучения, педагогики, истории, литературы, отечественного языка и других общеполезных знаний». Уже первые номера журнала содержали достойные примеры следования новым началам – на собрании Петербургского университета 31 августа 1833 года П.А. Плетнев выступил с речью «О народности в литературе», а его коллега Н.И. Бутырский вторил ему в обзоре деятельности учебного округа, в котором отметил, что из всех сфер образования и культуры к народности прямое отношение имеет прежде всего словесность, и что если все прочее можно заимствовать от чужестранцев, то «русскую словесность должны мы создать сами, в противном случае останемся только подражателями».

Отныне на какую бы тему кто бы ни завел речь, все начинали выводить достоинства своей науки из следования одному или всем элементам охранительной триады. Так, в нескольких номерах «Молвы», издававшейся при упомянутом выше «Телескопе», появляются «Литературные мечтания. Элегия в прозе», дающие не только обзор исторического развития русской литературы, но выражающие восторг автора от благотворной опеки со стороны государства. Автор сообщал, что просвещение наше благодаря «неусыпным попечениям мудрого правительства» ускоряет свой ход, тем более что русский народ

«смышлен и понятлив, усерден и горяч ко всему благому и прекрасному» особенно тогда, когда «рука царя-отца указывает ему на цель, когда его державный голос призывает его к ней». Больше всего радовало автора, что «неусыпное правительство» ежегодно совершает новые подвиги во благо просветления умов и новые благодеяния, новые щедроты в пользу ученого сословия: избавляет нас от вредных следствий иноземного воспитания, и скоро мы получим «свое русское, народное просвещение», всему миру докажем, что «не имеем нужды в чуждой умственной опеке» и нам легко это сделать, «когда знаменитые сановники, сподвижники царя на трудном поприще народоправления, являются посреди любознательного юношества в центральном храме русского просвещения возвещать ему священную волю монарха, указывать путь к просвещению в духе православия, *самодержавия и народности*».

Автором этой восторженной «элегии в прозе», «литературных мечтаний», был никто иной, как недавно оставивший университет Виссарион Белинский, ну а его наставник, Николай Иванович Надеждин, ординарный профессор по кафедре словесности Московского университета и редактор «Телескопа», журнала «современного просвещения», свою статью «Европеизм и народность в отношении к русской словесности» (1836, № 1) заключил соответствующим положением: поскольку в основание нашего просвещения «положены православие, самодержавие и народность», то относительно литературы их можно «сократить в одно», и если наша словесность *народна*, она будет и *православной*, и *самодержавной.*

Деятельность Уварова на посту министра народного просвещения оказала влияние и на философию как составную часть системы высшего образования. В скором времени после его назначения все профессора философии «и соприкосновенных с нею наук» получили указание руководствоваться в преподавании воззрениями Луи Ботена. С философией Ботена (в подробном изложении А. Краевского) российские читатели могли познакомиться в первой части «Журнала Министерства народного просвещения», где рассказывалось о том, как аббат, профессор философии Страсбургского факультета словесных наук, разбирает и оспаривает основные положения господствующих во Франции систем, выводит свою, «новую, им самим созданную систему», не похожую на преподаваемые в университетах и других учебных заведениях Франции. В чем же новизна системы аббата, которую Уваров рекомендовал для *всеобщего* изучения и в нашем отечестве? «Христианство есть глубочайшее, обширнейшее, возвышеннейшее, содержащее в себе самую чистую мудрость и самую высокую науку, одним словом – оно самое философическое учение; а потому, если есть в мире слово истины, то должно искать его в христианстве», – вот открытие, которое должны были применить на практике философствующие с университетских кафедр россияне [5, с. 317–377].

Помимо изложения Краевским философии Ботена на основе полученного из Парижа благодаря Э. Мещерскому сочинения аббата, в разделе «Новые иностранные книги» появилась заметка «О преподавании философии во Франции в XIX столетии, соч. Аббата Ботена», где еще раз были подчеркнуты достоинства «истинно христианской философии» [6]. «Личный корреспондент министра» посылал в Петербург не только книги Ботена и ему подобных мыслителей и сочинителей, но и обзоры, и в журнале Уварова были напечатаны его заметки о начальном образовании во Франции, о писателях и философах (Альфонсе де Ламартине, Арни Лакордене и др.), о морали в христианстве, о католическом университете, росте религиозности во Франции. И вскоре министр народного просвещения сообщал императору, что князь Мещерский оправдал его ожидания, «исполняя с усердием и успехом все делаемые ему поручения и доставляя министерству многие полезные сведения, из коих некоторые вошли в издаваемый журнал при департаменте народного просвещения» [цит. по: 7, с. 481].

Идея, высказанная Ботеном, для наших профессоров философии (как в университетах, так и в духовных академиях) была, конечно же, не новой, но ее предстояло развивать в духе уваровской триады. Первым здесь отметился немец Адам Фишер, когда-то приехавший в Россию на положении гувернера, а к данному моменту достигший положения профессора философии в Главном педагогическом институте, а затем и в университете. Свои лекции – психологию, логику, нравственную философию, метафизику, историю философских систем – Фишер читал сначала на французском языке, а затем перешел на русский, что более соответствовало духу нового направления Министерства народного просвещения. Именно он первым ввел идеи Уварова в состав отечественного любомудрия, изложив осенью 1834 года свой философский «символ веры» в программной речи «О ходе образования в России и об участии, какое должна принять в нем философия». «После сказанного мною, – заявил ординарный профессор Фишер на торжественном собрании в университете 20 сентября, обращаясь к аудитории на французском, – думаю, нельзя уже сомневаться, чтоб основания эти не были: священное уважение к религии, непоколебимая верность монарху и безусловное повиновение существующим законам» [8]. Речь Адама Фишера продемонстрировала коллегам, что значит для философии принять «должное» направление: министерская инструкция получала «обоснование», а философия обретала статус благонадежной науки.

С 1837 года в «Журнале Министерства народного просвещения» появляются «Указатель вновь выходящих книг», а также «Известия о новых достопримечательных книгах как иностранных, так и выходящих в России». При отсутствии в те годы систематической справочной литературы это было, безусловно, важным начинанием, создающим условия для научной работы. В разделе «философия» первого выпуска оказались на тот момент всего три работы: «Убогий жаворонок» Григория Сковороды (притча 1787 года в форме диалога), «О мнимом суеверии в религии» Евстафия Ивановича Станевича и вышедшая в Вильно польская книга «Wzór cnotliwej damy, czyli anegdoty z życia Maryi Leszczyńskiej córki Stanisława Leszczyńskiego Króla Polskiego przez» («Типы добродетельных дам»), а в другом номере читатели узнали о существовании «Инструкции плавания в вечности; написано купцом Лондонского портового Библейского общества» в переводе Александра Бутакова [9, с. 79].

Здесь также можно было познакомиться с обзором газет и журналов за первую половину года, где имелся и философский раздел, составленный Краевским. При этом Краевский не преминул еще раз заметить, что уже имел случай посетовать на недостаток журнальных статей по философской части и снова должен повторить при очередном обзоре отечественных периодических изданий, вышедших в первой половине 1836 года, что философия в нашем отечестве все еще составляет предмет занятия *немногочисленных избранных* и до сих пор «не получила своего цвета, своего характера». Занимающиеся философией почти ничего не печатают, что он объясняет их нежеланием повторять уже прежде сказанное другими в Европе, однако не без оснований добавляет: молчание, скорее всего, обусловлено тем, что «ростки своеобразной, безподражательной философии еще так слабы, так мало развиты, что далеко не достигли той степени, при которой появляется нравственная потребность и как бы необходимость высказаться пред ученою публикой» [10, с. 193–194]. Все, что печатается в журналах, отмечал Краевский, есть или перевод иностранных периодических изданий, или «классные упражнения» учащихся, в которых повторяется давно всем известное, только представленное в другой форме, то есть расположенное по новому плану. Именно это и нашел он после пролистывания отечественных журналов: опубликованный в «Московском наблюдателе» перевод с французского «Что такое истина» Нодье и две статьи в «Ученых записках Московского университета» («О способе познания умозрительном и опытном» Окатова и «Воображение, память и фантазия» Семина).

Краевский сам давал регулярные и обстоятельные обозрения периодики, пояснив это тем, что именно его время может быть названо «веком журналов», поскольку последний «сделался насущной потребностью, необходимостью каждого утра, каждого вечера» [11, с. 94]. Прельщая читателей широтой обзора литературы, он все же призывал их не забываться, не подражать иноземному, поскольку, хотя мы и должны быть европейски просвещенными, но в первую очередь нам следует оставаться русскими, и что у нас «есть свой ум, свое сердце, свой язык, своя вера, своя история...» [11, с. 98]. И вот во время очередного ознакомления с состоянием печатной продукции он обращает внимание на журнал «Телескоп», где для просвещенной публики предлагалось три статьи: «Суждение Шеллинга о философии Кузена», «Эммануил Кант», а также работа А.Ф. Хиждеу «Григорий Варсава Сковорода».

Последний, Григорий Сковорода, как считает Краевский, принадлежит к числу людей самых необыкновенных и у нас он едва ли не первый и не единственный, кто умел простонародным языком выражать высокие истины и удачно сочетать *идеи философии со словами Св. Писания*, так что их сокровенный смысл при его способе аллегорического объяснения становился доступным каждому, глубоко проникая в душу. И если верно мнение, что «народ должен иметь свою собственную, созданную особым развитием его особенного духа философию, в которой, как в высшем простейшем выражении всех элементов народной жизни, соединены были бы основные понятия его ума, лучшие верования его сердца, оригинальное воззрение на природу», то именно в Сковороде мы и можем увидеть «росток русской народной философии», хотя он, к великому сожалению, до сих пор не получил дальнейшего развития, не дал плодов. И потому-то нам, полагал Краевский, должно быть интересно все, относящееся к этому простому и бесхитростному мыслителю, «скрывавшему под одеждой простолюдина ум, просвещенный наукой, и душу, отличающуюся резким типом народного характера, глубоко-русскую и, вместе с тем, способную отторгаться от мелочной видимости, чтобы постоянно стремиться в сферу бесконечного и вдохновенно созерцать Творца в величии творения Его» [12, с. 670–671].

Завершив обзор статьи А.Ф. Хиждеу на оптимистической ноте[1], Краевский вскоре сам предпринял дополнительные шаги в популяризации Сковороды, исходя из того образа, который он нашел у Хиждеу. Возглавив вскоре «Литературные прибавления к “Русскому инвалиду”», Краевский в самом начале 1837 года открывает газету программной статьей «Мысли о России», где среди прочего противопоставляет отвлеченным и черствым западным рационалистам нашего «простонародного философа», начавшего «созидать народную русскую философию, сливая мысль с верованием и умозрения философские объясняя простыми словами священного писания – в то время, как Европа и не заботилась еще об этом, когда еще не являлись в ней ни Шеллинги, ни Гегели, ни Баадеры» [13, с. 10].

При такой интерпретации творчества Сковороды неудивительно оживление издательской работы в соответствующем тематическом направлении, и стараниями Московского попечительного комитета «Человеколюбивого общества» в 1837 году были опубликованы сразу четыре сочинения «созидателя народной русской философии», а через два года – еще одно[2]. Также следует отметить и «Опыт истории философии по Рейнгольду» (СПб., 1837), автор которого – Надежин – подытожил свой труд следующим образом: из обозрения философии последнего периода видно, что «философствование во всей силе

[1] «Кажется, никогда время столь не благоприятствовало появлению творений оригинального русского мыслителя: теперь более чем когда либо вкус направлен к своему, к народному» [12, с. 678].

[2] Басни Харьковския. М. : Издание Московского попечительного комитета «Человеколюбивого общества», 1837; Беседа, нареченная Двое. О том, что блаженным быть легко. Там же, 1837; Дружеский разговор о душевном мире. Там же, 1837; Убогий Жайворонок: Притча. Там же, 1837; Брань архистратига Михаила со Сатаною, о сем: легко быть благим. Там же, 1839.

своей» обнаруживается в Германии, в то время как в других «образованных государствах» не видно ни одного самостоятельного мыслителя: в Англии процветает богословие, но нет философских систем, философия Франции представлена аббатом Ботеном, в нашем отечестве преподается философия, «выбираемая большею частью из немецких философов», однако «ростком русской народной философии, русским Сократом, по сознанию ученых <...> должно почесть Григория Варсаву Сковороду» [14, с. 237–238].

В июле 1837 года на пустынной окраине Киева началось строительство нового университетского корпуса. Это был второй университет на территории Малороссии после Харьковского, открытого в 1804 году, и шестой по счету университет Российской империи. Решение об открытии *университета Святого Владимира* было принято еще 25 декабря 1833 года[1]. Намерение правительства при учреждении этого высшего учебного заведения, заменившего собой Виленский университет и Волынский лицей, сообщал Уваров в отчете, состояло в том, чтобы «в возвращенных из польского плена губерниях» придать образованию направление, согласное с духом народного просвещения в Российской империи, и сгладить «те резкие характеристические черты, которыми польское юношество отличается от русского, и в особенности подавлять в нем мысль о частной народности, сближать его более и более с русскими понятиями и нравами, передавать ему общий дух русского народа»[2]. Для выполнения поставленной задачи новому университету стали подбирать достойные кадры, и сюда, по рекомендации о. Иннокентия, ректора местной духовной академии, приглашается для чтения лекций по философии Орест Новицкий.

В своей речи «Об упреках, делаемых философии в теоретическом и практическом отношении, их силе и важности» Новицкий пояснил, что такое философия сама по себе («развитие и уяснение движений нашего сознания»), но гораздо важнее то, как он изложил задачи философии применительно к духу времени, выраженному в триаде Уварова. Ход рассуждений Новицкого был следующим: так как в нашем сознании проявляются *три* существенных предмета: я, или дух познающий; не-я, или мир, вне нас существующий; Бог, причина и конец всех тварей, то и главнейших направлений в философии должно быть столько же: наукообразное развитие явлений и законов нашего познающего духа; умозрительное и при том опытное развитие законов *мира, вне нас существующего;* сосредоточенность этих противоположных полюсов в их начале – *Боге*. Первое направление господствует в Германии, второе – в Англии и во Франции, но ни то, ни другое не в состоянии удовлетворить россиян односторонним подходом к решению философских проблем. Лишь полагая в основание мышления «плодоноснейшие начала», смогут они «счастливо избегать» тех односторонностей и заблуждений, которые просто «наводнили Европу». Посредством умозрения, уверен Новицкий, можно доказать, что чистые теории идеализма сами по себе, в своей оторванности от опыта, теряются в заоблачных созерцаниях, в пустых построениях; с другой стороны, и опыт, принятый вождем философии, приводит к последствиям совершенно ложным: в конце пути, по которому шествует сенсуализм, рано или поздно неосторожный мыслитель окажется перед «пропастью материализма, фатализма, атеизма». Потому-то в Германии лучшие мыслители начинают чувствовать потребность не только соединения теории с опытом, но и высшего примирения их в верховном начале всякого бытия, идеального и реального. Однако двух различных направлений одной и той же идеи не выражает в равной степени один и тот же народ. И по этой «естественной»

[1] После польского восстания 1830–1831 годов местные «неблагонадежные» учебные заведения были закрыты. Вскоре задумались об учреждении, которое могло бы содействовать распространению русской образованности в этом крае.

[2] Записка, представленная государю императору Николаю Павловичу министром народного просвещения графом Уваровым в 1843 году и возвращенная с собственноручною надписью его величества: «Читал с удовольствием» [15].

причине осуществление «третьего направления» (или, как говорил Сидонский, – движение по «срединному пути» [16, с. 6]) в философии «издревле принадлежит народу великому и сильному, который, полагая краеугольным камнем философствования рационализм, соображаемый с опытом, завершает этот храм любомудрия как бы светозарным куполом – откровением и преимущественно материею всех идей – понятием о Боге». Таковым народом являются, конечно же, русские.

Определившись с *направлением* нашей философии, Новицкий рассуждает и о ее духе. Поскольку философия есть не просто самосознание, а в высшей степени «самосознание народное», то в ней должен выражаться «дух самого народа», а он таков: «Примерная религиозность, глубокая преданность отечеству и царю». Вот этим духом и должна быть «проникнута и животворима» философия в нашем отечестве, в силу чего она непременно станет национальной, произведением не заимствованным, а собственным. Ну, и именно Киевский университет имеет все условия для философствования собственно в таком роде: «И если где-либо, то не особенно ли здесь, в этом святилище наук, она должна быть запечатлена таким характером? Здесь поставлена колыбель философии на тех заветных для нас берегах Борисфена, где зародилось некогда отечество наше, здесь водружено знамя любомудрия на тех священных горах, где впервые водружен был крест Христов, как залог имевшего процвести здесь христианства, а у колыбели отечества, у самого исходища нашей Святой Веры, как не развиться и любомудрию в духе веры и любви к царю и отечеству?» [17].

В том же направлении следует в своих рассуждениях о наиболее приемлемой для нас философии Иосиф Григорьевич Михневич, который окончил магистром Киевскую духовную академию, с 1836 года был в ней профессором, в 1839 году перешел в одесский Ришельевский лицей. Первой работой И.Г. Михневича было исследование «Об успехах греческих философов в теоретическом и практическом отношениях», в котором он задался вопросом: «Что сделали греки и какой был результат их действий? Как далеко простирались их познания и какое влияние они имели на нравственность, религию и философию?». Отдав должное греческим философам, Михневич переходит к рассмотрению успехов философии в христианском мире. По его мнению, в новом христианском мире философия принимает направление более «возвышенное». Умственное зрение расширяется, и философия является здесь в «огромных рамах, обнимающих всю целость бытия, сосредоточенную в верховном начале ее, Боге, <...> настала эпоха великих, почти исполинских действий ума» [18, с. 160]. Михневич находит необходимым предупредить философию, чтобы она не забывала: у нее теперь два начала: «закон неписанный, природный, закон ума» и «закон писанный, положительный, закон Откровения». Философ должен поминутно сверяться с тем и другим законом. Но если он будет руководствоваться только одним из них, то или «разрушит все для своей философии, или уничтожит саму философию». А ведь только та философия вводит в святилище истинной мудрости, которая исходит из ума, нимало не удаляясь от Откровения. Такая философия – «по духу нашего любезного отечества, той Святой Руси, которая издревле чуждалась мудрований ума, несогласных с заветными истинами веры. Она – по намерениям нашего августейшего монарха, который, желая утвердить благоденствие мудро управляемого им народа на незыблемых основаниях, с отеческою заботою печется о том, чтобы гордый ум человеческий не возгордился на разум Божий, а пребывал в должном послушании, вере. Она, наконец, – по свойству самого дела, то есть по духу и смыслу этой науки, которая всегда была и не может не быть в тесной связи с религиею: истина неоспоримая и для всякого очевидная, что слепа та вера, в которой нет знания, но не дальновидно и то знание, в котором нет веры» [18, с. 166].

В Казанском университете вскоре появилась работа архим. Гавриила, сначала под названием «Понятие об истории философии» в «Ученых записках» Казанского уни-

верситета [19], а затем уже и в книжном формате – «История философии», с пометкой «издание второе с переменами», с цензурным разрешением от 29 декабря 1838 года. В периодизации истории философии архим. Гавриил схоластически диалектичен – *триадичен*, поделив ее, следуя искусственной схеме, на три *периода* («античную философию; философию средних веков, или схоластику; новую философию»), а их, в свою очередь, на три *эпохи*. И все завершалось здесь аббатом Ботеном, включенным им в главу «идеализм богословский». 20 мая 1839 года за подготовленную «историю философии» министром народного просвещения изъявлена благодарность [20 – в этом источнике по ошибке указан 1838 год].

Его «История философии» первоначально состояла из четырех частей, к которым он присоединил еще два тома, появление которых предварил следующим образом: «Мы много занимались Западом, теперь же обратимся к Востоку»… В пятой части (прибавлении первом) он решил поведать о философии *древнеиндийской* и философии *древнекитайской*. А вот следующая книга, второй том «прибавления», представлял философию столь же «чистую», как «философия Палестины», – *русскую*.

Завершающая часть «Понятия об истории философии», появившаяся сначала в «Ученых записках императорского Казанского университета», была посвящена исключительно российским философам [19: 1840, № 1, с. 3–73; № 2, с. 14–62; № 3, с. 3–64; № 4, с. 3–48][1], и анонимный рецензент «Журнала Министерства народного просвещения» заметил по этому поводу, что «почтенный архим. Гавриил» в очередной своей статье, обозрев историю философии в Персии, Египте, Халдее, Финикии, оказался наконец и в России [22, с. 207; 23, с. 11–14]. Поскольку издание «Русская философия» идет как «*второе прибавление*» к четырехтомной истории философии и нумерация является *продолжением* первого приложения (философии восточной), то изложение отечественной истории философии начинается со 138-го параграфа и заканчивается 166-м, но сразу же опубликованная отдельным изданием и с измененным названием – «История русской философии» – она имеет самостоятельное деление на параграфы (§ 1–29), однако с тем же самым содержанием, без изменений хотя бы одной буквы.

При отборе материала для «Русской философии» – очень разнородного – основное влияние оказывала не философия, а идеология, точнее, официальная позиция Министерства народного просвещения, «доктрина» Уварова, получившая у архим. Гавриила своеобразное богословско-философское преломление, выраженное в форме нескольких «мифологем». Одна из них – «религиозность народа» как неизменное и исключительно положительное качество, что «доказывается» им посредством простого указания на своеобразный склад души, раскрываемой посредством «психологии», на тот момент исключительно спекулятивной и подкрепляющей свои суждения обращением к обыденному опыту. Автор исходит из того, что каждый народ имеет особенный характер, а соответственно и свою философию, «более или менее наукообразную, или по крайней мере рассеянную в преданиях, повестях, нравоучениях, стихотворениях и религии» [24, с. 3].

В изображении архим. Гавриила россиянин «богобоязлив, до бесконечности привержен вере, престолу и отечеству, послушен, нерешителен и даже недеятелен там, где подозревает какое-либо зло от поспешности, трудолюбив, хитер, непобедим в терпении, рассудителен. По отношению же к любомудрию отличительный характер его мышления есть рационализм, соображаемый с опытом» [23, с. 5]. Автор «Русской философии» исходит из того, что «особенное внимание ко гласу разума и опыта показала Россия при избрании веры» (§ 142), и с тех пор русский ум покорился «уму беспредельному», так что с сих пор «любомудрие поставило для себя новый закон: рационализм, соображаемый с

[1] Отдельное издание: [21].

опытом, поверять чрез откровение; и никогда оно от сего закона не отступало». А потому русская философия своим развитием обязана духовенству, как своему, так и отчасти греческому, первоначально занимавшего высшие места в русской иерархии (§ 146).

При составлении своей истории любомудрия архим. Гавриил использовал и то, что заметил пригодного в журналах и книгах, оказавшихся рядом (как, например, выписываемый университетом «Журнал Министерства народного просвещения»). Среди тех, кто мог привлечь самое пристальное внимание архим. Гавриила, был Краевский, ведущий в «Журнале Министерства народного просвещения» актуальный раздел «Обозрение русских газет и журналов». В частности, в обозрении за первую половину 1835 года, где он заговорил о Сковороде в связи с появлением в «Телескопе» статьи Хиждеу «Григорий Варсава Сковорода. Историко-критический очерк». К этому времени о малороссийском мыслителе уже имелось в нашей периодической прессе несколько публикаций, но архим. Гавриил обратил внимание на эту личность именно благодаря Краевскому, «органично» озвучивавшему на страницах официального органа те события и персоны, которые соответствуют воззрениям Уварова. Здесь нам следует еще раз выделить строки Краевского, имеющие особое значение в контексте написания «Русской философии» архим. Гавриила, а именно: «... *если справедливо, что народ должен иметь свою собственную, созданную особым развитием его особенного духа философию, в которой, как в высшем простейшем выражении всех элементов народной жизни, соединены были бы основные понятия его ума, лучшие верования его сердца, оригинальное воззрение на природу*» [12, с. 670–671]…

Но при всем созвучии с установкой Краевского на собственную, созданную особым развитием его особенного духа философию, архимандрит начинает историю любомудрия не со Сковороды, а с других мыслителей. Поскольку задача философии «стремиться в сферу бесконечного и вдохновенно созерцать Творца в величии творения Его», то летоисчисление любомудрия он повел с принятия христианства на Руси и, двигаясь оттуда к современности, выстраивал в линию богоискателей, боголюбов, богословов, людей набожных и благонравных, словом и делом совершавших благие для просветления души дела. И если сам Краевский в переложении «охранительных начал» Уварова передал лишь общие соображения о *своеобразии России*, то архим. Гавриил попытался обосновать его историей философии, держа в уме соображения Краевского, который, в свою очередь, проводил линию Уварова.

Несмотря на все недостатки исполнения замысла – эклектичность, компилятивность, экзальтированную тенденциозность, поспешность исполнения, – несомненной заслугой архим. Гавриила является то, что он первым понял намек на необходимость представления публике отечественной философии. Намеки на это делал и Карпов, в частности, в предисловии к «Истории философии древних времен» Генриха Риттера (перевод с немецкого, СПб., 1839). Там он, например, заметил, что всякий народ, вступающий на поприще философии, сначала должен изучить в связи идеи поколений предшествовавших, то есть «исследовать философию человеческого ума вообще, в вековых ее развитиях, и тогда сама собою определится точка его стояния и будет видно, чем кончило время прошедшее и чего можно желать, искать и надеяться в будущем. И тогда, – уверен Карпов, – к генеалогическому дереву философии, пережившему столько тысячелетий, Россия привьет свое народное воспитание, свой нравственный характер, свой образ мыслей и произведет философию оригинальную». Еще больше оснований поговорить о русской философии Карпов находит в своем «Введении в философию» (СПб., 1840), в главе «О пользе философии», где сообщает, что «философия отечественная, оригинальная должна иметь в виду определение места, значения и отношений человека в мире, поскольку человек, сам в себе всегда и везде одинаковый, в развитии охарактеризован типом истинно русской жизни, и, раскрыв требования его природы, прояснить ему его обязанности по отношению к отечеству и ре-

лигии». Однако у Карпова, также прислушивавшегося к мнению начальства, своевременно излагаемому Краевским на страницах журнала, мы видим лишь *пожелание* философии, которая должна бы быть, но в наличии ее все же нет, да и неизвестно, будет ли она.

Разрозненные разговоры на тему «русской философии», ряд спорадических – от случая к случаю – публикаций он свел (выделив лейтмотив в публикациях Краевского, пишущего в унисон триаде Уварова) воедино, представив сочинение под названием «Русская философия», а деление на параграфы, согласно нормам того времени, предполагало использовать его и как учебное пособие. «Русская философия», можно сказать, своеобразный плод *воображения* архим. Гавриила, уловившего пожелания начальства, однако им были учтены и суждения современных философов на эту тему. Данная книга – плод воображения ученого богослова на тему отечественной философии, и потому ее читатель найдет под видом изложения «как это было» лишь пожелание того, чем *должна быть* философия в России. Так что *ретроспекция* в ней мнимая, условная, зато очевидна *проекция* – перенос в прошлое установок настоящего, обуславливаемого целиком и полностью пожеланиями начальства, занятого спасением отечества посредством правильно организованного Министерства народного просвещения.

Подводя итоги, можно отметить, что уваровский проект «национализации» всей системы образования, то есть превращения низшей и высшей школы в систему подготовки патриотически настроенных кадров, оказал сильное влияние и на философию – и как на учебную дисциплину, и как на область исследования. Оказавшись под «казенным вниманием», преподаватели принялись за пересмотр основ и принципов читаемой ими дисциплины, подлаживая ее под запросы времени, в согласии с духом «триады». Безусловно, часто это были банальные подгонки курсов или статей под вкусы вышестоящего начальства. С другой стороны, политический курс – «опора на собственные начала» – сыграл и положительную роль, подталкивая преподавателей и исследователей то и дело задаваться вопросом: «а что своего мы можем предложить в области философии, что интересного, полезного, ценного сделано нами, в каком направлении двигаться дальше?».

Все это, даже с учетом внешнего давления, в условиях повышенного административного внимания, дало толчок рассуждениям о сущности философии применительно к жизни с ее политическими реалиями, а также показало, до каких пределов можно доходить в интерпретациях, чтобы не стать фальсификатором, удобным для начальства, но не годным уже для науки. Не будучи философом, Уваров оказал философии ценную услугу. Его эпоха – очень интересный «кейс» для историка философии, интересный для разбора особенно тогда, когда дело идет о взаимоотношении власти и школы, политики и науки, философии и идеологии, исследования и пропаганды.

Литература

1. Циркулярное предложение г. управляющего Министерством народного просвещения начальствам учебных округов о вступлении в управление министерством // Журнал Министерства народного просвещения (далее – ЖМНП). 1834. Ч. 1.
2. Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. СПб., 1866. Т. 1.
3. Россия под надзором : Отчеты III отделения : 1827–1869 / сост. М.В. Сидорова, Е.И. Щербакова. М. : Российский фонд культуры ; Российский Архив, 2006.
4. *Старчевский А.В.* Воспоминания старого литератора // Исторический вестник. 1888. № 10.
5. *Краевский А.А.* Современное состояние философии во Франции и новая система сей науки, основанная Ботеном // ЖМНП. 1834. Ч. 1.
6. О преподавании философии во Франции в XIX столетии, соч. Аббата Ботена // ЖМНП, 1834. Ч. I, С. 271–272.
7. *Мазон А.* Князь Элим // Литературное наследство. М., 1937. Т. 31/32.
8. О ходе образования в России и об участии, какое должна принять в нем философия // ЖМНП. 1835. Ч. 5. № 1.
9. ЖМНП. 1837. Ч. XV.

10. Журналистика : Обзор газет и журналов в первую половину этого года : 2: Философия // ЖМНП. 1837, Ч. XV.

11. Обозрение русских газет и журналов // ЖМНП. 1834. Ч. I.

12. ЖМНП. 1836. Ч. IX. № 3 (Философия).

13. Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», или Литературная газета. 1837. № 2.

14. *Надежин Ф.С.* Опыт истории философии по Рейнгольду. СПб., 1837.

15. Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833–1843. СПб., 1864.

16. *Сидонский Ф.Ф.* Введение в науку философии. СПб., 1833.

17. Об упреках, делаемых философии в теоретическом и практическом отношении, их силе и важности : Речь, произнесенная в торжественном собрании Императорского Университета Св. Владимира 15 июля 1837 г. ординарным профессором философии Орестом Новицким. Киев, 1838.

18. ЖМНП. 1839, Ч. 24.

19. Понятие об истории философии // Ученые записки императорского Казанского университета. 1837. № 3. С. 3–99; № 4. С. 3–94; 1838. № 1. С. 125–155; № 2. С. 3–131; № 3. С. 66–122; № 4. С. 3–147; 1839. № 2. С. 3–192; 1840. № 1. С. 3–73; № 2. С. 14–62; № 3. С. 3–64; № 4. С. 3–48.

20. НА РТ. Ф. 86, Оп. 14. Д. 1. Л. 8.

21. История философии. Русская философия. Казань, 1840. Ч. 6.

22. ЖМНП. 1840. Ч. XXVIII.

22. ЖМНП. 1841. Ч. XXX.

23. *Гавриил, архим.* Русская философия. Казань, 1840.

Аннотация. В статье рассматриваются структурные изменения в философии, которые произошли после вступления в должность главы Министерства народного просвещения С.С. Уварова, предпринявшего реформу образования и воспитания на принципах триады «православие, самодержавие, народность». В духе времени в России создаются не только русская опера, живопись, словесность, но и ведутся поиски новой, национальной формы философствования. Ряд академических деятелей (Фишер, Новицкий, Михневич, Надежин, архим. Гавриил и др.) откликнулся на необходимость преобразования философии на новых началах, представив свои версии, соответствующие национальному характеру «любомудрия».

Ключевые слова: философия, идеология, университет, образование, патриотизм, самосознание, коллективная идентичность.

Vasily Vanchugov, Ph.D. in Philosophy; Professor, Department of History of Russian Philosophy, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University; Deputy Editor-in-Chief, Site politconservatism.ru. E-mail: vanchugov@gmail.com

The Role of Uvarov's Triad in the Transformation of National Philosophy

Abstract. The author presents structural changes in philosophy, which took place after the appointment of S.S. Uvarov the head of the Ministry of Public Education, when he undertook reforms of education and upbringing according with the principles of the triad «Orthodoxy, autocracy, nationality». At that time, not only Russian opera, art and literature were reassessed in the spirit of the age, but also started the search of new, national form of philosophy. Some thinkers (Fisher, Novitsky, Mikhnevich, Nadezhin, Archbishop Gabriel, etc.) quickly responded to the need for philosophy transformation on the new basis, presenting their versions in compliance with the national character of Russian philosophy.

Keywords: Philosophy, Ideology, University, Education, Patriotism, Self-Consciousness, Collective Identity.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-1-193-200

Алексей Любжин

Две модели русского образовательного классицизма. Граф С.С. Уваров и граф Д.А. Толстой

Известная пословица о пророке в своем отечестве применительно к двум выдающимся министрам-консерваторам исполняется с буквальной точностью: мы не располагаем написанными в России монографическими исследованиями ни о С.С. Уварове, ни о Д.А. Толстом, в то время как американские ученые не оставили их без внимания, и одна из двух работ об авторе концепции православия, самодержавия и народности принадлежит такому известному историку, как Р. Пайпс[1]. Мы имеем дело с двумя моделями классической гимназии, отличающимися между собой: первая, уваровская, может быть охарактеризована как умеренная, вторая, толстовская, – как радикальная. Воспоминания о них совершенно разные: уваровскую оценивают высоко и отзываются о ней тепло, в то время как Толстой – одна из самых ненавидимых фигур в русском образовательном ведомстве. А между тем, как мы увидим, для Толстого Уваров был образцом. Оба они – отметим – не были теоретиками образования и, оставив ценные научные труды, не сформулировали в развернутом виде воззрений на этот счет.

Со своей стороны мы склонны высоко оценить достижения и того, и другого, хотя с сожалением отмечаем, что им была положена насильственная преграда. Осуществленная обоими гимназическая реформа и в том, и в другом случае – с некоторым временным лагом – породила научный и культурный расцвет; но если отказ от классической модели на первый раз был преодолен, то потом этого не произошло. Решительно порвавший с имперской образовательной традицией СССР заплатил за уничтожение классицизма сначала – когда иссякла интеллектуальная инерция Российской Империи – катастрофой гуманитарного мышления, а потом и политической катастрофой. Рассмотрим вкратце педагогические концепции, которые легли в основу уваровской и толстовской классической гимназии.

Интересно, что С.С. Уваров – человек дипломатической школы Александра I и, как справедливо отмечал Р. Пайпс, весьма скрытный и замкнутый [2, с. 6], – выступил с самостоятельной инициативой задолго до прихода на министерский пост. Заняв его впоследствии, он уже осуществил реформу, в разработке которой принимал деятельное участие, но утвержденную при другом министре и в полном согласии с идеями двух своих пред-

[1] О С.С. Уварове [1, 2]; о Д.А. Толстом [3]. Отметим, что – особенно ярко это видно на примере александровского министра – суждения американских исследователей честнее, проницательнее и теплее, нежели отечественных, редко способных выбраться из безнадежной системы координат «реакции» и «прогресса» и потому обреченных на – скажем так – поверхностность и верхоглядство. Отметим также, что если консервативная фигура, как, например, М.Н. Катков, привлекает внимание исследователей, то менее всего они склонны затрагивать педагогическую мысль.

Любжин Алексей Игоревич, доктор филологических наук, глава магистратуры «История и культура античности» Университета Дмитрия Пожарского. E-mail: vultur@mail.ru.

шественников и руководства ведомства в целом. К ранней эпохе относится и документ, в котором сформулированы его взгляды. Будучи попечителем столичного учебного округа, С.С. Уваров 31 октября 1811 года представил министру учебный план, сильно отличающийся от положений Устава 1804 года. «Цель гимназий, – писал он, – вообще есть приготовление учащихся к слушанию академических или университетских курсов наук, посему в курс гимназий и не должны входить такие предметы, которые предоставляются одним университетам. План, коему доселе следовали в здешней гимназии, заключал в себе много наук, совсем не совместных между собою. Таковая несовместность имела весьма невыгодные последствия. Политическая экономия, коммерческие науки, финансы, эстетика и философическая грамматика, требующие зрелого и предуготовленного ума, и потому предоставленные для университетов не только не были полезны воспитанникам, но даже и весьма вредны. Преподавание оных, не развивая умственных сил в учащихся, обременяло только память их и отвлекало от предметов, служащих первым основанием истинного просвещения во всех государствах и в каждом веке. Закон Божий, отечественный и классические языки, история в пространном и глубоком смысле, география со всеми отделениями, математические науки, грамматика, логика, риторика, отечественная и иностранная словесности, вот предметы, которыми надлежит единственно заниматься в гимназиях; вот начала, к которым должно обратиться и при этом так, чтобы изучение оных было не поверхностно, чтобы учители не опирались только на память учащихся, чтобы при испытаниях не старались удивлять многочисленностию учебных предметов, но заслуживали бы доверенность публики и благоволение начальства, вникая в предметы с учениками и образуя их своим примером столько же со стороны нравственности, как и со стороны учения» [4, с. 57–58]. Доклад Уварова 7 ноября 1811 года был утвержден министром, и С.-Петербургская гимназия получила такой учебный план (см. табл. 1).

Таблица 1

Учебные предметы		Классы							Всего уроков
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
Закон Божий	Краткий катехизис	2	2	2	–	4	–	–	14
	Священная история	–	2	2	–	–	–	–	
Русский язык	Чтение гражданское	8	2						40
	– церковное	4							
	Грамматика и диктант		4	4					
	Грамматика с упражнениями в слоге				4				
	Риторика и упражнения в слоге					4	2		
	Логика					2	2		
	Словесность и ее история							4	
Математика	Арифметика	6	6	6					42
	Алгебра				4				
	Геометрия				4				
	Математика					4	4	4	
	Физика						2	2	
История	всемирная			2	2	4	2		26
	новейшая					4		4	
	российская				2	4	2		
География	всеобщая с начальными основаниями математики			2	2				12
	российская				2				
	география и статистика					4	2		
Латинский язык				4	4	8	8	8	32

Учебные предметы	Классы							Всего уроков
	I	II	III	IV	V	VI	VII	
Греческий язык						2	4	6
Немецкий язык	4	4	4	4	4	6	6	32
Французский язык	4	4	4	4	4	6	6	32
Естественная история и технология						4	4	8
Древности и мифология							4	4
Чистописание российское	4	4	2					
– французское и немецкое	4	4	2					
Всего	36	32	34	36	46	46	46	

Если рассматривать этот план в свете идей концентрации, то мы увидим несколько ядер: русский язык и словесность, древние языки, математика, два новых языка. Но роль греческого редуцирована, и за время, назначенное на его преподавание, выучен он быть не может. Собственно «уваровская гимназия» по Уставу от 8 декабря 1828 года выправила дисбаланс для греческого [5, с. 557][1] (см. табл. 2).

Таблица 2

Учебные предметы	Число уроков по классам в неделю							Всего за неделю
	I	II	III	IV	V	VI	VII	
Закон Божий	2	2	2	2	1	1	1	11
Российская словесность и логика	4	4	4	3	3	3	2	23
Язык латинский	4	4	4	4	4	3	3	26
– греческий	–	–	–	5	5	5	5	20
– немецкий	2	2	2	3	3	3	3	18
– французский	–	–	–					
Математика	4	4	4	1	1	1	–	15
География и статистика	2	2	2	1	1	–	2	10
История	–	–	2	2	3	3	3	13
Физика	–	–	–	–	–	2	2	4
Чистописание	4	4	2	–	–	–	–	10
Черчение и рисование	2	2	2	1	1	1	1	10
Итого	24	24	24	22	22	22	22	160

Отметим, что тождественные взгляды высказывал такой выдающийся ученый и наставник, как Н.И. Пирогов: «Я приписываю высшую образовательную силу исключительно глубокому изучению древних языков, языка отечественного, истории и математики. Я сошлюсь в этом на вековой опыт, который вопреки всем возгласам противников все-таки доказал, что изучение этих наук одно и само по себе уже достаточно образует и развивает дух человека, приготовляя его к восприятию всевозможных и нравственных, и научных истин. Оно достигает этой цели, имея предметом преимущественно внутренний (субъективный) мир человека (т.е. самого себя), открываемый религией, словом и историей, и мир внешний (объективный), исследуемый математикой в ближайшей его связи (через отвлечение) с миром внутренним» [6, с. 220].

Что касается Д.А. Толстого, то идеологами его образовательной реформы были два известных московских профессора – П.М. Леонтьев[2] и М.Н. Катков. Попечитель Ка-

[1] И для Устава 1828-го, и для Устава 1871 года мы рассматриваем только гимназии с обоими древними языками, оставляя без внимания переходный тип с одной латынью.

[2] Его небольшая речь «О классицизме, европеизме и народности» (М., 1847) стала первым изложением обновленной концепции классицизма.

занского учебного округа П.Д. Шестаков вспоминал: «Во время первой своей поездки граф Д.А. Толстой был полон воспоминаниями об уваровском времени и с большим интересом слушал наши рассказы об уваровских гимназиях. Когда мы передавали подробно об устройстве гимназий того времени, о том, что, несмотря на небольшое число уроков, у хороших учителей достигались значительные результаты, потому, во 1-х, что русский язык шел впереди древних и на нем основывалось их учение, во 2-х, потому что в то время преимущественно обращалось внимание на переводы с древних языков, переводы же с русского делались только для укрепления учеников в грамматических формах, самая грамматика проходилась постольку, поскольку нужно было для приступа к чтению классиков, а за те часы ученики узнавали синтаксические правила при чтении классиков: “не то же ли самое я говорил Каткову и Леонтьеву, обратился при этом к своему спутнику граф, но они против этого”. Мы сказали, что система П.М. Леонтьева нам известна. Он того мнения, что для русских детей нет надобности учиться русской грамматике, что родной язык им известен и без нее, а общие и грамматические законы они лучше и основательнее узнают при изучении грамматики древних языков… “Я совершенно вашего мнения, заметил граф, и удивляюсь, как такой умный человек, как Леонтьев, отвергает необходимость для русского основательного изучения грамматики родного языка, но он упрям, переспорить его трудно, а умный человек с основательными знаниями Катков заодно с ним”» [7, с. 397–398]. Но сознательное решение министра подчиниться авторитету двух наставников привело к тому, что умеренная классическая модель уступила место радикальной. Для древних языков это означало концентрацию на грамматике, с которой прежде можно было знакомить поверхностно; основное изменение затрагивало преподавание русского языка и словесности. Отметим сразу, что именно этот пункт сделал толстовскую гимназию уязвимой для критики с «патриотической» точки зрения.

Рассмотрим катковские идеи подробнее [8][1]. Одно из главных условий успеха педагогического дела, по его мнению, – концентрация. Без нее серьезная школа превращается в «притон поверхностного учения», и она скорее расслабляет, нежели воспитывает умственные силы. Три кита, на которых стоит классическая школа, – два древних языка и математика. Для того чтобы расчистить место трем основным предметам, нужно потеснить другие, «которых преподавание, как показал опыт, не приносит в гимназиях существенной пользы, а напротив нередко причиняет большой вред. В ряду этих предметов самое видное место занимает так называемая русская словесность, то есть тот сбор жалких отрывков из эстетики, истории литературы и из журнальных критических статей, который есть истинный крест для всякого порядочного учителя, а молодых людей приучает только ко фразерству и верхоглядству». Также с пользой можно сократить и преподавание истории.

Почему, однако, древние языки? Аргументация со ссылкой на Европу и педагогические авторитеты, конечно, хороша, но надо говорить и о существе дела. Педагогические вопросы относятся к области высшего умозрения, они требуют специальной подготовки и значительных усилий. «Не формулы, не голословные аргументации могут научать людей как в частной жизни, так и во всяком общественном деле, а живой пример и могущественное красноречие фактов». Какие страны и в чем должны подавать пример? Катков предлагает задуматься над фактом затянувшегося научного ученичества у Европы. Нужно, «чтобы дело цивилизации, образования, науки не было у нас делом заимствованным, пришлым, чуждым, а нашим собственным; чтобы европейское значение, которого мы добивались, было для нас не иноземною стихией, а живою производительною силой нашего собственного народного существования; чтобы мы чувствовали себя европейцами не в качестве фальшивых и потому никуда не годных французов или немцев, а в качестве русских». Иными словами, цель Каткова – умственная самостоятельность

[1] Краткое изложение см. в нашей статье [9].

и состоятельность русского народа; то, что он предлагает, – инструментарий для ее достижения. Учиться имеет смысл лишь для того, чтобы сравняться с учителями и превзойти их. Аспект, к которому автор привлекает внимание: «Нас загоняли в европейские школы, – но точно ли в европейские?». То, что заимствуется из Европы, адресовано не ее интеллектуальной элите – воспользуемся современной терминологией, – а слоям, ищущим лишь наружного лоска европейской цивилизации. Сравнение того, что объединяет школы трех ведущих европейских стран и что отличает их от России, как раз и выдвигает на первый план главный принцип: концентрацию. Сосредоточение и собирание умственных сил. Элемент же, на котором осуществляется концентрация, – древние языки.

«В школе не науки разрабатываются, не исследования совершаются [интересно, что бы он сказал о современном подходе, который предписывает учителям, давно отвыкшим от реальной исследовательской работы, обучать тому, чего не умеют сами, всех учеников! – *А.Л.*], не открытия творятся, также не лекции читаются, – в школе воспитываются дети, для того чтобы они вместе со своим физическим возрастанием созревали и умственно и могли стать способными как для науки, так и для всякой сериозной умственной деятельности». «Воспитывать не значит раздроблять; воспитывать значит собирать, сосредоточивать, усиливать и вводить в зрелость. Школа действует противно целям воспитания, если она ставит себе задачей поровну разделять предоставленное ей время между многими разнородными науками, с тем чтобы сообщать младенческим, только что народившимся умам разные сведения, которые покажутся ей интересными и важными. Вместо знаний, она внесет в эти юные умы, вверенные ее попечению, лишь неудобосваримый хлам слов и формул». Наша современная школа построена ровно на тех принципах, которые отвергал Катков, она дает на выходе именно то, что и должна давать, и удивление вызывает в этой ситуации только одно: то, что мы удивляемся этим результатам. Дурная школа не только не приносит пользы, но и прямо причиняет великий вред. Лучше простой человек со здравым умом, нежели воспитанный в таком извращенном училище полузнайка. Забота школы – «приучить юные силы мало-помалу, без напряжения и надрыва, к сериозному и сосредоточенному труду, вызвать все способности, необходимые для полной умственной организации, развить их по возможности равномерно, укрепить и умножить их, утвердить в уме лучшие навыки, которые должны стать для него второю природой, поселить в нем здоровые инстинкты, ознакомить его со всеми процессами и приемами человеческой мысли не на словах, а на деле, на собственном труде, вкоренить в молодом уме чувство истины, чувство положительного знания, чувство ясного понятия, так чтоб он во всем мог явственно и живо различать дознанное от недознанного, понятное от непонятного, усвоенное от неусвоенного». А если что нужно добрать по части знаний – с этим легко справится окрепший ум. Сообщение сведений – дело второстепенное; на него должно отводить столько времени, сколько остается от главного.

Эти воззрения привели к совершенно новому учебному плану (уже восьмилетнему) [10, с. 438][1] (см. табл. 3).

Таблица 3

Предметы	Приготовительный класс	I	II	III	IV	V	VI	VII 2 года	Число уроков без приготовительного класса	Число обязательных уроков за 8 лет курса
Закон Божий	4	2	2	2	2	2	1	1	12	13

[1] С физикой, математической географией и кратким естествоведением. Курс краткого естествоведения должен был преподаваться в течение 2 часов в одном из старших классов.

Предметы	Приготовительный класс	I	II	III	IV	V	VI	VII 2 года	Число уроков без приготовительного класса	Число обязательных уроков за 7 лет курса
Русский язык с церковнославянским	6	4	4	4	3	3	2	2	22	24
Краткие основания логики	–							(1)	(1)	1
Латинский язык	–	8	7	5	5	6	6	6	43	49
Греческий язык	–			5	6	6	6	6 (7)	29 (30)	36
Математика[1]	6	5	4	3	3	4	6	6	31	37
География	–	2	2	2	2	–		1	9	10
История	–			2	2	2	2	2	10	12
Французский или немецкий язык	–		3	3	3	3	3	2	17	19
Чистописание	6	3	2	–					5	5
Итого: для учащегося одному новому языку	22	24	24	26	26	26	26	27	179	206
Для учащихся двум новым языкам			27	29	29	29	29	29	196	225

Это самый радикальный документ: в дальнейшем катковские идеи и толстовское их воплощение будут только размываться. Интересно, что уваровская практика стала одним из частых аргументов в критике толстовской: того времени, которое было выделено при Николае I на древние языки, как полагали, было достаточно, чтобы научиться читать на них и получить достаточное вознаграждение за труды в виде знакомства с классическими текстами. Еще одна яркая черта толстовских программ по отечественной словесности – нежелание доводить их до настоящего времени. С этим общество, поддерживаемое прогрессивными педагогами, тоже поведет решительную борьбу.

Сравнивая педагогическую эффективность концепций, нужно отдать первенство толстовской. Соображения Каткова, положенные в ее основу, трудно опровергнуть; а русский Серебряный век – ее прямое культурное следствие – достаточно ясно доказывает, что для успехов в отечественной словесности вовсе не обязательно уделять ей значительное внимание в школе: как впоследствии подчеркивал талантливейший защитник классицизма Ф.Ф. Зелинский, знакомство с этой областью прекрасно может осуществляться и во внешкольном формате [11][1]. Однако же проблема общественного мнения существовала, и здесь та «доверенность публики», о которой писал молодой С.С. Уваров, имела большое значение.

Идеологическая борьба вокруг толстовской гимназии предполагала определенную долю лукавства с обеих сторон. Когда министр, основываясь на ходатайствах местных обществ об открытии классических гимназий, утверждал, что в России классическое образование пользуется популярностью, он, разумеется, прекрасно понимал, что это утверждение основывается на полноправии классического типа и ни на чем ином. Измени он правила таким образом, что для поступления в университет потребовалось бы знакомство с классической персидской литературой или успехи в военной гимнастике, небывалую популярность обрели бы именно эти предметы. Но точно также лукавили и его оппоненты, говоря, что классицизм не пользуется общественным доверием. Если бы это было так, русской гимназии не пришлось бы работать в режиме постоянного перенапряжения и переполнения, с пятьюдесятью учениками в младших классах. Организаторам русского образования было необходимо считаться с тем, что впервые вовлекаемые в процесс массы населения

[1] Passim, особенно конец шестого экскурса «Школа должна…».

были весьма многочисленны и не могли располагать никакими воззрениями на сущность образования, кроме девственно наивного утилитаризма – «школа для жизни», «учиться тому, что может пригодиться и быть полезным». Их запросы заключались в «социальных лифтах», а претензии – в том, что школа, гарантирующая такой социальный лифт, слишком трудна (что является не только достоинством, но и просто непременным условием существования благоустроенного училища). Они не противопоставляли правительственной концепции никакого собственного образовательного идеала. Прекрасно понимая важность неутилитарной школы развития, главы образовательного ведомства стояли в своих педагогических концепциях намного выше общества и могли возлагать надежду на правительственный авторитет (и Уваров – с большим основанием, нежели Толстой) и на фактор времени: когда-нибудь должен был сформироваться многочисленный и влиятельный образованный слой, интеллектуальные и научные интересы должны были завоевать себе поприще, и тогда Россия вошла бы в режим, привычный для европейских стран, со старой школьной традицией. И в этом контексте компромиссный[1], умеренный, педагогически не столь эффективный, но больше приспособленный к потребностям и взглядам наивного и незрелого общества уваровский проект обладал значительными преимуществами сравнительно с толстовским.

[1] Разумеется, мы не хотим этим сказать, что тезис Уварова о необходимости серьезного знакомства с отечественным языком (и историей) являлся результатом компромисса. Полагаем, таково было его искреннее убеждение.

Литература

1. *Whittaker, Cynthia H.* The Origins of Modern Russian Education: An Intellectual Biography of Count Sergei Uvarov, 1786–1855. DeKalb: Northern Illinois University Press. 1984.
2. *Пайпс Р.* Сергей Семенович Уваров : жизнеописание. М. : Посев, 2013.
3. *Sinel A.* The Classroom and Chancellery : State Educational Reform in Russia under Count Dmitry Tolstoy. Cambridge, MA, 1973.
4. *Алешинцев И.А.* История гимназического образования в России (XVIII и XIX век). СПб., 1912.
5. *Любжин А.И.* История русской школы императорской эпохи : в 3 т. Т. II: Русская школа XIX столетия. Кн. 1. М. : Никея, 2015.
6. Мысли и замечания о проекте устава училищ, состоящих в ведомстве Министерства народного просвещения // Избранные педагогические сочинения / сост. А.Н. Алексюк, Г.Г. Савенок; Акад. пед. наук СССР. М. : Педагогика, 1985.
7. *Шестаков П.Д.* Граф Дмитрий Андреевич Толстой как министр народного просвещения // Русская старина. Т. LXIX. 1891. Февраль.
8. *Катков М.Н.* Наша учебная реформа. С приложениями и с предисловием и примечаниями Льва Поливанова. М. : Издание С.Н. Фишер, 1902.
9. *Любжин А.И.* Старый спор : Рецензия на книги: Катков М.Н. Наша учебная реформа. С приложениями и с предисловием и примечаниями Льва Поливанова. М. : Изд. С.Н. Фишер, 1902; Щапов А.П. Социально-педагогические условия умственного развития русского народа. СПб. : Изд. Н.П. Полякова, 1870 // Вопросы образования. 2015. № 1. С. 252–271.
10. Устав гимназий и прогимназий от 13 июля 1871 г. // История русской школы… Т. II: Русская школа XIX столетия. Кн. 2. М. : Никея, 2016.
11. Из жизни идей. Т. 2: Древний мир и мы : Лекции, читанные выпускникам выпускных классов С.-Петербургских гимназий и реальных училищ весной 1903 г. профессором С.-Петербургского университета Ф. Зелинским. 2-е изд, дополненное пояснительными экскурсами. СПб., 1905.

Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ двух моделей классической русской гимназии, за введением которых стояли два графа – министра народного просвещения – С.С. Уваров (министр 1833–1849) и Д.А. Толстой (министр 1866–1880). Уваровская модель может быть охарактеризована как умеренная, толстовская – как радикальная. Автор статьи анализирует педагогические концепции, которые легли в основу уваровской и толстовской классической гимназии. Осуществленная обоими министрами гимназическая реформа и в том, и в другом случае породила научный и культурный расцвет, интеллектуальной инерции которого хватило даже на советский период истории нашей страны.

Ключевые слова: С.С. Уваров, Д.А. Толстой, русский образовательный классицизм, классическая русская гимназия.

Alexey I. Lubzhin, PhD in Philology, Principal, “Antiquity History and Culture” Magistracy, Dmitry Pozharsky University. E-mail: vultur@mail.ru

Two Models of Russian Educational Classicism. Count S.S. Uvarov and Count D.A. Tolstoy

Abstract. The article gives comparative analysis of the two models of Russian classic gymnasium that were supported by two counts and ministers of public education – S.S. Uvarov (minister in 1833–1849) and D.A. Tolstoy (minister in 1866 – 1880). Uvarov’s model may be described as conservative and Tolstoy’s – as radical. The author of the article analyses pedagogical concepts that formed the basis of Uvarov’s and Tolstoy’s classic gymnasiums. The reforms of gymnasium implemented by both ministers contributed to scientific and cultural flourishing which intellectual inertia was evident even in the Soviet period of our country.

Keywords. S.S. Uvarov, D.A. Tolstoy, Russian Educational Classicism, Russian Classic Gymnasium.

Вокруг Уварова: в прошлом и всегда

Раздел третий

Д.А. Бадалян
С.С. Уваров и журнальная борьба 1830–1840-х годов

А.А. Ширинянц
«Теоретик официальной народности»: М.П. Погодин и триединая формула С.С. Уварова

А.А. Тесля
«Изгои истории»: Василий Розанов о монархии. 1890-е годы

С.В. Перевезенцев
«По устроению дедню и отню»: к вопросу о значении традиционализма в русской истории

М.А. Маслин
Предтеча евразийства. Ориентализм С.С. Уварова в исторической перспективе

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-1-203-218

Дмитрий Бадалян

С.С. Уваров и журнальная борьба 1830–1840-х годов

Начиная с 1989 года, со статьи Н.И. Казакова «Об одной идеологической формуле николаевской эпохи», усилиями целого ряда исследователей [1–4][1] было показано, что теория «официальной народности», о которой впервые в 1872 году заявил А.Н. Пыпин, – это миф, растиражированный либеральными учеными и журналистикой в борьбе с деятелями традиционалистского направления. Ради их дискредитации Пыпин связал с «официальной народностью» не только М.П. Погодина и С.П. Шевырева, но и пользующихся едва ли не общей антипатией Ф.В. Булгарина, Н.И. Греча и О.И. Сенковского.

I

В действительности «официальная народность» не только не была публично представлена ее «создателем», министром народного просвещения С.С. Уваровым как целостная развернутая концепция (разоблачая ее, Пыпин не процитировал ни одного конкретного тезиса), но и стала предметом скрытой борьбы между государственными ведомствами. Борьба эта шла в сфере образования[2], литературе и журналистике. Уварову, выдвинувшему лозунг «Православие. Самодержавие. Народность», пришлось вступить в противостояние с правительственным «либерализмом» и интерконфессиональным мистицизмом, на что он указывал, обращаясь к императору в докладе «Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833–1843»[3]. Эти силы упорно противились развитию самобытной национальной культуры.

[1] Краткий обзор историографии см. [5].

[2] М.М. Шевченко, отмечая стремление Уварова дать «перевес отечественному воспитанию над иноземным», подчеркивает: «Стремление правительства к максимальному вовлечению высшего сословия в казенные учебные заведения встречало затруднения и осложнения не только в предубеждении основной массы дворян против всесословных училищ». В Западном крае было очевидно, «как местное дворянство не представляет для Российской империи надежной опоры, так и <…> школа несет в себе прочно укоренившиеся антигосударственные тенденции» [6, с: 72, 98]. С.В. Удалов, называя одним из важнейших элементов политики Уварова введение преподавания на русском языке в Западном крае и в Прибалтийских губерниях, указывает на сопротивление, оказанное министру не только остзейскими дворянством, но и его подчиненными, в частности академиком Г.-Ф. Парротом [7, с. 84]. О деятельности Уварова в сфере образования см. [8, с. 173–257].

[3] «Естественно, что направление данное Вашим Величеством министерству и его тройственная формула – должны были восстановить некоторым образом против него все, что носило еще отпечаток *либеральных* и *мистических идей* <…>. Наконец и слово народность возбуждало в недоброжелателях чувство неприязненное за смелое утверждение, что министерство считало Россию возмужалою и достойною идти не *позади,* а по крайней мере *рядом* с прочими европейскими национальностями» [9, с. 419–420]. О борьбе с идеями Уварова внутри правительства см. [10, с. 337].

Бадалян Дмитрий Александрович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора книговедения отдела редких книг Российской национальной библиотеки. Санкт-Петербург, Россия. E-mail: dmit.bad@gmail.com

Помимо культурного и идеологического аспектов этот конфликт имел и политическую составляющую. Развитие национального сознания грозило «русским иностранцам» (подобным гр. Е.Ф. Канкрину, гр. П.А. Клейнмихелю, гр. И.И. Дибичу или гр. К.В. Нессельроде) не только потерей ключевых позиций во главе ряда министерств и ведомств, но и ударом по заметной части бюрократического слоя и по безраздельной власти немецких баронов в Прибалтийских губерниях. Поэтому неудивительно, что основным противником Уварова и его «народности» выступала придворная верхушка «немецкой партии». Объясняя ее мотивы, О.А. Проскурин пишет: «На Россию немецкая партия смотрела примерно так же, как европейские немецкие дворы смотрели на подчиненное им славянское население, – как на опасную и враждебную “варварскую” стихию, движение которой надо постоянно сдерживать самыми жестокими мерами. Отсюда – повышенная подозрительность по отношению ко всяким проявлениям русского национализма, какую бы социальную и политическую окраску он не принимал» [10, с. 318].

За последние двадцать с небольшим лет по этой теме сформировалась своя историография. Отношения, связывавшие в эпоху Николая I власть и остзейское дворянство, представил Л.В. Выскочков [11, с. 252–260]. Позиции декабристов в «немецком вопросе» рассмотрел К.Ю. Рогов [12, с. 252–260]. Столкновения с «немецкой партией» во второй половине 1820-х – первой половине 1830-х годов описала С.В. Березкина [13, 14], а в течение нескольких десятилетий от Н.М. Карамзина до Ф.И. Тютчева и Ю.Ф. Самарина показал В.Н. Шульгин [15]. Наконец, борьбу с ней на протяжение XIX–XX столетий и саму «партию» как своеобразный этнокласс представил С.М. Сергеев [16].

Последний, однако, считает, что «литературный процесс в императорской России (за исключением административных мер сверху) не стал полем для русско-немецких “разборок”»[1]. Напротив, Проскурин указал на бескомпромиссную борьбу, которую «немецкая партия» развязала на страницах русских литературных журналов. С той только поправкой, что в этой борьбе «немецкая партия» предстает не как этническая группировка, а скорее как объединение деятелей антинационального направления. Да, стержнем всей «партии» являлись немцы-остзейцы (а ее неформальным лидером до 1828 года была светлейшая княгиня Ш.К. Ливен, мать министра народного просвещения светл. кн. К.А. Ливена и теща А.Х. Бенкендорфа). Однако их интересы разделяли, к примеру, поляки Ф.В. Булгарин и О.И. Сенковский, воспитанник иезуитского пансиона и Гёттингенского университета светл. кн. А.А. Суворов, а во второй половине столетия – П.А. Валуев, А.Е. Тимашев и гр. П.А. Шувалов. Кстати, двое последних, как и Бенкендорф, являлись руководителями III отделения. Именно это учреждение, умело запугивавшее Николая I угрозой, исходящей трону от «русской партии», назвал Проскурин своего рода штабом «немецкой партии» [10, с. 318].

Наибольшую опасность себе и верховной власти «немецкая партия» видела в русском дворянстве и особенно в родовой знати. Убедить в этом Николая I был несложно, ведь представители лучших дворянских фамилий составили заговор 1825 года.

II

Как же стоит именовать противников «немецкой партии»? «Русской партией»? Проскурин считает таковую «созданной совместными творческими усилиями Булгарина и руководства III отделения» [10, с. 332] (при этом главой такой «партии» ее недруги называли отнюдь не Уварова, а председателя департамента Государственного совета гр. Н.С. Морд-

[1] Историк объясняет это следующим образом: «…немцы в русской литературе были представлены чрезвычайно скудно, а потому не выступали здесь в качестве конкурентов. <…> Немцы слишком высоко ставили свою собственную и слишком презирали русскую культуру, для того, чтобы участвовать в творчестве последней» [16, с. 63].

винова). Однако А.Ю. Минаков представил «русскую партию» как реальное явление, сложившееся еще в первой четверти XIX века [17]. Правда, описанная им «партия» состояла из целого ряда сановников, церковных деятелей, ученых и литераторов, зачастую между собой не связанных и не всегда имевших общие идеи. А если так, уместно ли говорить о «русской партии» в отношении ко второй четверти XIX столетия?

По крайней мере мы можем указать на сознательно отстаиваемую тенденцию, ориентированную на национальные традиции и национальные интересы. Потому-то в апреле 1832 года А.В. Никитенко отметил в своем дневнике, что «люди образованные и патриоты» в обществе «составляют род союза против иностранцев и преимущественно немцев», а далее добавил: «Немцы знают, что такая партия существует. Поэтому они стараются сколь возможно теснее сплотиться, поддерживают все немецкое и действуют столь же методично, сколько неуклонно. Притом деятельность их не состоит, как большей частью у нас, из одних возгласов и воззваний, но в мерах» [18, с. 116]. «Немецкая партия» в сравнении с «русской» больше напоминала партию, обладая завидной сплоченностью и организованностью.

Если говорить об «официальной народности» как целостной теории, по нашему мнению, преувеличение, то нельзя отрицать тот факт, что министр народного просвещения хотя бы в сжатом виде – в знаменитой «уваровской триаде» – сумел выразить свое кредо. Его противники, напротив, никак не стремились к созданию не только альтернативной теории, но и альтернативы «уваровской формуле». Лозунги были нужны для публичной сферы. Для деятельности сплоченной кастовыми интересами группировки требовались другие средства. Тем не менее «немецкая партия» показала, что и обращаясь к массам, управляя общественным мнением, можно обойтись без лозунгов.

Начальник III отделения понимал, что периодическая печать – важный инструмент влияния на общество. Знание это Бенкендорф приобрел не без помощи Булгарина (который, вероятно, использовал почерпнутый им европейский опыт). Примером чему – булгаринская записка 1826 года «О цензуре в России и о книгопечатании вообще».

Впрочем, и поборник «народности» опирался на опыт своих европейских кумиров (среди которых были Ф. Гизо и Ф. Шлегель). Уваров оказался единственным противником «немецкой партии», который сконцентрировал вокруг себя важный «партийный» ресурс: ряд периодических изданий, имевших различные читательские аудитории.

Началось все задолго до того, как будущий министр впервые высказал свою формулу. В 1809 году, во время войны с наполеоновской Францией, почитаемый Уваровым Ф. Шлегель вместо чтения лекций занялся изданием газеты «Österreichische Zeitung» и подготовкой прокламаций. Когда три года спустя война с Наполеоном пришла в Россию, Уваров, в ту пору попечитель Санкт-Петербургского учебного округа, стал инициатором создания журнала «Сын Отечества». Его редактор Н.И. Греч рассказывал, что идея издания появилась у Уварова, когда тот захотел напечатать по-русски яркий антинаполеоновский памфлет «Глас истины» немецкого писателя и политика Э.М. Арндта (в журнале его поместили без указания имени автора). Прочитав составленную Гречем программу журнала, Уваров сделал в ней «некоторые перемены» и представил министру народного просвещения [19, с. 206]. Когда же о журнале доложили Александру I, тот передал на его издание тысячу рублей. Греч и далее пользовался поддержкой попечителя округа, а в седьмом номере его еженедельного журнала вышла статья самого Уварова [20]. В «Сыне Отечества» и позже не раз появлялись его статьи, а также публикации подчиненных попечителя округа. Например, завсегдатаем издания с его пятого номера стал преподаватель Императорского Царскосельского лицея и Главного педагогического института (затем преобразованного в университет) А.П. Куницын. В 1818 году он поместил в журнале «Рассмотрение речи» Уварова в Главном педагогическом институте [21]. Однако в июне 1821 года

Уваров был уволен с должности попечителя учебного округа и утратил влияние на этот журнал[1].

В первые годы правления Николая I, когда Уваров занимал второстепенные государственные посты, III отделение вместе с Бенкендорфом собрало «команду» изданий и журналистов, которым оказывало поддержку (иногда и материальную[2]). Разумеется, не бескорыстно. Именно тогда в России возникли первые частные издания, которые проводили в печати идеи и отстаивали интересы поддерживающего их ведомства или государственного деятеля. Во второй половине XIX века такие издания получили наименование официозов. Описывая это явление для 1860–1870-х годов, В.Г. Чернуха отметила важную их особенность, которая, безусловно, имела значение и в предыдущие десятилетия: «В России не существовало ни правительства в строгом смысле этого слова (кабинет, объединенное министерство), ни политических партий, участвующих в правительстве. Были лишь ведомства, зачастую расходившиеся во взглядах на принципиальные вопросы политики, и монарх, к которому восходили все ведомственные дела» [24, с. 99]. Именно такими разошедшимися во взглядах на принципиальные вопросы политики ведомствами стали со временем III отделение и Министерство народного просвещения. Каждое из них стремилось обзавестись собственными, то есть зависимыми от них изданиями. Причем добиться этого им, в законном порядке выполнявшим функции контроля за прессой, было гораздо легче, чем любым другим государственным учреждениям.

Официозами III отделения в первую очередь стали принадлежавшая Булгарину единственная частная политическая газета «Северная пчела» и журнал «Сын Отечества», с 1825 года издаваемый и редактируемый совместно Гречем и Булгариным[3]. Возникший в 1834 году журнал «Библиотека для чтения» (который издавал А.Ф. Смирдин) также пользовался покровительством «немецкой партии». Сначала его редактировали уже известный нам Греч и Сенковский, а с декабря 1834 года – один Сенковский.

Журнал Н.А. Полевого «Московский телеграф», поначалу поддерживаемый Мордвиновым и отчасти министром народного просвещения А.С. Шишковым и его товарищем Д.Н. Блудовым, в 1829 году (когда министром просвещения стал К.А. Ливен) тоже попал под покровительство III отделения [25, с. 470–472, 473–474][4].

Бенкендорф снисходительно смотрел на «якобинизм» Полевого (журнал которого пустил в ход презрительное выражение «квасной патриотизм» [27, с. 338–339]), и «демократизм» Булгарина. Оба эти издания, по словам В.Э. Вацуро, проповедовали «буржуазно-демократические идеи равенства сословий, предсказывая близкую полную деградацию дворянства» [28, с. 15]. Противниками их являлись «литературные аристократы», которые отождествляли себя с социально-политическими интересами «старинного дворянства»[5].

Ситуацию, которая сложилась в журналистике в 1836–1837-м годах, кн. В.Ф. Одо-

[1] После этого там лишь однажды, в 1825 году, появилась его публикация «О трех греческих трагиках» [22].

[2] Про одного из таких журналистов, Булгарина, А.И. Рейтблат говорит, что «денег он не получал, но с ним расплачивались покровительством и поддержкой» [23, с. 160]. Однако чтобы категорически утверждать, получал тот деньги или нет, надо располагать документальными свидетельствами, а в столь щекотливых делах вряд ли деньги выдавали под расписку. Главное же – «покровительство и поддержка» издателей официозов нередко имели материальный эквивалент. Как отмечает сам Рейтблат, Булгарин в 1826–1831 годах числился на не обременявшей его должности чиновника особых поручений в Министерстве народного просвещения, а в 1844–1857 годах – на посту члена-корреспондента специальной комиссии конезаводства, и вышел в отставку с чином четвертого класса. Наконец, немалую прибыль приносила его газете исключительная привилегия на помещение политической информации.

[3] О связи Булгарина и Греча с III отделением см. [23, с. 123–162].

[4] О связи Полевого с III отделением см. [26, с. 171, 175].

[5] Подробнее см. [10, с. 315–334].

евский спустя более четверти века описывал таким образом: «Намекнуть о монополии “Северной Пчелы” на политические новости и ежедневный выход считалось делом самым предосудительным. В это время “Библиотека для чтения”, “Сын Отечества” и “Северная Пчела”, братски соединенные, держали в блокаде всё, что им не потворствовало, и всякое издание, осмеливавшееся не принадлежать к этой фаланге, хлестали в три… конца. <…> вообще борьба была неравная, ибо тогда считалось делом обыкновенным наводить на противника подозрение в неблагонамеренности, вольнодумстве и прочих т.п. вещах…» [29, с. 47].

Для Булгарина и его союзников самым надежным инструментом борьбы и с обычными конкурентами, и, особенно, с «партийными» противниками стали политические обвинения. Именно в силу их Николай I в феврале 1832 года распорядился закрыть после выхода второго номера журнал И.В. Киреевского «Европеец». Однако главной причиной, то есть своего рода детонатором политических обвинений послужил один абзац в заметке И.В. Киреевского «“Горе от ума” на московской сцене», где автор без тени симпатии упоминал «иноземцев, променявших свое отечество на Россию» и «иностранцев», которые «родились в России, воспитаны в полурусских обычаях, образованы также поверхностно и отличаются от коренных жителей только своим *незнанием русского языка* и иностранным окончанием фамилий». И что самое важное – далее Киреевский описывал их как сплоченную партию: «Это незнанье языка естественно делает их чужими посреди русских и образует между ними и коренными жителями совершенно особенные отношения. Отношения сии, всем им более или менее общие, созидают между ними общие интересы и потому заставляют их сходиться между собою, помогать друг другу и, не условливаясь, действовать заодно» [30, с. 74–75].

То, что запрещение «Европейца» явилось делом рук «немецкой партии» наглядно показала С.В. Березкина [13, 14]. Ее аргументы можно подкрепить и письмами современников. Так, Н.М. Языков, сообщая П.М. Языкову первые тревожные известия о «Европейце», 18 февраля 1832 года указал как на их главную причину на заметку «Горе от ума»: «сильно разгневался» император «особенно за то, что там говорится о немцах». Спустя почти месяц, 15 марта, Языков, пересказывая брату адресованные Киреевскому обвинения политического характера (известные ныне по документам), добавил: император заметил, что в «Горе от ума» автор разумел «под именем иностранцев – русских губерний Лиф[ляндской], Курл[яндской] и проч.». Вслед за тем Языков утверждал: «Это же сказано в официальном бумагописании в здешнюю цензуру из Петер[бурга] от Алекс[андра] Христофоровича». Кроме того, автор письма сетовал, что цензор Л.А. Цветаев (очевидно, напуганный увольнением цензуровавшего «Европеец» С.Т. Аксакова) побоялся пропустить в печать его стихотворение «Ливония» [31, с. 288, 290].

Другое свидетельство представляет письмо С.А. Хомякова (отца поэта) М.П. Погодину, в ту пору сотрудничавшему в журнале «Телескоп», за который вместе с «Московским телеграфом» Бенкендорф сделал внушение Московскому цензурному комитету [32, с. 312–313]. 13 марта 1832 года. Степан Александрович простодушно рассуждал: «Жаль мне очень, что я не имел удовольствия вас видеть, и вам сообщить мысль во мне родившуюся, когда я узнал о строгостях цензуры. Не говоря о либеральных выражениях, которые точно не уместны, ни явно, ни скрытно, и которые предоставить надобно застрахованному “Телеграфу”, но некоторые неприятные замечания о выходках на немцов, и иностранцев в которых обыскивают может быть и не существующих обиняков, то сие можно бы поправить статьею, в которой бы изложить общественное мнение, что никто лифляндцев и прочих уроженцов Западных провинций не почитает немцами, а уже коренными русскими; и что они уже заслугами общему отечеству приобрели право на совершенное братство с россиянами. – Таковое мнение можно бы приютить к какому ни есть обозрению

Лифляндии, или даже, или даже к разборе “Последнего Новика”. Вы верно постигнете, к чему относится сия моя мысль» [33, л. 1 об. – 2][1].

III

Вскоре, в апреле 1832 года, Уваров занял пост товарища министра народного просвещения и по мере упрочения своих позиций стал формировать когорту верных изданий. В том же году он попытался привлечь на свою сторону Полевого, но безуспешно [25, с. 477–478; 27, с. 434–435]. Затем в 1833 году по инициативе Уварова начали издаваться «Ученые записки Императорского Московского университета», в которых появился ряд программных статей, таких как работы М.П. Погодина «Взгляд на русскую историю» [см. 34, с. 19–22] и В.С. Межевича «О народности в жизни и поэзии» [см. 1, с. 15–17]. Еще в 1832 году Уваров задумал создать «Журнал Министерства народного просвещения». Однако к его выпуску он приступил лишь с 1834 года, после того как стал исправляющим должность министра. Вспомним, что именно здесь впервые публично прозвучала известная «уваровская формула», а представления о народности раскрывали на страницах журнала П.А. Плетнев, М.П. Погодин, С.П. Шевырев и др.[2]

В то же самое время, 16 января 1834 года, цензор Никитенко записал в дневнике: «Я получил от министра приказание смотреть как можно строже за духом и направлением “Библиотеки для чтения”. Приказание это такого рода, что если исполнить его в точности, то Сенковскому лучше идти куда-нибудь в писари, чем оставаться в литературе. Министр очень резко говорил о его “полонизме”, о его “площадных остротах”» и проч.» [18, с. 134]. Затем Уваров хотя и не с первой попытки, добился запрета «Московского телеграфа». Это произошло за считанные дни до его окончательного утверждения в должности министра в апреле 1834 года.

Еще Уваров наладил отношения с противником Полевого и своим подчиненным по ведомству народного просвещения профессором Н.И. Надеждиным, который издавал журнал «Телескоп» и приложение к нему – газету «Молва». На ее страницах в декабре 1834 года молодой критик восклицал: «Да! у нас скоро будет свое русское, народное просвещение; мы скоро докажем, что не имеем нужды в чуждой умственной опеке. Нам легко это сделать, когда знаменитые сановники, сподвижники царя на трудном поприще народоправления, являются посреди любознательного юношества в центральном храме русского просвещения возвещать ему священную волю монарха, указывать путь к просвещению в духе православия, самодержавия и народности...» [36, с. 88]. Очевидно, что «знаменитый сановник, сподвижник царя» – это Уваров. Такие дифирамбы ему самому и его формуле слагал будущий «неистовый Виссарион» – В.Г. Белинский. Одним из самых ярких результатов союза Уварова и Надеждина стала статья последнего «Европеизм и народность, в отношении к русской словесности».

В сентябре 1834 года, последовал мелкий, возможно, предупредительный, укол: Бенкендорф передал Уварову замечание Николая I по поводу «льстивых выражений» в адрес императора в седьмом номере «Журнала Министерства народного просвещения» [37, с. 87]. Недовольство императора подобными панегириками было уже известно и выражалось им в январе 1834 года [18, с. 131–132]. Бенкендорфу нужно было только соответствующим образом доложить о них.

Наконец, в октябре 1836 года, Бенкендорф сыграл решающую роль в запрещении

[1] Роман И.И. Лажечникова «Последний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого» издан впервые четырьмя частями в 1831–1833 годах.

[2] Создавая этот журнал Уваров, как подчеркивает А.Л. Зорин, следовал примеру Гизо [35, 347–348]. Однако это не помешало уже во втором его номере (в статье М.П. Погодина «Очерк европейской цивилизации в средние века») дать отпор, по словам Ф.А. Петрова, «стремлению Ф. Гизо <…> рассматривать Францию как воплощение всемирной цивилизации, которая должна была просвещать “остальную варварскую Европу”» [8, с. 260].

«Телескопа». По поводу закрытия этого журнала Никитенко записал в дневнике 26 ноября 1836 года: «Ужасная суматоха в цензуре и в литературе. <…> министр крайне встревожен. Подозревают, что статья напечатана с намерением, и именно для того, чтобы журнал был запрещен и чтобы это подняло шум, подобный тому, который был вызван запрещением “Телеграфа”. Думают, что это дело тайной партии» [18, с. 188]. Иными словами, уже в это время «Московский телеграф» и «Телескоп» рассматривались близкими к министру людьми как фигуры в игре двух враждебных партий, а в «телескопическом деле» подозревали провокацию, устроенную противной стороной.

Уваров, также как и Бенкендорф в истории с «Московским телеграфом», не мог спасти близкое ему издание, но стремился уменьшить скандальный резонанс вокруг него, предлагая закрыть журнал не тотчас, а с 1 января следующего года и наказать лишь цензора, а не издателя «Телескопа» [38, с. 515]. Характерно и то, что Надеждин спустя годы оказался активным участником борьбы с «немецкой партией» в Русском географическом обществе [39, 40, с. 65–71].

Трения между III отделением и Министерством народного просвещения стали усиливаться со второй половины 1830-х годов. М.М. Шевченко полагает, что причиной тому цензурные вопросы. Однако столкновения в сфере цензуры явились скорее результатом трений, а не их источником. Причиной же, вероятнее всего, послужила политика министра, проводимая в учебных заведениях Прибалтийских губерний и Западного края.

Уже с рубежа 1830–1840-х годов, отмечает Шевченко, министр сделался постоянным объектом придворных интриг остзейцев [41, с. 129–130; 42]. Об этом говорят и отчеты III отделения. Если начиная с 1827 года в них повторялись слова об опасности, исходящей от «русской партии»[1], то с 1838 года стали появляться выпады в адрес лично Уварова. К примеру, подготовленный III отделением «Нравственно-политический отчет за 1839 год» содержал весьма развернутую уничижительную характеристику министра просвещения и его деятельности. В частности, в нем говорилось: «Уваров старается единственно о том, чтобы наделать более шуму и накрыть каждое дело блистательным лаком. Отчеты его превосходно написаны, но не пользуются ни малейшею доверенностью» [43, с. 210–211].

«Немецкая партия» в 1840-х годах добивалась все больших и больших успехов в отношениях с прессой. Так, при поддержке III отделения сотрудник «Журнала Министерства народного просвещения» А.А. Краевский с 1837 года стал редактором еженедельной газеты «Литературные прибавления к “Русскому инвалиду”». Ее первые два номера открывались статьей Краевского «Мысли о России», которая еще в рукописи была одобрена начальником штаба корпуса жандармов Дубельтом. Добавим, что среди участников этой газеты были сотрудники III отделения: Б.А. Враский, П.П. Каменский, а самый влиятельный – В.А. Владиславлев, адъютант Л.В. Дубельта и соредактор газеты.

Затем III отделение поддержало возрождение журнала «Отечественные записки», которым с 1839 года занялся все тот же ушедший от Уварова Краевский. Долгое время сотрудником «Отечественных записок» являлся бывший активный участник «Телескопа» Белинский. Проскурин, кажется, первый, кто обратил внимание на его связи с III отделением [10, с. 344–345]. В частности, на теплые отношения с Владиславлевым, который издавал альманах «Утренняя заря». Ведь Белинский на все его выпуски, как отметил еще Лемке, «отзывался очень сочувственно» [44, с. 126]. Другой близкий Белинскому человек – это

[1] В «Кратком обзоре общественного мнения в 1827 году» сказано: «Партия *русских патриотов* очень сильна числом своих приверженцев. Центр их находится в Москве. <…> Там они критикуют все шаги правительства, выбор всех лиц, там раздается ропот на немцев, там с пафосом принимаются предложения Мордвинова, его речи и слова их кумира – Ермолова. Это самая опасная часть общества, за которой надлежит иметь постоянное и, возможно, более тщательное наблюдение. <…> Партия Мордвинова опасна тем, что ее пароль – *спасение России*» [43, с. 19].

М.М. Попов, его любимый гимназический учитель, поступивший на службу в III отделение: с 1839 года начальник 1-й экспедиции (ведавшей всеми политическими делами), а позже – чиновник особых поручений.

Сам Попов после смерти критика вспоминал, что «по переезде в Петербург» тот сразу же отыскал своего бывшего наставника и «в первые пять или шесть лет жизни Белинского в Петербурге» он посещал Попова «довольно часто» [45, с. 441–442]. Иными словами: тесное общение с Поповым продолжалось у Белинского до тех пор, пока он не надумал уйти из «Отечественных записок». Однако и после этого их встречи не прекратились вовсе. Конечно, такой убежденный и, так сказать, «идейный» человек, как Белинский, не стал бы агентом тайной полиции, но страстный, увлекающийся, он вполне мог оказаться объектом манипуляций в руках того, кого с отроческих лет считал «лучезарным явлением».

IV

Еще в 1837 году Уваров представил императору прошение об издании журнала московских профессоров Погодина и Шевырева. Складывается впечатление, что журнал был нужен Уварову более, чем самим профессорам: разрешение на него было получено в конце 1837 года, когда уже действовал запрет на выпуск новых периодических изданий [46, с. 227]. Однако журнал, который назвали «Москвитянин», два профессора стали издавать только с 1841 года. И в первом же его номере появилась «проуваровская» статья Шевырева «Взгляд русского на образование Европы».

Характерно, что, готовясь к выходу «Москвитянина», Погодин сообщал в сентябре 1840 года М.А. Максимовичу: «Журнал – под покровительством Сергия Семеновича, который все есть лучший двигатель и ревнитель русского просвещения» [47, с. 25]. Наконец, в начале декабря Погодин рассказывал в письме В.И. Далю: «Серг<ий> Сем<енович> *особенное* расположение пока<зывает> Журналу, и я имею причины достаточн<ые> поверить». И далее будущий издатель сделал весьма примечательное добавление: «Я буду посылать ему даже коррек<туры> частным образом» [48, с. 303][1].

В это же время Уваров стал укреплять популярность еще одного издания, подконтрольного ему в силу занимаемого им поста президента Академии наук, – принадлежавших Академии «Санкт-Петербургских ведомостей». С 1836 года их редактором (а с 1847 года и издателем) стал подчиненный Уварова-министра секретарь правления Санкт-Петербургского университета А.Н. Очкин, в 1841 году вступивший еще и на службу цензором. Редактор «Санкт-Петербургских ведомостей» стремился превратить их в серьезного конкурента «Северной пчеле», поэтому в 1839 году заявил о высоких гонорарах, которые готов выплачивать литераторам, участвующим в его газете. И это, конечно, сыграло свою роль [51, с. 119–123].

Надо понимать, что борьба между Уваровым и Бенкендорфом не была тотальной. Николай I не потерпел бы постоянной открытой вражды между своими приближенными. Порой порицания доставались «своим». Так, Бенкендорф мог упрекнуть Уварова и его цензоров в упущениях, обнаруженных на страницах булгаринской «Пчелы». Уваров же удерживал Погодина от ненужных споров. К примеру, прочитав корректуру его статьи для самого первого номера «Москвитянина», министр писал ему: «Мне так опротивела так называемая полемика, что советовал бы вам без нужды не бросать перчатки: ваши противники не рыцари» [50, с. 6].

Зная, как ревностно император оберегает интересы верных ему остзейцев, Уваров любой свой шаг в борьбе с ними должен был оправдывать интересами империи, но не

[1] Слово «особенное» дважды подчеркнуто (примеч. публикатора). О поддержке Уваровым Погодина и его журнала см.: [49, с. 382–383, 491; 50, с. 5–6, 22–23, 27, 44–49; 10, с. 336–342].

«нации» или чего хуже борьбой с «немецким засильем». Примером чему история с закрытием в декабре 1838 года рижской немецкой газеты «Provinzialblatt für Kur-, Liv- und Ehstland». Она, как доложил министр императору, пользуясь поддержкой «главного местного начальства», сеяла рознь «между религиозными партиями в Остзейских губерниях» [52, с. 584–585]. В качестве примера тому Уваров указал на напечатанное еще в апреле «известие об отлучении от церкви католическим священником в Ревеле одного купца, женившегося на протестантке» [53, л. 19]. Ложность этого сообщения показало расследование, проведенное по запросу Уварова [54, л. 4, 7–9 об.]. Получается, министр поймал газету на том, что та публикует сплетни, призванные скомпрометировать католическое меньшинство Остзейского края.

Связь «Отечественных записок» с III отделением не прерывалась и после смерти Бенкендорфа в 1844 году. В дневнике Никитенко рассказывается, как в октябре 1846 года, после доноса на Краевского, сделанного Булгариным, Гречем и близким к III отделению литератором Б.М. Федоровым, редактор «Отечественных записок» по подсказке автора дневника сам отправился к Дубельту и тот «…как говорится, намылил ему голову за либерализм, но в заключение объявил, что, впрочем, ничего из этого не будет» [18, с. 298]. Отношение Дубельта к Краевскому строилось по тому же сценарию, по какому пять лет развивались отношения III отделения с Полевым: жандармский генерал мог пожурить, отчитать, но издание не трогал.

Вероятно, самым большим потрясением для Краевского оказался высочайший выговор, объявленный ему в апреле 1848 года (в разгар революционных событий в Европе). Как сообщил управляющему III отделением его сотрудник Попов, Краевский после этого хотел обратиться с письмом к гр. А.Ф. Орлову и увидеться с Дубельтом. Краевский убеждал Попова: «Не только действовать против правительства, но я желал бы быть органом его. Не делал я этого потому, что без уполномочия правительства не имею на это права, да и цензура не пропустит подобных статей». Возможно, при новом начальнике III отделения Краевский чувствовал себя не у дел и объяснял Попову: «Если б мне поручили представлять в истинном губительном виде заграничные беспорядки, доказывать благость монархического правления, поддерживать повиновение крестьян помещикам и вообще распространять те мысли и убеждения, которые правительство желает видеть в народе, я уверен, что журнал мой был бы полезен и государству. Пусть мне дают темы, что я должен писать, или пусть мне дозволят представлять такие статьи, непропускаемые обыкновенною цензурою, высшему правительству, и я со всею готовностью буду его орудием» [44, с. 192].

Заметим, что в тех же самых выражениях и с уже знакомыми предложениями («помещать по временам в “Отечественных записках” и в “Санкт-Петербургских ведомостях” статьи в духе нашего правительства, и вообще придать этим изданиям характер патриотический» [55, л. 2][1]) и жалобами на цензуру предстает Краевский и в другой записке Попова, составленной пятью годам позже, в 1853 году. Выражая свое отношение к предложению Краевского, Попов тогда добавил: «Нельзя дать ему дозволения печатать по его усмотрению, статьи о правительстве и делах общественных, но не произойдет никакого вреда, если ему разрешено будет представлять статьи свои предварительно в 3-е Отделение, которое будет рассматривать их со всею строгостию и пропускать одно то, что клонится к пользе или славе отечества» [55, л. 4].

К началу 1840-х годов сначала за пределами России, а затем и внутри ее был взят на вооружение «панславизм» – новый миф, которым умело запугивали российского монар-

[1] Записка Попова сохранилась в копии и в черновике [56] в архиве журнала «Русская старина». Это издание получило в свое распоряжение воспоминания и целый ряд документов Попова, часть которых была опубликована на его страницах.

ха. В самом начале 1840-х годов немецкая и венгерская националистическая пропаганда выдвинула понятие «панславизм» как средство компрометации национальных движений славянских народов, то есть термин этот возник еще прежде, чем стремление славян к единению (причем скорее культурному, чем политическому) приобрело сколько-нибудь серьезные формы [57, с. 47, 68–69; 58, с. 240–244][1].

Именно в этой ситуации весной 1841 года началась полемика между журналами Краевского и Погодина, а следующий 1842 год стал первым годом публицистических выступлений славянофилов (если в 1830-х годах Уваров надеялся превратить их в свою клиентеллу, то в следующее десятилетия их пути все более и более расходились[2]). И тогда же благодаря Белинскому в печати замелькала кличка «славянофилы», навешиваемая критиком на всех связанных с «Москвитянином» (начиная с Погодина и Шевырева) и не связанным с ним, таких как Ф.Л. Морошкин и Н.В. Савельев-Ростиславич [см. 60, с. 31–34]. Очевидное обострение журнальной борьбы и стоящие за этим интриги двух партий не могли не вызвать усиление цензурного надзора. III отделение, в сферу которого и прежде входил контроль за прессой, в 1842 году создало у себя специальную цензурную экспедицию и получило возможность больше пенять министру на упущения его подчиненных и близких к нему журналистов.

В тот же самый год 6 февраля Погодин писал В.И. Далю в Петербург: «Вы завидуете Моск[овской] Цензуре, а я вашей: в чужой руке ломоть всегда длиннее. Я был очень доволен в прош[едшем] году, а ныне цензура взъелась так, что мочи нет» [48, с. 329]. Каждый из участников этой переписки по старой памяти считал, что в другом городе с цензурой легче. Но ситуация изменилась в целом.

Уваров, который и прежде не пренебрегал некоторыми из западников (в 1844 году он, хотя и неудачно, ходатайствовал о журнале для Т.Н. Грановского), в дальнейшей борьбе новую ставку сделал именно на них. Состоявшийся в 1846 году переход «Современника» в руки Н.А. Некрасова, И.И. Панаева и А.В. Никитенко министр, судя по всему, рассматривал как контрмеру против «Отечественных записок». В редакцию обновленного журнала вошел порвавший с Краевским Белинский, который потянул за собой популярных авторов «Записок». Уваров, к тому времени уже граф, надеялся влиять на этот журнал через пользовавшегося его доверием цензора и профессора Никитенко. Поэтому министр пошел на неслыханную прежде меру: утвердил того одновременно цензором и редактором журнала. Точно такое же положение спустя год было обеспечено еще только одному журналисту – и тоже из «команды» министра – Очкину.

Уваров постепенно терял репутацию, прежде приобретенную в глазах императора. Именно в этом стоит искать причины того, что к середине 1840-х, он уже не пытался публично развивать идеи «триады». III отделение, напротив, в отчете за 1843 год не только подвергло критике деятельность министра, но и впервые усомнилось перед Николаем I в действенности «уваровской формулы», оспаривая успехи воспитания молодежи «в духе Православия, Самодержавия и Народности» [43, с. 333].

Придворная борьба сделала Уварова осторожнее, и из чувства самосохранения он не раз проявлял строгость к «Москвитянину». Вероятно, уступая новым неприятным обстоятельствам, министр 6 мая 1847 года выпустил распоряжение по петербургской цензуре, в котором, обращая внимание на статьи об отечественной истории, подчеркнул: «Особливой внимательности требует тут стремление некоторых авторов к возбуждению в читающей публике необузданных порывов патриотизма, общего или провинциального» [46, с. 240].

[1] О позиции, которую Уваров в 1840-х годах занял в отношении к славянам, см. [7, с. 83].

[2] См. об этом нашу статью «“Официальная народность” или народность? С.С. Уваров и А.С. Хомяков» в этом же номере альманаха [59].

V

С 1848 года, с начала «мрачного семилетия», положение Уварова оказалось особенно шатким. После создания 2 апреля 1848 года Комитета для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений под председательством гр. Д.П. Бутурлина министр попал в зависимое от Комитета положение. Теперь в вопросе о том, что стоит пропускать в печать, а что нет, император доверял именно бутурлинскому комитету, который превратился в своего рода «цензуру над цензурой». А.С. Хомяков рассказывал об этом с нескрываемым сарказмом, а о министре отозвался следующим образом: «Ему дали пощечину, как говорит Блудов, после которой можно было выдти в отставку, но у всякого свой вкус, Уваров обтерся, съездил в Дерпт и вышел чист» [61, с. 114].

Уже после этого в седьмом номере «Отечественных записок» вышла неподписанная статья Краевского «Россия и Западная Европа в настоящую минуту», где, используя почерпнутые у Погодина и славянофилов доводы, довольно прямолинейно доказывалось отличие России от европейских стран, охваченных в это время революциями. Автору пришлось поступиться прежними идеями ради того, чтобы обойти своего противника. До помещения статьи в печать Краевский 25 мая 1848 года направил ее для ознакомления Орлову вместе с письмом, в котором предлагал подготовить ряд подобных публикаций в отделе «Современная хроника России», а для начала «представить программу их». Орлов на это ничего не ответил, а против печати статьи не возражал, «ежели обыкновенная цензура разрешит» [44, с. 194].

Почему III отделение ни при Бенкендорфе, ни при Орлове не спешило откликаться на, казалось бы, столь заманчивые предложения? Ведь за те более десятка лет, что это ведомство опекало Краевского, он только дважды, судя по записке Попова [55, л. 1 об.], готовил статьи специально для III отделения. И инициатива этого (по крайней мере во втором случае) исходила от самого автора. Очевидно, сервильных журналистов сотрудники Бенкендорфа и Орлова могли найти и без Краевского. Однако он, в отличие от многих других, издавал журнал, пользующийся авторитетом у самой либеральной молодежи. Частое появление в нем откровенно угоднических статей могло лишь испортить дело. Проскурин, отметивший, что «либерализм» журнала Краевского, был отличной приманкой для читателя, заключает: «Более “космополитическая” и более секулярная программа “Отечественных записок” умело использовалась как противовес православно-националистическому “Москвитянину”» [10, с. 344] и добавим – славянофилам, с которыми развернули войну Белинский и компаньоны.

В августе того же 1848 года Бутурлин представил публикацию статьи «Россия и Западная Европа в настоящую минуту» императору, и тот не только одобрил ее, но и распорядился, чтобы Уваров объявил автору о «всемилостивейшем внимании Его Императорского Величества» [62, л. 1 об.]. Когда же Погодин попытался, не опровергая высказываний Краевского, заявить, что они «безмолвно присвоены “Отечественными записками”», товарищ министра князь П.А. Ширинский-Шихматов отказал в публикации его статьи. Произошло это 8 сентября 1848 года [62, л. 7]. Примечательно, что в это самое время Уваров принимал Погодина в своем подмосковном имении Поречье [63, с. 134–137], а в ноябре президент Академии наук Уваров и академик Ширинский-Шихматов выхлопотали Погодину пособие от Академии на подготовку исторических трудов по тысяче рублей серебром в год в течение трех лет [63, с. 129–130]. Уваров, как мог, поддерживал своего протеже, но уже не рисковал бороться с его конкурентом, удостоившимся одобрения монарха.

Вероятно, соперничество «немецкой партии» с Уваровым сменило формы. Начиная с 1844 года, когда во главе III отделения стал гр. А.Ф. Орлов (с долей презрения относившийся к Булгарину [23, с. 143]), имя министра исчезло из отчетов этого ведомства, а в «Нравственно-политическом отчете за 1846 г.» было даже сказано о привилегиях высших и средних сословий в Остзейских губерниях, которые «надлежало бы постепенно и осторож-

но ослабить» [43, с. 372]. Однако в 1847 году Орлов распорядился поощрить Краевского за публикацию опровержений «славянофильских бредней» [64, с. 191], а императора шеф жандармов убеждал, что славянофилы «нередко заставляют сомневаться, не кроется ли под их патриотическими воззрениями и противных нашему правительству целей» [65, с. 178].

Судя по всему, центр борьбы с министром народного просвещения в это время переместился за пределы III отделения. В 1848 году главным инструментом ее стал Комитет 2 апреля, возглавляемый противником Уварова Бутурлиным. Кроме прочих, в состав комитета входили Дубельт, М.А. Корф, Б.М. Федоров и воспитанник Дерптского университета В.В. Ленц, в также гр. А.Г. Строганов, брат давнего недруга министра.

П.В. Анненков в своих воспоминаниях рассказывал словно анекдот: с началом «мрачного семилетия» Бутурлин «пришел к заключению, что и девиз Уварова, который определял его деятельность как министра просвещения: “Православие, самодержавие, народность” есть просто-напросто революционная формула» [66, с. 523]. В этой кажущейся гротесковой истории правдой, по всей видимости, является то, что в то время «уваровская триада» с ее сомнительной «народностью» и, вероятно, излишне категоричным «православием» стала объектом нападок облеченных властью лиц.

На Уварова сыпались удар за ударом. Так, в марте 1849 года в «Современнике» появилась неподписанная статья «О назначении русских университетов и участии их в общественном образовании» (ее автором был директор Главного педагогического института и член главного правления училищ И.И. Давыдов, а редактировал сам министр). Перепечатала статью и принадлежащая университету газета «Московские ведомости». Статья имела целью унять волнения, вызванные слухами о скором закрытии университетов, инициированном Бутурлиным. И когда Комитет 2 апреля обратил на нее внимание, Уваров не скрывал, что она «написана по его распоряжению, в его кабинете и напечатана тоже по его распоряжению» [18, с. 331][1]. Более того, в письме к императору всю ответственность за статью Уваров взял на себя и предлагал, чтобы «прекратить столкновения», передать цензуру (всю или только периодических изданий) из Министерства народного просвещения III отделению и Комитету 2 апреля [67, с. 232–233]. Однако в ответ Николай I заявил, что не видит причин менять заведенный порядок. Статью в «Современнике» он назвал неприличной и указал: «впредь не должно быть допускаемо ничего насчет наших правительственных учреждений, а в случаях недоумений должно быть испрашиваемо разрешение» [63, с. 538; 67, с. 233].

Вскоре в вышедшем в апреле номере «Москвитянина» появилась небольшая заметка «Почетный гость на лекциях университета». В ней шла речь о посещении Московского университета гр. Блудовым и, в частности, говорилось: «В то время, когда праздные люди толкуют о каком-то преобразовании университетов, и становится необходимым стать за них во имя просвещения, членам Московского университета приятно видеть, что государственные сановники, успевшие в жизни своей соединить постоянную верность началам русским с высокою степенью европейского просвещения, обнаруживают к университетам самое искреннее участие и смотрят на них, как на верные рассадники русского просвещения» [68, с. 106 (5-я паг.)][2]. Такие пассажи снова вызвали реакцию Комитета 2 апреля. О заметке (автором которой был Погодин) Бутурлин доложил императору и 17 апреля тот наложил резолюцию: «М<инистру> н<ародного> просвещения подтвердить, что я решительно запрещаю все подобные статьи в журналах за и против Университетов» [69, л. 24; см. 63, с. 146].

Еще в апреле 1848 года по указанию императора в Министерстве народного про-

[1] См. об этом [63, с. 524–538].

[2] Этот факт описан Барсуковым и Лемке, однако оба они посчитали, что в заметке Погодина речь шла о визите в университет не Блудова, а Уварова [63, с. 145; 67, с. 233]. И хотя в «Москвитянине» говорилось именно о первом из них, даже этого оказалось достаточно, чтобы вызвать раздражение Бутурлина и императора.

свещения началась работа над проектом нового цензурного устава. Министр понимал, что принятие устава, который обеспечит порядок, необходимый Николаю I, даст шанс избавиться от удушающей опеки Комитета 2 апреля. Проект был разработан и в 1849 году передан на обсуждение в Государственный совет. При этом запросили мнение о проекте Комитета 2 апреля. Оно вполне ожидаемо оказалось враждебным [70, с. 55–56]. Как отметил Лемке, «Комитет 2 апреля прекрасно понимал, что проект был покушением на его дальнейшее существование» [67, с. 241], и в итоге стараниями Комитета новый устав был провален. Для Уварова это стало последней каплей. Сознавая, что проиграл окончательно, в октябре 1849 года он подал в отставку.

VI

После этого Уваров, уже перенесший «нервический удар», прожил менее шести лет, а после его кончины менее двадцати лет понадобилось, чтобы Пыпин создал и запустил миф об уваровской теории «официальной народности». Когда это произошло, в живых оставались немногие из участников борьбы с «народностью». В их числе – Краевский, человек удивительной беспринципности: в ту пору он являлся владельцем крупнейшей либеральной газеты «Голос» (в разные годы служившей официозом нескольких министерств [71; 72]) и социалистического журнала «Отечественные записки» (тогда руководимого бывшим редактором «Современника» Н.А. Некрасовым). Вполне понятно, что Краевский никак не возражал против такой интерпретации событий.

Находившийся во главе Министерства народного просвещения свыше шестнадцати лет Уваров оказался не только самым «долгожительствующим» руководителем за всю историю этого ведомства, но и – что было не легче – единственным высокопоставленным деятелем, позволившим себе длительные противоречия с «немецкой партией». Конечно, продолжительные трения и даже столкновения между различными ведомствами и в то время не были редкостью. Однако эта история представляет первый для России опыт внутриправительственного соперничества, которое непосредственно отразилось на периодической печати. Борьба двух ведомств обернулась борьбой за влияние на прессу.

Отметим также, что после Уварова на длительное противостояние с «русскими иностранцами» не смел решиться уже ни один министр. Продолжившиеся в правление Александра II столкновения «русской» и «немецкой» партий приобрели иной характер. Если последняя по-прежнему пользовалась поддержкой самых влиятельных чиновников (таких как Валуев и Шувалов), то «русская», или, как порой ее называли, «старорусская», партия прирастала за счет общественных деятелей (таких как И.С. Аксаков и Ю.Ф. Самарин). В отличие от высокопоставленных бюрократов, их едва ли не единственным средством борьбы являлась периодическая печать.

Литература

1. *Казаков Н.И.* Об одной идеологической формуле николаевской эпохи // Контекст-1989 : Литературно-теоретические исследования / отв. А.В. Михайлов. М. : Наука, 1989.
2. *Кошелев В.А.* Славянофилы и официальная народность // Славянофильство и современность : сборник статей / отв. ред. Б.Ф. Егоров и др. Л. : Наука, 1994. С. 122–135.

3. *Шевченко М.М.* Понятие «теория официальной народности» и изучение внутренней политики императора Николая I // Вестник Московского университета. Сер. 8: История. 2002. № 4. С. 89–104.
4. *Каплин А.Д.* Главные начала – «Православие, Самодержавие, Народность»: исторический контекст, интерпретации, значение // Российская государственность и современность: проблемы идентичности и исторической преемственности: сборник докладов / под ред. М.Б. Смолина. М. : РИСИ, 2012. С. 248–255.
5. *Шевченко М.М.* «Официальной народности» теория // Большая Российская энциклопедия. М. : Большая Российская энциклопедия, 2014. Т. 24 : Океанариум – Оясио. С. 713–714.
6. *Шевченко М.М.* Конец одного Величия : Власть, образование и печатное слово в Императорской России на пороге Освободительных реформ. М. : Три квадрата, 2003. 268 с.
7. *Удалов С.В.* Теория официальной народности: механизмы внедрения // Освободительное движение в России : Межвузовский сборник научных трудов / под. ред. Н.А. Троицкого. Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 2006. Вып. 21. С. 77–85.
8. *Петров Ф.А.* Формирование системы университетского образования в России. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2003. Т. 3 : Университетская профессура и подготовка Устава 1835 года. 479 с.
9. *Уваров С.С.* Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833–1843 / С.С. Уваров // Избранные труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент. В.С. Парсамов, С.В. Удалов; пер. В.С. Парсамова. М. : РОССПЭН, 2010. С. 346–455.
10. *Проскурин О.А.* Литературные скандалы пушкинской эпохи. М. : ОГИ, 2000. 366 с.
11. *Выскочков Л.В.* Николай I. 2-е изд., испр. М. : Молодая гвардия, 2006. 693 с.
12. *Рогов К.Ю.* Декабристы и «немцы» // Новое литературное обозрение. 1997. № 26. С. 105–126.
13. *Березкина С.В.* Вокруг запрещения журнала «Европеец» // Временник Пушкинской комиссии : Сб. научных трудов. СПб. : Наука, 2004. Вып. 29. С. 226–248.
14. *Березкина С.В.* «Немцы» против «Европейца» // Москва. 2009. № 3. С. 201–213.
15. *Шульгин В.Н.* Русские свободные консерваторы XIX века об Остзейском вопросе. СПб. : Нестор-История, 2009. 158 с.
16. *Сергеев С.М.* «Хозяева» против «наемников»: русско-немецкое противостояние в императорской России // Вопросы национализма : Журнал научной и общественно-политической мысли. 2010. № 3. С. 38–78.
17. *Минаков А.Ю.* Русская партия в первой четверти XIX века. М. : Институт русской цивилизации, 2013. 521 с.
18. *Никитенко А.В.* Дневник : в 3 т. / подг. текста, вступ. ст. и примеч. И.Я. Айзенштока. М. ; Л. : Гослитиздат, 1955. Т. 1 : 1826–1857. 542 с.
19. *Греч Н.И.* Записки о моей жизни. М. : Захаров, 2002. 463 с.
20. *П.....ъ А.* [Уваров С.С.] Письмо к издателям из Тамбова // Сын Отечества. 1812. Ч. 2. № 7. С. 33–36.
21. *Куницын А.П.* Рассмотрение речи г. президента Академии наук и попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, произнесенной им в публичном торжественном собрании Главного педагогического института 22 марта 1818 года // Сын Отечества. 1818. Ч. 45. № 23. С. 136–146; № 24. С. 174–191.
22. *Уваров С.С.* О трех греческих трагиках // Сын Отечества. 1825. Ч. 101. № 10. С. 134–147; № 11. С. 282–293.
23. *Рейтблат А.И.* Булгарин и III отделение / А.И. Рейтблат // Фаддей Венедиктович Булгарин: идеолог, журналист, консультант секретной полиции : Статьи и материалы. М. : Новое литературное обозрение, 2016. С. 123–162.
24. *Чернуха В.Г.* Правительственная политика в отношении печати. 60–70-е годы XIX в. Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1989. 205 с.
25. *Орлов В.Н.* Комментарий // Николай Полевой : Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов / ред., вступ. ст. и коммент. Вл. Орлова. Л. : Изд-во писателей в Ленинграде, 1934. 541 с.
26. *Рейтблат А.И.* Русские писатели и III отделение (1826–1855) // Новое литературное обозрение. 1999. № 40. С. 158–186.
27. *Орлов В.Н.* Пути и судьбы : Литературные очерки. Л. : Советский писатель. Ленингр. отд-ние, 1971. 744 с.
28. *Вацуро В.Э.* Пушкин в сознании современников // А.С. Пушкин в воспоминаниях современников : в 2 т. М. : Художественная литература, 1985. Т. 1. С. 5–26.
29. *Бычков И.А.* Бумаги князя В.Ф. Одоевского // Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1884 год. СПб. : Типогр. В.С. Балашева, 1887. Приложение 2-е. С. 1–65.
30. *Киреевский И.В.* «Горе от ума» – на Московском театре // *Киреевский И.В., Киреевский П.В.* Полн. собр. соч. : в 4 т. / сост., примеч. и коммент. А.Ф. Малышевского. Калуга : Издательский педагогический центр «Гриф», 2006. С. 71–75.
31. *Языков Н.М.* Златоглавая святая… : Стихотворения. Сказки, поэма. Проза. Письма / сост., вступ. ст. и примеч. Е.Ю. Филькиной. М. : Русскій мір, 2003. 512 с.
32. [*Стасов В.В.*] Цензура в царствование императора Николая I // Русская старина. 1903. № 2. С. 305–328.
33. *Хомяков С.А.* Письмо М.П. Погодину, 13 марта <1832 г.> // Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 231. Разд. II. К. 50. Ед. 77. Л. 1–2.
34. *Рясенцев К.В., Ширинянц А.А. М.П.* Погодин и поиски русской национальной идеи. 1830–1840-е гг. // Вестник Московского университета. Сер. 12: Политические науки. 2007. № 1. С. 18–31.
35. *Зорин А.Л.* Кормя двуглавого орла… : Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М. : Новое литературное обозрение, 2004. 414 с.
36. *Белинский В.Г.* Литературные мечтания (Элегия в прозе) / В.Г. Белинский // Полн. собр. соч. : в 13 т. Т. 1: Статьи и рецензии; Художественные произведения: Дмитрий Калинин; Русская

был: 1829–1835 / подг. текста и коммент. В.С. Спиридонова. М. : Изд-во Академии наук СССР, 1953. С. 20–104.

37. Отношение А.Х. Бенкендорфа С.С. Уварову / публ. *С.В. Казаковой* // Российский Архив : История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв. : Альманах. М. : Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1999. [Т.] IX. С. 87–88.

38. С.С. Уваров – Николаю I от 20 октября 1836 г. // Чаадаев П.Я. Избранные труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент. М.Б. Велижев. М., 2010. С. 515.

39. *Найт Н.* Наука, империя и народность: этнография в Русском географическом обществе, 1845–1855 // Российская империя в зарубежной историографии : Работы последних лет : Антология / сост.: П.В. Верт и др. М.: Новое изд-во. 2005. С. 155–198.

40. *Лескинен М.В.* Поляки и финны в российской науке второй половины XIX в.: «другой» сквозь призму идентичности. М. : Индрик, 2010. 366 с.

41. *Шевченко М.М.* Записка 1841 года об Остзейском крае из архива графа С.С. Уварова // Величие и язвы Российской империи: Междунар. науч. сб. в честь 50-летия О.Р. Айрапетова / сост. В.Б. Каширин. М. : Регнум, 2012. С. 121–158.

42. *Шевченко М.М.* «Каждый Русский должен служить Престолу» : С.С. Уваров (Ч. II). [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://zapadrus.su/rusmir/istf/715-l-r-ii.html

43. Россия под надзором : отчеты III отделения, 1827–1869 / сост. М.В. Сидорова, Е.И. Щербакова. М. : Российский фонд культуры, 2006. 703 с.

44. *Лемке М.К.* Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. : По подлинным делам Третьего Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. 3-е изд. М. : Ленанд, 2014. 640 с.

45. *Лажечников И.И.* Заметки для биографии Белинского / И.И. Лажечников // *Басурман. Колдун на Сухаревой башне. Очерки-воспоминания.* М., 1991. С. 420–443.

46. Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб. : Типогр. Морского мин-ва, 1862. 482 с.

47. Письма М.П. Погодина к М.А. Максимовичу / с поясн. С.И. Пономарева. СПб. : Типогр. Имп. Академии наук, 1882. 143 с.

48. Переписка В.И. Даля и М.П. Погодина Ч. 1 / публ. А.А. Ильина-Томича // Лица : Биографический альманах / ред.-сост. А.А. Ильин-Томич. М.; СПб. : Феникс; Atheneum, 1993. Вып. 2. С. 287–388.

49. *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб. : Типогр. М.М. Стасюлевича, 1892. Кн. 5. 533 с.

50. *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб. : Типогр. М.М. Стасюлевича, 1892. Кн. 6. 402 с.

51. *Венгеров С.А.* Ежедневная печать конца дореформенной эпохи // Сб. статей по истории и статистике русской периодической печати : 1703–1903. СПб. : Русское библиол. об-во, 1903. С. 99–125.

52. [*Стасов В.В.*]. Цензура в царствование императора Николая I // Русская старина. 1903. № 3. С. 571–591.

53. Дело о прекращении издания газеты «Provinzialblatt»… 1838 г. // РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Д. 1126.

54. Дело о статье, помещенной в издании «Provinzialblatt»… 1838 г. // РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Д. 1096.

55. *Попов М.М.* Заметка. Копия [1874 г.] // Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Ф. 265. Оп. 2. Д. 4432.

56. *Попов М.М.* Заметка. Черновая рукопись [1853 г.] // РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Д. 4431.

57. *Волков В.К.* К вопросу о происхождении терминов «пангерманизм» и «панславизм» // Славяно-германские культурные связи и отношения / отв. ред. В.Д. Королюк. М. : Наука, 1969. С. 25–69.

58. *Мырикова А.В., Ширинянц А.А.* Русофобский миф «панславизма» // Актуальные проблемы современного россиеведения : сборник научных статей / под. общ. ред. М.А. Маслина, П.Е. Бойко; сост. А.В. Воробьев. М. : Кубанское отделение РФО, Издатель А.В. Воробьев, 2007. С. 240–244.

59. *Бадалян Д.А.* «Официальная народность» или народность? С.С. Уваров и А.С. Хомяков // Тетради по консерватизму. 2018. № 1.

60. *Цимбаев Н.И.* Славянофильство : Из истории русской общественной мысли XIX века. М. : Государственная публичная историческая библиотека России, 2013. 447 с.

61. *Хомяков А.С.* <Политические письма 1848 года> / публ. и примеч. В.А. Кошелева // Вопросы философии. 1991. № 3. С. 109–132.

62. Дело об одобрении Николаем I статьи А.А. Краевского… 1848 г. // РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Д. 2142.

63. *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб. : Типография М.М. Стасюлевича, 1896. Кн. 10. 598 с.

64. *Цимбаев Н.И.* Сергей Соловьев. М. : Молодая гвардия, 1990. 366 с.

65. «Мнение» о Кирилло-Мефодіївцях гр. Орлова, подане ним имп. Миколаю I / публ. Д.И. Багалея // Наше минуле : Журнал исторіиї, літератури і культури. Київ : Друкарь. 1918. № 2. С. 178–179.

66. *Анненков П.В.* Литературные воспоминания / вступ. ст. В.И. Кулешова; коммент. А.М. Долотовой и др. М. : Художественная литература, 1983. 694 с.

67. *Лемке М.К.* Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. Изд. 2-е, испр. М. : URSS Либроком, 2011. 432 с.

68. [*Погодин М.П.*] Почетный гость на лекциях университета // Москвитянин. 1849. № 8. С. 106 (3-я паг.)

69. Дело по отношению Бутурлина с замечаниями на статью, помещенную в журнале «Современник»… 1849 г. // РГИА. Ф. 772. Оп. 1. Д. 2242.

70. *Патрушева Н.Г.* Цензурное ведомство в государственной системе Российской империи во второй половине XIX – начале XX века. СПб. : Северная звезда, 2013. 619 с.

71. *Луночкин А.В.* От сотрудничества к конфронтации : Газета «Голос» и цензура (1863–1883) // Цензура в России : История и современность : Сб. научных трудов. СПб., 2001. Вып. 1. С. 77–89.

72. *Луночкин А.В.* Газета «Голос» и режим М.Т. Лорис-Меликова // Вестник Волгоградского университета. Сер. 4: История, Философия. 1996. Вып. 1. С. 49–56.

Аннотация. Лозунг Уварова «Православие. Самодержавие. Народность» стал предметом скрытой борьбы между Министерством народного просвещения и придворной «немецкой партией», которая видела опасность даже в ограниченной программе развития национального сознания, выдвинутой министром. Отстаивавшее интересы этой «партии» III отделение первым взяло под контроль ряд изданий, использовавшихся для влияния на общественное мнение («Северная пчела», «Сын Отечества», «Библиотека для чтения», «Московский телеграф», «Отечественные записки»). Уваров, будучи еще заместителем министра, начал борьбу за формирование своего круга подконтрольных изданий («Ученые записки Императорского Московского университета», «Журнал Министерства народного просвещения», «Телескоп», «Молва», «Москвитянин» и др.). Удобным инструментом манипулирования прессой для обоих учреждений являлась цензура, функциями которой они обладали по закону. Борьба между двумя ведомствами не была тотальной. Император не потерпел бы постоянной открытой вражды среди своих приближенных и не позволял прямых выступлений против интересов остзейского дворянства. Противостояние этих ведомств – первый для России опыт внутриправительственного соперничества, захватившего периодическую печать. Уваров хотя и проиграл его, явился единственным высокопоставленным деятелем, позволившим себе длительные противоречия с «немецкой партией».

Ключевые слова: С.С. Уваров, А.Х. Бенкендорф, Министерство народного просвещения, III отделение, журналистика, журнальная борьба, «немецкая партия».

Dmitry A. Badalyan, Ph.D. in History, Senior Staff Scientist, Bibliology Sector, Rare Books Department, Russian National Library, St. Petersburg, Russia.

S.S. Uvarov and Media Struggle in 1830–1840

Abstract. Uvarov's concept of "Ortodoxy. Autocracy. Nationality" became the target of covert struggle between the Ministry of Public Education and the "German party" of the court circle that saw danger even in the limited program of national self-comprehension put forward by the minister. The Third Section of His Imperial Majesty's Own Chancellery that supported the interests of the «German Party" was the first to take over the control of several media sources that were used to influence the public opinion (such as "Severnaya Pchela" (Northern Bee), "Syn Otechestva" (Son of the Motherland), "Biblioteka Dlya Chteniya" (Library for reading), "Moskovsky Telegraph" (Moscow Telegraph), "Otechestvennye Zapiski" (Annals of the Fatherland)). Uvarov while still being the Deputy Minister, started to form his own cirle of media sources under his control (Уваров, будучи еще заместителем министра, начал борьбу за формирование своего круга подконтрольных изданий ("Uchenye Zapiski Imperatoskogo Mosckovskogo Universiteta" (Writing of the Imperial Moscow University), "Zhurnal Ministerstva Narodnogo Prosveshchenia" (the journal of the Ministry of Public Education), "Telescope", "Molva" (Rumour), "Moskvityanin" (Muscovite) and etc). To manipulate the press both institutions used censorship as a very convenient instrument, especially when both had the legal right to censor the editions. That struggle between the two state departments was not of all-out character. The Emperor would not have tolerated constant open hostility among his confidants and did not allow direct actions against the interests of Baltic nobility. The confrontation of those two state departments was the first experience of inner government rivalry in Russia when periodical media sources were involved. And though Uvarov lost that competition, he still remained the only high-rank statesman who dared to oppose the "German party" for a long period of time.

Keywords: S.S. Uvarov, Alexander von Benckendorff, The Ministry of Public Education, The Third Section, Journalism, Media Struggle, "German Party".

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-1-219-232

Александр Ширинянц

«Теоретик официальной народности»: М.П. Погодин и триединая формула С.С. Уварова

Известный русский историк и общественный деятель Михаил Петрович Погодин (1800–1875) называл себя русским человеком, «который любит отечество, чувствует благодарность к Европе, и желает успеха человечеству» [7, с. 1]. Одна из граней его творчества связана с обоснованием известной уваровской триады «Православие. Самодержавие. Народность», не очень удачно названной в начале 1870-х годов либеральным историком А.Н. Пыпиным народностью официальной, официальной системой народности [см. 29, с. 5, 61, 63] и с его подачи утвердившейся в историографии как «теория официальной народности».

* * *

Окончив Московский императорский университет в 1821 году с золотой медалью, полученной за выпускную работу «О пользе источников в нынешнем состоянии статистики», Погодин был оставлен «в ведомстве университета» и до 1824 года преподавал географию в университетском Благородном пансионе. После защиты магистерской диссертации, в которой с помощью метода «собирания всех мест из источников» доказывал норманство Руси [см. 16][1], он читал всеобщую историю студентам-первокурсникам университета (в 1827 году составил на основе лекций свои «Исторические афоризмы», вышедшие отдельным изданием в 1836 году).

Так называемые «Исторические афоризмы» Погодина – суть не что иное, как мысли, которые приходили ему в голову при чтении исторических сочинений и при размышлении об истории. Эти мысли Погодин записывал в памятную книжку, не стремясь придать им «искусственной формы, приводить их в порядок или систему», оставив их «так, как они родились» [11, с. 104]. Действительно, разнородные суждения Погодина с трудом можно сгруппировать или классифицировать.

Поднимаясь над уровнем обыденного, Погодин усматривает задачу историка в том, чтобы показать, с одной стороны, «каким образом и по каким причинам происходит изменение, как отражается в частных явлениях общий закон», с другой – «показать также участие народа в общем образовании рода человеческого», «в первом случае он связывал кольца в частную цепь, – во втором из частной цепи он делает одно кольцо и указывает

[1] Здесь Погодин пришел к выводу, что варяги-русь – не шведы, пруссы, финны, хазары или готы, а норманнское племя, обитавшее на территории современной Швеции. Это противоречило мнению единственного на тот момент крупного специалиста по отечественной истории в Московском университете М.Т. Каченовского, полагавшего, что Русь имеет южное происхождение от хазар [см. 1, с. 102, 143].

Ширинянц Александр Андреевич, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой истории социально-политических учений факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. E-mail: jants@yandex.ru

ему место в общей цепи» [11, с. 105]. На другой странице он говорит о том, что «Род человеческий, если взглянуть на него в известное время, поднимается вверх по лестнице». «Каждый народ, каждое государство перебывает на всех ступенях в свое время, так или иначе, раньше или позднее, крепче или слабее, медленнее или скорее. Частная История берет каждый народ с первой его ступени, и доводит до той, на коей он стоит теперь, показывая вместе и взаимное влияние народов, как электрическая сила пробегает чрез все кольца длинной цепи и сообщает удары краям. Сие влияние ускоряется более и более, по мере того, как более связывается колец» [11, с. 108][1].

Погодин затрагивает и некоторые философские проблемы. Разделяя всех историков на Идеалистов и Эмпириков, Историков-философов и Историков-поэтов, Погодин, в частности, указывает на то, что «Философ может иметь идеал, систему отвлеченную Истории (прошедшей и будущей), но сия система мертва без положительного приложения», «…только с эмпирическими познаниями можно строить системы» [11, с. 106]. И далее: «Всякая философская система есть только что одностороннее развитие ума, все они составляют одно целое, которое постепенно развивалось». «Есть одна истина, но всякий человек смотрит на нее под своим углом» [11, с. 119].

Ряд высказываний Погодина отличаются оригинальностью. В частности, это относится к афоризмам о природе и человечестве, географии и истории. В них звучат органицистские мотивы. Рассматривая отношение географии и вообще естественной истории к истории человечества, Погодин, задолго до так называемых геополитиков, говорил о наличии прямой связи между географией и политикой, экономикой и культурой в целом [см. 11, с. 111–112].

Здесь же, на страницах «памятной книжки», Погодин формулирует предварительные замечания по двум основополагающим сюжетам своих будущих работ, в которых обычно смешивал политику с историей. Эти сюжеты сводятся к раскрытию специфики условий образования «начала» государственности в Европе и в России, к необходимости различения Западной и Восточной Европы, Запада и России, представляющих собой две большие, качественно различные мировые цивилизации – западноевропейскую, наследницу Римской, и восточноевропейскую, наследницу Восточной Римской империи. В этом контексте важен тезис о том, что славянам норманны «дали все политическое устройство» [11, с. 112], – тезис, который позже Погодин разовьет в целую концепцию о том, что вся русская государственность была создана исключительно варягами, а участие русского народа в этом деле ограничилось добровольным подчинением чужой власти и оказанием ей послушания. Продолжая рассуждения о различиях Востока и Запада, Погодин выдвигает еще один важный тезис – о «двух Европах»: «Европу можно разделить исторически на две главные половины: Западную и Восточную» [11, с. 121]. Противополагая Восток и Запад, Погодин не относил Россию к Востоку, к Азии. Причисляя старую Русь к Востоку, Погодин всегда имел в виду Восток Европы. Европа была для него колыбелью просвещения. И это просвещение рано или поздно, добровольно или путем колонизации должны будут перенять все неевропейские народы.

Однако наиболее глубокомысленное, на наш взгляд, высказывание Погодина предельно лаконично и «попахивает» мизантропией: «Человечеству более всего мешают люди» [11, с. 156]. Характерно, что подобная склонность к мизантропии не помешала Погодину представить свою магистерскую диссертацию императрице Елизавете Алексеевне и в ответ получить золотые часы «в знак благоволения и внимания к трудам его» [1, с. 297].

[1] В подтверждение Погодин приводит пример из области политики, когда «вступление иного Министра в управление отзывается ныне уже во всей Европе» [11, с. 108].

* * *

В 1828 году Погодин был произведен в адъюнкты, читал курсы новой (политической) и русской истории на этико-политическом отделении юридического факультета, а в 1833 году избран ординарным профессором всеобщей истории, читал лекции о политике, связи и торговле древних народов мира[1]. Приведем характерный штрих к психологическому портрету Погодина, который современными исследователями обычно рисуется черными красками. Вступая в должность ординарного профессора Московского императорского университета по всеобщей истории, в 1834 году Погодин прочел для студентов и начальства «первопрестольного храма Русского просвещения» [15, с. 95] вводную лекцию, которую закончил следующими словами: «я готов всякую минуту передать ее [должность – *А.Ш.*] первому достойнейшему, и желаю сердечно, чтоб это было кому-нибудь из вас» [15, с. 103].

Поставив перед собой задачу показать, «как я смотрю на Историю, в чем полагаю ее сущность, до какой степени кажется она мне доступною и какими путями можно, если не проникнуть, то, по крайней мере, приблизиться к ее святилищу» [15, с. 96], Погодин разворачивает перед своими слушателями аргументацию в пользу ряда методологических принципов, обозначенных уже в «Исторических афоризмах».

Первым таким принципом для Погодина стало признание закономерностей исторического развития, причем закономерностей провиденциальных, определенных Божественной волей.

Вообще для Погодина было характерно стремление подняться над «фактом» – перечнем событий, лиц, дат, задаться общими вопросами, придать исторической науке философское измерение. Здесь, на наш взгляд, уместно отметить, что тяга Погодина к философствованию, его стремление найти ответы на общие исторические вопросы не носили абстрактно-отвлеченный характер, он очень хорошо понимал силу философских идей, приобретающих в ряде случаев социально-политическое значение. Так, например, характеризуя состояние Пруссии в начале 1840-х годов, Погодин отмечает изменения, вызванные так называемым духом времени: «Узы религиозные, династические, узы предания, ослабли в Пруссии. Печать становится все более дерзкою день ото дня, министры и правительство подвергаются оскорблениям». Не в последнюю очередь влияние этого «духа времени» было инициировано движением младогегельянцев, тем, что «молодое поколение, схватившись за Гегелевы результаты, растолковало их по-своему, пустилось зря в политику и изменяет саму жизнь». Проводя аналогию с Россией, в качестве средства, предупреждающего революционные устремления молодежи, подобные тем, что у прусских младогегельянцев, в качестве «громового отвода» против революционного духа – огня, который, развращая умственно и нравственно, оказывается подчас «разрушительнее ружейного и пушечного», Погодин призывает министра народного просвещения С.С. Уварова учредить кафедру философии в Московском университете [см. 9, с. 220–221][2].

[1] Свои лекции по всеобщей истории Погодин, как и другие русские профессора того времени (например, В.Ф. Цих, 1805–1837), составлял на основе фундаментального исследования ″Ideen über Politik, den Verkehr u. den Handel d. vornehmsten Völker der alten Welt″ (1824–1826) А.Г.Л. Герена (1760–1842), немецкого историка, профессора философии и истории Геттингенского университета. [см. 14]

[2] Как известно, в 1850 году Николай I по представлению князя П.А. Ширинского-Шихматова, сменившего на посту министра народного просвещения Уварова, запретил преподавание в университетах теории познания, метафизики, нравоучительной философии и истории философии. В этом же году философский факультет был ликвидирован, а на его базе открыты два факультета: историко-филологический и физико-математический, но кафедра философии в их структуре отсутствовала. По ходатайству попечителей учебных округов о восстановлении в университетах самостоятельной кафедры философии, в 1860 году она была восстановлена в Московском университете, и ее возглавил приглашенный из Киевской духовной академии профессор Памфил Данилович Юркевич (1826–1874).

Мир человеческий, мир нравственный со всеми своими явлениями, по убеждению Погодина, подчинен таким же непреложным законам, что и мир физический. В связи с этим Погодин ставит вопрос о соотношении свободы и необходимости в истории, «человеческой свободы» и «высших законов необходимости, судеб Божиих, предопределения». Он считает, что «свободная воля есть условие человеческого бытия» [15, с. 100]. В истории необходимость таинственным образом сосуществует со свободой: «Соединение, или лучше тожество законов необходимости с законами свободы – такое же таинство, как соединение мысли с словом, как соединение души с телом… нельзя определить, где оканчивается миг прошедший и начинается будущий, где оканчивается необходимость и начинается свобода» [15, с. 101].

Задача истории, с одной стороны, «протянуть ткань так называемых случаев, как они один за другим или один из другого следовали, ткань намерений и действий человеческих, по законам свободы». С другой стороны, она должна «представить другую параллельную ткань законов высших, законов необходимости». Только таким образом можно показать «соответствие сих божественных идей к скудельным формам, в коих они проявлялись, показать, как сей так называемый случай бывает рабом судьбы, ответом на вопрос, на потребность». Задача историка – найти эти законы, показать их тождество, определить случайное и необходимое в историческом процессе. Смысл работы историка – бесконечные сомнения и поиск [см. 15, с. 101].

История, по Погодину, – многообразие социально-политических и интеллектуальных событий, народов, личностей и эпох. «Необходимое содержание» истории, как считает Погодин, составляют «несходные, по-видимому противоположные, происшествия», однако принадлежащие «существам одного рода» и находящиеся на «одной линии». «Неужели все сии разнообразные явления происходят сами собою, то есть могут быть и не быть, заменяться другими, не имеют никакого единства, согласия?.. Неужели люди зависят от случая и подвергаются опасности погибнуть в сию же минуту со всеми своими чувствами, мыслями, надеждами, Историею?» [15, с. 96] – задается Погодин главными, по его мнению, вопросами, на которые требуется ответить отрицательно.

Логика его рассуждений сводится к следующему. По аналогии с силой, содержащей планетную систему в равновесии, человечество сохраняется силой Провидения, Богом: «Если человечество сохраняется, то сохраняется для чего-нибудь, то есть имеет цель, в себе ли, вне ли. Если оно имеет цель, то к ней необходимо ведет какой-нибудь путь, который должен быть пройден последовательно, от начала до конца – с которого оно совратиться не может.

Следовательно, оно получает, имеет законы своего движения» [15, с. 97].

В результате Погодин формулирует силлогизм, «естественное умозаключение», вытекающее из одного понятия о существовании человечества.

> «Человечество есть,
> Следовательно не может не быть,
> Следовательно должно быть,
> Следовательно оно содержит в себе условия своего бытия.
> Следовательно есть законы для его действия, необходимость
> в происшествиях, есть путеводная десница, промысел, есть Бог
> в Истории» [15, с. 97].

Второй основополагающий методологический принцип в интерпретации Погодина требовал признания различия историй Запада и Востока Европы, России и Азии. Различия эти обусловлены, с точки зрения Погодина, наличием особых закономерностей исторического развития. Погодин предполагает, в частности, наличие единых законов для

основания государств. Однако эти законы различны в разных частях света – на Западе и Востоке Европы, Азии и в России. В Испании, Италии, Британии и других областях Западной Европы «Государства начинаются одинаково от бракосочетания победителей с побежденными». Завоеватели и побежденные ассимилируются, «у всех происходит одно явление – феодализм», который к шестнадцатому столетию разрушается, «и на его развалинах основывается единодержавие» [см. 15, с. 97]. В Болгарии, Сербии, Польше и других славянских областях Восточной Европы государства основаны другим способом, «то есть не вследствие бракосочетания побежденных с победителями, которых к ним и не приходило». У них другие истории, не похожие на западные, но схожие между собой – «они… теряют политическую независимость и падают, так или иначе, под чуждую власть» [15, с. 98]. В истории азиатских государств опять все иначе – менее развитые народы стремятся завоевать более развитые. В результате основываются деспотии, государство разделяется на сатрапии, предается роскоши, отдаленные области начинают возмущаться – «здание колеблется и падает под ударами новых завоевателей, испытывающих со временем такой же жребий» [15, с. 98]. В результате подобных рассуждений Погодин приходит к выводу, ставшему основополагающим не только его историософской концепции, но проникающего ткань любых его рассуждений на политические темы.

Одна Россия, утверждал Погодин, высится над всеми славянскими, западными и азиатскими государствами. Причина такого положения – «начало» государства Российского: «основание ее [России – *А.Ш.*] есть среднее, так сказать, между основанием западных и восточных государств; к нам пришли иноземцы, но приглашенные, по крайней мере, не завоеватели, не с мечом в руках…» [15, с. 98].

* * *

В 1836 году Погодин занял кафедру русской истории. В том же году он стал действительным членом, а с 1841 года – ординарным академиком Императорской Академии наук, которую в то время возглавлял единомышленник и покровитель Погодина – Сергей Семенович Уваров.

Погодин и Уваров стали единомышленниками в 1832 году после посещения тогда еще товарища министра народного просвещения лекции молодого преподавателя, в которой Погодин выдвинул концептуальные идеи об особом пути развития России, о специфике образования русского государства, о целостности национально-политического «организма» страны, ставшие затем весомыми аргументами в обосновании знаменитой уваровской триады «Православие. Самодержавие. Народность».

Россия, по Погодину, это целый мир, занимающий огромное пространство, заселенное народами, составляющими целостность, которой могли бы позавидовать и европейские «малые» страны.

В отличие от канувших в лету империй и современных европейских государств, Россия «заселена преимущественно племенами, которые говорят одним языком, имеют, следовательно, один образ мыслей, исповедуют одну Веру, и, как кольца электрической цепи, потрясаются внезапно от единого прикосновения». Более того, целостность и однородность Российской империи усиливаются тем, что с ней «одно живое целое» составляют славянские народы, соединенные с русским народом узами крови и языка. Обладая бесчисленными природными богатствами, большой духовной силой, Россия представляет собой государство, при взгляде на которое – «мысль цепенеет, по счастливому выражению Карамзина» [8, с. 268]. Как констатирует Погодин, политическое влияние России в Европе после блистательной победы над Наполеоном огромно. Россия никого не боится, ничего не опасается, никто не помешает ей изменить судьбы Европы и всего человечества, если того пожелает русский царь. Исходя из простой истины, гласящей, что «всякое на-

стоящее, всякое будущее, есть плод прошедшего», Погодин в истории находит истоки и основания современного могущества России, обусловленного отличиями исторического развития России и Европы. Разница между Европой и Россией состоит, по Погодину, в том, что, во-первых, европейские государства были основаны пришлыми завоевателями, которые покорили туземцев, подчинили их себе и на развалинах Западной Римской империи создали новые государства. Российская государственность тоже возникла под влиянием пришельцев-варягов, но они были добровольно выбраны и приглашены, а потому особых разногласий между пришельцами и туземцами не возникло [см. 8, с. 270–271]. Во-вторых, христианство в Древнюю Русь пришло не из Рима, а из Константинополя, а потому духовенство в России было подчинено государству и не мешало его развитию: «у нас, так как в Греции, духовенство подчиняется Государям, между тем как на Западе оно вяжет и решит их». Более того, приняв христианство из Византии, «Россия сделалась как будто преемницею Империи Константинопольской, между тем как Западная продолжалась в лице прочих Европейских Государств» [8, с. 270]. В-третьих, кроме того, различия состояли в самой общественной системе: в западных государствах возник феодализм – рыцарство – майорат; в России с ее редким населением, обширными лесами и степями – удельная система, государство оставалось во владении одного семейства, а наследником был не старший сын, а старший в роде, и наследство дробилось до бесконечности [см. 8, с. 271].

Проводя параллели в истории России и Европы (крестовые походы – монгольское иго, реформация – реформы Петра I), Погодин акцентирует внимание на социально-политических преимуществах России. В ней не существовало пропасти между представителями различных сословий, как это было в Западной Европе. Русский простолюдин мог достичь высших государственных должностей, университетское образование заменяло привилегии и грамоты. Все преобразования, все нововведения шли в России от государства, сверху, а не снизу, как в Европе; у нас, по словам Погодина, правительство «навязывает просвещение». Русское дворянство, сформировавшееся в позднее время из разных источников, из представителей разных народов, – благороднее европейских грандов, лордов, маркизов, баронов. Это произошло потому, что высшее сословие приобрело свои привилегии, служа отечеству, России [см. 8, с. 271–272].

Вообще, по мнению Погодина, история России как часть всемирной истории уникальна, она полна необыкновенных явлений и чудес, и потому есть история «необыкновенная», «чудесная», а русский народ является богоизбранным народом: «перст Божий ведет нас, как будто древле Иудеев, к какой-то высокой цели» [8, с. 273]. Переходя от прошлого к современности, Погодин предостерегает политиков от бездумного заимствования западных образцов, призывает использовать «собственные наши плоды, которым напрасно искать подобных в других Государствах», считая, что «всякое постановление должно непременно иметь свое семя и свой корень, и что пересаживать чужие растения, как бы они ни были пышны и блистательны, не всегда бывает возможно или полезно, по крайней мере всегда требует глубокого размышления, великого благоразумия и осторожности» [8, с. 276]. И, наконец, самый важный вывод ученого-историка, вполне укладывающийся в «хранительную» идеологию «официальной народности». Как заявляет Погодин, имея столько преимуществ перед западными государствами, Россия, «*российская история может сделаться охранительницею и блюстительницею общественного спокойствия*, самою верною и надежною» [8, с. 276].

Этот вывод лекции Погодина находился в полном соответствии с высказанным ранее мнением его высокого покровителя [31], в свою очередь, Уваров, формулируя доктрину православия, самодержавия, народности, немало почерпнул у Погодина[1].

[1] Об этом, в частности, пишет Р.Г. Эймонтова [см. 4, с. 129].

* * *

Основные пункты своей хранительной, национально-консервативной позиции, Погодин развил в статье «Параллель русской истории с историей европейских государств относительно начала», помещенной в январском номере журнала «Москвитянин» за 1845 год.

В этой концептуальной и для журнала, и для самого автора статье Погодин, объяснив «генеалогию» западноевропейской и русской государственности, в доказательство своей позиции рассматривает политические явления, сопровождавшие зарождение русского государства, и приводит сначала различия «составных частей, элементов Государства» на Западе и в России, а затем отличия физические и нравственные. Элементы государства в «первый период его происхождения», по его мысли, это – «государь, народ, разделяющийся на сословия… и земля»; физические – «пространство, народосчислие, населенность, почва, климат, положение, система рек», нравственные – «народный характер, религия, образование» [см. 18, с. 281, 287–288].

Своеобразие теоретико-методологической позиции Погодина усиливало его обращение к географическому фактору, который, по его мысли, обуславливал как принципиальную невозможность завоевания России, так и во многом оправдывал его концепцию «призвания власти» славянским населением Руси.

Нужно отметить, что мысль о совокупности физического, духовного и политического факторов как условий могущества и величия России Погодин высказал еще в «Письме к Государю Цесаревичу, Великому Князю, Александру Николаевичу» 1838 года. Первое условие могущества страны, указывал он, – «пространство, многолюдство», второе – «экономико-географическое» – разнообразие климатических зон и залежей полезных ископаемых. Два этих условия составляют то, что Погодин называет «физическими силами». Третье условие могущества – нравственные силы, из которых Погодин обращает внимание «прежде всего на свойства Русского народа, его толк и его удаль, которым нет имени во всех языках Европейских, его понятливость, живость, терпение, покорность, деятельность в нужных случаях…» [22, с. 180]. Самое важное же условие могущества России – неограниченное самодержавие во главе с русским царем. Эта махина, подчеркивает Погодин, одушевлена единым чувством, доставшимся русскому народу от предков. Чувство это – «есть покорность, беспредельная доверенность и преданность царю, который для нее есть бог земной» [22, с. 182]. В статье же 1845 года первое, на что обращает внимание Погодин, – «пространство», обширность территории страны, обусловившее «невозможность быстрого завоевания», с одной стороны, с другой – отсутствие борьбы за землю, которой было очень много («Бери всякий, сколько хочешь») и которую не нужно было ни у кого отнимать [см. 18, с. 288]. Второе обстоятельство – многочисленность и единство туземного населения, которое внушало уважение пришельцам. Более того, по словам Погодина: «Норманны разошлись в Славянском населении, подобно капле вина в воде…» [см.: 18, с. 288]. Третье обстоятельство было связано с тем, что в России, как верно заметил Погодин, – всякому потоку завоевания препятствовало «*заселение* не сплошное, но разделенное лесами, степями, болотами, речками, без больших дорог, при трудных сообщениях» [18, с. 289]. Четвертым обстоятельством стала «бедность» земли, требующей приложения большого труда и не доставлявшей никакой пищи роскоши. Поэтому экспансивные устремления первых русских князей были устремлены в другие богатые места [см. 18, с. 289]. Пятое обстоятельство, обусловившее аполитичность русского народа, предоставившего все государственные дела князю и боярам, – это «*климат* суровый, холодный» [18, с. 289]. Шестое обстоятельство, способствовавшее «одинаковости отношений, гражданскому равенству», по Погодину – это «равнинная, без гор, территория Руси» [18, с. 289]. И последнее, седьмое «физическое» обстоятельство, на которое обращает внимание Погодин, – это «*Система* рек, текущих внутри земли, странное отделение от всех морей, (Белого, Балтийского, Чер-

ного и Каспийского)» [18, с. 290]. Все это обусловило трудность контактов туземного населения с внешним миром, его одиночество, особость пути, мир и покой существования и в конечном счете то, что «Мы… подчинились спокойно первому пришедшему» [18, с. 290].

Таким образом, по мысли Погодина, обширность территории, многочисленность славянского населения, отсутствие дорог, тяжелые климатические и другие «физические» условия послужили основой создания самобытного русского государства, так как эти обстоятельства, взятые в совокупности, делали «завоевание» невозможным.

* * *

Общий вывод, к которому приходит Погодин, следующий. Русская история и история западных государств при общем («родовом») их подобии, при единстве цели противоположны во всем, что касается путей, средств, обстоятельств, формы происшествий. И противоположность эта, «несмотря на все усилия, преобразования, перевороты, время», сохраняется [18, с. 291].

Спустя несколько лет, в октябре 1854 года, в очередном письме цикла записок и писем периода Крымской войны, Погодин дал развернутую, исчерпывающую характеристику противоположности «Русской истории с историею западных государств, совершенно одинаковую с географическою противоположностью Востока и Запада» [28, с. 253], которая заслуживает быть приведенной полностью. Повторив полюбившуюся ему со времен «Исторических афоризмов» фразу о том, что «Запад есть Запад, а Восток есть Восток!» [28, с. 252], Погодин, приводя в ряде случаев дословно положения, выдвинутые в исторических статьях, вошедших в сборник 1846 года «Историко-критические отрывки», пишет здесь буквально следующее: «Европейские государства произошли завоеванием, а наше добровольным призванием… западные государственные учреждения основаны на законе оппозиции… а коренные русские учреждения предполагают совершенную полюбовность»; на Западе «все подчиняется форме, и форма преобладает, а мы терпеть не можем никакой формы. Всякое движение хотят там заявить и заковать в правило, а у нас открыт всегда свободный путь изменению по обстоятельствам». «Они ищут конституций, хоть и не находят их надолго, а русский народ не помышляет ни о каких конституциях и какие имеет, навязанные сверху, от тех старается всеми силами уклоняться» [28, с. 253]. И далее: «На Западе господствует подозрение и опасение, у нас доверенность. Западные сословия питают одно к другому ненависть, а наши не имеют никаких сословных предубеждений. Западное дворянство по преимуществу родовое, а наше по преимуществу служебное. Те гордятся своим вековым происхождением, а наши происходят, так сказать, ежеминутно, и гордости не могут иметь никакой, кроме глупой… Переворот государственный, революцию, коей нигде подобной не было, все вверх дном, начинает у нас первый Император, и продолжают его преемники, а консерватизм выражается народом, и крайнюю, левую сторону консерватизма, составляющего вместе и оппозицию, представляет собою Преображенский раскольник[1], для которого один из главных вопросов состоит в том, как складывать пальцы для крестного знамения, между тем как на Западе нет и помину о Боге, разве для формы, и Христианская религия снисходит на степень малочисленной секты» [28, с. 254]. Завершая свою характеристику «противоположностей» Востока и Запада, Погодин формулирует следующий вывод: «У нас другой климат с Западом, другая местность, другой темперамент, характер, другая кровь, другая физиономия, другой взгляд, другой образ мыслей, другие верования, надежды, желания, удовольствия, другие отношения, другие обстоятельства, другая История, все другое…» [28, с. 254].

[1] В Москве оплотом раскольников были Преображенское и Рогожское кладбища.

Нужно особо подчеркнуть, что существование «единства» противоположностей Запада и Востока, «подобия» и «параллелизма» историй западноевропейских стран и России Погодин относит к определенному историческому периоду. Апофеоз его – XVIII век. Этот «европейский» период истории России, начатый Петром I, по глубокому убеждению Погодина, заканчивается в XIX веке, со смертью Александра I, когда с восшествием Николая I на Российский престол начинается новый, «национальный» период русской истории: «С императора Николая… которого Министр, в троесловной своей формуле России, после православия и самодержавия поставил народность, …начинается новый период русской истории, период *национальный,* которому, на высшей ступени его развития, будет принадлежать, может быть, слава сделаться периодом в общей истории Европы и человечества» [19, с. 242]. О концептуальном характере такого заявления, сделанного в статье 1841 года, говорит хотя бы тот факт, что уже в 1832 году в своем «Очерке русской истории» Погодин буквально в тех же словах обозначает деление русской истории на европейский и национальный периоды: «Основание Александром первенства России в Европе и окончание Европейского периода Русской Истории. Начало своенародного (национального) периода царствования Императора Николая» [17, с. 34].

Что касается так называемого европейского периода истории России, то он, как и вся современная Погодину Россия, есть «произведение Петра Великого»[1]. Так Погодин начинает свою статью о Петре Великом, помещенную в первом номере журнала «Москвитянин». Статья эта представляет собой один из лучших образцов политической публицистики о реформаторе России не только в творчестве самого Погодина, но и в общественно-политической литературе того времени. Как считает Погодин, «обширнейшее в Европе государство преобразовалось по желанию одного человека!» [19, с. 231–232]. Памятниками неутомимой деятельности Петра и его гения, подчеркивает Погодин, помимо важного места России в системе европейских государств, стали практически все стороны внутренней жизни страны: «управление, разделение, судопроизводство, права сословий, табель о рангах, войско, флот, подати, ревизии, рекрутские наборы, фабрики, заводы, гавани, каналы, дороги, почты, земледелие, лесоводство, скотоводство, рудокопство, садоводство, виноделие, торговля внутренняя и внешняя, одежда, наружность, аптеки, госпитали, лекарства, летосчисление, язык, печать, типографии, военные училища, академия…» [19, с. 233]. В основе успеха петровских преобразований лежали два фактора: во-первых, сила воли самого реформатора, во-вторых, «покорность», «терпение», «готовность» русского народа. Погодин, не отрицая жесткости и жестокости, с которой Петр I (во многом в силу своего темперамента и обстоятельств) совершил «переворот государственный, революционный», считает, что все его преобразования «были необходимы по естественному ходу вещей в самой России, не только в соседних государствах, в Европе», и «необходимое столкновение, сближение России с Европою» не могло произойти иначе [см. 19, с. 237].

Спустя некоторое время тон Погодина меняется. В статье 1845 года «За Русскую старину» он уже вполне по-славянофильски говорит о том, что Петр Великий «должен был остановить народное развитие и дать ему на время другое направление» [10, с. 247][2]. Однако этот период европейского ученичества России заканчивается. «Время безусловного поклонения Западу миновалось», новый век требует от россиянина чувств «уважения к самобытности, следовательно своенародности, и следовательно старины», а от России и русского народа, как

[1] Тема жизни и деятельности Петра I не раз затрагивалась Погодиным и специально была им рассмотрена помимо статьи «Петр Великий» в целом ряде произведений [см.: 20, 21, 23–27].

[2] Позже, в статье 1867 года, Погодин выразил свою позицию по отношению к Петру I еще более определенно: «Сам я очень далек от безусловного одобрения всех его действий и мер, но уверен, что надо изучать его, с благоговением, много и много, долго и долго, а глумиться – есть бессмысленная дерзость, приносящая стыд нашему времени» [27, с. 50].

пишет Погодин, – «явиться на Европейской сцене, стану употреблять их любимые выражения, своеобразными *индивидуумами*, а не безжизненными автоматами; мы должны показать там свои лица, а не мертвенные дагерротипы каких-то западных идеалов» [10, с. 247, 248]. Погодин указывает на то, что после того, как Россия заняла «почетное место в политической системе Европейских государств», она не должна последовательно и планомерно повторять все этапы социально-политического развития стран Западной Европы. Более того, Погодин утверждает, что «старых опытов повторять не нужно, что указаниями пользоваться должно, что не все чуждое прекрасно, что время показало на Западе многие существенные недостатки, что, наконец, мы должны иметь собственный взгляд на вещи, а не смотреть по-прежнему глазами Французов, Англичан, Итальянцев, Прусаков, Австрийцев, Баварцев, Венгерцев и Турок» [10, с. 248].

* * *

Спустя три года после публикации погодинской статьи «За русскую старину» ввиду европейских революций 1848–1849 годов ситуация в России резко меняется. Уже в 1848 году русская национальная идея стала казаться опасной, а год спустя Уваров, получив выговор от императора: «Должно повиноваться, а рассуждения свои держать при себе», – был вынужден оставить свой пост [см. 2, с. 538]. По выражению С.М. Соловьева, последние годы царствования Николая I стали «постыдными»: в событиях Запада верхи «нашли предлог явно преследовать ненавистное им просвещение, ненавистное духовное развитие, духовное превосходство, которое кололо им глаза… Время с 48-го по 55 год было похоже на первые времена римской империи, когда бездумные цезари, опираясь на преторианцев и чернь, давили все лучшее, все духовно развитое в Риме… в это несчастное время самый положительный человек был отрицателем, и своим авторитетом приучал к отрицанию» [30, с. 313, 338]. «Официальная народность», как и сам идейно-политический комплекс консерватизма в целом, оказались скомпрометированы в общественном мнении, их авторитет был подорван действиями самой власти. Не случайно, что даже Погодин – человек абсолютно лояльный существующему режиму, в период Крымской войны 1853–1855 годов выступил с резкой критикой правительственной политики в своих «Историко-политических письмах», которые широко распространялись тогда в рукописях и получили огромный общественный резонанс [см. 38, с. 93–98]. Одно это позволяет усомниться в «официальности» его теоретических разработок формулы «Православие. Самодержавие. Народность». В конце жизненного пути, Погодин, в довольно резкой форме отвечая критику славянофилов Пыпину и в его лице западникам, выразил свое отношение к «официальности» и «казенности» формулы Уварова следующим образом. «Неужели г. Пыпин думает, что Уваровская формула играла роль еще где-нибудь, кроме отчетов министра, т.е. самого автора? В литературе она служила только для охранения мыслей, излагавшихся иногда под ее покровительством; во всяком случае, нельзя было говорить об одном члене формулы отдельно от других. Впрочем, и о трех вместе говорено было немного. Давления никакого она не производила и производить не могла. У кого были мысли, тот мыслил про себя, или выражал их, если имел то искусство, которым, по мнению Карамзина, можно говорить что угодно, не смотря ни на какие цензурные путы. А у кого не было мыслей, а только ощущения, тот молчал, или отделывался междометиями, и разглагольствовал за дверями затворенными, за бокалом шампанского, снискивая себе тем дешевую популярность» [12][1]. Тем не менее именно Погодин стал идеальной фигурой для роли «теоретика»

[1] Последняя фраза Погодина представляется отзвуком старых споров славянофилов и западников, направлена против тех, кто, как писал А.И. Герцен: «собирался часто то у того, то у другого, всего чаще у меня. Рядом с болтовней, шуткой, ужином и вином шел самый деятельный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний; каждый передавал прочтенное и узнанное, споры обобщали взгляд, и выработанное каждым делалось достоянием всех. Ни в одной области ведения, ни в одной литературе, ни в одном искусстве не было

«официальной народности» с ее заметным антидворянским оттенком. Тем, кто обосновывал идею о своеобразном «посредничестве» дворянства между монархом и народом, Погодин противопоставил безусловную «верноподданность» русского народа, с которой диссонировала оппозиционность определенной части дворянства.

* * *

Как уже не раз утверждалось, основой национально-консервативного течения общественно-политической мысли России, «православно-русского направления» (П.А. Вяземский), русского «хранительства»[1], были три основные идеи – самодержавной монархии как надклассовой силы, защищающей интересы каждого сословия и общества в целом, православия и народности. Стержнем подобного мировоззрения стало утверждение об особом пути России и уникальности ее культурно-исторического опыта, принципиально отличающегося от истории стран Запада. Органицистские представления о происхождении и развитии государства (не народа, а именно государства), разделяемые Погодиным, закономерно привели его к поиску исторических корней России или, точнее, того «зерна», в котором «заключаются зародыши будущих видоизменений». Особое внимание Погодин уделял реконструкции неповторимых «начал» истории русского государства, отличающих ее от истории Запада, сводя их в результате сопоставления к ряду бинарных оппозиций: Западная Европа завоевана немецкими племенами, Россия занята исконно населявшими ее славянами; жители Европы делятся на пришельцев и туземцев, а в России сохранилось гомогенное аборигенное население; в Европе феодализм, в России удельная система; корни европейского христианства в Риме, российского – в Византии и т. д. При этом несходству России и Европы Погодин дал объяснение в логике предложенной им социогенетической схемы: если в Европе вехой, отметившей начало ее исторического пути, было завоевание одного народа другим, то в России – мирное подчинение русского народа власти варяжских князей. Раз Россия не знала завоевания, то в ней не существовало ни своевольной феодальной аристократии, ни третьего сословия, а, следовательно, отсутствовал фактор сословной, или классовой, борьбы. Православная церковь, в отличие от соблазнившегося мирской властью католичества, не вступала в конфликт с государством, а добровольно подчинила свои интересы светской власти. История России, таким образом, была определена как поистине «бесконфликтная»: в ней не было «ни рабства, ни ненависти, ни гордости, ни борьбы» [18, с. 280], потому она представляет собой совершенно иной тип цивилизации, чем страны Запада, наследовавшие Риму и позаимствовавшие у последнего индивидуализм, формальное право и т.д. В конечном счете Погодин сводит всю совокупность разысканных им отличий к одной посылке: в России согласие, любовь и единение, в Европе – жесткая властная иерархия, вражда и рознь. А раз установлен ценностный смысл исторических начал в государстве, то тем самым доказывается необходимость его сохранения, более того – становится очевидной потребность в мудром охранении и бережной консервации сложившихся социальных отношений и политических институтов, венцом которых является, разумеется, самодержавие. Подчеркивая реформаторский потенциал самодержавия, ведущего за собой народ, который не в состоянии

значительного явления, которое не попалось бы кому-нибудь из нас и не было бы тотчас сообщено всем. Вот этот характер наших сходок не понимали тупые педанты и тяжелые школяры. Они видели мясо и бутылки, но другого ничего не видали. Пир идет к полноте жизни, люди воздержные бывают обыкновенно сухие, эгоистические люди. Мы не были монахи, мы жили во все стороны и, сидя за столом, побольше развились и сделали не меньше, чем эти постные труженики, копающиеся на заднем дворе науки» [3, с. 74].

[1] Концепция русского «хранительства» была предложена М.А. Маслиным и разрабатывается Д.В. Ермашовым, С.В. Перевезенцевым, А.А. Ширинянцем и др. [см. 5, 39 и др.]. Концепция «хранительного» направления русской социально-политической мысли реализована в антологии «Хранители России» [см. 32–37].

осознать собственное благо, будучи наделенным одним лишь достоинством – смирением, «теоретик» «официальной народности» делал ставку не на «народность», не на «православие», а прежде всего на «самодержавие». Не случайно главным тезисом Погодина становится утверждение о государстве как главной и единственной движущей силе в истории России, причем ядром отечественной государственности, залогом ее сохранения и развития признается ничем не ограниченное самодержавие. Именно на мудрость самодержавия, твердой рукой направляющего корабль российской государственности, Погодин возлагал все свои надежды. Что касается самого Погодина, его роль в истории русского самосознания не сводится к обоснованию уваровской формулы в политике или защите «исторического православия» и «русской своенародности» в исторической науке. С высоты сегодняшнего дня Погодин представляется нам прежде всего виднейшим теоретиком и пропагандистом русского «хранительства» [см. 6, с. 54–55].

Литература

1. *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина : в 22 кн. СПб., 1888. Кн. 1.
2. *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина : в 22 кн. СПб., 1896. Кн. 10.
3. *Герцен А.И.* Былое и думы. М., 1958. Ч. 4–5.
4. *Гросул В.Я., Итенберг Г.С., Твардовская В.А., Шацилло К.Ф., Эймонтова Р.Г.* Русский консерватизм XIX столетия : Идеология и практика. М., 2000.
5. *Ермашов Д.В., Ширинянц А.А.* Хранительство как основание консервативной политической культуры интеллигенции (опыт пореформенной России) // Вестник Московского университета. Сер. 12: Политические науки. 2006. № 2. С. 5–22.
6. *Перевезенцев С., Ширинянц А.* Формула имперского триединства // Тетради по консерватизму : Альманах. 2017. № 3. С. 54–55.
7. *Погодин М.П.* Взгляд на положение Европы после Парижского мира : Письмо в редакцию газеты «Le Nord" // М.П. Погодин // Статьи политические и польский вопрос (1856–1867). М., 1876.
8. *Погодин М.П.* Взгляд на русскую историю : Лекция при открытии курса в сентябре 1832 г. // Хранители России : Антология. Т. 4: В поисках русского пути. 1800–1850 гг. М., 2016.
9. *Погодин М.П.* Второе донесение Министру народного просвещения о путешествии 1842 года, преимущественно в отношении к Славянам / М.П. Погодин // Избранные труды. М., 2010.
10. *Погодин М.П.* За русскую старину / М.П. Погодин // Избранные труды. М., 2010.
11. *Погодин М.П.* Исторические афоризмы / М.П. Погодин // Избранные труды. М., 2010.
12. *Погодин М.П.* К вопросу о славянофилах // Гражданин : газета-журнал политический и литературный. 1873. № 13. 26 марта [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://smalt.karelia.ru/~filolog/grazh/1873/26marN13.htm
13. *Погодин М.П.* Как устанавливалось единодержавие Петра // Русский вестник. 1875. Т. 116. № 4.
14. *Погодин М.П.* Лекции по Герену о политике, связи и торговле главных народов древнего мира. М., 1835–1836. Ч. 1–2.
15. *Погодин М.П.* О всеобщей истории : Лекция при вступлении в должность ординарного профессора в Императорском Московском университете / М.П. Погодин // Избранные труды. М., 2010.
16. [*Погодин М.П.*] О происхождении Руси : Историко-критическое рассуждение М. Погодина. М., 1825.
17. *Погодин М.П.* Очерк русской истории / М.П. Погодин // Историко-критические отрывки. М., 1846.
18. *Погодин М.П.* Параллель русской истории с историей европейских государств относительно начала // Хранители России : Антология. Т. 4: В поисках русского пути. 1800–1850 гг. М., 2016.
19. *Погодин М.П.* Петр Великий / М.П. Погодин // Избранные труды. М., 2010.
20. *Погодин М.П.* Петр Первый и национальное органическое развитие. М., 1863.
21. *Погодин М.П.* Петр Первый. Первые годы единодержавия. 1689–1694 // Русский архив. 1879. Кн. 1.
22. *Погодин М.П.* Письмо к Государю Цесаревичу, Великому Князю, Александру Николаевичу, (ныне царствующему Государю Императору) в 1838 году / М.П. Погодин // Избранные труды. М., 2010.
23. *Погодин М.П.* Речь <…> в заседании Санкт-петербургского Славянского комитета «О славянской идее со времени Петра Великого и об отношении славян к Петру I» // Современные известия. 1872. № 57.
24. *Погодин М.П.* Семнадцать первых лет в жизни императора Петра Великого. 1672–1689. М., 1875.
25. *Погодин М.П.* Суд над царевичем Алексеем Петровичем : Эпизод из жизни Петра Великого. М., 1860.
26. *Погодин М.П.* Царевич Алексей Петрович, по свидетельствам вновь открытым. М., 1861.
27. *Погодин М.* Черты из жизни Петра I // Русский : газета политическая и литературная. 1867. 20 марта.

28. *Погодин М.П.* XVI. Октября 18. О влиянии внешней политики нашей на управление / М.П. Погодин // Историко-политические письма и записки в продолжение Крымской войны. 1853–1856. М., 1874.

29. *Пыпин А.Н.* Исторические очерки. Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов. А.Н. Пыпина. СПб. : Типогр. М.М. Стасюлевича, 1873.

30. *Соловьев С.М.* Мои записки для детей моих, а если можно, и для других / С.М. Соловьев // Избранные труды. Записки. М., 1983.

31. *Уваров С.С.* О преподавании истории относительно к народному воспитанию. СПб., 1813.

32. Хранители России : Антология. Т. 1: Истоки русской консервативной мысли. XI–XVII вв. / под ред. С.В. Перевезенцева; авт.-сост.: Р.В. Михайлов, С.В. Перевезенцев, А.А. Ширинянц; подг. текстов: А.А. Горохов, О.Е. Пучнина, А.С. Хелик, А.Б. Страхов, Д.А. Ананьев. М., 2015.

33. Хранители России : Антология. Т. 2: В поисках нового… консерватизма / под ред. А.А. Ширинянца, С.В. Перевезенцева; авт.-сост.: Р.В. Михайлов, С.В. Перевезенцев, А.А. Ширинянц; подг. текстов: А.А. Горохов, О.Е. Пучнина, А.С. Хелик, А.Б. Страхов, Д.А. Ананьев. М., 2015.

34. Хранители России : Антология. Т. 3: Рождение русского консерватизма. 1800–1850 гг. / под ред. А.Ю. Минакова, С.В. Перевезенцева, А.А. Ширинянца; авт.-сост.: Д.А. Ананьев, Т.И. Дайн, Ю.Е. Кондаков, Н.Н. Лупарева, А.О. Мещерякова, А.Ю. Минаков, Р.В. Михайлов, В.С. Парсамов, С.В. Перевезенцев, А.Б. Страхов, И.Р. Федий, С.В. Хатунцев, А.С. Хелик, А.А. Ширинянц. М., 2016.

35. Хранители России : Антология. Т. 4: В поисках русского пути. 1800–1850 гг. / под ред. С.В. Перевезенцева, А.А. Ширинянца; авт.-сост.: А.С. Абрамян, Д.А. Ананьев, А.А. Горохов, Т.И. Дайн, Р.В. Михайлов, С.В. Перевезенцев, А.Б. Страхов, А.С. Хелик, А.А. Ширинянц. М., 2016.

36. Хранители России : Антология. Т. 5: Обретённая Россия. 1840-е – начало 1860-х гг. / под ред. С.В. Перевезенцева, А.А. Ширинянца; авт.-сост.: А.С. Абрамян, Д.А. Ананьев, В.А. Болдин, Т.И. Дайн, Д.Ю. Кухарский, А.З. Маргушева, Р.В. Михайлов, А.В. Мырикова, С.В. Перевезенцев, В.А. Соболев, А.Б. Страхов, А.А. Ширинянц. М., 2018.

37. Хранители России : Антология. Т. 6: Крестьянское дело. 1840-е – начало 1860-х гг. / под ред. С.В. Перевезенцева, А.А. Ширинянца; авт.-сост.: А.С. Абрамян, Д.А. Ананьев, К.А. Горшкова, Т.И. Дайн, О.С. Кононенко, М.А. Лагузова, Р.В. Михайлов, С.В. Перевезенцев, В.А. Соболев, А.Б. Страхов, А.А. Ширинянц. М., 2018.

38. Ширинянц А.А. Русский хранитель : Политический консерватизм М.П. Погодина. М., 2008.

39. *Ширинянц А.А.* Хранительство как основание консервативной политической культуры интеллигенции (опыт пореформенной России) : концепция русской монархии // Вестник Московского университета. Сер. 12: Политические науки. 2006. № 4. С. 69–87.

Аннотация. Статья посвящена творчеству выдающего русского историка и общественного деятеля Михаила Петровича Погодина (1800–1875). Одна из граней его творчества связана с известной уваровской триадой «Православие. Самодержавие. Народность». Погодин выдвинул концептуальные идеи об особом пути развития России, о специфике образования русского государства, о целостности национально-политического «организма» страны, ставшие затем весомыми аргументами в обосновании знаменитой уваровской формулы. Подчеркивая реформаторский потенциал самодержавия, ведущего за собой народ, который не в состоянии осознать собственное благо, будучи наделенным одним лишь достоинством – смирением, Погодин делал ставку не на «народность», не на «православие», а прежде всего на «самодержавие». Главным его тезисом становится утверждение о государстве как единственной движущей силе в истории России, причем ядром отечественной государственности, залогом ее сохранения и развития признается ничем не ограниченное самодержавие. В статье подвергается сомнению «официальность» и «казенность» триединой формулы, ставшей системообразующим элементом русской хранительной идеологии, обосновывается вывод о том, что роль Погодина в истории русского самосознания не сводится к обоснованию уваровской формулы в политике или защите «исторического православия» и «русской своенародности» в исторической науке. С высоты сегодняшнего дня Погодин представляется нам прежде всего виднейшим теоретиком и пропагандистом русского «хранительства».

Ключевые слова: «Православие. Самодержавие. Народность», М.П. Погодин, русское хранительство

Aleksandr Shirinyants, Ph.D. in Political Sciences, Professor, Head of the Department, Department of History of Social and Political Doctrines, Faculty of Political Science, Lomonosov Moscow State University. E-mail: jants@yandex.ru

“The Theorist of Official Narodnost”: M.P. Pogodin and Uvarov’s Triad

Abstract. The article is devoted to the study of the work of the outstanding Russian historian and public figure Mikhail P. Pogodin (1800 – 1875). One of the aspects of his work was closely related to the famous Uvarov’a triad “Orthodoxy. Autoc-racy. Nationality”. Pogodin advanced conceptual ideas of the special path of de-velopment of Russia, of the specifics of Russia state formation, of the integrity of national and political “organism” of the country, that later constituted telling ar-guments in substantiation of Uvarov’s formula. Pogodin emphasized the reforma-tive potential of the autocracy leading the way to the people who were not capable of realizing their own good and had the only merit of resignation; and he counted not on the “nationality” or “Orthodoxy”, but primarily on the autocracy. His main thesis consisted in the perception of state as the sole driving force in the history of Russia, while he considered absolute autocracy to be the centre of Russian State system and the only guarantee of the preservation and development of the country. The author of the article questions the “official” and “bureaucratic” nature of the triad that served as the constitutive element of Russian preservation ideology and proves the idea that Pogodin’s role in the history of Russian self-comprehension was not limited to the substantiation of Uvarov’s formula in politics or the defense of “historical Orthodoxy” and “Russian original nationality” in the historical sci-ence. From the contemporary point of view Pogodin is primary one of the most outstanding theorists and propagandists of Russian “Khranitelstvo” (preservation).

Keywords: “Orthodoxy. Autocracy. Nationality”, M.P. Pogodin, Russian “Khranitelstvo”.

.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-1-233-242

Андрей Тесля

*«Изгои истории»: Василий Розанов о монархии. 1890-е годы**

> «У меня непробиваемая толща чувств охранительных в душе, но факты так ярки, так убийственны, что они пробивают все, защититься от них нечем и на сердце больно, досадно…».
>
> *В.В. Розанов – С.А. Рачинскому, получено 20.VIII.1894 [6, с. 504].*

Уваровская формула «православие, самодержавие, народность» оказалась столь долговечной во многом за счет своей внутренней неопределенности [см.: 2, гл. X; краткий обзор: 20, с. 100–101]. Позволительно, кажется, заметить, что это свойство всех долговременных лозунгов, сохранение которых обусловлено, с одной стороны, возможностью с ходом времени влагать в них новое содержание при видимости неизменности[1], а с другой – даруемой самой властью относительной свободой от идеологической определенности, которая в той или иной степени налагает обязательства не только на подвластных, но и на властвующих. Вместе с тем последние десятилетия Российской империи – время, когда в рядах консерваторов возникает все более настоятельная потребность публичной артикуляции и прояснения составных элементов «триады», в частности – «самодержавия», в том числе и в силу невозможности ограничиться одним утверждением «наличного порядка», поскольку последний никак не может быть принят в качестве «реализованного идеала». Защита «существующего порядка», с одной стороны, подталкивает к противопоставлению одного идеала другому (поскольку в сравнении с идеалом никакая реальность не устоит), а с другой – в центре внимания консервативных авторов находятся вопросы преобразования существующего порядка (предсказуемым образом осмысляемые в рамках риторики «реставрации», «восстановления» надлежащего положения вещей, где ри-

[1] Причем это значимо с точки зрения самых разных участников политического диалога. Так, для расходящихся с официальной трактовкой верность «триаде» позволяет сохранять и демонстрировать лояльность, при этом наполняя конструкцию собственным содержанием. Примером такого рода могут служить одноименные брошюры Д.А. Хомякова, первоначально напечатанные небольшим тиражом для распространения в частном порядке и вышедшие для широкой публики в 1905 году.

* Исследование выполнено в рамках гранта РНФ (№ 18-18-00442) «Механизмы смыслообразования и текстуализации в социальных нарративных и перформативных дискурсах и практиках» в Балтийском федеральном университете имени Им. Канта.

Тесля Андрей Александрович, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Academia Kantiana ИГН БФУ имени Им. Канта. E-mail: mestr81@gmail.com

торичность конструкций высвечивается достаточной свободой от обращения к историческому материалу). В ряду видных публицистов консервативного направления, в последнее десятилетие XIX века обращавшихся к проблематике «самодержавия», «царской власти», неизбежно обращение к Василию Васильевичу Розанову (1856–1919) – как в силу заметности его публикаций в то время, так и в силу значения данного автора для истории русской мысли в ретроспективе.

1890-е годы – время стремительной интеллектуальной эволюции Розанова[1]. Если несколько спрямлять, то нам представляется позволительным сказать, что именно за это время, в первую очередь в промежутке между 1891 и 1898 годами, у него сформировался «остов» тех идей, которые он будет развивать, варьировать, менять акценты, но тем не менее воспроизводить в своих структурных основаниях вплоть до конца жизни – до «Апокалипсиса нашего времени» (1917–1918), целиком изданного только в 2000 году.

Всякая попытка структурировать воззрения Розанова представляет хорошо известные специалистам сложности:

– во-первых, Розанов и в особенности Розанов «творческой зрелости», с конца 1890-х годов, не только излагает свои идеи посредством образов, но и мыслит последними;

– во-вторых, «противоречие», «парадокс» входят не просто в его творческую манеру, но и в самую суть отстаиваемого им понимания реальности. Однако всякое структурирование в той или иной степени предполагает «нейтрализацию» парадокса, не только «устранение» или «снятие» противоречия, но и представление данного «снятия» в виде некоего непротиворечивого высказывания – непротиворечивого по меньшей мере по отношению к тому, что становится его исходным предметом (допуская, что на следующем ходе само это утверждение раскроется во внутренней противоречивости).

В розановской логике «противоречие» не снимается «логически», или, если угодно, формулировки, пригодные для этого «снятия», являются «самыми простыми», но эта «простота» как раз и требует обилия розановского текста: «как в поворотах калейдоскопа каждый раз получается новый узор, в каждой моей новой <…> статье вскрываема была *новая* <…> *сторона*» [6, с. 462, примеч. 1]. Со временем это понимание найдет свое адекватное выражение в технике «листвы», схватывания «мимолетного», но двигаться в этом направлении Розанов начнет очень рано.

«Литературная биография» Розанова 1890-х делится на несколько периодов, отделенных друг от друга не радикально, но вполне характерно.

1. Ранний этап можно условно датировать с 1888–1889 годов, когда благодаря в первую очередь Н.Н. Страхову, которого сам Розанов вполне справедливо именовал своей литературной нянькой, ему удается войти в русскую журналистику и стать достаточно заметным автором.

2. С 1891 года Розанов публикует целую серию развернутых философско-публицистических высказываний: «Легенда о Великом Инквизиторе Ф.М. Достоевского» («Русский вестник», 1891), «Эстетическое понимание истории» («Русский вестник», 1892), «Сумерки просвещения» («Русский вестник», 1893) и целый ряд других. Он становится одним из ярких новых авторов консервативного лагеря, активно публикуясь и в «Русском вестнике», и в «Русском обозрении», его фельетоны печатаются в «Московских ведомостях». В 1893 году Розанов оставляет службу гимназическим учителем истории и географии и, приняв предложение Тертия Филиппова, переселяется в Петербург, поступив в Государственный контроль, главой которого был Филиппов. Вопреки ожиданиям Розанову с самого начала окажется очень тяжело в новой для него среде – «петербургские славяно-

[1] По сей день лучшим сжатым как биографическим обзором, так отчасти и очерком идей В.В. Розанова служит работа В.Г. Сукача [16]; не так давно вышел еще один небезынтересный краткий очерк, посвященный Розанову [1].

филы» не только останутся чужды ему, но со временем вызовут с его стороны потребность решительного размежевания с современным «славянофильством», необходимость обозначить свою непринадлежность к кругу, объявившему себя наследниками идей московских славянофилов 1840–1860-х годов.

3. С 1894 года можно, на наш взгляд, датировать новый период в развитии идей Розанова, характеризующийся радикализацией его суждений, полемикой, с одной стороны, с либеральным, а с другой – с консервативным лагерем, которая завершится в 1897–1898 годах открытой полемикой о браке и семейном вопросе и оставлением государственной службы с переходом в штат «Нового времени».

Для «раннего» периода характерно преимущественное внимание к собственно философской проблематике – Розанов пытается продолжить свое движение, начатое публикацией «О понимании» (1886), и приобрести публичную философскую репутацию. В 1889 году в «Журнале Министерства народного просвещения» начинает выходить выполненный им совместно с П. Первовым перевод «Метафизики» Аристотеля (остановившийся на пятой книге [9, с. 319–513]). Страхов «пристраивает» предисловие Розанова к этому переводу, переработанное в отдельную статью, в «Вопросы философии и психологии» (1890, кн. III [9, с. 90–124]). Двумя годами позднее там же появится один из важнейших для Розанова этого времени текстов: «Цель человеческой жизни» (1892, кн. XIV–XV [9, с. 11 – 61)[1].

На последующие годы приходится эпистолярное знакомство и стремительное сближение с К.Н. Леонтьевым [5], выстраиваются близкие отношения с С.А. Рачинским, в первую очередь благодаря тому, что в 1892–1894 годах одной из ключевых тем в публицистике Розанова оказывается образование. С первого номера за 1893 год в «Русском вестнике» публикуется одна из самых известных серий статей Розанова – «Сумерки просвещения», а в 1894 году в «Русском обозрении» (№ 10–12) выйдет их продолжение, под заглавием «Афоризмы и наблюдения»[2].

Если автор наиболее подробной на данный момент биографии Розанова, В.А. Фатеев, говорит в целом о «первых годах в Петербурге» [21, гл. VI], то, исходя из интересующей нас точки зрения, данный временной отрезок необходимо подразделить на два периода – первый сразу же по приезду в Петербург и получении должности в Государственном контроле и наступивший затем достаточно долгий период идейного отделения от «петербургских славянофилов» и дрейфа в сторону «радикализма». Линию размежевания между двумя периодами «первых годов в Петербурге», на наш взгляд, следует провести по статье «Свобода и вера (По поводу религиозных толков нашего времени)» [7, с. 242–259], опубликованной в № 1 «Русского вестника» за 1894 год. Мнение об этой статье Розанов спрашивал у Рачинского (письмо, полученное адресатом 16 февраля 1894 года[3]), интересуясь, нет ли отклика от Победоносцева, и одновременно сообщая, что Страхову статья «не понравилась: “Ну, что Вы, как все свято, как пришло с неба, как нельзя обсуждать религ[иозных] истин”, а я ему: “И вы – только боящийся своего скептицизма скептик”. Многие меня зовут (не зная в лицо) изувером, и я, посмеиваясь, – отвечаю: я добрейший малый и даже люблю преферанс» [11, с. 501). Значение этого текста

[1] О происхождении этого текста и о предельной значимости круга этих рассуждений в период окончания университета и начала гимназической службы Розанов писал неоднократно, в частности в «Автобиографии» 1890 года [13, с. 688–690], в письме Страхову от 3 февраля 1888 года [11, с. 149–151] и в письме к Леонтьеву, ранее 11 апреля 1891 года [5, с. 244–245).

[2] Отметим попутно, что вновь проблематика образования сделается для Розанова центральной в первые годы его постоянной работы в «Новом времени», причем целый ряд публикаций по той же тематике он поместит в эти годы в «Одесском листке» [см. 8].

[3] Розанов в это время редко датировал собственные письма, их датировка осуществлялась Рачинским по моменту получения; педантичный адресат неоднократно сетовал на неаккуратность своего собеседника.

связано не только с широким общественным резонансом, который он получил (в первую очередь благодаря отклику Вл. Соловьева), но и поскольку он обозначал резкий публичный разрыв со «славянофильством» в одном из его основных положений – проповедью свободы совести и свободы исповеданий. Розанов отстаивал взгляд, согласно которому «свобода» противоположна «терпимости», придавая первой позитивное значение, свободу осуществления, реализации того, что почитается идеалом, – и, следовательно, нетерпимости к тому, что мешает последнему.

В этот последний период (когда все в большей степени для него оказывается важным сотрудничество в консервативных органах и он пытается найти новые издания, согласные его печатать, – в частности, пробует завязать устойчивое сотрудничество с «Книжками недели» и т.д.) для Розанова характерна отмеченная выше радикализация взглядов, причем в 1894–1895 годах, сдвигаясь резко «вправо», он во многом сочувственно относится к радикалам противоположного края, мысля своими основными оппонентами «либералов “Вестника Европы”». В письме к Рачинскому, полученному последним 24 ноября 1895 года, откуда заимствована предшествующая характеристика, он писал: «да, радикалы гораздо ближе к нам <…>, радикалы – только невоспитанные, только жестокие младенцы, люди без всякого жизненного опыта. Они не рождали детей; жены у них не требовали развода; дети не грубили им, не были с ними жестоки; они не испытали всего, что мучит и гнетет в жизни, не видали ее хаоса, ее неустроенности; и вот почему вздох по Civitas Dei – им не понятен. Но они искренни, честны; это – одно, что нужно в истории; они доразовьются до всего, до чего нужно <…>» [6, с. 522–523[1]].

В текстах Розанова 1891–1897 годов предстает вполне целостная доктрина, построенная на ряде фундаментальных положений:

1) *христианизация*, оправославливание всей жизни – политической, социальной, культурной. Этот взгляд можно выразить резюме «статьи», написанной Иваном Федоровичем Карамазовым, которое он делает в общей беседе в присутствии старца Зосимы: «<…> церковь должна заключать сама в себе всё государство, а не занимать в нем лишь некоторый угол, и что если теперь это почему-нибудь невозможно, то в сущности вещей несомненно должно быть поставлено прямою и главнейшею целью всего дальнейшего развития христианского общества» (Братья Карамазовы, ч. 1, кн. 2, гл. V);

2) действие через *людей*, а не институты – логика предоставления инициативы отдельным лицам: выдающимся – в широком масштабе, малым – в их малом деле, преодоления «бюрократии»: в это время не случайно одним из самых вредных для России людей Розанов почитал Д.А. Толстого: «Даже народники и нигилисты лучше его; те идут в народ с надеждою, порывом, хотя и безбожники» (из письма Рачинскому 23 августа 1895 года [6, с. 517]);

3) носителем личного начала власти выступает царь – тот, кто придает власти и божественное, и человеческое измерение.

По меньшей мере в двух последних положениях Розанов оказывается весьма близок к теоретическим взглядам К.П. Победоносцева [см. характеристику последних: 4; 18, с. 160–162]. Это отмечал и сам Розанов, передавая Рачинскому свои впечатления непосредственно после встречи с Победоносцевым по поводу запрещенной цензурой статьи «О подразумеваемом смысле нашей монархии»[2], он писал:

> «<…> представьте, он прочел только отмеченные цензором места статьи и, очевидно, сам столько уже думал об этом, что когда он стал говорить мне и

[1] Ср. сходные суждения в «Когда начальство ушло…» [15].

[2] Статья будет впервые опубликована Розановым отдельным изданием в 1912 году, он предпошлет ему предисловие, излагающее как обстоятельства запрещения, так и в первую очередь свой разговор с Победоносцевым [14].

> *объяснять* – я подумал, что из цензуры предварительно статья как сомнительная была ему представлена на рассмотрение и что он читал ее *всю*: ибо он говорил то самое, что содержалось в моей статье и что цензором не было отмечено, и потом уже, идя от него, я размышлял, что он все-таки не читал, верно, статьи, не знал о ней ранее и по двум-трем отрывкам, цензором отмеченным, так угадал ее всю – она так совпала с его идеями – что он мне ее повторял» [6, с. 509].

При этом следует отметить существенный «сдвиг» теоретической позиции Розанова по сравнению с его суждениями о царе и царской власти в 1894 году. Если в статье «Смысл недавнего прошлого», посвященного оценке царствования Александра III, он настаивает, что «вообще, у народов» идея «царя» отсутствует [7, с. 330], что греческие, римские, французские и немецкие термины (βαδιλεύς, rex, roi, König) выражают существенно иные понятия [7, с. 330, примеч. 3] и что «царь» в русском понимании «есть тот, о ком радуется, кем светится или, напротив, темнится и скорбит народ. <…> Нужно народу, чтобы он был совершенен – в этом его функция; чтобы был праведен, чист; чтобы не закрывалось солнце, от которого и я в моем унижении, грязи, темноте мог бы зажечь свою свечу; чтобы умирая недостойным, я мог взглянуть на одного, который достоин» [7, с. 331], то в 1895 году он возвращается к универсалистской трактовке, заявленной им в тексте 1893 года («О монархии. (Размышления по поводу Панамских дел)») и продолжающей его размышления о ходе всемирной истории, начатые в речи «Место христианства в истории» (1888, опубл. 1890) и в статьях о К.Н. Леонтьеве «Эстетическое понимание истории» (1892), в той именно их части, где Розанов уходит от изложения идей Леонтьева и приступает к изложению собственного понимания хода европейской и русской истории.

В целом для Розанова не характерно использование оппозиции «Россия»/«Европа» и аналогичных, в дальнейшем получивших наименование «цивилизационных», в качестве несущих[1] гораздо более значимыми оказываются такие понятия, как:

– «племена» – например, в «Месте христианства…» он, отталкиваясь от Ренана, интерпретирует христианство как плод двух основных главных деятелей на арене всемирной истории: семитских и арийских народов [10, с. 9–27]. Впрочем, для значительной части 1890-х годов подобное противопоставление не является ключевым, оно начнет выходить на передний план в последние годы этого десятилетия по мере все большего внимания к телесному, половому – и соответствующим стремлением связать с органическим, телесным, живым и животным объяснение всей реальности как таковой;

– «прошлое»/«настоящее», причем сами по себе они динамичны – то, что некогда было «будущим», то есть «актуальным настоящим», тем, что представляет собой «будущее» в современности, оказывается в дальнейшем лишенным способности «длиться в будущее». Органицистская логика, присущая Розанова, предполагает в первую очередь значение «роста», «произрастания»: «новейшее» само по себе может быть характеристи-

[1] Время от времени он обращается к ним. Так, например, именно они окажутся на переднем плане в его публицистике времен Первой мировой войны (и сближения с «московскими славянофилами»), когда он будет любопытным образом объяснять читателям смысл происходящего как противостояние России «западу», «Европе» и т.д., отождествляя последнюю фактически с блоком Центральных держав (и одновременно практически не упоминая об Антанте). Аналогично подобные противопоставления встречаются в текстах Розанова и его, условно говоря, «первого славянофильского периода», 1890-х годов – однако они постоянно соседствуют с иными размежеваниями и противопоставлениями, оказывающимися более существенными.

Так, примечательно, в «Апокалипсисе…», продолжающем многие темы 1915–1916 годов, происходящее в России в своем глубинном осмыслении не противопоставляется «Европе». См., например: «Проходит вообще Европа, и Достоевский говорит ей: “Уходи”. “Не надо тебя”, “не надо, – мучительница человечества…”» [12, с. 158]; «<…> и Европа тоже получит когда-нибудь своего Гоголя и также умрет, – впрочем, не “умрет”, а “издохнет”, – им задавленная» [12, с. 195].

кой «пустоцвета» или чего-либо, вредящего «жизни», тогда как «прошлое», «старое» само по себе автоматически не может быть квалифицировано как неактуальное, если способно к порождению все новых и новых «побегов», длению жизни;

– и – главнейшее – противопоставление религиозное: «язычества», «неверия», «юдаизма» и т.д. «христианству».

Именно в рамках последней оппозиции Розанов в 1893 году осмысляет монархию, утверждая: «<…> естественный вид политического бытия для новых народов есть монархия <…>» [7, с. 171]. Коренной особенностью является то обстоятельство, что «христианская цивилизация есть, по существу своему, вечно самоосуждающаяся цивилизация, и вот почему она стала непрерывным развитием. Дух успокоенного довольства всегда в ней отсутствует, возьмем ли мы XII век, эпоху позднее или ранее; только на минуту проходит в ней облако светлой радости, как будто самоудовлетворения: это в момент, когда она наиболее удалилась от христианства и приблизилась к классической древности, которую думала возродить. Напротив, эта древность вовсе не знала нашего беспокойного движения вперед; удержать текущий момент было ее не перестающею заботой» [7, с. 178]. Поэтому христианская монархия есть качественно иной феномен в сравнении с монархиями древности:

> «Образ, носимый в сердце каждым и в котором каждый чувствовал, что здесь выражена его природа, его возможная судьба – был образ страдающего человека, томящегося в ранах, вся сила которого лежит в его терпении, все возможное – только покорность, и единственная красота – в безропотном перенесении своей участи. Этому чувству, этому новому сознанию себя каждым, ответила форма жизни, обнимающая их всех – *монархия.* Это более не узурпация власти, которою хотели бы насладиться все и овладел только один; это – один, который склоняется над всеми с безграничною скорбью об их болях, с неистощимым милосердием. Монархия – это форма отношений, завещанных из Евангелия; там ее прообразы, ее символы; она выражение нравственного миропорядка на земле, как республика есть выражение физического миропорядка» [7, с. 183].

Согласно Розанову, разница между старым и новым миром, дохристианским и христианским, в том, что теперь «личность стала <…> центром новой истории, как прежде центром таким была городская или родовая община» [7, с. 68]:

> «В то время как даже Моисей давал заповеди целому народу, и к народу же обращены увещания израильских пророков, Христос – и это впервые было в истории – обратился к одному человеку, к лицу <…>»[7, с. 68].

Из этого в дальнейшем Розанов сделает далеко идущие выводы о противо-родовом, противо-семейном характере христианства[1], однако в это время его интерес направлен на иное – он трактует перемену как, напротив, уход человека от «общего интереса, дела, касающегося всех», res public'и [7, с. 69]:

> «Напротив, самым ясным и самым твердым теперь становится именно то, что непосредственно следует за внутренним миром человеческой души, что им согревается и его освящает, – семья. После религии, после отношения к Богу, первой святыни Средних веков, – второю святынею становится семейный круг» [7, с. 68].

И государь, монарх теперь не «деспот» и не «узурпатор», а тот, кто берет на себя бремя «общего интереса», «кто за каждым сохраняет самое драгоценное для него, уединение и заботу о близких, каждому – оказывает благодеяние, которого он не получает

[1] Эти воззрения найдут свое наивысшее проявление сначала «В темных религиозных лучах», а затем, с новой силой, в «Апокалипсисе…» [см. 18, 17].

даже от друга» [7, с. 69]. «Государство – это я», согласно Розанову, – слова, непонятые современными историками, в них современники не видели неправды. «В совершенно строгом смысле слова эти мог применить к себе и самый скромный из предшественников Людовика XIV: в Европе после падения античного мира, еще от времен Хлодвига, Генриха-Птицелова и Альфреда Великого, – государь, понятно, был носителем государства, т.е. совокупности общих забот о всяком деле, организатором всех этих дел, их начинателем и руководителем. Он был вождь на войне, организатор в мире, и когда еще оставался досуг от всего этого – личный досуг (Людовик IX), учредитель форм быта, строитель наук, литературы и искусства. Только уже позднее, в наше время, когда все стало изменяться, историками был придуман для слов Людовика XIV смысл, которого он вовсе не имел в виду, от которого он гордо и презрительно отказался бы, как от недостаточного, если б можно было как-нибудь объяснить ему этот смысл» [7, с. 70]. Современное состояние, в связи с «упадком религиозных чувств» [7, с. 71], определяется как возрастание «нового государства», с его торжеством «принудительности и безличности», возникновением бюрократии, описываемой «как посредствующее звено между государем и страной» [7, с. 72]. Аналогичный путь проходит и Россия, в истории которой Розанов выделяет три периода: «христианство, политическая организация и индивидуальное творчество» [7, с. 106], утверждая: «что станет новой целью в четвертой фазе нашего развития, ее главной заботой и интересом – это было бы напрасно усиливаться отгадать», но при этом отмечая, что в отличие от петровской эпохи, «исторический поворот, нам предстоящий, можно думать, будет еще более резок и глубок, нежели какой произошел в то время: там было только ощущение каких-то технических недостатков, подробностей; теперь является чувство общей неудовлетворенности, при полном довольстве подробностями, – живое сознание недостаточности целого» [7, с. 107] – и оттого предполагает, «что характер четвертой фазы нашего исторического развития будет именно синтетический» [7, с. 107]. Говоря о Западе, он пишет:

> «Человек не хочет и не может быть только гражданином: он уже давно сперва христианин, потом отец семьи, на котором лежит высшая ответственность, наконец – он художник или мыслитель уже после всего этого гражданин. Но с тем прекрасным и до сих пор не померкающим светом, каким озарилась в силу этой перемены история, неотделимо и некоторое искажение государства: нет прежней красоты в его формах, более безжизненно оно, узко и как-то несимпатично. Всего этого переменить нельзя и не следует. И не подавляя остальное все, как было в древности, но, напротив, примыкая ко всему, что выросло в новых обществах из христианства, проникаясь началами религиозными, семейными, всюду будя в себе внутренний смысл, а не установляя внешние формы, новое государство может достигнуть высших проявлений своего типа – менее красивых, чем античные, но гораздо более дорогих человеку и, быть может, более его достойных» [7, с. 76].

Непосредственно рассуждая о монархии, в 1893 году Розанов понимает последнюю как начало личности: «Не дела, о, нет, чтут новые народы в своих государях; они чтут в них повторение своих же чувств; чтут, что их скорбям там есть отклик в милосердном сердце; что жалость там не оскудевает; что Самарянин, бередит ли он раны больного, наконец беспомощен ли что-нибудь сделать – всегда хочет сделать, всегда есть Самарянин» [7, с. 183–184[1], ср.: с. 331 и сл.]. В статье о «О подразумеваемом

[1] Примечательно, что здесь же, по меньшей мере внешне противореча себя, Розанов говорит о новом героизме (в отличие от героизма прошлого, героизма «гибели за республику против тирана») принесения своей жизни за царя, что напрямую перекликается со взятыми у Леонтьева рассуждениями о героизме и красоте персов, гибнущих за царя [7, с. 62]. Тем самым героизм персов оказывается тождественным в основе с «христианским» в данной трактовке – и тем самым свободным от связи с христианством.

смысле нашей монархии» он во многом воспроизведет те же рассуждения, подчеркнув их и усилив, утверждая:

> «Царь – именно *страж горизонтов*; хранитель целей, к которым идет человек на земле, оберегатель закона в его принципе; – чистоты атмосферы, которою мы дышим, голубого неба, на которое смотрим и оно смотрит на нас и цветит каждое лицо собою. Он есть распорядитель соотношения всех вещей, но не созидатель, не рабочий, который трудится над которою-нибудь, к ущербу для других или без ущерба, но всегда – без видения их общего соотношения» [14, с. 76]; «<…> он – вне бюрократии; вне деталей управления, не сливается разумением и желанием ни с которою из них. По отношению к ним всем – он лишь *оцениватель* <…>» [14, с. 76].
>
> «<…> он <…> стоит в народе своем, "земле", стране, для которых светит небо, охраняется чистота атмосферы, блюдется закон. И, стоя среди них, имея угол зрения на все вещи тот же, какой существует для земли, он с нею не может встретиться, столкнуться. Мы хотим сказать, что революция при этой объясняемой нами полноте монархии – невозможна, и это по другим причинам, чем на какие мы указывали выше: там, мы говорили, мысль о ней ненавистна каждому, потому что в монархе он видит отражение собственного исторического значения и его лик для него священен; здесь – потому, что угол зрения у них один, что нет более ничего, что бы их сталкивало, – противопоставляло друг другу, заставляло бороться. Мне тем лучше, чем необъятнее его власть; это – не власть более опекуна надо мною, который может быть своекорыстен, и особенно может быть неприязнен ко всякому движению подсмотреть за его действием, предположением, намерением. Он – это *я сам*, но только могущественный; то же высматривает он, за тем же следит; та же у него боль как у меня; о том же тревога» [14, с. 77].

И вместе с тем существенно изменяются выводы – статья будет завершаться утверждением: «Монарх более *не полный* – есть и *никакой*; если он не центр, координирующий в себе явления жизни народной, то он и не орган который-нибудь в ней, хотя бы и пытался стать таковым. Он снял некоторые блестки из венца своего, – время разнесет остальные; он коснулся святого, таинственного омофора над собою – и не убежит, не спасется, не уклонит головы своей…» [14, с. 87]. «Главная мысль моей статьи, – писал Розанов Рачинскому в начале июня 1895 года, – что монархии *губят* <…> себя излишней бюрократией, и нет Геркулеса, который сломил бы эти Авгиевы конюшни канцеляризма, и, вероятно, что они погибнут; что один – французский, уже и погиб» [6, с. 509]. В том же письме, передавая свое впечатление от разговора с Победоносцевым, Розанов делился с Рачинским:

> «И, конечно, он влил в мое сердце еще большую жалость к государям, которую я и всегда питал, и не только к нашим, но и ко всем – ибо это *изгои* истории» [6, с. 509].

Как мы уже отмечали выше, к 1897–1898 годам собственно политическая проблематика для Розанова, никогда не бывшая первостепенной, отходит на дальний план. С этого времени он в первую очередь пишет о семье, о христианстве, о церкви, сближаясь с новыми кругами, участвуя в «декадентских» журналах и т.д. При этом, однако, собственно его представления о царской власти и о монархическом начале не претерпят существенного изменения (см. сводку и анализ поздних суждений Розанова [3]). Схематично изображая развитие его отношения к монархии, можно сказать, что от надежд первой половины 1890-х на осуществление желаемого им преобразования, через радикализм и призывы к изменениям середины 1890-х, питаемые ощущением кризиса, в котором царская власть может

утратить самую свою суть, Розанов к концу 1890-х приходит к осознанию бесплодности надежд на подобные изменения и на возможность самому своим словом как-то повлиять на происходящее, в то же время обнаруживая новую метафизическую тему и переживая востребованность, живое действие своих размышлений. Революция 1905 года трактовалась им как живое действие, реакция на омертвевшую бюрократическую систему – он полагал необходимым обновление и уже не ждал его от царской власти. Последующие годы приведут Розанова вновь к переоценке своего прежнего отношения – монархия, консервативные начала вновь обретут для него свою особую ценность, более того, он готов будет теперь уже видеть в бюрократии нечто положительное – возвращаясь в этом плане к своим суждениям начала 1890-х, теперь уже без упований на «синтетическую эпоху», находя надежду не в царе, а в «возрождающемся Египте».

Литература

1. *Грякалов А.А.* Василий Розанов. СПб. : Наука, 2018. 288 с. (Мыслители прошлого).
2. *Зорин А.Л.* Кормя двуглавого орла… : Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М. : Новое литературное обозрение, 2004.
3. *Ломоносов А.В.* Царь // Розановская энциклопедия / под ред. А.Н. Николюкина. М. : РОССПЭН, 2008. Стлб. 2273–2277.
4. *Полунов А.Ю.* К.П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России. М. : РОССПЭН, 2010. 374 с.
5. *Розанов В.В., Леонтьев К.Н.* В.В. Розанов и К.Н. Леонтьев : Материалы неизданной книги «Литературные изгнанники». Переписка. Неопубликованные тексты. Статьи о К.Н. Леонтьеве. Комментарии / сост. Е.В. Ивановой; изд. подгот.: А.П. Дмитриев, В.Н. Дядичев, Е.В. Иванова, Г.Б. Кремнев, П.В. Палиевский. СПб. : Росток, 2014. 1182 с.
6. *Розанов В.В.* Собр. соч. : в 30 т. Т 29: Литературные изгнанники. Книга вторая / под общ. ред. А.Н. Николюкина. М. : Республика; СПб. : Росток, 2010. 957 с.
7. *Розанов В.В.* Собр. соч. : в 30 т. Т. 28: Эстетическое понимание истории (Статьи и очерки 1889–1897 гг.). Сумерки просвещения / под общ. ред. А.Н. Николюкина. М. : Республика; СПб. : Росток, 2009. 878 с.
8. *Розанов В.В.* Собр. соч. : в 30 т. Т. 27: Юдаизм : Статьи и очерки 1898–1901 гг. / под общ. ред. А.Н. Николюкина. М. : Республика; СПб. : Росток, 2009. 845 с.
9. *Розанов В.В.* Сочинения. Т. 2: Красота в природе и ее смысл и другие статьи: 1882–1890 / ред., сост. и коммент. В.Г. Сукача. М. : Прогресс-Плеяда, 2009. 640 с.
10. *Розанов В.В.* Собр. соч. : в 30 т. Т. 26: Религия и культура : Статьи и очерки 1902–1903 гг. / под общ. ред. А.Н. Николюкина. М. : Республика; СПб. : Росток, 2008. 894 с.
11. *Розанов В.В.* Собр. соч. : в 30 т. Т. 13: Литературные изгнанники. Кн. 1: Н.Н. Страхов. К.Н. Леонтьев / под общ. ред. А.Н. Николюкина. М. : Республика, 2001. 477 с.
12. *Розанов В.В.* Собр. соч. : в 30 т. Т. 12: Апокалипсис нашего времени / под общ. ред. А.Н. Николюкина. М. : Республика, 2000. 429 с.
13. *Розанов В.В.* О себе и жизни своей / сост., предисл., коммент. В.Г. Сукача. М. : Московский рабочий, 1990. 876 с. (Голоса времени).
14. *Розанов В.В.* О подразумеваемом смысле нашей монархии. СПб. : Типогр. А.С. Суворина, 1912. 87 с.
15. *Розанов В.В.* Когда начальство ушло… 1905–1906 гг. СПб. : Типогр. А.С. Суворина, 1910. VIII + 424 с.
16. *Сукач В.Г.* Василий Васильевич Розанов : Биографический очерк. Библиогр.: 1886–2007. М. : Прогресс-Плеяда, 2008. 224 с.
17. *Тесля А.А.* Частный мыслитель // *Розанов В.В.* В темных религиозных лучах : Купол храма. М. : Рипол-Классик, 2018. С. I–XVIII.
18. *Тесля А.А.* Между концом и обновлением : «революция» и «апокалипсис» Розанова // Вопросы национализма. 2017. № 30.
19. *Тесля А.А.* Русский консерватор : о системе политических воззрений К.П. Победоносцева 1870–1890-х годов // Социологическое обозрение. 2017. Т. 16. № 1. С. 151–172.
20. *Тесля А.А.* Дебаты о народности // Социологическое обозрение. 2012. Т. 11. № 1. С. 99–119.
21. *Фатеев В.А.* (2013) Жизнеописание Василия Розанова. 2-е изд., испр. и доп. СПб. : Изд-во «Пушкинский Дом», 2013. 1056 с.; 32 с. ил.

Аннотация. Политические взгляды Василия Васильевича Розанова (1856–1919) не часто становились предметом систематического рассмотрения – данная статья является одним из первых подходов к рассмотрению представлений Розанова о «монархии» и «царской власти» в 1890-х годах. Особое внимание уделяется пониманию Розановым природы «монархии» в христианском мире, прослеживается существенное единство его воззрений от работ начала 1890-х до середины десятилетия. Царская власть видится Розановым (вслед за многими другими авторами консервативного лагеря) началом личной власти, противополагаемым «бюрократии», однако увязывается со сложной историко-философской концепцией развития «личности» в истории, связываемой им в начале 1890-х с семьей и частной сферой существования.

Ключевые слова: В.В. Розанов, монархия, политический романтизм, позднее славянофильство, царская власть.

Andrey Teslya, Ph.D. in Philosophy, Senior Research, Academia Kantiana IKBFU (Kaliningrad, Russia). E-mail: mestr81@gmail.com

“The Outcasts of History”: Vasily Rosanov about the Monarchy. 1890-ies.

Abstract. The political views of Vasily Vasilievich Rosanov (1856 – 1919) haven’t often become the issue of serious systematic study and this article is one of the first attempts to examine Rozanov’s concepts of “monarchy” and “power of the czar” in the 1890-ies. Special attention in this article is paid to Rozanov’s view on the nature of “monarchy” in the Christian world, while tracing the unanimity of his ideas starting with his works of the beginning of the 1890-ies and to the works of the middle of the decade. Rozanov considered the power of the czar (as well as many other conservative authors) to be the beginning of personal authority, as opposed to “the bureaucracy”, that still agreed with the complex historical and philosophic concept of the development of the “individual” in history; in the beginning of 1890-ies Rozanov also believed this concept to be connected with family and private sphere of existence.

Keywords: V.V. Rozanov, Monarchy, Political Romanticism, Late Slavophilism, Czar Power.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-1-243-254

Сергей Перевезенцев

«По устроению дедню и отню»: к вопросу о значении традиционализма в русской истории

В середине XIX столетия в российском общественном сознании возникла насущная потребность в обосновании своеобразия исторического пути России. В этом плане важнейшую роль сыграл традиционализм русского общества, ибо многие принципы, выработанные традиционалистским самосознанием еще в XVI–XVII веках, оказались востребованными через сто лет после насильственной модернизации, проведенной Петром I, но уже в качестве основных элементов зарождающейся национальной идеологии.

Известно, что традиционализм – сложное явление, которое в историко-политологической и философской литературе не имеет общепринятого определения и общепринятой оценки. В различных работах, базирующихся на религиозно-гуманистической методологии, господствующей сегодня в общественных науках, традиционализм чаще всего воспринимается критически, а в некоторых случаях вообще объявляется «консервативно-реакционным». В данном случае традиционализм анализируется с точки зрения традиционалистско-консервативной методологии и в основном на материале русской истории, а также русских философских и духовно-политических учений. При этом традиционализм рассматривается в трех основных значениях. *Во-первых*, как основной принцип существования всякого традиционного общества; *во-вторых*, как мировоззрение, признающее традицию главной основой бытия всякой человеческой общности, причем это мировоззрение характерно как для традиционного, так и для индустриального и постиндустриального обществ; и, *в-третьих*, как определенное направление в мировой общественной мысли, возникшее в XVIII веке в ответ на разрушение традиционного общества и просветительскую идеологию, выразившую первые этапы этого процесса разрушения.

* * *

Традиционное общество, как известно, достаточно долгий исторический период господствовало у большинства народов мира (у некоторых народов традиционное общество сохраняется и сегодня). **Основная черта всякого традиционного общества – *приверженность традиции*, то есть правилам и нормам, сформировавшимся в ходе исторического существования того или иного народа, которые передаются из поколения в поколение и сохраняются неизменными на протяжении длительного исторического времени.** Главным носителем традиции оставался простой народ. В обществах, где основным источником существования было земледелие, как, например, у славян, это было в первую очередь крестьянство, у кочевников – скотоводы, а где-то преобладали торговцы или городское население.

Перевезенцев Сергей Вячеславович, доктор исторических наук, профессор кафедры истории социально-политических учений факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
E-mail: serp1380@yandex.ru

В бытии русского традиционного общества значительную роль играла сельская территориальная община, которая господствовала в русской деревне вплоть до XX столетия, позволяя традициям сохраняться на протяжении многих веков. Так, некоторые традиции обычного права в русской крестьянской общине, зафиксированные этнографическими исследованиями в конце XIX века, восходят своими корнями еще к XI веку, когда они были впервые описаны в письменных источниках. Иначе говоря, некоторые нормы обычного права русских крестьян хранились в течение минимум тысячи лет (сколько времени эти традиции существовали до их фиксации в письменных источниках XI века сказать трудно) [см. об этом 3]. Во многом традиционализм как принцип жизни сохраняет свое значение в российском обществе и в наши дни [см. подробнее 5].

Именно народ оставался главным противником различных нововведений. Если проанализировать политические требования, выдвигаемые во время большинства народных восстаний и бунтов в России в XI–XIX веках, то главное из этих требований – возвращение к традиции. Следовательно, восставшие ждали от власти не перехода в «светлое будущее», а наоборот, не принимали тех или иных нововведений, властью им навязанных. Например, одним из самых крупных народных протестных движений в этот период нужно признать так называемые картофельные бунты, которые произошли в 1830-х годах в нескольких губерниях России. В них участвовало до полумиллиона государственных крестьян, которые, несмотря на категорические требования властей, отказывались отводить лучшие земли под посевы новой сельскохозяйственной культуры – картофеля. Сопротивление крестьян было столь велико, что дело дошло до вооруженных стычек, власти были вынуждены применить воинскую силу, но в итоге пошли на уступки – обязательные посевы картофеля были отменены. И только к началу XX века картофель стал неотъемлемой частью русского сельскохозяйственного производства и русского обеденного стола.

Да и в других случаях русские крестьяне старались оставаться в рамках традиционной жизни, ибо всякие новшества воспринимали как неминуемое ухудшение условий существования (что, к сожалению, частенько и бывало).

Хранителями и защитниками традиции выступали политические и духовные элиты, которые рассматривали всякие возникающие новшества с точки зрения их соответствия традиции и со временем превращали эти новшества в часть традиции. Но одновременно именно элиты, прежде всего власть, оказывались «главными нарушителями» традиции, инициаторами различных нововведений. Наверное, одним из самых «революционных» изменений традиции в русской истории стало принятие христианства в конце X века, осуществленное по инициативе киевского князя Владимира Святославича. Однако важнейшей чертой всяких изменений было то, что власть сразу же объявляла новшества традицией и всячески их поддерживала именно как традиционные. Более того, любые новшества, предлагаемые властью обществу, тоже вытекали из определенной традиции. К примеру, введение христианства опиралось на длительную христианскую традицию, а целью церковной реформы, проводившейся в XVII веке, были не просто некие нововведения, но утверждение более «чистой», более «правильной» греческой традиции. Интересно и то, что Петр I, осуществлявший свои реформы как борьбу с древнерусскими традициями, в своей деятельности опирался именно на традицию – традицию самодержавной власти русского царя, получившего свою власть от Самого Бога.

Сама традиция в русской истории никогда не была внутренне едина. Во все времена в России существовали *различные традиции* – этнические, политические, духовные, хозяйственные, которые оказывали влияние на русскую жизнь и одновременно соперничали между собой.

Так, на первых этапах становления Древнерусского государства, в IX–X веках, огромную роль играли этнополитические традиции – религиозные, социально-политические, хо-

зяйственные – различных народов, находящихся под властью киевских князей. К примеру, у русов и славян были совершенно разные традиции социально-политического устройства, которые в первые века Древнерусского государства очень долго «притирались» друг к другу. Следовательно, само Древнерусское государство складывалось в процессе борьбы и одновременно объединения этих традиций в новую традицию, которая стала играть важную роль в дальнейшем государственном развитии Древней Руси. С принятием христианства в конце X века большое значение в русской политической мысли получила христианская традиция, которая, с одной стороны, боролась с предшествующей языческой традицией, а с другой – также формировала новую традицию. Но дело в том, что внутри самого христианства существовало несколько традиций понимания христианского вероучения, которые на протяжении многих веков тоже соперничали друг с другом.

Совершенно иные традиции, во многом противоречащие сложившимся основополагающим принципам исторического существования русского народа, принесло Новое время. В XVIII веке под влиянием различных западноевропейских веяний русская политическая элита стала отказываться от устоявшихся веками правил жизни и внедрять в русскую жизнь многообразные новшества. И понадобилось почти столетие на то, чтобы какие-то из этих новшеств были восприняты русским национальным сознанием как традиционные, а к некоторым и по сей день в России сохраняется настороженное отношение.

* * *

Традиционализм жизни русского общества, естественно, нашел свое выражение в народном мировоззрении. Различные письменные источники позволяют выделить основополагающий принцип русского традиционного сознания, который можно сформулировать следующим образом – «*жизнь по старине*» или, как говорится в Повести временных лет, «как деды и отцы наши жили» («по устроению дедню и отню») [2]. Этот принцип затрагивал все сферы народного бытия – политическое и социальное устройство, духовную, культурную, хозяйственную, бытовую жизнь общества. Обращение к «старине» как к источнику норм социально-политического устройства Русской земли характерно для подавляющего большинства духовно-политических и юридических памятников XI–XVII веков, во многих из них присутствует прямая ссылка на «старину» («по устроению дедню и отню», «от прадед и дед наших», «по старине» и др.)[1]. И если говорить о русской традиционалистской политической мысли, то нередко предметом размышлений русских политических мыслителей становилась проблема соответствия возможных нововведений уже существующей традиции, а сама обращенность «к старине» была важной чертой многих политических идей.

Традиционалистское мировоззрение тем не менее не отрицает возможность и даже в некоторых случаях необходимость развития, изменений, но предполагает неспешный, реформистский путь исторического существования общества. При этом любые новшества принимаются после длительного периода их адаптации, «притирки» к конкретным особенностям жизни того или иного народа. В то же время традиционалистское сознание крайне тяжело воспринимает изменения, касающиеся основопола-

[1] См., например: «Устав новгородского князя Святослава Ольговича о церковной десятине 1137 г.», «Устав великого князя Всеволода о церковных судах, и о людех, и о мерилах торговых», «Новгородская судная грамота 1471 г.», «Уставная грамота волостей Малой Пенежки, Выйской и Суры Двинского уезда 1552 г.», «Стоглав» и др. В одной из речей на Стоглавом соборе 1551 года царь Иван IV Васильевич прямо говорил, что Судебник 1550 года составлялся по принципу соответствия его норм «старине» – «исправити по старине» [см. 9, с. 267]. В условиях кризисного состояния общества возрождение «старины» рассматривалось как социально-политический идеал, см.: «Слово о погибели Русской земли», «Приговор Второго ополчения 30 июня 1611 г.», «Плач о пленении и конечном разорении Московского государства» и др.

гающих принципов народного бытия (религия; политическое устройство, освященное религией и т.д.), а резкое, «быстрое» введение новшеств вызывает негативную реакцию вплоть до открытого сопротивления.

Вполне понятно, что различные традиции, так или иначе существовавшие на Руси, имели своих сторонников и противников, а значит, нашли отражение в национальном сознании, общественной мысли, в том числе и в социально-политических учениях. Поэтому идейные споры в XI–XIX веках – это не просто борьба «старого» и «нового», «хорошего» и «плохого», но и соперничество различных традиций в общественно-политическом сознании и в общественно-политической практике. Соответственно, сущность той или иной позиции того или иного русского политического мыслителя характеризовалась его принадлежностью к определенной традиции политической мысли [см. 14].

* * *

Традиционализм как общественно-политическое учение возникает в Европе в XVIII веке в качестве реакции на быстро изменяющиеся социально-экономические и духовно-политические условия жизни и в ответ на активно пропагандируемую в то время просветительскую идеологию. В русской философской и социально-политической мысли традиционализм поначалу существовал в виде сохранявшихся социально-политических установок предшествующего времени, поэтому выразителями традиционалистских идей и ценностей в XVIII столетии оказались в первую очередь представители духовного сословия – православные иерархи, настоятели монастырей, монахи-подвижники, многие из которых позднее были причислены к лику святых Русской Православной Церкви (свв. Митрофан Воронежский, Тихон Задонский, Арсений Мацеевич, прпп. Паисий Величковский, Феодор Санаксарский, Серафим Саровский, блж. Ксения Петербургская и др.). Но и светские мыслители этого времени, понимая необходимость развития на русской почве рационализированного мышления, науки и культуры, в то же время стремились опираться на накопленный национальный опыт, в том числе на многие уже существующие духовные, социальные, политические и культурные традиции. Неслучайно даже русское просветительство XVIII века было достаточно консервативным, что позволяет многим современным исследователям относить появление русского консерватизма ко второй половине XVIII столетия [11, с. 11–52]. В XIX веке традиционализм в России окончательно оформляется как одно из ведущих направлений в общественно-политической мысли и получает свое развитие в ряде сочинений русских мыслителей (см. работы Н.М. Карамзина, А.С. Хомякова, И.С. и К.С. Аксаковых, И.В. Киреевского и др.) и становится идейной основой для развития русского консерватизма, как специфического явления в мировой консервативной мысли (см. работы К.Н. Леонтьева, Н.Я. Данилевского, Л.А. Тихомирова и др.). При этом, по мнению некоторых исследователей, традиционализм и консерватизм практически совпадают по большинству характерных черт [см. об этом: 13; Ширинянц 2016: с. 356–380].

Традиционализм как общественно-политическое направление выступает за сохранение, поддержание и развитие исторически сложившихся религиозных, культурных, политических и хозяйственных основ данного общества [см. об этом: 12, 7, 10]. В этом отношении для традиционализма характерны несколько важных черт, общих для большинства мыслителей-традиционалистов.

Во-первых, признание религии духовным фундаментом общества. В странах Европы таковой религией почитались католицизм или различные протестантские конфессии, в России – православие. Уже говорилось, что с принятием христианства важнейшей традицией в жизни России и, как следствие, в русской социально-политической мысли стала православная вера. И это определило одну из главных особенностей традицион-

ной русской социально-политической мысли: значимость социальных и политических идей определялась их духовным содержанием, тем, насколько они способствуют реализации в социально-политической практике православных идеалов. Поэтому можно говорить, что русская традиционалистская мысль развивалась в русле православной традиции и была прежде всего ***духовно-политической***. Своеобразие *духовно-политической мысли* состоит в том, что она предлагает *политическими средствами* решать *духовные, религиозные* задачи. В этом случае сами политические предпочтения, учения и идеалы выстраиваются в зависимости от религиозных предпочтений, учений и идеалов, которые в свою очередь являются основополагающими для выстраивания собственно политической идеологии. Именно духовные, религиозные идеалы становятся критериями для оценки как конкретных политических деятелей, так и создаваемой ими политической системы общества. А политическая идеология и политическая практика направляются на то, чтобы социально-политическое состояние общества в максимально возможной степени соответствовало духовным, религиозным идеалам [4].

Для многих (хотя и не для всех) русских традиционалистов типичным было *религиозно-мистическое мировосприятие.* И социально-политические идеи формировались в соответствии с общим религиозно-философским восприятием окружающего мира, а собственно политическая мысль практически не существовала в России как самостоятельное, оторванное от православия явление. Более того, осмысление исторических событий, произошедших, происходящих или ожидаемых, самоосознание во всемирно-историческом процессе, осознание своей государственности – все это совершалось традиционалистами через христианские символы и в христианских символах.

Во-вторых, предпочтение традиции абстрактным схемам историко-политического развития и обычая – формальному праву. В русском традиционализме этот аспект человеческого бытия подчеркивался особо. Как известно, в христианской традиции основные правила человеческого общежития сформулированы в Десяти заповедях. При этом западная цивилизация, рационалистически осмыслив библейские заповеди, построила на их основе все свое законодательство, которое стало главным условием возникновения так называемого правового общества и главным условием развития самой западной цивилизации. Но по убеждению русских традиционалистов западный человек оказывается ограничен в своей свободе опять же человеческими преградами – законами. Для русского человека подобное внешнее, поверхностное перенесение на землю Небесных установлений совершенно неавторитетно. Когда человек подчиняется законам по необходимости, душа его все равно остается холодной. Ведь сами законы придуманы столь же несовершенными людьми. Следовательно, человек подчиняется человеческим же законам, уподобляется другому человеку, а не Господу. В том числе и поэтому, кстати, законы на Руси никогда и никем не соблюдались – ни властями, ни подданными.

Русский же человек жил не только по Десяти ветхозаветным заповедям, но стремился соответствовать Заповедям блаженства, которые принес людям Спаситель, даровавший и «новую заповедь»: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга... Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 13: 34; 15: 13). В русском сознании истинная ответственность имеет нравственную, а значит Божественную природу, ибо только Господь закладывает в сердце человека важнейшие принципы его жизни – внутренний нравственный закон: быть добрым, созидать красоту, уметь любить. Соблюдение этих принципов и означает высшую ответственность – перед самим Богом, ибо главный свой ответ каждый человек будет держать только перед Ним. Вот почему внешнее законопослушание в русском понимании – вторично. К.С. Аксаков писал по этому поводу: «Закон нравственный (внутренний) требует прежде всего, чтобы человек был нравственный и чтоб поступок истекал, как свободное след-

ствие его нравственного достоинства, без чего поступок теряет цену. Закон формальный или внешний требует, чтоб поступок был нравственный по понятиям закона, вовсе не заботясь, нравственен ли сам человек, и откуда истекает его поступок… Внешняя правда требует внешней нравственности и употребляет внешние средства. Из этого свойства внутреннего и внешнего закона, внутренней и внешней правды, очевидно вытекают различные следствия. Внутренний закон поддерживает нравственное достоинство человека, беспрестанно обращаясь к его совести, в ней одной находя опору и ручательство в деле. Запад – жертва внешнего закона. Закон внешний требует только соображения с своими постановлениями, исполнения учреждений, не заботясь и не обращаясь к совести человека, и таким образом избавляет его от необходимости внутреннего нравственного голоса. Очевидно, что преобладание внешнего закона в обществе ослабит нравственное достоинство человека, приучая его поступать без внутренней нравственной причины и быть правым только пред законом (внешним). Цель человечества – осуществить нравственный закон на земле…» [1, с. 220–221]. А В.В. Розанов искренне удивлялся: «Я понимаю, что я должен повиноваться божественным законам. Но почему я должен повиноваться человеческим законам, этого я не понимаю… Закон – “надо мною”. Но как же, если он “человек”, – надо мною? Разве я уже животное? Посему: Homo sum et nil nisi divina lex – habet me (Я человек и подчиняюсь лишь божественным законам)» [8, с. 255–256].

В-третьих, признание приоритета общности над индивидом. Особенно ярко эта черта традиционализма выражена именно в русском православном сознании, *ибо оно – сознание коллективистское, общинное*. Так уж исторически сложилось, что славянские племена, заселившие в древности Восточную Европу, имели территориальную сельскую общину, в отличие от кровнородственной общины, характерной для большинства народов Запада. Многовековое, до середины XX столетия, существование русской общины определило содержание социальных идеалов и принципов общежития русского народа – равенство, выборность снизу вверх органов управления, отрицательное отношение к иерархическому соподчинению сверху вниз. Именно территориальная община обычно открыта для приема выходцев из иных народов на положении свободных и равных. Наличием территориальной общины объясняется и уникальная способность русских ассимилировать другие народы. Да и сам русский народ изначально складывался как полиэтническая общность с главенствующим славянским компонентом. Подобная открытость славянской общины сегодня вызывает затруднения при определении славянского антропологического типа. И что характерно – этническое самосознание славян по той же причине изначально было ослаблено на фоне племен с кровнородственной общиной.

Размытость этнического самосознания русского народа отмечена не случайно, ибо в русском сознании *исторически возникло иное толкование и основополагающих земных идеалов*. Еще в языческие времена главной их составляющей становится *идея Земли*, позднее – *идея Отечества*. Давно, например, замечено, что в памятниках древнерусской литературы говорится прежде всего о Русской Земле и крайне редко о русском народе. В более поздние времена, когда наступала трудная година, именно необходимость защиты Отечества всегда становилась для русского народа толчком к пробуждению национального самосознания, ибо сохранение единого Отечества означало и сохранение самого народа.

И когда в России искали земное применение Высшему, Божественному смыслу бытия, то на первом плане оказывались идеи Земли, Отечества. *Единое для многих народов Отечество – это земное воплощение Высшего Божественного Единства, выраженного в образе Святой Троицы.*

Поэтому земное воплощение Божественного замысла русским человеком связывалось с идеями общности, общества, «міра». Божественное единство на земле – это единство народов, но единство прежде всего духовное, во многом метафизическое и даже

мистическое. В XIX столетии русская традиционалистская мысль даже выработала специальный религиозно-философский термин для характеристики этого очень своеобразного явления – «*соборность*» (А.С. Хомяков). Со временем в сложном симбиозе православного и изначально коллективистского миросозерцания в России формулируется и *идеал Всечеловеческого единения («всеединства») как некая высшая форма реализации в земных условиях Единства Божественного.* По сути дела, идеей «всеединства» проникнута вся отечественная религиозно-философская мысль XIX–XX веков.

В-четвертых, отстаивание цивилизационной самобытности своего народа (группы народов, близких по своим традициям). Традиционализм признает право любого народа на сохранение национального, духовного, социального, экономического, политического и бытового своеобразия, а также право народа самому решать собственную судьбу.

Если использовать современную терминологию, то можно утверждать, что в России уже в XVI веке были сформулированы основные духовно-политические установки, цели и смыслы исторического существования русского народа и Российского государства, выделены основополагающие характеристики и черты России как отдельной православной цивилизации. Свидетельства тому – различные сочинения, созданные в то время: «Сказание о князьях владимирских», послания старца Филофея, Степенная книга царского родословия, Лицевой летописный свод, Великие Минеи Четьи, «Домострой» и ряд других памятников, в которых были представлены идеалы Москвы как «Нового Иерусалима», России как «Третьего Рима», «Нового Израиля» и «Святой Руси».

В XIX веке после освоения многообразных новшеств, воспринятых из исторического опыта западноевропейских стран, в трудах Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, А.С. Хомякова, И.С. и К.С. Аксаковых, И.В. Киреевского были возрождены и одновременно развиты в новых условиях традиционные идеалы и смыслы русской жизни. Триединый идеал «Православие. Самодержавие. Народность», предложенный С.С. Уваровым, по сути дела, восстановил в русском сознании тот духовный смысл, который закладывался в существование Российского царства еще в XVI веке и тем самым восстановил духовную связь России с собственным прошлым, утерянный было в XVIII столетии, связал настоящее и будущее России с ее духовно-историческими корнями. Провозгласив триединый принцип «Православие. Самодержавие. Народность», русская духовно-политическая, консервативно-хранительная мысль середины XIX века одухотворила саму идею Российской империи, придала Российской империи великий духовный смысл, указала цели и задачи ее земного исторического бытия, а именно – устремленность в Вечность. А для русского политического сознания в XIX столетии главной стала мысль о том, что ***Россия – это хранительная сила***. В этом отношении Российская империя рассматривалась как единственная в мире сила, способная сохранить мир от падения в объятия антихриста, символами которого считались распространяющийся материализм в философии, секуляризм в отношении к религии, республиканизм и социализм в социально-политической сфере и революционизм в методах политического действия [6]. Чуть позже К.Н. Леонтьев и Н.Я. Данилевский, каждый по-своему, предложили фундаментальную концепцию мирового сообщества как совокупности различных цивилизаций и определили место русской православной цивилизации в этом сообществе. В начале XX века Л.А. Тихомиров глубоко размышлял о сущности религиозных основ общества и государства и на основе этих размышлений утверждал самобытный путь исторического бытия России.

В-пятых, признание права на свободное историческое развитие любого народа или цивилизации. Данная черта непосредственно связана с правом народа на сохранение и развитие собственной цивилизационной самобытности.

На протяжении всей истории человечества постоянно возникают различные религиозно-философские и религиозно-политические теории, претендующие на абсолютный универсализм: создатели таких теорий объявляли их единственно правильными и утверждали возможность их практической реализации в любых конкретно-исторических условиях у любых народов. Особенно активно эти универсалистские теории создавались в последние сто – сто пятьдесят лет и столь же активно навязывались мировому сообществу: гуманизм, коммунизм, либерализм, фашизм, различные радикальные религиозные учения и др.

Традиционализм противостоит любой универсалистской концепции устройства мирового сообщества. В понимании традиционалистов всякий универсализм несет большую опасность для человечества, ибо подразумевает упрощение, унификацию мира, ликвидацию его сложности. К примеру, в рамках коммунистических и либеральных теорий человечеству навязываются общеупотребительная «массовая культура» и общеупотребительная «массовая экономика» (в одном случае – «плановая», в другом – «рыночная»), которые ведут к уничтожению многоцветья национальных культур и экономических укладов. С философской точки зрения всякое упрощение есть движение к небытию, ибо самая простая система – это «ничто», «небытие», в котором ничего не существует. Следовательно, всякая универсалистская теория ведет к уничтожению большинства человечества в интересах очень узкого круга людей. По мнению традиционалистов, подобный сценарий не есть фантазия или пустая «страшилка», он вытекает из всего хода развития человечества в последние триста – пятьсот лет и, особенно, из исторического опыта XX столетия.

Традиционализм предлагает иной путь возможного будущего развития человечества: возрождение традиционных идеалов, традиционных ценностей, традиционных религий, опора на национально-государственные интересы народов мира. Таким образом, традиционализм подразумевает сохранение и развитие мира как «цветущей сложности», более того, предполагает необходимость возрастания сложности мира, ибо только сложные системы способны не просто к выживанию, но и к самовоспроизводству, приспосабливанию к новым жизненным условиям.

В-шестых, утверждение идеала свободной, нравственно ответственной личности. Человек как Божие создание несет огромнейшую ответственность за себя и за весь мир. Но истинно свободная личность лишь та, которая понимает пределы своей свободы. Следовательно, настоящая свобода начинается только тогда, когда человек знает о существовании неких очень жестких границ, которые он не имеет право переступать.

В этом отношении традиционализм предполагает отказ от устаревших так называемых идеалов гуманизма, которые, если вспомнить их исток в XIV–XVI веках, на самом деле являются результатом странной смеси католицизма (позднее – еще и протестантизма), античной и восточной мистики, магии и своеобразно понятой античной (языческой) философии. С точки зрения традиционализма именно гуманистический лозунг «Великое чудо – человек!» привел ныне человечество на край гибели.

В истории российской общественной мысли были разные понимания сущности человеческой личности и ее нравственных качеств. Но чаще всего личность в отечественной философии осмысливалась в религиозно-философском духе. Нравственные заповеди, заложенные Господом в человеческое сердце, считались источником цельности человека. Все остальные свойства, в том числе и разум – воспринимались как продолжение его нравственной, Божественной сущности. И недаром русская религиозно-философская мысль с древних времен придерживалась восходящего еще к Отцам Церкви учения о наличии свободы во «внутреннем человеке» на его спасительном пути к Богу под действием Благодати Святого Духа. Обоснованием подобного понимания сути человеческой свободы стали евангельские слова: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8: 32).

Наибольшим влиянием традиционализм как социально-политическое учение пользовался в XIX – начале XX века, но в результате крушения в начале XX века крупнейших традиционных европейских монархий в России, Германии и Австро-Венгрии значение традиционализма как самостоятельной и реальной социально-политической силы оказалось заметно подорвано, а вскоре и почти сведено к нулю. В то же время, как отмечают исследователи, в XX веке сохранялся идеологический традиционализм, а многие элементы традиционализма были впитаны различными идеологиями XX века – либерализмом, национализмом, фашизмом, всевозможными видами «национального социализма» и даже коммунизмом [10, с. 25].

* * *

Однако в последние десятилетия традиционализм вновь приобрел актуальность в свете насильственной глобализации и принудительного насаждения в различных странах мира либеральных моделей общественного устройства. С традиционалистских позиций глобализация и либерализм рассматриваются как средства экономического и политического закабаления народов мира в интересах узкого круга лиц, претендующих на мировое господство. Именно поэтому во многих странах происходит возрождение различных традиционалистских учений, приобретающих иногда очень специфическую форму. Возрождается традиционализм и в России, где уже на протяжении нескольких десятилетий продолжается активная общественная дискуссия о смысле исторического развития народа и страны, о сути традиционных ценностей и их актуальности в современных условиях.

Одной из центральных площадок для подобных дискуссий является Всемирный русский народный собор (ВРНС)[1], участники которого разработали полновесную программу возрождения России на основе традиционных ценностей. Так, в «Декларации о правах и достоинстве человека» (2006) представлена обоснованная критика либерально-гуманистической концепции прав человека и предложены пути поиска иных смыслов этого важнейшего понятия. В частности, там говорится: «Права и свободы неразрывно связаны с обязанностями и ответственностью человека. Личность, реализуя свои интересы, призвана соотносить их с интересами ближнего, семьи, местной общины, народа, всего человечества. Существуют ценности, которые стоят не ниже прав человека. Это такие ценности как вера, нравственность, святыни, Отечество. Когда эти ценности и реализация прав человека вступают в противоречие, общество, государство и закон должны гармонично сочетать то и другое. Нельзя допускать ситуаций, при которых осуществление прав человека подавляло бы веру и нравственную традицию, приводило бы к оскорблению религиозных и национальных чувств, почитаемых святынь, угрожало бы существованию Отечества. Опасным видится и «изобретение» таких «прав», которые узаконивают поведение, осуждаемое традиционной моралью и всеми историческими религиями»[2].

[1] *Всемирный русский народный собор* – международная общественная организация русского народа, созданная в 1993 году и объединяющая известных российских политиков, церковных и общественных деятелей, представителей мира науки, культуры, образования, военачальников, соотечественников из ближнего и дальнего Зарубежья. Главой ВРНС является Святейший Патриарх Московский и всея Руси (в 1993–2009 годах – Алексий II, с 2009 года – Кирилл). В 2005 году Всемирному русскому народному собору был предоставлен специальный консультативный статус при Организации Объединенных Наций, тогда же было создано представительство ВРНС при ООН. На сайте организации говорится: «Будучи на протяжении многих лет всероссийской трибуной общественной мысли, в последние годы ВРНС переживает процесс преобразования в мощный гражданский форум, призванный стать во главе коалиции нравственно ответственных и патриотически ориентированных сил гражданского общества» (http://www.vrns.ru/o_sobore/).

[2] Декларация о правах и достоинстве человека [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.vrns.ru/documents/63/1179/#.V7LO1iOhpBc

В документе под названием «Базисные ценности – основа общенациональной идентичности» (2011) был конкретизирован перечень основополагающих ценностей русского народа:

«**Вера**. Вера в Бога, забота о сохранении религиозных традиций народов, воплощение этих традиций в делах. Верность убеждениям и нравственно обоснованным жизненным принципам, в том числе у нерелигиозных людей.

Справедливость, понимаемая как политическое и социальное равноправие, справедливое распределение плодов труда, достойное вознаграждение и справедливое наказание, должное место каждого человека в обществе, а нации – в системе международных отношений.

Мир (гражданский, межнациональный, межрелигиозный) – мирное разрешение конфликтов и противоречий в обществе, братство народов, взаимное уважение культурных, национальных, религиозных особенностей, неконфронтационное ведение политических и исторических дискуссий.

Свобода. Личная свобода, ограниченная личной нравственной ответственностью. Ее раскрытие в служении ближним и Отечеству. Самостоятельность, независимость, самобытность народа.

Единство разных национальностей, социальных слоев, политических и мировоззренческих групп в работе на благо страны и всех живущих в ней людей. Взаимообщение разнообразных культур. Гармоничное сочетание духовных устремлений и материальных интересов личности и общества.

Нравственность – личная и общественная. Верность неизменным нравственным нормам как залог благополучия человека и общества. Приоритетная поддержка обществом и государством добросовестного поведения как в личной жизни, так и в жизни общества и государства. Жизнеспособные государство и общество – не могут быть нравственно нейтральными.

Достоинство. Признание уникальной ценности каждого человека. Нравственное умение отличать достойное от недостойного.

Честность как критерий личной и общественной морали. Совестливость, следование нравственному началу в душе как образ жизни.

Патриотизм. Любовь к Отечеству и народу, к родной земле, к ее культуре, уважение к ее истории, к свершениям прежних поколений. Общенациональное самосознание. Готовность трудиться ради Родины.

Солидарность – способность разделить с другим бремя его забот, его трудности, его болезни, его скорби. Общенациональная солидарность как сила, связывающая народ, обеспечивающая единство нации, ее целостность, ее жизнеспособность.

Милосердие – деятельное сострадание к ближним, помощь людям, нуждающимся в духовной, социальной и иной поддержке.

Семья как союз мужчины и женщины, в которой воспитываются дети. Любовь и верность. Забота о младших и старших. Поддержка семьи через социальную политику, образование и культуру.

Культура и национальные традиции. Уважение к наследию предков, открытость и уважение к культуре и взглядам других. Забота о культуре общения, чистоте русского языка и других языков Русского мира.

Благо человека. Духовное и материальное благополучие человека как основной приоритет социального развития. Соблюдение прав и свобод человека.

Трудолюбие – деятельное стремление к благу общества и ближнего. Неприятие коррупции, коммерциализации человеческих отношений, паразитического и эгоистического образа жизни.

Самоограничение и жертвенность – отказ от потребительского отношения к ближним и к окружающему миру. Способность жертвовать личным ради блага Отечества и народа»[1].

В «Декларации русской идентичности» (2014) впервые на основе традиционных ценностей и принципов исторического существования русского народа были сформулированы основополагающие признаки русского человека. В частности, в «Декларации» утверждается, что «принадлежность к русской нации определяется сложным комплексом связей: генетическими и брачными, языковыми и культурными, религиозными и историческими. Ни один из упомянутых критериев не может считаться решающим. Но для формирования русского национального самосознания обязательно, чтобы совокупность этих связей с русским народом (независимо от их природы) была сильнее, чем совокупность связей с любой иной этнической общностью планеты. Ощутить это в конечном счете может только сам носитель национальной идентичности, совершая личный выбор. При этом национальное самосознание неизбежно означает солидарность с судьбой своего народа… На основе программных тезисов настоящего документа предлагается следующее определение русской идентичности: русский – это человек, считающий себя русским; не имеющий иных этнических предпочтений; говорящий и думающий на русском языке; признающий православное христианство основой национальной духовной культуры; ощущающий солидарность с судьбой русского народа»[2].

Деятельность Всемирного русского народного собора, заметная активизация научного и политического поиска, появление большого числа работ по философии, истории, политологии, социологии, экономике, авторы которых исследуют различные аспекты жизни России с традиционалистско-консервативных позиций[3], свидетельствует не просто о возрождении традиционализма, но и о том, что традиционализм занимает весомое место в современной российской социально-политической действительности, идеи традиционализма используются при формировании современной политической повестки дня.

[1] Базисные ценности – основа общенациональной идентичности [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.vrns.ru/documents/68/1031 /

[2] Декларация русской идентичности [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.vrns.ru/documents/79/3400/#.v7llniohpbc

[3] Выходят также периодические издания: «Тетради по консерватизму : Альманах» (М. : ИСЭПИ) и «Вопросы истории консерватизма : Альманах» (Воронеж : ВГУ).

Литература

1. *Аксаков К.С.* Несколько слов о русской истории, возбужденных Историею г. Соловьева // *Аксаков К.С., Аксаков И.С.* Избранные труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент. А.А. Ширинянц, А.В. Мырикова, Е.Б. Фурсова. М., 2010.
2. Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1: XI–XII века. СПб., 1997.
3. *Курашов А.В.* Основные принципы обычного права русского крестьянства конца XIX – начала XX в. : По материалам центральных губерний : Дис. … канд. ист. наук. М., 2003.
4. *Перевезенцев С.В.* Идейные истоки русского консерватизма // *Вопросы истории консерватизма*. 2016. № 1. С. 11–32.
5. *Перевезенцев С.В.* Родство по истории : Статьи. Очерки. Беседы. М., 2015.
6. *Перевезенцев С.В., Ширинянц А.А.* Формула имперского триединства // *Тетради по консерватизму*. 2017. № 3. С. 47–53.
7. *Раков В.М.* Особенности русского традиционализма // Исследования по консерватизму. Вып. 2. Пермь, 1995.
8. *Розанов В.В.* Мимолетное. 1914 год / В.В. Розанов // Собр. соч. Когда начальство ушло… М., 1997.
9. Российское законодательство X–XX веков. М., 1985. Т. 2.
10. *Сергеев С.М.* Идеология творческого традиционализма в русской общественной мысли 80–90-х гг. XIX в. : Дис. … канд. ист. наук. М., 2002.
11. Хранители России : Антология. Т. 2: В поисках нового… консерватизма / под ред. А.А. Ширинянца, С.В. Перевезенцева ; авт.-сост.: Р.В. Михайлов, С.В. Перевезенцев, А.А. Ширинянц; подг. текстов: А.А. Горохов, О.Е. Пучнина, А.С. Хелик, А.Б. Страхов, Д.А. Ананьев. М., 2015.
12. *Шацкий Е.* Утопия и традиция. М., 1990.
13. *Ширинянц А.А.* К «феноменологии» консерватизма и не только // Вопросы истории консерватизма : Альманах. 2015. № 1. 2016. С. 356–380.
14. *Ширинянц А.А.* О специфике истории социально-политической мысли России // Общественная мысль России : истоки, эволюция, основные направления : Материалы международной научной конференции. Москва, 28–29 октября 2010 г. / отв. ред. В.В. Шелохаев. М., 2011. С. 536–546.

Аннотация. В статье исследуется феномен традиционализма как сложное явление, которое в историко-политологической и философской литературе не имеет общепринятого определения и общепринятой оценки. В различных работах, базирующихся на религиозно-гуманистической методологии, господствующей сегодня в общественных науках, традиционализм чаще всего воспринимается критически, а в некоторых случаях вообще объявляется «консервативно-реакционным». В данном случае традиционализм анализируется с точки зрения традиционалистско-консервативной методологии и в основном на материале русской истории, а также русских философских и духовно-политических учений. При этом традиционализм рассматривается в трех основных значениях. Во-первых, как основной принцип существования всякого традиционного общества; во-вторых, как мировоззрение, признающее традицию главной основой бытия всякой человеческой общности, причем это мировоззрение характерно как для традиционного, так и для индустриального и постиндустриального обществ; и, в-третьих, как определенное направление в мировой общественной мысли, возникшее в XVIII веке в ответ на разрушение традиционного общества и просветительскую идеологию, выразившую первые этапы этого процесса разрушения.

Ключевые слова: традиционализм, консерватизм, традиционалистско-консервативная методология.

Perevezentsev Sergey Vyacheslavovich, Ph.D. in History, Professor, Department of History of Social and Political Doctrines, Faculty of Political Science, Lomonosov Moscow State University. E-mail: serp1380@yandex.ru

«Po Ustroeniu Dedny i Otny»: to the Question of the Significance of Traditionalism in Russian History

Abstract. The article examines traditionalism as a complex phenomenon, that in the historical, political and philosophical literature does not have a generally accepted definition and generally accepted assessment. In various works based on the religious and humanistic methodology prevailing today in social sciences, traditionalism is most often perceived critically, and in some cases generally declared «conservative-reactionary». In this case, traditionalism is analyzed from the point of view of traditionalist-conservative methodology and relying mainly on the materials on Russian history, as well as Russian philosophical and spiritual-political teachings. At the same time, traditionalism is viewed in its three main meanings. First, as the basic principle of the existence of any traditional society; second, as a worldview, recognizing tradition as the main basis of existence of any human community, – the worldview true for traditional, industrial and postindustrial societies; and, third, as a certain direction in the world public thought, appearing in the 18th century in response to the destruction of traditional society and educational ideology, and reflecting the first stages of this process of destruction.

Keywords: Traditionalism, Conservatism, Traditionalist-Conservative Methodology.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-1-255-264

Михаил Маслин

Предтеча евразийства. Ориентализм С.С. Уварова в исторической перспективе

Освещение отечественной интеллектуальной истории в наши дни переживает консервативный поворот, который характеризуется сменой былого интереса к революционным и либеральным идейно-политическим течениям в сторону явного перевеса идейных течений, персоналий и сюжетов, связанных с историей русского консерватизма. Составилась целая библиотека, посвященная научному исследованию русского консерватизма, включающая целый ряд статей, монографий, энциклопедий, периодических и непериодических изданий, едва ли обозримая даже в кратком перечислении [1–7 и мн. др.]. Повышенным интересом российских ученых окружена ныне тема истоков и сущности российского философского и политического консерватизма. Данная тема является также предметом общественного внимания, поскольку консервативная ориентация все чаще звучит в декларациях современных российских политических деятелей, обнаруживается в тематике выступлений публицистов, находит свое отражение в средствах массовой информации. Уходят в прошлое те времена, когда политическое наследие отечественных консервативных политиков и мыслителей объявлялось достоянием российской отсталости, воплощением твердолобого и бесперспективного охранительства по сравнению с прогрессивным европейским либерализмом.

В этих условиях особое значение приобретает анализ идей таких российских деятелей консервативной направленности, чьи идеи не только не представлялись чуждыми для европейского философского дискурса, но, напротив, имели весьма широкий резонанс в Европе. Этот класс российских политических и государственных деятелей представляет выдающийся русский политик, дипломат, антиковед и востоковед Сергей Семенович Уваров, член многих европейских научных обществ и академий. На сегодня, к сожалению, отсутствуют специальные монографические исследования, посвященные философии Уварова. Едва ли не единственным в России ученым, обратившимся к этой теме, был Г.Г. Шпет, который в своем «Очерке развития русской философии» (1922) выразил недоумение в том, что идеи Уварова не интересовали до сих пор никого из историков, тогда как он «был просвещеннейшим человеком, одним из самых просвещенных тогда в России» [15, с. 258]. Особое внимание Шпет уделил анализу третьего элемента уваровской триады, а именно «народности», стремясь вписать его в контекст русской мысли XIX столетия. Разумеется, будучи гуссерлианцем, сторонником «научной философии», Шпет не испытывал симпатий к оригинальным религиозно-философским сюжетам из наследия Уварова, таким, как его «Исследование об элевсинских таинствах» (последнее произведение лишь вскользь упоминается в тексте «Очерка развития русской философии»). Тем не менее Шпет как внимательный историк русской мысли считал наследие Уварова важным элементом в истории

Маслин Михаил Александрович, доктор философских наук, заведующий кафедрой истории русской философии философского факультета, заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова. E-mail: mmaslin@yandex.ru

русской философии, полагая, что «Разрешение вопроса о генезисе его [Уварова – *М.М.]* общего и политического мировоззрения могло бы быть предметом интересного историко-культурного исследования» [15, с. 260].

Одна из задач Шпета состояла в том, чтобы указать на неоригинальность уваровской «народности», ее вторичность по отношению к немецкому романтизму и исторической школе права (Фридрих Шлегель, Г. Луден и Ф.Л. Ян и др.), у которых Уваров, по его мысли, заимствовал само понятие «народность» во время обучения в Гёттингенском университете. Примерно такую же оценку генезиса данного уваровского понятия, ссылаясь на авторитет Г.Г. Шпета, дает известный американский историк Р. Пайпс в своей биографической книге об Уварове [16]. Подобное объяснение едва ли правомерно, поскольку, например, Август Людвиг Шлёцер, лекции которого Уваров, скорее всего, слушал в Гёттингене, с полным на то основанием может быть назван и русским ученым, поскольку Шлёцер вернулся в Германию после длительного пребывания в России, результатом которого стало получение звания члена Петербургской академии наук. К этому надо добавить личное общение Уварова с идеологами романтизма, европейскими аристократами, противниками Наполеона. Среди них Фридрих фон Шлегель, Мадам де Сталь, князь де Линь, Карл Поццо-ди-Борго, Карл фон Штейн. Свои мемуары о встречах с этими известными в Европе интеллектуалами и политиками Уваров опубликовал в России и Европе[1].

Правильнее было бы говорить об общеевропейском движении романтизма, которое поставило вопросы национального возрождения в период до и после наполеоновских войн и охватило как Россию, так и европейские страны и, несомненно, оказало свое влияние и на Уварова. И, соответственно, следует рассматривать Уварова в качестве полноправного участника синхронно развивавшегося диалога немецкой и русской культур в начале XIX века. Влияние ментальности эпохи романтизма, несомненно, определило характер мировоззрения Уварова, с его пиететом к мудрости Востока, вниманием к истории и теме национального. Однако вместе с тем Уваров резко отзывается о духовном опыте предшествующей эпохи Просвещения, не желая оставаться ни с «современными материалистами», ни с защитниками атеизма. Выразителей подобных мировоззрений он называет сторонниками «самых абсурдных теорий»: «Все они исходят в своих теориях из того, что детство человечества – это время мрака и глупости, и считают такой вывод математическим точным опровержением Священного писания» [13, с. 70–71]. Ценные свидетельства, характеризующие С.С. Уварова как консерватора, оставил А.В. Никитенко, который передает записанное им высказывание министра народного просвещения: «Мы, то есть люди XIX века, в затруднительном положении: мы живем среди бурь и волнений политических. Народы изменяют свой быт, обновляются, волнуются, идут вперед. Никто здесь не может предписывать своих законов. Но Россия еще юна, девственна, и не должна вкусить, по крайней мере, теперь еще, сих кровавых тревог. Надобно продлить ее юность и тем временем воспитывать ее. Вот моя политическая система. Я знаю, что хотят наши либералы, наши журналисты и их клевреты: Греч, Полевой, Сенковский и проч. Но им не удается бросить своих семян на ниву, на которой я сею и которой я состою стражем, – нет, не удается. Мое дело блюсти не только за просвещением, но и блюсти за духом поколения. Если мне удастся отодвинуть Россию на пятьдесят лет от того, что готовят ей теории, то я исполнил свой долг и умру спокойно» [25, с. 174]. Исходя из оценки этого высказывания, было бы весьма проблематично согласиться с тезисом американской исследовательницы Ц.Х. Виттекер о том, что мировоззрение Уварова характеризовалось «поисками золотой середины» между идеалами Просвещения и романтизма, и поэтому он «всю жизнь пытался примирить

[1] См. мемуарные статьи С.С. Уварова: «Князь де Линь»; «Штейн и Поццо-ди-Борго»; «Мадам де Сталь» [14].

идеалы восемнадцатого века с требованиями девятнадцатого» [17, с. 8]. В действительности, как подчеркнули авторы предисловия к «Избранным трудам» С.С. Уварова: «В самом понимании просвещения Уваров сильно расходится с просветителями XVIII в., противопоставлявшими естественное и социальное состояние человека, как исходное природное добро человеческой натуры и его дальнейшую порчу под воздействием “ложной” цивилизации» [19, с. 25].

* * *

Предметом анализа в настоящей статье является имевшая в свое время сильный европейский резонанс идея Сергея Семеновича Уварова о необходимости перемещения геополитических интересов России в Азию, что явилось, по сути дела, первым выражением того варианта русского консерватизма, который стал известен в XX веке под именем евразийства. Этот анализ наводит на мысль о конгениальности русского и европейского консерватизма, совсем неочевидную для части исследователей, считающих, что русский консерватизм как идейно-политическое явление был употребим лишь для «внутреннего пользования», а за пределами России был мало кому интересен. В действительности Россия питала своим русским консерватизмом Европу, тогда как последняя питала Россию своим социализмом, в следовании по пути которого Уваров видел опасную историческую перспективу [8, с. 134].

«Восточническая» ориентация Уварова была устойчивой консервативной позицией, прошедшей через все его творчество и практическую государственную деятельность, начиная с раннего «Проекта Азиатской академии» вплоть до программных выступлений в качестве президента петербургской Академии наук, министра народного просвещения и руководителя цензурного ведомства. В «Проекте» и других своих программных заявлениях Уваров выступает не просто как поклонник мудрости Востока, его древностей и ценностей, но как русский консерватор-геополитик, считающий то, что впоследствии евразийцы назвали «Исходом к Востоку», – движением в сторону коренных и ничем не заменимых национальных интересов России: «Россия, граничащая с Азией и владеющая всей северной частью этого континента, разделяет с другими державами нравственный интерес, руководимый ими в их благородных предприятиях, но кроме того, у нее имеется еще и интерес политический, столь очевидный и неоспоримый, что одного беглого взгляда на карту достаточно, чтобы в нем убедиться. Россия, можно сказать, лежит на Азии. Почти со всеми восточными народами она имеет общую сухопутную границу гигантской протяженности. Поэтому с трудом можно поверить в то, что из всех европейских стран именно в России меньше всего уделяют внимания изучению Азии. Достаточно самых элементарных политических понятий, чтобы оценить преимущества, которые Россия могла бы извлечь из серьезных занятий Азией. Россия, имеющая столь тесные отношения с Турцией, Китаем, Персией, Грузией, смогла бы не только содействовать в огромной степени общему прогрессу просвещения, но еще и удовлетворить свои наиболее дорогостоящие потребности. Никогда еще государственные соображения не были в таком согласии с великими видами нравственной цивилизации» [13, с. 68–69].

Здесь стоит обратить внимание на использование Уваровым подходов, характерных для представителей будущего евразийского идейного течения. Речь, разумеется, не идет о каких-то прямых ссылках евразийцев на «Проект Азиатской академии» и другие сочинения Уварова как на источник собственных идей. Напротив, основоположник евразийства Н.С. Трубецкой высказывал весьма критическое отношение к автору формулы «православие, самодержавие, народность». Трубецкой считал два элемента триады Уварова лишними, так как для Уварова и православие, и народность «не более чем эффектный и традиционный аксессуар самодержавия» [26, с. 114]. Для евразийца Трубецкого формула Уварова

была символом всего петербургского периода российской истории, для которого было характерно «превращение православия в простой аксессуар самодержавия» и «обращение “народности” в казенную декларацию» [26, с. 115]. Тогда как евразийство «требует подлинного православия, оправославленного быта, подлинной национальной культуры на основе “бытового исповедничества” и признает своим идеалом только такую монархию, которая бы явилась органическим следствием национальной культуры» [26, с. 115]. Наследниками «дореволюционных течений», включая консерватизм Уварова, а также народничество и большевизм, евразийцы никогда не были и всячески дистанцировались от них. Прямое сопоставление ориентализма Уварова с евразийством невозможно, поскольку евразийство было пореволюционным идейным течением, рефлексией над Октябрьской революцией, тогда как обращение Уварова к Востоку было обусловлено стремлением остановить революцию, «отодвинуть Россию на пятьдесят лет от того, что готовят ей теории» (сказано Уваровым в 1835 году).

Но между ориентализмом Уварова и «Исходом к Востоку» прослеживается не линейная преемственность идей, а то, что В.Ф. Эрн называл «перекличкой» разноликих философских эпох внутри единого целого русской мысли[1]. Эта перекличка не сводима к выстраиванию некой несуществующей цепочки влияний, которая подтверждалась бы конкретными источниками и ссылками. Здесь необходимы разъяснения. Такая «перекличка» существует как доказательство единства отечественной философской культуры, когда в реальной ткани русской мысли фиксируются сходства между идеями мыслителей различной идейной ориентации. Подтверждением живого единства русской философии является многократное повторение в России ходов мысли П.Я. Чаадаева, основателя русской философии истории XIX века. После революционных событий в Европе в 1830-м, а затем 1848 году Чаадаев изменил свои первоначально западнические взгляды. «Незападное» бытие России, казавшееся ранее Чаадаеву главным источником ее бедствий и неустройств, начинает представляться ему источником своеобразного преимущества. «... Нам нет дела до крутни Запада, ибо сами-то мы не Запад…» – пишет он и далее замечает: – У нас другое начало цивилизации… Нам незачем бежать за другими; нам следует откровенно оценить себя, понять, что мы такое, выйти из лжи и утвердиться в истине. Тогда мы пойдем вперед, и пойдем скорее других, потому что мы пришли позднее их, потому что мы имеем весь их опыт и весь труд веков, предшествовавших нам» [27, с. 98]. К.Н. Леонтьев, в определенной степени основываясь на указанной мысли Чаадаева, писал даже о необходимости «подморозить Россию», затормозить ее движение, чтобы она не повторяла ошибок далеко зашедшего по пути прогресса Запада. Н.Г. Чернышевский и народники в известном смысле разделяли точку зрения Чаадаева при обосновании идеи некапиталистического пути развития России к социализму. Другим доказательством существования внутреннего единства русской философии является несомненное влияние идей А.И. Герцена на эстетический консерватизм К.Н. Леонтьева. Критика Герценом мещанской потребительской цивилизации Запада, выработавшей многие пороки, в том числе «веру в пантеизм всеобщей подачи голосов», оказала важнейшее стимулирующее воздействие на концепцию «триединого развития» Леонтьева (от первоначальной простоты к цветущей сложности и далее к упростительному смешению). Другая центральная идея Герцена, а именно его «русский социализм», созвучна идейным поискам Ф.М. Достоевского и была переосмыслена писателем в 1860-х годах с позиций почвенничества.

В свете вышесказанного обращает на себя внимание указание Уварова на «этот континент» (в терминологии евразийцев континент-Евразия), который включает Россию,

[1] О методологии соотнесения разноликости и единства в контексте русской философии см. монографию автора статьи [29].

«владеющую всей северной частью этого континента» и составляющую то, что евразийцы называли евразийским месторазвитием. Здесь уваровский ориенталистский проект перекликается с первым коллективным сборником евразийцев «Исход к Востоку» (1921). Так, в статье Петра Савицкого «Поворот к Востоку» мы читаем, что «Россия есть не только «Запад», но и «Восток, не только «Европа», но и «Азия», и даже вовсе не Европа, но «Евразия» [20, с. 2]. Наконец, ориентализм Уварова и евразийцев сближает особое отношение к Востоку, особенно к индийской цивилизации – «наиболее древней и наиболее интересной», стоящей, по определению Уварова, «ближе всего к фундаментальным понятиям человечества», так как «Уже в глубокой древности поэзия и философия Индии соединились, чтобы создать религию, следы которой обнаруживаются во всех культах древнего мира» [13, с. 83]. Основатель евразийства Н.С. Трубецкой также обращал особенное внимание на характер религиозного мировоззрения индийцев, служащий подтверждением тому, что «великие культуры всегда религиозны, безрелигиозные же культуры – упадочны» [21, с. 228]. По Трубецкому, наиболее характерным и достойным подражания в индийской традиционной культуре является то, что она основана не на стремлении к комфорту и благополучию, в отличие от культур Запада, а на определенных духовных ценностях и убеждениях: «Убеждение, что спасение души есть единственное действительно важное, неизмеримо более ценное чем все земные блага и даже чем сама жизнь, это убеждение, которое у нас либо остается простой, механически повторяемой формулой, либо жизненным правилом лишь отдельных единиц, в Индии является всеобщим и потому становится двигателем социальной жизни» [21, с. 228].

Аналогичный подход прослеживается и в ориенталистских рассуждениях Уварова. Речь здесь вовсе не об идеализации «естественного состояния человека» в духе Руссо, а о реабилитации «*простых истин*, соответствующих *простому состоянию* человеческого общества» [13, с. 71]. Именно в том смысле, что эти «первоначальные понятия, дарованные Богом», еще сохранились в традиционных обществах Востока, особенно Индии. Но и эти первоначальные истины «стирались по мере того, как человек портился». Не избежали разлагающего влияния и «жители Востока, обезображенные современными учреждениями». Отсюда следует вывод Уварова: «Итак, Восток – колыбель человеческого рода, следовательно, первый хранитель первоначального просвещения, первое зрелище лучшего состояния человечества и первый свидетель его упадка» [13, с. 71].

Блестящий ориенталистский проект С.С. Уварова в самой России был далеко не сразу принят и понят. Интеллигенция, само существование которой было основано на европейской «идейности и беспочвенности» (по Г.П. Федотову), вовсе не демонстрировала какое-либо желание «учиться мудрости» у Востока. Сокращенный перевод «Проекта» был предпринят В.А. Жуковским в «Вестнике Европы» в 1811 году, но его текст не был оценен по достоинству и самим переводчиком. В.А. Жуковский воспринял «прожект» как своеобразный утопический курьез: «Что касается до самого прожекта, он делает честь изобретателю, но едва ли может быть полезен для России. Тогда бы, кажется, могли мы заниматься и с жарким рвением и с верною пользою рассматриванием литературы азиатской (привлекательной только для любопытства людей ученых) когда бы уже стояли на высокой степени образованности; но где у нас образованность и где ученость?» [14, с. 537]. Язвительный по своему тону отзыв о «Проекте» принадлежал также А.И. Тургеневу, который отнесся к автору проекта как к молодому выскочке и утверждал, что он «кажется и сам не ясно знает, чего он хочет и какой цели старается достигнуть в отношении к Востоку. Я не примечаю в нем стремление к истинной пользе, а более жадность к бумажному бессмертию и к той славе, которую дают немецкие и французские ученые общества и книгописатели» [14, с. 537].

Обращение Уварова к европейским авторитетам было, в действительности, обычным в России способом привлечь внимание общественности и правительства к актуальным для

политики и экономики отечественным сюжетам. С этой целью предпринималось их «раскручивание» за рубежом, с тем чтобы на них затем обратили внимание внутри страны, но уже как бы «с подачи» авторитетных иностранцев. Об этом пишет А.С. Хомяков в своей статье «Мнение иностранцев о России» [24]. Самым характерным примером такого, по выражению А.С. Хомякова, «доверчивого поклонения перед европейской образованностью» является исследование русских народных учреждений, в частности сельской общины, предпринятое немецким ученым бароном Августом фон Гакстгаузеном, издавшим после путешествия по России свою трехтомную книгу о русской деревне. Есть мнение, что резонанс, вызванный исследованиями Гакстгаузена, был своего рода PR-акцией московских славянофилов, которые использовали его авторитет в своих целях, а именно для привлечения внимания к вопросу о судьбе поземельной общины. Барон Гакстгаузен, будучи консерватором и монархистом, видел в укреплении крестьянской общины источник народного благосостояния и противоядие против социальной революции. Исследование Гакстгаузена имело то положительное значение, что подвергало критике стремление интеллигенции всегда искать рецепты решения русских проблем за рубежом. По меткому наблюдению Гактсгаузена, «благодаря различию в образовании верхних и нижних слоев русского народа, образованное сословие утратило всякое понимание сельских народных учреждений. Воспитанное на европейских нравах, изучившее иноземные законодательства и учреждения, оно смотрело чужими глазами на учреждения своего народа и, насколько могло влиять на законодательство, старалось изменить их по европейскому образцу» [22, с. 16][1].

Как известно, первоначально уваровский проект был опубликован анонимно по-французски малым тиражом в 1810 году, после возвращения Уварова в Россию с дипломатической службы [9]. См. также последующие издания в Германии и Франции [10, 11]. (В этом же 1810 году Уваров женился на Екатерине Алексеевне Разумовской, дочери известного аристократа, тогдашнего министра народного просвещения Алексея Кирилловича Разумовского и племяннице его брата, посла в Австрии Андрея Разумовского, непосредственного начальника Уварова.) Резким контрастом ироническим оценкам русских современников выглядел комплиментарный, восторженный отзыв Гёте, который в ответ на почтительное письмо Уварова[2] и посланный им экземпляр «Проекта Азиатской академии» написал следующее: «С восхищением и радостью прочел я присланную полную значения записку (Memoire) – с восхищением перед проникновенностью автора и широтой его кругозора, с радостью от его деятельности, от той доброй готовности, с какой он намерен применять свои знания в большом масштабе. Поистине мы живем в век итогов и resumes; так много произошло, так много нам предстоит, что мы отныне можем собирать, заканчивать, дополнять, продолжать пользоваться результатами. Поэтому счастливы те, кто еще в молодости обладают способностями, влечением и нужными условиями для такой деятельности. Я ничего так не желаю, как того, чтобы Вы как можно скорее возглавили азиатский институт, стали бы распространять свет на обе части света, которым принадлежит государство Вашего монарха. По-царски способствовать этому начинанию – это усилило бы блеск, которым он умеет окружать свой трон» [14, с. 538].

[1] Примером такого отношения, по Гакстгаузену, являются убеждения того же Александра Тургенева, с которым был знаком немецкий ученый, и который дал критическую оценку проекта Уварова: «Замечательный пример этому представлял недавно умерший Александр Тургенев. С обширным европейским космополитическим образованием, с глубокою и страстною любовью к родине, с основательным знанием истории своей страны, он остался чужд пониманию народной жизни» [22, с. 16].

[2] С.С. Уваров писал Гёте: «Ваше Превосходительство! Беру смелость переслать Вам экземпляр моего первого литературного опыта. Пришло время и нам принять участие в современном великом движении всех идей, чтобы построить нашу культуру на прочной основе Востока. Вам не чуждо это превосходное воззрение. В Ваших бессмертных творениях всюду господствует полнота высокого духа, который охотно пребывает в широких просторах прекрасной древности, чтобы потом творчески взлететь на вершину высокой поэзии…» [13, с. 538].

Таким образом, мы видим, что проект Уварова предназначался первоначально для распространения в европейских научных кругах, где амбициозный молодой ученый и дипломат искал поддержки и сочувствия своим идеям. Но не только там. Проект послужил также основанием для дальнейшего продвижения по служебной лестнице, стал для правительства своего рода «сертификатом учености» Уварова и поэтому его автор в 1811 году (в двадцатипятилетнем возрасте!) вступает в должность попечителя столичного Петербургского учебного округа, одного из шести, существовавших в Российской империи. Это назначение открыло Уварову в 1833 году путь к посту министра народного просвещения, на котором он зарекомендовал себя как один из наиболее эффективных государственных деятелей Российской империи. В этом же 1833 году Уваров опубликовал на французском языке заметку, посвященную памяти Гёте, «крестного отца» своего «Проекта Азиатской академии». Это своего рода некролог, но некролог необычный, где отсутствует подробное перечисление заслуг великого немецкого ученого в разных областях естественных и гуманитарных наук, хотя Уваров и указал на энциклопедизм великого ученого и на его вклад в художественную литературу, филологию, а также «в изучение всех отраслей естественных наук». Речь памяти Гёте, произнесенная Уваровым 22 марта 1833 года на пленарном заседании Академии наук, явилась на самом деле поводом для изложения собственных консервативных воззрений Уварова. Уваров подчеркнул не только и не столько универсальный, всеобщий гений Гёте, но прежде всего его национальный гений. По его словам, «Гёте с глубочайшей прозорливостью угадал особый характер своего народа, характер серьезный, созерцательный, страстный, искренний, нуждающийся, вероятно, в живом парадоксе для полного развития своих сил» [23, с. 319]. Кроме того, Уваров представил Гёте в качестве последовательного монархиста и аристократа, аристократа «принципов, вкуса и чувств – это в то время, когда вся аристократия отступила» [23, с. 318]. Завершается заметка о Гёте сравнением его с монархом (высшая похвала для Уварова), отсюда для Европы утрата такого гения в эпоху, когда шатаются монархии, равносильна потере верховного правителя: «Потеряв этого великого человека, Германия потеряла единство и последнюю из монархических литератур, она потеряла монарха, возведенного на пьедестал по законному праву гения и по единодушному согласию его соотечественников, но монарха в высшей степени неконституционного, готового разгневаться, если начать с ним говорить о хартии, занимающегося самолично бесчисленными интеллектуальными делами и особенно далекого от того, чтобы допустить народный суверенитет в деле литературы и науки» [23, с. 324]. Последние слова, очевидно, должны были не столько возвысить гений Гёте, сколько подчеркнуть легитимистские устремления самого автора – министра народного просвещения и президента Академии наук.

Настоящую доступность на русском языке проект Уварова получил лишь спустя сто лет после его опубликования на французском языке в переводе В.И. Парсамова [13]. Ситуация вполне сходная с судьбой политического наследия другого выдающегося консерватора, тоже «выходца из Европы» (И.С. Аксаков), имевшего, подобно Уварову, широкие связи в европейских научных кругах. Речь идет о дипломате и великом русском поэте Федоре Ивановиче Тютчеве. На французском языке написаны и опубликованы политические статьи Тютчева: «Письмо г-ну Густаву Кольбу, редактору «Альгемайне цайтунг» (1844), «Россия и революция» (1849), «Папство и римский вопрос» (1850), вышедшие на родине поэта лишь в 1873 и 1886 годах. Однако в отличие от консервативного наследия Тютчева, оставшегося малоизвестным в России XIX века, многие начинания Уварова, в том числе и его ориенталистский проект, были успешно реализованы в практике науки и образования; ему удалось, по его словам, «блюсти не только за просвещением, но и блюсти за духом поколения». Ричард Пайпс, сравнивший ориенталистику Уварова с проектами евразийцев, заметил, что проекты евразийцев остались утопиями, тогда как большая часть замысленного Уваровым была реализована [16].

Выступив 22 марта 1818 года в качестве президента императорской Академии наук и попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, Уваров провозгласил те же принципиальные мысли о значении Востока, что содержались в «Проекте Азиатской академии» в связи с открытием курсов по изучению восточных языков: «Восток первая колыбель, первое поприще лучшего бытия, первый свидетель падения рода человеческого. Из Азии проистекали все религии, все науки, вся философия. Она одна сохранила чудесный дар производить все большие явления морального мира; там находили мы истинный единственный источник всеобщего просвещения, и кто мог бы не гореть желанием созерцать вблизи богатства неисчерпаемого рудника ума человеческого?» [14, с. 253]. Подробное перечисление достижений Министерства народного просвещения под управлением С.С. Уварова в сфере ориенталистики было дано в записке на высочайшее имя в 1843 году. В разделе «Восточные языки и словесность» содержится впечатляющий перечень нововведений Уварова в данной области, в том числе включение в Университетский устав 1835 года положения о кафедрах восточной словесности, в круг которых включено изучение арабского, турецкого, персидского, сирийского и других языков. Особо выделено Восточное отделение в Казанском университете, в котором впервые были учреждены кафедры монгольского и тибетского языков. Причем отмечается введение изучения восточных языков не только в университетах в разных частях империи, но также в гимназиях и средних учебных заведениях, что было особенно актуально в местах поселения коренных восточных народов. Указано, в частности, на открытие татарских классов в Симферопольской гимназии, а также в Бахчисарайском, Перекопском и Карасубазарском уездных училищах.

Особенностью подхода Уварова было привлечение «для преподавания и практических упражнений» коренных жителей восточных стран, в том числе «уроженцев Мазандерана, Дербена, Азербиджана, турецких хаджи и бурятских лам». Особенностью развиваемой в России «ориентальной филологии», по Уварову, является ее практическая устремленность на удовлетворение просветительских потребностей для населения восточных народов, вошедших в состав Российской империи, тогда как в Европе по его замечанию, «ориентальная филология не может переступить за пределы кабинетного изучения», ограничиваясь изучением древних мертвых языков. Особенно выделяется Уваровым успешно развивающаяся «словесность грузин и армян», а также деятельность Лазаревского института восточных языков, который «получил особые права», «успешно образуя для армянского народа чиновников военных и гражданских, переводчиков и учителей».

Оценивая ориенталистские достижения Уварова, необходимо отметить их отличие от западных концепций Востока, раскрытых в фундаментальной монографии американского историка палестинского происхождения Эдварда Вади Саида, которая основывается на кропотливом философском и культурологическом анализе практически всех известных западных концепций Востока, включая работы Фридриха Шлегеля, Гёте, Гюго, Шатобриана, Байрона, Дизраэли, Флобера и многих другие. Автор этой книги, вызвавшей большую полемику на Западе, пришел к выводу о том, что традиционный западный ориентализм при всех его достижениях в изучении Востока всегда исходит из презумпции его «инаковости», отсюда западный взгляд на Восток «со стороны», как на «чужого» [28]. Уваров, как и евразийцы, смотрели на Восток иначе, считали, что Восток не «вне нас, а внутри нас», оценивали российский Восток как неотъемлемую часть континента Россия-Евразия, которая подлежит наряду со всеми другими ее частями вовлечению в общее экономическое, культурное, образовательное и научное пространство. Эта перекличка русских мыслителей разных эпох и разных мировоззрений указывает на их общие цивилизационные корни и сохраняет свое значение для современности.

Литература

1. Русский консерватизм середины XVIII – начала XX века: энциклопедия / отв. ред. В.В. Шелохаев. М., 2010.
2. Консерватизм: перспектива или альтернатива?: Сб. науч. статей / под ред. Ю.Н. Солонина. СПб., 2010.
3. *Минаков А.Ю.* Русский консерватизм первой четверти XIX в. // Русский консерватизм первой четверти XIX в. // редколлегия: А.Ю. Минаков, С.В. Хатунцев, Н.Н. Лупарева, А.О. Мещерякова. Воронеж, 2011.
4. Вопросы истории консерватизма : Альманах. Воронеж, 2015. № 1.
5. *Фетисенко О.Л.* Гептастилисты. Константин Леонтьев, его собеседники и ученики. СПб., 2012.
6. Politconservatism.ru
7. Тетради по консерватизму: Альманах ИСЭПИ.
8. *Мещерякова А.О.* Создатель русской триады: интеллектуальная биография С.С. Уварова // Русский консерватизм первой четверти XIX в. Воронеж, 2011.
9. [*Уваров С.С.*] Projet d'une Académie Asiatique (Проект Азиатской академии). СПб., 1810
10. *Ouvaroff S.* Projet d'une Académie Asiatique. 1810 // Etudes de Philologie et de Critique. Paris, 1845. P. 1–48.
11. *Uwarow S.S.* Ideen zu einer asiatischen Akademie. Berlin, 1811.
12. *Уваров С.С.* Проект Азиатской академии; сокр. пер. с фр. В.А. Жуковского // Вестник Европы. 1811. № 1, 2.
13. *Уваров С.С.* Проект Азиатской академии // Сергей Семенович Уваров. Избранные труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент.: В.И Парсамов, С.В. Удалов; пер. В.С Парсамова. М., 2010.
14. Сергей Семенович Уваров. Избранные труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент.: В.И Парсамов, С.В. Удалов; пер. В.С Парсамова. М., 2010.
15. *Шпет, Густав.* Очерк развития русской философии / отв. ред.-сост., коммент, археограф. работа Т.Г. Щедрина. М., 2008.
16. *Пайпс Р.* Сергей Семенович Уваров: жизнеописание. М., 2013.
17. *Виттекер Ц.Х.* Граф Сергей Семенович Уваров и его время. СПб., 1999.
18. *Липич Т.И.* Русский литературно-философский романтизм в диалоге культур России и Германии первой половины XIX века: Автореф. дисс. … д. философ. н. Белгород, 2011.
19. *Парсамов В.С., Удалов С.В.* Сергей Семенович Уваров // *Уваров С.С.* Избранные труды. М., 2010.
20. *Савицкий П.* Поворот к Востоку // Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев. София, 1921.
21. *Трубецкой Н.С.* Религии Индии и христианство // На путях. Утверждение евразийцев. М.; Берлин, 1922. Кн. вторая.
22. *Гакстгаузен А.* Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России. М., 2017.
23. *Уваров С.С.* Заметка о Гёте // Сергей Семенович Уваров. Избранные труды. М., 2010.
24. *Хомяков А.С.* Мнение иностранцев о России / А.С. Хомяков // Избранные статьи и письма / общ. ред., сост., подгот. текста, коммент. Л.Е. Шапошникова, О.В. Парилова, И.А. Треушникова; авт. вступ. статьи Л.Е. Шапошников. М., 2004.
25. *Никитенко А.В.* Дневник. Л., 1955. Т. I: 1826–1857.
26. *Трубецкой Николай.* Европа и Евразия. М., 2014.
27. *Чаадаев П.Я.* Полн. собр. соч. и избр. письма. М., 1991. Т. 2.
28. *Саид, Эдвард В.* Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006.
29. *Маслин М.А.* Разноликость и единство русской философии. СПб., 2017.

Аннотация. В статье рассматривается главное ориенталистское сочинение С.С. Уварова – «Проект Азиатской академии», который сделал его имя известным в европейских научных кругах и позволил ему занять высокие государственные посты в Российской империи – министра народного просвещения и президента Российской Академии наук. Показана оценка проекта со стороны российских и западных мыслителей. Автор приходит к выводу что, несмотря на мировоззренческие различия, проект имеет сходство с идеями евразийцев, мыслителей русского зарубежья XX века.

Ключевые слова: Ориентализм, Восток, евразийство, романтизм, Просвещение, Российская Академия наук, православие, русское самодержавие.

Mikhail Maslin, Ph.D. in Philosophy; Head, Russian Philosophy History Department, Philosophy Faculty, Lomonosov Moscow State University; Professor Emeritus. E-mail: mmaslin@yandex.ru

Predecessor of Eeurasianism. Uvarov's Orientalism in Historical Perspective

Abstract. The article analyzes Uvarov's main orientalistic work "The Project of Asiatic Academy» which made Uvarov's name well known in European scientific circles and let him take up high governmental posts – minister of education and president of the Academy of Sciences. It is shown how the project was assessed by Russian and European thinkers. The author arrives at the conclusion that in spite of the ideological differences the project has much in common with the ideas of Eurasianists, Russian Émigré thinkers of the 20th century.

Keywords: Orientalism, East, Eurasianism, Romantism, Enlightenment, Russian Academy of Sciences, Orthodoxy, Russian Autocracy.

Уваров
о времени и о себе

Раздел четвертый

М.М. Шевченко
Опыт автобиографии Сергея Уварова. 1852

М.М. Шевченко
Записка С.С. Уварова о крепостном праве в России (1830/1831)

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-1-267-334

Максим Шевченко

Опыт автобиографии Сергея Уварова. 1852

В истории русской мемуарной литературы С.С. Уваров оставил себе одно из самых скромных мест. При всей своей продолжительной и насыщенной событиями общественно-политической карьере он оставил в качестве воспоминаний в публикациях и рукописях несколько коротких эссе. Одним из последних, написанных за три с небольшим года до смерти, был «Опыт автобиографии, посвященный моему сыну», который по стилю и манере практически не отличается от других. Сергей Семенович писал свои воспоминания быстро, почти набело, пользуясь, по-видимому, почти лишь старыми письмами без подробных дневников или памятных заметок. Те воспоминания, которые остались в виде рукописей, выглядят зачастую неполными или незаконченными из-за неточных ссылок друг на друга. Данный текст кажется разве что еще менее редактированным, как не предназначенный автором непосредственно к печати. Главное историческое свидетельство в нем, представляющее особенную ценность или интерес, – это личность самого Уварова, его субъективные оценки, суждения, впечатления и даже умолчания, чаще всего намеренные или, реже, ненамеренные.

По этим воспоминаниям, судьба Уварова была судьбой рожденного при дворе потомственного слуги двух монархов. Два царствования – это два периода его жизни. Поворотными в ней были два события, произошедшие с ним оба раза во время бала: в ранней юности представление императору Александру и предложение императора Николая возглавить ведомство народного просвещения. Довольно скупо и неконкретно, но достаточно определенно Уваров говорит о том, что, следуя за Александром Павловичем, он стал соучастником ошибок его царствования, связанных с либеральными политическими тенденциями. Образование, которое он получил в детстве и отрочестве, было даже не столько космополитическим, как у всей тогдашней русской придворной аристократии, а просто французским, случайно завезенным в Россию бежавшими от революции 1789 года аббатами-эмигрантами. Настоящее, не поверхностное знание европейской культуры он сформировал у себя углубленными многолетними занятиями классическими языками и филологией уже во время службы по Министерству народного просвещения и опытом общения с учено-литературным миром Европы, особенно свидетелями ушедшего столетия. Разочаровавшись в либерализме Александровского правления и критически переоценив его предпосылки, он в начале правления Николаевского также несколько лет потратил на самостоятельное изучение России путем продолжительных путешествий, сохраняя свое придворное и служебное положение. В первые годы царствования императора Николая I, опасаясь рецидивов правительственного либерализма, он активно боролся за твердо-консервативное направление русского политического курса. В ходе этой борьбы он окон-

Шевченко Максим Михайлович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России XIX века – начала XX века Исторического факультета МГУ. E-mail: Shevch_mm@mail.ru

чательно сформулировал свой принципиальный взгляд на главную проблему внутренней политики России – вопрос об отмене крепостного права. Главным его политическим выступлением была записка, специально составленная для императора Николая Павловича и оглашенная для сведения видных деятелей правительственного либерализма минувшего царствования [см. 1]. Сергей Семенович считал это своим важным вкладом в становление николаевской политической системы.

На своем шестнадцатилетнем поприще управления ведомством народного просвещения Уваров особо выделил два сложных политических вопроса – это отношение русского правительства к двум существовавшим под скипетром российских самодержцев образовательным традициям, немецкой в Остзейском крае и польской в царстве Польском. Каждая из них по своей исторической зрелости и мощи превосходила русское, призванное быть общероссийским, образование, только тогда приобретавшее свойства и черты полноценной системы.

«Русские дворяне служат государству, немецкие – нам», – якобы говаривал император Николай I кому-то из членов семьи. Со времен Петра Великого последовательное сохранение русскими монархами незыблемости сословно-корпоративных привилегий, монопольно гарантировавших потомкам древних меченосцев командные позиции в административной, общественной, культурной и хозяйственной жизни Остзейского края обеспечивало образцовую политическую надежность, феодальную преданность окружавших трон балтийцев. В такой прежде как будто бы стабильной и гармоничной картине в николаевскую эпоху обнаружились тревожные симптомы политических осложнений. Они поначалу появились в сфере взаимоотношений между конфессиями.

По распоряжениям Николая I от 20 ноября 1836-го и 2 июля 1841 года из Курляндской губернии в Херсонскую было переселено около 2250 евреев с освобождением их на 25 лет от налогов и рекрутских наборов. Среди латышских крестьян стали распространяться слухи, что им, как и крещеным евреям, в Таврии дадут землю. Это побудило многих перейти в Православную Церковь, о чем епископ Рижский Иринарх (Попов) сообщил обер-прокурору Святейшего Синода. Недовольство местных помещиков и евангелических пасторов не замедлило вырасти, и генерал-губернатор барон М.И. (К.М.) фон дер Пален назначил летом 1841 года комиссию для расследования причин крестьянских волнений. Она признала главной из них деятельность епископа Рижского, направив свой отчет также и ему. Министр внутренних дел граф А.Г. Строганов к расследованию комиссии первоначально отнесся с доверием, его резолюцию одобрил император. В результате преосвященный Иринарх подвергся порицанию. Впредь иметь какие-либо дела с латышскими крестьянами ему было запрещено.

Но спустя время министр изменил свою позицию и дважды докладывал Николаю I, что истинной причиной волнений были не действия епископа Рижского, а бедственное положение местного крестьянства [2, с. 358–360]. Император к мнению прислушался и начал предпринимать шаги к постепенному сглаживанию конфликта, смягчению противоречий. В октябре 1841 года преосвященный Иринарх от рижского викариатства был освобожден и получил повышение: 31 декабря он стал епископом Вологодским и Устюжским. Решительно на сторону лифляндского дворянства стал начальник III Отделения собственной императорской канцелярии шеф жандармов генерал-адъютант граф А.Х. Бенкендорф. В его всеподданнейшем Нравственно-политическом отчете за 1842 год говорилось: «Религиозное рвение Преосвященного Иринарха, даже по отбытии его из Риги, оставило неблагоприятное в том крае впечатление. После него священник единоверческой церкви Емельянов, желая привлечь крестьян Венденского уезда в православие, начал распространять между ними слухи, что земли, ими занимаемые будут предоставлены в их собственность. Таковые внушения, а равно вредные толки псковских торговцев, бродивших по

Лифляндии, и некоторые стеснительные распоряжения Министерства Государственных Имуществ, – усилили неудовольствия лифляндских крестьян до того, что волнение между ними приняло в 1842 году оборот весьма опасный; но эти беспокойства прекращены были в самом начале мерами необходимой строгости правительства и похвальною заботливостью Лифляндского дворянства об улучшении быта поселян» [3, с. 292].

Подобный подход к положению дел в Остзейском крае, при котором определяющей политические выводы была точка зрения местного дворянства, императора больше не удовлетворял. Новый епископ Рижский Филарет, назначенный 21 декабря 1841 года, перед отъездом в свое викариатство был принят лично Николаем I. Генерал-губернатора Палена не поддерживали новый министр внутренних дел Л.А. Перовский и новый начальник III Отделения и шеф жандармов генерал-адъютант граф А.Ф. Орлов, сменивший в сентябре 1844 года скончавшегося Бенкендорфа. 17 марта 1845 года Пален был с последовавшим повышением освобожден от должности Остзейского генерал-губернатора, став членом Государственного совета. Переход в Православие латышам был разрешен. В одном из рижских храмов было введено богослужение на латышском языке. Последовавшая за этим новая волна крестьянских беспорядков в крае уже не стала неожиданной для Петербурга. Николай I теперь следил внимательно за идущими здесь процессами. В Нравственно-политическом отчете за 1845 год Орлов рисовал более сложную и противоречивую, но вместе с тем и более объективную картину обстановки в Остзейском крае, чем Бенкендорф: «Едва ли можно определить причины настоящих событий. Русские объясняют, что стремление латышей к перемене веры происходит от их собственного желания; что протестантское духовенство для сохранения своих выгод интригует против этого стремления и всеми силами старается удержать крестьян в прежней вере; что лифляндские дворяне, принимая настоящие события за опасное волнение, представляют дело в ложном виде. Напротив того, высшие и средние сословия в Лифляндии доказывают, что крестьян подстрекает православное духовенство, что латыши переменяют веру без всякого убеждения единственно для избежания помещичьей зависимости, и что перемена исповедания… есть не религиозный, а политический переворот, грозящий бедствиями краю… трудно определить, на которой стороне здесь справедливость, но, тем не менее, общее стремление латышей обратиться к православию возросло до такой степени, что останавливать этот порыв столько же опасно, как и содействовать ему. Поэтому Государем Императором Высочайше повелено: предоставить латышей относительно перемены веры собственному их убеждению, но строго преследовать тех, которые осмелятся подстрекать их к беспорядкам; равно наблюдать, чтобы лифляндские дворяне и протестантское духовенство не отклоняли желающих от православия». Орлов шел дальше, указывая Николаю Павловичу на серьезные противоречия между правительственной политикой и административной и сословной обособленностью Остзейского края: «Замечают еще, что было бы полезно отменить в остзейских губерниях те из местных привилегий, которые не согласны с обстоятельствами времени и находятся в противоречии с распоряжениями нашего правительства. Например, министр народного просвещения старается распространять в тех губерниях русский язык, а на основании привилегий в присутственных местах там производятся дела только на немецком языке и даже не примут просьбы на русском языке! Ныне распространяется в Остзейских губерниях православное исповедание, а по местным привилегиям православные там не могут заниматься иностранным торгом, потому что это предоставлено Большой гильдии, в которую записываются одни лютеране; русские не допускаются ни к каким ремеслам в городах, потому что мастером может быть только лютеранин; наконец, русский дворянин не может пользоваться всеми правами своими в Остзейских губерниях; словом, – православная вера и русские в Остзейских губерниях унижены пред местными верою и жителями». Заключение Орлова недвусмысленно

обозначало положение в Прибалтийском крае как серьезную политическую проблему: «Таким образом, высшие и средние сословия в Остзейских губерниях, отделяя себя от общих прав и обязанностей господствующего народа в России, держат себя как бы в самобытном положении. Поэтому, особенно ныне, с распространением в Остзейских губерниях православия, надлежало бы постепенно и осторожно ослаблять силу тех местных привилегий, которыми ограничиваются права русских, и поставить там православных в то положение, в котором господствующий народ должен находиться в пределах империи» [3, с. 371–373].

Эксперт министра народного просвещения С.С. Уварова рисовал удручающе тяжелую картину положения латышского и эстонского крестьянства: «Когда существовало крепостное положение, помещик, в неурожайные годы, кормил своих крестьян, поддерживал их в разных обстоятельствах, был их природным заступником. Теперь эта священная обязанность исчезла… нигде в России, между простым народом, нет столько самоубийств, как в Остзейских Губерниях… протрудившись десятки годов, пахарь в будущем часто видит одну голодную смерть или убогую нищету. Долговечность необыкновенно редка: человек лет пятидесяти имеет наружность старика дряхлого. Стоит взглянуть на длинную, грязную хижину Чухны или Латыша, мало чем разнящуюся от берлоги зверя, одиноко темнеющую в лесу или в болотистой топи; стоит отведать хлеб, который они едят, – это черствое, серое тесто, испеченное пополам с золой, угольями, песком и соломой; стоит взглянуть на их лица, пасмурные, одичалые, убитые нуждой и горем, чтобы легко понять их желание – оставить неприязненную родину и искать убежища под другим небом. Помещики, стремясь, при личной свободе, держать их сколько можно, в безусловной от себя зависимости, придумали запутывать бедняков в неоплатные долги.. К этому много способствует свободное винокурение: питейные дома, словно западни, встречаются на каждом шагу, и около них беспрестанно толпятся, с растрепанными волосами, полунагие, обвешанные лохмотьями чухны, алча утопить в одуревающей водке свои невзгоды… От того в Остзейских губерниях земледельческое домоводство (разумеется Господское) цветет, дворянство пухнет избытком и гордостью, а простой народ со дня на день сохнет, беднеет и край, в настоящем смысле, разоряется… Вот истинные причины происходящих ныне в Лифляндии беспокойств, прекращения коих можно ожидать лишь от коренного изменения в отношениях крестьян к помещикам» [4, оп. 1, ед. хр. 39, л. 80 об.–82 об.].

К 1848 году в Православие перешло уже около 38 000 латышей и 70 000 эстонцев [2, с. 363]. В 1850 году Николай I издал указ об учреждении самостоятельной Рижской епархии.

Сам император с начала царствования обратил внимание на слабо поставленное в остзейских училищах «необходимое всем Русским подданным обучение отечественному языку». В 1827 году после посещения губернских гимназий в Риге и Ревеле он распорядился добавить в каждую из них из числа наилучших выпускников русских университетов по два учителя русского языка и словесности с окладами выше штатных. Управляющий Министерством народного просвещения Уваров в 1833 году не скупился на самые лестные характеристики для Дерптского университета как учебного заведения «полезного и во многих отношениях прекрасного», ходатайствовал об изъявлении монаршего благоволения ректору и профессуре «за усердие, труды и единодушие», но вместе с тем отмечал, что «к числу не довольно уваженных предметов принадлежит Русский язык», а кафедра русской словесности остается вакантной. Через полгода перед Комитетом министров Уваров подчеркнул, что «сие происходит не от недостатка в искусных преподавателях, но, полагать должно, от небрежения учащихся к Русскому языку». Последовало предоставление права поступать на гражданскую службу прямо в чине четырнадцатого класса, минуя низшие канцелярские должности, тем выпускникам прибалтийских гимназий, которые «сверх отличия во всех прочих науках и в поведении, окажут на испытании совершенное знание

Русского языка и превосходные успехи в Русской словесности» [5, стлб. 402, 404, 447, 448–449]. Конечной целью преобразования учебных заведений Дерптского округа в докладе императору 16 декабря 1836 года Уваров называл их интеграцию в общероссийскую систему общего образования. Но, полагая, «что такое преобразование было бы ныне и преждевременно и едва ли возможно» [цит. по: 6, с. 321] из-за могущих последовать затруднений с приглашением в Дерптский университет иностранных профессоров и плохого знания учащимися русского языка, предлагал переходные меры к постепенному усилению его преподавания и введению отдельных общих норм русских училищных уставов. При этом общий план действий, по замыслу Уварова, должен оставаться негласным. 20 января 1837 года Николай I распространил на Дерптский округ общий порядок управления учебными округами, а 9 апреля Комитету устройства учебных заведений было объявлено, что уставы 1820 года в Дерптском округе по-прежнему остаются в силе.

«Сохранив свой особый устав, – отмечал официальный историк ведомства народного просвещения, – Дерптский университет постепенно стал утрачивать изолированное положение» [цит. по: 6, с. 322]. В 1836 году на него было распространено действие статьи 80-й общего университетского устава 1835 года, дававшей министру право самому замещать свободные кафедры лицами, обладавшими учеными степенями, а в 1841-м – еще трех статей об избрании ректора и деканов. 19 декабря 1836 года император велел «строго подтвердить Дерптскому университету, чтобы никто не был удостаиваем звания Действительного студента, кандидата и лекаря без достаточного знания Русского языка» и «через пять лет никого в сей Университет не принимать в студенты, ежели не выдержит предварительного строгого экзамена в основательном знании Русского языка». 22 января 1837 года последовало повеление Николая I «постановить строгим правилом, чтобы по истечении трех лет никто из уроженцев Остзейских губерний не был определяем учителем в гимназию или училище, если не будет способен преподавать свой предмет на Русском языке, и за исполнением сего, по допущению к означенной должности, наблюдать без упущения» [7, отд. 1, стлб. 950, 955–956].

Пассивное сопротивление прибалтийской училищной администрации и учащего состава, поддержанное остзейским корпоративным духом, усиливалось. Политике министерства в крае стал активно противодействовать глава тайной полиции граф Бенкендорф. Со второй половины 1830-х годов у III Отделения усиливаются трения с ведомством народного просвещения по вопросам цензуры. В 1839 году шеф жандармов доносил императору о протестах тамошних предводителей дворянства, указывая на обвинения в адрес министра Уварова в стремлении бросить тень в глазах Николая Павловича на всем известную верность и преданность остзейцев [8, д. 1467, ч. VIII. л. 1–3об.]. Император отсрочил до 16 декабря 1845 года введение в действие правила 1836 года о непринятии в число студентов Дерптского университета не выдержавших экзамена по русскому языку и невозведении без знания последнего в первые ученые степени. Одновременно добавлялись одиннадцать дополнительных учителей русского языка в Митавской, Рижской, Ревельской, Дерптской гимназиях, в Ревельском Домском училище, в Митавском, двух Рижских, Ревельском, Перновском и Дерптском уездных училищах. Солидную прибавку к жалованию за преподавание русского языка в Дерптской девичьей школе получал младший учитель Дерптской гимназии. Выделялись дополнительные средства на приобретение соответственных учебных пособий. В начале 1840 года, по представлению Уварова, император согласился к десяти штатным воспитанникам Дерптской семинарии для подготовки учителей начальных школ добавить еще четыре, «с тем чтобы они преимущественно образуемы были для занятия должностей учителей Русского языка в уездных училищах Дерптского округа, и по окончании в Семинарии курса, отправляемы были в Главный Педагогический институт на два года, для окончательного усовершенствования» [7, отд. 1, стлб. 1222–1224; отд. 2, стлб. 3].

Неприятный для балтийского дворянства своей последовательностью в исполнении монаршей воли министр народного просвещения с рубежа 1830–1840-х годов сделался постоянным объектом придворных интриг. На страницах дневника члена Государственного совета барона М.А. Корфа Уваров изображался как «ненавидящий Дерптский университет и вообще Остзейские провинции, от которых уже неоднократно были приносимы жалобы Государю, и не всегда безуспешно» [9, с. 49], склонный-де к подлости «из угождения некоторым любимым идеям Государя» [8, д. 1817, ч. 1, л. 155 об.]. Сам же император, к утешению Корфа, в разговоре с председателем Государственного совета князем И.В. Васильчиковым осенью 1839 года твердо заявил, что не пойдет ни на какие изменения в области особых привилегий остзейского дворянства [10, с. 474].

В немецких газетах "Allgemeine Zeitung" и „Neue Hamburgische Zeitung" в 1839 году появились публикации двух всеподданнейших докладов Уварова 1836 и 1838 года с изложением политических планов Министерства народного просвещения в Прибалтийском крае. Признанные виновными в разглашении секретных служебных сведений директор канцелярии попечителя Дерптского учебного округа и один из учителей Митавской гимназии были отправлены в ссылку: один – в Вятку, другой – в Уфу. С одной из публикаций познакомился двадцать пять лет прослуживший в Дерптском университете академик Г.Ф. фон Паррот, давний корреспондент и любимец императора Александра I. Из уважения к памяти венценосного брата Николай Павлович в начале своего царствования через президента Академии наук Уварова предложил ученому письменно высказаться по некоторым политическим вопросам, на что тот охотно согласился. В письме от 8 (20) марта 1839 года Паррот завел речь о планах Уварова касательно Остзейского края, санкционированных Николаем I. В стремлении распространить в преподавании и учебной администрации наряду с немецким русский язык он обнаружил у Уварова поползновение отнять у остзейцев их немецкую идентичность: «Неужели он, действительно, думает… привить провинциям русскую национальность, и чтобы русский язык мог сделать верноподданных государю и отечеству?». Замысел Уварова, по мнению Паррота, государственно нелеп и культурно реакционен: «Не хочет ли автор доклада, требующий коренных русских нравов, восстановить те времена, когда народ не мог найти у себя человека, способного управлять им, и обратился поэтому к варягу Рюрику, или ту эпоху, когда Россия была разделена на множество княжеств и представляла собою завидную добычу для варваров, или, еще лучше, те новейшие времена, когда стрельцы были преторианцами и янычарами в России? Настоящее законодательство, созданное Петром Великим, уничтожило старые нравы. Поэтому, сомнительно, чтобы просвещенный русский человек мог сожалеть о потере давно прошедших времен». Паррот не сомневался, что новая Россия всеми своими достижениями обязана балтийцам или выходцам из Германии. При Екатерине II «многие ездили за границу, но в качестве туристов, а не с целями образовательными. Эта преждевременная и поверхностная цивилизация заставила думать русских, что они ушли гораздо дальше вперед, чем это было в действительности. Все, что произошло тогда хорошего, произошло большею частью через немцев, стремившихся в Россию и через жителей Балтийских провинций, которые собрались в Петербурге…». А затормозил, по мнению академика, развитие русской цивилизации приток в конце XVIII века французов-эмигрантов, лишенных настоящей, истинно немецкой учености. Остзейцы по своему культурному развитию выше русских и сами решают, для чего и в каком объеме им может понадобиться русский язык: претензии Министерства народного просвещения неосновательны. «Хотя я должен бояться обидеть Вас, – писал Паррот Николаю I, – но хотел бы еще раз доказать, что степень развития Балтийских провинций выше, чем в остальной России». Поэтому министр Уваров должен «трудиться… чтобы развитие остальной России было поднято до уровня балтийских провинций. Неблагодарный забыл, что он своим собственным образованием обязан немецкой

школе». Николаю I Паррот ради собственных интересов предлагал «увериться», «что император российский не должен быть непременно славянином» [11, с. 207–208, 213–218].

Бенкендорф эти суждения Паррота горячо одобрил: «…поздравляю Вас, что Вы так написали и можно поздравить государя, прочитавшего со вниманием Ваше строгое послание…»[11, с. 219].

Американской исследовательнице Ц. Виттекер – автору монографической работы о жизни и деятельности Уварова, – не обнаружившей интереса к тонкостям николаевской политики, планы Уварова напоминали «советскую доктрину». Но и она признала, что «политика Уварова облегчала рост Дерптского университета и наступление в нем “золотого века”»[12, p. 190, 201].

Бенкендорф, содействовавший назначению Уварова главой ведомства народного просвещения, в Нравственно-политическом отчете за 1839 год давал теперь министру уничтожающую характеристику: «…Уваров единственно старается о том, чтобы наделать больше шуму и накрыть каждое дело блистательным лаком. Отчеты его превосходно написаны, но не пользуются ни малейшею доверенностью… Правда, что по воле Государевой вводится в польских и немецких провинциях изучение русского языка; но можно ли верить, чтоб успехи были таковы, как написано в отчетах, когда в самой столице нет хороших русских учителей… Ни один министр не действует так самовластно, как Уваров. У него беспрестанно имя Государя на устах, а между тем своими министерскими предписаниями он ослабил силу многих законов, утвержденных Высочайшей властью… В самом существе Уваров старается, чтобы цифры учащихся возвышались, но самое учение еще на весьма низкой степени в русских округах с сравнением даже с Дерптским, и русский магистр едва ли получит патент студента в Дерпте…» [3, с. 210–211].

Тем не менее в начале 1840-х годов император Николай I, наблюдая за состоянием общественного мнения, твердо стоял на стороне министра народного просвещения. Уваров с благодарностью вспоминал об этом на закате дней. На его юбилейном докладе, посвященном десятилетию управления министерством, государь написал: «Читал с удовольствием». Император, таким образом, публично подчеркивал, что цель правительственной политики именно такова, какой ее формулировал Уваров: сообразовываясь «с местными, так сказать, историческими особенностями государства и его жителей, разноплеменных, удаленных друг от друга и происхождением и степенями образованности», обеспечить «водворение образования отечественного, соответственного потребностям нашего века, образования самобытного и русского по превосходству» [13, с. 47–48]. Николай Павлович принимал, таким образом, и уваровское понимание учета специфики Прибалтийского края, «где политическая верность господствует с предрассудками, где чувство преданности законному государю большею частью покрывает, так сказать, странности обветшалых понятий; там, где врожденная недоверчивость, пополам с природною гордостью и расчетливостью, ищет и находит в нашей истории несколько поводов думать, что просвещением и талантами жители Балтийских берегов, некогда превышая нас, имели прямое влияние на судьбу Империи…». Николай I принимал и уваровскую оценку значения остзейцев в истории России нового времени: «В течение прошедшего и в начале настоящего столетий, влияние этих губерний видимо отражается на каждой странице нашей политической истории. Нет сомнения, что эта горсть людей другого происхождения, но людей умных, предприимчивых, образованных, много способствовала к нашему развитию, не щадя, впрочем, в иных случаях, ни крови, ни чести России. В общем смысле, их государственные люди расширили пределы Империи; их воины проливали кровь за Дом Романовых; их художники и ученые сообщали нам сведения о европейском образовании. Все это неоспоримо и все это заслуживает нашу признательность; но тем и оканчивается всякое справедливое с их стороны сочувствие между ими и нами. Оттого, что они угнетали Россию императрицы

Анны; оттого что они вблизи видели Россию Елизаветы и Екатерины II, они упорно заключают, что Россия тот же младенец, к охранению коего и они платили дань усердия, не всегда беспристрастного, не всегда бескорыстного. Словом, – они не постигают России Николая I-го… вот что отличает и некоторым образом отталкивает от нас это поколение людей одаренных душевными доблестями и некоторым прямодушием…». По отношению же и к современному германскому миру Прибалтийский край ныне представляет собой глубокую провинцию: «С одной стороны, Германия изменилась, с другой – Россия возмужала. Тщетно дух остзейских губерний считает себя представителем немецкого просвещения в России; мы это просвещение понимаем и ценим вернее их… привилегии, проистекающие первоначально из прав рыцарства германского, уничтожены везде в Германии и без сомнения не существовали бы уже давно, если б остзейские губернии, вместо русской державы, были подвластны, например, прусскому правительству…». Местное дворянство, таким образом, сопротивляется и европейскому влиянию, и русскому, и средним и низшим сословиям собственно Остзейского края, усугубляя здесь социальные антагонизмы [13, с. 49–50, 52–53].

Кроме этого провинциального духа, сопутствующего неустройству социальному, спецификой края является и неустройство религиозное, порождаемое постепенно углубляющимся кризисом протестантизма: «…главное протестантское начало… поставляет церковь как будто в вечное брожение… дерзость умствования о предметах веры достигла, особенно с начала XIX столетия, до невероятия. *Рационализм,* т.е. отрицание всего сверхъестественного, произвел и продолжает производить самые отвратительные явления. От этих явлений родился целый разряд сект… Из общего отрицания, или по крайней мере сомнения всеобщего, умы искали убежища и успокоения в таинственной недоступности *мистицизма*, иногда довольно чувственного и грубого… Обязанность правительства защищать господствующую церковь – может принять свое действие там, где церковь сама защищает себя. Здесь, напротив, две крайности: истощенная церковь, которая не считает себя даже за правоверную, в своем смысле и фанатические секты, которые стремятся занять ее место…». Этим духовным кризисом и объясняется то «с некоторых пор новое, не вполне разгаданное явление: сильное влечение простого народа к православию русскому. Это неоспоримое влечение, несомненное для беспристрастных, родилось более от глубокого чувства неудовольствия к существующему порядку, чем от убеждения в превосходстве церкви…» [13, с. 53–54, 54–55].

В 1853 году, уже после отставки графа С.С. Уварова с поста министра народного просвещения, особая кафедра русской истории, к тому времени уже существовавшая во всех российских университетах, была открыта и в Дерптском. Преемник Уварова на посту министра князь П.А. Ширинский-Шихматов полагал дальнейшее давление в целях водворения русского языка в официальном обиходе учебно-научной жизни Дерптского учебного округа излишним. А сам Уваров в том же году защитил в тамошнем университете магистерскую диссертацию о происхождении болгар, написанную по латыни…

Масштабы бремени, которое представлял собой для русской политики польский вопрос, императору Александру I, во главе Европы вершившему на Венском конгрессе судьбы союзников поверженного Наполеона, были еще не очевидны. Преемник покорителя Парижа император Николай I, через пятнадцать лет завоевав во второй раз Польшу силой русского оружия, уже воспринимал это возвращенное наследие брата с чувством мрачной обреченности. По словам современного британского историка, «стратегия Александра по включению всей Польши в состав империи с одновременным наделением этой страны значительной автономией и либеральной конституцией являлись щедрой и изобретательной попыткой примирить требования российской безопасности с польской свободой и национальной гордостью. Политика Александра в конечном счете провалилась, но тем же за-

кончились и все последующие усилия России урегулировать отношения со своей западной соседкой и извечной соперницей» [14, с. 44].

От того, чтобы восстановить Польшу в границах 1772 года, присоединив к ней Литву, Белоруссию и правобережную Украину, то есть поступить с ней так, как он сделал с Финляндией, которой передал Выборгскую губернию, Александра I удержала отрицательная реакция русского общественного мнения, от имени которого к нему обращался с предостережением Н.М. Карамзин.

Надежда императора Александра I, что польское общество укажет русскому путь к конституции, могло подкрепляться и тем, что польское дворянство, как и остзейское, выглядело образованнее великорусского. Среди польского и полонизированного дворянства Западного края престиж светской образованности в целом был значительно выше, чем среди благородного сословия великорусских губерний: сказывались уходящие корнями в Средневековье соответствующие традиции незабытой Речи Посполитой. Но по мере того как польская политика Александра I все дальше заходила в тупик, русским правящим верхам становилось очевидным, что как местное дворянство не представляет для Российской империи надежной опоры, так и получившая здесь развитие в александровское время школа несет в себе прочно укоренившиеся антигосударственные тенденции.

«Пусть иноземцы осуждают раздел Польши: мы взяли свое», – писал Н.М. Карамзин императору в 1811 году [15, с. 42]. Но перспективы того, что было тогда очевидно для великого историка, были, увы, весьма мало понятны самодержцу, еще не осознанны в необходимой мере правящими верхами. Космополитическое полонофильство императора Александра I привело к тому, что православный народ Правобережной Украины и Белоруссии, имевший позади более чем двухсотлетнюю историю борьбы за Православие, перед продолжавшимся прозелитическим нажимом польского католического духовенства и полонизаторскими устремлениями секуляризованных деятелей просвещения так и остался фактически без поддержки государя и правительства империи, в которой Православная Церковь официально имела статус господствующей. Организованный другом юности Александра Павловича князем А. Чарторыйским Виленский учебный округ был непосредственно звеном в цепи его планов по реставрации Речи Посполитой. Главное учебное заведение округа – Виленский университет «оставался – еще в большей степени, чем Дерптский – неинтегрированным в общероссийский образовательный процесс вплоть до своего закрытия в 1832 году. Дарование широкой университетской автономии на территории, менее чем десять лет назад присоединенной к Российской империи, было смелым шагом, если учесть сколь сильным было здесь католическое влияние и антирусские настроения польской шляхты». Сменивший в 1824 году Чарторыйского на посту попечителя округа Н.Н. Новосильцев при первой же ревизии университета пришел к выводу, что вся система образования в нем имела целью внушить юношеству «надежду на восстановление прежней Польши» [16, с. 324–326]. В официальных документах Виленского учебного округа родным языком всего населения Литвы, Белоруссии, Правобережной Украины, среди которого поляки составляли около пяти-шести процентов, именовался польский. Исключительно на нем велось все преподавание в университете, Кременецком лицее, уездных училищах – везде, кроме учебных заведений Киева. Мысль преподавать в Виленском университете российскую историю Чарторыйский отверг с самого начала. Русский язык везде был отнесен к второстепенным предметам и преподавался как иностранный. Серьезная постановка его преподавания, несмотря на периодические, нарочито положительные, заявления, администрацией учебных заведений фактически саботировалась. Учащиеся православного вероисповедания принуждались начальством к участию в католических богослужениях. Отсюда, как следствие, что те из православного народа Западного края, кто тянулись к образованию, предпочитали отдавать своих детей в духовные учебные заведения [см. 17, с. 29–31, 39, 51–55].

В 1812 году Виленский университет дружно приветствовал вошедшие в город наполеоновские войска. Французская оккупационная администрация находила себе активных помощников среди профессоров и преподавателей, среди студентов – добровольцев для вспомогательных вооруженных формирований. Великому князю Николаю Павловичу было хорошо известно, что «в Белоруссии дворянство, состоящее почти все из весьма богатых поляков, отнюдь не показало преданности России, и, кроме некоторых витебских и южных могилевских дворян, все прочие присягнули Наполеону» [18, т. 1, с. 68]. После изгнания Наполеона и амнистии, дарованной Александром I, политическое брожение среди учащих и учащихся продолжалось.

Повальное участие польской учащейся молодежи в мятеже 1830–1831 годов предопределило то, что после разгрома восстания вся система образования царства Польского перестала существовать. И преподавание в Виленском учебном округе тоже прекратилось. Правительственные указы о закрытии Варшавского университета, Виленского университета и всего округа с Кременецким лицеем и другими учебными заведениями, по сути, лишь следовали за свершившимися фактами. Русской администрации пришлось все организовывать заново, разумеется, без участия тех из числа профессоров и преподавателей, кто скомпрометировал себя участием в восстании.

Важнейшим шагом, призванным обеспечить полномасштабное развитие в Западном крае русской образовательной традиции было учреждение в 1834 года в Киеве Университета Св. Владимира. «Новый университет... – писал министр народного просвещения и президент Санкт-Петербургской Академии наук С.С. Уваров, – должен был по возможности сглаживать те особенные характеристические черты, которыми польское юношество отличается от русского, и в особенности подавлять в нем мысль о частной народности... сближать его с русскими нравами... передавать ему общий дух русского народа и поселять в нем чувство признательности к Государю... Соединение польского юношества с русским в Киеве, в этом некогда первопрестольном граде России, основательное изучение русского языка и словесности, знакомство с учреждениями и установлениями русскими: вот главные средства, которые были в виду для достижения этой цели... Слияние *политическое* не может иметь другого начала кроме слияния *морального и умственного*» [13, с. 124, 142].

Чтобы не оттолкнуть местное дворянство от новосозданного университета Уваров ввел в него профессоров из упраздненного Волынского лицея. Императорский указ Сенату 8 ноября 1833 года прямо объявлял, что Волынский лицей из Кременца переводится в Киев и переименовывается в университет. Первоначально кременецкие профессора численно преобладали над другими. Преподавание польского языка было сохранено для желающих. Еще до того, как при университете был устроен православный храм, министр по представлению попечителя округа разрешил открыть для католических богослужений часовню при условии недопустимости прозелитизма. Ревизовав округ в начале 1837 года, министр убедился, что все преподавание, кроме римско-католического богословия, с успехом ведется на русском языке. Затем в течение ближайших двух лет он с почетом удалил из Киевского университета прежних кременецких профессоров под благовидными предлогами: выслуживших положенный срок уволил с надлежащим пенсионом, остальных перевел на другие должности по ведомству народного просвещения. Император сохранил Университет Св. Владимира и после того, как в 1839 году было обнаружено участие тридцати пяти студентов в польском политическом заговоре. Университет был закрыт лишь временно, сроком на год с сохранением жалованья профессорам и права за студентами быть принятыми в любой российский университет с зачетом времени обучения в Киеве. Преподавание польского языка по возобновлении обучения было прекращено. При посещении учебных заведений Киева царское внимание распространялось шире обыкновенного на одну деталь – освоение воспитанниками русского языка [18, т. 2, с. 722; 17, с. 290–291].

В отличие от брата Александра, Николай Павлович изначально рассматривал Западный край не как ареал непременного доминирования польской культуры, а как исторические русские земли – древнее наследие Киевской Руси.

К 1838 году Уваров считал преобразование учебной системы Западного края в основном законченным. «Поле сражения... по собственному сознанию врагов остается за правительством», – с удовлетворением констатировал министр [6, с. 308]. Приток польской и полонизированной молодежи в казенные учебные заведения края не ослабевал. Среди киевских студентов в течение николаевского времени католиков и униатов в среднем было не менее половины, после 1841 года их доля стабильно удерживалась на уровне не менее 51 процента [6, с. 308].

В 1830-х годах император также обращал внимание министра на необходимость «усилить способы русского женского воспитания, без которого другое по духу края не будет достаточно». В начале 1840-х в Западном крае были закрыты все учебные заведения при женских католических монастырях. Содержательницами частных пансионов оставались сплошь представительницы местного польского дворянства. Такую ситуацию при условии надзора учебной администрации Уваров предпочитал домашнему образованию; возможность вытеснения польских содержательниц русскими он исключал из-за отсутствия кадров и скудости финансовых средств [6, с. 306, 308]. Выразить осторожный оптимизм относительно настроений местного дворянства тем не менее находил возможным начальник тайной полиции – III Отделения собственной императорской канцелярии генерал-адъютант А.Х. Бенкендорф: «…Общий вывод о жителях Западных губерний составляется тот, что если край этот не предан душевно России, то в меньшей мере, нежели Царство Польское, и по времени будет мало-помалу забывать вражду свою и сливаться с Россией» [3, с. 356].

Общее благоприятное впечатление, полученное от результатов, достигнутых в Западном крае, побудило императора использовать накопленный Министерством народного просвещения опыт в мероприятиях по решению польского вопроса теперь уже непосредственно в царстве Польском.

«Опыт автобиографии» Уварова едва ли не единственный мемуарный источник, который свидетельствует, насколько серьезно Николай I продумывал данное решение.

Очевидно, к этому его побудило мнение наместника Царства фельдмаршала князя И.Ф. Паскевича. По мере накопления соответствующего опыта покоритель Варшавы, по-видимому, склонялся к мысли, что в деле управления учебной частью Царства ему необходимо теснее взаимодействовать с ведомством Уварова. Семилетние усилия по осуществлению одной из главных задач по введению в программы обучения во вновь созданных начальных и средних училищах русского языка дали результаты более чем скромные: в 29 казенных училищах трудилось 30 учителей русского языка, в трех гимназиях с большим трудом удалось ввести на русском языке преподавание русской истории [19, с. 17–18, 67–72, 125, 186–187; 20, с. 268–276, 395].

В 1839 году был учрежден Варшавский учебный округ. Его попечитель фактически подчинялся наместнику. Но содержанием учебных программ и пособий, его кадровыми проблемами ведал теперь министр народного просвещения. Уваров не замедлил представить императору доклад, где сформулировал итоги своего первоначального ознакомления с делом: «...меры, которые доселе принимались, мало соответствовали цели, потому что слишком резко и преждевременно обнаруживали виды правительства. В политическом смысле русский язык можно уподобить оружию, которое должно нанести рану руке, неопытно им владеющей. В бывших польских и даже остзейских губерниях можно, не запинаясь, сказать русским подданным: учитесь по-русски. В Царстве введение языка русского требует других условий» [6, с. 314]. Употребление польского языка в преподавании в необходимом объеме было восстановлено. Среди тех, кто предлагал заменить

его русским языком, был небезызвестный участник мятежа 1830 года граф А. Гуровский, который в эмиграции выступил адептом панславистских идей. В 1835 году ему было разрешено вернуться в Россию, откуда он, не найдя удовлетворения своему честолюбию, через несколько лет вновь эмигрировал. Пытаясь вызвать к себе интерес правительства, он предлагал в 1840 году полностью заменить классическое среднее образование реальным, то есть профессионально-техническим, а также, ограничив вдвое часы, отведенные для преподавания латыни, ввести преподавание церковнославянского языка. Осуществлено было только последнее, но, по предложению Уварова, без ущерба для преподавания языка римско-католического богослужения. Министерство разработало устав для гимназий и училищ низших ступеней на основе общероссийского устава 1828 года. Учебные планы были приведены в соответствие с общеимперской программой обучения. При этом в числе общеобязательных предметов были польский язык и словесность. В 1841 году министерство завершило работу по пересмотру и изданию всей необходимой учебной литературы. Гимназии царства Польского ориентировались теперь на подготовку к поступлению в русские университеты и другие учебные заведения. В Московском и Петербургском университетах в 1840 году было учреждено по две кафедры польского частного права. Открытые тогда же при варшавской гимназии юридические курсы просуществовали до 1846 года: воспитанники оказались замешаны в антирусских политических заговорах. «...вместо притеснительного, безусловного повеления о введении русского языка, – пояснял Уваров свои действия, – я старался, удовлетворяя справедливым требованиям местности, поселить в умах уважение к русскому образованию, доверие к видам правительства и точное, хотя и не явное, сознание добрых намерений Министерства» [6, с. 314].

Начальное образование, а также практически все женское, оставалось по-прежнему вне унификаторских усилий правительства. В руках римско-католического духовенства и частных лиц находилось свыше тысячи школ и пансионов, в которых в 1840-х годах воспитывалось без учета женщин примерно 56 тысяч человек. В казенных же училищах тогда насчитывалось только восемь тысяч учащихся [21, с. 43]. Хотя это было намного больше, чем в прежнее александровское время, когда в 1823 году в 29 гимназиях Царства обучалось 4500 человек. Наибольшее, что могло сделать министерство Уварова, это установить при гимназиях в специальных экзаменационных комитетах регулярные испытания для желавших обучать в частных заведениях или на дому; при этом домашние наставники должны были являться с учениками [19, с. 200–202, 240–241, 248–252]. Сам же император, со своей стороны, по обыкновению, лично наблюдал за служебной и учебной дисциплиной вплоть до мелочей, например, обращая внимание на введение для гимназистов царства Польского мундиров.

Действия Уварова в главных чертах находили тогда у Николая Павловича полное понимание. «Правильный путь, – уточнял министр, – лежит между двумя крайностями: между ультра-русским, понятным, но бесплодным и бесполезным, чувством явного презрения к народу, имевшему доселе мало прав на наше сочувствие, и между ультра-европейскою наклонностью сделаться в глазах этого народа предметом слепого энтузиазма. Тут, как и во всех почти действиях государственных, средняя стезя являла твердость и обеспечивала успех» [6, с. 310]. За организацию Варшавского учебного округа Уваров был награжден орденом Св. Владимира 1-й степени.

История об обстоятельствах учреждения округа, рассказанная Уваровым в «Опыте автобиографии», интересна в двояком отношении. Она показывает, с одной стороны, насколько щепетилен был император в обращении с военачальником, который занимал совершенно особое место в его самом близком окружении, в которое Уваров даже и не входил. Некогда служивший под началом Паскевича в гвардии, Николай Павлович обходился с ним с особым тактом и сердечностью, обращаясь к нему письменно «мой любезный отец-командир». С другой стороны, Уваров явно указывает на это время как период

наибольшей близости между ним и монархом. Последующие за этим несколько лет были апогеем авторитета Сергея Семеновича в глазах Николая I.

Трения между министром и наместником, включая рассказанный в «Опыте автобиографии» эпизод с фразой министра, сказанной в приемной императора, были вполне серьезным обременением в деле организации образования в Царстве. Сохранился рассказ чиновника, служившего в то время в ведомстве народного просвещения. «Когда-то в сороковых годах» у Уварова была-де ссора с фельдмаршалом князем И.Ф. Паскевичем, который, в качестве наместника царства Польского, вмешивался в дела Варшавского учебного округа, бывшие в компетенции министра. Николай I, желая их помирить, пригласил обоих в Зимний дворец. Уваров вошел в приемную, когда Паскевич был уже в кабинете императора. В разговоре, имея в виду государя и наместника, он будто бы сказал, что «они» «намерены пускать кровь и думают, что я стану держать им таз». Впоследствии, через лично близких, преданных чиновников Уваров узнал, что монарху это известно: собеседники министра были люди благородные, но, вероятно, в стенах приемной имелись слуховые ниши. «С этого дня, – заключал рассказчик, – Николай Павлович невзлюбил Уварова» [22, с. 433]. Авторитет и связи Уварова в европейском научном мире представляли немаловажный элемент в политической системе русского правительства, и Николай Павлович понимал, что для его сохранения прямая причастность министра народного просвещения к репрессивно-карательным мерам в царстве Польском в виду достаточно широкого распространения полонофильских настроений на Западе нежелательна.

Сочетая в учебной системе польские и русские образовательные элементы, Уваров надеялся поспособствовать через преодоление языкового барьера сближению двух народов в рамках Российской империи и ориентировал своих приближенных на благожелательное отношение к польской молодежи. «Я помню из рассказов отца, – писал сын профессора Петербургского университета Н.Г. Устрялова, – как на экзамене из русской истории один студент взял билет и, весь бледный, подошел к столу. – Какой у вас билет? – спросил отец. – Присоединение Польши, – сказал студент, – но я отвечать не стану. – Отчего же? – Оттого, что я – поляк. – В таком случае возьмите другой билет, – хладнокровно заметил мой отец, – и расскажите его. – Студент взял другой билет, отвечал отлично и, к величайшей своей радости, получил высший балл – пять. Этот случай надолго остался в памяти университетской молодежи» [23, с. 683–684]. Один из почитателей Уварова – чиновник Варшавского учебного округа Ф. фон Стендер в 1854 году уверенно писал министру народного просвещения А.С. Норову, что поляки «давно отринули, как нелепую историческую химеру, идею о так называемой независимости и самостоятельности Польши» [24, ед. хр. 46, л. 132]. Подобным иллюзиям предстояло через пять – семь лет рассеяться...

К концу правления Николая I, по данным Академии наук, во всей России (кроме царства Польского) количество учащихся во всех ведомствах относилось к численности населения как 1 к 136, тогда как в царстве Польском эта пропорция составляла 1 к 69 [25]. Общее число учащихся по ведомству народного просвещения на 1856 год составляло: 71 755 человек в царстве Польском, а во всей остальной Империи, за вычетом 4097 учащихся Кавказского учебного округа, – 119 608 [24, ед. хр. 52, л. 27, 29]. Верным оставалось то, о чем в общих чертах докладывало императору III Отделение еще около середины 1840 годов: «Продолжающиеся тишина и порядок в Царстве должно относить не столько к улучшению духа жителей, сколько к бдительности наместника и к тому, что в Польше сосредоточены главные силы русской армии. Несмотря на милости и льготы, даруемые полякам, несмотря на то, что они ни в самобытности и ни под чьим другим правлением не достигнут того благосостояния, в каком находятся ныне, этот народ, конечно, при первой возможности отделится от нашей Империи или станет на сторону врагов ее. В этом отношении поляки и ныне точно таковы же, какими были до мятежа 1830 года… Ксендзы, под предлогом защиты будто бы потрясаемой

католической веры, поддерживают в поляках прежний национальный дух… Женщины, наиболее увлекаемые внушениями духовенства и с своей стороны неограниченно владеющие юношеством, связывают разнородные слои общества. Наконец природное легкомыслие поляков, склонность их к занятиям политикою и память о прежней вольнице, а всего более продолжающаяся несколько веков, как бы врожденная, неприязнь к русским – все это делает Польшу более вредящим, нежели полезным достоянием, и если Россия не должна отказаться от поляков, то потому только, что представилось бы еще более невыгод, когда бы эти враги наши составили самобытное государство» [3, с. 352–353]. В новых поколениях поляков веками формируемый римским католицизмом комплекс русофобско-культуртрегерского высокомерия по отношению к православному Востоку и в условиях общеевропейской секуляризации воспроизводился быстрее, чем увеличивалось число приобщенных к русской культуре и при этом лояльных России.

Уваров понимал, что только что созданная им общероссийская образовательная система еще не настолько мощна, чтобы круто изменить ситуацию. Он, по-видимому, вполне отдавал себе отчет, что сближение польской и русской учащейся молодежи может идти не столько на основе уважения к ценностям христианской культуры и понятий о верности императорскому всероссийскому престолу, сколько на почве общего увлечения либерально-эгалитарными идеями…

…Итак, жизнь Уварова, посвященная государственной деятельности на ниве заботы об отечественной науке и образовании, прошла в непрерывных трудах, знала карьерные взлеты и падения, беспрестанные придворные интриги, политические и административные дрязги… Главным утешением же своим Сергей Семенович называет интеллектуальные увлечения, уединенные научные занятия, развившееся на их почве общение с людьми науки и творчества. И, наконец, сын, который теперь стал носителем того самого образования, над устроением которого Сергей Семенович трудился под лозунгом «Православие, Самодержавие, Народность»…

Граф Алексей Сергеевич Уваров при жизни отца окончил Петербургский университет и, служа, как некогда отец, в ведомстве иностранных дел, в Европе довершил свое образование в университетах Берлина и Гейдельберга. Летом 1848 года он совершил путешествие по российскому Причерноморью и опубликовал в 1851 году с использованием собранных в экспедиции материалов свою первую работу – «Исследования о древностях Южной России и берегов Черного моря». В том же 1851 году по императорскому повелению провел раскопки в Суздальском Спасо-Ефимиевом монастыре и обнаружил точное место захоронения национального героя России князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Он виделся отцу примером тех, кто был воплощенным результатом его государственной деятельности, кто, будучи во всеоружии фундаментальной европейской науки, «лучше знал Русское и по-Русски», чем поколение самого Сергея Семеновича…

Воспоминания, посвященные сыну, печатаются по писарской копии [4, оп. 1, ед. хр. 122, л. 5–44 об.], сверенной с черновиками [4, оп. 1, ед. хр. 31, л. 1–39 об.]. На титульном листе рукописи рукою С.С. Уварова написано: «Essai dautobiographie<.> Juin 1852» [Опыт автобиографии. Июнь 1852 – *М.Ш.*]. В правом верхнем углу стоит карандашная пометка, по-видимому, Петра Ивановича Бартенева, разбиравшего архив Сергея Семеновича по приглашению его сына Алексея Сергеевича: «от гр<афини>. П<расковьи>. С<ергеевны>. Уваровой». В приложении публикуется также мемуарный отрывок, на который ссылается сам Уваров в своем «Опыте автобиографии», по писарской копии [4, оп. 1, ед. хр. 122, л. 93–105 об.], сверенной с более ранней [4, оп. 1, ед. хр. 122, л. 79–82 об.]. Авторские подчеркивания выделены курсивом. В публикации сохранены стиль и особенности написания подлинников. Перевод с французского языка осуществлен публикатором.

I
Текст

Copie

Essai d'autobiographie, dedié à mon fils

Sine ira et studio.
Tacit.

Je me suis toujours defié de la sincérité des *Mémoires autobiographiques.* Depuis S[t]. Augustin jusqu'à Jean-Jacques, les confessions intimes ne me semblent pas susceptiblles de ce degré de sincérité qui seul rendrait précieux de samblables épanchement. Aussi, je n'entreprends pas décrire des Mémoire; je me bornerai à consigner quelques notices sur une carrière longue et active et qui embrasse l'une des époques les plus curieuses de notre histoire contemporaine. Mon but, en écrivant ces pages, est de donner à mon fils un aperçu véridique de l'époque que j'ai traverscé et qui, sous tout les rapports, presente le plus vif contraste avec l'époque où il est appelé à vivre et à prendre part aux évènements qui attendent l'avenir. Les temps que j'ai traversés sont dans une opposition frappante avec le temps présent et celle diversité est si grande que la mémoire de ce passé récent paraît une tradition éloigné, une réminiscence vague, même une sorte de tradition fabuleux, tandis que peu d'années séparent ces époque et que les *Anciens* et les *Modernes* se coudoient pour ansi dire; tant la rapidité des évènement donne à notre siècle une sorte d'incohérence dont l'impression menace de s'éffacer en faisant place à une époque nouvelle tout aussi incohérante et encore moins attendue.

N'écrivant que pour mon fils, je donnerai d'abord quelques détails sur sa famille et la mienne, sur mon éducation et mon entrée dans le monde si différent alors de celui qui s'est ouvert devant lui.

Mon père mourut en 1788 à l'âge de 34 ou 35 ans. Il était aid-de-camp de l'Impératrice Catherine et vice-colonel du régiment des Grenadiers dont l'Imperatrice était colonel. Sorti d'une race militaire, fils dun officier général tué dans la campagne de Prusse, il s'était de bonne heure avec ses frères jeté dans la carrière des armes. Une bravoure avantureuse et une jolie figure le firent bientôt connaître et l'Imperatrice le mit au nombre de l'aid-de-camp à une époque où ce titre était dautant plus restreint qu'il donnait les priviléges les plus étendus et ouvrait une carrière sans limites.[1] Je ferai observer ici le contraste des idées du temps avec celles de notre siècle. On voit dans la galerie de Poretch le portrait d'une jeune homme blond à l'air nonchalant et dans le costume négligé duquel abondent la dentelle et le velours. Ce portrait est celui de mon père qui mourut à la fleure de l'âge et *n'ayant comme le brave Rantzau gardé que la moitié de son corps, l'autre étant restée dans les plaines de Mars.* Une tradition de cour, enveloppée dans l'ombre du mystère, ferait croire que l'Imperatrice avait porté sur ce jeune homme un regard plus tendre que celui d'une bienveillance ordinaire. Je me souviens au moins que ma mère en parlant de son mari disait en souriant: il m'a porté une sacrifice plus grand qu'on ne le croit. Ce qui est certain du moin, c'est que la faveur de la souveraine ne manquait pas au jeune soldat et tous les contamporaines s'accordent à dire qu'une grande carrière militaire lui était ouvert s'il avait vécu âge d'homme.

[1] Entre autres privilèges les aides-de-camp de l'Imperatrice avait le droit de porter à leur choix tous les uniforme de l'armée, excepté ceux des 4 règiments de la garde. Aussi mon père, usant largement de ces droits, en avait une vingtaine des plus élégants qu'il mettait tour à tour à la mode. – *Примеч. С.С. Уварова*.

Mon père mourut subitement en Finlande au milieu de la dernière campagne de Suède. Ma mère qui avait partagé l'existence que la cour faisait à son mari se trouva subitement à 27 ans veuve et mére de trois enfants dont j'était l'aîné. Avec une décision qui ne s'est jamais démantie, elle quitta la cour et la ville et se livra tout entière à l'éducation des trois orphelins bientôt réduit à deux part la mort de ma soeur. Je n'entreprendrai pas décrire tous les soins qu'elle donna à rétablir une fortune passablement délabrée et surtout le zèle passionné avec lequel elle se consacra à l'éducation de ses enfants.[1]

Je vais maintenant donner une idée du système de notre éducation qui, sous beaucoup de rapports, porta un caractère différent de l'éducation de nos enfants. D'abord nul ne sonjeait à l'éducation publique; celle-là était réservée aux classes moyennes de la société; les enfants de race distinguée étaient élevés sous les yeux de leurs parents et dans leur famille. Un évènement qui ne se renouvlera plus donna à cette époque à l'éducation de la jeune aristocratie russe un caractère particulier. Pendant la première phase de la révolution française, le serment civique exigé du clergé éloigna subitment de France les hommes les plus distingués voués à l'éducation de telle sorte que cette génération presque entière, à chappant à la persécution, vint chercher un asile en Russie. Elle y fut non soulement acceuillie avec transport, mais encore tout l'éducation de la jeune noblesse russe se trouva spontanément entre les mains du clrgé chassé de France. Depuis l'abbé comte de Tressan, l'abbé Nicolle, si connu depuis sous la Restauration, l'abbé Surugue qui, curé de St. Lois à Moscou pendent les désastres de 1812, déploya un courage voisin de l'éroisme jusqu'à une foule de jeunes prêtres bannis des séminaires et des collèges de France, l'éducation de tout la classe supérieure en Russie se trouva subitement confiée à ces proscrit fugitifs. A cette époque, il n'y a avait pas une seule famille distingué qui n'eut dans son sein un abbé français. C'était de rigueur comme l'habit à la mode. Il résulta de là que la génération à laquelle j'appartiens se trouva beaucoup plus familière avec l'éducation des collège de France et par consèquent avec la langue, l'histoire et les traditions française que ne l'ont été depuis les génération nouvelle. Notre abbée à nous s'appelait l'abbé Manguin, excellent et brave homme auquel nous dûmes beaucoup, et qui ne voulut plus nous quitter jusqu'au moment de sa mort en Russie en 1830.

Cependant la posession ďun abbé ne remplissait pas encore toutes les exigences de l'éducation. Ma mère qui passait dans ses terres une grande partie de l'année avait, en seconde ligne avec l'abbé français un maître allemand, un maître de dessin, un maître de musique et jusqu'à un écuyer étranger. Ces habitudes qui paraîtraient onéreuxs aujourďhui était, à peu de nuances près, générales dans la classe supérieur. Cette invasion du système français ne dura à peu près que jusqu'au 18 brumaire. Peu à peu les fugitifs commencerent à rentrer dans leur pays et à y retrouver des positions honorables et peu ďannée après le rétablissement de l'ordre en France, tout nos abbés furent invités par le gouvernement français à reprendre leur ancienne carrière, de telle sorte quelle j'appartiens se trouva de fait élevée dans une système et dans des idées que la génération suivante a vues disparaître peu à peu.

Sans entrer dans le détail de l'éducation que nous reçumes, je me bornai à dire que tous, nous apprenions le latin avec plus ou moins de succés. Ensuite un cours ďhistoire passablement

[1] Ma mère était de la maison Golovine; sa mère, à elle, de la maisons Galitzin, et soeur du prince Dmitry Galitzin, longtemps ministre de Russie à Paris et à La Haye, intimement lié avec Diderot et les philosophes du temps, que ma mère, jeune encore, le souvenait d'avoir vu dans le salon de son oncle à Paris et surtout à La Haye. Le prince Galitzin avait épousé à Berlin la fille du maréchale comte Schmettau, connue depuis par le rôle *dilluminée*, et que les adeptes plaçaient au premier rang, ainsi que sa fille unique, morte sans avoir été mariée. – Le prince Dmitry (Алексеевич) avait pour frère le prince Pierre qui mourut au commencement du siècle après avoir été Grande-veneur à la cour de Catherine II et de Paul I et chevalier de l'ordre de S[t]. André. A ce propos, je me souviens qu'une vieille femmes de chambre, qui avait suivi la famille Golovine dans ses voyages, nous racontait trente où quarante ans après son étonnement davoir vu, disait elle «le fameux M.Diderot» si malpropre qu'il otait en plain salon sa perruque quand il avait chaud et qu'il avait beaucoup parlé. – *Примеч. С.С. Уварова.*

superficiel, joint à un cours de litterature trés soigné, formait le fond de l'enseignement. Les mathématiques étaient de préférence résérvées aux enfants déstinés à la carrière militaire. A ces exercices de l'ésprit se joignaient dans tous leur étendue un grande nombre d'exercices de corps que dans l'opinion du temps empruntée à la France ancienne, appartenaient de préférence à la noblesse: la musique, la danse, l'équitation et même la voltige, l'écrime, la natation comme les exercices gymnastique en général prenaient une grande part. De sorte qu'à l'âge de 15 ou 16 ans, on entrait dans le monde avec plus ou moins des avantages extérieurs qui constituaient le gentilhomme accomplie. Sans nier les imperfections de ce systéme déducation, évidemment superficiel je me permettrai seulement de faire observer que la plupart des hommes qui, sous le règne de l'empereur Alexendre et mème de la règne actuel, ont occupé les grandes places de l'etat sortaient de cette genération d'hommes confiés aux soins de l'émigration française.

La jeunesse russe, surtout dans la classe aristocratique, était alors, comme en France, consacrée au service militaire. Pour concilier les intérêts de cette aristocratie ambitieuse et les besoins de l'armée, on avait inventé le subterfuge suivant: lorsqu'un garçon était né dans ces hautes classes, six mois ou un ans aprés sa naissance il était inscrit sur le rôle des sous-officiers de la garde de sorté que lorsqu'à son rang dancienneté, il obtenait le grade d'officier, il se trouvait au plus âgé de 16 ans. De cette maniére, je me trouvai à la mamelle[1] compté dans le régiment d'Ismaïlovsky, et mon frère dans celui de la garde-à-cheval, où nous recevions nos brevets de sémestre trés-réguliérement délivrés jusqu'au moment où l'Empereur Paul fit main basse sur tous ces généraux en herbe. Cette mesure ne remédia guère à l'abus que l'on prétendait détruire jusqu'au règne actuel ou peu avant les choses ne furent guère changées, comme on le verra par la suite de mon récit. Lorsque arriva le moment de nous faire entrer au service, le général Ouvarov, parent éloigné de ma famille, et que mon pére avait protégé à son entré dans le monde, poussé par une faveur singulière jusqu'au plus hauts emplois militaires du temps, se décida, à la demende de ma mère, de nous accorder le mème patronage qu'il avait jadis obtenu de notre famille. N'ayant aucun goût pour le service militaire, je fus, grâce à l'appui du général, nommé à 16 ans gentillhomme de la chambre, titre peu prodigué alors et qui donnait immédiatement le rang de la 5e classe. Mon frère, se consacrant à la carrière de nos ancêtres, fut à l'âge de 14 ans, placé presque immédiatement au nombre des officiers du régiment des Chevaliers-gardes.

Pour en revenir à ce qui me touche personellement, je dois faire observer que peu de temps avant cette double nomination j'avais attiré, sans le savoir, l'attention de l'Empereur. Ici, je ne puis passer sous silence que je me trouvai dès l'abord placé au premier rang de cette nouvelle génération. En effet, j'avais, il faut le dire, devancé la plupart de mes contemporains de sorte que, lorsque le prince Adam Czartorycky, ministre tout puissant mais occulte de l'Empereur Alexandre et dont la position bizarre l'obligeait aux plus grandes précautions, voulut avoir près de lui un très juene homme étranger à toutes les cotries, je lui fus nommé et lui plus au point d'être sur le champ attaché à sa personne. Par un concours de sirconstances bizarres, il se trouvait à la tête de la politique sans en avoir les dehors. Deux ou trois travaux qu'il me fit fair le charmèrent au point qu'il en parla avec satisfaction à l'Emperuer, de sorte que lorsque je lui fus présenté je me trouvai à mon insu déjà connu de lui par une prévention favorable.

Je raconterai avec un peu plus de détails la scène de cette présentation qui eut une enfluence décisive sur tout ma carrière postérieure. Le jour même de la présentation officielle, il y eut bal en assez petit comité chez l'Impératrice mère. Après avoir surveillé tous les détails de ma toilette qui fut, je me permets de le dire, des plus élégants, ma mère transportée de joie prit tout-à-coup une physionomie grave et d'un ton sérieux me dit à peu-près les paroles suivantes: «J'ai fait pour vous jusqu'à ce jour tout ce qui a été en mon pouvoir, aujourd'hui mon rôle est accompli; songez que vous

[1] J'avais eu pour marraine l'Impératrice Catherine. Cette faveur avait sous son règne une valeur particulière, parce que elle représentait dans les idees de la souveraine une sorte dadoption.– *Примеч. С.С. Уварова*.

n'avez plus d'autre appui que vous-même». Aprés cette exhortation maternelle, on me donna une voiture attelé de quatre chevaux et je partis pour le palais. Bien que le cercle nouveau dans lequel j'allais me trouver, me fût en partie connu j'éprouvai une sorte démotion bien naturelle lorsque je me trouvai seul au milieu de ce cercle brillant. Mais cette émotion ne tarda pas à se dissiper; entraîné par les charmes du bal, je pris part aux danses, mais j'observai bientôt que l'Empereur, alors dans l'éclat de la jeunesse et de la beauté, me suivait de l'oeil avec une sorte d'attention particulière. Aussi vers le milieu du bal, je le vis s'approcher de moi et du ton le plus doux et le plus aimable, me dit quelques paroles gracieuses. Ainsi, par un concours de circonstances plus ou moin frivoles, data de cette soirée une affection qui ne s'est pas démentie et qui prenant tour à tour les formes les plus imprévues subit sans disparaître les péripéties les plus fortes comme on le verra plus tard.

Ansi se passèraient une couple d'années où je me trouvai entraîné par le tourbillon de la cour et du monde. Le seul souvenir de cette époque se rapporte à la bataille dAusterlitz où l'amour que l'on portait à l'Empereur donna à des faits peu glorieux l'apparence d'un triomphe populaire. Dans cet enivrement général, je fis une pièce de vers remarcable moins par le talant que par un enthousiasme passionné pour l'Empereur. Il la lut et me témoigna sa satisfaction dans les termes les plus flatteurs. Cependent rien ne se décidait à mon égard et lorsqu'on organisa en 1807 l'embassade du Pce Alexandre Kourakin à Vienne, j'adressai directement à l'Empereur une lettre tout-à-fait en dehors des formes ordinaires, mais pleine de reconaissance envers sa perconne. Cette démarche, qui naturellement aurait pu nuir à l'outrecuidance d'un jeune homme, obtint au contraire le plus grand succès. Je fus immédiatement attaché à l'ambassade qui s'organisait et pendent que l'ambassadeur négociait la paix de Tilsitt, j'était à l'attendre à Vienne, admis avec bonté, comme je l'ai raconté ailleurs, dans le cercle exclusif de la haute société plus inabordable que jamais. J'ai raconté ailleurs l'accueil que me fit à Vienne le prince de Ligne et les rapports qui s'établirent entre nous malgré l'extrême différence de nos âges. De même j'ai raconté la hardiesse témairaire avec lequelle j'entrai dans les plus grands mystères de la politique du jour et la situation dans laquelle je fus sur le point dentraîner la politique du gouvernement russe. Ce plan, mis à néant par les victoires rapides de Napoléon, fut ainsi que je l'ai dit, repris en sous ordre dans la guerre de 1812.[1]

Maintenant, je reviens à des détails personnels qui me touchent de plus près. J'ai déjà fait connaître[2] comment j'échappai au périlleux bonheur de porter à Napoléon l'ultimatum de l'Empereur Alexandre et comment ce dernier m'ouvrit en dédommagement une carrière nouvelle presque aussi aventureuse que celle qu'il m'avait fait quitter. Je reviens sur cette époque parce qu'elle se rattache aux plus intimes pensées de l'Empereur. N'ayant pas réussi à faire de moi son agent de confiance dans la carrière de la politique extérieur, il conçut en silence l'idée de m'associer à des vues encore plus intimes et qu'il portait dans le secret de son coeur. Cette situation singulière dont je ne tardai pas à deviner le secret avait en réalité beaucoup plus l'apparence d'un roman que le sobre aspect de l'histoire. Aussi ce roman ne se réalisa-t-il pas; j'ai raconté ailleurs[3] comment, devenu subitement infidèle aux idées que lui-mème avait développées dans mon esprit, il voulut, disait-il, me porter à les abjurer. J'ai également raconté[4] l'impression que lui fit ma résistance et l'espèce déloignement momentané qui ne manqua pas d'en résulter. J'ajouterai, sans entrer dans des détails superflus, que peu de temps avant sa mort subite, il m'avait rendu son ancienne bienveillance; de sorte que, pour me sauver, disait-il, des erreurs dans lesquelles il m'avait entraîné, il voulait, en manière de remède, fair du disciple de ses idées de propagande un sec financier.[5]

[1] Voyez: le Pce de Ligne. St-Petersbourg. 1842 – souvent réiprimé. Voyez aussi: Un épisode de 1809-mse. – Voyez aussi: Stein et Pozzo di Borgo qui n'est que la seconde partie du morceau précédent. – *Примеч. С.С. Уварова*.

[2] Voir Un Episode de 1809. – *Примеч. С.С. Уварова*.

[3] Notice sur l'Empereur Alexandre. msc.м – *Примеч. С.С. Уварова*.

[4] Notice sur l'Empereur Alexandre. ms. c. – *Примеч. С.С. Уварова*.

[5] Ibid. – Voir mon dernier entretien avec l'Empereur Alexandre près du lit de mort du général Ouvaroff.

Je me hâte de revenir à des détails personnels beaucoup moins connus mais qui méritent l'attantion sérieuse de mon fils comme un compte-rendu ou comme une exposition du travail intime de mon intelligence. Dans un petit écrit nouvellement publié, j'ai touché ce qui suit: «Lorsque sous les auspices de feu S[a]. M[ajesté]. l'Empereur Alexandre, je fus appelé aux fonctions de Curateur de l'arrondissement de St-Pétersbourg, à un âge où ďautre commencent à peine leur éducation universitaire, je m'aperçus sans effort qu'il manquait à mes études une culture approfondie des langues anciennes. Je me décidai à combler ce vide qu'une entrée prématuré dans les affaires avait porté au développement de mes connaissances; ce fut alors que commencèrent mes intimes relations avec M. Graefe auquel j'éus la satisfaction ďouvrir la carrière honorable qu'il a parcourue avec tant de succès.

Dans les rapports intimes qui durèrent avec opiniâtreté pendent près de 15 ans, il arrivait presque sans cesse que le professeur qui venait rendre compte de ses travaux universitaires au Curateur prenait le soir sa place et menait vertement, à propos ďun participe grec, le chef qu'il avait salué le matin. Je ne puis passer sous silence que lorsque le fameux baron Stein, proscrit et traquer par Napoléon, vint chercher un asile en Russie, et s'associer aux grands évènements de l'année 1812, je lui conseillai pour se distraire momentanément de ses pénible travaux et de ses chagrins personnels de reprendre l'étude du grec. Ce fut M. Graefe que je lui désignai, et l'illustre proscrit, livré à toutes les péripéties politiques du moment ne laissa pas passer un jour sans lire avec M. Graefe quelques pages de Thycydide. Mes rapports personels avec ce savent hélleniste se prolongèrent jusqu'au moment où mes occupations publiques absorbèrent tous mes loisirs sans jamais pourtant interrompre des relations amicales entre le maître et le disciple.»[1]

Pour bien saisir le sens de ce passage, je vais entrer dans quelque détails. J'ai déjà retracé plus haut le caractère particulier de l'éducation qui nous fut donnée, éducation plus brillante au dehors que solide au fond et dont je ne tardai pas à reconnaître le côté faible. Mais cette lacune je ne pus m'appliquer à la combler que lorsque j'échappai tant par mon mariage que par la place qui me fut donnée à une vie à la fois dissipée et laborieuse. Dès lors les études les plus sérieuses absorbèrent mes loisirs; l'étude du grec depuis les éléments de la langue jusqu'à l'appréciation la plus raffiné des chefs-doeuvre qu'elle a produits absorbèrent 7 à 8 ans de ma vie. Cet acte de fermeté et de persévérance donna en dépit du préjugé ce qui manquait de base à mon développement litteraire. Cette conquête que j'avais le drois d'attribuer à ma libre volonté me dédommagea amplement de ces opinaîtres traveaux. En me livrant de préférance à une étude nouvelle des langues classiques je ne négligeai pas les autres branches de l'intelligence et bravant le préjugé, profitant de l'indépendance qui m'avait faite une fortune déjà assez considérable, je n'hésité pas à rétablir successivment tout ce qui me parut, dans l'ensemble de mes connaissances, manquer de solidité. Le goût qui m'entraînait vers les études phililogiques me mit à même de livrer au public *l'Essai sur les Mystères d'Eleusis* qui fit, j'ose le dire, un grand bruit dans le monde savant et qui, dès le début, me valut le cordon bleu de la littérature, le titre dassocié étranger de l'Institut de France, le premier et le seul jusqu'à présent qui ait été donné à un Russe, le nombre des titulaires n'étant pour toute l'Europe que de 8 membre au plus. Enhardi par ce succès j'aurais sans douté dévoué une grande partie de mon temps à ces traveaux littéraire, si ďun autre côté la vie active du service publique en augmentant par degrés, n'avait absorbé tous mes loisirs. J'oubliais de dire que l'écrit qui m'avait valu le flatteux suffrage du premier corps savant de l'Europe prépara aussi ma nomination au poste de Président de l'Academie impérial des Sciences. Entraîné cependent par le tourbillon croissant des affaires, je ne pus plus donner à ces études chéries qu'un temps très restreinte, en sorte que ce que j'ai publié présente à peine un ou deux petits volumes composés de morceaux détachés et de fragments qui ne forment pas un ensemble et qui vraisemblement ne seront guère augmenté par la suite.

[1] Lettres à M. le Secretaire perpétuel de l'Academie imperiale des sciences. St-Pétersbourg. 1852. P. 5–6. – *Примеч. С.С. Уварова*.

Ceux qui n'ont connu de ma vie extérieure que les quelques circonstances brillantes qui l'ont accompagnées n'ont pas suffisamment apprécié toutes les déceptions et tous les mécomptes qui en troublèrent le développement. On finit toujours par payer chèrement ce qui flatte dabord le plus la jeunesse, les exeptions imprèvues à l'ordre général, et nul ne se rend compte de la réaction immanquable qu'opère la flexible logique des choses. La plupart des rèves qu'avait fait naître en moi les dispositions excentrique de l'Empereur Alexandre s'étaient évanouies et certes j'aurais dû succombler devant tant de mécomptes successifs si je n'avais trouvé dans la vie scintifique et littéraire un asile ferme et assuré dont l'accès se trouvait interdit aux péripéties extérieures. Il est juste de dire que je trouvai dans les suffrages indépendants de presque tous les hommes destingués en Europe un encouragement ďautant plus puissant qu'il n'était dû ni à ma situation extérieure, ni aux avantages qu'elle me donnait dans mon pays.

La mort subite de l'Empereur Alexandre fit avorter le dernier essai qu'il allait pratiquer sur mon intelligence. Mes rapports avec son successeur remontait à une époque où nul ne songeait à voir en lui le future Souverain de la Russie. Ils remontent principalment au moment où je me mis à combattre résolument les influances du parti mystique et où je succombai dans cette lutte inégale. Dans cette crise qui occupa tous les esprits, le Grand-Duc Nicolas se déclara ouvertement pour moi et dans ses fonctions administratives alors assez restreites prit ouvertement parti contre l'intrigue que je combattrais. Cette circonstance me mit naturellement dans quelques relations confidentielles avec lui de sorte que lorsqu'il arriva à l'improviste au trône, je me trouvai incontestablement dans la liste de ceux sur lesquels il se proposait de fonder l'administration nouvelle de l'Empire. Mais cette préoccupation favorable du nouvel Empereur s'absorba ďabord dans la masse immense des travaux qui signalèrent son début. Sans dout sa disposition favorable à mon égard n'avait pas échappé à l'attention microscopique des coureurs de places, troupe insatiable qui se montre à chaque commencement de règne. De mon côté, averti par tant de mécomptes précédents et rendu plus calme par l'éxpérience, je me tins à l'écart, me contentant des signes extérieurs de la bienveillance du nouveau Souverain, mais évitant avec soin tout ce qui pouvait avoir l'apparence de la candidature ou les dehors ďun programme.

De cette manière je me retirai peu à peu de la cour et je consacrai les cinq ou six premières années du règne de l'Empereur Nicolas à étudier hors de Péterbourg notre pays si peu connu et dont j'avais été loin jusque là de pénétrer le principe réel. Passant par goût une grande parti de l'année, soit dans ma retraite de Poretch dont je jetai alors les fondements, soit dans les voyages ďétude et ďobservation dans l'intérieur du pays, lorsque je paraissais à la cour, j'y trouvais un accueil distingué, mais je n'y restais que le temps le plus rigoureusement nécessaire et retournais à mes occupation indépendant. Les cinq ou six années que je passais de cette manière me fournirent, j'ose le dire, une connaissance exacte et approfondie de mon pays à laquelle, sans ce moyen, je n'aurais jamais pu atteindre.

Ce fut encore cette étude qui me mit sans m'en douter en relations personnelles et directes avec l'Empereur Nicolas. Frappé ďune lettre qui j'avais du fond de l'empire adressé au compte Benkendorff et qui présentait un aperçu très hardie de la situation intérieure de la Russie, il me fit savoir par cet ami qu'il me demendait de continuer à lui fair parvenir, par cette voie intime et tou-à-fait secrète, mes différentes observations sur l'état du pays. Je ne manquai pas ďen profiter, mais cette correspondance ne put longtemps rester inconnue. L'Empereur en fit connaître des fragments aux ministres et la découverte qu'ils firent ďun organe impartial et hardi ne manqua pas de leur faire naître la persuasion qu'il était de leur intérêt ďécarter aussi longtemps que possible des affaires un homme déjà placé si évidemment dans l'éstime de l'Empereur. On verra les traces de cette manoeuvre de cour au moment de mon entré inattendue au ministère et de l'éspèce de coup ďétat imprévu qui me plaça au milieu deux.

Je passai ainsi que je l'ai déjà raconté une partie de l'hiver à S. Pétersbourg fort bien accueilli à la cour et à la ville, mais m'éloignant à dessein de tout ce qui pouvait compromettre le

plan que je m'étais tracé de rester à l'écart. Un bal devait avoir lieu au ministère des apanages et j'allai commencer ma toilette lorsque arriva subitement une personne subalterne familière dès longtemps avec le comte Benkendorff et avec moi-même. Le message qu'il me porta de la part du Compt fut qu'il m'exhortait à ne témoigner ni surprise, ni hésitation à la scène inattendue qui allait se jouer entre lui et moi. Bien que ne saisissant pas le sens précis du message, je résolus de m'y conformer avec tout le tact nécessaire en pareil cas. A mon arrivée au bal, je me mis à faire comme à l'ordinaire une partie de whist, attendant toujours la scène promise, mais ne montrant aucune inquiétude à cet égard. A partie finie, j'entrai dans la salle de danse et peu après je vis l'Empereur faisant le tour des conviés s'approcher de moi, me dire quelques paroles affectueuses, mais uniquement réduites à des paroles de bal. Lorsque cette tournée fut achevée, je restai à ma place attendant non sans quelque émotion, la scène mystérieuse qui m'avait été annoncé. Peu de moments après, je vis l'Empereur s'approcher du comte Benkendorff et lui dire en passant deux mots à l'oreille. Alors celui-ci traversant la salle vint directement à moi et prenant un air composé me dit à demi-voix: «je vien au nom de l'Empereur vous demander une réponse catégorique à la question suivant: voulez-vous accepter le Ministère de l'instruction publique.» A cela, il ajouta en baissant la voix: «ne faites donc pas l'éttonné, répondez-moi vite et bien, car ses yeux sont fixés sur nous.» Alors je lui répondis que frappé de surprise dune telle proposition tout-à-fait inattendue au milieu ďun bal, je n'avais qu'un mot à lui dire et que ce mot serait «oui». Alors Benkendorff, charmé de mon laconisme, repris son air composé et traversa de nouveau le salon pour aller dire à l'Empereur quelques mots à voix basse.

Bien que je fusse préparé à une surprise quelconque, la mienne dans cette occasion n'en fut pas moins grande; mais réfléchissant que je me trouvais pris a l'improviste et que le marché était, pour ainsi dire, conclu, je repris bientôt mon sang-froid et continuai à parcourir les salons et à causer avec les dames jusqu'au moment où arriva l'heur du souper. Là, ne voulant pas me mettre en évidence, je me plaçai à une table inférieure destinée aux officiers des gardes, pressé que j'étais de réfléchir à la brusque crise qui venait à l'insu de tous changer ma situation. Tout en récapitulant les résultats possibles de cette péripétie inattendue, je ne pus m'empêcher ďobserver qu'une place à ma gauche restait inoccupée et que de temps à autre un chambellan de service traversait la salle où j'était. L'explication de ce petit manège ne se fit pas longtemps attendre; l'Empereur entra subitement dans la salle et vint occuper cette place réservée à ma gauches. Alors commença entre nous à demi-voix et entrecoupé par le service du souper une conversation qui décida de beaucoup de choses et entre autres de mon avenir.

L'Empereur m'exprima ďabord sa satisfaction de la réponse que j'avais faite au message de Benkendorff. Ce point établi, je pris à mon tour la parole pour lui dire à demi-voix que n'hésitant pas un instant à sacrifier mes plans personnels à ce qu'il croyait utile à son règne et au pays, je ne pouvais lui cacher qu'un seul sentiment ou plutôt une seul appréhension dominait en ce moment toutes les autres et que j'éprouvais le besoin de la lui exprimer sans détour. J'ajoutai que plus je me trouvais convaincu de la grandeur du programme qu'il allait me donner, plus je devais lui adresser avec une entière franchise la question suivante: ne serait-il pas trop tard? Sur ces paroles, je vis la figure de l'Empereur prendre subitement un caractère de réflexion sérieuse et aprés quelques moments de silance, il me dit: toute réflexion faite, je ne puis vous donnner aucune réponse positive, mais en revanche je n'ai qu'un mot à vous dire: la tentative dans laquelle je veux que vous soyez mon instrument est ďautant plus grave qu'elle est décisive. Je me suis convaicu que vous êtes le seul instrument possible auquel je puisse confier cette tentative qui sera la dernière. Et il ajouta: c'est une question de conscience; consultez la vôtre et comptez sur moi.

Après ces paroles, la musique se fit entendre; le bal avait recommencé et nous rentrâmes dans le salon où je tâchai de faire disparaître de mon visage tout trace dune conversation qui devait changer toute ma vie. Cette péripétie était si complètement imprévue, était tellement

inattendue que deux ou trois mois s'écoulèrent avant le jour où parut l'oukase qui me nommait ministre adjoint de l'Instruction publique, le prince Lieven, qui n'était au fait de rien, devant être maintenu dans ce poste jusqu'au moment définitif. Les hommes habitués à l'observation ne furent dupes de rien; l'excellent prince Lieven fut le seul à se tromper à ces ménagements de pure politesse. Aussi un an ne s'écoula-t-il pas sans qu'il eût pris sa retraite et que je fusse installé de plein-pied dans ses fonctions.

Je fus longtemps sans m'expliquer le mystère dont le prince le plus ferme et le plus franc avait au devoir s'envelopper dans cette affaire. Lui-même me mit sur la voie. A cete époque de son règne, l'Empereur travaillait très souvent avec ses ministres et assez habituellement le travail achevé il entamait avec quelques uns d'entre eux une conversation toute familière. Là on se racontait les bruits de la ville aussi bien que les bruits de la politique; les petits évènements du jour et cette foule d'observations fugitives d'où toute étiquette était bannie. Ce fut un ans et demi après ma nomination que l'Empereur me dit un soir en souriant: Savez-vous que l'on a cherché à me donner toutes sortes de préventions contre vous? Un hommes de confiance et qui est un de vos plus proches parents ne laissa pas que de m'insinuer, tout en faisant de grands éloges de vous, que vous aviez un caractère difficile et fantasque qui ne s'accomodait de rien et ne s'accordait avec personne. Je suis en vérité charmé de ne m'être fié qu'à moi-même et davoir agi par ma propre inspiration. Je répondis sur le même ton qu'il était depuis longtemps reconnu que le mot «o mes amies, il n'y a pas damies» avait pris naissance à la cour. Nous nous mîmes à plaisanter et la conversation prit un autre cours.

Or voici ce qui était arrivé: l'Empereur, en montant sur le trône, peu habitué aux affaires civiles et administratives avait pour une espèce de Mentor un hommes dont la longue carrière lui garantissait l'expérience. C'était feu le prince Kotchubey dont j'était parent très rapproché par nos femmes et qui n'avait jamais cessé de me témoigner beaucoup dégards. Mais habile à feindre et à maintenir son crédit personnel, il employait toutes sortes d'artifices pour ne pas laisser approcher dans l'intimité de l'Empereur des hommes qui ne voudraient pas se soumettre sans réserve à ses inspirations. La correspondance dont j'ai parlé et que j'avais pendant plus d'un an entretenue avec l'Empereur, resta d'autant moins cachée à ses ministres, que l'Empereur fit discuter quelques unes de mes lettres en plein comité. Ces données éveillèrent les appréhensions du prince Kotchubey et la certitude qu'il avait de l'indépendance de mon caractère lui fit prendre la marche peu loyale dont je vins de parler. Cette situation explique le mystère dont l'Empereur crut devoir d'abord envelopper sa résolution et mon entrée aux affaires fut, si je ne me trompe, le premier signe de volonté personnelle que donna l'Empereur dans le maniement des affaires civiles. Pour en finir avec ce qui regarde ma nomination, j'ajouterai que lorsqu'elle devint publique, je me rendis chez le prince Kotchubey alors président du Conseil. Il me reçut avec toutes sortes d'expressions affectueuses et m'engagea à monter dans sa voiture pour nous rendre au Conseil de l'Empire où ma nomination venait d'être déclarée. De cette sorte j'eus l'air d'y entrer sous ses auspices et mon habile cousin reçut sans vergogne les compliments d'usage qu'on venait lui fair sur une nomination aussi généralement approuvée.

Cependent il est juste de dire que celle frivole intrigue, cette dernier escarmouche livrée après la bataille, se rattachait en quelque façon â des considération sérieuses. En Russie comme dans toute l'Europe, le commencement du siècle avait vu naître une école politique qui, sous des noms différents, obéissait au même programme. C'étaient, à des titres divers, des hommes presque tous honorables qui croyait fermement que les maux immenses légué par le 18e siècle au 19e pouvaient se conjurer par quelques formules générales, quelques abstractions inflexibles appliquées indistinctement à tous les pays de l'Europe. Cette *panacée* universelle n'admettait aucune modification et devait indistinctement s'administrer d'un bout de l'Europe à l'autre sans égard à l'histoire et à la vie propre des peuples et se formulant en une sorte de *socialisme* de haute politique amener sur tous les points du globe une complète régénération des institutions

subsistantes. Notre pays ne resta pas fermé à ces doctrines séduisantes et qui avaient le rare avantage de réduire l'immense champ de l'histoire et la haute politique à quelques formules absolues pour lesquelles on n'admettait aucune modification. Cette école, identique partout, avait fait invasion dans nos affaires. On prétendait fonder la force et la grandeur de ce pays si peu analogue à tous les autres sur l'affranchissement des classes inférieures qui n'en éprouvaient pas le besoin. On prétendait aussi limiter le pouvoir Souverain et on fut jusqu'à parler de la liberté de la presse dans un pays où le peuple n'a pas encore en entier l'usage de l'alphabet.

Cette doctrin incohérente, d'abord admise avec enthousiasme par l'Empeur défunt, puis implacablement proscrit par lui-même avait eu l'air de disparaître et s'était prudemment condamnée à faire le mort. Lorsque le jeune Empereur arriva au trône, les vieux doctrinaires reparurent et, avec ce caractère inflexibles qui leur appartient dans tous les pays, essayèrent de reprendre en sous-oeuvre leur ancienne programme.

La correspondance particulière dont j'ai parlé me fournit plus d'une fois l'occasion d'attaquer avec vigueur cette doctrine, chez nous comme dans tous les pays de l'Europe toujours battue et toujours vivante. La direction de mes idées fixa d'autant plus l'attention du vieux libéralisme qu'incontestablement je l'avais fort devancé dans les doctrines qui marquèrent le premier période du règne de l'Empereur défunt. Aussi les hommes qui avaient plus ou moins partagé les illusions de l'Empereur Alexendre se retrouvèrent sous le nouveau règne à la tête des affaires. Ni le temps, ni l'éxperience n'avaient pu les corriger et comme partout ailleurs ils obéissaient, peut-être même s'en douter, aux illusions de 1802 et de 1803. Peu a peu les vieilles questions furent abordées; les vieux programmes, rajeunis; et, lorsque au commencement de l'année 1830 les évènements de Pologne mirent en péril la tranquillité de tout l'Empire, la vieille école, alors à la tête des affaires, ne trouva rien de mieux que d'éveiller ses vieux apophthegmes de telle sorte qu'on se mit gravement à traiter de nouveau la question de l'affranchissement des serfs au moment même où l'insurrection polonaise menaçait la tranquillité et peut-être l'existence de l'Empire.

La question dont je viens de parler étant de drapeau auquel se ralliaient nos doctrinaires, je ne balançai pas à attaquer vigoureusement l'incohérence de ce débat dans un mémoire dont j'ai conservé une copie. Blessé alors de passer pour un agent secret des idées de l'Empereur, je me décidai à mener pour cette fois l'attaque à front découvert. J'instruisis le prince Kotchubey du travail que j'allais mettre sous les yeux du monarque et lui proposai du réunir dans son cabinet les hommes les plus avancés dans sa confiance pour entendre la lecture du mémoire que j'allais présenter. Cette proposition fut acceptée et dans une réunion secrète qui eut lieu dans le cabinet du prince et à laquelle il avait convié ses plus intimes adhérents, je fis la lecture du mémoire[1] dont la vigueur déconcerta les auditeurs; aussi se bornèrent-ils à quelques observations banales et à quelques compliments d'usage. Après cette franche déclaration de guerre, j'adressai mon travail à l'Empereur. Sans pouvoir rend un compte bien exacte de l'impression qu'il en reçut; je puis au moins affirmer que la question fut ajournée et qu'elle ne reparut plus. Ces circonstances, je dois en convenir, étaient la véritable clef des démarches peu loyales du président du Conseil et de ses amies trés naturellement portés à entraver per fas et nefas[2] mon entrée aux affaire.

En lisant le récit qui précède, il n'échappera à personne que le premier mouvement de la surprise, la première impression d'une évènement que j'était loin de supposer aussi rapproché, l'instinct involentaire d'une crise imprévue, fut une réflexion dubitaire, un mouvement d'hésitation adressé avec sincérité au Souverain qui me donnait une preuve si évidente de sa confiance et surtout des résultats qu'il en attendait. Je vais en peu de mots expliquer cette teinte de tristesse d'autant plus à remarquer qu'elle répondait à la plus intime pensée du monarque lui-mème, qu'elle était pour moi le corollaire indubitable d'une expérience appuyée de vingt années d'études

[1] Une copie de ce mémoire se trouve dans mes papiers. – *Примеч. С.С. Уварова*.

[2] С помощью дозволенного и недозволенного (*лат.*).

et dessais et, pour tout dire, de cruels mécomptes. J'acceptai donc le fardeau que m'imposait la haute confiance du jeune Monarque mais je l'acceptai avec courage comme un pénible devoir, je l'acceptai sans joie et sans illusion, je l'acceptai enfin parce que je me crus, je l'avoue, destiné à opérer ne fut ce qu'une part de la solution du difficile problème sur la réalisation duquel je n'avais aucune illusion et peu despérence.

Ce fut sous ces auspices que je me mis à l'oeuvre. L'Empereur était sans illusions comme moi, mais plus jeune, plus confiant danc son étoile, moins familier que moi avec la nature des obstacles et de la difficulté pratique pour ainsi dire de l'entreprise que nous allions tenter, il y porta dés l'abord un degré de confience auquel il ne m'eut pas été possible d'atteindre aussi promptement. J'avais, à la vérité, consacré une grande partie de ma vie, les années de vigueur et de courage à sonder le terrain et à chercher la solution du vaste peobléme que j'avais à resoudre. Bien des illusions, bien des espérances de mon premier essai administratif avaient été deçues par de pénibles expériences. J'apportais à l'oeuvre, définitivement replacée entre mes mains, une vue, j'ose le dire, sobre et nette de la question, mais dépourvue de tout ce que, en fait de haute administration, offre le plus dillusion aux hommes sans expérience.

Ainsi je me retrouvai de nouveau placé dans une situation à laquelle je croyais avoir renoncé pour toujour et qui me faisait malgré moi rentrer dans une sphère à laquelle j'avais sincèrement dit adieu. Aussi, malgré tout ce qui pouvait flatter mon amour propre, je ne rentrai dans l'ancien domaine de mon intelligence qu'avec effort, sans beaucoup despérences, encore moins d'illusions et presque avec un sentiment de tristesse qui avait également gagné le Monarque. Il n'est pas douteux que les premier succès que je parvins à y obtenir ne lui parurent une justifications de la confience qu'il venait de me témoigner; mais ces premiers succès, qui pouvaient donner une espèce dassurence, n'avaient rien établie sur les difficultés spéciales du problème. Il serait trop long dexposer en détail toutes ses aspérités; je me bornerai à dire qu'une profonde étude de la question m'avait dés longtemps convaicu que sous ce rapport comme sous beaucoup d'autres, cette question vitale était par la force des choses sortée de ses bornes naturelles et désormais placée sur le terrain paradoxal qui depuis un siècle et demi est devenu le seul terrain ouvert à la Russie. Eviter les utopies; se dépouiller en quelque façon des consequences d'une logique sévère, désormais inaplicable; ne pas s'abandonner à des récriminations stériles et tardives, et composer avec ce que la nature des choses fournissait encore déléments de force et de vie, un système qui s'accordât avec les besoin nouveuax du pays sans rompre avec les traditions du passé, telles étaient les principales données dont l'immédiate application était exigée par l'intérêt de tous et peut-être par le salut du pays.

Il ne m'appartient pas de prononcer un jugement sur les résultats définitifs de cette oeuvre difficile. Dix-sept années de persévérance et dincessants traveaux ne purent sans dout suffire à l'éspoir d'un résultat définitif. Ce que je crois pouvoir affirmer sans présomption, c'est que ne pouvant livrer à mes succeseurs, malgré l'intention la plus résolue de l'Empereur qu'une connaissance très superficielle d'un plan qui, en ne s'éloignant pas du principe, se modifiait souvent par des circonstances inattendues, le plan lui-mème se trouve soumis à des modifications plus ou moins prévues. Sans entrer dans le détail, je me bornerai à exprimer ma sincère conviction que certaines bases fondamentales, posées de concert avec l'Empereur et développées autant que les circonstances ont pu le permettre, sont déjà entrées si avant dans la confiance publique et dans le programme du gouvernement, qu'elles sont devenues le patrimoine et pour ainsi dire le mot d'ordre des administrations futures. Le principe que j'ai constamment suivi de faire précéder le développement politique par le développement moral et intellectuel et la conviction que l'affranchissement civil ne peut procéder que de l'affranchissement intellectuel, en confondant dans une solidarité réciproque la force du pays et la force du gouvrnement, ce principe qui n'opère que lentement presque en silence et tout-à-fait à l'insu de la masse, est encore mot-d'ordre auquel se rallient mes conviction les plus sincères. Sans me dissimuler que

cette opération ne s'applique à la vie des états qu'elle est soumise, commes toutes les choses humaines, à des chances inattendues, je crois pouvoir affirmer même en ce moment que cette voie de salut pour notre pays est encore la plus sûr et la moins soumise aux évènements.

Je n'entrerai pas dans le détail de toutes les nombreuses mesures qui remplirent l'espace de 17 années; je me bornerai à indiquer quelques côtés inattendus et particulièrement difficiles de la question que j'eus à résoudre. Deux circonstances exigèrent surtout l'application de remèdes nouveaux à des questions usées et presque séculaires. Les rapports des provinces allemendes, en ce qui touchait au ministère confié à mes soins, avaient constamment augmenté la scission des idées et l'antagonisme des préjugés réciproques. Les provinces allemendes, opiniâtrement attachées à l'idée ďune Allemagne qui n'existait plus, séparaient leurs intérêts particulières ďavec l'intérêt général de l'Empire, s'aveuglant comme à plaisir sur la nature de leurs rapports avec la métropole. Là, lex idées féodales disparues de toute l'Europe, étaient encore en pleine vigueur et comme cette préoccupation reposait sur un aveuglement, pour ainsi dire volontaire; il y avait encore plus ďillusions et plus ďignorance que de véritable hostilité dans ces débats en grande partie chimériques. Un hasard singulier qui m'avait mis en rapports très intimes avec l'Allemagne, la conaissance approfondie de la langue, les éloges indépendents de Stein comme de Goethe me donnèrent dès l'abord une certaine influence personnelle obstinément refusée à mes prédécesseurs. J'en tirai parti, mais lorsque je fus obligé ďentrer dans le plus vif de la question, l'opposition n'en devint que plus tenace et plus personnelle. Malgré tous cex obstacles et en dépit de l'entêtement qui distingue certains classes de la société allemande, je parvins à leur faire adopter les vues du gouvernement. On apprit le russe avec soin et pour première fois on reconnut ce qu'il y avait de légitime dans les exigences de l'administration.

Ce sentiment éclata, je dois le dire, avec une noble franchise et sans aucune hésitation lors de ma retraite. Le ministre qui les avait si longtemps molestés et qu'ils considèraient comme une espèse de faux frère, devint à sa retraite l'objet dun regret également honorable pour eux et pour lui. Je me hâte de faire observer toutefois que les résultats que j'atteignis, minimes en comparaison de l'étendue de la question, ne doivent être jugés qu'au point de vue ďun système appliqué passagèrement et non sans succès à des infirmités séculaires et toujours prêtes à renaître. J'ajouterai encore que dans cette sorte de lutte domestique, j'eus contre moi la presque totalité de la classe supérieure, tandis que la classe moyenne qui avait ďanciens griefs contre les hobereaux se mit ouvertement de mon côté. Je ne fais cette observation que pour prouver que le mouvement des esprits, dans les petites provinces isolées, suivait en tout une marche analogue à la lutte qui se prononce ďun bout de l'Europe à l'autre entre le principe aristocratique se la classe bourgeoise sous ses diverses formes.

Cette situation, bien que soumise à mille petites péripéties mesquines entravée de toute sorte ďintrigues personnelles et de mauvais aloi, ne portait à la vérité que le caractère ďun débat domestique. Une autre question plus vaste, plus inattendue et beuacoup plus importante se présenta subitement. A la fin de l'année 1839, nous avions, j'ose le dire, atteint des résultats que j'étais loin despérer, tant il est positif que, dans la grande politique lorsqu'on est assez heureux pour se rallier à un principe juste, les conséquences s'en développent avec la promptitude la plus inattendue. Nous étions donc à la fin de l'année 1839 et tout jusque là paraissait seconder l'attente de l'Empereur. Après un travail que j'eus avec lui dans les derniers jours de septembre à Tsarskoe-Selo, ils me dit de le suivre dans un cabinet retiré et me faisant asseoir à ses côtés me dit qu'il avait à me révéler des considérations de la plus haute importence. Je vais rendre avec soin, sinon les paroles expresses, du moins le sens exact de cette allocution.

Il commença par établir que dix années de force croissante avaient encore une fois de plus confirmé le suprématie de l'Empire sur la Pologne; que le gouvernement ne s'était jamais trouvé revêtu ďun semblable pouvoir; qu'en même temps les esprits les plus hostiles lui paraissaient se calmer devant cette suprématie encore une fois confirmée par des résultats

inespérés. Cependant, ajouta-t-il, ne croyez pas que je me fasse illusions sur des choses plus apperentes que solides; la repression à main armée est sans doute un remède infaillible mais ce remède s'use comme tous les autres et en fin de compte un pareille répression ne change rien à la nature des choses. Sous ce rapport, je suis parfaitement convaicu que si d'un côté nous avons obtenu de grands succès, de l'autre nous n'avons pas même abordé l'établissement d'un principe. Cette oeuvre, vous le savez bien, est dune tout autre nature, et plus j'y pense, plus je me suis convaicu que c'est dans la génération nouvelle que nous avons à chercher la solution de ce vieux débat. Vous savez bien, ajouta-t-il en souriant, que dans cette question si compliquée, j'ai dû accepter, non le résultat de mes propres plans, mais l'héritage difficile de mes prédécesseurs. Mes illusions, vous le savez, ne vont pas bien loin; c'est au moment du triomphe extérieur que je vous exprime l'appréhension ou plutôt la certitude de n'avoir pas même abordé la question fondamental. Dans ce chaos qui caractérise deux à trois siècles de nos débats avec Pologne, je ne vois qu'une fusion morale qui pourait y mettre fin. Ne me dites pas combien l'entreprise est difficile; j'en suis tout aussi persuadé que vous; mais je crois de mon devoir le plus positif de la tenter encor une fois en portant non sur la génération actuelle gangrenée et perdue en grande partie, mais sur la génération nouvelle, les espérances d'une meilleur avenir. Dans cette operation dont je sais toutes les difficultés et sur laquelle je ne puis vous donner aucune instruction positive, je ne puis m'appuyer que d'un homme qui comprenne en entier mes idées et qui complète en pratique ce qui leur manque, je le sais, en théorie. Vous êtes cet homme; et quand même le plan que je viens d'indiquer se briserait à des difficultés inattendues, je devais encore faire la tentative que je viens de vous confier. A ces paroles l'Empereur joignit un retour très flatteur sur les succès dêjà obtenus. Voyant sur ma figure quelque chose de plus que de la surprise vulgaire, il ajouta en me tendant la main: ne me faite aucune objection; mon parti est pris et je veux, sans le moindre délai, en tenter l'éxécution. Je vous donne huit jours au plus pour régler les affaires de votre ministère et au bout de ce délai; vous partirez pour Varsovie et vous jugerez sur les lieux des mésures à prendre. Le but réel de votre voyage ne doit être connu que de vous et quand vous serez arrivé, vous verrez, j'en suis convaicu, ce que nous avons à faire. Vous serez porteur des pouvoir les plus étandues, mais je confie à votre prudence de n'en faire usage que devant l'absolue nécessité. Quelques objections que je lui adressai lui firent ajouter sur le champ: Pour nous éclairer tous deux sur la question, je vous propose, pendant les huit jours que vous aurez encore à passer ici, de m'écrire successivement et avec une entière franchise les observations qui se présenteront sur cette mission que je sais être difficile. J'y répondrai, ajouta l'Empereur, avec une égale franchise et il faudrait être bien malheureux, ajouta-t-il en souriant, pour qu'au bout de huit jours nous ne fussions pas plus avancés qu'aujourd'hui.

Effectivement, à partir de ce jour, je me mis en relation continuelles avec lui et comprenant bien qu'il préférait ce mode à des conversations verbales qui n'auraient pas manqué de donner lieu à une foule de conjectures, j'exposai dans mes lettres ou billets autographes le fruit de mes observations et les diverses questions qui se présentaient successivement à mon esprit. Au moment de ma retraite du ministère j'enveloppai ensemble mes lettres et mes réponses qui se trouvaient toujours en marge et les cachetant, les envoyai directement à S[a]. M[ajesté]. Il est vraisemblable que cette correspondance n'existe plus. J'ajouterai seulement qu'à la veille de mon départ pour Varsovie, l'Empereur me remit un prtit billet soigneusement cacheté à l'adresse du Maréchal en me disant que si tout venait à me manquer à la fois et que tous les moyens se trouvassent épuisés, il m'autorisait à remettre ce billet entre les mains du Maréchal. Lorsqu'à mon retour, en annonçant à S[a] M[ajesté] que j'avais réussi au delà de nos espérences sans faire usage du billet que je lui remis, il m'exprima un mouvement de joie, et le déchira sur le champ avec soin extrême, sans me rien révéler de son contenu.

Mon voyage de Pétersbourg à Varsovie s'effectua dans la plus mauvaise saison et malgré toutes sortes de difficulté. Lorsque j'arrivai à la frontière du royaume, j'y fus reçu avec les égards

ďusage. Enfin, j'entrai dans la capitale de la Pologne à une heure avancée de la soirée; je fus conduit dans l'hôtel qui m'était préparé où se trouva le général Chipoff. Après les politesse ďusage je le priai de dire au Maréchal que, vu l'heur très avancée du jour et l'extrême fatigue du voyage, je remettrais ma visite à demain. Donc, le lendemain, je me rendis au palais du Maréchal et lui exposai en termes très polis et fort mesurés la partie ostensible de la mission confidentielle que S[a] M[ajesté] m'avait donné. Cette ouverture parut calmer l'émotion que je marquerai aussi bien dans le Maréchal que dans tous eux qui l'entouraient. Il y répondit avec courtoisie et là commença une série de fêtes et de bals qui se prolongèrent pendant toute la durée de mon séjour, ce qui ne m'empêcha pas ďaborder immédiatement les questions que j'avais à traiter avec lui. La résistance ouverte lui paraissant désormais impossible, il voulut au moins avoir l'air de céder de bonne grâce ce qu'il ne pouvait plus défendre. On s'imagine sans peine la quantité de questions de tout valeur qu'il fallut résoudre une à une. L'attention publique se portait sur cette mission dont le but était ignoré et qui donna lieu aux versions les plus absurdes. Cependant le Maréchal qui au premier abord m'avait témoigné une sorte de découragement, s'enhardit par les instigations secrètes de ses affidés les plus intimes. Pendant que les fêtes continuaient et que j'y paraissais dans les termes les plus affectueux avec le Maréchal, ma délicate négociation n'avançait guère et chaque jour je pus observer davantage que j'avais à combattre la ligue nombreuse composé ďautant de Russes que de Polonais, ayant tous en vue de ne pas laisser amoindrir par ce premier essai l'omnipotence du Maréchal. Il était clair ďailleurs qu'en fatiguant ma patiance, ils feraient naître en moi l'idée ďun prompt départ, ce qui n'aurait pas manqué de faire avorter tout le plan secret que j'avais apporté avec moi.

Dans cette situation, ne voulant point compromettre l'autorité de l'Empereur et son nom, il me vint à l'idée de tenter un moyen hardi mais qui me paraissait assurer le succès. Le général Rautenstrauch qui avait joué un rôle considérable dans la révolution et qui avait su néanmoins s'emparer de la confiance du Maréchal me parut l'organe secret de cette espèce ďopposition qui se prononçait à mesure que la négociation tirait à sa fin. Cette conjecture que l'évènement vérifia me fit prendre une résolution passablement hardie, mais à laquelle je dus le succès complet de ma mission. Cet habile homme, rompu aux intrigues et habitué à exercer une influence occulte, tant sur le gouvernement que sur la public était tombé, disait-il, gravement malade deux jours après mon arrivée. Cette circonstance m'avait, dès l'abord, paru équivoque et lorsque j'invitai par un billet le général à se rendre chez moi ou à me recevoir chez lui, je le vis arriver sous le costume et l'apparence ďune homme malade. Je commençai par lui dire que sans beaucoup ďefforts j'avais démêlé son influence sur les affaires et en paticulier sur les opinions du maréchal et qu'en combinant cette circonstance avec les précédents de sa vie politique, je m'étais plainement persuadé que son influence pouvait seule amener le succès de la mission dont j'étais chargé. A cette assertion positive, le général me répondit ďabord par des dénégations assez faibles et qui ne produisirent sur moi que peu ďimpression. Après toutes sortes de propos insignifiants en ce genre, je pris le parti de lui déclarer nettement que le succès ou la non réussite de ma négociation se rapporterait à la part qu'il y prendrait. J'ajoutai qu'avec une aussi grande supériorité ďésprit, il lui serait aisé de faire accepter de bonne grâce par le Maréchal le message dont j'étais le porteur et que j'étais en tout cas complètement résolu de lui attribuer (à lui, le général) dans mon rapport verbal et sans déguisement à l'Empereur le succès aussi bien que l'insuccès de ma négociation. A cette déclaration catégorique le général me répondit ďabord en affectant une grande modestie tout en s'engageant néanmoins à appuyer les démarches que j'étais chargeé de faire.

Quelques heures s'étaient à peine écoulées après cette conférence que je vis arriver chez moi le Maréchal qui me dit ďun air fatigué qu'il était temps ďen venir à une conclusion; qu'il avait déjâ consulté dans une réunion secrète l'opinoin des ministres et obtenu leur assentiment à une conclusion prompte et conforme aux voeux de S[a] M[ajesté]. Profitant de cette situation et prenant pour motif le désir de terminer sans délai cette négociation; pénible pour lui comme pour

moi, je lui proposai de rédiger un acte qui confirmât les principes et les mesures que nous aurions adoptés de commun accord. Sur son consentement je me mis à l'oeuvre et, avec l'aide d'un habile secrétaire venu de Pétersbourg, la charte fut bientôt bâclée et remise aux mains du Maréchal qui la mit sur le champ en discussion avec ses affidés secrets. Peu d'heures après, il m'annonça que ma proposition avait été définitivenment accepté, sauf quelques légères modifications qui ne changeaient rien au sens de la rédaction et ne touchaient qu'à des détails sans valeur. Sans perdre de temps, l'acte fut transcrit au net et signé par le Maréchal et par moi; après quoi je lui proposai de se charger d'adresser lui-même à l'Empereur le papier revêtu de nos signatures, trouvant juste, ajoutai-je, de lui laisser tout l'honneur du succès. Cette proposition obtint son suffrage; un feldjaeger fut expédié portant à S[a] M[ajesté] l'acte conclu avec le Maréchal et auquel je me bornai à joindre quelque peu de lignes adressées à l'Empereur et que je remis au Maréchal.

Ansi s'opéra la mesure gouvernementale qui apprit à la Pologne que désormais elle avait à se résigner à devenir une partie intégrante de l'Empire. Je n'enterai point dans le détail de toutes les mesures qui en furent la suite et dont l'achèvement complet exige encore sans dout un développement contenu. Je me bornerai à dire qu'à mon retour à Pétersbourg je fus reçu par l'Empereur avec l'expression la plus cordial de sa satisfaction. Peu de temps après, il me décora de l'ordre de S^{t}. Vladimir de la premier classe en faisant, bien contre mon opinion, insérer dans les lettres patentes que cette distinction m'était accordée en vertu des mesures prises pour établir un système uniforme d'éducation publique entre l'Empire et le royaume.

Le succès que j'avais obtenu donna à ma carrière administrative une direction nouvelle qui fut, en résumé, assez peu favorable aux travaux qui, précédemment, avaient absorbé tous mes soins. Plus le résultat à l'égard de la Pologne avait été inattendu, plus cette sphère nouvelle, jusque là entièrement étrangère à mes travaux, absorba la plus grande partie de mon temps et de mes efforts. Il ne s'agissait pas seulement de s'emparer de la question; il fallait lui donner une forme systèmatique, se tracer un plan arrêté et poursuivre avec persèvèrance et malgré toutes les oppositions la marche qui avait été adoptée. Les obstacles qui avaient fléchi d'abord se renouvelèrent sous mille formes différentes et dans cette lutte inégale on courait le danger de ne trouver que des alliés impuissantes, incapables d'apprécier le véritable état des choses ou des adversaires passionnés, décidés à l'vance à reprendre par la ruse le terrain qu'ils n'avaient pu défendre de vive force.

Le détail de cette position singulière n'entre pas dans le cadre de ce récit; je me bornerai à citer un seul fait qui pourra prouver tout ce qu'elle contenait naturellement de paradoxal et d'inattendue. Près de trois siècles avaient établi une incurable hostilité entre la Russie et la Pologne, hostilité d'autant plus vivace que toutes deux issues de la même origine, toutes deux Slaves, toute deux livrées aux mêmes péripéties politiques toutes deux tour à tour victorieuses et vaincues, les deux nations trouvaient dans leur analogie indubitable le vrai motif de leur hostilité. Ce n'était pas faute de s'entendre; c'était, pour ainsi dire, parce qu'elles s'entendaient trop que cette hostilité instinctive avait jeté des racines si profondes. On a fait grand bruit de quelques ambitions personnelles qui avaient envenimé le débat; mais le débat lui-même était, en quelque sorte, dans la nature de la situation. Une circonstance particulière me mit à même d'en recuillir la preuve irréfragable. Depuis l'année 1831, les mesures du gouvernement russe avaient inflexiblement tendu à subordonner ou plutôt à détruire la langue polonaise en autant qu'une langue peut se détruire. L'enseignement public se pratiquait exclusivement en russe, et on employait les moyens de rigueur, aussi bien que les moyens de séduiction, pour produire une sorte d'apostasie intellectuel. Il me fallut peu de réflexions et peu d'observations locales pour me convaincre que les moyens violents employés à détruire cette espèce d'hostilité intellectuel produisaient exactement un effet tout contraire et envenimaient la question au lieu de la résoudre. J'adoptai dès l'abord une marche tout opposée dont on ne comprit le sens que fort tard, et que

je ne pouvais même hasarder qu'à l'aide de l'espèce d'omnipotence dont javais été revêtu. Après avoir prêté une oreille calme et attentive au doléances dont je fus accablée, j'essayai de donner à cette question une solution à laquelle ne s'attendaient guère les deux opinions opposèes. En exprimant mon regret que deux peuples issues de la même origine, étroitement liés par la même histoire pouvaient avoir l'un et l'autre aussi mal saisi une question que devait être résolue sans passion et sans amertume, je déclarai l'enseignement de la langue polonaise spontanément rétabli dans toutes les maisons d'éducation.

Cette concession inattendue produisit, on peut le croire, une vive émotion; la joie fut grande et, quand on voulut me la témoigner, une seule pensée eut l'air de s'emparer de tous les esprits. Ce qu'on avait jusque là obstinément refusé à l'action brutale de la force, on l'accorda librement à titre d'hommage et de reconnaissance. Les Polonais, si éloignés des Russes par trois siècles de divisions politiques mais en même temps si étroitement et pour tout dire si involontairement liés par une origine commune, aussi bien que par les mêmes instincts soit bons ou mauvais, les Polonais trouvèrent dans l'études, volontaire à leurs yeux, de la langue de leurs vainqueurs jusque là si parfaitement méconnue, toutes les ressources que présente sans effort à deux peuples l'identité de leur origine. Ce rapprochement intellectuel s'étendit plus loin. En étudiant la langue méconnue de leurs redoutables voisins, les populations commencèrent à les mieux connaître et à les estimer devantage et une sorte de solidarité intellectuel se trouva établie entre deux races ennemies, non parce qu'elles s'entendaient trop peu, mais parce qu'elles s'entendaient trop, sans pourtant se comprendre rationellement.

Maintenant que ma vie politique est terminée, je puis affirmer avec franchise qu'au moment où j'écris ces lignes, les populations polonaises ont déjà atteint aux résultats les plus incontestables. Peut-être même ont-elles déjà l'avantage davoir acquis la connaissance de la langue russe par une voce régulière et grammaticale et de savoir par principes et par règles ce que la plupart des Russes ne savent que par instinct et pour ainsi dire par tradition. Cette langue qu'ils ont désormais adoptée comme objet d'étude, sinon comme objet de sympathie, s'est trouvée si complètement analogue à leur intelligence qu'elle leurs paraît déjà plutôt comme un idiome ressuscité que comme idiome appris. A l'appui de cette assertion, je citerai le volume publié l'année dernière et qui contient une collection de morceaux divers écrits dans les différents gymnases du royaume depuis la Vistule jusqu'à Kalicz. Tout, dans ces essais dune jeunesse sans expérience n'atteste pas un talent également remarquable, mais ce qui est incontestable, c'est que dans les limites de la langue même, il serait difficile de signaler la moindre déviation aux règles les plus délicates du langage. De sorte que je ne voudrais pas me permettre d'affirmer, qu'un pareil recueil publié au sein des populations russes de l'Empire, présentât invariablement une connaissance aussi correcte des principes de la langue dans leurs applications les plus divers.

Cependant le succès obtenu dans cette délicate affaire ne put empêcher que des obstacles de tout genre et des difficultés inattendues ne s'ouvrissent à mesure que nous procédâmes à l'éxécution du plan. Bien que je ne le considère que comme une oeuvre inachevée, je puis affirmer sans présomption que les fondements principaux posés et développés avec constance sont devenus désormais le patrimoine du pays.[1] On concevra sans peine que ce nouveau champ d'activité ouvert au ministère dont j'étais le chef, en absorbant une grande partie de mon temps, imprima une certaine lenteur au développement continu du système adopté pour l'Empire. Pour se convaincre de l'étendue et de la variété des affaires qui simultanèment m'échurent en partage, je me bornerai à dire, qu'en même temps que les problèmes les plus ardus de l'immense question de la Pologne se trouvaient en ma présence, d'autres questions plus obscures, et en partie aussi

1 Un mot que je dis au secrétaire détat Turkull en sortant avec lui du cabinet de S[a]. M[ajesté]. fit du bruit: «Si jamais il c'était question de saigner à blanc la Pologne, je préviens que j'ai les mains trop nettes pour tenir le bassin.» On ajoute que le Maréchal s'empressa de rédire mes paroles à l'Empereur et que celui-ci haussant les époles, lui répondit: «Que voulez-vous? C'est là tout-à-fait son opinion, je la connais». – *Примеч. С.С. Уварова*.

ardues me furent déférées par la confiance de l'Empereur qui semblait s'accroître de plus en plus au moment où mon activité approchait de sa fin. La réforme ou plutôt la réorganisation de toutes les branches des sciences médicales me fut spontanément déférée; de cette oeuvre qui, comme tant dautres, resta inachevée lors de ma retraite subite, quelques parties importantes demeurèront irrévocablement terminées. Je me bornerai à nommer la conversion de l'Académie médicale de Moscou en une clinique fondée sur les principes les plus nouveaux de la science et sur son état actuel en Europe; et la réunion de l'Académie médicale de Wilna à l'université de S[aint]. Wladimir (Kieff), l'oeuvre de prédilection, qui se trouva portée de cette manière à un haut degré d'importance qui n'est plus disputé par personne.

En dehors de ce plan qui ne pouvait s'effectuer qu'au moyen du pouvoir très étendu que la confiance, toujour croissant de S[a]. M[ajesté]. daigna me conférer, je me bornerai mentionner qu'une autre transformation bien plus étandue et plus difficil et dans laquelle les principes étaient loin d'être imdiqués avec la même clarté, se trouva livrée à mes soins peu de temps avant l'heure finale d'un système nouveau adopté pour la population juive et dont l'éxécution me fut déférée. Cette question, d'autant plus importante qu'elle avait été ou négligée, ou livrée à l'action des préjugés les plus invétéré, ne pouvait se ramener à un principe rationel que lentement et pour ansi dire à l'insu de ceux dont on voulait assurer la cause. Cette question présente dans notre pays une importance plus grande que dans tous les autres états de l'Europe et pour s'en convaincre, il suffit de jeter les yeux sur la carte. On verra que par un singulier concours dévènement, la population juive se trouve en Russie placée, pour ainsi dire, à l'avant-garde et limitrophe des provinces polonaises. Il était donc dune haute importance de rallier au gouvernement une population de plus de deux millions d'âme, livrée depuis des siècles à l'arbitraire et qu'une haine profonde ne pouvait manquer d'animer. Sans entrer dans le détail des vues qui furent adoptées et dont l'éxécution ne survécut pas à ma retraite des affaires, je me bornerai à citer à l'appui de cette confraternité inouïe qui anime toutes les populations juives éparses sur le globe, qu'arrivé inopinément à Naples, je fus surpris de me trouver, à mon insu, l'objet des plus grands égards de la maison Rothschild dont le chef ne tarda pas à me dire nettement qu'il devait cet hommage à celui qui avait pris en main la cause de ses malheureux corréligionnaires. Mais cette oeuvre qui eut exigé une longue série dannées et peut-être de modifications successives se trouva entre mes mains trop peu de temps pour avoir pu obtenir des résultats sensibles. Je crois pouvoir ajouter qu'elle disparut lors de ma retraite et qu'il en reste à peine quelques débris.

Les évènements qui éclatèrent inopinément et dont l'effet se fait encore sentir d'un bout de l'Europe à l'autre, joints à des malheurs de famille qui altérèrent ma situation personnelle, me firent prendre en octobre 1849 un parti incontestablement le meilleur et le plus honorable. J'adressai à l'Empereur une lettre dans laquelle, sans la moindre illusion aux évènement dont le contre-coup était chez nous comme ailleurs, inévitable, je lui demandai ma retraite du poste de ministre de l'Instruction publique. Cette démarche aussi décisive qu'imprévue et à laquelle je fus encouragé par des sympathies aussi affectueuse qu'éclairées, frappa l'Empereur plus qu'elle ne le surprit. Dès le premier moment, non seulement il se rendit à mon voeu, mais il me laissa garder tout ce que je crus convenable de ne pas abandonner, en y ajoutant le titre de membre du Conseil de l'Empire. Toutes ces circonstance n'ont pas besoin d'être développées, car celles sont parfaitement connues de mon fils. Alors l'Empereur, ébranché un moment par l'influence des évènements les plus inattendus soumit dans l'intimité de sa pensée à un examen suivi les seize ou dix-sept années de mon administration. Il en sortit, j'ose le dire, victorieux des impressions qu'on avait cherché à lui donner et, avec cette noble franchise qu'il ne dément jamais dans aucune occasion, non seulement il me rendit le traitement considérable dont j'avais joui en qualité de ministre, mais encore il y joignit peu de temps après l'ordre de St. André, à ma grande surprise et à la surprise plus grande encore de ceux qui s'étaient portés mes antagonistes. Le rescrit que l'Empereur m'adressa à cette occasion, et qui fut, comme je l'appris depuis, minuté par lui-même,

exprime nettement que résolu de manifester publiquement les services que je lui avais rendus par le développement constant de ses propres vues, il me donnait, etc. Cette déclaration loyale met fin à tous les plans que ma retraite avait fait naître, en déconcertant sans retour les intrigues les mieux ourdies.

Ce fut donc sous ces auspices que je rentrai dans la vie privée, dans un moment où, malgré toutes les résistances, s'ouvrait une nouvelle époque dont nous n'avons encore vu que le prélude. Ce que nous avons acquis, c'est la conviction à peu-près unanime que jamais l'aveugle orgueil de l'esprit humain n'avait éprouvé de défaite plus humilante. Après cinquante ans de succès, où sa formidable puissance semblait dominer les hommes et les choses, des évènements inattendues réduisirent à néant tout ce qui lui paraissait le plus irrévocablement établi. Les esprits les plus fermes, les convictions les plus sincères se trouvèrent ébranlées ďun bout de l'Europe à l'autre, réduits qu'ils étaient comme le sicambre à brûler ce qu'ils avaient adoré et à adorer ce qi'ils avaient brûlé. Toutefois, il est juste de dire que l'impression du premier moment de terreur paraît s'amoindrir partout et il ne serait pas impossible que la crise menaçante qui semblait devoir ébranler toutes les bases de la civilisation européene n'aboutit en dernier lieu qu'aux proportions mesquines ďune tragi-comédie subalterne.

Mais j'ai hâté de terminer ce que j'aurais à dire sur ce sujet; revenant à ce qui me regarde personnellement, je me bornerai à rappeler à l'attention la plus sérieuse de mon fils que, privé dès le berceau de l'appui de mon père, livré à ma propre solicitudes le jour où la mère la plus tendre avait accompli son rôle, abandonné à ma prudence à l'âge où les passions n'altèrent que trop souvant la raison, je fus assez hereux pour trouver, dans le goût de l'étude et dans l'habitude de la réflexion, des ressources qui ne m'ont pas fait défaut. Il n'échappera pas à son attention que ma vie publique prématurée et brillante n'a manqué ni de déceptions, ni de mécomptes de tout genre que j'ai cru devoir en grande partie passer sous silence. C'est après avoir terminé cette longue carrière mêlée ďautant de revers que de succès qu'il me voit revenu avec amour aux goûts studieux qui charmèrent ma jeunesse, rehaussèrent les travaux de l'âge mûr et dans lesquels je compte trouver encore mes plus douces consolations.

Il me reste à resumer en peu de mots le caractère et la marche ďune vie publique divisée en deux parties distinctes et cependant analogues. Dans la première, il est facile de voir qu'elle renferme beaucoup plus de vues chimériques et de projets avortés que de réalités. Ce qu'il n'est pas difficile de découvrir quand on considère que dans les vues de l'Empereur Alexandre, je me vis passer par toutes les gammes de sa propre imagination. En récapitulant mes souvenirs, je dois ajouter que la dernière transformation à laquelle il voulut me soumettre, loin de me blesser, parut m'ouvrir une nouvelle sphère ďidées et de travaux auxquels je finis par m'attacher sincèrement. On remarquera aussi que lorsque, par une brusque péripétie, l'Empereur Nicolas me replaça subitement au point duquel je me croyais à jamais éloigné, sa résolution me garantit dès l'abord une position claire et déterminé. De toutes les marques de bonté qu'il me donna sans la moindre altération pendant dix-sept ans, la plus sencible à mes yeux et la plus vive, dans le calme de la réflexion, est de m'avoir ouvert dès l'abord un champ assez vaste et assez solide pour que j'y pusse éprouver mes propres forces et donner à mes idées la latitude nécessaire ďexecution sans laquelle les intelligences les plus élevées ne sortent guère du cercle étroit *des rêveries ďun homme de bien*.

Poretch.
ce 16 join 1852.

II
Перевод

Копия

Опыт автобиографии, посвященный моему сыну

Sine ira et studio[1].*
Тацит

Я никогда не верил в искренность *автобиографических воспоминаний.* От Св. Августина до Жан-Жака доверительные исповеди не кажутся мне доходящими до той степени искренности, которая одна бы и делала драгоценными подобные излияния. Поэтому я не берусь писать воспоминания, я ограничусь тем, что сделаю несколько замечаний о моей продолжительной и многотрудной карьере, которая охватывает один из самых интересных периодов нашей современной истории. Моя цель, написав эти страницы, дать моему сыну достоверное обозрение того времени, которое я пережил, и которое во всех отношениях представляет самый живой контраст с тем, в которое он призван жить и в грядущих событиях которого призван участвовать. Времена, которые я пережил, находятся в поразительной противоположности с настоящим временем, и это различие столь велико, что свежая память кажется далеким преданием, смутной реминисценцией, даже чем-то вроде баснословной традиции, хотя немногие годы отделяют эпохи, и *старики* и *современники*, если можно так выразиться, пришиты друг к другу; настолько стремительность событий придает нашему веку какую-то бессвязность, отпечаток которого грозит стереться и уступить место какой-то новой эпохе, все столь же бессвязной и еще более неожиданной.

Поскольку я пишу лишь для моего сына, приведу вначале несколько подробностей о его и моей семье, о моем образовании и вхождении в свет, столь отличавшийся тогда от того, который открылся перед ним.

Мой отец умер в 1788 году в возрасте 34 или 35 лет. Он был адъютантом Императрицы Екатерины и подполковником гренадерского полка, полковником которого была Императрица. Выходец из военной среды, сын генерала, убитого в прусскую кампанию, вместе с братьями он был с ранних лет погружен в военную карьеру. Неустрашимая отвага и красивая внешность сделали его вскоре известным, и Императрица поставила его в число своих адъютантов в то время, когда это звание было настолько редким, что давало самые широкие привилегии и открывало карьеру без ограничений[2]. Попрошу обратить здесь внимание на контраст между идеями того времени и нашего века. В галерее в Поречье[3] видим портрет молодого человека, блондина с беспечном видом и в небрежном костюме, изобилующем кружевом и бархатом. Это портрет моего отца, который погиб во цвете лет, *сохранив, как храбрый Ранцау[4], половину своего отряда, оставив другую в полях Марса.* Придворное предание, окруженное мраком тайны,

[1] Без гнева и пристрастия (*лат.*).

[2] В числе разных привилегий адъютантов Императрицы было право носить по их выбору любую из униформ армии, за исключением четырех форм гвардейских полков. Поэтому мой отец, широко пользуясь этим правом, имел из них до двадцати самых элегантных, которые надевал поочередно по тогдашней моде. – *Примеч. С.С. Уварова.*

[3] Поречье – любимое имение С.С. Уварова в Можайском уезде Московской губернии, где размещалась его коллекция античных памятников.

[4] *Ранцау* – старинный феодальный род из земли Шлезвиг, известный датскими и немецкими военными и государственными деятелями.

побуждает верить, что Императрица останавливала на этом молодом человеке взгляд более нежный, чем вследствие обыкновенного благоволения. Я припоминаю по меньшей мере, что моя мать, рассказывая о своем муже, говорила, смеясь: «Он принес мне жертву столь большую, что в это не верится». По крайней мере достоверно то, что благосклонность государыни не обошла молодого солдата, и все современники согласно говорят, что большая военная карьера была ему открыта, если бы он дожил до зрелого возраста.

Мой отец вскорости погиб в Финляндии в разгар последней шведской кампании. Моя мать, разделявшая с мужем его придворную жизнь, осталась вдруг вдовой в 27 лет, будучи матерью троих детей, старшим из которых был я. С решимостью, которая никогда ей не изменяла, она покинула двор и город и всецело занялась воспитанием троих сирот, вскоре уже только двоих из-за смерти моей сестры. Не возьмусь описывать всех ее забот по восстановлению в прежнем виде порядком расстроенного состояния и особенно то страстное рвение, с которым она всю себя посвятила воспитанию детей[123].

Покажу теперь идею системы нашего воспитания, которое во многих отношениях носило характер отличный от воспитания наших детей. Поначалу об общественном образовании никто не думал, оно было оставлено для средних классов общества, дети знатного происхождения воспитывались под надзором родителей в семьях. Одно только событие, которое более не повторится, придало в то время образованию молодой русской аристократии особенный характер. Во время первого периода французской революции из-за гражданской присяги, требуемой от духовенства, из Франции в короткое время удалились самые выдающиеся люди, призванные заниматься воспитанием. И, таким образом, все то поколение, гонимое преследованием, пришло искать убежища в Россию. Оно здесь не только было принято с восторгом, но еще и все воспитание молодой русской знати исподволь перешло в руки изгнанного из Франции духовенства. Начиная с аббата графа де Трессана[4], аббата Николя[5], столь знаменитого во время Реставрации, аббата Сюрюга, который будучи священником у Св. Людовика в Москве во время бедствий 1812 года проявил храбрость, граничащую с героизмом[6], вплоть до толпы молодых священников, изгнанных из семинарий и колледжей Фран-

[1] Моя мать была из дома Головиных, ее мать – из дома Голицыных, сестра князя Дмитрия Голицына, долгое время русского министра в Париже и в Гааге, тесно связанного с Дидро и философами того времени, которых моя мать в молодости, по ее воспоминаниям, видела в гостиной своего дяди в Париже и особенно в Гааге. Князь Голицын женился в Берлине на дочери фельдмаршала графа Шметтау, известной в те времена *ясновидице,* которую превозносили адепты, также как и ее единственную дочь, которая умерла, не выйдя замуж. Князь Дмитрий (Алексеевич) имел брата – князя Петра, который умер в начале века, прослужив обер-егермейстером при дворе Екатерины II и Павла I, будучи кавалером ордена Св. Андрея. Между прочим, припоминаю, что одна старая горничная, которая следовала за семьей Головиных в их путешествиях, нам рассказывала тридцать или сорок лет спустя о своем удивлении при виде «знаменитого г. Дидро», который был настолько непристоен, что в полной гостиной снимал с себя парик, когда было жарко, и много говорил. – *Примеч. С.С. Уварова.*

[2] Голицын Дмитрий Алексеевич (1734–1803) – русский дипломат, естествоиспытатель. Тайный советник (1779). Полномочный министр при французском дворе (1763–1767), при Генеральных Штатах Нидерландов (1769–1782).

[3] Шметтау, Самуэль фон (1684–1751) – австрийский и прусский военачальник, дипломат, географ. Генерал-фельдмаршал Пруссии (1741). Прусский посланник во Франции, Австрии. Австрийский граф. Президент Берлинской Академии наук.

[4] Трессан, Морис Элизабет де Лаверн де (1749–1809) – французский писатель.

[5] Николь, Шарль Доминик (1758–1835) – французский педагог. В 1794–1806 годах содержал аристократический пансион в Петербурге. Управлял в 1817–1820 годах Ришельевским лицеем.

[6] Сюрюг, Адриен (1753–1812) – французский католический священник, доктор теологии, член ордена иезуитов. Эмигрировал из Франции в 1792 году. Настоятель костела Св. Людовика в Москве в 1808–1812 годах. Совратил в католичество жену московского генерал-губернатора Ф.В. Ростопчина. Свидетель наполеоновской оккупации Москвы. Один из авторов французской версии истории московского пожара 1812 года [см.: 26, с. 118–133]. Сохранилось московское предание, что Сюрюг якобы даже в оккупированной Наполеоном Москве продолжал за богослужением молиться за императора Александра I вопреки давлению оккупантов [см. 27, с. 245].

ции; воспитание всего высшего слоя России было вдруг доверено этим беглым изгнанникам. В те времена не было ни одного видного семейства, которое не имело бы у себя какого-нибудь французского аббата. Это было столь же обязательно, как модное платье. Отсюда и получилось, что то поколение, к которому я принадлежу, оказалось гораздо больше знакомо с воспитанием в колледжах Франции и, следовательно, с французским языком, историей и обычаями, чем это было, начиная с поколения нового. Наш аббат звался аббат Манген, превосходный и славный человек, которому мы многим обязаны, не пожелавший нас покидать до самой своей смерти в 1830 году в России.

Однако обладание аббатом еще не обеспечивало всех потребностей воспитания. У моей матери, проводившей в своих имениях большую часть года, во второй линии за французским аббатом имелся учитель немецкого языка, учитель рисования, учитель музыки, вплоть до учителя-иностранца по верховой езде. Подобные привычки, которые сегодня показались бы обременительными, с небольшими примерно оттенками были повсюду в высшем обществе. Это вторжение французской системы продлилось, приблизительно, лишь до 18 брюмера. Мало-помалу беглецы начали возвращаться в свою страну и занимать там достойное положение, и немного лет спустя после восстановления порядка во Франции все наши аббаты были приглашены французским правительством к своей прежней карьере; таким вот образом я оказался фактически воспитан в системе и в идеях, постепенное исчезновение которых увидело следующее поколение.

Не входя в подробности того образования, которое мы получили, скажу только, что все мы учили латынь с большим или меньшим успехом. Затем довольно поверхностный курс истории, соединенный с очень тщательно отделанным курсом литературы, формировали основу образования. Математика преимущественно сохранялась для детей, предназначенных к военной карьере. К этим упражнениям для ума присоединялось во всей широте великое множество упражнений для тела, позаимствованное, по духу того времени, из старой Франции, упражнений, составлявших по преимуществу принадлежность благородного звания: музыка, танец, верховая езда и даже вольтижировка, фехтование, плавание, ровно как и гимнастика, составляли в целом большую часть. Таким образом, в возрасте 15 или 16 лет входили в свет с большими или меньшими внешними достоинствами, составлявшими благородного человека в полном виде. Не отрицая несовершенства такого образования, явно поверхностного, позволю себе только отметить, что большинство людей, которые в царствование императора Александра и также в нынешнее царствование заняли высшие места в государстве, вышли из этого поколения, доверенного заботам французской эмиграции.

Русская молодежь, особенно из аристократической среды, тогда посвящала себя, как и во Франции, военной службе. Чтобы согласовать интересы этой честолюбивой аристократии и нужды армии, придумали следующую уловку: когда в высших классах рождался мальчик, через шесть месяцев или год после рождения его записывали в число унтер-офицеров гвардии, и, таким образом, когда по старшинству он достигал офицерского чина, то переходил 16-летний возраст. Поэтому я еще грудным ребенком[1] считался в Измайловском полку, а мой брат – в Конногвардейском, где мы получали наши отпускные свидетельства, выдаваемые весьма регулярно, до того момента, когда император Павел расправился со всеми такими зелеными генералами. Эта мера почти не устранила злоупотребление, которое стремились разрушить вплоть до настоящего царствования, сразу же эти вещи почти не изменились, как это будет видно в продол-

[1] Моей крестной матерью была Императрица Екатерина. Такая милость в ее царствование имела особенную ценность, поскольку представлялась государыне чем-то вроде усыновления. – *Примеч. С.С. Уварова.*

жение моего рассказа. Когда наступил момент нашего вступления в службу, генерал Уваров[1], дальний родственник моей семьи, которому мой отец помог войти в свет, продвинутый благодаря особенному покровительству до высших военных должностей того времени, решился по просьбе моей матери оказать нам то покровительство, какое он некогда получил от нашей семьи. Не имея никакого вкуса к военной службе, я был при помощи генерала наименован в 16 лет камер-юнкером, титулом, в то время мало раздававшимся, который предоставлял непосредственно чин 5-го класса. Мой брат, посвятивший себя карьере наших предков, был в 14 лет помещен почти прямо в число офицеров Кавалергардского полка.

Вспоминая то, что касается лично меня, должен указать, что за некоторое время до этого обоюдного назначения, я привлек внимание Императора, сам того не зная. Здесь не могу обойти молчанием то, что я оказался с самого начала в числе первых среди нового поколения. В самом деле, я опередил, надо сказать, большинство моих современников настолько, что, когда князь Адам Чарторыйский[2], всемогущий, но не явный министр Императора Александра, которого его своеобразное положение обязывало к большим предосторожностям, пожелал иметь возле себя молодого человека чуждого всем группам, я был ему назван, чтобы быть тотчас же причисленным к его персоне. По странному стечению обстоятельств, он находился во главе политики, не имея в ней открытого положения. Две или три работы, которые он велел мне сделать, очаровали его настолько, что он с удовлетворением рассказал о них Императору, и, таким образом, когда я ему был представлен, обнаружил, что, того не зная, уже известен благодаря одному благоприятному предубеждению.

Расскажу несколько более подробно, как проходило это представление, имевшее решающее влияние на всю мою последующую карьеру. В тот самый день у Императрицы-матери в довольно небольшом кругу был бал. Обозрев во всех деталях мой туалет, который, позволю себе сказать, был из весьма элегантных, моя преисполненная радости матушка вдруг сделала важное лицо и сказала мне, примерно, следующее: «Я сделала для вас вплоть до сего дня все, что было в моих силах, на сегодня моя роль исполнена; знайте, что у вас больше не будет другой опоры, кроме вас самого». После этого материнского увещевания мне дали экипаж, запряженный четверкой лошадей, и я уехал во дворец. Хотя тот новый круг, в котором я собирался находиться, мне был отчасти известен, я ощущал нечто вроде вполне естественного волнения, когда оказался один посреди этого блестящего окружения. Но это волнение не замедлило рассеяться; увлеченный прелестями бала, я принял участие в танцах, но скоро заметил, что Император, бывший тогда в блеске молодости и красоты, следит за мной с каким-то особенным вниманием. Также ближе к середине бала я испытал то, как он ко мне приблизился и самым приятным и дружеским тоном сказал несколько милостивых слов. Так при более или менее пустом стечении обстоятельств с этого вечера началась привязанность, которая, принимая одну за другой самые непредвиденные формы, не прекратилась, не исчезла, испытав самые сильные осложнения, как это увидим позже.

[1] Уваров Федор Петрович (1773–1824) – русский военачальник, генерал-адъютант (1798), генерал от кавалерии (1813), член Государственного совета (1823). Близкий великому князю Александру Павловичу участник заговора против императора Павла I 11 марта 1801 года.

[2] Чарторыйский (Адам-Ежи) Адам Адамович (1770–1861) – польский политический деятель, князь. Входил в круг ближайших друзей великого князя Александра Павловича. Член Негласного комитета 1801–1803 годов. Товарищ министра иностранных дел России (1802–1806), управляющий Министерством иностранных дел (1804–1806). Попечитель Виленского учебного округа (1803–1823). Сенатор-воевода и член Административного совета царства Польского (1815–1830). Глава правительства польских мятежников (1830–1831). В эмиграции провозгласил себя польским «королем де факто» (1834).

И так прошло два года моего увлечения круговоротом придворной и светской жизни. Единственное воспоминание о том времени относится к сражению при Аустерлице[1], когда любовь, которую испытывали к Императору, придала не очень славным событиям вид народного триумфа. В этом всеобщем упоении я написал стихи, замечательные не столько талантом, сколько пылким восторгом перед Императором. Он их прочитал и засвидетельствовал мне свое удовлетворение в самых лестных выражениях. Между тем, обо мне не выходило никакого решения, и, когда в 1807 году организовали посольство князя Александра Куракина[2] в Вену, я вдруг направил прямо Императору письмо вне каких-либо принятых форм, но полное признательности к его особе. Этот поступок, который мог бы, естественно, повредить заносчивости молодого человека, достиг, напротив, наибольшего успеха. Я был непосредственно причислен к посольству, которое организовывалось, и во время которого посол вел переговоры о Тильзитском мире. В ожидании его я пребывал в Вене, принятый с благожелательностью в избранном кругу высшего общества, более недоступном, чем когда-либо, о чем я рассказал в другом месте. Рассказал о том приеме, который оказал мне в Вене принц де Линь[3] и о тех отношениях, которые установились между нами, несмотря на крайнюю разницу в возрасте. Также я рассказал о той безрассудной дерзости, с которой я вторгся в величайшие политические тайны дня и о должности, в которой я был, в том пункте, что влек за собой политику русского правительства. И о том плане, сведенном на нет быстрыми победами Наполеона, который, как я говорил, был вновь принят второочередно в войну 1812 года[4].

Теперь возвращаюсь к подробностям личным, которые меня ближе затрагивают. Я уже уведомил[5], как избавлялся от опасного счастья везти Наполеону ультиматум Императора Александра и как последний в виде компенсации открыл мне новую карьеру, почти столь же полную неожиданностей, как и та, от которой он меня отстранил. Возвращаюсь к тому времени, поскольку оно связано с самыми сокровенными замыслами Императора. Не добившись успеха в том, чтобы сделать из меня своего доверенного агента на поприще внешней политики, он молча возымел идею использовать меня в видах, еще более сокровенных, которые вынашивал в тайнике своего сердца. Это странное положение, в котором я не медлил с отгадыванием тайны, в действительности имело гораздо более вид какого-то романа, нежели скромного исторического эпизода. Поэтому тот роман и не осу-

[1] Сражение при Аустерлице (совр. Славков, Чехия) 20 ноября (2 декабря) 1805 года («битва трех императоров») – решающая битва во время Австро-русско-французской кампании 1805 года между русско-австрийской армией и армией императора Наполеона I, выигранная последним.

[2] Куракин Александр Борисович (1752–1818) – русский дипломат и государственный деятель. Князь. Действительный камергер (1778), действительный тайный советник 1-го класса (1796), член Российской академии (1798), член Государственного совета (1802). Воспитывался у своего дяди графа Н.И. Панина вместе с великим князем Павлом Петровичем. Учился в Дании, Германии, Голландии. В 1776, 1781–1782 годах состоял при наследнике престола в его поездках заграницу. В 1788–1796 годах находился в отставке. При восшествии на престол Павла I стал членом Коллегии иностранных дел и вице-канцлером, при восшествии на престол императора Александра I стал управляющим. В 1807 году участвовал в подготовке мирных переговоров в Тильзите и заключении мира между Россией и Францией. Посол в Австрии (1807–1808), во Франции (1808–1812), после войны 1812 года окончательно вышел в отставку.

[3] Линь, Шарль Жозеф де (1735–1814) – австрийский военачальник и дипломат бельгийского происхождения, принц. Фельдмаршал, член гофкригсрата (1808). Отличился в Семилетней войне (1756–1763), участвовал в Войне за баварское наследство (1778–1779). С 1782 года по поручению императора Иосифа II находился в России при императрице Екатерине II. Участвовал в осаде и взятии Очакова (1788). Во главе корпуса занял Белград (1789).

[4] См.: Принц де Линь. С.-Петербург, 1842. – часто переизд<авалось>. См. также: Эпизод в 1809 году. См. также: Штейн и Поццо ди Борго, что есть лишь вторая часть предыдущего отрывка. – *Примеч. С.С. Уварова.*

[5] См.: Эпизод в 1809 году. – *Примеч. С.С. Уварова.* См. «Приложение».

ществился; в другом месте[1] я рассказал, как вдруг изменив тем идеям, которые сам развил в моем уме, он пожелал, как говорилось, склонить меня от них отречься. Равным образом я рассказал[2] о том впечатлении, которое произвело на него мое сопротивление, и о чем-то вроде моментального удаления, которое не замедлило вследствие этого последовать. Добавлю, не вдаваясь в излишние подробности, что незадолго до своей скоропостижной кончины он вернул мне свое прежнее благоволение таким образом: чтобы избавить меня, как говорилось, от ошибок, в которые вовлек, он пожелал сделать из последователя своих агитационных идей сухого финансиста[3].

Спешу вернуться к некоторым личным подробностям, гораздо менее известным, но заслуживающим серьезного внимания моего сына как отчет или обнаружение сокровенных усилий моего ума. В одном маленьком тексте, недавно опубликованном, я коснулся следующего: «Когда под покровительством Е.В. покойного Императора Александра я был призван к обязанностям Попечителя Санкт-Петербургского учебного округа[4], в возрасте, когда другие едва начинают свое университетское обучение, я легко заметил, что в обучении моем отсутствовало углубленное занятие древними языками. Я решился восполнить этот пробел, который преждевременное вхождение в дела создало в моих познаниях; так начались мои близкие отношения с г. Грефе[5], которому я имел удовольствие открыть почетное поприще, пройденное им с таким успехом.

Во время тех близких отношений, которые упорно длились почти 15 лет, почти всегда случалось, что профессор, приходивший отдать отчет о своих университетских трудах Попечителю, занимал вечером свое место и по поводу какого-нибудь греческого причастия строго распоряжался начальником, которому кланялся утром. Не могу умолчать о том, что когда знаменитый барон Штейн[6], изгоняемый и преследуемый Наполеоном, пришел искать убежище в России и участвовать в великих событиях 1812 года, я советовал ему, чтобы отвлечься на краткое время от своих тяжких трудов и личных печалей, заняться изучением греческого языка. Именно г. Грефе я ему и указал, и прославленный изгнанник, погруженный во все политические перипетии момента, не проводил и дня, чтобы не прочитать с г. Грефе несколько страниц из Фукидида. Мои же личные отношения с этим ученым-эллинистом продлились до того времени, когда государственные дела поглотили весь мой досуг, но дружеские связи между учителем и учеником уже не прерывались никогда»[7].

Чтобы можно было лучше уловить значение этого отрывка, войду в некоторые подробности. Выше я уже очертил своеобразный характер того образования, которое нам дали, образования, более блестящего по внешности, нежели основательного по глубине,

[1] Заметка об Императоре Александре. – *Примеч. С.С. Уварова* [см. 4, оп. 1, ед. хр. 39, л. 154–193 об.].

[2] См.: Заметка об Императоре Александре. – *Примеч. С.С. Уварова*.

[3] Там же. – См. мою последнюю беседу с Императором Александром у смертного одра генерала Уварова. – *Примеч. С.С. Уварова*. В 1822 году Уваров был назначен директором Департамента мануфактур и внутренней торговли Министерства финансов с оставлением в должности президента Академии наук.

[4] Столичный учебный округ Уваров возглавлял в 1810–1821 годах.

[5] Грефе Федор Богданович (Христиан Фридрих) (1780–1851) – немецкий и русский ученый-филолог, академик Петербургской Академии наук (1820), заслуженный профессор Петербургского университета по кафедре греческой словесности.

[6] Штейн, Генрих Фридрих Карл фон (1757–1831) – прусский государственный деятель, барон. На прусской службе с 1780 года. В 1807–1808 годах во главе правительства, осуществил ряд реформ, в том числе освобождение крестьян от личной феодальной зависимости, положил начало реорганизации армии, за что по требованию Наполеона был отправлен в отставку. В мае 1812 года прибыл в Россию, где сделался политическим советником императора по германским делам. В январе 1813 года при вступлении русской армии на территорию Пруссии назначен временным уполномоченным императорского правительства в освобожденных провинциях Пруссии, участвовал в работе Венского конгресса 1815 года в качестве советника русской делегации.

[7] Письмо г. Непременному секретарю Императорской Академии наук. С.-Петербург, 1852. С. 5–6. – *Примеч. С.С. Уварова*.

слабую сторону которого я не замедлил распознать. Но эту лакуну я постарался в себе заполнить только когда избавился, как благодаря браку, так и полученной должности, от жизни одновременно легкомысленной и утомительной. С тех пор самые серьезные занятия поглотили мой досуг; изучение греческого от самих элементов языка до оценки утончённейших шедевров, им произведенных, поглотило семь или восемь лет моей жизни. Этот акт настойчивости и твердости вопреки предрассудку дал то, что отсутствовало в основании моего литературного развития. Это завоевание, которое я имел право приписать моему свободному волению, с избытком возместило мне те упорные труды. Предаваясь всего более новому изучению классических языков, я не пренебрегал другими ответвлениями умственного развития и, не боясь предубеждения и пользуясь независимостью, которую дало мне уже достаточно значительное состояние, я не поколебался улучшить все, что в совокупности моих знаний казалось мне недостаточно основательным. Увлекший меня вкус к филологическим исследованиям побудил выдать непосредственно публике *Опыт об элевсинских таинствах*1, который, осмелюсь сказать, наделал много шума в ученом мире и обеспечил мне открытую дверь в литературу: первый и до настоящего времени единственный данный какому-либо Русскому титул иностранного члена Института Франции, который во всей Европе носит не более восьми человек. Ободренный таким успехом, я без сомнения посвятил бы большую часть своего времени литературным трудам, если б с другой стороны постепенно возраставшая активная деятельность на государственной службе не поглотила весь мой досуг. Забыл сказать, что то сочинение, которое принесло мне лестное одобрение первой ученой корпорации Европы, подготовило также мое назначение на должность Президента Императорской Академии наук[2]. Однако увлеченный растущим водоворотом дел я мог отдавать моим милым изысканиям лишь очень ограниченное время, и таким образом, все то, что опубликовал, представляет собой всегонавсего один или два небольших тома[3], составленных из отдельных кусков и фрагментов, не образующих целого, что и в дальнейшем, по всей вероятности, вырастет не намного.

Те, кто знает о моей внешней жизни лишь некоторые сопровождавшие ее блестящие обстоятельства, не определят в достаточной мере все разочарования и все ошибки, которые нарушали ее течение. Кончаешь всегда тем, что дорого платишь за то, что вначале более всего услаждало молодость, за непредвиденные исключения из общего порядка, и никто не отдает себе отчет о неминуемой реакции, которую произведет гибкая логика вещей. Большинство мечтаний, порожденных во мне эксцентричными настроениями Императора Александра, исчезло, и, конечно, я должен был бы изнемочь перед таким количеством следовавших одна за другой ошибок, если бы не обрел в жизни учено-литературной крепкого и надежного убежища, доступ в которое был загражден от внешних перипетий. Будет справедливым сказать, что в независимых одобрениях почти всех выдающихся людей Европы я находил поддержку тем более могущественную, что она не была связана ни с занимаемым мной положением, ни с теми выгодами, которые оно давало мне в моей стране.

Внезапная смерть Императора Александра сорвала тот последний опыт, который я собирался осуществить на моем умственном развитии. Мои отношения с его наследником восходили к тому времени, когда еще никто и не думал видеть в нем будущего Государя России. Они восходили главным образом к тому моменту, когда я ввязался в решительный бой с влиянием мистической партии и пал в неравной борьбе[4]. Посреди кризиса, который

[1] См. [28; 29, с. 77–108].

[2] В 1818 году.

[3] [30, 31].

[4] Имеется в виду конфликт с министром духовных дел и народного просвещении князем А.Н. Голицыным и членом Главного правления училищ Д.П. Руничем, завершившийся отставкой Уварова с поста попечи-

охватил тогда все умы, Великий князь Николай открыто заявлял себя на моей стороне и на своих довольно ограниченных тогда административных должностях выступал против тех интриг, с которыми я боролся. Это обстоятельство, разумеется, поставило меня с ним в отношения до некоторой степени конфиденциальные, причем настолько, что когда он внезапно взошел на престол, я, несомненно, находился в списке тех, на ком предполагалось основать новое управление Империей. Но это благоприятное предубеждение нового Императора поначалу утонуло в массе работы, отметившей его дебют. Несомненно, благорасположение его, на мой взгляд, не ускользнуло от микроскопического внимания охотников за местами, ненасытной толпы, которая себя выказывает при начале каждого царствования. Со своей стороны, искушенный столькими прежними разочарованиями, став намного спокойнее благодаря опыту, я держался в стороне, довольствуясь внешними знаками благосклонности нового Государя и старательно избегая всего, что могло выдавать облик кандидатуры или внешних признаков наличия программы действий.

Таким образом, мало-помалу я удалился от двора и посвятил пять или шесть первых лет царствования Императора Николая изучению за пределами Петербурга нашей страны, столь мало известной, от постижения реальных устоев которой я до тех пор был далек. Проводя по своему желанию большую часто года либо в моем пристанище в Поречье, которому заложил тогда основание, либо в путешествиях по стране ради наблюдения и изучения, я, когда появлялся при дворе, находил изысканный прием, но проводил там строго лишь самое необходимое время и возвращался к моим независимым занятиям. Те пять или шесть лет, которые я провел таким образом, мне доставили, осмелюсь сказать, точное и глубокое знание моей страны, которого без этого средства я никогда не смог бы достичь.

Также именно это исследование поставило меня, вне всякого сомнения, в личные и прямые сношения с Императором Николаем. Взволнованный одним письмом, посланным из глубины империи графу Бенкендорфу, которое представляло собой очень смелый обзор внутреннего положения в России, он дал мне знать через этого своего друга, что просит продолжать доводить до его сведения таким путем, интимным и совершенно секретным, мои различные наблюдения о состоянии страны. Я не преминул этим воспользоваться; но та корреспонденция не могла надолго остаться неизвестной. Император показал фрагменты из нее министрам, и открытие того, что они получены из беспристрастного и смелого источника, не преминуло зародить в них уверенность, что в их интересах отстранять как можно дольше от дел человека, столь очевидно находившегося в почете у Императора. Следы этого придворного маневра увидим в момент моего неожиданного вхождения в министерство и чего-то вроде непредвиденного государственного переворота, который поместил меня среди них.

Я проводил, как о том уже рассказал, часть зимы в С.-Петербурге, весьма радушно принимаемый при дворе и в городе, нарочно удаляясь всех, кто мог скомпрометировать план, по которому я наметил себе оставаться в стороне. В Министерстве уделов должен был быть бал, и я собирался начать одеваться, как вдруг приехало одно второстепенное лицо, с давних пор коротко знакомое с графом Бенкендорфом и со мной. Послание, которую он принес мне от графа, было такое: он увещевал меня не обнаруживать ни изумления, ни колебания при неожиданной сцене, которая должна будет разыграться между ним и мною. Хотя и не уловив точный смысл послания, я решил с ним сообразоваться со всем необходимым в подобном случае тактом. Приехав на бал, я сел по обыкновению сыграть партию в вист, все время дожидаясь обещанной сцены, но не показывая в этом отношении никакого беспокойства. Окончив партию, я вошел в танцевальную залу и через некоторое время я испытал то, как Император, обходя приглашенных, приблизился ко мне,

теля Петербургского учебного округа в июле 1821 года.

сказал несколько ласковых слов, но лишь в пределах того, что говорится на балу. Когда обход был завершен, я оставался на своем месте, ожидая не без некоторого волнения таинственной сцены, которая была мне объявлена. Спустя несколько мгновений я увидел, как Император приблизился к графу Бенкендорфу и, проходя, шепнул два слова на ухо. Тогда последний, пересекши залу, подошел прямо ко мне и, приняв чопорный вид, сказал мне вполголоса: «Я пришел именем Императора испросить у вас категорический ответ на следующий вопрос: желаете ли вы принять Министерство народного просвещения?». При этом он добавил, понизив голос: «Да не удивляйтесь же, отвечайте мне быстро и хорошенько, ведь его глаза остановлены на нас». Тогда я ему ответил, что пораженный внезапностью такого предложения, все-таки нежданного посреди бала, имею сказать ему лишь одно слово, и это будет, наверное, слово «да». Тогда Бенкендорф, очарованный моим лаконизмом, вновь принял чопорный вид и опять пересек гостиную, чтобы сказать Императору пониженным голосом несколько слов.

Хотя я и был готов ко всякой неожиданности, от этого она не была для меня меньше, но, размышляя, что оказался застигнутым внезапно и что сделка, если можно так выразиться, была заключена, я вскоре вновь обрел хладнокровие, продолжал обозревать гостиные и беседовать с дамами до того момента, когда наступило время ужинать. Тут, не желая обращать на себя внимание, я поместился за меньшим по значению столом, определенным для гвардейских офицеров, тревожимый размышлениями о внезапном переломе, который без ведома всех изменил мое положение. Перебирая в уме все возможные результаты этой неожиданной перемены, я не мог не дать себе заметить, что одно место слева от меня оставалось незанятым и что время от времени дежурный камергер пересекал залу, где я был. Объяснение этой маленькой уловки не заставило себя долго ждать. Внезапно в залу вошел Император и будто невзначай занял оставленное слева от меня место. И так между нами начался вполголоса разговор, прерываемый переменой блюд на ужине, который решил многие вещи, между прочим, и мою будущность.

Вначале Император выразил мне свое удовлетворение тем ответом, который я дал на извещение Бенкендорфа. В определенный момент я со своей стороны взял слово, чтобы вполголоса сказать ему, что, не колеблясь ни на мгновение готов пожертвовать моими личными планами ради того, что он считал бы полезным для своего царствования и для страны, я не мог от него скрыть, что единственное чувство или скорее единственное опасение довлело в тот момент над всеми другими и что я испытывал потребность его выразить ему со всей откровенностью. Я добавил, что чем более находил в себе убежденности в величии той программы, которую он собирался мне дать, тем более я должен был со всей откровенностью адресовать ему следующий вопрос: не слишком ли поздно? При этих словах я увидел, как лицо Императора внезапно приняло вид серьезного размышления, и после нескольких минут безмолвия он мне сказал: «Все раздумья кончены, я не могу вам дать никакого положительного ответа, но взамен у меня есть для вас лишь одно слово: попытка, в которой я хочу, чтобы вы были моим орудием, тем более важна, что она – решающая. Я убедился, что вы – единственное возможное орудие, которому я могу доверить эту попытку, которая будет последней». И он добавил: «Это вопрос совести, посоветуйтесь со своею и рассчитывайте на меня».

После этих слов зазвучала музыка, вновь начался бал, и мы вернулись в гостиную, где я постарался изгладить со своего лица все следы разговора, который должен был изменить всю мою жизнь. Эта внезапная перемена была столь непредвиденной, такой неожданной, что два или три месяца прошло до того дня, как появился указ, назначавший меня товарищем министра народного просвещения князя Ливена[1], который совсем не был

[1] Ливен Карл Андреевич (1767–1844) – русский государственный и военный деятель, светлейший князь (1826), генерал от инфантерии (1827). С 1817 года попечитель Дерптского учебного округа. В 1828–

в курсе дела, будучи обязанным оставаться на своем посту до окончательного момента. Люди, привыкшие к наблюдениям, ничем не были обмануты; милейший князь Ливен был единственный, кто обманывался этими церемониями из чистой вежливости. Поэтому прошел едва ли не целый год до того, как он вышел в отставку, и я стал твердой ногой в его обязанностях.

Я долго не имел объяснений тайны, которую непреклоннейший и искреннейший князь счел долгом сокрыть в этом деле. Наставил меня на путь он же сам. В этот период своего царствования Император очень часто работал со своими министрами и обыкновенно, завершив работу, заводил с ними разговор вполне дружеский. Тут рассказывались слухи в городе столь же помногу, сколько слухи в политике, мелкие события дня и множество мимолетных замечаний; всякий этикет был отсюда изгнан. Полтора года спустя после моего назначения Император однажды вечером сказал мне, улыбаясь: «Знаете ли вы, что мне стараются внушить всякого рода предубеждения против вас? Доверенное лицо и один из ваших самых близких родственников непрестанно мне намекал, все время превращая в эти намеки большие похвалы в ваш адрес, что у вас был трудный и взбалмошный характер, который ни к чему не приноравливался и ни с чем не соглашался». Поистине мне было приятно доверять лишь себе самому и поступать по моему собственному вдохновению. Я ответил в том же тоне, что уже давно признано: слова «о, мои друзья, друзей – нет» родились при дворе. Мы стали шутить, и разговор принял другое направление.

А случилось вот что. Император, взойдя на престол, мало привыкший к гражданским и административным делам, имел в качестве чего-то вроде Ментора человека, за опыт которого ему ручалась его долгая карьера. Это был покойный князь Кочубей[1], которому я приходился близким родственником через наших жен и который никогда не переставал проявлять ко мне большое уважение. Но, мастер притворяться и поддерживать свое личное влияние, он употреблял всевозможные ухищрения, чтобы не допустить появления в ближайшем окружении людей, которые не хотели бы подчиниться безоговорочно его внушениям. Переписка, о которой я говорил, которую я более года поддерживал с Императором, тем менее осталась сокрытой от его министров, что он приказал обсудить некоторые их моих писем в целом комитете. Сведения об этом возбудили опасения князя Кочубея и, зная хорошо мой независимый характер, он предпринял тот ход, о котором я только что рассказал. Эта ситуация и объясняет ту тайну, в которую Император должен был поначалу облечь свое решение, и мое вхождение в дела было, если не ошибаюсь, первым знаком личного воления Императора в управлении гражданскими делами. Чтобы покончить с тем, кого затрагивает мое назначение, добавлю, что когда оно стало публичным, я отправился к князю Кочубею, тогда председателю Совета. Он принял меня со всевозможными выражениями любви и побудил меня сесть в его экипаж, чтобы ехать в Государственный совет, где должно было быть провозглашено мое назначение. Таким образом казалось, что я туда вошел под его покровительством, и мой ловкий кузен бесстыдно получил те обыкновенные комплименты, которые ему сделали за назначение, одобренное так же, как обычно.

Однако, сказать по справедливости, эта пустая интрига, эта последняя перестрелка, веденная после сражения, была некоторым образом связана с соображениями серьезными. В России, как и во всей Европе, начало века испытало рождение одной политической школы, которая под разными именами подчинялась одной и той же программе. Это были под различными титулами люди почти всегда благородного происхождения, которые непо-

1833 годах – министр народного просвещения.

[1] Кочубей Виктор Павлович (1768–1834) – русский государственный деятель и дипломат, граф (1799), сенатор (1801), член Государственного совета (1810), член Российской академии (1818), почетный член Петербургской Академии наук (1818), князь (1831). Член Негласного комитета 1801–1803 годов. В 1802–1807 годах министр внутренних дел. С 1827 года председатель Государственного Совета и Комитета министров.

колебимо верили, что великие беды, завещанные восемнадцатым веком девятнадцатому, могут быть предотвращены несколькими общими формулами, какими-то негибкими абстракциями, применявшимися без различия во всех странах Европы. Эта универсальная панацея не допускала никаких видоизменений и должна была быть навязана без различия от одного конца Европы до другого, невзирая на историю и особенности жизни народов и, образовав там собой нечто вроде *социализма* высшей политики, привести в каждой точке земного шара к полному перерождению существовавшие учреждения[1]. Наша страна не осталась закрытой от этих соблазнительных доктрин, которые имели редкую выгоду приводить все огромное поле истории и высшую политику к нескольким формулам, для которых не допускается никаких изменений. Эта школа, повсюду одна и та же, совершила вторжение и в наши дела. Намеревались утвердить силу и величие этой страны, столь мало сходной со всеми другими, на освобождении низших классов, которые не испытывали в этом нужды. Намеревались также ограничить власть Государя и договорились до свободы печати в стране, где народ еще полностью не знаком с алфавитом.

Эта несвязная доктрина, поначалу принятая с энтузиазмом покойным Императором, затем им же самим беспощадно запрещенная, как казалось, исчезла и была осмотрительно приговорена умереть. Когда же молодой Император взошел на трон, те старые доктринеры появились вновь и с той непреклонностью, которая им свойственна во всех странах, попробовали возобновить с самого фундамента их старую программу.

Частная переписка, о которой я говорил, давала мне случай не один раз энергично нападать на эту доктрину, у нас, как и во всех странах Европы, все-таки разбитую и по-прежнему живучую. Направление моих идей останавливало внимание старого либерализма тем более, чем неоспоримее и сильнее я опережал его в тех доктринах, которыми было отмечено царствование покойного Императора. Таким образом, люди, которые более или менее разделяли иллюзии Императора Александра, вновь оказались при новом царствовании во главе дел. Ни время, ни опыт не смогли их исправить, и, как, впрочем, повсюду, они находились в зависимости от иллюзий 1802 и 1803 года, быть может, в них даже и не сомневаясь. Мало-помалу встали старые вопросы, омоложенные старые программы, и когда в начале 1830 года события в Польше стали угрожать спокойствию всей Империи, старая школа, бывшая тогда во главе дел, не нашла ничего лучше, как выдвинуть свои старые апофтегмы вплоть до того, что вновь всерьез принялась обсуждать вопрос об освобождении крепостных даже в тот момент, когда польский мятеж угрожал спокойствию и, может быть, даже существованию Империи.

Поскольку вопрос, о котором я сейчас сказал, был знаменем, вокруг которого объединялись наши доктринеры, я не поколебался решительно напасть на бессвязность этого обсуждения в докладной записке, копию которой сохранил. Раздраженный тогда тем, что слыву за секретного агента идей Императора, я решился на этот раз вести атаку с открытым лицом. Я известил князя Кочубея о работе, которую собирался представить глазам Императора, и предложил ему собрать в его кабинете людей, наиболее пользовавшихся его доверием, чтобы послушать чтение докладной записки, которую собирался представить. Это предложение было принято, и в секретном собрании в кабинете князя, куда он пригласил своих самых близких приверженцев, я прочел докладную записку[2], сила которой смутила слушателей; поэтому они ограничились разве что какими-то банальными замечаниями и несколькими обычными комплиментами. После такого открытого объявления войны я отправил мой труд Императору. Не имея возможности определить с высокой точ-

[1] Имеется в виду политическая идеология европейского Просвещения.

[2] Копия этой докладной записки находится среди моих бумаг. – *Примеч. С.С. Уварова.* См. настоящее издание.

ностью то впечатление, которое тот от него получил, я могу по крайней мере утверждать, что вопрос был отложен и больше не появлялся. Эти обстоятельства, должен в этом сознаться, были подлинным ключом к малолояльным действиям председателя Совета и его друзей, склонных вполне естественно мешать per fas et nefas[1] моему вхождению в дела.

Кого-либо, кто прочитает приведенный рассказ, он лишь избавит от чувства изумления. Первым впечатлением от события, которое я не считал столь близким, – невольный инстинкт неожиданного кризиса – была мысль, выражающая сомнение, движение нерешительности с чистосердечием адресованное Государю, давшему мне столь очевидные знаки своего доверия, и, особенно, в отношение результатов, которые он от этого ожидал. В нескольких словах я объясню этот оттенок грусти, тем более примечательный, что он отвечал самой глубокой мысли самого монарха, тем, что он был для меня несомненным следствием опыта, опиравшегося на двадцать лет исследований и проб и, говоря уж все до конца, жестоких разочарований. Я принял, таким образом, бремя, возложенное на меня высоким доверием молодого Монарха, но принял его мужественно, как тягостный долг, принял без радости и без иллюзий, принял, наконец, потому, что верил, сознаюсь в этом, что я предназначен выполнить только одну часть решения трудной задачи, относительно полного выполнения которой я не имел никаких иллюзий и мало надежды.

Под этим покровительством я и принялся за дело. Император был без иллюзий, как и я, но более молод, с большей верой в свою звезду, менее, чем я, знакомый с природой препятствий и, так сказать, практическими трудностями того предприятия, за которое мы собирались взяться; с самого начала он внес в него такую степень веры, которая у меня так быстро не могла быть достигнута. Я посвятил поистине большую часть моей жизни, годы энергии и бодрости, исследуя почву и стремясь к разрешению обширной задачи, которая у меня была. Множество иллюзий, множество надежд моей первой административной попытки были обмануты тяжелым опытом. Я приступил к делу, окончательно перешедшему в мои руки, со взглядом на вопрос, осмелюсь сказать, трезвым и ясным, но лишенным всего того, что в делах высшей администрации дает людям без опыта наибольшая часть заблуждений.

Таким образом, я вновь оказался в том положении, от которого полагал отказаться навсегда и которое против моей воли заставило меня вернуться в ту область, с которой я давно от чистого сердца распрощался. Следовательно, несмотря на все то, что могло льстить моему самолюбию, я возвращался в эту старинную область моих связей лишь с усилием, без особенных надежд, имея еще меньше иллюзий, и почти с чувством грусти, которое в равной мере владело и Монархом. Нет сомнения, что первые успехи, которых я достиг, показались ему лишь оправданием того доверия, которое он мне засвидетельствовал; но те первые успехи, которые могли дать что-то вроде уверенности, не имели ничего, относящегося к специальным трудностям проблемы. Было бы слишком долго излагать в деталях все эти шероховатости; скажу только, что глубокое изучение этого вопроса с давних пор убедило меня, что в том отношении, как и во множестве других, этот насущный вопрос силою вещей вышел из своих естественных границ и отныне помещен на почве парадоксальной, которая уже полтора столетия как сделалась единственной областью, доступной России. Уклониться от утопий, некоторым образом отринуть от себя следствия одной строгой логики, отныне неприменимой, не предаваться бесплодным и запоздалым препирательствам и составить из того, что природа вещей еще снабдила элементами силы и жизни, целостную систему, которая согласовывалась бы с новыми нуждами страны, не разрывая с традициями прошлого, – таковы были основные данные, непосредственное применение которых было востребовано интересом всего целого и, может быть, ради спа-

[1] С помощью дозволенного и недозволенного (*лат.*).

сения страны.

Мне не подобает произносить суд над окончательными результатами этого трудного дела. Семнадцать лет настойчивости и беспрестанных трудов, наверное, не могут быть достаточными, чтобы надеяться на окончательный результат. Смею утверждать наверняка лишь именно то, что, несмотря на самое решительное намерение Императора, моим наследникам может быть передано только очень поверхностное представление о плане, который, не отходя от единого принципа, часто менялся в зависимости от неожиданных обстоятельств; план сам оказывается подвергаемым видоизменениям, более или менее предвиденным. Не вдаваясь в детали, ограничусь выражением моего чистосердечного убеждения, что некоторые фундаментальные основы, заложенные в согласии с Императором, развитые постольку, поскольку обстоятельства могли это позволить, уже теперь, если не раньше, получили доверие общества и вошли в программу правительства, что они стали достоянием и, если можно так выразиться, лозунгом будущего управления. Принцип, которому я постоянно следовал, – добиваться развития политического через развитие нравственное и умственное – и убеждение, что освобождение гражданское может произойти только из освобождения духовного, соединив во взаимной солидарности силу страны и силу правительства, этот принцип, который совершается лишь медленно, почти в тишине, совсем без ведома массы и еще лозунг[1], с которым смыкаются мои самые чистосердечные убеждения. Не скрывая от себя, что эта операция совершается в жизни государств лишь с крайней осторожностью, что она подвержена, как все человеческое, неожиданным случайностям, я смею утверждать в то же время, что этот путь спасения для нашей страны еще есть самый надежный и наименее колеблемый событиями.

Я не буду вдаваться в подробности всех многочисленных мероприятий, которыми наполнен период в семнадцать лет; ограничусь тем, что укажу несколько неожиданных и особенно трудных сторон того вопроса, который я должен был решать. Два обстоятельства особенно требовали применения новых мер по вопросам избитым и почти вековым. Отношения немецких провинций[2] в том, что касалось министерства, порученного моим заботам, постоянно увеличивали раскол в идеях и антагонизм взаимных предрассудков. Немецкие провинции, упрямо приверженные идее единой Германии, которой больше не существует, отделяли свои частные интересы от основного интереса Империи, понапрасну заблуждаясь относительно природы их отношений с метрополией. Там эти феодальные идеи, исчезнувшие во всей Европе, были еще в полной силе, так как основывалось это предубеждение на добровольном, так сказать, ослеплении; в тех спорах, по большей части химерических, было еще больше иллюзий и незнания, чем истинной враждебности. Редкая случайность, которая меня поставила в близкие отношения с Германией, глубокое знание языка, независимые похвалы Штейна, как и Гете, дали мне с самого начала некоторое личное влияние, в котором упорно отказывали моим предшественникам. Я это использовал, но когда вынужден был войти в самую суть вопроса, противодействие сделалось от этого лишь более стойким и более личным. Несмотря на все препоны и вопреки упорству, которое проявляют некоторые классы немецкого общества, я достиг того, что заставил их подчиниться видам правительства. Выучили с тщательностью русский язык и впервые осознали, что было законного в требованиях администрации.

То чувство противоречия вспыхнуло, должен сказать, с благородной искренностью и без какого бы то ни было колебания при моей отставке. Министр, который столь долго их

[1] Имеется в виду триада «Православие, Самодержавие, Народность», ставшая девизом и графского герба Уваровых.

[2] То есть Остзейского края – Эстляндской, Лифляндской и Курляндской губерний.

притеснял и которого они рассматривали как что-то вроде предателя, при своей отставке сделался предметом сожаления, одинаково делающего честь, как им, так и ему. Спешу, однако, обратить внимание, что те результаты, которых я достиг, минимальные в сравнение с масштабом вопроса, должны быть расцениваемы только с точки зрения системы, примененной мимоходом и не без успеха к вековым недугам, всегда готовым возродиться. Добавлю еще, что в этой в некотором роде домашней борьбе я имел против себя почти весь высший класс, тогда как средний класс, который имел старые претензии к дворянам, открыто выступил на моей стороне. Делаю это замечание только для того, чтобы засвидетельствовать, что движение умов в тех маленьких изолированных провинциях следовало во всем путем, аналогичным той борьбе, которая проявляется от одного конца Европы до другого в различных формах между аристократическим принципом и буржуазным классом.

Это положение, хотя и подверженное тысяче малых и мелких осложнений и опутанное множеством личных и низкопробных интриг, носило лишь характер домашнего спора. Другой вопрос, более широкий, более неожиданный и гораздо более важный представился внезапно. К концу 1839 года мы, осмелюсь сказать, достигли результатов, на которые я не надеялся; настолько точно, что в большой политике, когда бываешь вполне счастлив присоединиться к справедливому принципу, последствия при этом развиваются с быстротой и неожиданностью. Мы были, таким образом, в конце 1839 года; все до того времени казалось помогавшим тому, что ожидал Император. После одной работы, которая была у нас в последние дни сентября в Царском Селе, он велел мне следовать за ним в укромный кабинет и, усадив меня рядом, сказал, что намерен мне открыть соображения наивысшей важности. Передам с тщательностью, если не те самые слова, то по меньшей мере точный смысл той краткой речи.

Он начал с утверждения, что десять лет растущих усилий еще раз сверх прочего утвердили верховенство Империи над Польшей, что правительство никогда еще не оказывалось облеченным подобной властью, что в то же время самые враждебные умы, как ему кажется, успокоились перед этим верховенством, подтвержденным неожиданными результатами. «Однако, – добавил он, – не думайте, что я строю себе иллюзии о вещах скорее мнимых, нежели прочных. Подавление вооруженной рукой есть без сомнения верное средство, но оно исчерпывается, как и все другие, и в конечном счете подобное подавление ничего не меняет в природе вещей. В этом отношении я совершенно убежден, что если, с одной стороны, мы добились большого успеха, с другой – к утверждению единого начала мы даже и не приступили. Это дело, как вы отлично понимаете, совсем другого рода, и, чем более я о нем думаю, тем более убеждаюсь, что именно в новом поколении мы должны искать разрешение этого старого спора. Вы хорошо знаете, – добавил он, усмехаясь, – что в этом столь запутанном вопросе, я должен был принять не результаты моих собственных трудов, а тяжелое наследие моих предшественников. Мои заблуждения, как вы это видите, не идут далеко; именно в момент внешнего торжества я вам выражаю опасение или, скорее, уверенность, что к рассмотрению основного вопроса даже и не приступали. В том хаосе, который представляют два или три столетия наших споров с Польшей, я вижу, что только слияние нравственное могло бы положить ему конец. Не говорите мне, насколько трудно это предприятие, в этом я убежден совершенно так же, как и вы; я верю, что мой самый положительный долг – еще раз попытаться возложить надежды на лучшее будущее не на нынешнее гангренозное поколение, большей частью потерянное, а на поколение новое. В этой операции, все трудности которой я знаю, в которой я не мог бы вам дать никаких положительных указаний, я мог бы лишь опереться на человека, который всецело понимает мои замыслы и восполнит на практике то, чего – понимаю – не хватает в теории. Вы и есть тот человек, и если тем не менее очерченный сейчас мною план разрушится от неожиданных затруднений, я все равно должен был сделать еще попытку, что я

вам только что и доверил». При этих словах Император вернулся с большим одобрением к уже достигнутым успехам. Видя на моем лице нечто большее, нежели обыкновенное удивление, он добавил, протягивая мне руку: «Не делайте мне никаких возражений, решение принято, и я хочу без малейшего промедления попробовать его исполнить. Я вам даю не более восьми дней, чтобы в пределах этого срока урегулировать дела в вашем министерстве; вы отправитесь в Варшаву и решите на месте, какие меры нужно принять. Реальная цель вашего путешествия должна быть известна только вам, и, когда приедете, вы увидите, – я в этом убежден, – что нам надо сделать. Вы будете носителем самых обширных полномочий, но я доверяю вашей осторожности пустить их в ход только в виду абсолютной необходимости». Несколько возражений, с которыми я обратился, заставили его тотчас же добавить: «Чтобы осветить вопрос для нас обоих, я вам предлагаю в течение восьми дней, которые вы еще здесь проведете, написать мне постепенно и с полной откровенностью о тех соображениях, что встретятся при этой миссии, которая – я знаю – трудна. Я на них отвечу с такой же откровенностью, и надо быть очень несчастливым, – добавил он, улыбаясь, – чтобы за восемь дней мы не продвинулись далее, чем сегодня».

Действительно, начиная с того дня у меня с ним установились постоянные сношения, и, понимая, что он предпочитал такой образ действий устным разговорам, которые повлекут множество догадок, я представил в письмах или в собственноручных записках плод моих соображений и различные вопросы, которые один за другим вставали в моем уме. В момент моего оставления министерства я завернул вместе мои письма и ответы, которые находились всегда на полях, и, закрыв их, отправил прямо Е<го> В<еличеству>. Вероятно, этой переписки больше не существует. Добавлю только, что накануне моего отправления в Варшаву Император мне передал маленькую, тщательно запечатанную записку по адресу Фельдмаршала[1], сказав мне, что если все пойдет у меня неудачно и одновременно все средства окажутся исчерпаны, он велит мне передать эту записку в руки Фельдмаршалу. По возвращении, когда я объявил Е<го> В<еличеству>, что добился успеха более того, на что мы надеялись, не пуская в ход записки, которую ему и возвращаю, он выразил радостное волнение и тотчас же с предельным старанием ее порвал, ничего мне не раскрыв относительно ее содержания.

Мое путешествие из Петербурга в Варшаву осуществилось в наихудшее время года и несмотря на всевозможные трудности. Когда я пересек границу Царства, был принят с обычными знаками почтения. Наконец, въехал в час, близкий к ужину, в столицу Польши, был сопровожден в приготовленную мне гостиницу, где находился генерал Шипов[2]. После обычной вежливости я попросил его сказать Фельдмаршалу, что, видя столь поздний час и будучи крайне усталым от путешествия, я отложил мой визит до завтра. Таким образом на следующий день я отправился во дворец к Фельдмаршалу и обрисовал ему в очень учтивых выражениях и весьма осторожно явную часть секретной миссии, которую Е<го> В<еличество> мне поручил. Это начало, кажется, успокоило то волнение, которое я заметил как у Фельдмаршала, так и у его окружения. Он ответил на это с учтивостью, и тут начался ряд празднований и балов, который продолжался в течение всего периода моего

[1] Паскевич Иван Федорович (1782–1856) – выдающийся русский полководец и государственный деятель. Генерал-адъютант (1824), граф Эриванский (1828), генерал-фельдмаршал (1829), светлейший князь Варшавский (1831). В 1832–1855 годах наместник царства Польского, председатель Департамента дел царства Польского Государственного совета, в 1831–1855 годах главнокомандующий так называемой Действующей армии.

[2] Шипов Сергей Павлович (1790–1876) – русский военный и государственный деятель, генерал-адъютант, генерал от инфантерии (1844), сенатор (1846). Отличился в русско-польской войне 1831 года. В 1837–1840 годах был главным директором, председательствующим в правительственной комиссии внутренних и духовных дел и народного просвещения царства Польского.

пребывания, что не помешало мне непосредственно приступить к тем вопросам, которые я должен был с ним обсудить. Открытое сопротивление казалось ему отныне невозможным, он желал по меньшей мере казаться любезно уступившим в том, что он не мог больше защитить. Без труда представляешь себе то количество вопросов всевозможного значения, которые надо было решать один на один. Общественное внимание было привлечено к этой миссии, цели которой оно не знало, что дало место самым нелепым толкам. Однако Фельдмаршал, который спервоначала проявлял нечто вроде уныния, осмелел благодаря наущениям своих самых близких доверенных лиц. Пока продолжались празднества и я выказывал там самые сердечные отношения с Фельдмаршалом, мое деликатное дело почти не продвигалось, и каждый день я мог наблюдать и далее, что должен вести бой с целым многочисленным строем, состоявшим как из Русских, так и из Поляков, намеренных не допустить умаления при первой попытке всемогущества Фельдмаршала. Впрочем, было ясно, что, истощая мое терпение, они стремились пробудить во мне мысль о скором отъезде, что сорвало бы весь секретный план, который я с собой привез.

В таком положении, нисколько не желая компрометировать авторитет Императора и свое имя, я пришел к мысли попробовать один способ, смелый, но, как мне казалось, обеспечивавший успех. Генерал Раутенштраух[1], который сыграл значительную роль в революции[2] и тем не менее сохранил доверие Фельдмаршала, мне показался секретным органом этой в некоторым роде оппозиции, которая обнаруживалась по мере того, как дело шло к своему концу. Эта догадка, подтвержденная фактами, побудила меня принять решение довольно смелое, но ему я был обязан полным успехом своей миссии. Этот ловкий человек, опытный в интригах и привыкший осуществлять скрытое влияние, как говорили, серьезно заболел через два дня после моего приезда. Это обстоятельство с самого начала показалось мне подозрительным, и когда я посредством записки попросил генерала появиться у меня или принять меня у себя, увидел его в одеянии и с внешним видом больного человека. С самого начала я сказал ему, что без больших усилий распознал его влияние на дела, в особенности на мнения Фельдмаршала, и, объединяя это обстоятельство с предыдущими из его политической жизни, полностью убежден, что одно его влияние может привести к успеху ту миссию, которая мне поручена. На это положительное утверждение генерал ответил мне сначала довольно слабым отрицанием, которое произвело на меня мало впечатления. После всевозможных ничтожных предлогов в таком духе я решил ему открыто заявить, что успех или неудача моего дела связаны с тем участием, которое бы он в нем принял. Я добавил, что при столь великом превосходстве ума ему было бы легко получить с любезностью через Фельдмаршала послание, предъявителем которого я являюсь, и что во всяком случае я окончательно решил ему приписать (ему, генералу) в устном откровенном докладе Императору как успех, так и неуспех моего дела. На это категорическое заявление генерал ответил мне, принимая вначале вид большой скромности, тем не менее всецело обязываясь поддерживать те действия, которые мне поручено было осуществить.

Едва ли прошло несколько часов после этого совещания, как я испытал то, как ко мне приехал Фельдмаршал и сказал с усталым видом, что пора в этом деле прийти к

[1] Раутенштраух, Иосиф Генрих (1773–1842) – польский и русский военный деятель, генерал-лейтенант армии царства Польского, генерал-лейтенант русской армии (1832), генерал-адъютант (1834). Участник восстания Т. Костюшко 1794 года, наполеоновских войн, в частности похода Наполеона на Россию в 1812 году. Как офицер армии царства Польского при начале ноябрьского мятежа 1830 года остался верен Присяге, в 1831 году был арестован мятежниками и заключен в Королевский замок. После падения Варшавы в 1831–1833 годах был в составе правительства Царства в качестве министра просвещения и религии. С 1833 года исполнял обязанности президента Дирекции театров.

[2] Имеется в виду польский мятеж в ноябре 1830 года и последовавшая Русско-польская война 1831 года.

заключению, что он уже посоветовался с министрами и получил их согласие на заключение быстрое и соответствующее видам Е<го> В<еличества>. Извлекая пользу из такой ситуации и принимая в качестве мотива желание безотлагательно завершить это дело, тягостное как для него, так и для меня, я предложил ему составить документ, который бы утверждал принципы и мероприятия, каковые мы примем по общему соглашению. С его согласия я сел за работу, и с помощью одного ловкого секретаря, приехавшего из Петербурга, хартия вскоре была кое-как сделана и передана в руки Фельдмаршала, который ее тотчас же подверг обсуждению со своими тайными доверенными лицами. Спустя немного времени он объявил мне, что мое предложение было окончательно принято, кроме нескольких незначительных видоизменений, которые ничего не меняли в смысле редакции и касались только каких-то малоценных деталей. Не теряя времени, акт был переписан набело и подписан Фельдмаршалом и мною, после чего я предложил ему самому взять на себя труд отправить Императору снабженную нашими подписями бумагу, находя справедливым, добавил я, оставить ему всю честь успеха. Предложение получило его одобрение; был снаряжен фельдъегерь, который повез Е<го> В<еличеству> акт, заключенный с Фельдмаршалом, где я ограничился лишь тем, что добавил несколько адресованных Императору штрихов, которые передал Фельдмаршалу.

Так совершилась правительственная мера[1], которая научила Польшу, что отныне ей надо смириться с тем, чтобы стать неотъемлемой частью Империи. Я не буду каким-либо образом входить в подробности всех мероприятий, каковые из этого последовали, полное завершение которых требует еще несомненно дальнейшего развития. Ограничусь, сказав только, что по возвращении в Петербург я был принят Императором с выражением самого наисердечного его удовлетворения. Спустя немного времени он наградил меня орденом Св. Владимира первой степени, приказав, хотя и вопреки моему мнению, внести в диплом, что эта награда мне пожалована за меры, принятые для утверждения единообразной системы народного просвещения в отношении Империи и Царства.

Успех, который был достигнут, придал моей административной карьере новое направление, которое в итоге было довольно мало благоприятно для тех трудов, что прежде составляли все мои заботы. Чем более непредвиденным был результат в отношении Польши, тем более эта новая сфера, до того стоявшая всецело в стороне от моих трудов, поглощала наибольшую часть моего времени и сил. Речь шла не только о том, чтобы овладеть вопросом; надо было придать ему систематическую форму, начертать себе определенный план и продолжать с твердостью, несмотря на все противодействия, тот путь, который был выбран. Препятствия, которые поначалу отступили, возобновились в тысяче разных форм, и в той неравной борьбе угрожала опасность найти союзников лишь бессильных, не способных определить истинное положение вещей, или противников страстных, решивших наперед отобрать хитростью участок, который они не смогли защитить силой.

Детали этого своеобразного положения не входят в рамки данного рассказа; ограничусь тем, что приведу один-единственный факт, который сможет обнаружить все, что оно естественным образом заключало в себе парадоксального и непредвиденного. Почти три века утвердили неискоренимую враждебность между Россией и Польшей, враждебность тем более живучую, что обе они одного происхождения – славянского, обе были отданы одним и тем же политическим перипетиям, обе по очереди бывали победителями и побежденными, обе нации находили в своей несомненной аналогии истинный мотив их враждебности. Это не было ошибкой в понимании друг друга; именно потому, что они, если можно так выразиться, слишком понимали друг друга, эта инстинктивная враждебность пустила столь глубокие корни. Большого шума наделали некоторые личные амбиции, кото-

[1] Образование Варшавского учебного округа в 1839 году.

рые подливали масла в огонь спора, но сам спор был, так сказать, естествен для положения вещей. Одно частное обстоятельство заставило меня непосредственно получить тому неоспоримое доказательство. Начиная с 1831 года, мероприятия русского правительства бессознательно стремились подчинить или, скорее, уничтожить польский язык постольку, поскольку целый язык, вообще, может уничтожиться. Народное образование осуществлялось исключительно по-русски, использовались меры строгости, а также и способы обольщения для того, чтобы произвести нечто вроде умственного отступничества. Мне не много надо было поразмыслить и понаблюдать на месте, чтобы убедиться, что насильственные средства, направленные на разрушение этой, в некотором роде, умственной враждебности давали совершенно противоположный эффект и обостряли вопрос вместо того, чтобы его решать. Я предпочел с самого начала действие, прямо протовоположное, смысл которого поняли гораздо позже; сам я мог рисковать лишь за счет того всемогущества, которым был облечен. Терпеливо и внимательно наслушавшись утомивших меня жалоб, я попробовал дать этому вопросу решение, которого не ожидали обе противные стороны. Выражая сожаление, что два народа одного происхождения, тесно связанные одной и той же историей, один и другой столь мало понимают вопрос, который должен быть решен беспристрастно и безболезненно, я объявил преподавание на польском языке восстановленным непосредственно во всех учебных заведениях.

Эта неожиданная уступка возбудила, можно сказать, сильное волнение; радость была велика, и, когда мне пожелали ее засвидетельствовать, казалось, единственная мысль овладела всеми умами. То, что до тех пор упрямо отклоняли грубым действием силы, свободно пожаловали в порядке оммажа[1] и признания. Поляки, столь удаленные от Русских тремя веками политических разделений, но в то же время столь тесно и, одним словом, столь невольно связанные общим происхождением, а также одними и теми же инстинктами, будь то хорошими или плохими, Поляки нашли в свободном в их глазах изучении языка их победителей, до того времени вовсе им неизвестного, все те средства, которые представляют без усилий обоим народам тождественность их происхождения. Это умственное сближение простерлось и дальше. Изучая неизвестный язык своих опасных соседей, народы начинали их лучше знать и больше уважать, и нечто вроде умственной солидарности устанавливалось между двумя враждебными племенами, не потому, что они уживались слишком мало, а потому, что уживались все-таки уж слишком без того, чтобы основательно понимать друг друга.

Теперь, когда моя политическая жизнь завершена, я мог бы смело утверждать, что в тот момент, когда я написал эти строки, польское население уже достигло самых бесспорных результатов. Быть может даже оно уже приобрело преимущество быть знакомым с русским языком путем упорядоченным и грамматически правильным и знать благодаря принципам и правилам то, что большинство Русских знает только по инстинкту и, так сказать, по традиции. Этот язык, принятый отныне, если не как предмет симпатии, то как предмет изучения, нашел себе столь полную аналогию в их уме, что казался им уже скорее как наречие возрожденное, нежели выученное. В поддержку такого утверждения приведу том, изданный в прошлом году, который содержит собрание разных отрывков, написанных в различных гимназиях Царства от Вислы до Калиша. В этих очерках неопытной молодежи не везде одинаково заметен талант, но что бесспорно, так это то, что в пределах одного и того же языка было бы трудно выделить малейшие отклонения в наиболее деликатных правилах речи. Так что я не хотел бы позволить себе утверждать, что подобное собрание, изданное среди русского населения Империи, представляло бы непременно столь же пра-

[1] Оммаж (hommage) – церемония присяги, оформлявшей заключение вассального договора в Западной Европе в эпоху феодализма.

вильное знание принципов языка в их самом разном применении.

Между тем, успех, достигнутый в этом деликатном деле, мог противодействовать лишь всякого рода помехам; неожиданные трудности начались по мере того, как мы приступили к исполнению плана. Хоть я его и расцениваю только как дело незавершенное, мог бы утверждать наверняка, что фундаментальные основания, положенные и развитые с постоянством, отныне стали достоянием страны[1]. Легко поймешь, что это новое поле деятельности открытое министерству, главою которого я был, поглощая большую часть моего времени, наложило некоторую замедленность на непрерывное развитие системы, принятой для Империи. Чтобы убедиться в обширности и разнообразии дел, которые одновременно выпали на мою долю, всего только скажу, что одновременно с тем, как труднейшие проблемы огромного польского вопроса находились при мне, другие вопросы, менее известные и частью столь же трудные, мне были переданы по доверию Императора, которое, как казалось, возрастало все более и более до того момента, когда моя деятельность приблизилась к своему концу. Реформа или, скорее, реорганизация всех ветвей медицинских наук была доверена непосредственно мне, того дела, которое, как и столько других, осталось незавершенным при моей внезапной отставке. Но некоторые важные начинания будут бесповоротно завершены. Ограничусь тем, что назову превращение Медико-Хирургической академии в Москве в клинику, основанную на новейших принципах науки и по ее современному образцу в Европе, присоединение Медико-Хирургической академии в Вильно к Университету Св. Владимира (Киев)[2] – дело приоритета, которое было вознесено таким способом на высшую степень важности, что больше никем не оспаривалось.

Помимо этого плана, который мог осуществиться только при помощи очень расширившейся власти, которую все время возраставшее доверие Е<го> В<еличества> соблаговолило мне пожаловать, ограничусь упоминанием, что другое преобразование, гораздо более широкое и более трудное, принципы которого были далеки от того, чтобы быть определенными с той же ясностью, оказалось врученным моим заботам незадолго до последнего часа перед моей отставкой. Я хочу сказать о новой системе для еврейского населения, осуществление которой было мне передано. Этот вопрос, важный тем более, что он был или в пренебрежении, или предоставлен действию самых закоснелых предрассудков, лишь медленно мог быть приведен к единому рациональному принципу и, так сказать, без ведома тех, кого хотели обеспечить делом. Этот вопрос представляет для нашей страны большую важность, чем для других государств Европы, и, чтобы в этом убедиться, достаточно бросить взгляд на карту. Увидишь, что по странному стечению обстоятельств еврейское население находится в России, так сказать, в авангарде и смежно с польскими провинциями. Следовательно, было в высшей степени важно присоединить к правительству население более двух миллионов душ, предоставленное на протяжении веков произволу, которое не могла перестать воодушевлять одна глубокая ненависть. Не входя в подробности планов, что были приняты, осуществление которых не пережило мое удаление от дел, я ограничусь тем, что приведу в подтверждение того небывалого братства, которое воодушевляет все рассеянное по земному шару еврейское население, тот факт, что неожиданно приехав в Неаполь, я был удивлен, оказавшись без моего ведома

[1] Одно слово, которое я сказал государственному секретарю Туркулу, выходя с ним из кабинета Е<го> В<еличества>, произвело шум: «Если когда-нибудь речь зайдет о том, чтобы выпустить кровь Польше, предупреждаю, что у меня слишком чистые руки, чтобы держать таз». Прибавляют, что Фельдмаршал поторопился пересказать мои слова Императору и что тот, пожав плечами, ответил ему: «Что поделаешь? Таково его окончательное мнение, я знаю». – *Примеч. С.С. Уварова.*

[2] Виленская Медико-хирургическая академия была учреждена в 1832 году вместо закрытого после подавления польского мятежа Виленского университета. Просуществовала до 1842 года. Взамен ее в Университете Св. Владимира в Киеве был открыт медицинский факультет.

предметом величайшего внимания со стороны дома Ротшильдов[1], глава которого не замедлил сказать мне прямо, что он обязан был этим почтением тому, кто принял в руки дело его несчастных единоверцев. Но этот труд, который требовал многих лет и, может быть, последовательных видоизменений, находился в моих руках слишком мало времени, чтобы можно было достигнуть чувствительных результатов. Полагаю, можно добавить, что он прекратился при моей отставке и что от него едва осталось несколько обломков.

Неожиданно грянувшие события, действие которых еще дает себя чувствовать от одного конца Европы до другого[2], приложенные к семейным несчастьям[3], которые изменили к худшему мое личное положение, побудили меня принять решение, бесспорно лучшее и самое достойное. Я послал Императору письмо без малейшей иллюзии относительно событий, в связи с которыми у нас, как и везде, был неизбежен контрудар, я попросил у него отставки с поста министра Народного просвещения[4]. Этот демарш, столь решительный, сколь и непредвиденный, на который я был поощряем влечениями настолько же близкими сердцу, насколько и просвещенными, скорее поразил Императора, нежели застиг врасплох. С первого же момента он не только уступил моему желанию, но и оставил за мною все, что я счел приличным не покидать, включая звание члена Государственного совета. Нет нужды далее распространяться обо всех этих обстоятельствах, ибо моему сыну они совершенно известны. Тогда Император, на мгновение потрясенный совершенно неожиданными событиями в узком кругу своих замыслов, подверг последовательному экзамену шестнадцать или семнадцать лет моего управления[5]. Он вышел отсюда, осмелюсь сказать, с победой над впечатлениями, которые у него старались создать, и с той благородной искренностью, которую не отвергал никогда и ни при каких условиях, он не только оставил мне то значительное жалование, которым я пользовался в качестве министра, но еще к нему прибавил немного времени спустя орден Св. Андрея, совершенно неожиданно для меня и еще более неожиданно для тех, кто выступал в качестве моих противников. Рескрипт, который Император мне послал по этому случаю, составленный вчерне, как я недавно узнал, им самим, выражает прямо, что, решившись объявить публично о тех услугах, которые я ему оказал, постоянно развивая его собственные виды, он мне вручал, и т.д. Это лояльное заявление положило конец всем тем планам, которые породила моя отставка, безвозвратно расстроив самые хитросплетенные интриги.

Вот так ознаменовалось мое возвращение к частной жизни, в тот момент, когда, не взирая на всяческое сопротивление, открывалась новая эпоха, еще только прелюдию которой мы увидели. Что мы приобрели, так это почти единодушное убеждение, что никогда еще слепая гордыня ума человеческого не испытывала более унизительного поражения.

После пятидесяти лет успехов, когда их великолепная мощь, как казалось, господствовала над людьми и над вещами, неожиданные события обратили в ничто все то, что всего наиболее казалось утвержденным бесповоротно. Самые непреклонные умы, самые искренние убеждения оказались поколебленными от одного конца Европы до другого, доведенными до того, что, как сикамбр[6], были в состоянии сжигать то, чему поклонялись, и покло-

[1] Ротшильд Карл-Майер (1788–1855) – неаполитанский банкир, барон. Жил в Неаполе с 1821 года и был главой итальянской ветви дома Ротшильдов. Был придворным финансовым агентом Сицилии, Сардинии, Неаполя, Папской области и герцогств Пармы и Тосканы.

[2] Революция 1848–1849 годов, охватившая Францию, Италию, Пруссию, Австрию, Чехию, Венгрию, Хорватию, Трансильванию.

[3] В 1843 году Уваров потерял двадцатидвухлетнюю дочь Наталью.

[4] См. [32, с. 122–144].

[5] [32, с. 122–144, 160–180].

[6] Сикамбры или сигамбры – могущественное германское племя I в. до н.э. – III в. н.э., чье имя впоследствии было заменено на франков.

няться тому, что сжигали. Тем не менее, говоря по справедливости, впечатление от первого момента страха повсюду уменьшилось, и, по-видимому, не было невероятным то, что угрожающий кризис, который, казалось, должен был потрясти все основы европейской цивилизации, закончился в конце концов жалкими размерами второстепенной трагикомедии.

Но я поспешил закончить то, что мог бы сказать об этом предмете. Возвращаясь к тому, что касается лично меня, ограничусь тем, что призываю моего сына обратить самое серьезное внимание на то, что с колыбели лишенный поддержки отца, врученный своим собственным заботам в тот день, когда нежнейшая мать исполнила свою роль, предоставленный своей собственной осторожности в том возрасте, когда страсти слишком уж часто помрачают рассудок, я был достаточно счастлив тем, что нашел во вкусе к исследованию и в привычке к размышлению ресурсы, которые мне не изменили. От его внимания не ускользнет, что в моей общественной жизни, преждевременной и блестящей были и разочарования, и всевозможные просчеты, которые я счел своим долгом по большей части обойти молчанием. Именно после долгой карьеры, перемешанной как неудачами, так и успехами, он видит, что я с любовью вернулся к тем прилежным склонностям, которые очаровывали мою юность, ободряли в трудах зрелых лет, и в которых я расчитываю еще найти мои сладчайшие утешения.

Мне осталось в нескольких словах подвести итог характеру и ходу общественной жизни, разделенной на две четкие и в то же время аналогичные части. В первой легко увидеть, что она содержит в себе гораздо более химерических намерений и недозрелых планов, нежели реальных вещей. И что не трудно обнаружить, когда подумаешь, так это то, что в видах Императора Александра я на себе испытал путь через всю гамму его собственного воображения. Перебирая в голове мои воспоминания, должен добавить, что то последнее превращение, которому он пожелал меня подвергнуть, не имея намерения меня задеть, открыло мне новую область идей и трудов, к которым я в конце концов искренне привязался. Заметишь также, что когда при внезапной перемене Император Николай поставил меня вдруг на то место, от которого я считал себя удаленным навсегда, его решимость мне гарантировала с самого начала положение ясное и определенное. Из всех свидетельств доброты, которые он мне дал без малейшего изменения в течение семнадцати лет, самое ощутимое в моих глазах и сильное, если поразмыслить в тишине, есть то, что передо мною с самого начала было открыто достаточно широкое и основательное поле для того, чтобы я мог испытать собственные силы и дать моим идеям необходимое пространство для осуществления, без которого самые возвышенные умы не выходят из тесного круга *мечтаний благонамеренного человека*.

Поречье.
Сего дня 16 июня 1852 года.

II
Приложение
Из воспоминаний С.С. Уварова о своей юности

Annexe première.
Mon début.
Un épisode de 1809

Mr Bignon, dans le VIII[me] volume de son histoire de France sous Napoléon, en retraçant les circonstances qui ont amené la guerre de 1809 entre la France et l'Autriche, dit:

«Les hommes qui excitaient le plus vivement l'Autriche à la guerre, n'étaient pas autrichiens. Stadion lui-même et Stutterheim, quoique allemands, étaient nés hors des états de cette puissance. Les agitateurs qui avec eux soufflaient l'incendie étaient les russes Razoumovski, Ouvarof, Tatischeff et le cosmopolite Pozzo di Borgo.» (page 173.)

Ayant trouvé mon nom mentionné dans ce passage, je donnerai quelques éclaircissemens sur cette époque, d'abord parce que la citation de Mr Bignon est vrai et qu'elle vient sans doute de source officielle, bien que jusqu'a présent, mon nom ait par bonheur échappé au microscope des biographes et au bavardage des fa(?)seurs de mémoires privés; ensuite parce qu'à la distance où nous sommes de ces évènemens, on sera peut-être curieux de savoir ce qu'un jeune homme de vingt avait à faire dans cette réunion de capacités européens et de vétérans de la diplomatie et comment il se trouvait admis à leurs plus intimes pensées.

Au commencement de 1807, j'arrivrai à Vienne, en qualité d'attaché de l'ambassade de Russie; le Prince Kourakin avait été appelé à Tilsit et le Compte André Razoumovsky exerçait encore des fonction d'ambassadeur. Je ne sais à quoi je dus de me trouver, comme par un coup de baguette, introduit dans un cercle supérieur, qui dans ce pays ne s'ouvre jamais ou de moins très rarement aux étrangers, j'avais 19 ans, la passion des arts, le goût de la bonne compagnie, un extrême désir de plaire, et dans la société de Vienne, alors tout française d'avant la révolution on acceillit avec bonté un jeune homme qui en avait calqué les formes au point de satisfaire le Pce de Ligne, Madame de Brionne, Madame de Rombeck, le Pce Auguste d'Aremberg, le Compte de la Marck et tout ce qui restait encore de cette époque; tandis que d'un autre côté, les représentans de l'esprit allemend voyaient avec intérêt un jeune russe, familiarisé avec la langue et la littérature allemendes, et que favorisait Goethe lui-même. En même tems, Mre de Razoumovsky, Mr de Stadion, Gentz et, surtout Pozzo di Borgo qui m'avaient connu presque enfant, démélaient probablement sous l'enveloppe frivole au jeune homme quelques qualités assez sérieux, quelques connaissances assez solides et ce désir de s'instruire dans le maniement des affaires, qui tient lieu d'ambition dans la jeunesse et qui pourrait bien quelquefois en être le présage. Tout cette société si inabordable, si exclusive s'amusa de nouveau venu, chacun à sa manière, et de cet amusement résulterent de longues et d'honorables amitiés. Je ne saurais jamais exprimer tout ce que cette époque de ma vie m'a laissé d'affectueux et de reconnaissans souvenirs.

Mr Bignon parle d'un parti anglo-russe; cette époque toute la haute société en Europe haïssait Napoléon; dans ce soi-disant, parti se confondaient tous les salons, toutes les notabilité qui n'étaient pas immédiatement entraînées dans l'orbite du grand capitaine. Cette opinion n'avaient pas besoin de se façonner en parti; on conspirait en plein vent, si l'on peut appeler conspiration, l'aveu d'une commune antipathie tant de pays différens; dans cette repulsion plus en moins générale, j'apportai une couleur très prononcée; l'impression de la mort du duc d'Enghien m'était restée ineffaçable; c'était le premier crime politique dont le bruit eût effrayé mon adolescence; un vif attachement pour l'Empereur Alexandre ne faisait envisager Napoléon

comme son ennemi personnel et dans cet adversaire d'un maître chéri et maleureux je voyais le future oppresseur de la Russie.

La paix de Presbourg avait porté un coup fatale à l'Autriche. Sous le joug de fer du vaiqueur, on avait tout signé mais avec l'espérance de briser le joug au premier moment favorable. Le cabinet avait changé et le C^te^ Louis de Cobenzel avait été remplacé par C^te^ de Stadion, l'esprit occulte de la politique était resté le même. Une haine sourde fermentait dans tout les coeurs; à cette époque où les femmes avaient une grande influance sur les affaires, la société de Vienne était extrêmement hostile au gouvernement française. Initié dans le mystères, je fus bientôt à la hauteur de ceux, dont l'exaltation était la plus vive. Pozzo, Razoumovsky, Gentz, les deux Stadion, Metternich, le C^te^ Roger de Damas, le Marquis de Bonnay, le Commandeur Ruffo, tous à différens degrés, ennemis de Napoléon et de sa politique donnaient le ton à la société, puis venaient en seconde ligne les militaires de haut grade blessés et humiliés par désastres de l'Autriche, le Pr. Jean Lichtenstein, Schwarzenberg, Châteler, Giulai, Wallmoden, Bellegarde, le jeune archiduc de Milan, plein d'ardeur et de dévouement à la cause européene. A ce groupe se soignaient les hommes de lettres qui rêvaient l'affranchissement de l'Allemagne, les jeune militaires qui cherchaient à gagner leur épaulettes, les populations entières de la haut et de la basse Autriche, dévouées à la personne de l'Empereur.

Il ne fallait pas une grande perspicacité pour reconnaître que sous les apparences du calme et de la paix, une francmaçonnerie ostensible et patente, une francmaçonnerie poitique, mais sans autre signe de ralliement que le sentiment général, une vaste association sans chef et sans argot, enveloppaient tout le pays et propageait au dehors de grandes ramifications. Les femmes de Vienne, depuis la Burg, jusqu'au Prater, depuis l'Impératrice jusqu'à la grisette, éprouvaient la même aversion contre l'ennemi commun; malgré cet état d'exaltation flagrante, on employait beaucoup de prudence dans l'admission aux conciliabules, où l'on s'épanchait sans réserve; les étrangers en étaient bannis avec tant de soin que jamais. M^me^ de Staël n'y fut admise, quoiqu'elle se fût présentée à Vienne, sous les auspices les plus favorables, comme victime personnelle de Napoléon. M^me^ de Staël ne vit que le mouvement extérieur des esprits; on se défia d'elle et surtout du cortège qu'elle menait à sa suite. Les improvisateurs politique trouvèrent peu d'échos; elle ne fit aucune impression à Vienne.

Pendant ce tems, Tilsit et Erfurt avaient brusquement changé la politique du cabinet russe; les nouveaux engagemens étaient éclatant et positif; la marche imprimée au cabinet répugnait aux convictions de tous ceux qui l'avaient jusque là servi avec le plus d'intelligence et d'ardeur; entré dans la carrière diplomatique, je me trouvai naturellement en relation avec ceux qui s'y étaient déjà distingués et que le hasard ou les circonstances jétèrent tour-à-tour à Vienne dans une sorte de demi-disgrâce avec les apparences de non-activité momentanée. Ces hommes y furent accueillis sur leur antécédens et leur opinions très prononcées; de sorte qu'à cette époque ils'y trouvait comme deux diplomaties russes, l'une officielle à laquelle j'appartenais ostensiblement, l'autre sans caractère public, sans mission apparente, mais que je rencontrais dans le cercle intime de toutes mes habitudes et qui attirait toutes mes sympathies. Après avoir écouté le matin, le Pr. Kourakin, nullité marquée et historique, parler avec emphase et sans esprit de son admiration pour la nouvelle politique du cabinet Russe, je rejoignais le soir Razoumovsky, Tatischeff ou le baron Stroganoff, revenant d'Espagne et nous faisant le recit de toutes les merveilles de sa défense national; ou le C^te^ Tolstoy, racontant, son ambassade près de Napoléon.

Dans ces conciliabules de confiance et d'amitié, on ne se déchaînait pas contre l'Empereur Alexandre selon l'assertion de M^r^ Bignon; loin de là, il nous paraissait dans un état de contrainte morale dont il fallait le tirer à toux prise; on était persuadé qu'il n'avait pu dépouiller si promptement ses sentimens réels, ses instincts véritables, dont nul d'entre nous n'a jamais douté

un instant.[1] Mr Bignon tombe à ce sujet dans une erreur grossière; il articule ce qu'on pourrait appeller une calomnie, si l'on ne reconnaissait la source où il a dû la puiser et l'esprit dans lequel agissaient alors ceux qui avaient intérêt à la répandre. On n'eut aucun besoin de s'emparer de Cte Tolstoy, ni du Baron de Stroganoff, ainsi que l'affirme Mr Bignon (p. 172) ceux-là appartenaient naturellement à ce prétendu parti anglo-russe, mais qui de fait était bien plus autrichien qu'anglais; puisque tout ces opinions se groupaient autour de l'opinion dominante à Vienne, et que nous n'avions pas plus de penchant vers l'omnipotence anglaise que vers cette de Napoléon.

Ma position était tout-à-fait exceptionnelle et des plus bizarres. Plus avide encore de succès de société que de succès d'ambition, livré en même tems à des études opiniâtre et à une execessive dissipation, bien accueilli dans les sociétés de toutes les nuances, mais exclusivement fidèle à la plus recherchée et à la plus dédaigneuse je me trouvai, contre tout vraisemblance, établi, dans le centre du cercle où se préparaient les grands mouvemens politiques qui allaient éclater au dehors. Du salon de Mr de Stadion et des autres Ministres il n'y avait qu'un pas pour arriver à leur cabinet; je devins familier là comme dans le salon; ce que les hommes ne me disaient pas, je l'apprenais par les femmes. Sous mes yeux je voyais se développer la trâme de l'opération qui préoccupait vivement les hommes politiques et que la diplomatie étrangère à Vienne cherchait vainement à pénetrer; non seulement j'étais admis dans ces conciliabules, j'étais écouté; quelquefois du milieu de ces fronts soucieux, à travers ces paroles grâves et demi-voilées surgissait une tête bouché et une voix jeune et impétueux et cette voix était entendue avec intérêt et j'ose le dire, avec confiance; m'embarassant peu de ce qui causait le plus d'embarras aux hommes d'âge et d'expérience, mes paroles avaient un accent de chaleur et d'entraînement qui faisait sourire de plaisir les véterans de la haute politique. Il m'arrivait souvent de voir Pozzo ou l'abbé de Stadion (plus hommes d'état que son frère) ou Gentz, entrer en discussion réglée avec moi et se laisser ramenée à mes aperçus. Lorsqu'en 1808, Mr de Metternich vint de Paris pour reconnaître le terrain, il ne fut pas médiocrement surpris de trouver un tout jeune homme Russe de naissance, attaché à une ambassade, que l'on regardait sans aucune caractère public ou privé qui pût lui servir de garant auprès du cabinet autrichien, admis dans des saints, initié à tous les mystères du terrible drame qui allait décider du sort de la monarchie; j'ose croire que la surprise de Mr de Metternich fit place à un intérêt que le tems n'a pas effacé; ainsi que j'ai pu m'en convaincre par les preuves d'intérêt qu'il n'a cessé depuis de me témoigner. Je vois d'ici l'étonnement se peindre sur sa belle et calme physionomie quand il entendit ce jeune intrus donnant son avis sur telle ou telle grande mesure qui se combinait en silence et puis après, s'occupant avec le même sérieux de la coupe d'un pourpoint de velours et de la répétition d'une pièce de théâtre qui devait être jouée en société; Pozzo le mit au fait de cette singularité et lui expliqua, je crois, commant cet enfant gâté, si frivole et si léger en apparence, était un homme de bon conseil, un adepte prudent, avisé et de quelque resolution, et dont on aurait à tirer parti. Je n'aperçus jamais le moindre signe de défiance dans aucun des chefs de l'entreprise aussi longtems qu'elle resta caché dans le mystère du cabinet.

Tandis que le cavalier d'ambassade savait tout, voyait tout et mettait la main à tout, l'ambassadeur végétait dans une profonde ignorance des résolution du cabinet de Vienne. Mon principal se pavanait dans son faste un peu grotesque et promenait au Prater son carrosse doré, et les diamans répandus sur son costume hétéroclite; on lui témoignait tout sorte d'égards et de politesse; mais s'il demendait des explications sur tel ou tel syptôme qui alarmait enfin sa sécurité politique on lui repondiait évasivement, par des assurances vagues et des lieu-communs, et le calme rentrait de nouveau dans son esprit et dans ses dépêches. Je était loin de se douter que l'un de ses attachés d'ambassade, le moins exacte à la chancelerité, le plus évaporé et le plus

[1] Bien plus, notre position intime à l'égard de l'Empereur, avait quelque chose de pieux et de chevaleresque. Nouveaux Blondels nous prétendions mettre fin à la captivité de notre Richard; notre devise était franchement: Vive le Roi quand même.

insouciant de tous, plongeait dans tout les profondeurs d'un plan dont il cherchait en vain à découvrir le fil.

Cet état de choses ne laissait pas que de me donner quelques inquiètudes; parfoi j'était embarrassé de me trouver dépositaire d'aussi grands intérêts sans pouvoir utiliser cette situation au profit de notre politique, qui avait alors les apparences d'un parfait accord avec le cabinet des Tuileries; je sentais avec conviction que ce n'était pas là le dernier mot de l'Empereur; par une sorte d'instinct, je m'assurai que la levée en masse de la monarchie autrichenne, si elle obtenait le succès désiré, devait entraîner nécessairement un changement complet dans la politique russe; que l'indépendance des monarchies européenes ne pouvait qu'être la sécrète pensée de l' Empereur; comme dans une vision, je le voyais rentrer avec gloire dans sa vocation naturelle, dans l'exercice de sa libre intelligence, et accomplissant en 1809 une partie du rôle immense que 1813 et 1814 développèrent en lui.

Toutes ces pensées m'étaient familières avec tous ceux qui travaillaient au grand oeuvre; plus vivement qu'eux je croyais à cette transformation, et je me réjouissais d'en être en quelque sorte l'instrument inconnu et accidentel. Néanmoins privé de tout moyen de correspondre confidentiellement avec Petersbourg, d'y prendre le mot d'ordre, ne pouvant m'ouvrir à l'ambassadeur ni à personne de l'ambassade, redoutant non pas l'oeil de l'Empereur que je voulais voir s'ouvrir, mais l'intervention indiscrète de ministre des affaires étrengères, C^te^ Romanzoff[1], aveugle jouet de cabinet français et tout livré à Napoléon, j'éprouvais par momens de véritables perplexités; un hasard me fournit enfin l'occasion tant désirée, et voici comment je parvins en partie à mon but: l'ambassade de Russie à Vienne se composait alors, outre l'ambassadeur Prince Kourakin, de M^r^ d'Anstett, conseiller l'ambassade, et de quelques secrétaires et attachés au nombre desquels je me trouvais compté M^r^ d'Anstett, français de naissance, avait épousé une femme qui avait une propriété en Galliccie, que le mari allait visiter de tems en tems. J'était presque étranger aux travaux de l'ambassade et je n'avais même nulle connaissance de contenu des expéditions secrètes; un matin, c'était dans le courant de l'été 1808, l'ambassadeur me fit chercher, à ma grande surprise, et prenant un ton d'autorité, me dit que M^r^ d'Anstett, étant parti, c'était moi à le remplacer pendant les deux ou trois semaines que durerait son absence. L'ambassadeur assaisonna cette déclaration d'une prolixe exhortation sur ma vie dissipée et mes occupations frivoles, et d'une péroraison plus longue encore sur l'importance des fonctions que j'allais momentanément exercer. Ravi de cette bonne fortune inattendue, mon plan fut bientôt arrêté; je me présentai le lendemain de bonne heure dans les bureaux de l'ambassade, et je pris sur le champ connaissance de la correspondance; elle ne m'offrit rien de solide; c'était des aperçus vulgaires et mesquins, déleyés dans le style emphatique et précieux de M^r^ d'Anstett; pas une notion précis sur l'état réel des choses, mais en revanche force complimens sur la sagesse du cabinet Russe; on était à mille lieues de la réalité. Après m'être assuré de ce point important, je me rendis chez l'ambassadeur et lui disant d'un air composé, que j'avais fait de sérieuses reflexions sur ses avis de la veille, je commençai à lui dérouler un petit coin du tableau, dont l'ensemble et les détails m'étaient également connus. Je vis se peindre sur la figure du P^r^ Kourakin, à mesure, que je parlais, un véritable ébahissement ses gros yeux s'écarquillèrent; frappant sur son ventre et faisant jouer sa tabatière entre ses doigts, il me dit, après un préambule d'éloges, que c'était là un beau sujet de dépeches secrètes à écrire en cour, d'autant plus beau que depuis quelque tems il ne trouvait rien à mander; c'était là précisement où je voulais l'amener; j'acceptai la besogne et me mis à l'ouvrage sur le champ. Mon intention était de rédiger une dépèche pour ainsi dire à double entente; un rapport dont la moitié serait pour le C^te^ Romanzoff[2] et l'autre pour l'Empereur; je me disais que si ce dernier était mécontent, il ne manquerait pas de me rappeler et qu'alors j'aurais une donnée positive sur sa politique réelle, si au contraire cette dépêche rencontrait sa plus intime pensée, dont le ministre n'avait peut-être pas la confidence, je devinerais à

[1] Ошибка писаря. Имеется в виду «Румянцев». – *Примеч. С.С. Уварова*.

[2] См. предыдущее примечание.

mon tour par la teneur des réponses et par la conduite qu'il tiendrait à mon égard, jusqu'à quel point le Ministre serait le maître de la question. Cette dépêche, je la copiai de ma propre main, afin que l'Empereur reconnaissant l'écriture, pût voir tout-de suite la raison du contraste avec les dépêches précédentes. L'Ambassadeur la signa, comme il avait signé les anphigouries de M[r] d'Anstett, et elle fut sur le champ expédié par courrier à Petersbourg.

Je ne sais si dans la rédaction j'avais atteint le but que je me proposais; je me souviens seulement que dans la première partie je parlais de la mauvaise foi qu'il y avait à l'Autriche à se détacher du système de l'alliance française, de la témérité à entreprendre de lutter contre le génie de Napoléon etc. etc.; mais, disais-je, si cette entreprise est couronné de succès, quelles peuvent en être les conséquences? Là-dessus j'indiquais l'affranchissement de l'Allemagne et des grands états de l'Europe, la France confinée derrière le Rhin, la paix avec Angleterre etc. etc. J'exposai quelques données positives, et je me permis de mentionner quelques détails alors peu connus. Citant de mémoire et après 30 à 35 ans écoulés, je suis loin de pouvoir juger si ce travail valait quelque chose, il se trouve sans doute enseveli, dans les archives du ministère, oublié parmi les actes relatifs à une époque dont on ne se souvient guère.

A cette occasion j'observerai que dans les épanchemens les plus confidentiels des meneurs de l'entreprise; dans leurs utopies les plus exagérées, je n'entendis jamais parler des Bourbons. Donner à la France la limite du Rhin, reconstituer l'Allemagne comme puissance indépendante, agrandir la maison d'Autriche aux dépens de la Lombardie, amener par la cessation du système continental un état de paix avec l'Angleterre, rendre à la Russie toute son dépendance politique, telles était les principales tendances au plan de 1809.

Le plan avait plus d'une analogie avec celui de 1813, seleument la Russie devait y jouer le rôle que l'Autriche joua à cette époque. C'était le veou secret des facteurs, c'était ma plus ardente préoccupation; Pozzo, dont les idées allaient peut-être plus loin, parlait vaguement de impossibilité probable de maintenir la puissance française dans les bornes qu'on voulait lui assigner; il nous disait que tant que Napoléon serait à la tête de gouvernement, toute paix avec la France ne serait qu'une trève. Je nous contait ses entretenir avec Burke et Mirabeau sur l'ancienne monarchie française etc. etc., mais tous ces discours éveillaient peu de sympathies. Le moment présent, le désir d'affranchir l'Allemagne, de réduire la France aux limites rhénanes, et de tirer la Russie de cette alliance que nous regardions comme une honte et un malheur, absorbaient toutes nos intelligences. Il y avait dans cette aurore d'une époque d'affranchissement quelque choses de prestigieux et qui m'apparaissait, à moi entre tous, sous le prisme des plus vives émotions de la jeunesse. Cependant il est juste de dire qu'aucune entreprise ne fut mieux concertée, ni plus habilement préparée que la guerre de 1809. L'armée était forte et belle, animé du meilleur esprit et équipée avec un soin extrême; les mesures prises par l'administration avaient été calculées avec tout le calme autrichien et sa persévérance; le C[te] O'Donnel alors ministre des finances homme d'une intelligence très remarquables et d'une forte trempe de caractère, avait mis en jeu ses dernières ressources avec une rare habileté; il disait qu'il valait mieux faire banqueroute les armes à la main, que d'achever de mourir insolvable sous un joug de fer? Les généreux étaient tous désignées commue les plus braves et les meilleurs de l'armée; les populations prenaient partout les armes avec des cris d'enthousiasme. On était sûr au Tirol et la Landvehr des pays héréditaires présentait une masse très importants; on comptait sur la Prusse et la Russie. Les subsides anglais venaient bien, je pense, alimenter le mouvement germanique ou plutôt européen. Toutefois la fortune des armes trahit les espérances les mieux fondées. La rapidité avec laquelle Napoléon se porta sur le Phin, et l'habile hardiesse de ses manoeuvres aux environs de Ratisbonne, déroutèrent l'Archiduc Charles. Dès qu'il fut rejeté sur la rive gouche du Danube, la campagne fut manquée; cependant l'Archiduc revenu de ce premier mouvement de surprise gagna à Aspern la premier bataille rangée, que Napoléon eut perdue jusque là, dans un moment où le vainqueur croyait n'avoir plus que dernier coup à lui porter. Si Aspern avait été à Ratisbonne, la monarchie eut été sauvée et l'Europe avec lui.

On était donc à Vienne plongé dans tous les préparatifs de la guerre, lorsque de S[t]. Pétersbourg arriva au P[r] Kourakin l'ordre d'aller remplacer le C[te] Tolstoy à Paris, et celui de m'emmener, si toutefois il ne jugeait pas à propos de me laisser à Vienne jusqu'au commencement des hostilités présumées; c'était la réponse à la dépêche; je l'entendis à demi-mot. Au sujet de cette dépêche j'ai encore à obsrever, que lorsque M[r] d'Anstett revint, il fut fort surprise de la manière dont j'avais usé de son absence; il me parla de la dépêche en affectant de grandes appréhensions, et en me disant qu'il n'aurait pas voulu, lui, l'avoir rédigée; je répondis en souriant que je l'avoir écrite sous la dictée de l'ambassadeur; l'explication en resta là.

Metternich avait pris en Décembre 1808 un prétexte pour quitter Paris; il vint nous dire qu'une partie de nos projets était éventée et que si l'Autriche n'attaquait pas, elle allait l'être par Napoléon. Cela hâta l'ouverture de la campagne, dont les événemens n'entrent pas dans la cadre de ce recit. J'étais resté le dernier à Vienne et je n'en partis que lorsque les bombes françaises foudroyaient déjà la capitale. Par Presbourg je me rendis à Troppau où l'on s'était donné rendez-vous. J'y trouvai Pozzo, Bonnay, beaucoup de dames de notre société, et j'y recontrai Stein, qui vint grossir nos consiliabules assez tristes; mais sous le coup d'une proscription inouie, je le vis d'un admirable sang-froid exhorter au courage en nous disant que c'était seulement partie remise. Quand en 1812 je le revis à ma grande surprise au Kremlin à côté de l'Empereur Alexandre, il m'embrassa avec transport et me dit: «souvenez-vous de 1809»? En effet 1813 fut encore1809, mais sur une échelle plus grande et avec des résultats plus féconds; seuleument les rôles de la Russie et de l'Autriche y furent intervertis.

Lorsque je quittai Troppau, après l'armistice, j'arrivai au quartier générale du Pr. Golitzin, il n'était pas difficile de voir, que la réussite de la campagne autrichienne aurait donné dans ce corps d'arméee un élan extraordinaire aux esprits; dans ses rangs se serait trouvé peut-être plus d'un Yorck. Aux avant-postes du P[r] Souvoroff, on me dit qu'il y avait ordre de me mener sur le champ au commandant en chef. Lorsque nous arrivâmes, le Pr. Golitzin quitta sa société et s'enferma avec moi dans son cabinet; je lui fis le détail de tout ce que j'avais vu et appris; tout cela me parut concerté d'avance. Je partis deux jours après et au passage de la frontière, par une de ces inconséquences après que la jeunesse n'apprécie pas et que tournent souvent à son avantage, au lieu d'aller à Pétersbourg je me rendis directement chez ma mère qui habitait dans les environs de Smolensk et là, oubliant la politique et les affaires, heureux de retrouver mes livres, et attendant avec sécurité, ce que l'on déciderait ultérieurement de mon sort, je me livrai à des études que le tourbillon des affaires et des plaisirs m'avait fait négliger; la decision suprême ne se fit pas attendre un courrier m'apporta ma nomination au poste de premier secrétaire d'ambassade à Paris, nomination significative dans l'état où se trouvaient alors nos relations avec la France. Quand je revis l'Empereur, il ne me parla pas de mon séjour en Autriche, et affecta même de ne m'entretenir qu'en public, mais son regard affectueux et expressif et quelques paroles dont je compris le sens détourné, me donnèrent l'assurance que je n'avais pas démerité dans son opinion, et que j'avais mieux que d'autres, placés plus haut, deviné la pensée secrète, qui le dominait à leur insu.

Tel fut mon premier, et à vrai dire, mon seul coup d'essai *diplomatique*; depuis je ne rentrai plus dans la carrière de la politique étrangère. Je n'ai revu qu'un petit nombre de ceux qui à Vienne traitèrent d'égal à égal avec un jeune étranger sans mission officielle, ni autorité quelquonque, qui n'agissait qu'en son nom, mais auquel le hasard avait dans une circonstance critique, donné quelque influence sur la politique la plus secrète du cabinet autrichien. Tout ce que nous voulumes et tout ce que nous fimes alors n'est plus que de l'histoire et pour ainsi dire, de la mythologie. Le livre de M[r] Bignon à réveillé ces souvenirs, et les jette sur le papier comme un éclaircissement que ma famille et mes amis retrouveront avec plaisir: pour les autres lecteurs, le caractère romanesque de mon épisode diplomatique, si expressif de l'époque où il eut lieu, sera peut-être un objet d'amusement et de curiosité, surtout depuis que l'on a réhabilité l'anecdote aux depens de l'histoire.

Перевод

Приложение первое[1]
Мой дебют
Эпизод в 1809 году

Г<осподин> Биньон[2] в VIII томе своей истории Франции при Наполеоне, излагая обстоятельства, которые привели в 1809 году к войне между Францией и Австрией, говорит:

«Те, кто подстрекали Австрию к войне, австрийцами не были. Сам Стадион[3] и Штуттергейм[4], хотя и являлись немцами, были рождены вне этого государства. Подстрекателями, раздувавшими пожар, были русские Разумовский[5], Уваров, Татищев[6] и космополит Поццо ди Борго[7]» (стр. 173)[8].

Раз уж мое имя здесь упомянуто, я дам несколько разъяснений об этом времени, прежде всего потому, что цитата г. Биньона точна и проистекает из официального источника, хотя до настоящего времени мое имя счастливо ускользало из-под микроскопа биографов и болтовни частных мемуаристов; затем и, кроме того, потому, что с того расстояния, которое отделяет нас от тех событий, быть может, будет любопытно узнать, что двадцатилетний молодой человек мог делать в этом собрании европейских талантов и ветеранов дипломатии и каким образом он оказался в самом тесном кругу их замыслов.

В начале 1807 года я прибыл в Вену в качестве атташе русского посольства; Князь Куракин был вызван в Тильзит и Граф Андрей Разумовский еще выполнял обязанности посла. Не знаю зачем, словно по мановению жезла, я оказался в высшем кругу, который в этой стране никогда или по крайней мере очень редко открывается иностранцам. Мне было девятнадцать

[1] «Приложением вторым» был очерк «Штейн и Поццо ди Борго», опубликованный впервые в 1846 году в Санкт-Петербурге на французском языке. Русский перевод М.Г. Розберга вышел в Дерпте в 1847 году.

[2] Биньон, Луи Пьер Эдуард (1771–1841) – французский дипломат, разведчик, историк. Барон. Получив от Наполеона по завещанию 100 тыс. франков на сочинение истории французской дипломатии с 1792 по 1815 год, написал двенадцатитомный труд «История Франции при Наполеоне» [см. 33].

[3] Стадион, Иоганн Филипп Карл Йозеф фон (1763-1824) – австрийский государственный деятель, дипломат, граф. После поражения Австрии в войне с Францией 1805 года стал министром иностранных дел, выступал за реформы и реванш. После окончания войны с Францией 1809 года подал в отставку.

[4] Возможно, имеется в виду Карл Даниэль Готтфрид Вильгельм фон Штуттергейм (1770–1811 – австрийский военачальник, военный агент. Барон. Фельдмаршал-лейтенант (посмертно). Родился в Берлине, служил Пруссии, Саксонии, затем, Австрии. Участвовал и отличился, в частности, в войне Австрии и Великобритании с Францией 1809 года. Был издан первый том его труда «Война 1809 года».

[5] Разумовский Андрей Кириллович (1752–1836) – русский дипломат, граф, светлейший князь (1815). Посол в Вене в 1790–1800, а также с 1801 года. После Тильзитского мира вышел в отставку, проживал в Вене, вернулся на службу в 1813 году, был русским уполномоченным на Венском конгрессе, после отставки в 1815 году проживал в Вене.

[6] Татищев Дмитрий Павлович (1767–1845) – русский дипломат. Сенатор (1810), действительный тайный советник (1819), член Государственного совета (1838), обер-камергер (1841). Посланник в Неаполитанском королевстве в 1802–1803 и 1805–1808 годах. В 1804 году был вторым уполномоченным (после кн. Чарторыйского) при переговорах с Австрией о союзе и 13 (25) октября подписал в Петербурге «Декларацию о союзе России и Австрии против Франции». Посланник и полномочный министр в Испании в 1812–1821, в Нидерландах в 1821–1822 годах, уполномоченный на Веронском конгрессе в 1822 году, посол в Австрии в 1826–1841 годах.

[7] Поццо ди Борго, Карло Андреа (Карл-Андрей Осипович) (1764–1842) – русский дипломат корсиканского происхождения, граф (1826). Убежденный антибонапартист. С 1803 года на русской службе. После Тильзита вышел в отставку и уехал в Австрию. В 1812 году вернулся на службу. Представитель России на Венском конгрессе, посланник в Париже (1814–1815), участвовал в битве при Ватерлоо, после второй Реставрации снова посланник в Париже, преследовал Наполеона и его сторонников во время «белого террора», в 1821 году посол во Франции, в 1834–1839 годах посол в Великобритании, с 1839 года, выйдя в отставку, жил в Париже.

[8] См. [34].

лет, я имел страсть к искусству, вкус к хорошей компании, крайнее желание нравиться, и в венском обществе, тогда всецело дореволюционно-французском, приняли по-доброму молодого человека, в точности принимавшего именно тот вид, который удовлетворял П<ринца> де Линя, мадам де Брион[1], мадам де Ромбек[2], князя Августа фон Аремберга, графа де ла Марка[3], и всех тех, кто оставался еще в той эпохе; тогда как, с другой стороны, представители немецкого духа с интересом взирали на молодого Русского, усвоившего немецкий язык и литературу, которому покровительствовал сам Гете. В то же время г. Разумовский, г. Стадион, Генц[4] и, особенно, Поццо ди Борго, который почти признал во мне свое дитя, по-видимому, распознавали под легкомысленной оболочкой некоторые более серьезные качества, более солидные знания и то желание обучаться ведению дел, которое в юности заменяет честолюбие, и которое, в сущности, иногда бывает добрым предзнаменованием. Все это общество, столь неприступное, столь исключительное, позабавилось над вновь прибывшим, каждый на свой лад, и эта забава вылилась в долгую и благородную дружбу. Я никогда не смогу выразить всего того, сердечного и признательного, что мне оставил этот период моей жизни.

Г. Биньон говорит об англо-русской партии. В то время все высшее общество в Европе ненавидело Наполеона. В эту, так сказать, партию соединялись все салоны, вся знать, которая непосредственно была вовлечена в сферу действия великого полководца. Этому настроению не было нужды оформляться в партию; сговаривались открыто, если можно называть заговором это отношение всеобщей антипатии столь разных стран. В это более или менее всеобщее отвращение я вносил и свой очень выразительный оттенок; смерть герцога Энгиенского[5] оставила во мне неизгладимое впечатление: это было первое политическое преступление, шум которого ужаснул мою юность. Живая преданность Императору Александру не позволяла мне рассматривать Наполеона как своего личного врага, но в этом противнике моего дорогого и несчастливого господина я видел будущего угнетателя России.

Пресбургский мир[6] нанес фатальный удар Австрии. Под гнетом оружия победителя подписали все, но с надеждой сбросить гнет в первый же благоприятный момент. Кабинет

[1] Брион, Луиза Юлия Констанция де (1734–1815) – одна из знаменитостей предреволюционного французского двора, графиня. Жена, затем вдова шталмейстера короля Людовика XV. Эмигрировала в 1793 году в Австрию, умерла в Пресбурге. См. [35, p. 370–372].

[2] Ромбек де – графиня, сестра Л. Кобенцля (см. ниже).

[3] Аремберг (или Аренберг), Август Мария Раймунд фон, граф де ла Марк (1753–1833) – французский военный, политический деятель бельгийского происхождения, эмигрант на австрийской службе, князь. Участвовал в войне за независимость США (1775–1783) во главе состоявшего на французской службе немецкого полка его собственного имени. В 1789 году был избран депутатом от дворянства в Генеральные штаты. Был близок к графу О. де Мирабо. В 1793 году эмигрировал и поступил на австрийскую службу.

[4] Генц, Фридрих фон (1764–1832) – немецкий публицист, политический деятель. В начале карьеры был поклонником Французской революции 1789 года, затем, сделался приверженцем либеральных и немецко-национальных идей, после чего стал убежденным консерватором и твердым сторонником политики Священного союза. Советник канцлера К. Меттерниха (1815).

[5] Бурбон, Луи Антуан Анри де (1772–1804), герцог Энгиенский – последний принц дома Конде, боковой линии Бурбонов. В 1789 году эмигрировал. В 1792 году в составе роялистской армии, сформированной и возглавляемой его дедом, сражался против революционной Франции. С 1801 года после роспуска этого соединения, согласно условиям Люневильского трактата, удалился от политики и войны и проживал как частное лицо в Эттенгейме (Баден) на пенсию правительства Великобритании. В 1804 году схвачен в собственном доме отрядом французских драгун, вывезен во Францию, через несколько дней обвинен трибуналом в организации заговора против Наполеона на английские субсидии и расстрелян во рву Венсенского замка.

[6] Мирный договор между Францией и Австрией, подписанный в Пресбурге (совр. Братислава, Словакия), ознаменовал распад третьей антифранцузской коалиции. Австрия потеряла владения в Западной Германии и Тироль в пользу Баварии и Вюртемберга, которые из курфюршеств становились королевствами, а также Венецианскую область. Она обязывалась выплатить победителю 40 млн флоринов контрибуции, признавала упразднение Священной Римской империи и утверждение монархов из дома Бонапартов в Голландии и Неаполе.

сменился, г<раф> Людвиг Кобенцль[1] был заменен г<рафом> Стадионом, но затаенный дух политики остался прежним. Скрытая ненависть волновалась во всех сердцах; в те времена, когда женщины имели большое влияние на дела, венское общество было крайне враждебно французскому правительству. Посвященный в тайну, я вскоре был вознесен до тех, чье возбуждение было самым пылким. Поццо, Разумовский, Генц, оба Стадиона[2], Меттерних[3], г<раф> Роже де Дама[4], маркиз де Бонне[5], командор Руффо[6], все разные по рангу, враги Наполеона и его политики, задавали тон в обществе, за ними во второй линии шли военные, в высшей степени оскорбленные и униженные разгромом Австрии, к<нязь> Иоганн Лихтенштейн[7], Шварценберг[8], Шателер[9], Дьюлай[10], Валльмоден[11], Беллгард[12], молодой великий

[1] Кобенцль, Людвиг фон (1753–1809) – австрийский государственный деятель и дипломат, граф. Государственный канцлер. Министр иностранных дел (1801–1805).

[2] Стадион, Иоганн Филипп Карл Йозефа фон (о нем см. выше) и его брат Стадион, Фридрих Лотар фон (1761–1811) – австрийский государственный деятель, дипломат. Участвовал в войне Австрии и Великобритании с Францией 1809 года в качестве генерал-интенданта в армии эрцгерцога Карла.

[3] Меттерних-Винебург, Клемент Венцеслав Лотар (1773–1859) – австрийский государственный деятель и дипломат, князь, герцог де Портелла. В 1809–1848 годах канцлер и министр иностранных дел. После революции 1848–1849 годов оставил политику. В марте 1848 года бежал в Англию, в октябре 1849 года переехал в Бельгию, вернулся в Австрию в 1851 году.

[4] Дама, Роже де (1765–1823) – французский военный деятель контрреволюционных убеждений, граф, генерал-лейтенант (1814). Участвовал и отличился в Русско-турецкой войне 1787–1791 годов, был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. В 1791–1792 годах служил адъютантом графа д'Артуа, в 1794–1797 годах воевал в армии принца Конде, а, затем, в 1799–1800 годах в неаполитанской армии против Французской республики. После низложения неаполитанских Бурбонов и своего поражения в Италии в 1806 году покинул военную службу и удалился в Вену. При Реставрации в 1814 году поступил на военную службу к королю Людовику XVIII, за которым следовал и во время наполеоновских «ста дней». Член Палаты депутатов (1815).

[5] Бонне, Шарль Франсуа де (1750–1825) – французский военный и политический деятель, дипломат, маркиз. Депутат Генеральных штатов от дворянства (1789). Председатель Учредительного собрания (1790). Эмигрировал вместе с графом Прованским – будущим королем Людовиком XVIII и исполнял его дипломатические поручения. После Реставрации полномочный министр в Копенгагене (1814), Берлине (1816). На процессе перешедшего во время «ста дней» на сторону Наполеона маршала М. Нея голосовал за его казнь. Пэр Франции (1815).

[6] Вероятно, имеется в виду кардинал Фабрицио Диониджи Руффо (1744–1827) – римско-католический церковный и неаполитанский государственный деятель. В 1799 году на Юге Италии организовал из местных крестьян и бандитов роялистскую повстанческую армию, которая участвовала в изгнании французских оккупантов, низвержении Партенопейской республики и терроре против местных республиканцев. При пленении Наполеоном папы Пия VII последовал за ним во Францию.

[7] Лихтенштейн, Иоганн I фон, князь (1760–1836) – австрийский военный и государственный деятель, отличившийся, в частности, в войне Австрии и Великобритании с Францией 1809 года. Генерал-фельдмаршал (1809). Кавалер русского ордена Св. Георгия 3-й степени (1813).

[8] Шварценберг, Карл I Филипп цу (1771–1820) – австрийский военный и государственный деятель, князь, ландграф Клеттгау, граф Зульц. Австрийский посол в Петербурге в 1807–1809 годах, отличившийся в частности в войне Австрии и Великобритании с Францией 1809 года, в сражении при Ваграме. Генерал-фельдмаршал (1812). Кавалер русских орденов Св. Георгия 1-й степени и Св. Андрея Первозванного (1813). Председатель гофкригсрата (1814).

[9] Шателер, Иоганн Габриэль фон (1763–1825) – австрийский военный деятель, участвовавший, в частности, в войне Австрии и Великобритании с Францией 1809 года. Маркиз. Фельдмаршал-лейтенант (1801). Генерал-фельдцейхмейстер (1813).

[10] По-видимому, имеется в виду Игнац Дьюлаи (Гиулай) фон Марош-Немет и Надашка (1763–1831) – австрийский военачальник, отличившийся, в частности, в войне Австрии и Великобритании с Францией 1809 года. Фельдмаршал-лейтенант (1800). Генерал-фельдцейхмейстер (1814). Председатель Гофкригсрата (1829).

[11] Вальмоден-Гимборн, Людвиг Георг фон (1779–1862) – австрийский военачальник, отличившийся в частности, в войне Австрии и Великобритании с Францией 1809 года, в сражении при Ваграме. Граф. Сын английского посланника в Вене. В 1813–1815 годах состоял на русской службе.

[12] Беллегард, Генрих Йозеф Иоганн фон (1757–1845) – австрийский военный и государственный деятель, отличившийся, в частности, в войне Австрии и Великобритании с Францией 1809 года, в сражении

герцог Миланский[1], полный пыла и преданности европейскому делу. К этой группе тяготели литераторы, мечтавшие об освобождении Германии, молодые военные, стремившиеся заслужить эполеты, целое народонаселение верхней и нижней Австрии, преданное лично Императору[2].

Не нужно быть великой проницательности, чтобы распознать под видимостью мира и спокойствия франкмасонство явное и очевидное, франкмасонство политическое, но без какого-либо признака объединения, кроме всеобщего чувства, широкое сообщество без своего вождя и своего жаргона, которое охватывало все страны и распространяло во вне большие ответвления. Венские женщины, от Бурга до Пратера[3], от Императрицы[4] до гризетки испытывали одну и ту же антипатию к общему врагу; несмотря на это состояние очевидного возбуждения, принимали с большой осторожностью в те тайные общества, где без остатка изливали свои чувства. Иностранцы оттуда удалялись так тщательно, как никогда. Не была допущена Мадам де Сталь[5], несмотря на то, что была представлена в Вене под самым благоприятным покровительством как жертва лично Наполеона. Мадам де Сталь увидела только внешнее движение умов. Ей не доверяли, особенно тому сопровождению, что она водила в своей свите. Политические импровизаторы находили мало отзвука. Она не произвела в Вене никакого впечатления.

В это время в Тильзите и Эрфурте внезапно изменилась политика русского кабинета. Новые обязательства были положительными и громкими. Ход, сделанный кабинетом, претил убеждениям всех, кто до того времени ему служил всею силою ума и рвения. Отдавшись дипломатической карьере, я был, разумеется, связан со всеми, кто был здесь уже на виду и кого случай или обстоятельства забрасывали поочередно в Вену как что-то вроде полунемилости под видом временной бездеятельности. Этих людей здесь встречали, подчеркнуто в соответствии с их прежней деятельностью и взглядами. И, таким образом, они были тогда здесь как две русские дипломатии, одна официальная, которой я подчеркнуто принадлежал, другая – не публичного характера, без видимой миссии, которую я встречал в столь привычном мне тесном кругу, который привлек все мои симпатии. Послушав однажды утром произнесенную с пафосом речь князя Куракина, лишенную чего бы то ни было замечательного и исторического, и не разделяя его восхищения новой политикой

при Экмюле, Эсслинге, Ваграме, Цнайме. Граф. Генерал-фельдмаршал (1809). Председатель гофкригсрата (1809–1813, 1820–1825). Вице-король Ломбардо-Венецианского королевства (1815–1816).

[1] Великое герцогство Миланское, вассальная территория Австрии, в результате побед Наполеона перестало существовать фактически с 1796 года. Кампоформийский договор 1797 года между Францией и Австрией водворил на его месте зависимую от Франции Цизальпинскую республику. Ее существование ненадолго прервало освобождение Италии А.В. Суворовым в 1799 году, а затем вновь утвердил Люневильский мир 1801 года. В 1802 году Наполеон реорганизовал ее в Итальянскую республику, а потом, в 1804 году, – в Итальянское королевство. Венский конгресс 1814–1815 годов от восстановления Великого герцогства Миланского отказался. Его территория вошла в состав вассального Австрии Ломбардо-Венецианского королевства.

[2] Имеется в виду Франц Иосиф Карл (1768–1835), с 1806 по 1835 – Франц I, император Австрии, с 1792 по 1806 – Франц II, император Священной Римской империи германской нации.

[3] Пратер – большой общественный парк в Вене.

[4] Мария Людовика Моденская или Австрийско-Эстская (1787–1816) – третья по счету жена императора Австрии Франца I, его кузина.

[5] Сталь, Анна-Луиза-Жермена де (1766– 1817) – французская писательница, баронесса. Дочь французского банкира и министра Ж. Неккера. В 1786 году вышла замуж за шведского посланника в Париже барона Э.М. де Сталь-Гольштейна. Ее парижский салон с 1796 года был одним из очагов либерализма. Он встал в оппозицию первому консулу республики Наполеону Бонапарту. По его указу в 1803 году она была выслана из Франции и уехала в Швейцарию, где вновь создала либеральное общество философов и литераторов. В 1812 году под давлением Наполеона была выслана из Швейцарии, переехав в Россию, затем в Швецию и Англию. В Париж вернулась в 1814 году. Уваров посвятил ей воспоминания [см. 36, с. 521–230]. Об их взаимоотношениях см. [37, с. 215–330].

Русского кабинета, я отправился вечером к Разумовскому, Татищеву, где барон Строганов[1], вернувшийся из Испании, рассказывал обо всех чудесах ее национальной обороны и где граф Толстой[2] рассказывал о своем посольстве при Наполеоне.

В этих дружеских тайных собраниях не нападали на Императора Александра, как это утверждает г. Биньон. Далеким от этого он казался нам в состоянии нравственного стеснения, из которого его надо было вытащить любой ценой. Были убеждены, что он не мог так быстро отбросить свои реальные чувства, свои подлинные инстинкты, в которых никто из нас никогда не сомневался ни на один миг[3]. Г. Биньон впадает по этому поводу в грубую ошибку. Он произносит то, что можно было бы назвать клеветой, если бы не распознавался источник, где он должен был это почерпнуть, и тот дух, в котором действовали тогда те, кто был заинтересован в ее распространении. Не было нужды что-либо выхватывать ни у графа Толстого, ни у барона Строганова и утверждать, как это делает г. Биньон (с. 172), что оба они принадлежали, естественно, к мнимой английской партии, которая фактически была гораздо более австрийской, чем английской, поскольку все эти мнения группировались вокруг мнения, господствовавшего в Вене, и мы не склонялись к английскому всемогуществу более, чем к наполеоновскому.

Мое положение было совсем особым и из ряда весьма своеобразных. Более алкавший успехов светских, нежели в области честолюбивых устремлений, предававшийся одновременно настойчивому учению и крайней рассеянности, хорошо принятый во всевозможных обществах, но верный исключительно самому изысканному и самому высокомерному, я ощущал себя вопреки всякому вероятию поставленным в центре того круга, где подготавливались великие политические движения, которые должны были разразиться вовне. Из салона г. Стадиона и других министров был лишь один шаг в их кабинет; я стал своим и здесь так же, как и в салоне; то, что мне не говорили мужчины, я узнавал от женщин. Своими глазами я видел развитие операции, всецело поглотившей политических деятелей, в которую иностранная дипломатия в Вене напрасно старалась проникнуть. Меня не только допускали в тайные собрания, но и слушали. Иногда посреди озабоченных лиц, серьезных и полузавуалированных речей возникала бестолковая голова и юный и пылкий голос. И его слушали с интересом и, осмелюсь сказать, с доверием. Я был мало обременен тем, что затрудняло более старших и опытных; мои слова звучали пылко и увлеченно, что заставляло улыбаться от удовольствия ветеранов высокой политики. Часто бывало, что Поццо или аббат Стадион (в большей степени государственный деятель, чем его брат) или Генц вступали со мной в регулярные дискуссии и возвращались к моим мнениям. Когда в 1808 году г. Меттерних приехал из Парижа, чтобы прощупать почву, он был немало удивлен, найдя совсем молодого человека, Русского по происхождению, атташе посольства, без какого бы то ни было публичного или частного свидетельства, которое могло бы служить ему ручательством перед австрийским кабинетом, допущенного ко святому, посвященного во все тайны ужасной драмы, которой предстояло решить судьбу монархии. Осмеливаюсь думать, что удивление г. Меттерниха уступило место интересу, который время не стерло. А то, что он с тех пор не прекратился, я смог убедиться, получив доказательства. Я и сейчас мысленно представляю отсюда изумление, рисовавшееся на

[1] Строганов Григорий Александрович (1770–1857) – русский дипломат и военный, барон, граф (1826), член Государственного совета (1827). В 1805–1810 годах чрезвычайный посланник и полномочный министр в Испании.

[2] Толстой Петр Александрович (1761–1844) – русский военный и дипломат, граф, генерал от инфантерии (1814), член Государственного совета (1823). В 1807–1808 годах посол в Париже.

[3] Тем более что в нашем отношении к Императору было благоговение и рыцарственность. Новые Блонделли требовали от нас положить конец пленению нашего Ричарда. Нашим откровенным девизом было: «Что бы там ни было, да здравствует король!» – *Примеч. С.С. Уварова.*

его красивом и спокойном лице, когда он слышал этого юного чужака, выдававшего свое мнение о том или ином крупном мероприятии, которое согласовывалось в тишине, свое мнение, чтобы потом заниматься с той же серьезностью покроем бархатного камзола и репетицией театральной пьесы, которая должна была играться в обществе. Поццо ввел его в курс дела относительно этой странности и, я думаю, объяснил ему, каким образом это балованное дитя, столь легкомысленное и ветреное на вид, было членом важного совета, его осторожным и осмотрительным последователем, используемым для кое-каких решений. Я никогда не замечал ни малейшего знака недоверия в ком-нибудь из руководителей этого предприятия до той самой поры, когда оно сокрылось среди тайн кабинета.

В то время как кавалер посольства все знал, все видел, ко всему прилагал руку, посол прозябал в глубоком незнании относительно решений Венского кабинета. Мой начальник важно расхаживал в своем блеске, немного гротескном, прогуливался по Пратеру в своей золоченой карете, в причудливом костюме, увешанном брильянтами. Ему оказывали всевозможные знаки уважение и учтивости, но если он спрашивал о том или ином признаке, который, наконец, вызывал у него политические опасения, ему отвечали неопределенными уверениями и общими местами, и покой вновь возвращался в его дух и его депеши. Я был далек от сомнений, что один из атташе его посольства, наименее аккуратный во всей канцелярии, самый легкомысленный и самый беззаботный из всех, окунался в самые глубины плана, нить которого он напрасно старался обнаружить.

Это положение вещей внушало мне некоторое беспокойство. Иногда я был смущен, видя себя хранителем столь больших интересов и не имея власти использовать такую ситуацию ради выгод нашей политики, которая имела тогда видимость совершенного согласия с Тюильрийским кабинетом. Я чувствовал и был убежден, что это было не последнее слово Императора, по какому-то инстинкту я был уверен, что массовая мобилизация австрийской монархии, если последняя добьется желанного успеха, должна с неизбежностью повлечь за собой полное изменение в русской политике; я был уверен, что только независимость европейских монархов может быть тайной мыслью Императора. Как призрак, я видел его вернувшимся к своему естественному призванию, в движении его свободного ума, исполняющим в 1809 году часть той огромной роли, которая в 1813 и 1814 годах получила развитие в его лице.

Все эти мысли были свойственны мне и всем тем, кто трудился над великим делом. Более живо, чем они, я думал над этим превращением, и был рад тому служить в качестве чего-то вроде случайного и неизвестного инструмента. Тем не менее, лишенный любой возможности тайной переписки с Петербургом, возможности получить оттуда лозунг, возможности открыться ни послу, ни кому бы то ни было в посольстве, опасаясь не взора Императора, которого я хотел бы увидеть, чтобы открыться, но опасаясь бестактного вмешательства министра иностранных дел г<рафа> Румянцева[1], ослепленного игрой французского кабинета и вверившегося Наполеону, я испытывал временами настоящую растерянность. Случай мне, наконец, предоставил столь желанную возможность; и вот каким образом я отчасти достиг моей цели. Посольство России в Вене тогда состояло, кроме посла князя Куракина, из г. Анстета[2], советника посольства, и нескольких секретарей и атташе. Я сошелся ближе с г. Анстетом, французом по рождению, женатом на женщине, имевшей владение в Гали-

[1] Румянцев Николай Петрович (1754–1826) – русский государственный деятель, коллекционер и меценат, сын фельдмаршала П.А. Румянцева-Задунайского, граф (1774), государственный канцлер (1809), почетный член Российской академии (1819). Министр коммерции (1802–1810). Сторонник союза с Наполеоном, после Тильзита. Управляющий Министерством иностранных дел (1807), министр иностранных дел (1808). В 1810–1812 годах председатель Государственного совета и Комитета министров.

[2] Анстет, Жан-Проте (Иван Осипович) (1766–1835) – русский дипломат эльзасского происхождения, барон. С 1801 года советник посольства, в 1803–1804, 1808–1810 годах поверенный в делах в Вене.

ции, которое муж посещал время от времени. Относительно трудов посольства я был почти посторонним и не имел даже ни малейшего понятия о секретных экспедициях. Однажды утром – это было летом 1808 года – посол велел меня найти к моему великому удивлению и, приняв властный тон, мне сказал, что г. Анстет уехал и именно мне надлежит его заменять в течение двух или трех недель, пока будет длиться его отсутствие. Посол приправил это заявление пространным увещеванием о моей рассеянной жизни, легкомысленных занятиях и еще длинным заключением о важности функций, которые я стану с этой минуты осуществлять. Похищенный этой неожиданной удачей мой план вскоре остановился. На следующий день я явился спозаранку в бюро посольства и тотчас ознакомился с перепиской. Ничего основательного она мне не открыла. Это были заурядные и скудные обзоры, разбавленные в напыщенном и вычурном стиле г. Анстета. Ни единого точного суждения о реальном состоянии вещей, но зато сильные комплименты мудрости Русского кабинета – это было за тысячу лье от реальности. Обеспечив себя в этом важном пункте, я отправился к послу и сказал с чопорным видом, что серьезно обдумал его недавние сообщения. Я начал с того, что развернул перед ним угол таблицы, которую одинаково хорошо знал и в целом, и в частностях. По мере продолжения моей речи я увидал, как на всей фигуре к<нязя> Куракина отобразилось подлинное изумление: его большие глаза вытаращились. Похлопывая себя по животу и играя табакеркой, он мне сказал после вступительной похвалы, что из секретных депеш именно это и есть тот предмет, о котором следует писать ко двору, тем более что уже какое-то время он не находил ничего, чтобы сообщить. Это и было в точности то, к чему я хотел привести дело. Получив работу, я тотчас же принялся за труд. Я намеревался составить депешу, так сказать, в двояком смысле, составить отношение, половина которого была бы для г<рафа> Румянцева, а другая – для Императора. Я говорил себе, что если бы последний оказался недоволен, он непременно бы меня отозвал, и тогда я имел бы достоверные данные о его реальной политике; если же, наоборот, эта депеша сошлась бы с его самой сокровенной мыслью, которую он, быть может, не доверял своему министру. По содержанию ответов и образу действий, которого стали бы держаться в отношении меня, я бы в свою очередь отгадал, до какой степени министр являлся хозяином вопроса. Эта депеша, которую я скопировал моей собственной рукой, чтобы Император узнал почерк, позволяла тотчас же обнаружить степень контраста с предыдущими депешами. Посол ее подписал так же, как он подписывал и галиматью г. Анстета, и она была тотчас отправлена с курьером в Петербург.

Не знаю, достиг ли я такой редакцией той цели, которую предполагал. Помню только, что в первой части я говорил о злом намерении Австрии отделиться от системы союза с Францией, о безрассудном стремлении бороться против гения Наполеона и т.д. и т.д.; но если это предприятие, говорил я, увенчается успехом, каковы могут быть последствия? Затем я указывал освобождение Германии и великих государств Европы, Францию с границей по Рейну, мир с Англией и т.д. и т.д. Я привел несколько достоверных данных и позволил себе упомянуть некоторые тогда мало известные подробности. Приводя это по памяти 30–35 лет спустя, я далек от возможности судить, представлял ли этот труд какую-либо ценность. Вероятно, он находится в архивах министерства, забытый среди актов, относящихся к эпохе, которую почти не вспоминают.

Я обратил тогда внимание, что в секретнейших излияниях руководителей того предприятия, в их самых хватающих через край утопиях я никогда не слышал речи о Бурбонах. Дать Франции границы по Рейну, воссоздать Германию как независимую державу, увеличить австрийский дом за счет Ломбардии, уничтожив континентальную систему, водворить мир с Англией, оставить России всю ее политическую зависимость – таковы были главные тенденции плана 1809 года.

Он был довольно аналогичен плану 1813 года, только Россия должна была в нем играть ту роль, которую Австрия играла в эту эпоху. То были тайные стремления движу-

щих сил, моя самая горячая тревога. Поццо, идеи которого простирались, вероятно, далее, туманно говорил, что, по-видимому, не удастся удержать французское могущество в тех пределах, которые ему хотели бы определить; он говорил нам, что пока во главе правления Наполеон, всякий мир с Францией будет лишь перемирием. Он нам рассказывал о своих переговорах с Бёрком[1] и Мирабо[2], о старой французской монархии и т.п., но все эти речи возбуждали мало симпатий. В тот момент желание освободить Германию, ввести Францию в границы по Рейну и оторвать Россию от того союза, который мы рассматривали как позор и несчастье, всецело поглощало наши умы. В этом восходе зари эпохи освобождения было что-то чарующее, и именно для меня, сквозь призму сильнейших переживаний юности. Однако, по правде говоря, ни одно предприятие не было согласовано ни лучше, ни ловчее, чем война 1809 года. Армия была сильна и прекрасна, одушевлена наилучшим духом и экипирована с крайней тщательностью. Меры, принятые администрацией, были рассчитаны со всем австрийским спокойствием и твердостью. Граф О'Доннелл[3], тогда министр финансов, человек весьма замечательного ума и закаленного характера, пустил в ход свои последние средства с редким умением. Он говорил, что лучше обанкротиться с оружием в руках, чем умереть несостоятельным под железным ярмом. Генералы были все назначены как самые храбрые и лучшие в армии. Население повсюду принимало войска с криками энтузиазма. Тироль был верен, и ландвер наследных земель представлял внушительную массу, рассчитывали на Пруссию и на Россию. Английские субсидии, я думаю, хорошо снабжали германское или, скорее, европейское движение. Но все же самые обоснованные надежды предало военное счастье. Быстрота, с которой Наполеон пошел на Рейн, искусная смелость его маневров в окрестностях Регенсбурга ввела в заблуждение эрцгерцога Карла[4]. С того времени как он был отброшен на левый берег Дуная, кампания не задалась. Однако эрцгерцог, придя в себя от этого первоначального неожиданного движения, выиграл у Асперна первое правильное сражение, которое проиграл Наполеон, проиграл в тот момент, когда победитель полагал, что осталось нанести последний удар. Если бы Асперн был под Регенсбургом, монархия была бы спасена и Европа вместе с нею.

Итак, в Вене были погружены в приготовления к войне, когда из С.-Петербурга к<нязю> Куракину пришел приказ заменить г<рафа> Толстого в Париже и увезти с собой меня, если он не сочтет приличным оставить меня в Вене до открытия ожидавшихся военных действий. Это был ответ на депешу. Я понял с полуслова. По поводу этой депеши замечу, что, когда г. Анстет вернулся, он был сильно удивлен тем, в какой манере я действовал в его отсутствие. Он говорил мне о той депеше с видом большого опасения, говорил, что сам не предполагал ее составлять, я со смехом ответил, что написал ее под диктовку посла. На этом объяснение и остановилось.

[1] Берк, Эдмунд (1729–1797) – британский политический деятель, публицист. С 1765 года член Палаты общин от партии вигов. Критиковал режим управления североамериканскими колониями, дискриминацию ирландских католиков. Выступал с консервативной критикой Французской революции 1789 года.

[2] Мирабо, Оноре-Габриэль Рикетти де (1749–1791) – французский политический деятель, граф. Получил известность как писатель – обличитель «старого режима» во Франции. В 1789 году был избран в Генеральные Штаты от третьего сословия, прославился как оратор. Составил текст «Декларации прав человек и гражданина». Будучи сторонником конституционной монархии, оказывал тайную поддержку королю Людовику XVI. Председатель Учредительного собрания.

[3] О'Доннелл, Иосиф фон Тирконелл (1755–1810) – австрийский государственный деятель, граф. Министр финансов.

[4] Карл Людвиг Иоганн Австрийский (1771–1847) – выдающийся австрийский полководец, эрцгерцог, фельдмаршал (1801), президент гофкригсрата (1801), военный министр (1805), брат австрийского императора Франца I. В 1796–1805 годах успешно действовал против французов на Рейне и в Италии. В кампании 1809 года выиграл у Наполеона сражение под Асперном, но проиграл ему сражение под Ваграмом.

Меттерних в декабре 1808 году под каким-то предлогом покинул Париж. Он пришел нам сказать, что часть наших проектов была раскрыта, и что если Австрия не нападет, то подвергнется нападению Наполеона. Это ускорило открытие кампании, события которой не входят в рамки данного рассказа. Я последний оставался в Вене и выехал оттуда только тогда, когда французские бомбы уже поражали столицу. Через Пресбург я отправился в Троппау, где было назначено место встречи. Я нашел здесь Поццо, Бонне, множество дам из нашего общества, здесь я встретил Штейна, который дополнил наши довольно печальные тайные сборища. Я видел, как он, подвергнутый небывалому изгнанию, с восхитительным хладнокровием призывал к смелости, говоря нам, что то был лишь вопрос времени. Когда в 1812 году я вновь его увидел к моему великому удивлению в Кремле сбоку от Императора Александра, он восторженно обнял меня и сказал: «Помните ли вы 1809-й?». И в самом деле, 1813 год стал повторением 1809-го, но в больших масштабах и с более плодотворными результатами; только роли России и Австрии здесь были переставлены.

Когда, покинув Троппау, после перемирия я прибыл в штаб-квартиру к<нязя> Голицына, было не трудно увидеть, что исход австрийской кампании, по-видимому, взволновал умы в этом армейском корпусе. В его рядах можно было бы найти более одного Йорка[1]. На аванпостах к<нязя> Суворова мне сказали, что есть приказ препроводить меня тотчас же к главнокомандующему. Когда мы прибыли, к<нязь> Голицын покинул свое общество и закрылся со мной в своем кабинете. Я сообщил ему подробности всего, что увидел и узнал. Все это мне показалось заранее согласованным. Я отбыл два дня спустя и, переехав границу, совершил один из тех необдуманных поступков, которым юность не знает цену, но которые часто оборачиваются к ее же выгоде, – вместо того, чтобы ехать в Петербург, я отправился прямо к моей матери, которая жила в окрестностях Смоленска, и здесь, забыв о политике и делах, счастливый тем, что возвратился к своим книгам, спокойно ожидая того, как дальше будет решена моя судьба, я предался исследованиям, которыми заставлял меня пренебречь круговорот дел и развлечений. Решение свыше не заставило себя ждать, курьер мне доставил назначение на пост первого секретаря посольства в Париже, назначение знаменательное, учитывая то состояние, в котором находились наши отношения с Францией. Когда я вновь увидел Императора, он не говорил со мной о моем пребывании в Австрии и предпочел сам говорить со мной только на публике, но его сердечный и выразительный взгляд и несколько слов, отвлеченный смысл которых я понял, уверили меня, что в его глазах я не совершил недостойного и что я лучше, чем другие, поставленные более высоко, отгадал ту тайную мысль, которая безотчетно им руководила.

Таков был мой первый и, по правде говоря, единственный дипломатический опыт. С тех пор я не возвращался больше к карьере иностранной политики. В дальнейшем я видел лишь малую часть тех, кто в Вене обращался как с равным с юным иностранцем без официального значения и какого-либо авторитета, но которому в критических обстоятельствах случай дал некоторое влияние на самую секретную политику австрийского кабинета. Все, что мы хотели, и все, что мы делали тогда, есть не более чем история и, если можно так выразиться, мифология. Книга г. Биньона разбудила эти воспоминания и бросила их на бумагу как некоторое разъяснение, которое обретут с удовольствием моя семья и мои друзья. Для других читателей романтический характер моего дипломатического эпизода, столь выразительный для своего времени, вероятно, будет предметом развлечения и любопытства, особенно с тех пор, как реабилитирован анекдот об издержках истории.

[1] Йорк, Ганс Давид Людвиг (1759–1830) – прусский военный деятель, граф фон Вартенбург (1814), генерал-фельдмаршал (1821). Получил известность тем, что, возглавляя корпус в 1812 году в качестве вынужденного союзника Наполеона, при бегстве Наполеона из России вступил в переговоры с русским командованием и подписал 30 декабря Таурогенскую конвенцию о прекращении военных действий против русских, за что был отрешен от всех должностей королем, который опасался стоявших в Пруссии оккупационных французских войск.

Литература

1. *Шевченко М.М.* Записка С.С. Уварова о крепостном праве в России (1830/1831) // Тетради по консерватизму : Альманах. М., 2018. № 1.
2. *Смолич И.К.* История Русской Церкви. 1700–1917. М., 1997. Ч. 2.
3. Россия под надзором : отчеты III отделения 1827–1869. М., 2006.
4. Отдел письменных источников Государственного исторического музея (ОПИ ГИМ). Ф. 17.
5. Дополнение к Сборнику постановлений по Министерству народного просвещения. 1803–1864. СПб., 1867.
6. *Рождественский С.В.* Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902. СПб., 1902.
7. Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. СПб., 1864. Т. 2. Отд. 1.
8. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 728.
9. *Корф М.А.* Дневник. Год 1843-й. М., 2004.
10. Корф М.А. Дневники 1838 и 1839 гг. М., 2010.
11. Русская старина. 1895. Т. 83. № 4.
12. *Whittaker C.H.* The origins of modern Russian education : An intellectual biography of count Sergei Uvarov. 1786–1855. De Kalb, 1984.
13. *Уваров С.С.* Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833–1843. СПб., 1864.
14. *Ливен Д.* Россия и наполеоновские войны: первые мысли новичка // Русский сборник. Исследования по истории России. М., 2007. Т. 4.
15. *Карамзин Н.М.* Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М., 1991.
16. *Петров Ф.А.* Формирование системы университетского образования в России. Т. 1: Российские университеты и устав 1804 года. М., 2002.
17. *Владимирский-Буданов М.Ф.* История Императорского университета Св. Владимира. Киев, 1884. Т. 1.
18. *Шильдер Н.К.* Император Николай I, его жизнь и царствование : в 2 т. СПб., 1903.
19. *Щербатов [А.П.]* Генерал-фельдмаршал князь Паскевич : Его жизнь и деятельность. Т. 5: 1832–1847. СПб., 1896.
20. *Щербатов [А.П.]* Генерал-фельдмаршал князь Паскевич : Его жизнь и деятельность. Прил. к т. 5. СПб., 1896.
21. *Ашкенази Ш.* Царство Польское. М., 1915.
22. *Грудев Г.В.* Из рассказов // Русский архив. 1898. № 11.
23. Древняя и Новая Россия. 1880. Т. XVII. № 8.
24. Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф. 531.
25. РГИА. Ф. 1149. Оп. 4. 1856 год Д. 32. Л. 209 об.–210.
26. *Земцов В.Н.* Французский иезуит аббат Адриан Сюрюг: исторический портрет // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2012. № 2 (102).
27. [*Бутурлин М.Д.*] Записки графа М.Д. Бутурлина // Русский архив. 1897. Кн. 1. № 2.
28. O*uvaroff S.* Essai sur les mystère d'Eleusis. SPb., 1812.
29. *Уваров С.С.* Исследование об элевсинских таинствах. Пер. с фр. // Современник. 1847. Т. 1. Отд. 2.
30. *Ouvaroff S.* Etude de philology et de critique. SPb., 1843.
31. *Ouvaroff S.* Esquisse politique et littéraires. P., 1848.
32. *Шевченко М.М.* Конец одного Величия : Власть, образование и печатное слово в Императорской России на пороге Освободительных реформ. М., 2003.
33. *Безотосный В.М.* Разведка и планы сторон в 1812 году. М., 2005.
34. *Bignon* L.-P.-Ed. Histoire de France sous Napoleon, deusieme epoque, depuis la paix de Tilsit jusqu'en 1812. P.-Leipzig, 1838. T. 8. P. 173.
35. *Ouvaroff [S.S.]* Prince de Ligne / S. Ouvaroff // Etude de philology et de critique. SPb., 1843.
36. *Уваров С.С.* Избранные труды. М., 2010.
37. Дурылин С. Госпожа де-Сталь и ее русские отношения // Литературное наследство. М., 1939. Т. 33–34.

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2018-0-1-335-361

Максим Шевченко

Записка С.С. Уварова о крепостном праве в России (1830/1831)

Этот документ из архива семейства Уваровых [1] достоин внимания не только как памятник русской общественно-политической мысли, но и как событие, значение которого раскрывается в контексте проблемы генезиса внутренней политики императора Николая I, традиционно вызывавшей у исследователей мало интереса. Обыкновенно ее изображали как простое продолжение консервативных, реакционных или, смотря еще проще, нелиберальных тенденций второй половины (после 1812–1815 годов) царствования императора Александра I. Новый император, правда, подчеркивал свою политическую преемственность с братом, который, как известно, так или иначе последовательно удерживал либеральную политическую повестку дня, примерно, до рубежа 1810–1820-х годов. Но никогда и ни в какой мере Николай I не считал себя преемником А.Н. Голицына, М.Л. Магницкого и Д.П. Рунича. Карьера последних двоих с его воцарением завершилась достаточно унизительно. Магницкий сам угодил под суд, а дело осужденных в 1821 году по настоянию Рунича петербургских профессоров было прекращено с полной их реабилитацией. В первый же год правления нового самодержца в отставке оказался А.А. Аракчеев. Первые же в ряду представителей либеральных тенденций минувшего царствования, знаменитые «молодые друзья» покойного Александра Павловича – граф В.П. Кочубей и Н.Н. Новосильцев – до конца дней неизменно сохраняли положение весьма почетное, закончив свои дни один за другим на посту председателя Государственного совета. С начала своего правления Николай I кадровую преемственность с правлением брата последовательно сохранял.

Секретный комитет 6 декабря 1826 года во главе с Кочубеем был специально создан для того, чтобы провести, так сказать, инвентаризацию социально-политического и административного наследства Александра I, сориентировать нового императора и облегчить ему вхождение в дела внутреннего управления. При этом львиную долю внимания Николая I поглощали в это время дела внешней политики, Восточный кризис 1820-х годов, три тяжелые войны – с Персией, Турцией, Польшей… Часто и вполне справедливо тогда подчеркивавший, что он «простой бригадный генерал», которого к занятию трона не готовили, Николай Павлович завел в те времена обыкновение подолгу работать с министрами, собирать лично и через доверенных лиц мнения о высших государственных делах видных и опытных деятелей минувшего царствования, еще не скомпрометировавших себя чем-либо в его глазах.

Ведомый при участии все тех же деятелей «дней Александровых прекрасного начала» Комитет 6 декабря теперь не ощущал перед собой ясной политической перспективы. Отсутствие прежде привычных слуху доктринальных формул в утилитарных установках,

Шевченко Максим Михайлович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России XIX века – начала XX века Исторического факультета МГУ. E-mail: Shevch_mm@mail.ru

исходивших от нового императора, его дезориентировало. «...обсуждение административных реформ ограничивалось топтанием на месте, и всякая сколько-нибудь серьезная идея тотчас признавалась неосуществимой в условиях русской действительности... – писал историк А.А. Кизеветтер. – Сам император, отнюдь не бывший противником умеренности и осторожности в нововведениях, не раз приходил в полное недоумение перед этой игрой слов, которую комитет считал серьезным обсуждением реформ» [2, с. 437]. Прежние представления себя уже скомпрометировали, а новые пока не складывались. Правительственный либерализм за четверть века порядком выдохся.

Его интеллектуальные ресурсы лежали в области космополитических идей Просвещения XVIII века. Консервативно настроенные оппоненты черпали свои контраргументы в эмпирическом море реалий русского исторического прошлого. Среди достигнутых ими результатов по силе воздействия на общественное сознание мало что могло сравниться с «Историей государства Российского» Н.М. Карамзина. «Его историю ни с какой сравнить нельзя, потому что он приноровил ее к России, то есть она излилась из материалов и источников, совершенно особенный, национальный характер имеющих... – писал современник. – Мы узнаем, чем мы были, как переходили до настоящего status quo и чем мы можем быть, не прибегая к насильственным преобразованиям...» [цит. по: 3, с. 291]. Политические бури и брожения 1820 – начала 1830-х годов с оптимизмом, навеянным философией Просвещения, покончили. Рухнули надежды душ, верующих во всесилие просвещенного разума, в то, что по одному мановению монарха на Россию изольется море просвещения и чуть ли не сама собой столь чаявшаяся общественная гармония водворится. Это влекло неизбежную и серьезную самопереоценку. Смысл ее обнаруживает себя в том, как воспринимало различие между образованной общественностью александровского времени и собой поколение, получившее образование примерно в 1840-х годах и вступившее в период своей полной жизненной зрелости к началу эпохи Освободительных реформ 1860–1870-х годов. Тогдашняя восходящая звезда русской науки – профессор Московского университета С.М. Соловьев, оглядываясь на политические настроения и идеалы четвертьвековой с лишним давности, писал: «Крайне небольшое число образованных, и то большей частью поверхностно, с постоянным обращением внимания на Запад, на чужое; все сочувствие – туда, к Западу... у себя в России нет ничего, где бы можно было действовать тою действительностью, которую привыкли видеть на Западе... Отсюда же этим образованным, мыслящим людям Россия представлялась «tabulam rasam»[1], на которой можно было начертать все, что угодно... дело... наших декабристов было произведением незрелости русского общества» [4, с. 615–616]. Пагубные последствия бесконтрольной вестернизации русского общества оказывались уже столь очевидны, что попадали в поле зрения и наблюдательных иностранцев. Один из наиболее вдумчивых современников А. фон Гакстгаузен, имея в виду посленаполеоновские времена, писал: «В России все больше и больше стал распространяться тот внешний лоск, то полуобразование, которое слишком ничтожно, чтобы двигать вперед цивилизацию, однако совершенно достаточно, чтобы исказить все честное и национальное в человеке и породить недовольство народной жизнью и ненависть к ней» [5, с. 72]. Для высшего русского общества, приобщенного к самым изысканным и соблазнительным плодам европейской культуры, во второй половине 1820-х – начале 1830-х годов ответ на вопрос о пути выхода из сложившейся ситуации мог начаться лишь с признания, что «Россия еще слишком мало известна Русским» (А.С. Пушкин). Одним из таковых был глава российского «ученого сословия» Сергей Семенович Уваров.

Встречая в литературе упоминания о его «либеральных взглядах» того времени, следует учитывать, что Уваров держался строго в диапазоне тенденций, исходивших от

[1] Чистой доской (*лат.*).

императора Александра I. Трагедия последнего, по мнению Уварова, состояла в том, что «он не понимал своей страны, не знал ни ее нужд, ни ее предрассудков, ни ее страстей» [1, оп. 1, ед. хр. 39, л. 122, 122 об.]. Революционные смуты и мятежи 1820 – начала 1830-х годов в Европе и России убедили Уварова в том, что настойчивость, с которой Александр искал способ воплотить свои либерально-конституционные надежды, несла для страны немалую опасность. Вследствие постоянно переживавшегося конфликта между внушенным с детства воспитателем-иностранцем, приверженным республиканским убеждениям, притязавшим на универсальность просветительским идеалом и русской действительностью, Александр I, по мнению современного британского историка, полагал, «что Россия его недостойна» [6, с. 99]. После низвержения Наполеона вместе с тогдашней Европой, уставшей от четвертьвековых революций и войн, русской монарх политически сдвинулся вправо. В нем пробудилось религиозное чувство, он обратился в христианство в духе модного в Европе масонского гностицизма. Его политика все более стала приобретать черты двусмысленности и лицемерия, чреватого внезапными и неподготовленными шагами, продиктованными отвлеченным доктринерством. Возвращенному в Петербург Сперанскому он летом 1821 года обмолвился, что следует «не торопиться преобразованиями; но для тех, кои их желают, иметь вид, что ими занимаются» [цит. по: 7, с. 217]. Патриотический подъем в русском обществе вызывал у Александра I смешанные чувства. Своим конституционным планам он после Отечественной войны 1812 года пытался искать опору в бывших союзниках Наполеона поляках, безуспешно предлагая им показать пример непротиворечивости свободолюбия и лояльности «недопросвещенным» русским. И, преданно проводив своего императора до конца его земного пути, Сергей Семенович отдавал должное его подвигам. Как мифический «Агамемнон среди царей», русский самодержец сокрушил во главе торжествовавшей России тирана Европы и одаривал последнюю прореченными просветительской философией благами «вечного» мира (в духе И. Канта) вместе с приготовленной историей мерой гражданской и политической свободы. Но Уваров с горечью должен был признать, что любимый им Александр был лишен «русской душевной струны» (fibre russe) [1, оп. 1, ед. хр. 39, л. 192].

Воцарение Николая I предоставляло Сергею Семеновичу добротные политические перспективы. Он стал лично известен молодому императору еще во времена своей проигранной борьбы с «мистической партией» – приближенными прежнего министра народного просвещения А.Н. Голицына, – и пользовался его сочувствием и поддержкой. Как президент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук вошел в состав созданного в июне 1826 года Комитета устройства учебных заведений под председательством министра народного просвещения А.С. Шишкова, успешно принял участие в замене только что принятого «чугунного» цензурного устава другим, более мягким и удобоприменимым. Уваров был уверен, что будет востребован и в изменившихся политических обстоятельствах. Но энтузиазма при этом у него не было. На большинстве заседаний Комитета с 1826 по 1832 год Уваров отсутствовал [см.: 8, 9]. Он предпочел пока остаться на вторых ролях в делах ведомства народного просвещения, поскольку испытывал чувство необходимости глубокого изменения внутренней политики России в целом. Эта проблема вызвала у него настоящий научный интерес, довлевший теперь над прочими.

Глубиной образования он давно превосходил окружавшую его придворно-правительственную среду. В свое время, не удовлетворившись домашним обучением под руководством французского аббата-эмигранта, он несколько лет упорно занимался самообразованием в области классических языков под руководством академика Ф.Б. Грефе. Впоследствии он приобрел многочисленные связи в немецких и французских ученолитературных кругах, в том числе знакомство с И.-В. Гете, Г. Штейном, братьями Шлегелями, Ж. де Сталь, трудами по классической филологии заслужил европейскую научную

известность, сделался почетным членом многих научных обществ Европы, в том числе за «Опыт об элевсинских таинствах» – Института Франции. Петербургскую Академию наук он возглавлял с 1818 года. Но с середины 1820 годов Уваров внезапно открыл для себя совершенно новую сферу изучения. Весь первый период царствования императора Николая I, то есть по начало 1830-х годов, Сергей Семенович провел за самым малым исключением в многомесячных путешествиях по России в познавательных целях, научных и политических, которые, впоследствии, оценивал как исключительно важные для своей дальнейшей жизни и карьеры.

Прикладными исследованиями президента Академии Наук довольно быстро заинтересовался и молодой император. Внушительный служебный опыт Уварова по части внутреннего управления не ограничивался ведомством народного просвещения. После ухода с поста попечителя столичного учебного округа Уваров некоторое время возглавлял Департамент мануфактур и внутренней торговли Министерства финансов, управлял Коммерческим и Заемным государственными банками, с 1826 года был сенатором. Первое письмо, посланное Николаю Павловичу через генерала А.Х. Бенкендорфа, было прочитано с интересом, принято с благосклонностью и разрешением писать еще.

Особое беспокойство Уварова вызывал возможный рецидив правительственного либерализма. Политические события 1820-х годов весьма настораживали. За окончательным падением Бурбонов во Франции последовала ожесточенная и кровопролитная война с польскими инсургентами. Выходило так, что прав был Н.М. Карамзин, некогда предупреждавший Александра I, хотевшего еще восстановить Польшу не более не менее как в границах 1772 года: «...сыновья наши обагрят своею кровью землю Польскую и снова возьмут штурмом Прагу!.. никогда Поляки не будут нам ни искренними братьями, ни верными союзниками... когда же усилите их, они захотят независимости, и первым опытом ее будет отпадение от России, конечно, не в Ваше царствование...» [10, с. 7]. Уваров, судя по всему, слабо представлял себе состав, характер и масштабы деятельности Комитета 6 декабря 1826 года, но отчетливо зафиксировал резкое усиление политического влияния былого конфидента либеральных мечтаний Александра I и почувствовал на себе его интригу. Председателю Комитета графу В.П. Кочубею, приходившемуся Уварову свояком, стал известен его постоянный контакт с императором. Журнал заседания Комитета 6 декабря от 27 марта 1829 года отмечает, что император передал для рассмотрения записку сенатора Уварова с приложениями [11, с. 385]. Но ничего по существу содержания записки Уварова в документах Комитета нет. Кочубей и его единомышленники старались не допустить усиления его роли в правительстве, поскольку отмечали растущий консерватизм его общественно-политических воззрений. Приступая к сочинению серии записок, предназначенных к передаче Николаю Павловичу через шефа жандармов, Уваров ясно выразил свои чаяния. «Будем надеяться, – писал он Бенкендорфу, – что высокая мудрость Монарха просвещенного, справедливого и патриотичного облегчит его стране путь развития в форме, наиболее соответствующей ее природе. Будем надеяться, что люди, призванные ему помочь, поймут, наконец, положение Государства, которое своей политической формой, своей организацией, своим положением опровергает все теории, и для которого неприменимо почти ничего из того, что делается или задумывается в Европе» [1, оп. 1, ед. хр. 45, л. 25].

Среди дошедших до нас рукописей Сергея Семеновича этих записок можно различить около десяти. Темы их говорят за себя сами: «Общий план», «О внутреннем управлении большинства губерний центральной России», «О Малороссии», «О ярмарке в Нижнем в 1829 году», «О судебной системе», «О смертной казни», «О применении системы финансов к внутреннему положению», «Об удержании капиталов в России». Кульминационной была записка «О крепостном праве в России», написанная зимой 1830/1831 года. Более точной датировке она не поддается.

Особую роль ей отводил сам Уваров. Он стремился не допустить того, чтобы проблема крепостного права – знаковая, как сказали бы сегодня, для внутренней политики России – была вновь поставлена правительством так, как это уже было более четверти века назад. С этой целью он прямо известил Кочубея, что написал для императора записку о крепостном праве в России, и предложил ему перед тем, как ее послать, обсудить ее в собрании, составленном по усмотрению самого графа.

Официальные заседания Комитета 6 декабря с июля 1830 по самый конец 1831 года не проводились. Собрание, где была заслушана записка о крепостном праве, могло носить лишь неформальный характер.

По словам Уварова, слушатели отреагировали на его выступление достаточно тривиально. В принципе, на иную реакцию он и не рассчитывал. Перед ним сидели те, кто отвлеченными «теориями» упорно продолжал подменять «практические знания», «захотел сделать Россию английскую, Россию французскую, Россию немецкую и не видел, что в тот момент, когда Россия перестанет быть русской, она перестанет существовать вообще, по крайней мере, в настоящей политической форме» [1, л. 5].

Перчатка либеральной «камарилье» была брошена. Результаты Сергея Семеновича вполне удовлетворили. Точных сведений о том, каково было впечатление императора от этой записки, он не получил, но убедился, что вопрос о крепостном праве в том виде, в каком представлялся ему опасным, был снят с политической повестки дня и больше таким образом не возобновлялся.

Итак, президент Академии наук совершил уверенный шаг по тому пути, который вскоре привел его на пост главы ведомства народного просвещения, занятый им на более чем шестнадцать лет. Предложение Уварова взглянуть на развитие отечественного просвещения, науки и школы как на стратегическую подготовку отмены крепостного права императором Николаем I было фактически поддержано.

Эрудированный в области русской историографии читатель заметит, что рассуждения Уварова о происхождении крепостного права во многом предваряют характерные для второй половины XIX столетия споры об «указном» или «безуказном» характере его складывания, так же, как и трактовку феодализма в духе господствовавшей норманнской теории как привнесенного извне германского начала.

Заглавие данной записки – «De la servitude personnelle en Russie» – переводили на русский язык как «О личном рабстве в России» [см., напр.: 12, 13]. Более точным представляется перевод – «О крепостном праве в России», поскольку «личный сервитут» французского правосознания, на мой взгляд, не может иметь в русском праве другого наиболее близкого аналога, чем «крепостное право», и поскольку сам Уваров, передавая слово «рабство», предпочел написать «esclavage». При этом «рабству» («l'esclavage») «крепостное право» («la servitude de la glèbe») он и противопоставил.

Впервые этот документ был опубликован на страницах «Русского сборника» [см. 14, с. 157–193]. К сожалению, из-за технической ошибки в текст французского оригинала при воспроизведении вкралось досадное искажение. Вторая его публикация содержит только русский перевод [15, с. 25–44]. Поэтому уместно представить его читателю еще раз.

Записка «О крепостном праве в России» печатается по писарской копии [1, оп. 1, ед. хр. 106, л. 2–25 об.], сверенной с черновиком [1, ед. хр. 45, л. 56–80]. В приложении к тексту сохранилось в виде автографа письмо С.С. Уварову неизвестного лица [1, ед. хр. 106, л. 1], которое печатается здесь же. Авторские подчеркивания выделены курсивом. В публикации сохранены стиль и особенности написания подлинников. Перевод с французского языка осуществлен публикатором.

I
Текст
De la servitude personnelle en Russie

L'abolition de la servitude personnelle en Russie a été depuis trent ans l'objet de vives discussions et le but manifest ou caché d'une longue série de mesures de tout genre. Ceux qui l'ont attaquée et ceux qui l'ont defendre n'ont jamais clairement posé la question ni articulé sans détour leurs opinions respectives. Dans la langage des *partisans de l'abolition* comme dans celui de leurs adversaires règnent de perpétuelles réticences, ni les uns, ni les autres ne se sont hasardés à dire leur pensée sans subterfuges. Essayons de dissiper ces nuages et de ramener la controverse dans ses véritables limites et à sa plus juste expression.

La servitude personnelle ne se retrouve pas dans nos institutions anciennes. Nos aïeux gouvernés par un système féodal, conçu dans l'ésprit des lois gérmaniques, demeurèrent dans les bornes de ce système avec toutes ses chances de succès et de défaveur, de bonne et mauvaise fortune politique jusqu'au moment ou l'invasion Tatare fit main basse sur tout ce qui existait en Russie en dénaturant l'ésprit et les habitudes morales du peuple beaucoup plus encore que ses instititions. Cette avalanche qui écrasa la Russie, mit à nu tout sa organisation intérieure. Lorsqu'elle sortit de cet amas de décombres, elle sortit mutilée, abattue, dégradée, avec une tendance naturelle vers le pouvoir absolu et prête à tout sacrifier pour reprendre un degré quelconque d'indépendance politique.

Lorsque le povoir se fut concentré entre les mains d'une seul, tout changea de face; les anciens élémens de l'orde furent remplacés par des élémens nouveaux. Ce qu'il y avait encore de féodal et de libre dans les moeurs disparut sans retour. Le poivoir supême, retrempé par la nécessité des temps, prit pour premières victimes les états républicains dont l'origine se perdait dans le berceau de notre histoire. Dès lors commence la nouvelle Russie; l'ancienne avait disparu sans laisser de vestiges. La domination de Tatars représente un cataclisme au milieu de notre développement politique; ce serait en vain que l'on voudrait chercher des antécédens dans l'histoire de nos institutions. La France des Carlovingiens est moins étrangère à la France actuelle que ne l'est à l'empire russe l'époque où Novgorod et Kief se partageaient la domination des pays depuis la Baltique jusqu'à la Mer Noir.

On a recherché avec soin, mais sans succès la date précise de l'introduction du servage de la glèbe en Russie. S'il s'agissait de l'appuyer, en produisant un titre authentique, le servage de la glèbe manquerait de base judiciaire. Il est évident qu'elle ne se trouve ni dans l'oukase du Tzar Fedor Ivanovitsch, ni dans les oukases mutilés ou apocryphes de Boris Godounof et de Schouisky; c'est une pure spéculation d'Antiquaire. Sous le rapport politique la recherche est oiseuse. La servitude de la glèbe est sortie du nouvel ordre de choses comme une de ses consèquences naturelles. C'est un gland qui a produit un chêne; la main qui la sema est inconnue. Le fait excepté, le reste est objet de pure curiosité. Le système nouveau à travers tous nos malheurs politiques, la domination des étrangers, les usurpateurs, l'anarchie, à travers des torrens de sang, commenca à prendre une forme régulière lorsque les Romanof se virent appelé au trône; ce fut Pierre I[r] qui y mit la dernièr main. C'est aussi de son règne que date la reconnaissance juridique nette et précise de la servitude de la glèbe; fait capital qu'il ne faut pas perdre de vue.

Mais ni le pouvoir absolu, ni la servitude personnelle tels que Pierre I[r] les avait conçus et consolidés, comme corollaire l'un de l'autre, ne purent résister à l'influence du temps et à la marche de la civilisation. Ces deux formes politiques restèrent en apparence les mêmes; mais l'esprit qui les animait changea. Nous ne nous étendrons pas sur des faits, connus de quiconque est familiarisé avec la situation de la Russie. La puissance vigoureuse qui la régit est aussi éloignée du pur despotisme que la servitude de la glèbe, telle qu'elle subsiste actuellement, est éloignée de l'ésclavage. Issus de la même origine, ces deux élémens se sont modifiés ensemble

et si le nouvel ordre de choses résultant de cette modification simultanée des élémens sociaux n'est pas consacré par un acte écrit quelconque, il est évidemment consacré par l'utilité générale, par les progrès des lumières et de la raison, par un siècle de prépondérance politique; c'est un état des choses vivant et animé en marche vers une situation meilleure, un état de choses progressif que peu de Russes comprennent, que les étrangers ignorent absolument et contre lequel se brisa en 1812 la puissance colossale de Napoléon.

Rien de plus simple qu'à une époque où les hommes et les choses ne sont plus d'accord on éprouve une certaine impatience, un certain dégoût à la vue des formes politiques qui appartiennent à l'âge précédent. Quand on sait que telle forme ne représente plus son idée primitive, on voudrait s'en débarrasser comme d'un obstacle à des progrès ultérieurs, quand d'ailleur ces formes sont réprouvées par l'opinion européenne, quand leur existence paraît un anacronisme au milieu de notre temps, il faut plus de courage pour ne pas se laisser entraîner au desir de les voir promptement abolies. De l'autre côté ceux qui, alarmés du peu de prévoyance que l'on a toujours apportée à ces tentatives, ont exprimé leurs craintes à cet égard, ont passé pour des *absolutistes* ou des *retardataires*; et comme à ces appréhensions confuses s'unissaient des interérêts matériels, la discussion a toujours pris un air de personnalité qui a enlevé aux uns et aux autres la facilité de poser nettement la question et de se servir des argumens naturels que présentent les côté opposés.

La servitude de la glèbe, quelle qu'ait été origine, est un fait incontestable. Quand l'aristocratie eut perdu ses formes organiques, quand le clergé ne fut plus corps de l'état, il fallut donner une base à l'immense pyramide élevée sur leurs débris; cette base fut l'adscription des serfs à la glèbe. Si l'on n'avait pas renforcé le privilège de la propriété territorial, on aurait eu en Russie un despotisme à la turque ou plutôt la Russie, livrée au conflit des passions et des intérêts déchaînés, se serait vue assujettie par les puissances étrangères ou morcelée en vingt état différens. Du milieu de nos désastres politiques surgit un grand principe, le voeu unanime de l'unité du pouvoir, produit naturel de nos longues infortunes et de notre triste abaissement. Tout fut porté en sacrifice à ce principe, comme aux temps critiques de la république romaine où le salut de l'état était proclamé la suprême loi; et en effet le salut de la Russie se trouva alors dans la concentration énergique du pouvoir souverain. Au sortir de l'invasion des Tatars elle retomba dans la guerre civil, l'usurpation étrengère, l'anarchie; nouvelle leçon qui ne fut pas perdue et qui corrobora la première. A ces deux époques le pouvoir absolu, espèce de dictature national, pouvait seul nous sauver du naufrage. Michel Pomanof, librement élu par ses pairs; fut appelé au trône, non pour fonder une république, mais pour nous empêcher de périr sous le poids de nos malheurs accumulés.

Un immense génie, quelques règnes éclatans, un enchaînement successif de progrés politiques, la civilisation du 18^{me} siècle, enfin la révolution française, ont passé sur cette énorme machine de gouvernement sans user ses ressorts. Tous les élémens du corps de l'état se sont tour à tour modifiés; tel principe indispensable, il y a cent ans, n'existe plus que de nom; telle institution, crée aux temps de nos crises, est tombée en désuétude; tel instinct, qui faisait jadis mouvoir la masse de l'état, n'agit plus que faiblement. Plus d'une croyance s'est éteinte, plus d'une opinion s'est altérée. Nous avons subi et nous subussons encore tout ce que nous réservait la marche puissant du temps et des idées. Ce qui semblait les bases de l'état a éprouvé des changemens comme tout le reste et de cette transmutation, pour ainsi dire, insensible, est sorti un nouvel et dernier état de choses qui n'a pas de garanties matérielles, qui n'est écrit nulle part, mais qui existe dans un développement progressif dont nous sommes chaque jour les témoins.

Sans dout ce développement que personne ne voudrait nier, a quelque chose d'incohérent, de vague, de capricieux. Par son origine et sa nature il tien du chaos et ce serait chose absurde que de chercher une voix assez puissante pour dissiper d'un mot ces élémens confus et ordonner que la lumière se fasse. Ceux qui l'ont tenté, ont tenté l'impossible. Il est également évident que la société suit chez nous une marche dont le mobil n'est pas entre les mains des hommes

du pouvoir. On peut même dans le dernier période de notre histoire signaler visiblement deux tendances distinctes et souvent opposées; l'une imprimé par la force des choses et s'avançant à travers tous les obstacles, l'autre donnée par le Gouvernement, souvent en contradiction et toujour faible devent la première; l'une organique, vitale, l'autre artificielle et quelquefois puérile; la première entraînant à sa suit les hommes et les choses; l'autre se laissant traîner à la remorque par les événemens. Aux époques de crise nous avons vu la seconde disparaître et la première se manifester avec énergie et sauver l'Etat. La Russie, paraissant mue par une loi supérieure, a toujours marché vers un plus grand développement de ses forces naturelles. Avec des hommes de génie à la tête de ses conseils ou bien livrée aux incapacités morales et intellectuelles, triomphante ou battue, rançonnant ses ennemis ou aux abois dans sa détresse financière, un pied sur l'Euphrate et l'autre sur la Vistule, la Russie s'est constamment avancée d'un pas ferme et égal vers la haute situation qu'elle occupe aujourd'hui en Europe. Si quelque chose pouvait fair croire au fatalisme politique ce serait notre histoire depuis un demi-siècle. Que d'espérances évanouies, que d'occasions perdues, que d'hommes qui ont manqué aux choses, combien d'autres au lieu de servir à leur progrès y ont mis obstacle et pourtant en dernière analyse quels résultats!

De cette position singulière, de ce désaccord manifeste a résulté et a dû résulter nécessairement une grand fluctuation dans tout ce qui tenait aux principes et à l'ésprit du gouvernement. Au lieu de considérer les choses dans leur ensenble, on s'est rué tantôt sur une idée, tantôt sur une autre. Sans tenir compte de l'origine du gouvernement, on a dit: «Point de servitude personnelle, elle n'existe ni en Angleterre, ni en France, elle doit cesser d'exister en Russie.» Plusieurs fois on mit sur la tapis l'abolution immédiate de la servitude, mais des hommes sages alors dans les affaires et dont le témoignage pourrait être encore invoqué aujourd'hui, firent sentir les inconvéniens d'une mesure à laquelle on n'était nullement préparé. On se borna donc à la petite guerre et l'on se mit à fair de la démocratie sous mille formes différentes, de la démocratie mesquine, équivoque, qui avait plutôt l'air d'une récrimination rancunière que l'apparence d'une noble voeu pour une cause qui ne manque pas d'approbateurs en Europe. On se prit à humilier la noblesse, à verser le ridicule sur les illustrations aristocratiques, à intriguer contre de vieux préjugés, tout en gardant ses propres préventions; à répéter des axiomes rebattus que personne ne combat, et quand les orages politiques vinrent à fondre sur le pays, on s'aperçut que l'esprit du peuple n'avait rien gagné à ces escarmouches libérales, que les appuis de l'Etat étaient là où la force des choses les avait placés et qu'il fallait en définitive s'adresser à ses élémens naturels pour obtener d'eux le salut du pays ou plutôt s'abandonner en quelque façon au déployement instinctif de ces élémens dont on avait méconnu la force et blessé le caractère.

Il faut le dire nettement: *la servitude personnelle ne peut être, en principe, défendue par aucun argument raisonnable ou sincère;* il est superflu d'accumuler contre elle des anathèmes que personne ne conteste et des sarcasmes depuis longtemps épuisés. A cette vérité evidente se rattache un principe non moins positif: *la servitude personnelle peut et doit être abolie.* Ces axiomes sont liés entre eux et nul hommes pensant, quelle que soit sa position individuelle, ne voudra les révoquer en dout; mais ce n'est pas là où la question est placée. Aussi longtemps qu'on reste dans les idées spéculatives et théoriques, tout est facile, tout est claire, tout s'enchaîne sans obstacle, surtout lorsqu'on a soin de rendre ces théories tellement vagues, qu'on fait abstraction de tout idée collatérale; mais il n'en est pas de même sur le terrain de la pratique. Lorsqu'il s'agit de retrancher d'un corps sain et vivant un membre jusque là lié à son existence et développé avec elle, on est en droit de s'enquérir de ce que deviendront les autres sous le scalpel des anotomistes politiques? La servitude de la glèbe a crû et s'est fortifié avec la forme du gouvernement tel qu'il existe en Russie. La question qui se présente la première à l'esprit, a pour objet de s'assurer si ce principe bon ou mauvais une fois retranché, les autres, contemporains et analogues, pourront survivre à l'oppération et rester tels qu'ils sont maintenant? Si l'on admet

que la servitude de la glèbe ne soutient pas l'examen en théorie, il faudra bien accorder aussi que les argumens contre un pouvoir souverain illmité ne manquent pas dans l'arsenal des idées du jour et de théories en théories, de confession en confession, on se trouvera arrivé bientôt à un changement total dans la forme du gouvernement; heureux si sur cette pente rapide on parvient à éviter le plus grand des fléaux qui menacent la société humaine, fléau devenu, pour ainsi dire, mécanique et usuel de nos jours, une révolution, puisqu'il faut trancher le mot.

Mais sans nous arrêter pour le moment à des suppositions que repoussent sans dout au même degré tous ceux qui agitent de bonne foi chez nous la question de la servitude personnelle soit dans un sens, soit dans un autre, poursuivons l'examien de la question indépendamment de ses consèquences hypothétique et éloignées.

La servitude de la glèbe peut et doit être abolie; ce principe, nous l'avons dit, n'admet en théorie aucune contradiction. Considérons maintenant de quelle manière et sous quelles auspices cette abolition peut avoir lieu:

Ici se présentent plusieurs voies entièrement différentes dont chacune a son but et son caractère particulier, pour les bien saisir, il faut dans toutes les hypithèses se placer assez haut pour pousser les raisonnemens jusqu'au bout.

Le premier mode qui s'offre à l'esprit serait conçu non dans l'intérêt général du pays, mais dans les vues étroites d'un Cabinet ou d'une *Camarilla*. Ce serait une confiscation de la servitude de la glèbe au profit du pouvoir souverain. En enlevant aux classes supérieures de l'état ce dernier appui de leur existence aristocratique, on se promettrait le double résultat de les avoir frappées au nom de la civilisation et des idées libérales et de renforcer en même temps le pouvoir suprême de tous les débris de ces forces politiques éparpillées sur une classe assez nombreuse. A ces avantage matériels se joindrait celui de satisfaire à deux idées actuellement dominantes en Europe, l'amour de la liberté et la haine des privilèges. Un coup d'état de cette nature pourrait avoir lieu à la grande satisfaction de la plupart des cabinets européens et aux applaudissemens réunis des libéraux et des absolutistes du dehors, dont les uns ne verraient dans cet acte qu'une émancipation philantropique, les autres que le triomphe du pouvoir souverain, deux classes d'hommes qui ont des phrases toutes faites à appliquer tour à tour aux événemens les moins identiques. Dans la réalité un coup d'état, frappé dans ce sens, porterait sur une base ruineuse non seuleument pour le pays, mais encore pour le pouvoir qui y domine. Débarrassé de ce qui rest en Russie du principe aristocratique en lui enlevant sa base territorial, le gouvernement se verrait subitement en présence d'un élément nouveau dont il serait difficile de calculer exactement la force et la tendance. Si l'on considère le peu de maturité de la classe du peuple, l'immense espace intellectuel qui la sépare en Russie d'avec les classes supérieures, l'abitude héréditaire de cette sorte de tutelle civile et politique que représente de nos lours la servitude de la glèbe, la série des idées religieuses et morales qui établit une liaison hiérarchique entre le trône et la chaumière, l'organisation intérieure et domestique toute empreinte de féodalité, avec ses avantages comme avec ses défauts, les parties hétérogènes dont se compose l'empire, son étendue prodigieuse, ses resources qui ne sont pas en proportion avec cette étendue, ce mélange bizarre de cultes, de souvenirs, de traditions, d'origines, on se persuadera jusqu'à l'évidence que l'abolition brusque, non préparée, arbitraire de la servitude de la glèbe mettrait le gouvernement aux prises avec des difficultés de tout genre et ne pourrait guères lui promettre une extension de pouvoir quand même elle lui paraîtrait nécessaire ou profitable. L'élément démocratique une fois déchaîné se présenterait dans l'arène sous des formes qu'il est plus aisé de prévoir que de combattre, et ce serait une pitoyable manière de s'aveugler sur les choses que de promettre que cet élément s'arrêterait à la voix qui lui dirait: «Tu n'irai pas plus loin.» Le résultat le plus vraisemblable d'un coup d'état qui abrogerait la servitude personnelle, serait tôt ou tard une réaction démagogique et l'anarchie, les classes superieures pourraient périr sans dout avec les idéees qu'elles représentent, mais à coup sûr le trône serait entraîné avec elles. Il serait d'ailleurs

impossible d'affirmer qu'une réaction démagogique ne trouvât pas dans les rangs de l'aristocratie déchue des meneurs et des chefs. Dans la révolution de France ce fut un Monmorency qui le premier foula aux pieds l'écusson de ses ancêtres. Les plus ardens coryphées furent le Marquis de la Fayette et le Compte de Mirabeau et ce fut des mains du Compt de Barras que Napoléon arracha la couronne de France. Il est oiseux au surplus de chercher d'où se présenteraient les meneurs. Dans la voie des révolutions nul ne s'arrête à volonté; tout est imprévu, tout est nouveau. Le nom de celui qui au 29 Juillet a pris les Tuileries d'assaut, est resté inconnu. Les Ministres de Chsrles X en voulant au mépris de l'ordre juré, imprimer avec violence un mouvement rétrograde aux esprits, ont détruit la monarchie en France; d'autres qui se seraient portés en avant des idées et de la situation morale du pays, auraient produit les même résultats.

Sans s'arrêter davantage sur cette première hypothèse qui blesse les règles du bon sens et qui est manifestement empreinte du caractère d'un *suicide politique,* hypothèse qui dans tous les cas répugnerait autant à l'esprit du gouvernement russe qu'à son intérêt bien entendu, nous passerons à l'exemen d'un système mixte qui, dépouillé de la violence du premier, serait non moins hostile et qui sous des apparences mieux combinées, cacherait dans le fond des vues presque aussi hasardeuses.

Ce système consisterait à miner sourdement et peu à peu les appuis de l'ordre existant et à préparer l'émancipation des serfs comme en haine et à l'insu des classes privilégiées; ce serait substituer l'escamotage à la confiscation et la timidité malveillante à la hardiesse qui affronte le danger. Un tel système pourrait facilement s'établir dans la tête des hommes qui sans embrasser l'ensemble des choses, ne verraient qu'un côté isolé de la question. Ceux qui ne reconnaissent dans l'abolition de la servitude qu'une question d'intérêt personnel entre celui qui possède et celui qui est possédé, qu'une transaction fiscal, qu'un privilège ou un monopole, ceux là peuvent être induits à penser qu'en diminuant par degrés les bornes de ce privilège, en ôtant tous les jours quelque chose de son étendue, en augmentant la mésintelligence des deux côtés, en brouillant les deux parties sous le masque de l'impartialité, en multipliant les embarras réciproques, on pourrait parvenir à réduire à l'absurde des rapports qui se trouveraient paralysés sans que l'on s'en fut aperçu. Aux hommes qui adopteraient de semblables idées, il conviendrait de conseiller qu'ils prissent la peine de remonter à l'origine de la servitude de la glèbe, d'approfondir la liaison qui subsiste entre toutes les parties de l'ordre existant, d'examiner ensuite de sang-froid et sans prévention la situation véritable de la servitude personnelle, telle qu'elle existe actuellement, de porter en ligne de compte d'une part les abus auxquels elle donne lieu, mais aussi de spécifier les charges qu'elle impose à ceux en faveur desquels elle semble établie. Il faudrait fair entendre à ces réformateurs que ce n'est pas l'abolition de la servitude personnelle que redoute la grande majorité des propriétaires russes, mais ses conséquences inattendues; qu'elle s'alarme non de la perte d'un droit dont les inconvéniens lui deviennent plus sencibles de jour en jour, mais du mode d'éxécution d'une mesure qui décidera de tout l'avenir du pays. Il faudrait poser devant eux le dilemme suivant: Ou la servitude personnelle de la glèbe est un pur privilège octroyé à une classe d'hommes particulière, ou celle est une forme politique (bonne ou mauvaise, n'importe) qui tient à la forme générale du gouvernement. Si elle est un privilège octroyé, il faut nécessairement faire comprendre à ceux qui en sont légalement investis qu'il contrarie leurs véritables intérêts, qu'il ne s'accorde pas avec leurs propres idées et qu'il faut concourir à ramener les choses à une situation moins précaire. Si la servitude est une forme politique, il faut qu'elle subisse l'épreuve du temps et que parvenue à son point de décrépitude, elle fasse place à d'autres formes moins disparates et plus rationnelles, mais discutées et déterminées d'avance. Or, dans l'un ou l'autre cas, il serait absurde de penser que l'on pût fasciner les yeux de tout une classe d'hommes au point de les empêcher de reconnaître les intentions cachées du Gouvernement. La sagacité de l'intérêt personnelle est merveilleuse; en Russie surtout, ou la finesse de l'esprit est une qualité générale et presque une arme défensive. La découverte ou même la simple appréhension d'un plan de ce genre ne manquerait pas de produire alors un désaccord pernicieux entre les gouvernans et une grande partie des gouvernés et

de multiplier les embarras de l'administration. Exécuter un plan de réforme aussi étendu sans donner l'alarme de tous les intérêts, à toutes les opinions, est chose impossible; car d'abord les hommes chargés de l'éxécution d'un tel plan, seraient nécessairement pris plus ou moins dans la classe des privilégiés et quoique dans le siècle où nous sommes et que l'on peut à juste titre appeler celui des défections, les transfuges ne manquent jamais, il y aurait peu de sécurité à se confier à des hommes qui en définitive seraient toujours dans le cas de retomber dans d'anciennes habitudes, de caresser de vieilles illusions et d'éprouver une sorte de répugnance à être classés parmi les hommes nouveaux. Ceux-ci, dont on a fait grand usage en Russie, n'ont en réalité qu'une étendue d'action très bornée. Puis, soit qu'il en tient à des prégugés héréditaires ou à la forme et l'esprit du gouvernement, ces hommes nouveaux n'acquièrent de nos jours que peu de poids dans l'estime publique. Quand on a une fois épuisé ce qu'ils peuvent posséder d'habileté mécanique et de souplesse d'esprit, ils deviennent des instrumens de peu de valeur entre les mains du gouvernement. La plupart d'entre eux d'ailleurs sont possédés à la fois d'une ardent soif de titres et de grandeurs et d'une invincible haine contre la classe à laquelle ils tâchent de s'affilier par tous les moyens possibles Cette disposition les trahit aux yeux des uns et les décrédite aux yeux des autres. Temporisant avec toutes les opinion, ou n'en ménageant aucune, ces personnages amphibics obtiennent rarement une confiance prolongée. Ils s'usent promptement dans l'exercice du pouvoir qui de son coté les rejette sans pudeur quand ils gênent, comme des créations inutiles ou manquées.

S'il s'agissait, pour le dire en passant, de réduire dans les bornes de l'obéissance et des lois une noblesse factieuse, compacte, riche et guerrière comme l'était encore la noblesse de France aux temps de Louis XIII, on concevrait sans peine que le gouvernement s'armât à son tour du système d'un Richelieu; mais que l'on jette un coup d'oeuil sur ce que l'on nomme noblesse en Russie, on ne verra qu'un amalgame bizarre des élémens les plus frivoles et les plus disparates, qu'une corporation sans force morale, une corporation à demi ruinée, appauvrie, qui ne vit qu'à l'aide de quelques illusions historiques, de quelques lumières acquises et du droit de propriété seigneuriale, le titre unique que le temps ne lui ait pas ravi. Pourrait-on de bonne foi parler d'aristocratie dans un pays où, depuis près d'un siècle, elle est indistinctement ouverte à tout le monde, où elle confère plus de charges que de droits et où elle a pour seule garantie la supériorité de sa civilisation et l'ignorance des classes inférieures? Il serait déraisonnable au gouvernement de la craindre; il le serait également de la mépriser et de paraître hostile à son égard, tandis qu'il lui est facile de s'en faire à bon marché un auxiliaire et un appui dévoué.

Cette espèce de malveillance vraie ou fausse, de la part du gouvernement pour la noblesse a été, il faut le dire, la source d'une foule de mésentendus et de ressentimens, habilement exploitée par tous ceux qui ont voulu la faire servir à leur vues et qui est certainement l'une des causes secrètes de nos derniers troubles. Ne pas s'attacher à dissiper cette appréhension, ne pas désavouer par ses actes une hostilité aussi contraire aux intérêts réciproques, serait une des plus grandes erreurs dans lesquelles on puisse tomber; ce serait une inexcusable maladresse. On ne saurait trop le répéter, il faut se faire une idée nette des conditions auxquelles telle ou telle forme politique subsiste; on n'improvise pas à volonté le pouvoir dont on est revêtu. Il faut l'accepter avec ses charges et ses bénéfices et ce n'est pas surtout à l'époque où nous vivons qu'aucun homme pensant pourrait conseiller aux hommes du pouvoir de préférer des théories vagues au maintien de ce qui est et des impulsions personnelles aux règles de la prudence et de la modération dictées par la force des choses.

Après avoir signalé dans la question de la servitude deux système erronés, dont l'un s'appuyerait sur une violence imprévoyant, l'autre sur une déception encore moins habile, nous essayerons d'indiquer rapidement les chances qui s'ouvrent en faveur de l'abolition sans que le pouvoir ait recours aux coups d'état, ni à l'hypocrisie, deux moyens de gouvernement aussi faibles de pensée qu'incommodes et dangereux dans leur application.

La premier de ces chances se trouve sans contredit dans les progrès de la civilisation qui d'une part est destinée à inculquer aux Maitres l'impossibilité moral de continuer des relations qui

ne sont plus en harmonie avec leurs sentimens aussi bien qu'avec leurs intérêts, de l'autre à élever les serfs au degré où leur affranchissement deviendra le complément de leur existence et non pas le signal des désordres. Car que l'on ne s'y trompe pas, si la civilisation n'agit pas sur les deux élémens à la fois, elle n'atteindra pas à son but. Il faut que par son influence, le Maitre et l'esclave deviennent des hommes régénérés, l'un digne de donner la liberté et l'autre de la recevoir. Les temps modernes n'offrent presque plus de traces des abus de pouvoir qui ont deshonoré le servage de la glèbe et cette amélioration est en grande partie due aux progrès des idées morales, mais la civilisation appelée à retremper deux classes entièrement distinctes et que des siècles semblent séparer, ne peut procéder que par deux voies différentes: en achevant l'éducation politique des Maitres par des idées et en commençant celle des serf par l'industrie. Chacune de ces classes a sa tendance particulièr et c'est en les faisant concourir au même résultat que les progrés deviendront plus sensibles de jour en jour. L'industrie est une puissance nouvelle, singulièrement adaptée à la situation du paysan russe, surtout lorsqu'il est assujetti à l'*obrok*, le vrai système de fermage qui nous convienne à tous égards. Déjà les progrès de l'industrie et du commerce des serfs ont été considérables. Sans prétendre les diriger de trop près, il est du devoir du gouvernement de les hâter et de les appuyer de tout sa puissance. Il en est de même de tout ce qui a rapport aux affranchissemens volontaires; toute transaction de ce genre entre le propriétaire et le serf doit être facilitée par les lois, tandis que notre législation est encore hérissée de restrictions et de minuties. C'est à la civilisation qu'il appartient d'épurer nos codes sur ce point.

A côté d'elle se présentent, comme puissants auxiliaires de l'affranchissement, un système national d'administration, fondé sur des bases larges et consciencieuses et surtout dépouillé de cet esprit de fiscalité, la lèpre affaiblie mais non détruite, de notre administretion financière; un système judiciaire affermi sur des principes incontestables et qui ramène toutes nos divagations législatives à un ordre d'idées rationnelles. Sans dout il faut attendre de grands résultats de la civilisation, mais la civilisation moderne est une puissance complèxe; elle est la boussole des forces sociales; maix elle ne peut agir si ces forces sont oisives ou stationnaires. Des écoles de paroisse pour le peuple, des universités pour les hautes classes et les classes moyennes, sont choses en soi belles et bonnes; mais tant que les lois civiles ne seront pas strictement éxécutées,tant que le régime du *knout* dominera arbitrairement notre législation pénale, tant que l'industrie et le commerce restreront soumis à des formes fiscales et oppressives, tant qu'un clergé sans lumières et sans dignité sera misérablement salarié par le peuple, la civilisation demeurera sterile et s'épuisera en vains efforts. Les plus éloquents appels aux lumières ne valent pas un acte de justice,un sage règlement d'administration. Peu importe aux peuples que les Académies dissertent sur les propriétés des corps ou sur l'origine des idées; il y a loin de ce luxe de la civilisation à leurs besoins materiels. Avant de les instruire ou plutôt pour les instruire, il faut les rendre heureux et le bonheur des peuples n'est que de la justice.

Ce sont ces vices profonds, radicaux, on dirait presque incurable de notre administration intérieure qui s'opposeront longtemps encore à ce qui le tiers-état puisse s'élever et prospérer entre les deux grandes anomalies qui divisent l'empire. Il est aisé de créer sur le papier ces classes moyennes; mais il est impossible de les faire vivre; ces improvisations de cabinet rappellent ce coursier d'un Paladin de l'Arioste, qui, parfaitement beau, ne pouvait marcher attendu qu'il était mort. Nous avons vu à satiété passer successivement et tomber dans l'oubli ces législations éphémères dont l'existence se borne ordinairement à la feuille de papier sur laquelle on trace leurs compartimens; mais aucune de ces création n'a pris racine et malgré trente ans de subtilités et de discussions, rien ne parait encore sur la surface de la Russie que ces deux immenses pouvoirs qui ont jailli ensemble du sol et dont la chûte ne sera jamais que simultanée.

L'affranchissement des classes inférieures, s'il doit s'opérer sans troubles et se développer graduellement, suppose une chaîne de pouvoirs intermédiaires entre le Souverain et le peuple. En détruisant par degrès l'ancienne organisation qui place entre eux la classe des propriétaires

fonciers, classes d'hommes, moitié Souverains, moitié peuple; moitié Seineurs-féodaux, moitié courtisans du 19 siècle et qui transmet au dessous d'elle l'impulsion qu'elle reçoit d'en haut, il faut avant tout aviser à une autre hiérarchie de pouvoirs. La puissance suprême ne peut pas se trouver seul, face à face, avec une nation d'hommes libres; il n'est pas une seule forme de gouvernement qui puisse admettre un nivellement absolu. Le princip vital du gouvernement actuel et de notre droit politique, incompréhensible si on l'envisage avec les idées toutes faites et phrases adoptées, facil à saisir et à concevoir lorsqu'on l'analyse sans préjugés, se compose de deux élémens et en appelant l'un *démocratique* et l'autre *aristocratique* on est réduit à se servir de deux expressions incomplètes et peu exactes; mais qui retracent l'idée au moins approximativement. Au centre de l'élément aristocratique réside le pouvoir souverain ou plutôt le pouvoir souverain domine les deux élémens à la fois, parce qu'il participe de la nature de l'un et de l'autre. Il détermine par sa force inhérente l'ascendant de la minorité de la classe supérieure sur la majorité de la masse. Inégaux en nombre, plus inégaux encore en civilisation, ces deux élémens sont maintenus en équilibre par le poids que le pouvoir souverain jette dans la balance tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Tel est l'état actuel des choses; mais lorsque le pouvoir aura jeté dans l'un des bassins l'immense poids de la liberté civile, que mettra t-il dans l'autre? Comment maintenir l'équilibre si dès longtemps on ne s'est préparé à cette crise? Ce poids correspondant ne pourra se trouver que dans des corps intermédiaire mûrement et habilement organisés de longue main. Une aristocratie constituée avec régularité, une magistrature indépendant et inamovible, un clergé auquel on ne fera pas l'aumône, mais qui sera empêché de fuire la loi, une grande masse d'idées en circulation, une administration intérieure calculée sur un plan national, une industrie fortement développée, un commerce libre et étendu, tous ces élémens applés par degrés à l'existence s'uniraient pour ne plus former alors qu'une chaîne de pouvoirs intellectuels et politiques destinés à faire parvenir du trône jusqu'aux dernières classes les bienfaits d'une sage et paisible liberté. Quand les droits de tous et de chacun seront clairement établis, quand du respect des personnes on passera au respect des propriétés, quand un système municipal, adopté à la situation du pays, aura étendu à toutes les localités les avantages d'une administration vigilante, quand les classes de l'état, régulièrement définies, trouveront leur bien-être possible chacune dans sa position respective et toutes dans leur accord mutuel, quand la Russie sera couverte de villes florissantes, de champs bien cultivés, de manufactures en plein rapport, quand des débouchés auront été ouverts de toutes parts à l'exportation de ses produits, le grand problème de son existence politique aura été résolu et une nouvelle forme de gouvernement, progressivement née de nos anciennes institution, signalera une nouvelle ère de son histoire. La transition brusque et inopportune d'une situation politique à l'autre, aura été adoucie par les ménagemens que commande le bien public, sans que des révolutions funestes aient présidé à cette régénération laborieuse qui, loin de briser avec violence l'ordre subsistant, aura fait naître de son sein même un autre ordre de choses plus analogue aux besoins du siècle et qui, comme toutes les formes politiques, devra disparaître à son tour devant des combinaisons nouvelles.

Résumons-nous: la question de l'affranchissement des serfs en Russie n'est pas une question isolée;[1] c'est un fragement de la question vitale, un épisode de notre grand drame historique. L'obstiner à la considérer comme une simple mesure d'administration, comme un fait unique et sans dépendance, est le propre des esprits étroits et prévenus; ajoutons le trait distinctif de ceux qui, sans s'en douter peut-être, provoqueraient d'incalculables maux et des désastres sans fin. Arracher au pouvoir suprême l'affranchissement des serfs par un acte de bon plaisir serait un coup d'état déraisonnable et qui appellerait les désordres les plus sérieux. Travailler sous main

[1] La servitude de glèbe fait non seulement partie intégrante du droit politique, tel qu'il subsiste en Russie, mais elle forme aussi un tout compact et fortement lié; il résulte de là que lorsqu'on a voulu traiter de l'une de ses branches séparément, comme, par exemple, de l'état des *serfs de la maison* (дворовые люди) on a agi au hasard et les mesures proposées n'avaient ni caractère, ni but déterminé d'utilité publique. C'est de l'ensemble qu'il faut envisager les détails et non pas aborder les détails avant d'avoir établi un système qui les embrasse tous. – *Примеч. С.С. Уварова*.

à cet affranchissement, s'envelopper de mystères pour y parvenir par une voie détournée, serait un acte superflu d'hypocrisie qui coprometttrait le pouvoir sans atteindre à son but; mais hâter par tous les moyens que la Providence met à la disposition des hommes, l'instant solennel où cet affranchissement ne sera plus que le chaînon indispensable d'un ordre de choses médité et prévu d'avance, travailler à la liberté des serfs en les éclairant et en les habituant par degré à leur vocation nouvelle; établir l'affranchissement des serfs sur le concours de toutes les classes et sur une plus grande étendue du bien-être général et particulier, éviter tout ce qui aurait l'apparence d'une mesure arbitraire ou d'un symptôme de troubles et d'agitation, agir sur des principes fixes et à découvert, beaucoup attendre du temps et ne pas devancer la marche naturelle des choses; en assurant peu à peu l'existence civile et politique des serfs, assurer en même temps celle des autres classes et constituer progressivement l'ensemble des institution de l'état, tels sont sans nul doute les voeux sincères de tous les hommes monarchique attachés à leur Souverain et à leur pays. Un tel plan ne peut manquer d'obtenir leur coopération la plus franche et la plus constante. Ce qui n'était qu'une source de craintes et de mal-entendus réciproques, deviendrait un objet de sollicitude et de reconnaissance mutuelles. Sans dout l'accomplissement d'un tel système embrasserait un long espace de temps; mais que sont au prix de semblables résultats deux ou trois générations dans la vie des empires? Avec une aristocratie héréditaire, recomposée sur les principes véritables d'une pairie national, avec un clergé éclairé, indépendant et moral, des lois sages et des juges intégres, avec une civilisation répandue dans tous les rangs de la société et une prospérité industrielle et commerciale solidement affermie on n'aura pas à redouter ces commotions qui bouleversent les états et que l'ami de Fox et de Canning, le chef vétéran de l'opposition parlementaire dans le pays le plus libre de l'Europe, actuellement à la tête de son cabinet[1] signalait dernièrement comme «le plus grand des malheurs alors même qu'elles sont le plus nécessaires.»

Si donc un système habile, équitable et généreux à la fois devait servir de point de départ dans la question qui nous occupe, les serfs se seront depuis longtemps affranchis en silence avant qu'un acte légiaslatif, émané de la suprême, ait constaté leur affranchissement. La vraie liberté, la liberté qui n'est pas teinte de sang, la liberté, amie de l'ordre et de la paix est le fruit combiné de la culture intellectuelle d'une peuple, de son éducation politique, de son perfectionnement moral. C'est la robe virile que revêtent les nations arrivées à leur véritable maturité. La declaration de la liberté n'est que le dernier des actes qui doivent concourir de l'émancipation; c'est par là seulement que se complète et s'annonce au dehors la vie morale des Etats. Malheur aux nations chez lesquelles la promulgation de l'affranchissement précède la jouissance de la liberté!

II
Перевод
О крепостном праве в России

Отмена крепостного права в России была на протяжении тридцати лет предметом живых обсуждений и явной или скрытой целью длинной череды всевозможных мер. Те, кто на него нападали, и те, кто его защищали, ни ставили когда-либо вопрос ясно, ни выговаривали со всей откровенностью свои соответствующие мнения. В речах как *сторонников отмены*, так и их противников царят постоянные недомолвки, ни одни, ни другие не рискнули высказать свою мысль без уловок. Попытаемся же разогнать эти облака и водворим этот спор в его подлинные границы в его самом истинном выражении.

Крепостного права не было в числе наших древних учреждений. Наши предки, управляемые феодальной системой, зародившейся в духе германских законов, оставались в пределах той системы со всеми ее случайностями удачи и немилости, доброй или

[1] Discours de Lord Grey, séance du 3 Nov[embre] 1830. – *Примеч. С.С. Уварова*.

худой политической судьбы до того момента, когда нашествие Татар наложило тяжелую руку на все, что существовало в России, исказив дух и нравственные привычки народа гораздо еще больше, чем его учреждения. Этот обвал, который раздавил Россию, обнажил всю ее внутреннюю организацию. Когда она вышла из той груды обломков, она вышла из нее искалеченной, подавленной, униженной, с естественной склонностью к абсолютной власти и готовая пожертвовать всем, чтобы вновь обрести хоть какую-нибудь степень политической независимости.

Когда власть была сосредоточена в руках одного, все изменилось с лица; элементы древнего порядка уступили место элементам новым. Все, что еще было феодального и свободного в нравах, исчезло безвозвратно. Верховная власть, закаленная нуждами времени, завладела в качестве первых жертв республиканскими государствами, начало которых теряется в колыбели нашей истории. С того времени начинается новая Россия; древняя исчезла, не оставив и следов. Господство Татар представляет собой катаклизм посреди нашего политического развития; тщетно было бы желать искать предыдущей жизни в истории наших учреждений. Франция Каролингов более причастна современной Франции, чем Российской Империи та эпоха, когда Новгород и Киев делили между собой господство над странами от Балтики до Черного моря.

Точную дату введения крепостничества в России разыскивали старательно, но безуспешно. Если бы речь шла о том, чтобы его поддержать, предъявив подлинный документ, крепостничеству не хватало бы юридической базы. Очевидно, что его не было ни в указе царя Федора Ивановича, ни в искаженных или недостоверных указах Бориса Годунова или Шуйского; это чистая спекуляция Антиквария. В политическом отношении поиск бесполезен. Крепостничество вышло из нового порядка вещей как одно из его естественных следствий. Дуб вырос из желудя; рука, что его посеяла, неизвестна. Факт исключителен, остальное – предмет чистого любопытства. Новая система, пройдя через все наши политические беды – господство иностранцев, узурпаторов, анархию, через потоки крови, начала принимать регулярную форму тогда, когда на трон оказались призваны Романовы; последним, кто приложил здесь руку, был Петр I. Именно поэтому с его царствования ведет отсчет крепостничества ясное и четкое юридическое изыскание – основной факт, который не надо терять из виду[1].

Но ни абсолютная власть, ни крепостное право, такие, какими их понял и утвердил Петр I – как неизбежное следствие одного из другого, не могли противиться влиянию времени и ходу цивилизации. Эти две политические формы по виду остались теми же, но дух, который их оживлял, изменился. Не будем распространяться о фактах, известных каждому, кто знаком с положением дел в России. Могучая власть, которая ею правит, столь же далека от чистого деспотизма, как то крепостничество, которое существует в настоящее время, удалено от рабства. Происшедшие из одного источника, эти два элемента вместе видоизменились, и если новый порядок вещей, проистекая из такого одновременного изменения общественных элементов, не освящен каким-либо письменным актом, то он, по всей очевидности, освящен общей пользой, успехами просвещения и разума, веком по-

[1] Очевидно, имеется в виду податная реформа 1718–1725 года, при которой была проведена подушная перепись и упразднен институт холопства. По современным оценкам, податная реформа «стала важнейшей после Уложения 1649 года вехой в развитии крепостного права в России», она «распространила крепостную зависимость на слои населения, которые все еще считались свободными (гулящие люди) либо имели возможность обрести свободу после смерти господина (холопы)», и таким образом «подмела остатки свободного населения» и повлекла образование «разряда государственных крестьян» [16, с. 488; см. также: 17, 18].
Ср. суждения старшего современника Уварова Н.М. Карамзина – авторитетнейшего историка первой трети столетия: «Царь Борис отнял первый у всех крестьян волю переходить с места на место, т.е. укрепил их за господами, – вот начало общего рабства. Сей устав изменялся, ограничивался, имел исключения и долгое время служил поводом к тяжбам, наконец, утвердился во всей силе – и древнее различие между крестьянами и холопами совершенно исчезло» [19, с. 71].

литического преобладания; это состояние вещей, одушевленное движением к положению наилучшему, состояние вещей, движущееся вперед, которое немногие из Русских понимают, абсолютно не ведомое иностранцам, о которое разбилась в 1812 году колоссальная мощь Наполеона.

Само собой разумеется, что в эпоху, когда в людях и вещах больше нет согласия, испытываешь некоторое нетерпение, некое отвращение при виде политических форм, которые принадлежат веку предыдущему. Когда знаешь, что такая форма больше не представляет свою первоначальную идею, хочется от нее избавиться как от препятствия для дальнейших улучшений, когда к тому же эти формы осуждены европейским общественным мнением, когда их существование в наше время кажется анахронизмом, нужно больше, чем одной только храбрости, чтобы не оказаться увлеченным желанием увидеть их немедленно отмененными. С другой стороны, те, кто, встревоженные недостатком прозорливости, который всегда несут в себе такие попытки, выражают в связи с этим страх, слывут *абсолютистами* и о*тсталыми*; и так как эти смутные опасения объединяются с материальными интересами, спор всегда наполняется духом предвзятости, который облегчает одним и другим прямую постановку вопроса и использование аргументов противоположной стороны.

Крепостничество, каково бы ни было его происхождение, есть факт бесспорный. Когда аристократия потеряла свои органические формы[1], когда духовенство не было больше основной частью государства[2], надо было заложить основание под огромную пирамиду, возвышавшуюся на их обломках; таким основанием было приписание крестьян к земле. Если бы не укрепили привилегию территориальной собственности, в России был бы турецкий деспотизм, или, скорее, Россия, отданная конфликту разбушевавшихся страстей и интересов, оказалась бы подчиненной иностранным державам или раздробленной на двадцать различных государств. Из глубины наших политических бедствий возникло великое начало, единодушная воля к единству власти, естественный продукт наших долгих несчастий, нашего печального упадка. Все было принесено в жертву этому началу, как в критические времена римской республики, когда спасение государства было провозглашено высшим законом; и, действительно, спасение России было тогда в энергичном сосредоточении верховной власти. После нашествия Татар она впала в гражданскую войну, иностранную узурпацию, анархию; новый урок, который не пропал и подтвердил первый. В те две эпохи абсолютная власть, нечто вроде национальной диктатуры, единственная могла нас спасти от гибели. Михаил Романов, открыто избранный равными себе, был призван на трон не для того, чтобы основать республику, но чтобы помешать нам погибнуть под тяжестью нагромождения наших бедствий.

Великий гений, несколько блестящих царствований, успешное последовательное развитие политических усовершенствований, цивилизация XVIII века, наконец, Французская революция прошли на этой огромной правительственной машине, не истощив ее сил. Все элементы государственного состава один за другим видоизменились; необходимый принцип уже сто лет существует не более чем только по имени; учреждение, созданное в кризисные времена, вышло из употребления; инстинкт, который некогда двигал массу государства, еле действует. Не только угасло верование, и не просто изменилось мнение. Мы испытали и испытаем еще все, что затаил для нас могучий ход времени и идей. То, что казалось основами государства, испытало перемены, как и все остальное, и из этого, так сказать, незаметного изменения вышло новшество, и последнее положение вещей не

[1] Последствие политики царя Ивана Грозного периода опричнины, закрепленное затем результатами Смутного времени.

[2] Последствие старообрядческого раскола, политических притязаний патриарха Никона, его конфликта с царем Алексеем Михайловичем.

имеет материальных гарантий, никак не описано, но находится в поступательном развитии, свидетелями которого мы ежедневно являемся.

Несомненно, это развитие, которое никто не хотел бы отрицать, имеет в себе нечто бессвязное, смутное и капризное. По своему происхождению и природе оно унаследовано от хаоса, и абсурдно было бы искать достаточно мощный голос, чтобы рассеивать одним словом эти неясные элементы и приказывать, чтобы зажигался свет. Тот, кто это пробует, пытается сделать невозможное. Также очевидно, что у нас общество следует путем, движение по которому не находится в руках людей, стоящих у власти. За последний период нашей истории можно даже зримо очертить два различных и часто противоположных стремления. Одно, вызванное силой вещей и идущее вперед через все препятствия, другое, данное Правительством, часто в противоречии и всегда слабее первого; одно – органическое, жизненное, другое – искусственное и иногда ребяческое; первое, увлекающее за собой людей и вещи, другое, влачимое на буксире событий. В эпохи кризиса мы видели второе исчезающим и первое с энергией проявляющим себя и спасающим Государство. Россия, как будто в силу высшего закона превращаемая, шла всегда к наивысшему развитию своих материальных сил. С людьми гениальными во главе своих советов или же впавшая в нравственную и умственную неспособность, торжествующая или сраженная, взыскующая со своих врагов и изнемогающая от финансовой нужды, одной ногой на Висле, другой – на Евфрате, Россия постоянно шла вперед ровным и твердым шагом к тому высокому положению, которое она занимает сегодня в Европе. Если что могло бы заставить уверовать в политический фатализм, так это наша история за последние полвека. Какие исчезнувшие надежды, потерянные возможности, люди, поступавшие вопреки силе вещей, и столько всего другого, вместо того, чтобы служить ее преуспеянию, здесь ставило препятствия, и однако в конечном рассмотрении – какие итоги!

От такого своеобразного положения, от такой очевидной дисгармонии произошло и должно было неизбежно произойти великое колебание во всем, что связано с принципами и духом правления. Вместо того, чтобы рассматривать вещи в их совокупности, кинулись то к одной идее, то к другой. Не принимая во внимание первопричину правления, сказали: «Никакого крепостного права. Его не существует ни в Англии, ни во Франции, оно должно перестать существовать в России». Множество раз ставили на обсуждение непосредственно отмену крепостничества, но мудрые люди, бывшие тогда при делах, на свидетельство которых можно бы сослаться еще и сегодня, заставили почувствовать неуместность ни чем не подготовленной меры[1]. Таким образом, ограничились малой войной, пустили в ход демократию в тысяче разных форм, демократию жалкую, двусмысленную, которая несла скорее дух злопамятного упрека, чем видимость благородной воли ради дела, которое не лишено одобрения в Европе. Принялись оскорблять дворянство, осыпать насмешками аристократическую славу, интриговать против старых предубеждений, всецело сохраняя свои собственные пристрастия, повторять затверженные аксиомы, с которыми никто не боролся, и, когда над

[1] Подразумеваются первые годы царствования Александра I. Одушевленный верой в социально-политические идеалы, рожденные философией Просвещения, молодой император обсуждал планы реформ, в том числе упразднение крепостного права, с Негласным комитетом (1801–1803), куда входили его единомышленники – так называемые его «молодые друзья» – князь А.-Е. Чарторыйский, граф В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, граф П.А. Строганов. Комитет обсуждал также предложения о преобразованиях в либеральном духе одного из участников переворота 11 марта 1801 года князя П.А. Зубова, бывшего воспитателя царя Ф.-С. Лагарпа, адмирала Н.С. Мордвинова. В стремлении влиять на императора и контролировать государственную политику с «молодыми друзьями» конкурировали так называемые «екатерининские старики» или «старые служивцы» – сенаторы Д.П. Трощинский, Г.Р. Державин и граф П.В. Завадовский, граф Н.П. Румянцев и др. В качестве общего стремления характерно было под свежими впечатлениями от царствования Павла I как-то обеспечить монархию от повторного сползания к тирании [см., напр., 20–23 и др.]. Кого конкретно называет здесь Уваров «мудрыми людьми», сказать трудно.

страной вдруг разразились политические бури[1], заметили, что дух народа ничего не выиграл от этих либеральных перебранок, что опоры Государства были там, куда их поместила сила вещей, и надо было в конце концов обратиться к этим естественным основам, чтобы от них получить спасение страны или, скорее, положиться в какой-то мере на инстинктивное проявление этих элементов, силу которых не признавали, а характер оскорбляли.

Надо сказать прямо: *крепостное право, в принципе, не может быть защищено никаким разумным и искренним аргументом*; излишне собирать против него анафемы, которых никто не оспаривает, и давно исчерпанные сарказмы. К этой очевидной истине присоединяется принцип не менее положительный: *крепостное право может и должно быть отменено*. Эти аксиомы связаны между собой, и ни один мыслящий человек, какова бы ни была его личная позиция, не пожелает их подвергнуть сомнению; но совсем не в этом заключается вопрос. В области идей умозрительных, теоретических пребывают уже долго; все легко, все ясно, все идет одно за другим без препятствий, особенно когда стараются выражать свои теории столь неопределенно, что оставляют без внимания всякую побочную идею; но так не получается на практической почве. Когда речь идет о том, чтобы отнять от здорового и живого тела член, до сих пор связанный с ним своим существованием и вместе с ним развивавшийся, имеешь право осведомиться, чем должны под скальпелем политических анатомов сделаться все другие? Крепостничество выросло и укрепилось с той формой правления, которая существует в России. Вопрос, который первым приходит на ум, состоит в том, чтобы обеспечить себе – хорош ли принцип или плох – прочную уверенность, смогут ли все прочие современники пережить эту операцию и остаться такими же, что и теперь? Если допускаешь, что крепостничество не выдерживает экзамена в теории, тем более надо также согласиться, что аргументов против неограниченной верховной власти хватает в сегодняшнем идейном арсенале; от одной теории к другой, от одного исповедания к другому, и вскоре обнаружишь, что дошел до полной перемены формы правления; счастье, если на этом стремительном спуске удастся избежать величайшего из угрожающих человеческому обществу бедствий, того бедствия, которое в наши дни сделалось, так сказать, автоматическим, обыкновенным, – революции, коли уж это слово надо произнести.

Но не станем останавливаться пока что на предположениях, которые, несомненно, сталкивают на одну и ту же ступень всех тех, кто возбуждает у нас с добрыми намерениями вопрос о крепостном праве то в одном, то в другом смысле. Продолжим рассмотрение вопроса независимо от его гипотетических и отдаленных последствий.

Крепостничество может и должно быть отменено; этот принцип, как мы сказали, не встречает в теории никакого противоречия. Обсудим теперь то, каким образом и под чьим покровительством эта отмена может произойти.

Здесь представляются множество путей, совершенно разных, каждый из которых имеет свою цель и свой особенный характер. Дабы хорошенько их постичь, надо во всех гипотезах поставить себя достаточно высоко, чтобы довести рассуждения до конца.

Первый способ, который приходит на ум, мог бы быть понят как задуманный не в общих интересах страны, но в узких видах одного лишь Кабинета или *Камарильи*[2]. Это была бы конфискация крепостничества в пользу высшей власти. Отбирая у высших классов государства эту последнюю опору их аристократического существования, ожидали бы двойной результат: нанести им удар во имя цивилизации и либеральных идей и усилить одновременно высшую власть всеми осколками политических сил, распыленных в классе, довольно многочисленном. К выгодам материальным присоединились бы выгода удовлетворения двум идеям, господ-

[1] Имеется в виду вовлечение России в наполеоновские войны, драматической кульминацией которых для нее стала Отечественная война 1812 года.

[2] По-видимому, намек на Негласный комитет Александра I.

ствующим в Европе в настоящее время, любви к свободе и ненависти к привилегиям. Государственный переворот такого рода дал бы большое удовлетворение большинству европейских кабинетов и, кроме того, соединенные аплодисменты либералов и абсолютистов, из которых одни увидели бы лишь филантропическое освобождение, а другие – лишь триумф верховной власти. Эти оба класса имеют набор фраз, готовый к применению поочередно к событиям наименее одинаковым. В действительности же государственный переворот потерпел бы поражение в том смысле, что принес бы разрушение основы не только стране, но и той власти, что в ней господствует. Избавленное от того, что остается в России от аристократического принципа, отобрав у него территориальную основу, правительство внезапно оказалось бы перед элементом новым, силу и направленность которого было бы трудно исчислить с точностью. Если принять во внимание малую зрелость простого народа, огромное интеллектуальное пространство, которое отделяет его в России от высших классов, наследственную привычку к того рода гражданской и политической опеке, которую представляет в наши дни крепостничество, ряд религиозных и нравственных идей, который установил иерархическую связь между троном и хижиной, внутреннюю и домашнюю организацию с общим отпечатком феодального строя со всеми их преимуществами и изъянами, если принять во внимание разнородные части, из которых состоит империя, ее необычайные размеры, ее ресурсы, которые этим размерам не пропорциональны, это странное смешение культов, воспоминаний, традиций, происхождений, можно убедиться, что внезапная, неподготовленная, произвольная отмена крепостничества привела бы правительство к столкновению со всевозможными трудностями и едва ли могла бы обещать ему объем власти, который все же показался бы ему необходимым и полезным. Демократический элемент, разом спущенный с цепи, явился бы на арене в формах, которые легче предвидеть, чем побороть; было бы жалким ослеплением обещать, что этот элемент остановится голосом, который ему скажет: «Дальше ты не пойдешь». Самым вероятным результатом государственного переворота, упразднявшего крепостное право, рано или поздно была бы демагогическая реакция и анархия, высшие классы погибли бы вместе с теми идеями, которые они представляют, а трон был бы наверняка обрушен вместе с ними. Впрочем, нельзя утверждать, что демагогическая реакция не нашла бы среди падшей аристократии главарей и вождей. Во Французской революции это был один Монморанси[1], который первым растоптал ногами герб своих предков. Самыми пылкими корифеями были маркиз де ла Файет[2] и граф де Мирабо[3], и именно из рук графа де Барраса[4] Наполеон вырвал корону Франции. Впрочем,

[1] Монморанси (Montmorency) Матье Жан Фелисите де (1767–1826) – французский политический деятель. Граф, затем, герцог. В 1789 году был одним из первых, кто, будучи избран в Генеральные Штаты от дворянства, примкнул к не подчинившимся королевской воле депутатам от третьего сословия и высказался за уничтожение сословных привилегий. В 1792 году бежал в Швейцарию и возвратился после прекращения революционного террора. В 1815 году получил от короля Людовика XVIII достоинство пэра Франции. В 1821–1822 годах министр иностранных дел. Представлял Францию на конгрессе в Вероне.

[2] Лафайет (Lafayette) Мари Жан Поль Рок Ив Жильбер Матье де (1757–1834) – французский политический деятель. Маркиз. Видный участник войны за независимость США. Депутат Генеральных Штатов 1789 года от дворянства, примкнувший к третьему сословию. Автор первого проекта «Декларации прав человека и гражданина». Начальник национальной гвардии после взятия Бастилии. Бежал из страны после падения монархии. Проведя пять лет в австрийской тюрьме, был в 1797 году освобожден и после наполеоновского переворота 18 брюмера вернулся во Францию. Оставался вне политической жизни до 1814 года. Во время Реставрации избирался в Палату депутатов, занимая либеральные позиции. Во время Июльской революции 1830 года возглавил национальную гвардию и содействовал водворению на троне Луи-Филиппа Орлеанского.

[3] Мирабо (Mirabeau) Оноре Габриэль Рикетти де (1749–1791) – французский политический деятель. Граф. Знаменитый оратор. Депутат Генеральных Штатов 1789 года от третьего сословия. Один из лидеров Учредительного, затем Национального собрания. Один из авторов «Декларации прав человека и гражданина» и Конституции 1791 года. Остался сторонником конституционной монархии.

[4] Баррас (Barras) Поль Жан Франсуа Николай де (1755–1829) – французский политический деятель. Граф. Депутат, затем, комиссар Национального Конвента. Голосовал за казнь короля Людовика XVI. Сыграл

бесполезно искать, откуда взялись бы главари. На пути революций никто не останавливается добровольно; все непредвиденно, все ново. Имя того, кто 29 июля взял штурмом Тюильри, осталось неизвестным. Министры Карла X, желая вопреки присяге, данной существовавшему порядку, силой придать умам ретроградное движение, разрушили монархию во Франции[1]; другие, которые вынеслись бы впереди идей и нравственного положения страны, произвели бы те же результаты.

Не станем долее останавливаться на этой первой гипотезе, которая оскорбляет правила здравого смысла и явно носит характер *политического самоубийства,* на гипотезе, которая, во всяком случае, столь же отвратительна духу русского правительства, как и, само собой разумеется, его интересам. Мы перейдем к рассмотрению системы смешанной, которая, будучи лишенной жестокости первой, была бы не более благоприятна, которая, будучи лучше составленной по виду, в глубине таила бы перспективы столь же опасные.

Эта система заключалась бы в скрытом и медленном разрушении основ существующего порядка и подготовке освобождения крепостных как будто с отвращением и без ведома привилегированных классов; это была бы замена конфискации незаметным похищением, недоброжелательная боязливость вместо смелой встречи опасности. Такая система могла бы легко утвердиться в головах людей, которые, не умея охватить всю совокупность вещей, видели бы вопрос с одной изолированной стороны. Те, кто усматривают в отмене крепостничества лишь вопрос личного интереса тех, кто обладает, и тех, кем обладают, лишь фискальную сделку, только привилегию или монополию, таковых можно привести к мысли, что, уменьшив на порядок размер этой привилегии, ежедневно что-нибудь убавляя в ее объеме, увеличивая разногласия обеих сторон, ссоря их под маской беспристрастности, умножая взаимные затруднения, можно было бы довести до абсурда отношения, которые были бы парализованы, и при том незаметно. Людям, которые усвоили бы подобные идеи, следовало бы посоветовать потрудиться взойти к истокам крепостничества, изучить связь между всеми частями существующего порядка, затем хладнокровно и без предубеждения рассмотреть истинное положение крепостного права, такое, какое существует в настоящее время, учесть те злоупотребления, что дали ему место, а также определить то бремя, которое оно налагает на тех, в чью пользу, по-видимому, установлено. Надо дать понять этим реформаторам, что не отмены крепостного права опасается большинство русских собственников, но его неожиданных последствий; что оно тревожится не из-за потери права, неудобства которого ему становятся ощутимее с каждым днем, но из-за способа осуществления меры, которая определит все будущее страны. Надо поставить перед ними следующую дилемму: или крепостное право есть чистая привилегия, дарованная одному классу частных лиц, или это политическая форма (хорошая или плохая – неважно), которая связана с формой правления. Если оно – дарованная привилегия, надо обязательно

видную роль в перевороте 9 термидора. Член, затем фактически глава Директории. Отстранен от власти в результате переворота 18 брюмера. За годы революции приобрел огромное состояние. В годы Первой империи жил под полицейским надзором.

[1] Поводом для Июльской революции 1830 года во Франции послужили четыре ордонанса, изданные королем Карлом X 25 июля. После решительной победы либеральной оппозиции на парламентских выборах, основываясь на спорном толковании одной из статей Конституционной хартии 1814 года, он распустил еще не созванную Палату, назначил новые выборы, изменив при этом избирательный закон, и восстановил цензуру печатных изданий. 29 июля в Париже королевская власть пала. Карл X решил отменить ордонансы и завязать переговоры с мятежниками, но уже было поздно. Главным инициатором ордонансов был глава кабинета и министр иностранных дел князь Жюль Огюст Арман Мари де Полиньяк (1780–1847), ультрароялист и ультрамонтан. Крестный сын казненной королевы Марии-Антуанетты, подвергавшийся тюремному заключению при Наполеоне по подозрению в причастности к покушению Ж. Кадудаля. Получая от Людовика XVIII достоинство пэра Франции, присягнул Конституционной хартии не иначе, как испросив предварительно санкцию римского папы. Русский император Николай I категорически рекомендовал Карлу X строго придерживаться действовавшей конституции, предвидя в противном случае революционную катастрофу [24, с. 36, 141, 146–147, 154–155].

убедить тех, кто ею облечен, что привилегия противоречит их истинным интересам, что она не согласуется с их собственной идеей, что нужно содействовать возвращению к более прочному положению вещей. Если крепостничество есть политическая форма, надо, чтобы она подверглась испытанию временем и, дойдя до точки упадка, уступила место другим формам, более подходящим и разумным, но обсужденным и определенным заранее. Итак, как в одном, так и в другом случае было бы нелепо думать, что можно заворожить глаза целому классу людей с целью помешать узнать скрытые намерения Правительства. Прозорливость личного интереса удивительна, особенно в России, где проницательность ума – качество всеобщее и почти оборонительное оружие. Обнаружение или даже простое опасение какого-либо плана подобного рода не замедлило бы произвести вредный разлад между правителями и большей частью управляемых и умножить затруднения администрации. Осуществить план столь обширной реформы, не растревожив все интересы, все мнения, есть вещь невозможная; ибо сначала люди, занятые осуществлением такого плана, были бы обязательно приняты в привилегированный класс более или менее. Хотя наш век можно поистине именовать веком предательств и нет никогда недостатка в перебежчиках, было бы небезопасно доверяться людям, которые всегда при случае в конце концов будут подпадать под действие своих старых привычек, лелеять старые иллюзии, испытывать нечто в роде отвращения при зачислении в новички. Эти последние, будучи допущены во множестве в России, в действительности имеют очень тесное пространство действия. Потом, не зависимо от того, тяготеют ли там к наследственным предрассудкам или к форме и духу правления, эти новички в наши дни приобретают в обществе лишь малый вес. Когда возможность исчерпана обладанием механической сноровкой и ловкостью ума, они делаются инструментами мало ценными в руках правительства. Впрочем, большинство из них одержимы одновременно жгучей жаждой титулов и почестей и непреодолимой ненавистью к тому классу, к которому они стараются присоединиться всеми возможными способами. Это настроение выдает их в глазах одних и лишает доверия в глазах других. Выжидая посреди всех мнений или не щадя ни одного, эти земноводные персонажи редко добиваются продолжительного доверия. Они быстро изнашиваются на службе у власти, которая, со своей стороны, их бесстыдно бросает, когда они мешают как бесполезные и неудачные создания.

Между прочим, если бы речь шла о приведении в границы повиновения и законов дворянство мятежное, сплоченное, богатое и воинственное, каким еще было дворянство Франции во времена Людовика XIII, без труда понимаешь, что правительство вооружилось бы в свою очередь системой Ришелье; но, когда бросаешь взгляд на то, что называется дворянством в России, видишь лишь странную амальгаму элементов самых пустых и разрозненных, только корпорацию без нравственной силы, корпорацию полуразрушенную, обедневшую, которая живет лишь при помощи нескольких исторических иллюзий, кое-какого усвоенного просвещения и права помещичьей собственности – единственного права, которое у него не похитило время. Можно ли добросовестно говорить об аристократии в стране, где в течение почти столетия она безразлично открыта всему свету, где ей дается больше обязанностей, чем прав и где она имеет в качестве единственной гарантии превосходство своей цивилизации и невежество низших классов?[1] Правительству было бы безрассудно ее бояться; в равной мере ему можно ее презирать или казаться по отношению к ней враждебным, тогда как иметь в ней преданного помощника и опору ему можно легко и дешево.

Это в некотором роде недоброжелательство, истинное или ложное, со стороны правительства по отношению к дворянству было, надо сказать, источником множества недоразумений и злопамятства, ловко используемых всеми теми, кто хотели заставить дворянство

[1] Об относительно слабой консолидированности русского дворянства см. подробнее [25, с. 273–314; 26].

служить их видам, кто, конечно, является одной из тайных причин наших последних смут[1]. Не стремиться рассеять эти впечатления, не стараться развеять своими актами столь противоречащую взаимным интересам враждебность – это было бы одной из самых больших ошибок, в которые можно впасть, непростительной оплошностью. Не слишком умеют этому учиться. Надо создать себе идею, свободную от условий, в которых существует та или иная политическая форма; не импровизируют по желанию ту власть, которой облечены. Ее надо воспринять с обязанностями и преимуществами, и не только в отношении к той эпохе, когда мы живем, тем более что ни один мыслящий человек не мог бы посоветовать людям у власти предпочитать смутные теории поддержке того, кто есть, и личные побуждения правилам благоразумия и умеренности, продиктованным силой вещей.

После того, как мы выделили в вопросе о крепостничестве две ошибочные системы, из которых одна опиралась бы на легкомысленное насилие, а другая – на разочарование, еще более неумелое, попытаемся быстро наметить шансы, которые открываются в пользу отмены. При том, чтобы власть не прибегала бы ни к государственному перевороту, ни к лицемерию – двум способам правления, столь же слабым по замыслу, как неудобным и опасным по их применению.

Первый из этих шансов находится, бесспорно, в успехах цивилизации, которая, с одной стороны, предназначена внушить Господам нравственную невозможность продолжать отношения, которые не находятся больше в гармонии с их чувствами также, как и с их интересами, а с другой – поднять крепостных на такой уровень, где их освобождение сделается дополнением их существования, а не сигналом к беспорядкам. Потому что – пускай здесь не заблуждаются, – если цивилизация не действует на оба элемента сразу, она не достигнет своей цели. Надо, чтобы под ее влиянием Господин и раб становились людьми духовно переродившимися, один – достойным дать свободу, другой – ее принять. Нынешние времена почти не дают больше следов злоупотреблений властью, которая опозорила крепостничество. Это улучшение по большей части обязано успехам нравственных идей. Но цивилизация, призванная закалить два совершенно различных класса, разделяемых, по-видимому, веками, может действовать двумя различными путями: завершая политическое образование Господ посредством идей и начиная образование крепостных через промысел. Каждый из этих классов имеет свое особое стремление, что содействует одному и тому же результату: успехи становятся все ощутимее день ото дня. Промысел есть новая возможность, в высшей степени применимая к положению русского крестьянина, особенно, когда он переведен на *оброк* – подлинную систему арендной платы, что нам подходит во всех отношениях. Успехи промысла и торговли крепостных были уже значительны. Правительство обязано считать долгом ускорить их развитие и поддерживать их всей своей мощью, не намереваясь, при этом, управлять ими слишком вплотную. Отсюда также и все то, что относится к добровольному освобождению; всякое соглашение такого рода между собственником и крепостным должно быть облегчено законом, тогда как наше законодательство все еще усеяно мелочными ограничениями. В этом отношении наши своды законов надлежит очистить именно цивилизации.

С ее стороны являются могучие помощники освобождения: национальная система администрации, поставленная на основы широкие и добросовестные, в особенности, лишенная этого духа погони за увеличением налогов нашего управления финансами – зла уменьшенного, но не уничтоженного; система судебная, утвержденная на бесспорных принципах, которая вернет все наши законодательные бредни к порядку разумных идей. Несомненно, надо достичь великих результатов цивилизации, но современная цивилизация есть мощь совокупная; она является компасом общественных сил, но она не может действовать, если эти силы без-

[1] Мятеж 14 декабря 1825 года Уваров помещает, таким образом в ряд гвардейских заговоров как высших проявлений дворянской фронды.

действуют или остаются неподвижными. Приходские школы для народа, университеты для высших классов и классов средних – вещи сами по себе добрые и прекрасные; но поскольку гражданские законы не будут строго исполняться, поскольку режим *кнута* будет произвольно господствовать в нашем законодательстве, поскольку промышленность и торговля останется подчиненной угнетающим фискальным формам, поскольку духовенство без просвещения и достоинства будет и дальше нанятым за нищенскую плату народа, цивилизация останется бесплодной и истратит силы понапрасну. Самые красноречивые призывы к просвещению не стоят одного акта правосудия, одного мудрого постановления администрации. Народам неважно, что Академии рассуждают о собственности корпораций или о происхождении идей; эта роскошь цивилизации далека от их материальных нужд. Прежде, чем их образовать, или, скорее, чтобы их образовать, надо их сделать счастливыми, а счастье народов только в правосудии.

Это те глубокие, коренные, как говорят, почти неизлечимые пороки нашей внутренней администрации, которые еще долго будут противодействовать тому, что третье сословие сможет подняться и расцвести между обеими великими аномалиями, которые разделяют империю. Легко создать на бумаге эти средние классы, но невозможно заставить их жить; эти кабинетные импровизации напоминают того коня Паладина у Ариосто[1], который, будучи превосходным во всех отношениях, не мог пойти, ожидая, что умрет.

Мы до пресыщения видали то, как успешно шли и впадали в забвение эти эфемерные собрания законов, существование которых обычно ограничивается листком бумаги, на котором намечают их разделы; но ни одно из этих созданий не укоренилось, и, несмотря на тридцать лет ухищрений и споров, на поверхности России показались еще только эти две громадные силы, которые вместе бьют ключом из земли, падение которых будет всегда только одновременным.

Освобождение низших классов, если оно должно осуществиться без волнений и развиваться постепенно, предполагает цепь промежуточных властей между Монархом и народом. Постепенно разрушая древнюю организацию, которая помещала между ними класс земельных собственников, наполовину Государей, наполовину народ, наполовину Сеньоров-феодалов, наполовину придворных XIX века, который передает вниз импульс, получаемый сверху, – надо прежде всего подумать о построении другой иерархии власти. Верховная власть не может находиться одна, лицом к лицу с нацией свободных людей; ни одна форма правления не может допустить абсолютное уравнивание. Жизненный принцип настоящего правления и нашего политического права, непонятный, если имеешь в виду всевозможные готовые идеи и принятые фразы, легко улавливаемый и постигаемый, когда анализируешь его без предубеждений, состоит из двух элементов. И, называя один *демократическим,* а другой – *аристократическим*, пользуешься лишь двумя неполными и весьма неточными выражениями, но передающими идею наиболее определенно. В центре аристократического элемента – верховная власть или, скорее, верховная власть одинаково господствует над обоими элементами, поскольку имеет отношение к природе того и другого. Она определяет присущей ей силой авторитет меньшинства – высшего класса над большинством – массой. Неравные в числе, еще более неравные в уровне цивилизации, эти два элемента удерживаются в равновесии тем грузом, который верховная власть бросает на весы то на одну сторону, то на другую. Таково нынешнее положение вещей; но, когда власть бросит на одну из этих громадных чаш груз гражданской свободы, что же она поставит на другую? Как удержать равновесие, если не подготовиться к этому кризису задолго? Этот соответствующий груз будет найден лишь в промежуточной корпорации, обдуманно и искусно организованной с давних пор. Правильно организованная аристократия, независимые и пожизненные судьи, духовенство, которому не подают милостыню, но которое поме-

[1] Ариосто (Ariosto) Лудовико (1474–1533) – итальянский поэт эпохи Возрождения. Автор поэмы «Неистовый Роланд» (1516).

шает скрыться от закона, великое множество идей в обращении, внутренняя администрация, рассчитанная по национальному плану, сильно развитая промышленность, свободная и широкая торговля – все эти элементы призваны, постепенно объединившись, успешнее оформить основы власти умственной и политической, предназначенной для того, чтобы распространить от трона до низших классов благодеяния мудрой и мирной свободы. Когда права всех и каждого будут ясно установлены, когда от уважения к лицам перейдут к уважению собственности, когда муниципальная система, приспособленная к положению страны, распространит по всем местностям выгоды бдительного управления, когда классы государства, точно определенные, обретут свое возможное благосостояние, каждый в своем соответствующем положении и все в их взаимном согласии, когда Россия будет покрыта цветущими городами, хорошо возделанными полями, высокодоходными мануфактурами, когда рынки отовсюду будут открыты для сбыта их продуктов, тогда великая проблема ее политического существования будет решена, и новая форма правления, успешно родившаяся из наших старых учреждений, возвестит новую эру ее истории. Поспешный и несвоевременный переход от одного политического положения к другому будет смягчен предосторожностями, которые командуют общим благом, чтобы гибельные революции не возглавили это трудное перерождение, которое, будучи далеко от стремления силой сокрушить существующий порядок, родит из своих собственных недр новый порядок вещей, более соответствующий нуждам века, порядок, который, как все политические формы, должен будет исчезнуть в свою очередь перед новыми комбинациями.

Подведем итоги: вопрос об освобождении крепостных в России не есть вопрос отдельный[1]; это фрагмент вопроса жизни, эпизод нашей великой исторической драмы. Упорствовать в оценке его как простой административной меры, как единичного и независимого факта есть свойство ума узкого и предвзятого и, добавим, – характерная черта тех, кто сам, быть может, того не подозревая, вызвал бы бесчисленное зло и бесконечные бедствия. Вырвать у высшей власти освобождение крепостных как единичный акт доброй воли – это был бы безрассудный государственный переворот, который вызвал бы самые серьезные беспорядки. Работать скрытно над освобождением крепостных, окутываться тайной, чтобы бесповоротно его добиться, было бы ненужным актом лицемерия, который скомпрометирует власть, не достигнув своей цели. Но приближать всеми способами, которые Провидение дает в распоряжение людей, торжественный миг этого освобождения – это будут лишь не более, как необходимые звенья в обдуманном и предусмотренном порядке вещей. Работать над свободой крестьян, просвещая и приучая их постепенно к их новому призванию, утвердить освобождение крепостных при поддержке всех классов, при самом широком учете общего и частного блага, избежать всего, что имеет вид меры произвольной или признака смут и волнений, действовать открыто и по принципам, твердо установленным, помногу выжидать время и не опережать естественный ход вещей, обеспечивая мало-помалу гражданское и политическое существование крепостных, одновременно обеспечить таковое же и для других классов, постепенно организовать всю совокупность учреждений государства – таковы, без всякого сомнения, искренние желания всех людей монархических, преданных Государю и своей стране. Такой план не может не стремиться получить их самое свободное и постоянное сотрудничество. Именно те, кто были лишь источником опасений и взаимных недоразумений, станут предметом внимания и обоюдного признания. Несомненно, осуществление такой системы займет длинный период времени, но что такое в жизни империй два или три поколения в качестве платы за подобные результаты?

[1] Крепостничество не только входит неотъемлемой частью в право политическое, такое, какое оно существует в России, но оно также образовывает весьма тесную и сильную связку: отсюда следует, что, когда хотят трактовать одну из его ветвей отдельно, как, например, состояние *дворовых людей*, действуют на авось, и предлагаемые меры не имеют ни характера, ни цели, определенной общественной пользой. Именно в совокупности нужно рассматривать детали и не накидываться на детали, не установив систему, которая объемлет их все. – *Примеч. С.С. Уварова.*

С наследственной аристократией, заново составленной на истинных принципах отцов нации, с духовенством просвещенным, независимым и нравственным, с мудрыми законам и неподкупными судьями, с цивилизацией, распространенной во всех рангах общества, с надежно упроченным промышленным и торговым процветанием не будем опасаться тех волнений, которые потрясают государства, которые друг Фокса[1] и Канинга[2], главный ветеран парламентской оппозиции в самой свободной стране Европы, стоящий сейчас во главе кабинета, недавно означил как «величайшие из несчастий, также как и необходимейшие»[3–4].

Таким образом, если система искусная, справедливая и благородная одновременно должна служить отправной точкой вопроса, который мы рассматриваем, крепостные будут освобождены в тишине уже задолго до того, как законодательный акт, изошедший свыше, констатирует их освобождение. Истинная свобода, свобода, не окрашенная кровью, свобода – друг порядка и мира есть общий плод духовной культуры народа, его политического воспитания, его нравственного совершенствования. Это одеяние мужа, в которое облачаются нации, пришедшие в истинную зрелость. Провозглашение свободы есть только последний из актов, содействующих освобождению; им-то лишь восполняется и объявляет о себе вовне нравственная жизнь Государств. Горе нациям, у которых обнародование закона об освобождении предшествует радости свободы!

III
Приложение
Письмо неизвестного лица С.С. Уварову

Рука Татищева[5–6]

J'ai relu votre travail et dans mon humble opinion, il n'y a pas une considértion de plus a ajouter a celle que vous avez exposé avec tant de clarté, la conclusion est amenée par les consequences qui sont signalées, le tout est profondement pensé et écrit avec l'élégance qui est dans votre nature.

Vous avez établi qu'une action prématurée du gouvernement ameneroit des convulsions perilleuses en dessus. Ceci est incontestable, mais veuillez aussi admettre qu'une inaction trop prolongée n'est pas exempt de dangers. – L'examen selon moi devrait porter non sur la question *s'il faut fair*? mais sur *quoi faire*? Vous devez en conscience completter la service que vous avez déja rendu, en indiquant les moyens d'amener l'affranchissement sans exposer l'empire aux perturbations qu'on ne pourra pas éviter si le passage de l'état de servilité à la liberté absolue s'effectuoit brusquement. Dès l'année 1812, j'avois soumis une idée qui m'avoit semblée propre à ce but – Je l'ai presenté sous une autre forme l'anné 26. Elle a paru ne pas vous deplaire, discutons la entre nous, et si vous l'adoptez, reproduisez la; votre plûme magique rendroit une service éminant à notre patrie.

[1] Фокс (Fox) Чарльз Джеймс (1749–1806) – английский политический деятель. Член Палаты общин (1768). Занимал посты младшего лорда адмиралтейства (1770), лорда казначейства (1778). Сторонник признания независимости североамериканских колоний. Приветствовал Французскую революцию 1789 года.

[2] Каннинг (Canning) Джордж (1770–1827) – английский государственный деятель. Член Палаты общин (1793), основатель журнала «Анти-якобинец» (1797). Занимал в разное время посты казначея флота, посланника в Португалии, Швейцарии, генерал-губернатора Индии. Министр иностранных дел в 1807–1809 годах и с 1822 года. Премьер-министр в 1827 году.

[3] Речь Лорда Грея, заседание 3 Ноября 1830. – *Примеч. С.С. Уварова.*

[4] Грей (Grey) Чарльз (1764–1845) – английский политический деятель. Граф. Лорд Гоуик. Видный член либеральной партии в Палате общин (1786). Первый лорд адмиралтейства, затем министр иностранных дел (1806). Лидер вигов в Палате лордов (ноябрь 1830).

[5] Помета неизвестной рукой.

[6] Можно предположить, что письмо написал генерал от инфантерии граф Александр Иванович Татищев (1762–1833), военный министр в 1823–1827 годах.

Перевод

Я прочитал ваш труд и, по моему скромному мнению, нет ни единого замечания, которое можно было бы добавить сверх того, что вы изложили с такой ясностью, заключение выведено из следствий, сообщенных заранее, все глубоко обдумано и написано с той элегантностью, которая так свойственна вашей натуре.

Вы установили, что преждевременная акция правительства привела бы к опасным судорогам сверху. Это бесспорно, но извольте также признать, что слишком продолжительное бездействие не свободно от опасности. На рассмотрение, по-моему, должен быть внесен не вопрос «*Надо ли делать?*», но вопрос «*Что делать?*». Вы должны, по совести, дополнить ту услугу, которую вы уже оказали, указав способы достичь освобождения, не подвергая империю потрясениям, которых нельзя было бы избежать, если бы переход от состояния рабства к абсолютной свободе осуществлялся внезапно. С 1812 года я вынашивал одну идею, которая мне показалась подходящей к этой цели. Я предложил ее в другой форме в 26 году. Кажется, она не должна вам не понравиться, обсудим ее между нами, и, если вы ее примете, воспроизведите ее; ваше волшебное перо окажет знатную услугу нашему отечеству.

Литература

1. Отдел письменных источников Государственного Исторического музея (Ф. 17.
2. *Кизеветтер А.А.* Исторические отклики. М., 1912.
3. *Лотман Ю.М.* Сотворение Карамзина. М., 1987.
4. *Соловьев С.М.* Мои записки для детей моих, а если можно, и для других / С.М. Соловьев // Соч. : в 18 кн. М., 1995. Кн. XVIII.
5. *Гакстгаузен А.* Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России. М., 1870. Т. 1.
6. *Ливен Д.* Россия против Наполеона. Борьба за Европу. 1807–1814. М., 2012.
7. *Мироненко С.В.* Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX века. М.,1989.
8. Полное собрание журналов Комитета // Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 737. Оп. 1. Д. 87812–87816.
9. Формулярный список С.С. Уварова // РГИА. Ф. 1349. Оп. 5. Д. 1200. Л. 1 об. – 2.
10. *Карамзин Н.М.* Неизданные сочинения и переписка. СПб., 1862. Т. 1.
11. Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 74 // Журналы Комитета, учрежденного Высочайшим рескриптом 6 декабря 1826 года. СПб., 1891.
12. *Дурдыева Л.М.* С.С. Уваров и теория официальной народности : Дис. … к.и.н. М., 1996.
13. *Петров Ф.А.* Исторические взгляды С.С. Уварова // Труды ГИМ. Вып. 106. М., 1998.
14. *Шевченко М.М.* Записка С.С. Уварова о крепостном праве в России. 1830–1831 // Русский сборник : Исследования по истории России. М. : Модест Колеров, 2006. Т. 2.
15. Памятники российского права : в 35 т. Т. 12. Крестьянская реформа 1861 года в Российской империи. М., 2017.
16. *Павленко Н.И.* Петр Великий. М., 1994.
17. *Анисимов Е.В.* Податная реформа Петра I. Л., 1982.
18. Ключевский В.О. Подушная подать и отмена холопства в России / В.О. Ключевский // Соч. : в 9 т. Т. VIII. Статьи. М., 1990.
19. *Карамзин Н.М.* О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М., 1991.
20. *Сафонов М.М.* Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и XIX вв. Л., 1988.
21. *Вел. кн. Николай Михайлович.* Граф Павел Александрович Строганов (1774–1817). СПб., 1903. Т. 2.
22. *Вел. кн. Николай Михайлович.* Император Александр I. СПб., 1912. Т. 1.
23. *Шильдер Н.К.* Император Александр I. Его жизнь и царствование. СПб., 1897. Т. 1–2.
24. *Татищев С.С.* Император Николай I и иностранные дворы. СПб., 1889.
25. *Рибер А.* Социальная идентификация и политическая воля: русское дворянство от Петра I до 1861 г. // П.А. Зайончковский (1904–1983 гг.) : статьи, публикации, воспоминания о нем. М., 1998.
26. *Ливен Д.* Аристократия в Европе. 1815–1914. СПб., 2000.

Консервативные ценности в современном российском обществе: каковы они и кто их разделяет?

Раздел пятый

Стенограмма первого заседания Консервативного клуба, состоявшегося в Фонде ИСЭПИ 27 марта 2018 года

Модератор Л.В. Поляков

Ведущий: Всем добрый день!

Для начала хотелось бы представить участников нашего Консервативного клуба. Родион Владимирович Михайлов, хозяин и распорядитель нашего клуба, от которого напрямую зависит регулярность работы. Потому что, вы знаете, он также главный редактор альманаха «Тетради по консерватизму». И если мы продолжим эту традицию – будем и в дальнейшем собираться, то со временем возникнет возможность, в зависимости от вашего согласия и от качества материала, который получится, регулярно публиковать на страницах нашего альманаха то, что мы здесь будем говорить. Далее: Михаил Александрович Маслин, всем знакомый, по-моему. Сергей Феликсович Черняховский – пожалуйста, тоже коллега наш. Николай Константинович Гаврюшин, Павел Вячеславович Святенков. По правую сторону: Виктор Владимирович Аксючиц, Модест Алексеевич Колеров, Сергей Вячеславович Перевезенцев. И к нам подходит Любовь Владимировна Ульянова. Пожалуйста, тоже присоединяйтесь. Дальше: Дмитрий Олегович Дробницкий, Борис Вадимович Межуев и Дмитрий Александрович Юрьев.

И я, взявший на себя сегодня роль модератора, Леонид Владимирович Поляков.

У меня предложение такое: у вас у всех есть наша разработка – пять позиций, по которым стоило бы высказаться. Порядок произвольный. Тематика набросана такая, которая может заинтересовать разных людей по разным поводам.

Я бы предложил такой формат нашего разговора. Скажем, первая тема «Консервативные ценности в современном российском обществе: каковы они и кто их разделяет?». Очень большой, конечно, сюжет. Но я бы попросил в качестве разминки – пятиминутка для каждого, чтобы мы могли как-то согласовать свои позиции хотя бы по самому сложному вопросу. Если вы не возражаете, я бы начал с левой стороны. Михаил Александрович, как бы вы за пять минут охарактеризовали консервативные ценности в современном российском обществе, каковы они и кто их разделяет?

М.А. Маслин: Устойчивого и общественно признанного представления о том, что можно считать консервативными ценностями, ввиду партийно-политической разноголосицы в нашей стране не существует. В обществе нет консенсуса по вопросу соотнесения консервативного, либерального, революционного, оппозиционного. Всё это каша, составленная из фрагментов идеологий, взятых на вооружение существующими политическими партиями, которые все вместе и каждая в отдельности не могут предложить обществу какую-то объединяющую всех платформу. Вспоминаются бессмертные слова Василия Васильевича Розанова: «Проблема России не в том, что в ней плохое правительство, – а в том, что в ней вряд ли возможно какое-нибудь правительство вообще». Консолидация элит в России на основе выработки какой-то лучшей политической идеологии, носительницей которой была бы какая-то «лучшая партия» невозможна хотя бы потому, что сама идея партии, представляющей, по выражению Ивана Ильина, «заговор с целью захвата политической власти» в России нереализуема. Доверия к партиям и политическим идеологиям в народе нет. Но народ верит в то, что Россия может существовать только как сильное государство с крепкой справедливой верховной властью, что соответствует народному русскому консерватизму, выработанному столетиями отечественной истории. Это народный консерватизм, составляющий также консенсус элит и являющийся условием

sine qua non существования государства в России. Этот консерватизм определяется как «строгое и справедливое начальство», без которого самое большое государство в мире существовать не может. Поэтому народ доверяет президенту Путину, рейтинг которого превышает 76 процентов.
Россия в силу своей огромности, в силу своей единичности не имеет в мире своей референтной группы, она единственная.
И поэтому консервативные ценности могут быть только российскими консервативными ценностями, поскольку они подходят к России в силу ее единственности и вытекают из ее исторического опыта. Есть одна ценность, которая является общей и в народном сознании, и в сознании элиты: *России нужно строгое и справедливое начальство.* С этим, кстати, связано народное уважение к Сталину и неуважение к современному неэффективному правительству. Поэтому, конечно, консервативные ценности в современном российском обществе должны быть результатом, выводом из нашего отечественного опыта, взятого в его целостности. В этом отношении самые существенные потери, например в сфере образования, явились очевидным обрывом и бессмысленным отказом от предыдущих советских достижений в пользу заимствования периферийных иностранных моделей. Как представляется, ситуация в сфере образования и науки в России XXI столетия оказалась более тяжелой, чем в 1990-х годах, когда вместе с деидеологизацией и ломкой советской системы рождались иллюзии о лучшем будущем. Сегодня этих иллюзий больше нет. Фундаментальная подоснова для отечественного консерватизма должна быть релевантной российскому цивилизационному типу, она не является каким-то наживным или перенятым комплексом идей. Надежду в этом смысле подает возрастание роли и значения в жизни современного российского общества религиозного фактора, играющего важную роль в воссоздании и распространении ключевых цивилизационных ценностей, подвергнутых размыванию в прошедшем XX столетии.
Поэтому вопрос заключается в том, какую систему идей будет представлять государство. И не только представлять, но и защищать, и распространять. Как я понимаю, тот консервативный поворот, который, очевидно, довольно интенсивно осуществлялся на протяжении последних десяти с лишним лет, стал как-то размываться и умаляться... Это видно по медийным событиям, видно по событиям в сфере идей. Поэтому, я думаю, наша задача состоит в том, чтобы этот консервативный поворот и дальше укреплять и защищать. Это моё мнение.

Ведущий: Спасибо, Михаил Александрович! Получилась очень хорошая затравка. Вызов хотя бы в том, согласно Михаилу Александровичу, что у нас есть одна-единственная вечная консервативная ценность – а именно строгое начальство. И мы очень хорошо знаем, что происходит, когда «начальство ушло». А с другой стороны, все-таки Михаил Александрович считает, что в каждой эпохе какие-то свои, другие ценности должны быть. Мне кажется, это очень продуктивная идея. Поэтому я попрошу дальше Егора Станиславовича. Прежде чем вы начнете, напомню: у нас есть распечатка. Мы обсуждаем первую позицию – «Консервативные ценности в современном российском обществе: кто они и кто их разделяет?». Но заодно Михаил Александрович коснулся и третьей позиции – «Консерватизм в партийно-политическом пространстве России». По этому поводу он сказал, что такого вообще нет. Прошу, Егор Станиславович.

Е.С. Холмогоров: Коллеги, я должен прежде всего извиниться и выразить некоторую свою растерянность. Потому что я почему-то был абсолютно убежден в том, что иду на круглый стол, посвященный Бердяеву и его юбилею. Мало того, даже перед этим дня три перечитывал Бердяева. И как я понимаю, мне сейчас придется немножко импровизировать.

Ведущий: Всё кстати, Егор. Всё кстати, и Бердяев тоже.

Е.С. Холмогоров: Но, если говорить о консерватизме в современном обществе, я тогда, пожалуй, оттолкнусь немножко от того,

что услышал перед этим – о строгости начальства и так далее, которая оказывается нашей единственной консервативной ценностью. Мне кажется, что если она действительно таковой оказывается, то прежде всего потому, что, в общем-то, удерживает общество от сумасшествия и в первую очередь, я бы сказал, саморазрыва, от неготовности к тем или иным экстремальным политическим ситуациям. Пока вот сейчас мы здесь сидим, одновременно с этим происходит митинг в Кемерово, и это выглядит как такой, я бы сказал, театр абсурда, где, с одной стороны, чиновники, которые оскорбляют человека, у которого позавчера погибла вся семья. А Тулеев – напомню, бывший лидер шахтёрского протестного движения в начале 1990-х – старческим голосом говорит что-то на тему о том, что это там какие-то двести бузотёров сидят и так далее. Но это одна половина картинки. Та половина, к которой мы более привыкли, наверное, за последнее время, а именно хамство, бесчувственность, разгильдяйство начальства, которое с очень большим трудом говорит о проблемах. А с другой стороны, мы наблюдаем там безумие толпы, людей, которые кричат: «Триста трупов! Нет, ещё больше трупов! Нет, один человек из “скорой помощи” видел!» А когда им говоришь: «Знаешь, нет – человек из “скорой помощи” не мог видеть никаких трупов, потому что их перевозят наши МЧСники». – «Там все сгорели, там вообще некого хоронить». То есть для людей явно какой-то уже вопрос религиозной веры, чтобы этих трупов оказалось как можно больше, чтобы начальство как можно сильнее наврало, и так далее. В конечном счете на данный момент там уже диспут развился на тему международных поджигателей.

Мы наблюдаем точно так же в прямом эфире как безответственность власти, так и безумие толпы. И мы оказываемся в парадоксальном состоянии, когда ты не понимаешь, что если вот эти свинцовые, отвратительные контуры власти будут развенчаны, то это безумие толпы тоже вырвется куда-то наружу и начнет разносить нашу страну, как начинало разносить до этого неоднократно. И ты немножко не понимаешь, что в этой связи сделать.

И здесь, мне кажется, задача консерваторов самая сложная и самая ответственная. Потому что, скажем, для либералов всё достаточно просто – они считают: «Нет, давайте развинтим всё, всегда, любой ценой, а потом как-то постепенно…» – в силу основополагающей догмы либерализма о том, что в конечном счёте рынок и любые стихийные процессы всегда всё уравновесят, промыслят и каким-то образом отладят, – рано или поздно всё придёт в равновесие. То есть кто надо кого надо перебьет, линчуют чиновников, потом правые убьют левых или левые убьют правых, и наоборот. И какой-то новый, что называется социально-рыночный порядок устоит.

Для самой психологии либеральной реформы – это, безусловно, не проблема. Потому что точно таким же методом проводилось реформирование социалистической экономики и так далее.

Но сущность консерватизма, по крайней мере как я его себе представляю, состоит, во-первых, в сохранении определенной идентичности общества, во-вторых – в сохранении определенной суммы положительных социальных изменений, которые происходят в процессе истории. Если вы читаете, коллеги, мои статьи в «Тетрадях по консерватизму», а, наверное, кто-то их все-таки читает, то вы, вероятно, помните этот мой тезис о существовании двух типов консерватизма: деместрианского, сущность которого состоит в том, чтобы сохранять неизменной человеческую природу, и беркианского, который состоит в том, чтобы сохранять эти позитивные социальные изменения. Всё-таки любой мало-мальски здоровый социально-исторический процесс создаёт накопление этих изменений. И очень опасна ситуация, когда общество сталкивается в эти социальные ниши.

Грубо говоря, консерватизм всё-таки состоит, на мой взгляд, именно в том, чтобы позитивные социальные изменения каким-то образом удерживать. При этом очень важно осознание того, что общество состоит не из одних позитивных изменений и не из одних позитивных моментов, – это общая беда любого консервативного уклона, любого консервативного дискурса и так далее. Потому что в какой-то момент для него возникает

естественный соблазн ополовинить сто процентов реальности, которую видно. Просто потому, что хочется, чтобы вообще происходило чистое накопление, чтобы ничего не трогать, ничего не разрушать, ничего не критиковать и так далее. То есть это естественная психологическая реакция на угрозу хаоса и на угрозу общего разрушения.

Ведущий: Спасибо! Спасибо большое! Вы знаете, коллеги, мы сейчас, можно сказать, в полном составе – практически все, кто делал заявку, пришли. И Егор Станиславович напомнил нам об этой трагедии. Полагаю, вы не будете против, если мы в полном составе почтим погибших молчанием. *(Минута молчания.)*
Спасибо! Прошу садиться. Ну что же, дальше у нас Сергей Феликсович Черняховский. Пожалуйста! Что происходит с консерватизмом в России?

С.Ф. Черняховский: В этом смысле с удовольствием послушал интересное мнение Егора Станиславовича Холмогорова. Неожиданно сделал для себя вывод, что выступление блестящее, в том плане, что он полностью признает полное поражение консерватизма как минимум в России. Но это краткая реплика, которую я готов обсудить с ним отдельно.
В отношении консервативных ценностей в российском обществе и каковы они, тут проблема-то в чём заключается, на мой взгляд? В том, что те ценности, которые разделяет более-менее значимая часть населения, они так или иначе консервативны. Наше общество в массе своей состоит из консерваторов. Просто в силу того, что мы сделали несколько исторических поворотов сложного характера, у нас в прошлом и ценности остались самые разные. Сначала краткость идей и смыслов. Причем здесь добавился еще один момент. Вы понимаете, если мы идем снизу вверх – восходящий поток, к вершине горы – то у нас слева будут озера, а справа деревья. Скажем, озера – это левое, а деревья – это правое. Но если, дойдя до вершины или не дойдя до неё, мы пошли обратно, то окажется, что у нас озера – это правое, а деревья – это левое. Всё запутается.
Как только мы будем пытаться определить что-то, какую-то систему координат, то каждый раз будем путать систему координат, которая была до разворота назад, с той, которая наступила после этого. Потому, в частности, у нас абсолютно спорная картина разделения на правых и левых, очень своеобразное партийно-политическое пространство и прочее.
При этом, говоря о консерватизме, мы, конечно, наверное, хотели бы говорить о сохранении в его рамках неких сущностно-идентификационных моментов русской цивилизации. Но вообще-то говоря, при всей понятности этого информационного настроя все-таки не стоит забывать, что если Морган свое понятие цивилизации как-то четко вовремя определил в соотношении с предыдущими стадиями, всё это мы знаем: что значит, когда изобрели колесо, что значит, когда изобрели письменность, и так далее – то есть мониторинги постулировали, что есть разная цивилизация, а чем в принципе тип одной цивилизации, кроме общих образов, какими совокупностями принципов, конфигурацией признаков, отличается один от другого, никто до сих пор, в общем-то, не сказал. Апелляция к ценностям цивилизации носит институционально значимый, но научно спорный характер или, во всяком случае, академически необходимый для разъяснения. Это не значит, что ничего этого нет. Это значит, что в терминологии, реальных методах, научных понятиях этого не существует.
В этом отношении у меня есть свое видение – я не претендую на то, чтобы оно было сверхуниверсальным, – того, что когда не совпадает сущность шаговых ценностей и кульминаций, в силу целого ряда причин, такие вещи для меня: радикализм, мессианство и эгалитаризм.

Ведущий: Ещё раз можно? Радикализм первое?

С.Ф. Черняховский: Радикализм, мессианство и эгалитаризм. Можно еще максимализм добавить.
В отношении же того, что нам нужна главная ценность – строгое начальство – с одной стороны, вроде бы да. В силу того,

что нужно было эффективное управление, а в российской структуре вся эта история связана со штрафами, бизнесом и так далее, это можно было сделать, только сосредоточивая достаточно решительные полномочия.
Кстати, я напомню, что еще один такой вопрос существует: вы за что – за твердую руку или за демократию? Демократия эту твердую руку предполагает. И если нет твердой руки – «кратии» – то это уже не демократия в любом случае.
Так вот, с одной стороны, это казус. С другой стороны – традиция. Российское общество и российский народ могут своему руководителю сказать, что он вправе счесть, что он недостоин.

Ведущий: Народ или руководитель?

С.Ф. Черняховский: Руководитель. И в той или иной терминологии объяснить свое понимание его неэффективности. При необходимости покажи, как у Ключевского, родимое пятно в виде двуглавого орла. Если у тебя нет, то ты такой, как все. Поэтому в этом отношении русское общество глубокого демократично – «мы тебе доверили, ты свою голову абсолютно не оправдал».
Если коротко.
В этом плане возникает две проблемы. Первая заключается в том, что постоянная апелляция только к образам прошлого, а там все выводится из прошлого, вместо сохранения этого прошлого в движении в будущее, лишает возможности действовать.
Вторая: вы могли обратить внимание на многие аспекты послания президента.
И там говорилось, в общем-то, что надо найти возможности для рывка. И то, что прорыв нужен, – тоже об этом много я писал и говорил. Он, безусловно, нужен.
И для меня прорыв более значим, чем просто сохранение прежнего. Но мне бы очень не хотелось, чтобы это был прорыв, в котором уничтожаются основы того прежнего, ради которого он и происходил.

Ведущий: Но это ценность радикализма, правильно?

С.Ф. Черняховский: Консерватизма тоже. Мне бы в этом отношении хотелось консерватизма в той степени, чтобы сохранить базовые направления этого прорыва. То есть чтобы это был своего рода сохраняющий прорыв или сохраняющий консерватизм.

Ведущий: Спасибо! Продолжим эстафету. Николай Константинович Гаврюшин. Пожалуйста, ваше представление о том, что у нас происходит с консерватизмом в России, кто, какие ценности. В общем, по всем пяти позициям можете комбинировать в любом варианте. Ваши пять минут, пожалуйста.

Н.К. Гаврюшин: Спасибо! Я понимаю: Бердяев был приманкой.

Реплика: Да. Меня тоже так же приманили.

Реплика: И меня тоже.

С.Ф. Черняховский: Я вполне в его духе выступил.

Ведущий: Поскольку он дал бессмертное определение консерватизму, согласно которому консерватизм – это борьба вечности со временем, то я думаю, что вполне хорошая позиция.

Н.К. Гаврюшин: Мне прежде всего хотелось бы сказать, что консервативные ценности есть декларируемые и осуществляемые по умолчанию. И мне кажется, что мы живы благодаря тому, что живы последние, то есть те, которые осуществляются по умолчанию.
Буквально несколько дней назад произошло событие, которое нашло в средствах массовой информации меньший, естественно, отклик, чем трагедия в Кемерово, но оно свидетельствует о том, что консервативные ценности живы: белгородский офицер закрыл своим телом боевую гранату.
И это, замечу, не первый офицер за последние два года.
Значит, живут консервативные ценности, и они осуществляются людьми без деклараций, без конференций, без рекламы. Такие консервативные ценности реализуются в межличностных отношениях. Благодаря этим консервативным ценностям мы живы.

Потому что в межличностных отношениях не все определяется личным успехом, выгодой, победой какой-то в бизнесе и прочее. Как мы относимся к этим ценностям? По-видимому, речь идет о том, чтобы в публичном дискурсе, в средствах массовой информацию какую-то осуществить рефлексию над этими реально существующими и удерживающими наше общество ценностями.
Вот каков вопрос: а не придумать ли нам, что и как сегодня для нас консервативно? Знаете, я считаю, что общество наше без семьи трудно представить даже в какой-то отдаленной перспективе. Но семейные ценности, как вы знаете, подвергаются постоянно сомнению, поруганию даже.
И здесь я вижу практически, опять же среди моих студентов – нынешних и прошлых – очень много духовенства. И я вижу реальные семьи. Причем семьи многодетные, без всякой специальной идеологии – никто их не учит, что надо священнику иметь много детей. У них осуществляется по умолчанию культивирование ценностей семьи.

Ведущий: А в среднем, по вашим наблюдениям, у православного священника в России сейчас сколько детей? Я понимаю, что это такая псевдосоциология.

Н.К. Гаврюшин: Я условно сказал бы трое.

Ведущий: Трое как минимум. В среднем?

Н.К. Гаврюшин: Да. Но есть и пять, и шесть, и так далее. Это, конечно, статистика, которую трудно подвести. И это действительно радует. Я иногда говорю, я бы студенту сразу давал степень кандидата наук, если у него пятеро детей. Но меня пока не все поддерживают.

Реплика: А главное, тогда ведь очень скоро большую часть общества составят дети священников.

Н.К. Гаврюшин: Может быть, это не самое худшее. Теперь еще один момент – апелляция к начальству. Мне кажется, что сегодня – думаю, я не скажу ничего такого чрезвычайно оскорбляющего кого-то – начальство довольно ясно дает понять, что оно хотело бы больше быть арбитром в обществе, чем носителем ценностей, и лоббировать, пользуясь своим статусом, какие-то ценности. Это дается понять, по-моему, очень ощутимо.
В тех же случаях, когда мы видим со стороны начальства, или по крайней мере властной структуры, какие-то попытки защитить консервативные ценности, иногда видится совершенно непонятная реакция общества.
Опять же совсем недавний случай, когда Министерство образования все-таки решило защитить классический список русской литературы, который должен у нас быть для школьников обязательным, и какая поднялась волна. Вдруг все закричали, что детей лишают свободы выбора, учителей лишают свободы, и надо, конечно, открыть форточку, для того чтобы наш современный ребенок читал Улицкую и так далее. Не слишком ли мы торопимся вводить в классики авторов самого последнего времени под давлением какой-нибудь новоявленной «гильдии словесников»?
Хорошо, что вот Модест Алексеевич Колеров, у него на сайте «REGNUM» появилась замечательная статья Кациса, я ее сегодня читал с удовольствием, где все-таки как раз позиция Васильевой поддерживается. Это на самом деле интеллектуальный детектив. Это надо читать.

Ведущий: Николай Константинович, спасибо большое! Мне кажется, очень интересный поворот, потому что я тут фиксирую тени ушедших классиков консерватизма. Я напомню, что один такой классик – Майкл Оукшотт как раз и считал, что аутентично консервативный взгляд на власть предполагает ее понимание именно как «арбитра» (причем дистанцированного, как в теннисе – umpire). Дальше мы идем. И теперь я предоставляю слово Павлу Вячеславовичу Святенкову.

П.В. Святенков: На самом деле достаточно сложный был затронут комплекс проблем. Когда я пытался разобраться, как устроено современное общество, то в свое время

смотрел теорию систем, что-то пытался там читать и понял: в общем-то есть мнение, что в каждом обществе существуют два потока. Один поток, направленный на обновление общества, на слом, другой – на консервацию, на сохранение того полезного, что это общество наработало в своем историческом развитии.

Понятно, что роль консерваторов – это роль второго потока. То есть их роль – это роль покровителей образцов, скажем так, хранителей некоего загрузочного диска. На компьютерах есть такая штука. Дело в том, что когда загружаются обновления, они могут не только что-то улучшить, исправить какие-то ошибки, но и нанести компьютеру вред. Такое систематически случается. И тогда возможен откат системы – именно в таких терминах – к изначальной версии. Есть некая изначальная заводская версия, к которой система может быть в случае необходимости возвращена, если она заражена вирусами, если с ней происходит что-то, что заставляет компьютер сбоить.

Любое общество – это тот же компьютер, та же самая система. Роль консерваторов – это роль, конечно, хранителей этого условного загрузочного диска системы.

Проблема заключается, однако, в том, а что, собственно говоря, записано на этом условном загрузочном диске. Потому что если в случае с компьютером все понятно – производитель операционной системы дает некую изначальную идеальную, как предполагается, версию, то в случае с обществом возникает проблема ценностей: какие ценности нужно сохранять, что должно быть на этом условном загрузочном диске – она всегда дискуссионная. И на самом деле это всегда очень большая проблема, потому что есть соблазн сказать, что нынешний правитель (в любую эпоху) – это и есть самая главная ценность. Или та идеологическая система, или та идеологическая конструкция, которая возникает в ту или иную эпоху – это и есть самая главная ценность.

С одной стороны, этот соблазн. А с другой – со стороны власти – всегда есть опасения, грубо говоря, что монархизм будет критиковать короля. Поэтому любой король всегда с некоторой осторожностью относится к монархистам, потому что монархист – это носитель монархического идеала, он может сказать: «Ваше величество, вы неправы. Ваши священные предки поступали не так». То есть возможна критика, консервативная критика справа.

Да, монархист может быть и революционером, потому что он может считать, что правящий монарх по какой-то причине осуществляет недостойное правление, а вот был какой-то идеальный монарх, который, напротив, все делал правильно.

В нашей истории долгое время такой фигурой был на протяжении, по-моему, XVIII века Петр I. С ним соотносились, его именем клялись, и Елизавета Петровна – это прежде всего «дщерь Петрова». То есть она ссылалась именно на эту легитимность и так далее.

Поэтому, как ни странно, консерватизм может на самом-то деле и создавать ценности. То есть в каком-то смысле консерватизм как идеологическое течение может определять, что на этом диске загрузочном записано. И в этом смысле он может быть и модернизационным, и даже в какие-то моменты революционным – в тех ситуациях, когда, собственно говоря, на диске не записано ничего или записан шум.

Посмотрим, например, на историю XIX века. Мы видим, что знаменитая революция Мэйдзи, которую, наверное, следует считать консервативной революцией, с одной стороны, осуществила откат системы к той ситуации, будто бы идеальной, которая существовала до эпохи сёгунов, а там, если мне память не изменяет, было три династии сёгунов. Но, с другой стороны, Мэйдзи, император Муцухито, заимствовал все новейшие достижения Запада. И Япония за очень короткий период – где-то лет сорок – пятьдесят – прошла множество исторических этапов, на которые на Западе потребовались бы, наверное, столетия.

Вот, пожалуйста, наверное, классический пример, когда сила консервативная, которая пыталась восстановить микадо – скорее верховного жреца, чем монарха, – реставрировать его предполагаемую монархическую власть, выступила и силой модернизационной.

Соответственно, в современной ситуации мы стоим на некой развилке. С консервативной точки зрения, у нас базовый во-

прос – это набор ценностей. То есть что мы на этом диске условном записываем, что предлагаем обществу на него записать и как мы пытаемся обновить общество на основе этих ценностей. Другими словами, что мы определяем как образец. Потому что у нас в зависимости от взглядов людей образцы зачастую находятся в совершенно разных эпохах. Кому-то вдруг нравится Иван Грозный, кому-то нравится, допустим, Сталин, кому-то нравится эпоха Петра I, кому-то нравится «белое» движение, и так далее. Налицо явный разнобой консерватизмов. У нас на этом условном загрузочном диске записано много чего из разных эпох, но пока это «много чего» в единую систему объединить не удается. И, наверное, это базовый вопрос, который стоит перед современными консерваторами, – что мы предлагаем обществу, на основании чего мы предполагаем перезапускать это общество. Потому что все-таки в последнее десятилетие мы столкнулись с кризисами серьёзными. Это первый вопрос.
А второй вопрос: как избавиться от представления о консерваторах как о просто замшелых ретроградах, которые тянут туда, под плохое прошлое – абстрактно плохое прошлое? Ну кто такой консерватор? Консерватор – это тот, кто ходит в треухе, носит валенки и всех призывает…

Реплика: Это традиционализм.

П.В. Святенков: Это даже не традиционализм, это такое комедийное восприятие ретроградов. Скорее комедийное. То есть, грубо говоря, когда Мария-Антуанетта под музыку доила корову в серебряное ведро – это такое…

Реплика: Руссоизм.

П.В. Святенков: Это руссоизм. Это такое псевдоретроградство, тяга к природе.
А у нас к тому же это отягощено таким образом ретрограда, еще и крайне глупого, и тянущего куда-то, не пойми куда.

Реплика: Надо сопоставлять представление о либералах – крайне глупых, которые тянут, не пойми куда, в какое будущее.

П.В. Святенков: Собственно говоря, вот, на мой взгляд, палитра проблем, с которыми сталкивается современный консерватизм.

Ведущий: Павел, спасибо большое! Это действительно, очень интересная констатация, что у нас много консерватизмов. И на самом деле, может быть, одна из задач в нашей последней программе – сказать именно об этом, попытаться срастить эти варианты.
Следующая, пожалуйста, Любовь Владимировна Ульянова включается со своей пятиминуткой – хотел сказать «ненависти» – любви. Пожалуйста, Любовь. Что у нас с консерватизмом сейчас происходит?

Л.В. Ульянова: Я продолжу говорить о современных консервативных ценностях в современной России.
Мне кажется, в консерватизме стоит выделить две линии. Отчасти я солидаризируюсь с Егором Станиславовичем. Но он это так по-философски рассмотрел, говоря о деместровской линии и беркианской.
А мы на сайте «Русская Idea» с Борисом Межуевым смотрели на это с исторической колокольни. И, можно так сказать, выделили две линии – линию охранительного консерватизма, доминирующую в русском консерватизме, традиционную, доминирующую сегодня, и линию, которую мы условно назвали консервативной демократией, но можем назвать и реформаторским консерватизмом. Но консерватизм и демократия соединяются не так просто, и здесь требуется пояснение. Эта линия была достаточно слабо представлена и до революции, слабее она и в консерватизме сегодняшнем.
Но если мы говорим про охранительный консерватизм, то здесь очевидна триада – православие, самодержавие, народность – если исторический контекст какой-то брать, Победоносцев. И, очевидно, здесь упор на сильную власть, харизматического лидера. Как Павел сказал, это вовсе не означает, что этот консерватизм не может быть революционным. Потому что если лидер не харизматический или если он не выполняет свое призвание консерваторов, то у нас вполне может быть 1917 год. Об

этом говорилось на круглых столах в прошлом году. И тогда Лев Александрович Тихомиров оказывается революционером, когда он приветствует свержение Николая II. Если говорить про реформаторский консерватизм… Но это ведь факт, что не нашлось никакой силы, которая бы выступила за сохранение монархии.
Буквально пару слов про вторую линию – реформаторский консерватизм, который можно назвать консервативной демократией. Как мне кажется, здесь стоит дополнить теорию о сильном государстве необходимостью сильного общества, когда общество имеет некую самостоятельную субъектность, не ориентируется только на харизматического лидера, выступает за развитие местного самоуправления, когда локальные сообщества могут, имеют потенцию, имеют желание выступать против каких-то интересов бюрократии, застройки общественных пространств.
Если переводить это на актуальный контекст, то возмущение общества начинается не тогда, когда торговый центр сгорел, а в тот момент, когда пытаются утвердить проект подобного торгового центра, и люди об этом знают, и есть институты – реальные институты самоуправления, в которых люди хотят участвовать и хотят понимать, что происходит с окружающим их пространством. Спасибо!

Ведущий: Спасибо, Любовь Владимировна! Теперь, пожалуйста, я попрошу Виктора Юрьевича Милитарёва включиться в нашу дискуссию.

В.Ю. Милитарёв: Я, пожалуй, хочу больше об обществе. Наше общество исключительно консервативно, причем это левый консерватизм, принимающий в число консервативных ценностей социальную справедливость. Оно таково в 85-процентном объеме. Остаются 15 процентов людей, в число которых входят люди либеральной идеологии, карьеристы-беспредельщики и социал-дарвинисты разного рода, прежде всего из бизнеса. Все остальные – консервативные. Консервативные, но, увы, пассивные, совершенно не склонные к публичной защите своих ценностей.
Мы видим это 85-процентное большинство уже с середины перестройки, как только была упразднена советская цензура. Потому что это большинство боязливо, а не только пассивно, и пока «говорить было нельзя», оно и молчало. Дальше его ценности абсолютно устойчивы, судя по всем опросам, года с 1990-го, потом, с 2000 года, его стали называть путинским большинством.
Каковы его взгляды и склонности? Это семейные ценности традиционного консерватизма, Россия среди северных стран сегодня единственная стоит монументом против политкорректности и толерантности очень недвусмысленно. Более того, несмотря на то, что, в общем, что-то типа сексуальной революции у нас произошло за прошедшие тридцать лет, но семейные ценности непоколебимы в сознании, и они не парадные.
Это склонность к общинной самоорганизации, которая никуда не делась ни за семьдесят лет советской власти, ни за четверть века капитализма. Причем и сейчас это склонность именно к передельной общине, склонность, которая остается записанной в программе общего сознания, несмотря на то, что сегодня нет никаких шансов ее реализовать.
И в общем, как Зиновьев описал, в какой карикатурной форме общинные ценности реализовались в советских трудовых коллективах, так и сейчас мы видим, что даже в коллективе офисных клерков или среди пайщиков акционерного общества все равно складывается что-то похожее на советский трудовой коллектив со всеми его достоинствами и недостатками.
Это желание твердой власти и одновременно замеченное еще ранними славянофилами отстранение от ситуации участия во власти и прямых контактов с ней. «Мы народ не политический». Еще в конце пятидесятых годов позапрошлого века, когда Кошелев готовил для царя документы по крестьянской реформе, он писал в частной переписке, что «наш народ воспринимает начальство как явление природы». Не в советское время писал. На рубеже 1860-х славянофилы это уже видели.
Наше общество с определенной симпатией, но при этом с гораздо более выраженным равнодушием относится к демократии. Это видно, например, по тому, что люди, как

показывали все опросы, не против выборности губернаторов и мэров, но стоило их отменить, и люди на это никак не отреагировали. Еще пример. Наши люди – это мое подозрение, но я в нем очень уверен – голосуют за «Единую Россию», не имея никаких симпатий к конкретным депутатам, просто чтобы облегчить жизнь Путину.

Реплика: Хорошо сказал.

В.Ю. Милитарёв: Ну, он же хочет иметь свою партию – поможем Владимиру Владимировичу, мы же за него.

Реплика: По-моему, хороший предвыборный лозунг «Единой России».

В.Ю. Милитарёв: Да уж. *«Выбери "единоросса" – помоги Путину».*
И это общество тем не менее эгалитарно – оно признает богатство, но только такое, которое получено правильным, приемлемым в данной культуре образом, а власть предпочитает меритократическую – если она есть, тогда есть единение с властью. Если власть не меритократическая, тогда, как еще Хомяков заметил, «да идите вы со своей властью, пусть властью царь занимается, а у нас и так много работы и семейных дел!».
Это общество считает себя православным, несмотря на то, что, строго говоря, с канонической точки зрения, таковым не является. Все крестят детей, отпевают покойников и, если уверены друг в друге, венчают браки – иногда через очень много лет после начала реального супружества.
А вспомните, какой взрыв негодования вызвала хулиганская выходка «Пусси риот», – общество выдало прямо противоположную реакцию, чем «публика».
Общество также весьма патриотично и, я бы даже сказал, милитаристично. Недаром воссоединение Крыма так объединило людей.
Можно еще очень много сказать, но, увы, регламент не позволяет. Выскажу в заключение одну только мысль. На месте властей я бы отнесся к консервативным взглядам молчаливого большинства нашего народа гораздо более серьезно, чем это имеет место сейчас. То, что большинство нашего народа гораздо более пассивно, чем крикливые меньшинства, не мешает этому большинству быть главной опорой власти.
Всё, спасибо!

Ведущий: Спасибо, Виктор Юрьевич!
А сейчас прошу выступить Дмитрия Александровича.

Д.А. Юрьев: Я постараюсь очень коротко.
Мы все время поддаемся диктату терминов. Я бы назвал эту порочную склонность «терминоложеством». Это относится и к понятию «консерватизм»: мы с молоком комсомола впитали его негативное восприятие, особо не разбираясь в сущности. Тут вообще все запутано: все мы в той же нашей комсомольской юности твердо знали, что есть в Парагвае такая страшная фашистская партия диктатора Стресснера – «Колорадо». Партии с таким названием вообще в Латинской Америке были не редкость, а советской молодежи, не искушенной в испанском языке, слово «Колорадо» напоминало разве что об американском штате или вредительском жуке. А между тем речь шла о «красной» партии, или «великой партии либералов». «Великая партия консерваторов» называлась в Латинской Америке «Бланко», белой, и противостояла «колорадам» то справа, то слева, при том, что цвет наклеек оказывался иногда единственным различием между клановыми структурами, забывшими о сути политических разногласий.
Сейчас терминоложество развращает и губит коммунистов. «Левая» идеология, «левая» политика сейчас востребованы как никогда, но коммунисты оказываются не способны выйти за пределы давно устаревшего словаря, в котором слова оторвались от смысла и вместо того чтобы помогать осмыслять и преобразовывать реальность, попросту маскируют ее. В современном мире – мире социальной несправедливости, насилия и эксплуатации – зацикленность на форматах «классовой борьбы буржуазии и пролетариата» служит на руку исключительно современному «эксплуататорскому классу», позволяет ему оставаться неназванным и неузнанным, а современным «угнетенным» не позволяет опознать друг друга и консолидироваться.

Что-то подобное происходит с консерваторами, которые вместо того, чтобы направить свою политическую энергетику на осмысление и разрешение новых проблем, погружаются в филологическую аналитику с точки зрения истоков и традиций, отрываясь от истоков и выхолащивая традиции. В общем, если пользоваться марксистской терминологией, происходит полный философский переворот: сознание определяет бытие, а надстройка оказывается основательнее базиса.

И избирательная кампания этого года на самом деле блестяще это все продемонстрировала: водораздел между терминоложеством, фикцией, с одной стороны, и политической реальностью – с другой.

У нас было, с моей точки зрения, две избирательные кампании. Одна – что там говорить – фиктивная, с фиктивными кандидатами, с всеобщим признанием полного отсутствия реального выбора (из кого выбирать?), с внутренним посылом дискредитировать вообще всякую политическую дискуссию, всякую политическую практику.

Но, с другой стороны, мы имели не просто реальную, а перенапряженную, жестокую и непредсказуемую избирательную кампанию. Кампанию, в которой кандидат Путин противостоял гигантской силе, огромным деньгам, брошенным на разгром кандидата Путина – вместе с Россией, которую он, так уж получилось, персонифицировал. Кампанию, которую удалось остановить, но которая и не собиралась заканчиваться, которая продолжается, которая сводится к выбору между «есть Россия» и «нет России», причем вне зависимости от того, кто ее персонифицирует сейчас и кто будет это делать завтра или послезавтра.

И в рамках этой кампании консервативная политическая повестка Путина приобрела совершенно реальные, конкретные черты. Оказалось, что путинский консерватизм и его упор на жизненные ценности и русские культурные традиции очень жестко связан с ракетами, с новыми технологиями и с прорывом в будущее. Нет ли в этом чего-то, что противоречило бы консерватизму? Уверен, что нет. Более того, слушая сейчас Егора Станиславовича, я вдруг сформулировал для себя, наконец, что же такое консерватизм. Ухо слышит в этом слове «консервы», мы говорим о «хранении» традиций. Но можно сказать и по-другому: сбережение. Так вот, на самом деле консерватизм – это жизнесбережение. На самом деле консерватизм – это верность геному, это сохранение генома культуры, генома цивилизации, того, что определяет человеческую общность, тот самый культурно-исторический тип по Данилевскому, ту самую великую культуру по Шпенглеру, как живую самость, текущую из прошлого в будущее непрерывным живительным потоком.

Поэтому, с моей точки зрения, в этом понимании, консерватизм как жизнесозидающая, жизнехранящая и жезнепродолжающая идеология не просто имеет будущее. Сила и политический успех такого консерватизма – это залог жизнеспособности человечества. Между прочим, в таком смысле антиконсерватизм – это жизнефобия. К чему, собственно, сейчас и сворачивается все, что противостоит консерватизму.

Ведущий: Спасибо большое, Дмитрий Александрович! Виктор Владимирович, пожалуйста, ваши пять минут законные.

В.В. Аксючиц: Подлинный консерватизм не сводится к охранительству и консервации. Консервативная установка – это реакция самосохранения национально-государственного, культурно-цивилизационного организма на исторические вызовы. Естественное стремление всякого общественного организма к самоидентификации в меняющемся мире диктует необходимые изменения при сохранении природного генотипа и цивилизационно-культурного архетипа, которые выражаются в традиционных ценностях. Стремление сохранить себя, меняясь и совершенствуясь, углубляет и расширяет национальное сознание, обогащает традицию. Соответственно, охранительное ретроградство и обскурантизм («подморозить Россию» – Победоносцев) – саморазрушительно, вызывает срыв и сужение национального сознания, ослабляет исторический организм. В этом смысле можно сказать, что революционер на троне Петр I совершил

самую радикальную в России антиконсервативную революцию. Помимо того, что он разрушил традиционную экономику, государственное и церковное устройство, самое главное – он создал совершенно новый правящий и культурный слой, антиконсервативно, антитрадиционно ориентированный на Западную Европу во всех ее измерениях. Эта установка и была основной причиной многих трагических лет дальнейшей истории России.

Попытки консервативной реакции, то есть возврата к традициям, стали осуществлять прежде всего русские писатели – Пушкин, Карамзин. Затем артикулировали это славянофилы. Далее правящий слой и особенно наши монархи, можно сказать, болтались во многом между консервативной установкой и радикальным антиконсерватизмом, увлекаясь различными идеями. Соответственно попытки возвращения к традиции тоже сводились больше к охранительству и консервации. Результатом всего этого и была катастрофа начала XX века. И большевистская революция – это самая уникальная, и не только в России, а в мировой истории – антиконсервативная революция.

Соответственно, весь советский период можно рассматривать как борьбу радикальной коммунистической идеологии и коммунистического режима с теми звеньями национально-государственного, цивилизационного и культурного организма, которые сохраняли традицию. И в зависимости от этой борьбы многое определялось. Скажем, войну, конечно, Советский Союз мог выиграть только потому, что сталинский режим во имя самосохранения был вынужден раскрепостить именно традиционные, консервативные ценности и силы. И так далее.

И в этом смысле я хотел бы поделиться опытом такой консервативно-политической деятельности, а именно опытом нашей партии и движения под названием «Российское христианско-демократическое движение», которое было учреждено в 1990 году.

Народные депутаты от РХДД в Верховном Совете России, стремясь к демонтажу режима «государственного атеизма», инициировали создание Комитета по свободе совести; подготовили и добились принятия закона «О свободе вероисповеданий», Постановлений Верховного Совета об отмене репрессивных ленинско-сталинских декретов о религии и Церкви (в том числе декрет об изъятии церковных ценностей и имущества), роспуске Совета по делам религий, предоставлении религиозным организациям статуса юридического лица, освобождении религиозной деятельности от налогов, учреждении дня Рождества Христова выходным днем, религиозным организациям разрешались публичное церковное служение, миссионерская, благотворительная, просветительская деятельность. С этого началось религиозное возрождение в России.

Мы неслучайно назвали его движением, а не партией, потому что представляли уже тогда, что партийная демократия для России – вполне чуждое и навязанное явление, что мы рано или поздно, к сожалению, поздно, чем рано, придем к традиционным формам народоправия и демократии. И вокруг партийной организации у нас, соответственно, существовало много различных движенческих структур – общественных, культурных и религиозных.

Впоследствии, когда появилась возможность, мы переименовали его в «Российское христианское державное движение».

Ведущий: Вы сказали «Российское христианское державное движение»? Демократическое, а теперь державное.

В.В. Аксючиц: Так сначала оно существовало, Российское христианско-демократическое движение, потому что политика – это учет реального. Мы вынуждены были бороться в ситуации, известно какой, и вынуждены были маневрировать. Потом зарегистрировались под новым названием – «Российское христианское державное движение». То есть аббревиатура РХДД сохранилась. Мы сейчас не существуем, поскольку нас разгромили после расстрела Дома Советов. Но есть группа людей, которые себя считают продолжателями этой традиции.

Ведущий: Ясно. Модест Алексеевич, пожалуйста. Ваше время. Как вы смотрите на консерватизм?

М.А. Колеров: Мне хотелось бы прокомментировать выступления коллег и сказать, что несмотря на то, что я последние годы очень быстро превращаюсь в агностика, Михаил Александрович меня поразил своим агностицизмом. Я не могу не отдать ему должное. Но как только я слышу слово «цивилизация», «цивилизационный», у меня рука тянется, не знаю к чему.

Реплика: К пистолету.

М.А. Колеров: У меня его нет. С такой терминологией лучше вообще даже на улицу научную не выходить. Это бессмыслица. Точно так же я следую и Павлу Вячеславовичу в различении сказанного и исповедуемого. И сейчас буду говорить о внутренних ценностях, органических, а не бумажных. Также хочу сказать, что последние пять лет я испытываю нарастающую солидарность с Виктором Юрьевичем и поэтому, говоря о консерватизме, все-таки внутри стремлюсь к формулированию социал-консервативного синтеза, каковой сейчас мне представляется единственно полезным для консерватизма и, соответственно, полезным для общества.
Если говорить о простейших формулах, совершенно чистых и свободных от цивилизационной или эмоциональной окраски, – то это, разумеется, семья, разумеется, собственность (при этом мы не говорим, какая собственность, она может быть семейной, но собственностью). Один из моих героев говорил, отечество и собственность – два фундаментальных принципа. Правда, он имел в виду частную собственность. Но в то время частная собственность была объявлена в эсеровском, христианском смысле трудовой, семейной, христианской, хозяйственной, без эксплуатации и с минимальной сезонной эксплуатацией.

Ведущий: Это Булгаков, да?

М.А. Колеров: Струве, отечество и собственность.
Этатизм. Разумеется, этатизм. Формы применения зыбкие, какие угодно могут быть. А дальше? Отечество, суверенитет, независимость, приоритет общего над частным. Чего не хватает этому и что должен к этому добавлять социал-консервативный синтез? В этом вышеназванном ряду не хватает того, что в нашем народе было и, надеюсь, останется всегда – требование справедливости. Вот если нас настигнет консерватизм с требованиями справедливости, нас никто не победит.
И, наконец, о том, как в нашем обществе сейчас живут консерватизм бытовой, обыденный, массовый, народный и чаемый социал-консервативный синтез. Разумеется, оба никак не представлены ни в исполнительной, ни в представительной власти. Известны институции, которые риторически исповедуют консервативные ценности. Исповедуют их только риторически. Единственный институт власти, который одной ногой стоит в консерватизме, – это Путин. И всё.
Доклад закончен.

Ведущий: Хорошо, спасибо! Василий Александрович! Пожалуйста.

В.А. Щипков: Концепция консерватизма в современной политической ситуации может применяться как средство для измерения состояния либерализма. Спор о консерватизме – это спор о путях трансформации либерализма, его эволюции и самосохранении в новых исторических условиях. Риторика либеральной оппозиции все последние годы строилась на обещании намерений, которые предлагались аудитории в обмен на отказ от чего-то реального. Например, от существующих границ, традиций, ценностей. Отдадим Крым в обмен на ничего – таким был по смыслу предвыборный призыв К. Собчак. Стала очевидной полная бесперспективность такой риторики. Поэтому в либеральных дискуссиях сегодня звучит новая мысль: говорится, что когда либералы поменяют тактику и убедят большинство населения в том, что, получив власть, они не отменят базовые принципы и традиции, на которых стоит российская государственность, – то тогда 70–80 про-

центов, голосующих за Путина, с легкостью поддержат и либерального кандидата. Эти базовые принципы – нерушимость границ, основные праздники, флаг и гимн, признание самого факта существования суверенной исторической России.

В несистемных либеральных кругах озвучивается также мысль, что в России может поменяться форма легитимации власти. Говориться, что до сих пор новая власть получала свою легитимность в глазах народа путем отрицания старых форм. Большевики – царя, Хрущёв – Сталина, Горбачёв – позднесоветские пережитки, Ельцин – всю советскую историю, Путин отрицал 1990-е годы. Если следующий за Путиным президент получит поддержку именно как продолжатель дел Путина, то в России может утвердиться форма легитимация власти, основанная на преемственности. Это значит, что к 2024 году может так и не сформироваться база для либерального реванша, на который все годы после дела ЮКОСа рассчитывает несистемная оппозиция и западные политические игроки, действующие в России.

Поэтому своей задачей либералы, по их собственным словам, видят подготовку к этому транзиту власти таким образом, чтобы к этому времени стать в глазах народа ничем не отличимыми от собирательного «Путина». То есть полностью сменить риторику и стиль.

Интересно, что уже сейчас либералы начинают продвигать новую и смелую для себя идею о том, что Путин является продолжателем дела демократов 1990-х годов, сохраняет преемственность с этой политической эпохой. И подводят мысль, что приход после Путина к власти человека, наследующего демократическим принципам 1990-х годов, станет органичным и естественным.

Задача, которую ставит либерализм в России на современном этапе, – временно «оконсервативиться». У такого движения либерализма к консервативному стилю три направления: через 1) патриотическую риторику, с креном в правонационалистическую и милитаристскую; 2) советско-коммунистическую риторику, возрождение леволиберального дискурса под видом советской ностальгии, с упором на ранние годы советской власти, переход от десоветизации к новой героизации Ленина; 3) имперскую риторику, выступающую за возрождение монархии и царя. Все три направления могут стать полигоном для разворачивания либеральных политтехнологий в пользу либерального истеблишмента.

Это один из возможных прототипов схемы, по которой российский либерализм может строить свою жизнь в ближайшем будущем: «правые», «левые» и «имперцы». Обеспечивать функционирование этой схемы будут те, кого сегодня часто называют «технократами», которые ставят себя над этой схемой и вне ее. Нынешний агрессивный неолиберальный дискурс будет ими критиковаться, но не демонтироваться, а лишь смягчаться и внешне десубъективироваться, то есть прятаться под разные сферы. Сами технократы будут бороться за то, чтобы стать центром этой или другой аналогичной схемы.

«Консерватизм» становится карьерным лифтом для либералов, позволяет оставаться в либеральной парадигме, предлагает большое пространство свободы для декорирования либерализма в разные стили и формы (от имперских до советских). Позволяет с комфортом совершить личную мимикрию под новую реальность.

Эти процессы касаются не только России. Часто говорят, что в ближайшем будущем глобальный западный мир станет консервативным. Но это не означает, что он автоматически перестанет быть либеральным. Это означает, что силы, которые сегодня борются против либерализма, однажды обязательно перейдут к борьбе против консерватизма как либеральной «крыши». И к этому времени необходимо выработать принципиально новый консерватизм, не имеющий связи с описанными выше либерал-консерватизмами, либо отказаться от самого термина «консерватизм».

Ведущий: Спасибо большое. Очень своевременное предупреждение насчет того, что либерализм взял тактику и стратегию мимикрировать под консерватизм. Я вспоминаю, что в одной из лекций, еще тюрем-

ной, Борис Ходорковский убеждал свою аудиторию в том, что национализм и либерализм – это не враги, а союзники. И даже более того. Я думаю, что сказал Василий Александрович, это очень уместно, своевременно, и, пожалуй, действительно стоит об этом размышлять. Потому что, с другой стороны, идея либерально-консервативного синтеза сама по себе, мне кажется, как-то стала рабочей и вполне привлекательной. Да, да. Сергей Вячеславович, пожалуйста, ваше время.

С.В. Перевезенцев: Прежде всего соглашусь, что, конечно, в реальной политической повестке нет никакого консерватизма. Впрочем, как нет никакого либерализма и вообще никаких реальных политических партий с реальными политическими программами. Все это фикция. Все это игрушки, когда все хватают всё и исключительно потом...

Но это не означает, что, собственно, нет самих консервативных ценностей. Я вообще не люблю игру в слова, я не философ, я историк, поэтому у меня больше конкретное историческое мышление. И в этом отношении я солидаризуюсь с огромным числом мыслителей, которые тоже не любили эти слова, а искали сущность, выражая ее совершенно по-разному.

Поэтому цепляться за слово «консерватизм» или за слово «либерализм» и пытаться под него что-то подвязать, мне кажется, по большому счету, бессмысленно. И здесь нужно, может быть, искать какие-то термины, как в свое время нашел крылатую формулировку Павел Флоренский, «держатель народа», у нас свои грани сознания. Или, допустим, как в XVI веке нашли формулировку Нового Израиля, Нового Иерусалима, и это начало играть в свое время и так далее. Для русского сознания гораздо ближе не понятийные, а образные обобщения. И это играет гораздо большую роль в формировании в том числе политических предпочтений, нежели какой-то чисто научный поиск в области понятийного. Здесь я соглашусь, на эту тему уже было много сказано, в том числе и мне приходилось на эту тему много писать. Если мы будем говорить о нашем народе, то его исторический опыт свидетельствует об одном: главная консервативная ценность нашего народа – это жизнь. Наша история была столь страшна и столь жестока, что выживание в любых условиях было одной из важнейших ценностей. Обратите внимание на то, что один из важнейших героев отечественной истории – это Александр Ярославич Невский, которого сейчас обвиняют в науке чуть ли не в предательстве, потому что он начал сотрудничать с Ордой. Вот он какой предатель. А ведь его послали сразу смерть найти в то время, а он сохранил, возможно, многие и многие жизни. Он остановил те страшные набеги, которые осуществляла Орда во время его правления. Именно с XIII века идет главная, как мне представляется, национальная ценность – это национальный страх гибели Руси. Национальный страх появился в тринадцатом столетии, что страна может погибнуть.

Реплика: То есть сохранение страны?

С.В. Перевезенцев: Народа. Страна может быть разная. Государство может быть разное. Народ. Сохранение народа и сохранение жизни людям. И вот этот национальный страх нас сопровождает и спасает в самых тяжелых ситуациях на протяжении всех семисот лет. Я больше чем уверен, что нынешние 76–77 процентов голосов поддержки Президента РФ были обеспечены именно этим национальным страхом. Что обеспечивает жизнь и сохранение народа? Настолько древняя история отечества, как наша, обеспечивает прежде всего веру. Осмысление себя в пространстве и вечности через веру. Во-вторых, это отечество. Идея отечества, причем как такого земного воплощения образа Святой Троицы. В этом заключается и ответ на вопрос: почему в нашем государстве живут спокойно многие народы, исповедующие разные веры? И третье, как ни странно, они могут сплотиться.

Но почему-то мы говорим о том, что в русском сознании коллектив подавляет личности, – это же не факт. Русская история строилась на тех личностях, которые эту историю творили. Назову трех крупнейших модернистов отечественной истории: князь Владимир Святославович, преподобный

Сергий Радонежский, создавший православие, осмысливший православие в русских традициях, в национальных традициях, и государь Иван III, создавший Русское государство на основе традиций. Последние исследования XV–XVI веков показывают, что русские правители не были злодеями, которые уничтожали свой народ. Иван III создавал русское государство на основе симбиоза народного самоуправления и сильного общества. И русское общество представляло собой конгломерат, союз самоуправляющихся структур, потому что на высочайшем уровне развивалось внешнее самоуправление. И это закончилось с переходом в середине XVI века к той структуре, когда центральная власть создавала себе союзников в управлении государством в местном самоуправлении. Сама создавала и сама поддерживала. И это сохранялось до 1682 года, пока Петр I это не уничтожил. Поэтому в этом отношении абсолютно согласен, что Петр I – главный антиконсерватор и главный антимодернист в России. Он откинул Россию в такую далекую степь.

И последнее. Если мы вот так будем смотреть на наш народ, то увидим, что в народном сознании сегодня, за исключением вот этих ценностей, представления о консервативных конкретно ценностях нет, потому что под «консервативным» у нас подразумевается такая мешанина! Начиная от Брежневского «развитого социализма» и заканчивая каким-нибудь всемирным монархизмом, приседанием перед вот этими Романовыми, которые должны были сохранить наследие. И все это консерватизм. И такая, я бы сказал, внутренняя нравственная неразбериха связана все с тем же, чего не хватает современному обществу. Правильно совершенно было сказано, когда вспоминали толпу в Кемерово. Кемерово – это показатель того, что у нас есть. И то же самое было в 1918 году, то же самое было в конце 1980-х, в начале 1990-х годов. Русский консерватизм держится на нефти. Нефть держит русский консерватизм. Это национальная трагедия. Никакой понятийный аппарат, на мой взгляд, никакая наука, не сыграет никакой роли в формировании ценностей, если не будет исключительно нерационального, иррационального восприятия жизни через традиционный консерватизм.

Ведущий: Спасибо. Может быть, это объясняет отсутствие заявленного представительства подобной иррациональной идеологии во власти?

С.В. Перевезенцев: Она нуждается в инструментальном подходе. А бытовой, массовый консерватизм не может породить ничего инструментального. Он порождает созерцание. А во власти у нас единственный консерватор, на которого все надеются, а остальные – не получается.

Ведущий: Сейчас Дмитрий Олегович, и рад приветствовать еще нашего участника Михаила Витальевича Ремизова, когда-то он делал доклад про консерватизм, без него представительство было бы неполным.

Д.О. Дробницкий: Да, спасибо. Во-первых, еще раньше, когда мы вышли на то, что сплоченной идеей русского народа является начальство, мне стало очень грустно. Мне самому сразу очень захотелось возразить по этому поводу. Слава Богу, коллеги напомнили, поэтому я от себя добавлю только еще про фактическое освоение Сибири. Ясно, что это было не меньшим трудовым и личным, частным консервативным подвигом по сравнению с освоением Швейцарии. Что будет гораздо позже для абсолютно нерадивых продающихся крестьян, освоение было ничуть не менее героическим, чем освоение Дикого Запада. Буквально несколько слов о современном. Мы очень долго в связи с попыткой утверждения собственной социальности болели тремя болезнями, на мой взгляд. В 2014 году была опубликована статья «Три соблазна для консерватора», в которой убеждали, что основной соблазн в том, что все у нас не так, как у других. Второе – это у нас детская болезнь левизны была консерватизмом. Попытка сказать, что левое – это как раз нормально, потому что левое – это справедливость. Между тем левое – это диктат. На самом деле, чтобы разбить, нужно не ослабить, не убрать,

а приложить гигантские государственные усилия, гигантские технологические усилия. Либерализм, который сейчас принял форму глобализма, – это одно и то же. Это огромная машина, которая разбирает национальные государства. И сейчас, когда старые консервативные либеральные устои на Западе распались по причине полного несоответствия этой страшной опасности, мы как раз и можем сказать, что на самом деле, по большому счету, при всем том, что мы ценим и любим свою национальную самобытность, мы ничем не отличаемся от тех людей, которые столь же смело стали на защиту своих собственных национальных государств. Они тоже не хотят, чтобы погибла святая Америка. Они тоже не хотят, чтобы погибла святая Италия. И так далее. И там тоже присутствует и вера, и сохранение народа. Потому что глобализация левая – это уничтожение под диктант. Ведь левые лозунги присутствуют у либералов.

Реплика: Это как «Майн кампф», только вместо сурового индивидуализма поставить коммунизм.

Д.О. Дробницкий: Да, совершенно верно. И здесь возникает, на мой взгляд, единственная в этом точка. На мой взгляд, это последняя попытка собрать Запад под знамена. Потому что если бы не было, условно говоря, искусственно внедренных, технологически внедренных тем ужасной России и русофобии, как говорил недавно Борис Межуев, они все не смогли бы находиться в одном помещении. А поскольку есть страшная Россия, то они могут находиться. Третий соблазн – это экономический. Экономики здесь мы касались пока только в плане справедливости и в плане того, что эксплуатации быть не должно.

Реплика: А собственность – это не экономика?

Д.О. Дробницкий: Скажем так, если собственность определяется как семейная, то, несомненно, нет. Потому что формы собственности очень разные, и я очень часто не видел никаких экономических программ у отечественных консерваторов. И именно поэтому, на мой взгляд, они не представлены как партия, и они даже не пытались этого сделать. Потому что если мы возьмем западных консерваторов, то они на самом деле как раз наоборот – более сильны в экономической части. И это просто всеми признается. Но дело в том, что многие из них симулянты.

Вопрос здесь в том, что они, с точки зрения политического процесса, оказываются наиболее сильными. Даже та же самая либеральная форма в Штатах, там любят выбрать какого-нибудь консервативного губернатора, потому что экономика совсем пошла в разнос. Потому что слой либерализма разрушил ткань существования. В этом смысле опять соглашусь с тем, что, может быть, не нужна публикация терминологии и очень жестких определений, но совершенно точно нужно формулировать и очень аккуратно, на мой взгляд, последовательную программу сохранения и сбережения народа. Это везде так. И мы наконец-то придем к некому универсальному понятию о консерватизме, который не исключает ни модернизацию, ни развитие, ни освоение новых технологий.

Тем не менее для либерал-глобалиста важна идея. Не важно, сколько душ человеческих это заберет. В этом смысле как страшен был Советский Союз для людей, вроде Черчилля. Несмотря на то, что они были хитрые люди, тем не менее я понял, что они еще и увидели страх мирового круга. Ведь неважно, сколько людей загублено, если дело восторжествует. Ведь так строился Советский Союз изначально? А сколько русских душ загубили? И в этом смысле консерватизм исходит из другого. Он исходит из того, что самое главное – это сохранить народ, сохранить жизнь, сохранить себя. А как можно сохранить себя без суверенитета и без самоидентификации? Никак. Кстати, упоминали путинское послание, в котором говорится об экономической интересной вещи и о ракетах. Почему о ракетах? Потому что нужно защитить вот это. Опасность на самом деле в том, что на Западе начинают разрушаться традиционные системы, а нам требуется демонстрировать тройку со всякими «Сарматами» и прочими ракетами. Но конечно, важнее

сбережение жизни, ценность жизни, ценность народной жизни, ее идентичности национальной. Это и есть современный консерватизм, но он не только в России, он везде прорастает.

Реплика: Учитывая создание структурного человека.

Д.О. Дробницкий: И Бог еще знает чего другого. Это еще неизвестно, переживем мы или нет. На самом деле я хотел сказать, что мы находимся в уникальной позиции, когда можем не играть сами, а можем видеть, что точно так же думают другие. Спасибо.

Б.В. Межуев: Он намекал на то, что у нас есть союзники на территории Америки, на территории Италии.

Д.О. Дробницкий: Я имею в виду, что никакого принципиального отличия нашего консерватора от зарубежного, по большому счету, нет. Есть нюансы. Но по большому счету – это сохранение народа, продвижение своего народа, что справедливо для своих, и т.д.

Ведущий: Большое спасибо, что ты сделал этот пятый пункт и осветил его в данном контексте. Мне кажется, это тоже очень актуальная повестка. Потому что если смотреть на это так, то проблема консерваторов в том, что они никогда не могли создать интернационал. Есть либеральный интернационал, есть социалистический интернационал, а вот у националистов и консерваторов таких типов интернационала не получится. И я с удовольствием передаю слово автору концепции традиционного реализма.

Б.В. Межуев: Спасибо большое. Мое выступление будет носить не столько научный, сколько скорее педагогический характер. Сэмюэль Хантингтон, как известно, считал, что консерватизм лишен собственной ценностной основы – но мне кажется, одна ценность у консерватизма точно есть, и это верность. Речь идет, в том числе, и о верности по отношению к власти. Верность – это не любовь. Любить власть, наверное, не стоит. А вот оставаться верным признаваемой тобой власти, когда она слабеет, это, напротив, необходимо. К сожалению, в России власть признают, пока она сильна, пока она успешна, пока она победоносна или пока демонстрирует себя в качестве таковой, тогда все ее любят, хвалят и связывают с ней консервативные ожидания. Но как только власть слабеет, от нее все отворачиваются, в том числе самые последовательные консерваторы. Смысл консерватизма, смысл этой идеологии, смысл консервативного воспитания и консервативного просвещения заключается именно в том, чтобы готовиться к моменту неизбежного кризиса, моменту ослабления власти, который рано или поздно наступит. Чтобы в момент этого ослабления противопоставить хаосу и растерянности некоторый набор твердых, последовательных установок, рожденных не под влиянием конъюнктуры.

В принципе, образец консервативного поведения продемонстрировал нам всем лично Путин, когда оставался верен своему патрону Анатолию Собчаку даже после его ухода из власти и последующей опалы. И в дальнейшем лично Путин действовал как разумный консервативный политик. Конечно, мне лично, может быть, и хотелось, чтобы Путин публично отрекся от ельцинского наследия, но он поступил вполне консервативно, отказавшись произносить речи об ошибках ельцинизма, что принесло бы минутный успех, но впоследствии сыграло бы против системы. Консерватизм – это в первую очередь воспитание верности, и здесь я бы обратил внимание на такое обстоятельство: на удивительную востребованность в качестве больших экспертных начальников тех людей, кто в течение последних лет упрямо призывал Россию что-нибудь «сдать» – то Донбасс, то Иран, то Марин Ле Пен. Вот эта удивительная востребованность проповеди предательства – она, мне кажется, самоубийственна для самой власти. Хотя в какой-то короткой перспективе может показаться, что власти или, точнее, элитным группам нужны именно такие эксперты, которые в нужный момент могут обосновать любой неприглядный поступок,

но тем не менее в перспективе долгосрочной этот отрицательный отбор грозит для власти утратой нравственных основ легитимности. Но есть и вторая опасность – постепенная утрата реальности, утрата ощущения угрозы за медийными фейками. Когда на сайте «Эха Москвы» мы читаем слова – либо Россия переживет свой март 1801 года, либо России не будет, ты понимаешь, что власть считает это высказывание, как и само существование данного сайта, не более чем игрой. Но при этом, когда в то же самое время критическое суждение в адрес пенсионной реформы приравнивается к должностному преступлению, становится ясно, как низко оценивает власть верность сторонников и как высоко она ставит репутацию противников. Первым нельзя усомниться в мудрости социальной реформы, вторым дозволяется даже грезить о физическом уничтожении главы государства. Ошибочно думать, что люди идут только туда, где хорошо платят, очень часто они идут туда, где можно свободно говорить, не опасаясь за последствия. Так что у консерваторов есть много оснований опасаться за состояние умов подрастающего поколения.

Ведущий: Спасибо за такое своевременное выступление. Это очень сильный поворот.

Д.О. Дробницкий: Можно я скажу коллегам одну-единственную вещь по поводу консерватизма? Потому что на самом деле как раз сейчас он становится для людей возможным и очевидным. До этого консерваторы упирались в очень непростую проблему. Либералы объединялись во имя универсального человечества, во имя универсального человека, обладающего правами человека. Коммунисты, социалисты объединялись во имя универсального человечества, интернационализма, братства народов и т.д. Консерваторы упирались в то, что они не могут объединиться, потому что нет универсальной формы. Грубо говоря, это было вот такое объединение. Давайте объединимся, чтобы вместе друг друга иметь право ненавидеть, воевать и так далее. Что происходит сейчас? Какая трансформация происходит? Сейчас у консерваторов появляется объективная возможность сформировать свое человечество. В современном мире они сохраняют представление о нормальном человеке как таковом. Все остальные идеологии так или иначе переходят в страх. Грубо говоря, у консерваторов появляется интернациональная почва, потому что они признают один и тот же тип, один и тот же образ человека. Человека, у которого есть семья, у которого есть собственность, у которого есть своя голова, у которого есть само понятие о национальности, о родине и так далее. То есть общий образ человека, который консерватору позволяет все…

Реплика: Мощная идея.

Ведущий: Очень интересная гипотеза, которая состоит в том, что человечество под угрозой с точки зрения этого консерватизма. Я прошу пять минут для Александра Сергеевича.

А.С. Ципко: Я согласен с Павлом Вячеславовичем Святенковым, что суть консерватизма состоит в защите, в сохранении тех идей, ценностей, институтов, достижений культуры, которые сделали человека человеком, духовным существом, раздвигающим от поколения к поколению границы возможного. Консерваторы, как точно сказал П.В. Святенков, это покровители образцов поведения, ценностей, которые лежат в основе «загрузочного диска человечности». Консерватор защищает то, на чем держится жизнь человеческая. Вчера консерваторы боролись с коммунизмом, с идеей уничтожения цивилизации, построенной на основе частной собственности, сегодня консерваторы борются с однополыми браками, с попытками уничтожения семьи, христианских ценностей европейской цивилизации.

Но трагедия России состоит в том, что мы до сих пор не договорились о том, какие ценности должны лежать в основе «загрузочного диска» под названием «Россия». Охранительский консерватизм в лице не столько Георгия Победоносцева, сколько Константина Леонтьева, предлагал одни ценности, и прежде всего ценности госу-

дарственности. А Федор Достоевский и выросшая из его «Бесов» русская религиозная философия начала XX века, так называемый либеральный консерватизм, предлагал совсем другие ценности, и прежде всего ценность человеческой личности, ценность свободы и т.д. Вспомните критику Константином Леонтьевым речи Достоевского на празднике Пушкина. Константин Леонтьев восстал против призыва Федора Достоевского к любви к человеку, против гуманистической трактовки христианства. Охранительский консерватизм Константина Леонтьева несовместим с ценностями гуманизма, с ценностью человеческой жизни. Отсюда и упрек Федору Достоевскому в том, что он слишком большое внимание уделял любви к человеку, проповеди сострадания к болям и бедам человека. Прочтите статью Константина Леонтьева «О всемирной любви»: она от начала до конца посвящена критике ценностей гуманизма.

И при этом и охранительский консерватизм, и либеральный консерватизм веховцев были врагами революции и революционизма, в которых они видели идеологию смерти. Уже в советское время в своей статье «Социализм», в сборнике «Из-под глыб» Игорь Шафаревич прекрасно показал, что социализм, особенно марксистский коммунизм, является песней смерти. И действительно, только человек, жаждущий смерти, прославляющий смерть, – речь идет о Карле Марксе – мог утверждать, что революция как праздник насилия, является одновременно праздником истории, «повивальной бабкой истории».

И здесь, на мой взгляд, главная, до сих пор не решенная проблема связана с созданием «загрузочного диска» русского консерватизма. Будем ли мы, как было в прошлом, продолжать противопоставлять ценность государства и государственничества ценностям свободы и ценности человеческой жизни? Или, наконец, соединим эти ценности в рамках того, что Семен Франк и Петр Струве называли «либеральным консерватизмом»? И самое главное: в состоянии ли мы, наконец, впустить в русскую душу то, чего у нее было так мало, а именно – ценности гуманизма? Помните, как писал С.А. Аскольдов в своей статье «Религиозный смысл русской революции» в сборнике «Из глубины»? «…Как бледно выражен в русской истории и литературе “человек как таковой”! И это не потому, что мы запоздали в культуре, и что тип гуманиста – а в нем-то и выражено начало человечности по преимуществу – есть уже тип культурного человека. Нет, мы скажем обратное. Не гуманизм у нас запоздал от запоздания культуры, а культуры у нас не было и нет от слабости гуманистического начала. Гуманизм – это независимая от религии наука, этика, искусство, общественность и техника. Это есть то, чем человек отличается от зверя. Но именно русский человек, сочетавший в себе зверя и святого по преимуществу, никогда не преуспевал в этом среднем и был гуманистически некультурен на всех ступенях своего развития» (Вехи. Из глубины. М. : Правда, 1991. С. 226).

Нельзя создать целостный образ нужного нам консерватизма, не включая в него все, что сделало человека человеком, и прежде всего ценность человеческой личности, ценность истины, знания, ценность религиозной свободы, свободы мнения. Сегодня, на мой взгляд, консерватизм должен защищать и внедрять в жизнь те ценности, которых нам всегда не хватало, и которые Николай Бердяев назвал в своей статье «Оздоровление России», написанной под впечатлением октябрьской катастрофы. Консерватизм, по Бердяеву, должен преодолеть «русский минимализм довольно низменной бытовой жизни», укрепить «начало личности», внедрить в жизнь «школу личной дисциплины и личной ответственности», «дисциплину труда» и т.д. При этом надо понимать, что само по себе образование без свободы личности, без культа истины, без свободы мнений не дает ни духовного развития, ни духовного прогресса. Это главный урок советского эксперимента.

Лично для меня нынешний консерватизм, для которого и Иван Грозный, и Иосиф Сталин, то есть руководители России, олицетворяющие смерть, сознательную политику уничтожения своих сограждан, являются героями, – это нонсенс, изде-

вательство над здравым смыслом и всей русской культурой. Это не консерватизм, а признак духовного вырождения определенной части нынешней российской интеллигенции.

Но если суть консерватизма, как говорил Николай Бердяев, ссылаясь на Ж. де Местра, состоит в выработке ценностей, противостоящих ценностям революции, всему тому, что стоит за революционным плебейским террором, то давайте, наконец, выясним, что породило море крови нашей революции и безумные человеческие жертвы социалистического строительства. И на этой основе давайте выясним, какие ценности надо лелеять в России, чтобы избежать повторения подобной трагедии. Сам Ж. де Местр, как писал Николай Бердяев, все-таки нашел духовные положительные результаты Французской революции. Она породила как духовный протест католическое и романтическое движение начала XIX века. Николай Бердяев думал, что «так будет и у нас». Он верил, что «положительным результатом революции будет религиозное углубление возрождения». Но ведь ничего подобного у нас не произошло. Мы не преодолели, как верил Бердяев, в своей душе те страсти, которые породили ужасы революции, которую мы до сих пор называем «великой». Мы не прошли через национальное покаяние, о котором говорил Николай Бердяев. И здесь встает проблема: на что нам дальше рассчитывать, если мы не сумели преодолеть все то, что породило русскую катастрофу начала XX века. По крайней мере очевидно, что любой разговор о консерватизме в современной России, на мой взгляд (об этом говорили так же авторы сборника «Из глубины» и авторы сборника «Из-под глыб»), имеет смысл только в контексте анализа причин победы большевиков, в контексте выявления духовных результатов семидесятилетнего советского эксперимента.

Семидесятилетний коммунистический эксперимент поставил перед нами десятки вопросов, на которые мы еще не дали ответа. Самый главный вопрос: если, по словам Антона Деникина, Николая Бердяева, Ивана Бунина, большевики победили потому, что на самом деле не было русской нации накануне Октября как органической целостности, то могла ли появиться русская нация в условиях коммунистического эксперимента? Далее. Можно ли назвать «православными христианами» миллионы русских людей, которые до сих пор поклоняются убийце Сталину, который проводил политику целенаправленного уничтожения ядра нации – крепкого крестьянина, русского священника, остатков дореволюционной интеллигенции и т.д.

Мы до сих пор не актуализировали, не сделали достоянием общественного сознания даже то, что оставили нам для размышления авторы сборника «Из глубины», что сказали на эту тему в своих статьях, книгах «веховцы», Иван Ильин, Георгий Федотов, Федор Степун и другие. Главная идея консерватизма – идея сохранения жизни, сохранение завоеваний культуры. Почему у нас в России победили люди, которые проповедовали противоположное, а именно смерть того мира, который есть, смерть права, религии, семьи, частной собственности, крестьянского труда и т.д.? Могло ли в результате коммунистического эксперимента появиться то, чего не было в России и что лежит в основе сохранения жизни, а именно ценность жизни как таковой? Не думаю, что ценность человеческой жизни у нас сегодня выше, чем была до революции. Никто из нас до сих пор не считает людей, гибнущих в войнах, спровоцированных «русской весной» 2014 года. Без ответа на эти и другие вопросы все эти разговоры о консерватизме, на мой взгляд, не имеют смысла.

Иногда у меня складывается такое ощущение, что мы не осознаем трагизм нынешней ситуации, не осознаем всю противоестественность наших претензий к себе и к миру, который нас окружает. Я прекрасно осознаю ценность человеческого достоинства, достоинства нынешней российской власти, ценность суверенитета. Но как сохранить достоинство, чтобы одновременно не погубить себя и все человечество? Вот в чем сегодня состоит главный вопрос. Я согласен с теми выступающими, которые говорили, что нельзя сохраниться в современном мире без трезвого отношения к себе, к своим собственным возможностям,

без понимания мира, в котором мы живем. С одной стороны, наши либералы, которые говорят, что у нас, русских, нечего взять из прошлого, а с другой стороны, какое-то болезненное, глупое самолюбование. Поэтому, как я говорил, главная проблема консерватизма в данной конкретной ситуации для нас – несем ли мы в себе все, что необходимо, для того, чтобы сохранить Россию, сохранить русский народ. Что нам мешает жить и процветать в этом мире? Наша нынешняя «посткрымская» эпоха ставит со всем трагизмом вопрос о судьбе России и русской судьбе. К сожалению, у меня такое впечатление, что мы не осознаем жуткость нынешнего момента в истории России.

Ведущий: Спасибо вам большое. Коллеги, Михаил Витальевич внесет свой вклад.

М.В. Ремизов: Спасибо, Леонид Владимирович. Прежде всего я хочу поблагодарить инициаторов этого начинания. Я не сразу осмыслил формат обсуждения. На старте действительно можно крупными штрихами очертить круг интересов, но в дальнейшем, мне кажется, нам стоит сегментировать повестку, потому что сложно одновременно говорить и о мировоззренческих вещах, и о политическом ориентировании в пространстве; тогда обмен впечатлениями о жизни будет плодотворным. Я отреагирую на то, что я услышал.

Мне нравится в данном случае не только политический посыл Бориса, но и его стремление пытаться осмыслить консерватизм, исходя из психологического доминантного мотива, который Борис усматривает в верности. Я попробую сначала прокомментировать не политическую составляющую, а именно психологическую доминанту. Разные консервативные мыслители выделяли разные психологические первичные аффекты, которые стоят за консерватизмом. У Оукшотта это что-то типа «умеренности и аккуратности», недоверие прожектерству, стремление придерживаться того, что действительно и конкретно, «ползучий эмпиризм». У Бориса это верность, причем верность (что меня как-то насторожило) власти. Непонятно, откуда возник именно этот субъект. Но сама область поиска мне кажется верной.

Мне вспоминается высказывание другого мыслителя, которое не касается консерватизма как такового, но выражает некий первичный консервативный эффект, каким он мне видится. Это Киплинг, который пишет примерно следующее: «При всех обстоятельствах человек должен держаться своей касты, своей расы и своего племени». Это другой перечень адресатов для верности. Каждый отдельно взятый пункт в этом перечне необязателен, то есть не может подходить всем и всегда, но сам принцип подбора признаков содержит некий важный подход в сфере политической этики. В этой логике первый, исходный вопрос – не какая сторона права или хороша, а какая сторона является твоей. Лично мне именно это представляется первичным консервативным аффектом – способность чувствовать свою сторону и быть на своей стороне, что бы под этим ни понималось. Если переводить на философский язык, это можно назвать лояльностью субстанциальным идентичностям. То есть таким идентичностям, которые претендуют на то, чтобы определять и обязывать человека, наполнять человеческую личность, задавая первичную систему координат для ее самоопределения тем идентичностям, которые выбирают нас, а не тем, которые мы выбираем. Консервативный образ человеческого «я» – это образ «я» наполненного: я мужчина, я русский, я представитель какого-то социального слоя, какого-то рода, какой-то семьи. Без этого нет моего «я», мое «я» без этого мне неинтересно. То есть мое «я» как таковое изначально заполнено определенными социальными идентичностями.

Когда мы видим нынешнюю динамику движения эмансипации в широком смысле слова, то главное острие этого движения направлено именно против концепции субстанциального «я». Стремление состоит в том, чтоб показать, что никаких субстанциальных идентичностей нет и быть не должно, что есть атомарное «я», которое в каждом случае выбирает и переопределяет себя. И которое в конечном счете способно поставить под вопрос все, вплоть до своей телесности. Такое «эмансипированное

Я» не резистентно к процессам дегуманизации. Наоборот, оно очень хорошо прокладывает дорогу трансгуманизму, потому что именно эта идея атомарного «я» задает дистанцию по отношению к любым структурам идентичности, в том числе тем, которые связаны с телесностью, является идеальной единицей для «прекрасного нового мира», где торжествуют трансгендерность, киборгизация и биоинжиниринг.

Так вот, возвращаясь к реплике Бориса, консервативный подход к политической этике состоит, на мой взгляд, не в «верности власти», а в верности этим субстанциальным идентичностям. Это можно назвать «верностью самому себе» в той части, в какой сообщества, к которым мы принадлежим, являются частью нас самих, внутренне определяя и обязывая нас.

Безусловно, некоторые из таких сообществ – например, нации – структурируются, в том числе, через политическую власть. Но дело не в том, чтобы мы были «верны власти», а в том, чтобы и власть, и рядовые граждане были в равной мере верны связывающему их материальному и нематериальному наследию нации.

На теме наследия можно остановиться отдельно. Если говорить не об антропологическом, а о социологическом определении консерватизма, то для меня это мировоззрение, которое сфокусировано на проблеме воспроизводства совместного материального и нематериального наследия как основной формы социальной связи. Восприятие политической власти в этом контексте двояко. С одной стороны, безусловно, широкое понимание ее мандата. С другой стороны, повышенная ответственность. Потому что если власть – это просто «ночной сторож», с нее спрос не велик. А если власть – это хранитель моего родового наследия, того, что затрагивает глубинно мою личность, то я буду к ней гораздо более требователен и более чувствителен к ее провалам.

Поэтому верность власти в любых обстоятельствах я бы не стал ассоциировать с консервативной позицией, по крайней мере я не вижу, как это логически вытекает из самого концепта верности как верности себе. Себе – не в смысле узкого «я», а в смысле «я» широкого, наполненного.

Если говорить о политической составляющей, я согласен с Борисом в том, что нам стоит присмотреться к феномену нормализации предательства. Ярким проявлением этой модели стало выступление олимпийской сборной под нейтральным флагом и сопутствующая информационная политика вокруг Олимпиады.

С точки зрения политического ориентирования в текущей ситуации мне кажется важным поставить для себя вопрос – консерватизм в России после третьего срока. Считается, что третий срок прошел под знаком каких-то консервативных ценностных приоритетов, по крайней мере риторических, главы государства. И действительно речь шла о том, что Путин в 2013 году говорил о традиционных ценностях на фоне дехристианизации Европы. Потом в 2014 году апеллировал к русской идентичности в контексте событий в Крыму и на Донбассе. Потом стала развиваться тема национализации элиты, переориентации экономической философии в сторону развития с опорой на внутренний рынок. Все эти акценты в разных смыслах мы можем назвать консервативными. При этом такой социолог, как Бызов, вполне справедливо отмечает, что «по всем этим позициям общество было и остается радикальнее власти». Апелляция власти к этим приоритетам, с одной стороны, разогревала ожидания общества, а с другой – препятствовала кристаллизации какого-то самостоятельного центра силы на консервативном фланге. Если главный консерватор Путин, то всем остальным надо просто слушать, что он скажет в следующий конкретный момент, и правильно высказать свое одобрение и поддержку. Сейчас, когда, скорее, Путин примеряет на себя либерально-прогрессистское амплуа или возвращается в амплуа центриста-прагматика, мне кажется, наступает хороший момент для кристаллизации этих ожиданий в виде самостоятельного общественно-политического субъекта, самостоятельного полюса. Это тем более необходимо, что оппоненты этого консерватизма третьего срока вполне себе кристаллизованы. Их «два с половиной процента» на выборах никого не должны обманывать, все прекрасно понимают,

что они представляют собой достаточно серьезную силу, располагающую своими «структурами гегемонии», если говорить на языке Антонио Грамши.
Если на другом фланге не будет каких-то сопоставимых центров кристаллизации, то это создает очень большие риски на период «постпутинской» трансформации. Тогда единственным организованным, идеологическим центром силы будут системные и несистемные либералы. Все те, кто воспринимал консерватизм третьего срока как абсолютное грехопадение. Частью этого консерватизма третьего срока является пресловутый Крымский консенсус, а в него, как в матрешку, упакован, уже в современных реалиях, суверенитет как таковой. Поэтому отсутствие кристаллизованного консерватизма в современной российской системе координат – это залог десуверенизации страны на какой-то следующей итерации развития нашей общественно-политической системы.

М.А. Колеров: То есть Путин передаст власть либералам

М.В. Ремизов: Да, это происходит – не напрямую, но происходит… Просто по факту того, что они являются единственной идеологической элитной консорцией. Все остальные консорции не носят идеологического характера. Соответственно, даже если у них не будет монополии на власть, у них будет монополия на стратегическую повестку.

Ведущий: Спасибо большое. Эта версия актуальна и заслуживает глубокой философской работы, потому что, когда читаешь такую дилемму, с одной стороны, моя идентичность мне задана, и я в ней, как в клетке, как в тюрьме, у меня нет горизонтов развития, это очень большое испытание для выбора.

М.В. Ремизов: Якорные параметры идентичности, конечно, не все.

Ведущий: С другой стороны, альтернатива бесконечной самореализации в любом варианте. Это подчеркивает всю красоту выборов стать консерватором. Поскольку речь шла как оппонирование Бориса, пожалуйста.

Б.В. Межуев: Я согласен с Михаилом Ремизовым в большинстве его политических утверждений, но не всегда разделяю его философские предпосылки. Я абсолютно согласен с тем, что системным консерваторам следует столь же активно и бескомпромиссно говорить о «третьем сроке», его ценностях и достижениях, как системные либералы говорят о «сроке первом», не опасаясь при этом выпасть из колоды. Пусть «третий срок» станет нашим паролем, нашим брендом, почему бы нам не создать своего собственного Зыгаря, который напишет книгу о том, что и как удалось достичь в этот срок, и по какой причине, к сожалению, «третий срок» последовательно перетек в «срок четвертый». И как консерваторы смогут действовать, не выпадая из системы, даже и в этот явно неблагоприятный для них период времени. Так что здесь я двумя руками только поддерживаю инициативу Михаила Ремизова, но вот его философия, его онтология и антропология вызывают у меня сомнение. Почему же верность может быть только верностью себе? Это открывает слишком широкое пространство для сделки с совестью? Тогда можно легко отказаться от верности крымскому выбору на основании чисто инструментального отношения к Крыму – захотелось взяли, захотелось отдали, сами себе мы тем не менее остались верны.

М.В. Ремизов: Борис, вне диспозиции, в которой крымчане изначально свои, все это не имеет никакого смысла.

Б.В. Межуев: Я бы с этим не совсем согласился. При Горбачеве Советский Союз отказался от поддержки многих союзников в третьем мире, скажем, Вьетнама, Кубы, Афганистана. Конечно, это не было неверностью по отношению к себе, но то, что это было неверностью, можно сказать вполне определенно.

М.В. Ремизов: Это не были мы, это можно оценить только с точки зрения репутаци-

онных рисков. То есть мы потеряли репутацию сильного человека, который помогает тем, кто на него ориентировался. Только так. Куба так, а Крым по-другому.

Реплика: Товарищи, среди нас единственный человек, который мешал этому предательству…

А.С. Ципко: Как человек, который в 1980-х, до начала перестройки, руководил группой анализа кризисов в Восточной Европе в ИЭМСС Академии наук СССР, я должен сказать, что уважаемый господин Ремизов не отдает себе отчета, о чем он говорит. Горбачев не допустил никакой слабины в отношении стран Восточной Европы. Надо знать, что уже Леонид Ильич Брежнев в октябре 1980 года отказался от политики «ограниченного суверенитета» и не ввел войска в Польшу для подавления «Солидарности». Надо знать, что уже к тому времени советская модель исчерпала себя не только морально, но и экономически во всех странах Восточной Европы. Уже в начале 1980-х я лично на основе анализа данных о ситуации в странах Восточной Европы, на основе анализа настроений интеллигенции и т.д. написал записку в ЦК КПСС, где предсказал гибель этой системы уже в конце 1980-х. Не было тогда никакого Горбачева. И, кстати, надо сказать, что работники Отдела ЦК КПСС, в который меня начали приглашать уже тогда, отдавали себе отчет во всей серьезности складывающейся ситуации. За плечами у нас было Будапештское восстание 1956 года, у нас было восстание в Лодзи в том же 1956 году, у нас за плечами была Пражская весна и т.д. Нельзя было не проявить так называемой слабины в отношении стран социализма, для которых, повторяю, навязанный нами строй был чем-то противоестественным. Уважаемый господин Ремизов должен знать, что сохранение мировой социалистической системы нам обходилось в 25 млрд золотых рублей. И после того, как Рейган свел цены на нефть до 16 долл. за баррель, нам стало не на что содержать социалистическую систему. Сталин в 1949 году во имя сохранения социалистической системы организовал в СССР голод. Ни Брежнев, ни тем более Горбачев не могли такой ценой сохранять социалистический строй в странах Восточной Европы. Единственным выходом из этой ситуации, как казалось Горбачеву, являлась демократизация социализма в странах Восточной Европы, что должно было переменить отношение к этому строю.
Поэтому, на мой взгляд, нельзя без понимания, что такое был социализм в странах Восточной Европы и на чем он держался, судить о так называемой слабине Михаила Горбачева.

М.В. Ремизов: Кстати, эта американская дискуссия политическая относительно того, что в Саудовской Аравии?

Реплика: Совершенно верно. Нельзя оставить американский блок, введите еще больше войск, пожалуйста, помогите замочить страшную Россию. Здесь надо очень точно и аккуратно разбираться, потому что иной раз союзники заставляют тебя расставаться с тем, что составляет огромную…

М.В. Ремизов: Часть тебя.

Б.В. Межуев: Следует ли не плясать в угоду подобному союзнику? А вопрос – следует ли предавать союзника?

Ведущий: Господа, а тем временем к нам присоединяется дистанционно из Воронежа Минаков Аркадий Юрьевич, профессор Воронежского государственного университета. Прошу вас, Аркадий Юрьевич.

А.Ю. Минаков: Главным и наиболее мощным субъектом и транслятором консервативных идей в нынешних условиях является верховная власть, исходные идеологические установки которой первоначально, еще с 1990-х годов, во многом определялись либерально-западническим дискурсом и стремлением интегрироваться в «глобальный мировой порядок».
Особую роль в укоренении консервативного дискурса сыграли следующие факторы: нежелание глобальной элиты считаться даже с ограниченным суверенитетом Российской Федерации, продвижение НАТО

на восток, события 2011/2012 года, приведшие к политической и нравственной компрометации либерализма в России, и в особенности события Русской весны 2014 года, породившие тектонический консервативно-патриотический сдвиг в национальном самосознании и имевшие далеко идущие внешнеполитические последствия (санкционная политика Запада, попытки изоляции России, «странная война» в Сирии и пр.). При этом либерально-западническое крыло во власти и в обществе продолжает пользоваться большим влиянием.

В этих сложных условиях быстро формируется консервативно-цивилизационный дискурс: Россия – не Запад и не Восток, а особая цивилизация со своими интересами и особенностями. Цивилизационный подход дает серьезную идеологическую опору для отстаивания суверенитета России, обуславливает и оправдывает борьбу с глобализмом и концепцией «однополярного мира», в рамках которой России навязывается, по сути, полуколониальный статус. В рамках консервативного дискурса акцентируется право на полный суверенитет, следование своим национальным традициям и отстаивание своих базовых цивилизационных ценностей и интересов.

В области политической консерваторы позиционируют себя в качестве принципиальных державников, сторонников мощного централизованного унитарного государства. Традиция сильной государственности, утверждают они, исторически обусловлена внешними угрозами и необходимостью «удерживать» гигантские евразийские пространства. Значительная часть современных консерваторов убеждена, что оптимальной формой власти в России является та, которая наследует традициям самодержавной монархии. При этом консерваторы убеждены, что вертикаль центральной власти может вполне органически сочетаться с горизонталью «земщины» – мощного местного самоуправления, традиции которого активно разрушались как в петровскую, так и советскую эпохи.

В сфере экономической политики консерваторы, как правило, делают акцент на усиление регулирующей и направляющей роли государства в экономических процессах. Провозглашается приоритет производства перед финансовыми манипуляциями, необходимость проведения таких мер, как вкладывание средств не в зарубежные активы, а в собственное развитие, деоффшоризация, частичная деприватизация, прогрессивный налог.

В социальной сфере консерваторами формируется запрос на умеренный эгалитаризм, на проведение такой политики, которая исключала бы пауперизацию населения, с одной стороны, а с другой – существенно ограничивала олигархический капитал выполнением социальных обязательств. Формула подобного левого консерватизма: «ни нищих, ни миллиардеров». В этом контексте ставка делается на политический реализм: на то, что с 1917 года в национальном сознании идеи социальной справедливости и солидарности укоренились не только благодаря коммунистической пропаганде и социальной практике. Скорее, последние использовали эти христианские национальные архетипы в своих политических и идеологических целях.

В Православии и других традиционных религиях консерваторы видят систему ценностей, которая сформировала особенности Русской цивилизации, ее ментальность, «ядро» великой культуры. Поэтому они, как правило, выступают за внедрение религиозного просвещения в практику школьного и университетского преподавания. Консерваторы являются в обществе наиболее последовательными и бескомпромиссными защитниками христианских ценностей.

Консерваторы настаивают на решении «русского вопроса», то есть снятия «отчуждения» большинства русских (отождествляемых с «бюджетниками») от власти и собственности, юридического признания их субъектности как государствообразующего народа. Они исходят из того, что позиция русского большинства игнорируется, что глухота власть имущих к интересам и чаяниям миллионов русских, нежелание искать совместные решения проблем чрезмерной миграции и связанного с ней криминала, а также подчас вызывающего поведения приезжих выво-

дят ситуацию на грань критической черты. Замалчивание русского вопроса ведет к лавинообразному росту маргинальных и агрессивных проявлений.

Решение русского вопроса в первую очередь предполагает ликвидацию ленинско-сталинской федеративной модели («атомной бомбы», заложенной под государственность, как ее охарактеризовал В.В. Путин) и ставит задачу воссоединения русского народа и всемерной поддержки и консолидации Русского мира. Консерваторы задолго до Крымской речи В. Путина поставили вопрос о русских как разделенном народе, а идея «русской ирредены» является одной из ключевых в современной консервативной идеологии.

Консерваторы подчеркивают, что государственная политика в области образования и культуры должна задавать поведенческие образцы и нормы. Инструментами ее должны выступать телевидение, кино, Интернет, массовая культура в целом.

Консервативный подход в сфере образования и науки предполагает отказ от западнических экспериментов вроде ЕГЭ, перехода на Болонскую систему, возврат к лучшим традициям императорской и советской России, опору на культурно-историческую традицию в гуманитарных дисциплинах.

В культурной политике консерваторы жестко отстаивают приоритетную поддержку традиционной культуры, как русской, так и мировой. Модернистское и постмодернистское экспериментаторство должно осуществляться за счет не государства, а спонсоров.

Как видим, магистральное направление современного русского консерватизма выдвигает и отстаивает многие из тех идей, которые в настоящий период разделяются верховной властью полностью или частично. Можно уверенно предполагать, что одной из основных целей консервативного гражданского общества в ближайшее время станет формирование системной политической субъектности: юридическое оформление движений, союзов, партий консервативного толка, создание влиятельных общенациональных консервативных СМИ. Такова будет задача ближайшего десятилетия. Консерватизм, представленный на всех политических уровнях, отражающий позицию консервативного гражданского общества, – главное условие эволюционного и устойчивого развития. Формирование консервативного сектора гражданского общества – автономного, независимого экономически и политически, позволяет создать своего рода иммунную систему, защищающую от экстремизма, радикализма и скатывания в новую революционную Смуту.

В настоящее время значение и роль консерватизма в государственной политике существенно уменьшилась (в сравнении с периодом 2014–2015 годов), однако, думается, это временное явление, поскольку только современная консервативная идеология и политика в состоянии обеспечить стабильность и возможность органичного эволюционного развития, сохранение и развитие общества, его моральных и культурных ценностей.

Ведущий: Дорогие участники! Спасибо вам огромное за сердечные слова. Я думаю, что мы должны поблагодарить друг друга за эту встречу. Мне кажется, из нашего первичного разговора, почти полемики, получается очень многое: сначала все вместе, потом каждый по-разному, а затем в цветущую сложность мы перешли. Теперь нам надо, чтобы в ходе этого пути не пропустить ни одной из проблем, по поводу которой мы бы ни говорили. По крайней мере четко вырисовываются три основных направления, о которых стоит дальше думать. Первое направление, связанное с тем, что консерватизм до сих пор не имеет адекватной репрезентации с точки зрения политических целей. Что можно с этим сделать? Может быть, и не надо ничего делать из того, о чем мы с вами здесь говорили. Второе – это консервативный взгляд на экономику, это самое слабое место. И было бы неплохо, если бы поднимавшие сегодня эту тему наши участники помогли бы своим взглядом на консервативные концепции в экономической сфере в целом и в экономических порывах в частности. И третье направление, которое я бы выделил, это то, о чем Дмитрий говорил, – международная проекция российского консерва-

тизма. Насколько мы туда вписываемся, насколько в перспективе возможно объединение Америки и Италии и так далее. Как минимум три таких направления. Сформулируйте свои предложения по этому поводу. Если эта встреча в каком-то смысле решается временем, то тогда мы сформулируем повестку к следующему заседанию и учтем замечания, что «не надо разбрасываться так сильно в дальнейшем, а фокусироваться на одной теме». Я не исключаю того, что будет предложено сделать пару альтернативных докладов по выбранной тематике.

С.Ф. Черняховский: Я самое последнее хотел бы добавить.
Первое: в какой-то момент у меня сложилось впечатление, что если считать коллективную идеологию этого стола консерватизмом, то она, эта идеология, существует в стране с 1938 года.
Второй момент: говоря и уходя от определений и научных понятий, я надеюсь, что под образом консерватизма и образом истинного человека, в котором вещает консерватизм, имели в виду именно любимый ими образ консерватизма истинного человека, и каждый свой. Третий момент: я крайне скептически отношусь к тезису о том, что главное – это сбережение жизни, потому что это тезис, ради которого совершаются все предательства. Жизнь важнее всего, важнее принципов, принципы от меня бегают, трижды можно предать, жену можно продать…

Это по отношению к последнему, наиболее созидательному диалогу, потому что здесь прозвучали очень важные вопросы. Но мне кажется, что этот период, который был благоприятен для создания реальной идеологической базы, когда, по сути дела, кто-то создал крышу и сказал: «Никто никого не спрашивает, развивайтесь, создавайте свои структуры». И каждый сел и сказал: «Как здорово, что ничего не надо делать».
Но важнее другой момент, о чем совершенно верно Борис и Михаил говорили, что кристаллизации не произошло, в частности с консервативным вкладом. Создания самостоятельных политических сущностей, которые в дальнейшем могли бы приводить в сомнение, не произошло – и это самая большая опасность, потому что все ждут, чью сторону возьмет Путин, и никто не способен действовать без него. Эта ситуация очень напоминает, хотя и в иной исторической обстановке, эпизод фильма «Брежнев», когда интеллигентство просит Брежнева: «Не уходи». Он говорит: «Я вас столько лет тащу за собой, а что ж, меня не станет, вы за себя постоять не сможете?».
Насколько это можно закончить в четвертый срок – я не знаю. Но, на мой взгляд, реальную политическую сущность, сохранять те или иные базовые ценностные концептуальные классификации, можно создать, только включившись инициативно в создание проекта будущего, о котором сейчас говорилось. Проект будущего, сохраняющий прошлое, а не попытка вернуть какое-либо прошлое.

Альманах
Тетради по консерватизму
№ 1 2018

Редактор
Е.М. Кострова

Художественное оформление
В.И. Кучмин

Компьютерная верстка
А.В. Талалаевский

http://www.essaysonconservatism.ru/
tetradipokonservatizmu@gmail.com

Подписано в печать 21.03.2018. Формат 60x90 1/8. Усл. печ. л. 49,0.
Тираж 300 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Паблит»
127282 Москва, Полярная ул., д. 31В, стр. 1.
Тел. 8 (495) 685-93-18